

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1991

5



1991



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 5 (9-789)

Май, 1991 г. (сентябрь, 1990 г.)

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — На возврате дыхания и сознания. Раскаяние и самоограничение. Образованщина	3
—————	
ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ — Далеко лететь отсюда..., стихи	47
ВАДИМ ФАДИН — Бывало, люди отмечали даты..., стихотворение	49
АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ — Я человек исторический, повесть	50
АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ — Иная речь, стихи	82
ВЛАДИМИР МАКАНИН — Там была пара..., рассказ Лаз, повесть	83
МАГДАЛИНА ВЕРИГО — Воронка мальстрема. Стихи. Проза. Предисловие М. Чудаковой, М. Левина	134
ВЛАДИМИР МИКУШЕВИЧ — Звездозвук	145
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — ...Колелет твой тревожник	148
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ — Дневник. Окончание. Подготовка текста, публикация и комментарии Елены Чуковской	160
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
А. АВТОРХАНОВ — Загадка смерти Сталина. Главы из книги	194
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. НЕПОМНЯЩИЙ — Homo liber (Юрий Домбровский)	234
АНДРЕЙ НЕМЗЕР — Конец прекрасной эпохи. Заметки на полях книги о критике и критиках	241

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	249
Владимир Потапов. Свет в чужой стороне.	
Лазарь Флейшман. Первая советская монография о Борисе Пастернаке.	

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

И. А. НИКУЛИН — Вирус гигантомании	257
РАФАЭЛЬ МУСТАФИН — В жерновах эпохи	268

КОРОТКО О КНИГАХ:

В. Турбин. — С. Вайман. Гармонии таинственная власть. Об органической поэтике. ♦	
С. Федякин. — Светлана Семенова. Преодоление трагедии «Вечные вопросы» в литературе ♦	
В. Вахрушев. — Джек Линдсей Поль Сезанн. ♦	
Георгий Носков. — Как мы пишем	269

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

По не зависящим от редакции журнала «Новый мир» и издательства «Известия» обстоятельствам не выпущены последние четыре номера журнала за прошлый год. Поэтому мы печатаем № 9, 10, 11 и 12 «Нового мира» за 1990 г. в качестве № 5, 6, 7 и 8 за 1991 г.

Редакционная коллегия.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

ГОД ПАМЯТИ. 1910—1990. Л. Н. Толстой. Из неопубликованного.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни.

Л. ПАНТЕЛЕЕВ. Я верую. Главы из книги. Публикация Владимира Глоцера.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Новости экономики. Рассказ.

«ВОПРЕКИ НЕЛЕПЫМ ВЫМЫСЛАМ...». Письмо И. А. Бунина в редакцию «Октября».

Ф. А. СТЕПУН. Мысли о России.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Кедр.

Ф. А. ХАЙЕК. Дорога к рабству. Перевод с английского Н. Ставиской.

В. ШУБКИН. Грустная правда.

МАРИНА НОВИКОВА. Христос, Велес — и Пилат. «Неохристианские» и «неоязыческие» мотивы в современной отечественной культуре.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

НА ВОЗВРАТЕ ДЫХАНИЯ И СОЗНАНИЯ

(По поводу трактата А. Д. Сахарова «Размышления
о прогрессе, мирном сосуществовании
и интеллектуальной свободе»)

Эта статья была написана 4 года назад, но не отгана в Самиздат, лишь самому А. Д. Сахарову. Тогда она была в Самиздате нужней и прямо относилась к известному трактату. С тех пор Сахаров далеко ушёл в своих воззрениях, в практических предложениях, и сегодня к нему статья уже мало относится; она уже не полемика с ним.

Так теперь поздно! — возразят. То ли ещё у нас не поздно! Мы и полстолетия ничего не успевали ни называть, ни обмысливать, нам и через 50 лет ничто не поздно. Потому что напечатана у нас — пустота! Во всяком таком опоздании — характерная норма послеоктябрьской русской жизни.

Не поздно потому, что в нашей стране на тех мыслях, которые Сахаров прошёл, миновал, ещё коснеет массивный слой образованного общества. Не поздно и потому, что, видимо, ещё немалые круги на Западе разделяют те надежды, иллюзии и заблуждения.

1

Кажется, мучителен переход от свободной речи к вынужденному молчанию. Какая мука живому, привыкшему думать обществу с какого-то декретного дня утратить право выражать себя печатно и публично, а год от году замкнуть уста и в дружеском разговоре и даже под семейной кровлей.

Но и обратный переход, ожидающий скоро нашу страну, — возврат дыхания и сознания, переход от молчания к свободной речи, тоже окажется и труден и долг, и снова мучителен — тем крайним, пропастным непониманием, которое вдруг зинет между соотечественниками, даже ровесниками, даже земляками, даже членами одного тесного круга.

За десятилетия, что мы молчали, разбрелись наши мысли на семьдесят семь сторон, никогда не перекликнувшись, не опознавшись, не поправив друг друга. А штампы принудительного мышления, да не мышления, а диктованного рассуждения, ежедневно втолакиваемые через магнитные глотки радио, размноженные в тысячах газет-близнецов, еженедельно конспектируемые для кружков политучёбы, — изуродовали всех нас, почти не оставили неповреждённых умов.

И теперь, когда умы даже сильные и смелые пытаются распрямиться, выбиться из кучи дряхлого хлама, они несут на себе все эти злые тавровые выжжины, кособокость колодок, в которые загнаны были незрельми, — а по нашей умственной разбедненности ни на ком не могут себя проверить.

World © Александр Солженицын. 1981.

Публикуемые три статьи первоначально печатались в публицистическом сборнике группы авторов «Из-под глыб» (Москва, Самиздат, 1974; одновременно — Париж, YMCA-PRESS, 1974). Текст статей воспроизведен по собранию сочинений А. Солженицына (т. 9, Вермонт — Париж, YMCA-PRESS, 1981)

Мы же, остальные, до того иссохли в десятилетиях лжи, до того изжаждались по дождевым капелькам правды, что как только упадут они нам на лицо,— мы трепещем от радости: «наконец-то!», мы прощаем и вихри пыли, овеявшие их, и тот лучевой распад, который в них ещё таится. Так радуемся мы каждому словечку правды, до последних лет раздавленному, что этим первым нашим выразителям прощаем и всю приближительность, и всякую неточность, и долю заблуждения даже большую, чем доля истины,— только за то, что «хоть что-то сказано!», «хоть что-то наконец!».

Всё это испытали мы, читая статью академика Сахарова и слушая отечественные и международные отклики на неё. С биением сердца мы узнали, что наконец-то разорвана непробудная, уютная, удобная дрема советских учёных: делать своё научное дело, за это — жить в избытке, а за это — не мыслить выше пробирки. С освобождающей радостью мы узнали, что не только западные атомники мучимся совестью,— но вот и в наших просыпается она!

Уже это одно делает бесстрашное выступление Андрея Дмитриевича Сахарова крупным событием новейшей русской истории.

Работа эта находит путь к нашему сердцу прежде всего своею честностью в оценках. Многие события и явления называются так, как мы тайно думаем, но по трусости боимся высказать. Режим Сталина назван среди «демагогических, лицемерных, чудовищно-жестокых полицейских режимов»; сказано, что в отличие от гитлеризма сталинизм носит «гораздо более изощрённый наряд лицемерия и демагогии» с опорой на «социалистическую идеологию, которая явилась удобной ширмой». Упомянуты и «грабительские заготовки» продуктов и «почти крепостное закабаление крестьянства», правда — в прошлом, но есть и о сегодняшнем: «большое имущественное неравенство между городом и деревней», «40% населения нашей страны оказывается в очень трудном экономическом положении» (по контексту, по намеку речь идёт о бедности, но в отношении своей страны язык не выговаривает); напротив, 5 % «начальства» так же привилегированы, «как аналогичная группировка в США». И даже больше! — Хотели бы мы возразить, но разъяснения автора опережают нас: привилегии управляющей группировки в нашей стране — тайны, «дело не чисто», тут «имеет место подкуп верных слуг существующей системы», в прошлом — «зарплата в конвертах», сейчас — «закрытое распределение дефицитных продуктов, товаров и разных услуг, привилегии в курортном обслуживании». Сахаров высказывается против недавних политических процессов, против цензуры, против новых антиконституционных законов. Он указывает, что «партия с такими методами убеждения и воспитания вряд ли может претендовать на роль духовного вождя человечества». Он протестует против подчинения интеллигенции партийным чиновникам под прикрытием «интересов рабочего класса». Разоблачение сталинизма он требует «довести до полной правды, а не до ... кастовой целесообразности», он справедливо требует «всенародного расследования архивов НКВД» и полной амнистии сегодняшним политзаключённым. И даже в наиболее неприкасаемой внешней политике возлагает на СССР «косвенную ответственность» за арабо-израильский конфликт.

Впрочем, если не этот уровень смелости, то этот уровень анализа доступен и другим нашим соотечественникам, только молчунам. Сахаров же, с уверенностью крупного учёного, подымает нас на более высокую обзорную точку зрения. Короткими ударами лекторской палочки он разваливает тех истуканов, те экономические мифы 20-х—30-х годов, которые и мёртвыми завораживают уже полвека всю нашу учащуюся молодёжь — да так и до старости.

Сахаров разрушает марксистский миф, что капитализм «приводит в тупик производительные силы» или «всегда приводит к абсолютному обнищанию рабочего класса»*. Экономическое соревнование систем, со школьных плакатов запомненное нами как социалистический конь, прыгающий через капиталистическую черепаху, он впервые в нашей стране представляет в истинных соотношениях. Сахаров напоминает о «бремени технического и организационного риска разработочных издержек, которое ложится на страну, лидирующую в технике», и с большим знанием дела перечисляет важные

* Впрочем, это выговаривает он чрезмерно смягчённо («не всегда»). В современных экономических работах доказано, что *после* мануфактурного периода капитализм — вопреки Марксу — не эксплуатирует рабочих, что главные ценности создаются не в трудом рабочих, а умственным трудом — организацией и механизацией. Рабочие же, особенно вследствие удачных забастовок, получают всё большую и большую долю продукта, не выработанную ими.

технические заимствования, обогатившие СССР за счёт Запада; напоминает, что сталь да чугун — это отрасли традиционные и «догонка» в них ничего не доказывает, а в отраслях поистине ведущих — мы устойчиво позади. Разрушает Сахаров и миф о пауках-миллионерах: они — «не слишком серьёзное экономическое бремя» по их малочисленности, напротив, «революция, которая приостанавливает экономическое развитие более, чем на 5 лет, не может считаться экономически выгодной для трудящихся» (да уж просто скажем: убийственна). Что касается СССР, то свален миф о магическом соцсоревновании («не имеет серьёзной экономической роли») и напомнено: все эти десятилетия «наш народ работал с предельным напряжением, что привело к определённой истощению ресурсов нации».

Правда, такая ломка молитвенных истуканов не даётся легко, Сахаров там и здесь без надобности смягчает: лишь «определённое» истощение; и — «в обеспечении высокого уровня жизни ... капитализм и социализм сыграли вничью» (уж где там!..). Но сам переступ через запретную черту — посмел судить о том, о чём никто не смел, кроме Основоположников — выводит нашего автора далеко вперёд. Если при капиталистическом строе обнаруживается не сплошное загнивание, а «продолжается развитие производительных сил», то «социалистический мир не должен разрушать породившую его почву» — «это было бы самоубийством человечества», ядерной войной. (Наша пропаганда не любит признавать ядерную войну самоубийством человечества, но — непременным торжеством социализма.) Сахаров советует верней того: отказаться от «эмпирико-конъюнктурной внешней политики», от «метода максимальных неприятностей противостоящим силам без учёта общего блага и общих интересов»; СССР и Соединённым Штатам перестать быть противниками, перейти к совместной бескорыстной широчайшей помощи остальным странам, а из высших целей внешней политики пусть будет международный контроль за соблюдением «Декларации прав человека».

Не упускает автор перечислить и главнейшие опасности для нашей цивилизации, черты гибели среды обитания человечества, и широко ставит задачу спасения её.

Таков уровень благородной статьи Сахарова.

2

Но предлагаемый отзыв пишется не для того, чтобы присоединиться к хору похвал: кажется, их и так перевес. Вселяет тревогу, что многие опорные, недосягаемые, а иногда и неверные положения статьи Сахарова могут перелиться теперь в развитие свободной русской мысли и исказить, задержать её ход.

Признаёмся: мы сейчас концентрированно, с повышенной плотностью вместили тут лучшее, что видим в статье Сахарова. На самом же деле это всё сказано у него не на едином стержне, не с энергией, но с разрежениями, смягчениями, а главное — в чересполосице с утверждениями противоположными и часто взятыми уровнем ниже.

Заметную погрешность статьи мы видим в том, что она щедра вниманием ко внутренним проблемам *других* стран — Греции, Индонезии, Вьетнама, Соединённых Штатов, Китая, тогда как внутренняя ситуация в СССР освещается (точней — обделается светом) как можно более благожелательно. Но это — топкая точка зрения. Рассуждать о международных проблемах, а тем пуще о проблемах других стран мы имеем моральное право лишь после того, как осознаем свои внутренние проблемы, покаемся в пороках своих. Чтоб иметь право рассуждать о «трагических событиях в Греции», надо прежде посмотреть, не трагичней ли события у нас. Чтобы доглядываться издали, как «от американского народа пытаются скрыть ... цинизм и жестокость ...», надо прежде хорошо оглянуться: а б л и ж е — нет ничего похожего? да когда не «пытаются», а когда отлично удаётся? И если уж «трагизм нищеты ... 22 миллионов негров», то не нищей ли 50 миллионов колхозников? И не упустить, что «трагикомические формы культа личности» в Китае лишь с малым изменением (и не всегда к худшему) повторяют наши смердящие 30-е годы.

Это беда — наша ввевшаяся, общая. С самого начала, как в Советском Союзе звонко произнесли и жирно написали «самокритика», — всегда это была егокритика. Десятилетиями нам внушали наше социалистическое превосходство, а судить-рядить разрешали только о чужом. И когда теперь задумываемся мы говорить о своём, — бесознательная жажда смягчения отклоняет наши перья от суровой линии. Трудно возвращается к нам свободная мысль, трудно привыкнуть к ней сразу сполна и со всего

горька. Называть вслух пороки нашего строя и нашей страны робко кажется грехом против патриотизма.

Эта избирательная смирённость со «своим» при строгости к чужому проявляется в сахаровской работе не раз, начиная с первой же её страницы: в кардинальной оговорке автора, что хотя цель его работы — способствовать разумному сосуществованию «мировых идеологий», здесь «не идёт речь об идеологическом мире с теми фанатичными, сектантскими и экстремистскими идеологиями, которые отрицают всякую возможность сближения с ними, дискуссии и компромиссы, например с идеологиями фашистской, расистской, милитаристской или маоистской». И — всё. И в перечислении — точка.

Ненадёжный, обвалистый вход в такую важную работу! — не придушимся ли мы под этим сводом? Хотя и сказано «например», хотя, значит, список непримиримых идеологий ещё не положен, — но по какой странной скромности пропущена здесь именно та идеология, которая ещё на заре XX века объявила все компромиссы «гнилыми» и «предательскими», все дискуссии с инакомыслящими — пустой и опасной болтовнёй, единственным решением социальных задач — оружие, а деление мира — в двух цветах: «кто не с нами — тот против нас»? С тех пор эта идеология имела огромный успех, она окрасила собою весь XX век, ознобила три четверти Земли, — отчего же Сахаров не упоминает её? Считает ли он, что с нею можно столкнуться мягким убеждением? О, если бы! Но ещё никто не наблюдал подобного случая, эта идеология нисколько не изменилась в своей неуклонности и непримиримости. Подразумевает ли он её в тёмном приглушке, в непросвеченном «например»?

Абзацем ниже Сахаров называет среди «крайних выражений догматизма и демагогии», в ряду тех же расизма и фашизма — уже и сталинизм. Но это — худая подмена.

В Советском Союзе после 1956 года никакой особой смелости, новизны, открытия нет — назвать «сталинизм» как нечто дурное. Официально так у нас не принимается, но в общественности разошлось широко и часто произносится устно. Написать «сталинизм» в таком перечне в годах сороковых или тридцатых было бы и отгадкой и мудростью — когда «сталинизм» воплощался могучей действующей системой, достаточно показавшей себя и у нас в стране и уже в Восточной Европе. Но в 1968 году сослаться на «сталинизм» есть подстановка, маскировка, уход от проблемы.

Справедливо усомниться: а есть ли такой отдельный «сталинизм»? *Существовал ли он когда?* Сам Сталин никогда не утверждал ни своего отдельного учения (по низкому умственному уровню он и не мог бы построить такого), ни своей отдельной политической системы. Все сегодняшние поклонники, избранники и плакальщики Сталина в нашей стране, а также последователи его в Китае гранитно стоят на том, что Сталин был верный ленинец и никогда ни в чём существенном от Ленина не отступил. И автор этих строк, в своё время попавший в тюрьму именно за ненависть к Сталину и за упрёки, что тот отступил от Ленина, сегодня должен признаться, что таких существенных отступлений не может найти, указать, доказать.

Земля, в революцию данная крестьянам, а вскоре (Земельный устав 1922 года) отобранная в государственную собственность? Заводы, обещанные рабочим, но в тех же неделях подчинённые централизованному управлению? Профсоюзы на службе не у масс, а у государства? Военная сила для подавления национальных окраин (Закавказье, Средняя Азия, Прибалтика)? Концентрационные лагеря (1918—1921)? Бессудная расправа (ЧК)? Жестокий разгром и ограбление церкви (1922)? Соловецкие зверства (с 1922)? Всё это — никак не Сталин по годам, по степени власти. (Сахаров предлагает восстановить «ленинские принципы общественного контроля над местами заключения», — не пишет, какого именно года принципы? в каких лагерях проявленные? Ведь после ранних Соловков Ленина уже не было в живых.) К Сталину отнесём кровавое насаждение коллективизации, — но расправа с тамбовским (1920—21) и сибирским (1921) крестьянскими восстаниями не была мягче, они лишь не захватывали всей страны. Сочли бы за ним усиленную искусственную индустриализацию с подавлением лёгкой промышленности, — так и это не Сталиным придумано.

Разве только в одном Сталин явно отступил от Ленина (но и повторяя общий закон всех революций): в расправе над *собственной партией*, начиная с 1924 года и выходясь к 1937. Так не в этом ли решающем отличии и видят наши нынешние передовые историки тот признак, по которому «сталинизм» попадает в исключительный список античеловеческих идеологий, попадает без своей материнской?

«Сталинизм» — это очень удобное понятие для тех наших «очищенных» марксистских кругов, которые селятся отличаться от официальной линии, на самом деле отличаясь от неё ничтожно. (Типичным представителем этой линии можно назвать Роя Медведева.) Для той же цели ещё важнее и нужнее понятие «сталинизма» западным компартиям — чтобы сбросить на него всё кровавое бремя прошлого и тем облегчить свои сегодняшние позиции. (Сюда относятся коммунистические теоретики, как Г. Лукач, И. Дойчер.) И — даже обширным леволиберальным кругам Запада, которые при жизни Сталина аплодировали цветным картинкам нашей жизни, а после XX съезда оказались в жестоком просаке.

Но пристальное изучение нашей новейшей истории показывает, что никакого сталинизма (ни — учения, ни — направления жизни, ни — государственной системы) не было, как справедливо утверждают официальные круги нашей страны, да и руководители Китая. Сталин был хотя и очень бездарный, но очень последовательный и верный продолжатель духа ленинского учения.

А нам на возврате дыхания после обморока, в проблесках сознания после полной темноты, — нам так трудно вернуть себе сразу отчётливое зрение, нам так трудно брести поперёк нагороженных стен, между наставленных истуканов.

Касанием лекторской палочки Сахаров развораживает и в прах рассыпает одни, а другие минует с почтением, оставляет ложно стоять.

Теперь если все эти «непримиримые идеологии» оставить в оговорке, в исключении (и даже расширить их список), — то с к а к и м и же идеологиями Сахаров предлагает сосуществование? С либеральной да с христианской? Так от них и так ничто миру не грозит, они и так в дискуссии всегда. А вот с этим зловещим списком что делать? В нём несколько многовато идеологий прошлого и — настоящего.

И какова же тогда цена ожидаемой и призываемой «конвергенции»?..

А где гарантии, что непримиримые идеологии не будут возникать и в будущем?

В этой же работе так трезво оценив губительное экономическое разорение от революций, Сахаров предусматривает «для революционной и национально-освободительной борьбы», «когда не остаётся других средств, кроме вооружённой борьбы», — «возможность решительных действий». «Существуют ситуации, когда революции являются единственным выходом из тупика». Это опять-таки — не собственное противоречие автора, но поддался он общему перекосу эпохи: все революции в общем одобрять, все «контрреволюции» безоговорочно осуждать. (Хотя в смене насилий, вызывающих одно другое, кто провёл временную грань, кто указал тот инкубаторный срок, до истечения которого насильственный переворот ещё называется контрреволюцией, а после — уже новой революцией?)

Неполнота освобождения от чужих навязанных модных догм всегда накажет нас неравномерной ясностью зрения, опрометчивыми формулировками. Вот и вьетнамскую войну характеризует Сахаров, как принято у *мировой прогрессивной общественности*, — как войну «сил реакции» против «народного волеизъявления». А когда приходят по тропе Хо Ши Мина регулярные дивизии — это тоже «народное волеизъявление»? А когда «регулярные» партизаны поджигают деревни за их нейтралитет и автоматами поужадают мирное население к действиям — это отнесём к «народному волеизъявлению» или к «силам реакции»? Нам ли, русским, с опытом своей гражданской войны так поверхностно судить о вьетнамской?.. Нет, не пожелаем ни «революции», ни «контрреволюции» даже врагам!

Массовое насилие только дозволю в самом малом объёме, — а там сразу прикатит помощь «передовых» и «реакционных» сил, а там накалится на весь континент, глядя и до атомного рубежа. И что ж остаётся от «мирного сосуществования», вынесенного в заголовок?

3

Среди неприкасаемых статуй бережно обходит наш автор и социализм — настолько несомненный для всех, что не подлежит и дискуSSIONному выносу в заголовок. В превознесении социализма Сахаров даже и чрезмерен. Как о всеизвестном, не требующем доказательств, пишет он о «высоких нравственных идеалах социализма», о «морально-этическом характере социалистического пути» и даже называет это своим «основным выводом» (а верней, очевидно, — основным нравственным пожеланием).

Но: нигде в социалистических учениях не содержится внутреннее требование нравственности как сути социализма, — нравственность лишь обещается как самовыпадающая манна после обобществления имуществ. Соответственно: нигде на Земле нам

ещё в натуре не был показан нравственный социализм (и даже такое словосочетание, предположительно обсуждённое мною в одной из книг, было сурово осуждено ответственными ораторами). Да что говорить о «нравственном социализме», когда неизвестно: вообще ли социализм всё то, что нам называют и показывают как социализм. Он — в природе-то есть ли?

Уверяет Сахаров, что социализм «как никакой другой строй ... возвеличил нравственное значение труда», что «только социализм поднял труд до вершины нравственного подвига». Но на сельских пространствах нашей страны, где всегда только и жили трудом, весь интерес жизни содержали в труде, — труд именно при «социализме» стал заклятым бременем, от которого бегут. И добавим — по всем нашим пространствам и дорогам самый тяжёлый чёрный труд, исполняемый женщинами с тех пор, как мужчины пересели на механизмы или перешли на руководство. И — насыщенные трудовые мобилизации горожан ежесезонно. И даже — для миллионов служащих за канцелярскими столами труд обрыдлый, ненавистный. Не перечисляя далее: почти не видел я в нашей стране людей, для кого желанным днём недели был бы понедельник, а не суббота. А сравнивая качество сегодняшней каменной кладки с кладкою прежних веков, особенно старых церквей, невольно склонился искать «нравственный подвиг» где-то *раньше*.

Да всё это знает, конечно, и Сахаров, и сказываются тут не ошибки его личного мнения, но повальный гипноз целого поколения, которое не может очнуться сразу от всего, стряхнуть с себя нагромождение сразу всех политучёб. Оттого читаем: «социалистическая оплата — по количеству и качеству труда», хотя такая оплата под названием сдельной существует, сколько мир стоит. Напротив, всё, что Сахаров видит в реальном социализме дурного, «лицемерие и показной рост ... с утерей качественных характеристик», он почему-то не относит к социализму, а к некоему «сталинскому лже-социализму». «Некоторые нелепости нашего развития не были естественным следствием социалистического пути, а явились своего рода трагической случайностью». А доказательства? — в газетах?

Под тем же гипнозом нашего поколения Сахаров пренебрежительно оценивает национализм — как некую периферийную помеху, мешающую светлому движению человечества, но впрочем обречённую на скорое исчезновение.

Ан крепок оказался этот орешек для жерновов интернационализма. Вперерез марксизму явил нам XX век неистощимую силу и жизненность национальных чувств и склоняет нас глубже задуматься над загадкой: почему человечество так отчётливо квантуется нациями не в меньшей степени, чем личностями? И в этом гранёны на нации — не одно ли из лучших богатств человечества? И — надо ли это стирать? И — можно ли это стереть?

Пренебрегая живучестью национального духа, Сахаров упускает и возможность существования в нашей стране живых национальных сил. Это прорывается даже комично в том месте, где он перечисляет «прогрессивные силы нашей страны» — и кого же видит? — «левых коммунистов-ленинцев» да «левых западников». И только?.. Были бы мы действительно духовно нищи и обречены, если бы лишь этими силами исчерпывалась сегодняшняя Россия.

В заголовке статьи вынесен *прогресс* — технический, экономический, социальный, прогресс в традиционном общем понимании, и его тоже оставляет Сахаров в числе нетронутых неповерженных истуканов, хотя собственные его, рядом, экологические соображения подводят к тому, что «прогресс» завёл человечество в опасности по меньшей мере тяжёлые. В социальной области автор считает «величайшим достижением» «систему образования под государственным контролем» и выражает «озабоченность, что ещё не стал реальностью научный метод руководства ... искусством». (Дрожь пробирает.) Говоря о чисто научном прогрессе, Сахаров довольно одобрительно рисует нам перспективы: «создание искусственного сверхмозга», «контролировать и направлять все жизненные процессы на ... организменном ... и социальном уровнях ... до психических процессов и наследственности включительно».

Такие перспективы по нашему понятию близки к концентрированному земному аду, и тут многое могло бы вызвать недоумение и резкий протест, если бы при повторном чтении всего трактата не обнаружилось, что он не должен быть читаем формально, буквально и с придирками к деталям. Что главная суть трактата не в том, что по поверхности выражено и иногда даже акцентировано, — не политическая терминология и не интеллектуальные построения, а движущее его нравственное беспокойство автора

и душевная широта его предложений, далеко не всегда точно и удачно выраженных.

Так и с техническими перспективами прогресса. Сахаров предупреждает — политиков, учёных и всех нас — что понадобятся «величайшая научная предусмотрительность и осторожность, величайшее внимание к общечеловеческим ценностям», и ясно, что такой призыв не есть практическая программа, что просить политиков о величайшем внимании к общечеловеческим ценностям или учёных о предусмотрительности в своих открытиях — это тесовые загородочки хлипкие, уж сколькие в той шахте на дне. За всю историю науки от чего нас спасла та научная предусмотрительность? Если и спасла когда, так мы того случая обычно не знаем: одинокий ученый сжёг свой чертёж, сжёг и не показал.

Сам Сахаров своего чертежа — вовремя не сжёг. И тем-то теперь, может быть, угрызаем и с той-то болью выходит теперь на площадь передо всем человечеством сразу — с возывом: хотя бы *начать кончать* зло, хотя бы перед новыми худшими бедами остановиться! Он и сам знает, что осторожности — мало, что «величайшего внимания» — мало, но в его руках — нет его страшного изобретения, его ладони безоружно и дружески открыты нам, и он не столько учит нас, сколько увещает человекодушно.

Так и надежды Сахарова на конвергенцию не есть обоснованная научная теория, но нравственная жажда — покрыть атомный грех человечества, избежать атомной катастрофы. (В решении нравственных задач человечества перспектива конвергенции довольно безотрадна: два страдающих пороками общества, постепенно сближаясь и превращаясь одно в другое, что могут дать? — общество, безнравственное вперекрест.)

И призывы «не расширять зон влияния», «не создавать трудностей другой стране», пусть «все страны стремятся ко взаимопомощи», а великие державы добровольно отдадут отсталым странам 20% своего национального дохода — это ведь тоже не практическая политика и не претендует быть таковой, это тоже — нравственный призыв. И внутри страны «запрещение всех привилегий» — тоже лишь сердечный возглас, а не практическая задача «левым коммунистам» да «левым западникам», — ибо где ж им накопить такую заставляющую силу? Да и разве можно привилегии устранить «запретом», декретом? У нас их уже свинцом и огнём «запрещали», но из-под руки они тут же поплёрли опять, лишь хозяев сменили. Привилегии устранимы только всеобщее перестройкой сознания, чтоб они для самих владельцев не манящими стали, а морально отвратительными. Устранение привилегий — задача нравственная, а не политическая, и Сахаров так это и чувствует, так к этому и относится, но для нашего поколения утерян письменный язык нравственных сочинений, и наш автор вынужденно использует подручный невыразительный политический язык. Например, о сталинизме: «кровь и грязь запачкали наше знамя», — ну, ясно же, что не о «знамени» печётся наш автор, а выражает тем: душу нашу загадили, развратили нас всех!

Вся эта неприменимость расхожего языка и расхожих наших понятий к глубокому нравственному переживанию автора сказывается во многих местах трактата, скажется и в заголовке, куда тоже не вместилось главное чувство А. Д. Сахарова, и оттого заголовок так длинен и перечислителен.

В этот заголовок ещё вынесена *интеллектуальная свобода*. Именно в ней видит Сахаров «ключ к прогрессивной перестройке государственной системы в интересах человечества».

Действительно, в нашей стране интеллектуальная свобода преобразила бы многое сейчас, помогла бы очиститься от многого. Сейчас, из той впадины тёмной, куда мы завалены. Но глядя далеко-далеко вперёд: а Запад? Уж Запад-то захлебнулся от всех видов свобод, в том числе и от интеллектуальной. И что же, спасло это его? Вот мы видим его сегодня: на оползнях, в немощи воли, в темноте о будущем, с раздёрганной и сниженной душой. Сама по себе безграничная внешняя свобода далеко не спасает нас. Интеллектуальная свобода — очень желанный дар, но как и всякая свобода — дар не самоценный, а — проходной, лишь разумное условие, лишь средство, чтобы мы с его помощью могли бы достичь какой-то другой цели, высшей.

Соответственно требованию свободы Сахаров предлагает допустить в «социалистических» странах многопартийную систему. Препятствия этому, разумеется — со стороны власти, не со стороны общества. Но и с нашей стороны — попробуем возвыситься взглядом даже и над западными представлениями: в многопартийной парламентской системе не разглядим ли мы тоже некоего истукана, только уже всемирного? *Partia* — это часть. Всякая партия, сколько знает их история, всегда защищает интересы этой части против — кого же? против остальной части этого народа. И в борьбе с другими

партиями она пренебрегает справедливостью для выгоды: вождь оппозиции (кроме разве Англия) не похвалит правительство за хорошее — это подорвёт интересы оппозиции; а премьер-министр не признается честно публично в ошибках — это подорвёт позиции правящей партии. А если в выборной борьбе можно тайно применить нечестный приём, — то отчего ж его не применить? А своих членов, меньше ли, больше ли, всякая партия нивелирует и подавляет. От всего этого общество, где действуют политические партии, не возвышается в нравственности. И в сегодняшнем мире всё больше проступает сомнение, и маячит нам поиск: а нельзя ли возвыситься и над парламентской много- или двухпартийной системой? не существует ли путей внепартийного, вовсе беспартийного развития наций?

Интересно, что Сахаров, похваливая западную демократию и превознося социализм, сам предлагает для будущего всеземного общества... ни то и ни другое, но проговаривается о совсем другой мечте: «очень интеллигентное ... общемировое руководство», «мировое правительство» — явно невозможное ни при демократии, ни при социализме, ибо каким же общим голосованием, когда и где может быть избрана умственная элита в правительство? Это уже совсем иной принцип — власти авторитарной, которая могла бы оказаться либо дурной, либо отличной, но способы её создания, принципы её построения и функционирования ничего общего не могут иметь с современной демократией.

Кстати и здесь: эту элиту для мирового правительства Сахаров мыслит, называет интеллектуальной, а предчувствует — нравственной, в духе этой своей работы, в своём мироощущении.

Упрекнут, что критикуя полезную статью академика Сахарова, мы сами, как будто, не предложили ничего конструктивного.

Если так — будем считать эти строки не легкомысленным концом, а лишь удобным началом разговора.

1969

4

(Добавление 1973 года)

Четыре года спустя, решая включить эту прежнюю статью в нынешний сборник, я должен развить ту мысль, на которой статья была прервана.

Среди советских людей, имеющих неказённый образ мнений, почти всеобщим является представление, что нужно нашему обществу, чего следует добиваться, к чему стремиться: свобода и парламентская многопартийная система. Сторонники этого взгляда объедают и всех сторонников социализма и шире того. Это представление столь единодушно, что возразить ему даже выглядит неприлично (в кругах неофициальных, разумеется).

В этом почти полном единодушии сказывается наша традиционная пассивная подражательность Западу: пути для России могут быть только повторительные, напряженье большое искать иных. Как метко сказал Сергей Булгаков: «Западничество есть духовная капитуляция перед культурно сильнеешим.»*

Традиция — давняя, традиция дореволюционной русской интеллигенции, которая не холоднокровно, но жертвенно, но иногда отдавая и жизнь, считала целью своей и народной: свободу (народа) и счастье (народа). Как это осуществилось — знает история. Но независимо от того: вдумаемся в самый лозунг.

Не входит в нашу тему, но: что понималось под народным *счастьем*? В основном нищета, материальное благосостояние (вполне совпадающее и с сегодняшним официальным: непрерывный рост материального уровня). Сегодня, я думаю, и без дискуссии можно признать, что для *цели*, да ещё нескольких поколений, да ещё с миллионными кровавыми жертвами, этого маловато. Духовный же сектор счастья хотя и подразумевался кадетской интеллигенцией (социалистической меньше), но очень смутно, это труднее было вообразить себе за малопонятный народ: главным образом, конечно, гражданское равенство, образование (западное), отчасти может быть хороводы, даже и обряды, но уж конечно не чтение Житий святых или религиозные диспуты. Всеобщее убеждение выразил Короленко: «Человек создан для счастья как птица для полёта». И эту формулировку тоже переняла наша сегодняшняя пропаганда. и человек и общество имеют целью — «счастье»...

* С. Булгаков. «Два града». М., 1911, т. 1, От автора, стр. XX.

Хотя кадетская партия для большей близости с народом и назвала себя «партией народной свободы», однако требование «свободы» и понятие о «свободе» весьма слабо было в нашем народе развито. В своей крестьянской массе народ жаждал земли, а это лишь в некотором смысле свобода, в некотором смысле богатство, а в некотором (главном) — обязанность, а в некотором (высшем) — мистическая связь с миром и ощущение самоценности.

Внешняя свобода сама по себе — может ли быть целью сознательно живущих существ? Или она — только форма для осуществления других, высших задач? Мы рождаемся уже существами с внутреннею свободой, свободой воли, свободой выбора, главная часть свободы дана нам уже в рождении. Свобода же внешняя, общественная — очень желательна для нашего неискажённого развития, но не больше, как условие, как среда, считать её целью нашего существования — бессмыслица. Свою внутреннюю свободу мы можем твердо осуществлять даже и в среде внешне несвободной (насмешка Достоевского: «среда заела»). В несвободной среде мы не теряем возможности развиваться к целям нравственным (например: покинуть эту землю лучшими, чем определили наши наследственные задатки). Сопротивление среды награждает наши усилия и бо́льшим внешним результатом.

Поэтому в настойчивых поисках политической свободы как первого и главного есть промах: прежде хорошо бы представить, что с этой свободой делать. Такую свободу мы получили в 1917 году (и от месяца к месяцу всё большую) — и как же поняли мы её? Каждому ехать с винтовкой, куда считаешь правильным. И с телеграфных столбов срезать проволоку для своих хозяйственных надобностей.

Многопартийная парламентская система, которую у нас признают единственно-правильным осуществлением свободы, в иных западно-европейских странах существует уже и веками. Но вот в последние десятилетия проступили её опасные, если не смертельные пороки: когда отсутствие этической основы для партийной борьбы сотрясает сверхдержавы; когда ничтожный перевес крохотной партии между двух больших определяет надолго судьбу народа и даже смежных с ним; когда безграничная свобода дискуссий приводит к разоружению страны перед нависающей опасностью и к капитуляции в непроигранных войнах; когда исторические демократии оказываются бессильны перед кучкою сопливых террористов. Сегодня западные демократии — в политическом кризисе и в духовной растерянности. И сегодня меньше, чем всё минувшее столетие, приличествует нам видеть в западной парламентской системе единственный выход для нашей страны. Тем более, что готовность России к такой системе, весьма низкая в 1917 году, могла за эти полвека только снизиться.

Заметим, что в долгой человеческой истории было не так много демократических республик, а люди веками жили и не всегда хуже. Даже испытывали то пресловутое счастье, иногда названное пасторальным, патриархальным, и не придуманное же литературой. И сохраняли физическое здоровье нации (очевидно так, раз нации не выродились). И сохраняли нравственное здоровье, запечатлённое хотя бы в народных фольклорах, в пословицах, — несравненно высшее здоровье, чем выражается сегодня обезьяньими радио-мелодиями, песенками-шлягерами и издевательской рекламой: может ли по ним космический радиослушатель вообразить, что на этой планете уже были — и оставлены позади — Бах, Рембрандт и Данте?

Среди тех государственных форм было много и авторитарных, то есть основанных на подчинении авторитету; с разным происхождением и качеством его (понимая термин наиболее широко: от власти, основанной на несомненном авторитете, до авторитета, основанного на несомненной власти). И Россия тоже много веков просуществовала под авторитарной властью нескольких форм — и тоже сохраняла себя и своё здоровье, и не испытала таких самоуничтожений, как в XX веке, и миллионы наших крестьянских предков за десять веков, умирая, не считали, что прожили слишком невыносимую жизнь. Функционирование таких систем во многих государствах целыми веками допускает считать, что в каком-то диапазоне власти они тоже могут быть сносными для жизни людей, не только демократическая республика.

У авторитарных государственных систем при достоинствах устойчивости, преемственности, независимости от политической трясучки, само собой есть свои большие опасности и пороки: опасность ложных авторитетов, насильственное поддержание их, опасность произвольных решений, трудность исправить такие решения, опасность сползания в тиранию. Страшны не авторитарные режимы, но режимы, не отвечающие ни перед кем, ни перед чем. Самодержцы прошлых, религиозных, веков при видимой не-

ограниченности власти ощущали свою ответственность перед Богом и собственной совестью. Самодержцы нашего времени опасны тем, что трудно найти обязательные для них высшие ценности.

Верней сказать: по отношению к истинной земной цели людей (а она не может сводиться к целям животного мира, к одному лишь беспрепятственному существованию) — государственное устройство является условием второстепенным. На эту второстепенность указывает нам Христос: «отдайте кесарево кесарю» — не потому, что каждый кесарь достоин того, а потому что кесарь занимается не главным в нашей жизни.

И если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то может быть — я не утверждаю это, лишь спрашиваю — может быть следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для неё естественней, плавнее, безболезненней? Возразят: эти пути совсем не видны, и новые формы тем более. Но и реальных путей перехода от нашей сегодняшней формы к демократической республике западного типа тоже нам никто ещё не указал. А по меньшей затрате необходимой народной энергии первый переход представляется более вероятным.

Государственная система, существующая у нас, не тем страшна, что она недемократична, авторитарна на основе физического принуждения, — в таких условиях человек ещё может жить без вреда для своей духовной сущности.

Всемирно-историческая уникальность нашей нынешней системы в том, что сверх всех физических и экономических понуждений от нас требуют ещё и полную *отдачу души*: непрерывное активное участие в общей, для всех заведомой лжи. Вот на это растление души, на это духовное порабощение не могут согласиться люди, желающие быть людьми.

Когда кесарь, забрав от нас кесарево, тут же, ещё настойчивей, требует отдать и Божье — этого мы ему жертвовать не смеем!

Главная часть нашей свободы — внутренняя, всегда в нашей воле. Если мы сами отдаём её на разврат — нам нет людского звания.

Но заметим: коль скоро абсолютно-необходимая задача сводится не к политическому освобождению, но к *освобождению нашей души от участия в навязываемой лжи*, она и не требует никаких физических, революционных, общественных, организационных действий, митингов, забастовок или союзов, о чём нам и подумать страшно и от чего отговориться условиями вполне естественно. Нет! Она есть всего лишь доступный нравственный шаг каждого отдельного человека. И ни перед живущими, ни перед потомками, ни перед друзьями, ни перед детьми не оправдается никто, добровольно бегавший гончю лжи или стоявший её подпоркою.

Винить нам — некого, кроме себя, и потому не стоят ни гроша все разоблачительные анонимные памфлеты, программы и объяснения. Каждый из нас — в грязи и навозе по собственной воле, и ничья грязь не осветляется грязью соседей.

Октябрь 1973

РАСКАЯНИЕ И САМООГРАНИЧЕНИЕ как категории национальной жизни

1

Блаженный Августин написал однажды: «Что есть государство без справедливости? Банда разбойников.» Разительную верность такого суждения, я думаю, охотно признают очень многие и сегодня, через 15 веков. Но заметим приём: на государство расширительно перенесено этическое суждение о малой группе лиц.

По нашей человеческой природе мы естественно судим так: обычные индивидуальные человеческие оценки и мерки применяем к более крупным общественным явлениям и ассоциациям людей — вплоть до целой нации и государства. И у разных народов разных веков можно найти немало таких перенесений.

Однако, социальные науки — чем новее, тем строже — запрещают нам такие распространения. Серьёзными, научными теперь признаются лишь те исследования общества и государства, где руководящие приёмы — экономический, статистический, демографический, идеологический, двумя разрядами ниже — географический, с подозрительностью — психологический, и уж совсем считается провинциально оценивать государственную жизнь этической шкалой.

А между тем люди, живя общественными скоплениями, нисколько не перестают быть людьми и в скоплениях не утрачивают (лишь огрубляют, иногда сдерживают, иногда разнуздывают) всё те же основные человеческие побуждения и чувства, всем нам известный спектр их. И трудно понять эту надменную грубизну современного направления социальных наук: почему оценки и требования, так обязательные и столь применимые к отдельным людям, семьям, малым кружкам, личным отношениям,— уж вовсе сразу отвергаются и запрещаются при переходе к тысячным и миллионным ассоциациям? На такое распространение никак не меньше оснований, чем из грубого экономического процесса выводить сложное психологическое поведение обществ. Барьер переноса во всяком случае ниже там, где сам принцип не перерождается, не требует рожденья живого из мёртвого, а лишь распространение себя на большие человеческие массы.

Такой перенос вполне естественен для религиозного взгляда: не может человеческое общество быть освобождено от законов и требований, составляющих цель и смысл отдельных человеческих жизней. Но и без религиозной опоры такой перенос легко и естественно ожидается. Это очень человечно: применить даже к самым крупным общественным событиям или людским организациям, вплоть до государств и ООН, наши душевные оценки: благородно, подло, смело, трусливо, лицемерно, лживо, жестоко, великодушно, справедливо, несправедливо... Да так все и пишут, даже самые крайние экономические материалисты, ибо остаются же людьми. И ясно: какие чувства преимущественно побеждают в людях данного общества — те и окрашивают собой в данный момент всё общество, и становятся нравственной характеристикой уже всего общества. И если нечему доброму будет распространиться по обществу, то оно и самоуничтожится или оскотееет от торжества злых инстинктов, куда б там ни показывала стрелка великих экономических законов.

И всегда открыто для каждого, даже неучёного, и представляется весьма плодотворным: не избегать рассмотрения общественных явлений в категориях индивидуальной душевной жизни и индивидуальной этики.

Мы здесь попытаемся сделать так лишь с двумя: раскаянием и самоограничением.

2

Труден ли, лёгок ли вообще этот перенос индивидуальных человеческих качеств на общество,— он труден безмерно, когда желаемое нравственное свойство самими-то отдельными людьми почти начело отброшено. Так — с раскаянием. Дар раскаяния, может быть более всего отличающий человека от животного мира, глубже всего и утерян современным человеком. Мы повально устыдились этого чувства, и всё менее на Земле заметно его воздействие на общественную жизнь. Раскаяние утеряно всем нашим ожесточённым и суматошным веком.

И как же переносить на общество и нацию то, чего не существует на индивидуальном уровне? — тема этой статьи может показаться преждевременной и даже ненужной. Но мы исходим из несомненности, как она представляется нам: что и раскаяние (покаяние) и самоограничение вот-вот начнут возвращаться в личную и общественную сферу, уже подготовлена полость для них в современном человечестве. А стало быть пришло время обдумать этот путь и общенационально — понимание его не должно отстать от неизбежных самотекующих государственных действий.

Мы так заклинили мир, так подвели его к самоистреблению, что подкатило нам под горло самое время каяться: уж не для загробной жизни, как теперь представляется смешным, но для земной, но чтоб на Земле-то нам уцелеть. Тот, много раз предсказанный прорицателями, а потом отодвинутый конец света — из достояния мистики подступил к нам трезвой реальностью, подготовленной научно, технически и психологически. Уже не только опасность всемирной атомной войны, это мы переболели, это море нам по колено, но расчёты экологов объясняют нам нас в полном капкане: если не переменимся мы с нашим истребительно-жадным прогрессом, то при всех вариантах развития в XXI веке человечество погибнет от истощения, бесплодия и замусоренности планеты.

Если к этому добавить накал межнационального и межрасового напряжения, то не покажется натяжкой сказать: что без раскаяния вообще мы вряд ли сможем уцелеть.

Уж как наглядно, как дорого заплатило человечество за то, что во все века все мы предпочитали порицать, разоблачать и ненавидеть других, вместо того чтобы пори-

цать, разоблачать и ненавидеть себя. Но при всей наглядности мы и к исходу XX века не хотим увидеть и признать, что мировая разделительная линия добра и зла проходит не между странами, не между нациями, не между партиями, не между классами, даже не между хорошими и плохими людьми: разделительная линия пересекает нации, пересекает партии, и в постоянном перемещении то теснима светом и отдаёт больше ему, то теснима тьмою и отдаёт больше ей. Она пересекает сердце каждого человека, но и тут не прорублена канавкою навсегда, а со временем и с поступками человека — колеблется.

И если только это одно принять, тысячу раз выясненное, особенно искусством,— то какой же выход и остаётся нам? Не партийное ожесточение и не национальное ожесточение, не до мнимой победы тянуть все начатые накалённые движения,— но только раскаяние, поиск собственных ошибок и грехов. Перестать винить всех *других* — соседей и дальних, конкурентов географических, экономических, идеологических, всегда оправдывая лишь себя.

Раскаяние есть первая верная пядь под ногой, от которой только и можно двинуться вперёд не к новой ненависти, а к согласию. Лишь с раскаяния может начаться и духовный рост.

Каждого отдельного человека.

И каждого направления общественной мысли.

Правда, раскаявшиеся политические партии мы так же часто встречаем в истории как тигро-голубей. (Ещё политические деятели могут раскаиваться, многие не теряют людских качеств. А партии — видимо, вполне бесчеловечные образования, сама цель их существования запрещает им каяться.)

Зато нации — живейшие образования, доступные всем нравственным чувствам и, как ни мучителен этот шаг,— также и раскаиваю. Ведь «идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности»,— пишет Достоевский («Дневник писателя»; его примеры: еврейская нация создалась лишь после Моисея, многие из мусульманских — после Корана). «А когда с веками в данной национальности расшатывается её духовный идеал, так падает национальность и все ее гражданские уставы и идеалы.» Как же обделить нацию правом на раскаяние?

Однако тут сразу возникают недоумения, по меньшей мере такие:

(а) Не бессмысленно ли это? Ожидать раскаяния от целой нации — значит прежде допустить грех, порок, недостаток целой нации? Но такой путь мысли нам решительно запрещен, по крайней мере уже сто лет: судить о нациях в целом, говорить о качествах или чертах целой нации.

(б) Масса нации в целом не совершает единых поступков. А при многих государственных системах она даже не может ни помешать, ни содействовать решению своих руководителей. В чём же ей раскаиваться?

И наконец, даже если отвести два первых:

(в) Как может нация в целом выразить раскаяние? Ведь не больше, чем устами и перьями одиночек?

Попытаемся ответить на эти вопросы.

3

(а) Именно тот, кто оценивает существование наций наиболее высоко, кто видит в них не временный плод социальных формаций, но сложный яркий неповторимый и не людьми изобретенный организм,— тот признаёт за нациями и полноту духовной жизни, полноту взлётов и падений, диапазон между святостью и злодейством (хотя бы крайние точки достигались лишь отдельными личностями). Конечно, всё это сильно меняется с ходом времени, с течением истории, та самая подвижная разделительная черта между добром и злом, она всё время колышется по области сознания нации, иногда очень бурно,— и потому всякое суждение и всякий упрек и самоупрёк, и само раскаяние связаны с определённым временем, утекают вослед ему и только напоминательными контурами остаются в истории.

Но ведь и отдельные личности так же неизнаваемо меняются в течение своей жизни, под влиянием её событий и своей духовной работы (и в этом — надежда, и спасение, и кара человека, что изменения доступны нам и за свою душу ответственны мы сами, а не рождение и не среда!), тем не менее мы рискуем раздавать оценки «дурных» и «хороших» людей, и этого нашего права обычно не оспаривают.

Между личностью и нацией сходство самое глубокое — в мистической природе нерукотворности той и другой. И нет человеческих доводов — почему, разрешая оценивать одну изменчивость, запрещать оценивать другую. Это — не более как условность престижа, может быть и предусмотрительная против неосторожных употреблений.

Но, продолжая стоять на ощущении интуитивном, — как чувствуется, а не как указывается позитивным знанием: у подавляющего большинства людей существуют национальные симпатии и антипатии, иногда они общи какому-то кружку людей, узкому или широкому, и внутри него высказываются (не слишком вслух, стыдясь перед ликом века), иногда это чувство (любви или ненависти, но чаще ненависти, увы) такое сильное, что захлестывает целые нации и уже прорывается трубно, если не воинственно. Часто эти чувства вызваны ошибочным или поверхностным опытом субъекта, всегда — они ограничены во времени, то возникают, то гаснут, но они существуют, и даже очень категорические, это известно всем, и лицемерие — в запрете об этом говорить.

Меняются условия жизни нации — меняются и обстоятельства: есть ли ей в чём раскаяться сегодня. Сегодня — может и не быть. Но, по изменчивости существования: как человеку не прожить, не совершив греха, так не прожить и нации. И нельзя представить себе такой, которая за всю длительность своего бытия не имела бы, в чём покаяться. Без исключения каждая нация, как бы она ни ощущала себя сегодня гонимой, обделённой и неуцербно-правой, — в какое-то время несомненно внесла и свою долю бессердечия, несправедливости, надменности.

Примеров слишком много, их вереницы, а эта статья — не историческое исследование. Подлежит отдельному размышлению и: вины какой давности ещё висят на национальной совести, а какие — уже нет? Для Турции, со свежей виной в армянской резне, прежних несколько веков насилия над балканскими славянами — ещё живая вина сегодня? или уже нет? (Пусть не упрекнёт меня нетерпеливый читатель, что я не сразу начинаю с России, — конечно, вот-вот будет Россия, как можно иначе у русских?)

(б) Сейчас никто не будет оспаривать, что английский, французский или голландский народ целиком несёт на себе вину (и в душе своей — след) колониальной деятельности своих государств. Их государственная система допускала значительные помехи колонизации со стороны общества. Но помех таких было мало, нация втягивалась в это завлекательное мероприятие ктo участием, ктo сочувствием, ктo признанием.

А вот случай гораздо ближе, из середины XX века, когда общественное мнение западных стран почти господствует над деятельностью своих правительств. После окончания 2-й мировой войны британская и американская военные администрации поговору с советской систематически выдавали ей на юге Европы (Австрия, Италия) — и не только там! но и со своих территорий — сотни тысяч гражданских беженцев из СССР (это — помимо военных контингентов), не желавших возвращаться на родину, — выдавали обманом, не предупреждая, против ведома и желания, выдавали по сути на смерть, — вероятно, половина их убиита лагерями. Соответствующие документы до сих пор тщательно скрываются. Но — были живые свидетели, и сведения, конечно, растеклись среди англичан и американцев, и за четверть века было немало возможностей в тех странах послать запросы, поднять бучу, судить виновных, — но не последовало ни движения. Причина: что судьбы восточноевропейцев для сегодняшнего Запада — отдалённые тени. Однако равнодушие — никогда не снимало вины. Именно через равнодушное молчание это гнусное предательство военной администрации расплодилось и запятнало национальную совесть тех стран. И раскаяния — не выразил никто доныне.

Сегодня в Уганде ретивый генерал Амин высылает азиатов как будто своим единоличным решением, — но несомненно корыстное сочувствие населения, поживляющегося добычею высылаемых. Так начинают угандийцы свой национальный путь, и как во всех молодых странах, прежде страдавших от угнетения, а ныне рвущихся к физической силе, раскаяние — самое последнее в ряду тех чувств, которые им предстоит переживать.

Гораздо сложнее доказывать ответственность албанцев за деятельность своего фанатического правителя, тяжестью гнёта только потому обращённую внутрь, что на внешнее давление не хватает сил. Но та энтузиастическая прослойка, на которой он парит, — не из простых ли албанских семей собралась?

В том и особенность единых организмов, что они вместе пользуются и вместе страдают от действия каждого их органа. Даже когда большинство населения вовсе бесцельно помешать своим государственным руководителям — оно обречено на ответственность за грехи и ошибки тех. И в самых тоталитарных, и в самых бесправных странах

мы все несем ответственность — и за своё правительство, каково оно, и за походы наших военачальников, и за выслуги наших солдат, и за выстрелы наших пограничников, и за песни нашей молодёжи.

Тысячелетиями известно выражение: за грехи отцов. Кажется: мы не можем за них раскаиваться, мы даже не жили в то время! мы еще менее за то ответственны, чем подданные тоталитарного режима! Но выражение — не спуста взято, и слишком часто мы видели и видим *расплату* детей за отцов.

Мистически спаянная в общности вины, нация направлена и к неизбежности общего раскаяния.

(в) Индивидуальное выражение общего раскаяния не только спорно по представительности — насколько выразитель его полномочен. Оно и чрезвычайно тяжело для самих выразителей: в отличие от раскаяния индивидуального где советы посторонних и даже близких не могут иметь для тебя веса, коль скоро в это состояние ты уже вступил душою, — тот, кто взялся выразить раскаяние национальное, всегда будет подвергаться веским отговорам, укорам, предостережениям: как бы не опозорить свою страну, как бы не дать пищу её врагам. К тому ж, единолично произнося слова раскаяния в масштабах общественных, неизбежно *делить* вину, указывать на разные степени ее у разных групп, — а это уже меняет, затемняет самый дух и тон раскаяния. Только в историческом отдалении мы можем с несомненностью судить, насколько верно было передано одним человеком истинное душевное движение своей нации.

Но бывают примеры — и Россия яркой тому, когда раскаяние выражено не однократно, не единоминутно одним писателем или одним оратором, а стало постоянным чувствованием всей активной общественности. Так в XIX веке распространилось раскаяние в русской дворянской интеллигенции (даже с таким перехлёстом, что покаянники за собой уже не признавали ничего доброго, а за простым народом зикаких грехов) — и развиваясь, и захватывая интеллигенцию разночинную, и принимая реальные формы, стало историческим действием неисчислимым — и даже обратных — последствий.

Раскаяние нации вернее всего, осязательнее всего и выражается в её делах. Делах конечных.

Сильное движение раскаяния мы видим и в нашу расчётливую беспокоящую эпоху — у страны, несущей на себе вину двух мировых войн. Увы, не у всей той нации. У той половины (трёх четвертей) её, где на пути раскаяния не стала запретной бетонной стеной идеология ненависти.

Это раскаяние — не словесное, не в уверениях, а в реальных поступках, в больших уступках, драматически явлено нам через Canossa-Reise канцлера Брандта в Варшаву, в Освенцим, затем в Израиль. Элементы этого раскаяния вероятно влились и в опрометчивую *Ostpolitik*. Практически эта политика не сбалансирована, какой бывают все «политики» всегда. Она родилась, быть может, из нравственных задач, в облаке того раскаяния, которое наполнило атмосферу Германии после второй мировой войны. Именно этим нравственным импульсом, а не государственным расчётом, она и выделяется. Подобные движения жаждет увидеть сегодня и от других наций и стран. (От первых — *на с!*) Оправдала бы она себя и практически, если бы от восточноевропейских партнёров встретила бы такое же душевное движение, а не выхватывающую политическую кофусь.

4

Однако пристойно автору русскому и пишущему для России обратиться и к раскаянию — русскому. Эта статья и пишется с верой в природную склонность русских к раскаянию, к покаянию, а потому в нашу способность даже и в нынешнем состоянии найти импульс к нему и явить всемирный пример.

Неслучайно одна из опорных пословиц, выражающих русское миропонимание, была (была до революции ..)

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ.

Конечно, не от одной природы нашей так, но, влиятельней, от православия, очень искренне усвоенного когда-то всею народной толщей. (Это теперь мы почти поголовно уверены, что сила солому ломит, и соответственно служим тому.)

Дар раскаяния был послан нам щедро, когда-то он заливал собою обширную долю русской натуры. Неслучайно так высоко стоял в нашей годовой череде *прощённый день*. В дальнем прошлом (до XVII века) Россия так богата была движениями покая-

ния, что оно выступало среди ведущих русских национальных черт. В духе допетровской Руси бывали толчки раскаяния — вернее религиозного покаяния, массового: когда оно начиналось во многих отдельных грудях и сливалось в поток. Вероятно, это и есть высший, истинный путь раскаяния всенародного. Ключевский, исследуя хозяйственные документы древней Руси, находит много примеров, как русские люди, ведомые раскаянием, прощали долги, кабалу, отпускали на волю холопов, и тем значительно смягчался юридически-жестоким быт. Широкими жертвами завещателей снижался смысл материального накопления. Известна множественность покаянного ухода в скиты, в отшельничество, в монастыри. И летописи, и древнерусская литература изобилуют примерами раскаяния. И террор Ивана Грозного ни по охвату, ни тем более по методичности не разлился до сталинского во многом из-за покаянного опаматования царя.

Но начиная от бездушных реформ Никона и Петра, когда началось вытравление и подавление русского национального духа, началось и выветривание покаяния, выщипывание этой способности нашей. За чудовищную расправу со старообрядцами — кострами, щипцами, крюками и подземельями, ещё два с половиной века продолженную бессмысленным подавлением двенадцати миллионов безответных безоружных соотечественников, разгоном их во все необжитые края и даже за края своей земли, — за тот грех господствующая церковь никогда не произнесла покаяния. И это не могло не лечь валуном на всё русское будущее. А просто: в 1905 гонимых простили... (И то слишком поздно, так поздно, что самих гонителей это уже не могло спасти.)

Весь петербургский период нашей истории — период внешнего величия, имперского чванства, всё дальше уводил русский дух от раскаяния. Так далеко, что мы сумели на век или более передержать невысказанное крепостное право — теперь уже большую часть своего народа, собственно наш народ содержа как рабов, не достойных звания человека. Так далеко, что и прорыв раскаяния мыслящего общества уже не мог вызвать умиротворения нравов, но окутал нас тучами нового ожесточения, ответными безжалостными ударами обрушившимися на нас же: невиданным террором и возвратом, через 70 лет, крепостного права ещё худшего типа.

В XX веке благодатные дожди раскаяния уже не смягчали закаленной русской почвы, выжженной учениями ненависти. За последние 60 лет мы не только теряли дар раскаяния в общественной жизни, но и осмелили его. Опрометчиво было обронено и подвергнуто презрению это чувство, опустошено и то место в душе, где раскаяние, покаяние жило. Вот уже полвека мы движимы уверенностью, что виноваты царизм, патриоты, буржуа, социал-демократы, белогвардейцы, попы, эмигранты, диверсанты, кулаки, подкулачники, инженеры, вредители, оппозиционеры, враги народа, националисты, сионисты, империалисты, милитаристы, модернисты, — только не мы с тобой! Стало быть и исправляться не нам, а им. А они — не хотят, упираются. Так как же их исправлять, если не штыком (револьвером, колючей проволокой, голодом)?

Одна из особенностей русской истории, что в ней всегда, и до нынешнего времени, поддерживалась такая направленность злодеяний: в массовом виде и преимущественно мы причиняли их не вовне, а внутрь, не другим, а — своим же, себе самим. От наших бед больше всех и пострадали русские, украинцы да белорусы. Оттого и пробуждаясь к раскаянию, нам много вспоминать придётся внутреннего, в чём не укорят нас извне.

Легко ли будет всё честно вспомнить — нам, утеревшим самое чувство правды? Мы, нынешнее старшее и среднее поколения, всю нашу жизнь только и брели и хлюпали зловонным болотом общества, основанного на насилии и лжи, — как же не замараться? Есть такие прирождённые ангелы — они как будто невесомы, они скользят как будто поверх этой жижи, нисколько в ней не утопая, даже касаясь ли стопами её поверхности? Каждый из нас встречал таких, их не десятеро и не сто на Россию, это — праведники, мы видели их, удивлялись («чудаки»), пользовались их добром, в хорошие минуты отвечали им тем же, они располагают, — и тут же погружались опять на нашу обречённую глубину. Мы брели кто по шиколотку (счастливы), кто по колено, кто по пояс, кто и по горло, кому как приходилось в разное время и по особенностям натуры, а кто и вовсе погружался, лишь редкими пузырьками сохранившейся души ещё напоминая о себе на поверхности.

А общество — из кого же составлено, как не из нас? Это царство неправды, силы, бесполезности справедливого, неверия в доброе, — эта болотная жижа, она и была составлена из нас, из кого же другого? Мы привыкли, что надо подчиняться и лгать, иначе не проживёшь, — и в том воспитывали наших детей. Каждый из нас, если станет прожитую свою жизнь перебирать честно, без уловок, без упрятков, вспомнит не один та-

кой случай, когда притворился, что уши его не слышат крика о помощи, когда отвёл равнодушные глаза от умоляющего взора, сжег чьи-то письма и фотографии, которые обязан был сохранить, забыл чьи-то фамилии и знакомство со вдовами, отвернулся от конвоируемых и, конечно же, всегда голосовал, вставал и аплодировал мерзости (хоть и в душе испытывая мерзость),— а как бы иначе уцелеть? Но и: великий Архипелаг как бы иначе простоял среди нас 50 лет незамеченный?

Уж говорить ли о прямых доносчиках, предателях и насильниках, которых, наверно, тоже был не один миллион, иначе как бы управиться с таким Архипелагом?..

И если мы теперь жаждем — а мы, проясняется, жаждем — перейти наконец в общество справедливое, чистое, честное,— то каким же иным путём, как не избавясь от груза нашего прошлого, и только путём раскаяния, ибо виновны все и замараны все? Социально-экономическими преобразованиями, даже самыми мудрыми и угаданными, не перестроить царство всеобщей лжи в царство всеобщей правды: кубики не те*.

А если прольются многие миллионы раскаяний, признаний и скорбей — пусть не все публичные, пусть между друзей и знающих тебя,— то всё вместе как же это и называть, если не *раскаянием национальным*?

Но тут наша попытка, как и всякая попытка национального раскаяния, сразу напарывается на возражение из собственной среды: Россия слишком много выстрадала, чтобы ещё каяться, её надо жалеть, а не растревать напоминованием о грехах.

И правда: как наша страна пострадала в этом веке, сверх мировых войн уничтожив сама в себе до 70 миллионов человек,— так никто не истреблялся в современной истории. И правда: больно упрекать, когда надо жалеть. Но раскаяние и всегда больно, без того б ему не было нравственной цены. Те жертвы были — не от наводнений, не от землетрясений. Жертвы были и невинные, и виновные, но их страшная сумма не могла бы накопиться от рук только чужих: для того нужно было соучастие *наше, всех нас, России.*

Даже и более жёсткая, холодная точка зрения, нет — течение, определилось в последнее время. Вот оно (обнажённо, но не искажённо): русский народ по своим качествам благороднейший в мире; его история ни древняя, ни новейшая не запятнана ничем, недопустимо упрекать в чём-либо ни царизм, ни большевизм; не было национальных ошибок и грехов ни до 17-го года, ни после; мы не пережили никакой потери нравственной высоты и потому не испытываем необходимости совершенствоваться; с окраинными республиками нет национальных проблем и сегодня, ленинско-сталинское решение идеально; коммунизм даже не мыслим без патриотизма; перспективы России-СССР сияющие; принадлежность к русским или не русским определяется исключительно кровью, что же касается духа, то здесь допускаются любые направления, и православие — несколько не более русское, чем марксизм, атеизм, естественно-научное мировоззрение или например индуизм; писать Бог с большой буквы совершенно необязательно, но Правительство надо писать с большой.

Всё это вместе у них называется *русская идея*. (Точно назвать такое направление: национал-большевизм.)

«Мы русские, какой восторг!» — воскликнул Суворов. «Но и какой соблазн!» — добавил Ф. Степун после революционного нашего опыта.

А мы понимаем патриотизм как цельное и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою несправедливых её притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в раскаянии за них. Усвоить бы нам, что не бывает народов, великих вечно или благородных вечно: это звание трудно заслуживается, а уходит легко. Что величие народа не в громе труб: неоплатную духовную цену приходится платить за физическую мощь. Что подлинное величие народа — в высоте

* Линия раскаяния отчётливее понимается, отличается, если сравнить её с линией защиты гражданских прав. Вот свежий недавний пример, в нём как в капле видно. Александр Галич в прошлые годы в русле казённого творчества написал сценарий по поводу советско-французской дружбы, весьма одобренный, допущенный на советские экраны, и этим определяется его духовная цена. По случаю недавнего дипломатического торжества признано было уместным этот фильм демонстрировать снова, но фамилию провинившегося с тех пор сценариста — вырезать. И что же сценарист? Как бы естественно реагировать ему? Линия раскаяния: испытать бы радость, что позор прежней духовной сделки как бы сам отваливается от него, сам собою отпадает грех давний. Даже, может быть, и публично выступить с этим очистительным чувством? И сценарист выступает публично, да — но с *протестом*, отстаивая своё право на подпись под фильмом. Ущемленье гражданского права кажется ему важнее, чем очищение от старого греха.

внутреннего развития; в душевной широте (к счастью природенной нам); в безоружной нравственной твёрдости (какую недавно чехи и словаки показали Европе, впрочем не надолго потревожив совесть её).

В советский период ещё раздулась и ещё слепее стала заносчивость предыдущего петербургского периода. И так всё далее от раскаянного сознания это уводило нас, что не легко убедить, заставить внять наших соотечественников, что ныне мы, русские, не во славе сияющей несемса по небу, но сидим потерянные на обугленном духовном пепелище. И если не вернем себе дара раскаяния, то погибнет и наша страна, и увлечет за собою весь мир.

Только через полосу раскаяния множества лиц могут быть очищены русский воздух, русская почва, и тогда сумеет расти новая здоровая национальная жизнь. По слою лживому, неверному, закоренелому — чистого вырастить нельзя.

5

Пытаясь выразить национальное раскаяние, приходится испытать не только враждебное сопротивление с одной стороны, но и страстное вовлечение с другой. Писал С. Булгаков, что «только страдающая любовь даёт право на национальное самозаушение»*. Кажется: нельзя «раскаиваться», ощущая себя сторонним или даже враждебным тому народу, «за» который взялся раскаиваться? Однако, именно такие охотники уже проявились. А при затемнённости нашей близкой истории, уничтожении архивов, потере свидетельств, потому беззащитности нашей от любых самоуверенных и непроверенных суждений, от любых обидных извращений, вероятно много ждёт нас таких попыток, и вот первая же из них — достаточно настойчивая, претендующая быть не меньше, как «национальным раскаянием».

Не миновать её тут разобрать. Это статьи в № 97 «Вестника Русского Христианского Студенческого Движения», особенно — «Metanoia» (самоосуждение, самопроверка, от Булгакова же и взято, из 1911 года) анонимного автора NN и «Русский мессианизм» такого же анонима Горского.

В самом смелом Самиздате всё равно будет оглядка на условия. Здесь — в зарубежном издании и анонимы, авторы решительно не опасаются ни за себя, ни за читателей и пользуются случаем однажды в жизни излить душу — чувство, очень понятное советскому человеку. Резкость — предельная, слог становится развязен, даже и с заносом, авторы не боятся не только властей, но уже и читательской критики: они невидимки, их не найти, с ними не поспорить. Ещё и от этого урезчены их судейские позиции по отношению к России. Нет и тени совинновности авторов со своими соотечественниками, с нами, остальными, а только: обличение безнадежно порочного русского народа, тон презрения к совращённым. Нигде не ощущается «мы» с читателями. Авторы, живущие среди нас, требуют покаяния от нас, сами оставаясь неуязвимы и невинны. (Эта их чужеродность наказывает их и в языке, вовсе не русском, но в традиции поспешно-переводной западной философии, как торопились весь XIX век.)

Статьи совершают похороны России со штыковым проколом на всякий случай — как хоронят эзков: лень проверять, умер ли, не умер, прокалывая штыком и сбрасывая в могильник.

Вот несколько утверждений оттуда.

— (Горский) Русский народ, начиная свой бунт против Бога, з н а л, что осуществление социалистической религии возможно лишь через деспотизм.

Да когда ж это мы в лаптях были так остро развиты? Бунт начинала — интеллигенция, но и она не знала того, что так доступно формулировать в 70-е годы XX века.

— (NN) Россией принесено в мир Зла больше, чем любой другой страной.

Не станем говорить, что Россией принесено в мир мало зла. А — так называемая Великая французская революция и, стало быть, Франция, принесли зла — меньше? Это — подсчитано? А Третий Райх? А марксизм сам по себе? уж даже если ни о ком другом... И наоборот: наш бесчеловечный опыт, который мы перенесли в основном собственной кровью и кровью роднейших нам народов, — может быть и пользу принёс кое-кому на Земле подальше? Может быть научил кое-где правящие тупые классы в чем-то уступить? Может быть, освобождение колониального мира произошло не без влияния

* С. Булгаков. „Два града“. М., 1911, т. 2, стр. 289.

октябрьской революции, как реакция — не допустить до нашего? Это Бог один может знать, это не нам судить, какая страна принесла больше всех зла.

- (Горский) «В революцию народ оказался мнимой величиной». «Собственная национальная культура совершенно чужда русскому народу.» Доказательство: «В первые годы революции иконы оказались пригодны на дрова, храмы на кирпичи.»

Вот это и есть: приходи кто хочешь и суди с наскака, наши летописи изничтожены. Если народ оказался мнимой величиной — тогда он в революции и не виноват, вопреки остальным обвинениям? Если он оказался мнимой величиной — кто же тогда сопротивлялся разливистыми крестьянскими восстаниями — тамбовским, сибирским? До мнимости ещё надо было его довести многолетним истреблением, согбением и соблазном — и именно об этом истреблении Горский как будто не ведаёт. Сложный процесс — и до чего ж упрощён. В 1918 русские крестьяне поднимались за церковь на бунты, и таких насчитывается несколько сот, подавленных красным оружием. Вот после того, как уничтожили духовенство и вырезали защитников веры в крестьянстве и в городских приходах, остальных напугали, а подросла комсомольско-пионерская молодёжь, — после этого, да, пошли храмы ломами бить (и то больше: комсомольцы да по службе на эту работу поставленные). Но и с тех пор в северных краях столичным искателям не «за бесценок продаются» иконы, как пишет знающий автор (за бутылку бывает, да), а и даром же отдаются: считается грехом брать деньги за них. А вот прогрессивные юные интеллигенты, получившие такой подарок, этими иконами нередко потом выгодно торгуют с иностранцами.

Но более всего в объёмной этой публикации отдаётся пыла и страниц разоблачению русского мессианизма.

- (Горский) «Преодоление национального мессианского соблазна — первоочередная задача России.» Русский мессианизм — живучее самой России: Россия умерла, она «археологична», как Византия, а мессианизм её не умер, переродился в советский.

Такое лукавое извращение нашей истории даже не сразу понимается, настолько не ожидаешь его. Сперва с дутым академизмом прослеживается «история» злосчастного бессмертного мессианизма, который однако почему-то пребывал в России не всегда: два века (с XV по XVII) будто бы наличествовал, потом два века явно начисто отсутствовал, потом в XIX веке будто опять возник (и «захватывал интеллигенцию»), — кто помнит такое?, в революцию прикинулся «пролетарским мессианизмом», а в последние десятилетия совлёк маску и снова открылся как русский мессианизм. Так на пунктире, в натяжках и перескоках, идея Третьего Рима вдруг выныривает в виде... Третьего Интернационала! (Ученическое повторение заносов Бердяева.) С ненавидящим настынием по произволу извращается вся русская история для какой-то всё неулавливаемой цели — и это под соблазнительным видом *раскаяния*! Удары будто направлены всё по Третьему Риму да по мессианизму, — и вдруг мы обнаруживаем, что лом долбит не дряхлые стены, а добивает в лоб и в глаз — давно опрокинутое, еле живое русское национальное самосознание. И вот как уцеливает:

- «русская идея есть главное содержание большевизма!» «Кризис коммунистической идеи есть кризис того источника веры, которым долго (по тексту — веками, А. С.) жила Россия.»

Вот как, под видом раскаяния, нас выворачивают и топчут. Россия «долгое время жила» православием, известно. А главное содержание большевизма — неуёмный, воинственный атеизм и классовая ненависть. Так вот, по нео-христианскому автору это всё едино суть. Традиция бешеного атеизма принята в традицию древнего православия. «Русская идея» — «главное содержание» интернационального учения, пришедшего к нам с Запада? А когда Марат требовал «миллион голов» и утверждал, что голодный имеет право съесть сытого (какие знакомые ситуации!), — это тоже было «русское мессианское сознание»? Коммунистическими движениями кишела Германия XVI века, — отчего же в России в XVII веке, в Смутное время, при такой «русской идее» ничего подобного не было?

- (NN) «Только на основе вселенской русской спеси стал возможен соблазн революции.»

Как это сплести? Если на «вселенской русской спеси» стоял царизм, а революция есть разрушение и смывание кровью всей конструкции царизма, то почему же она *происходит* от «русской спеси»?

— (Челнов) «Пролетарский мессианизм приобретает ярко выраженный русофильский характер.»

Это сегодня, сейчас приобретает, когда половина русских находится в крепостном состоянии, без паспортов. А найдём ли память и мужество вспомнить те первые революционные лет 15, когда «пролетарский мессианизм приобрёл ярко выраженный» русофобский характер? Те годы, с 1918 по 1933, когда «пролетарский мессианизм» уничтожил цвет русского народа, цвет старых классов — дворянства, купечества и священства, потом цвет интеллигенции, потом цвет крестьянства? Пока он ещё не принял «ярко выраженного русофильского характера», а имел ярко выраженный русофобский, — что скажем о времени том?..

— (NN, Челнов) Большевизм есть органическое порождение русской жизни.

Так или не так — об этом ещё долго и многие будут споры идти. И решение не может найтись ни в чьей публицистической горячности, но — подробными обоснованными исследованиями. Один «Тихий Дон» — подлинный, не искажённый безграмотными врезками, больше свидетельствует здесь, чем дюжина современных публицистов. Ещё долго будут спорить наши учёные и художники: была ли русская революция следствием уже произошедшего в народе нравственного переворота? Или наоборот? И да не будут при том забыты никакие обстоятельства, теперь не напоминаемые.

Конечно, побеждая на русской почве, как движению не увлечь русских сил, не приобрести русских черт! Но и вспомним же интернациональные силы революции! Все первые годы революции разве не было черт как бы иностранного нашествия? Когда в продовольственном или карательном отряде, приходившем уничтожать волюсть, случилось — почти никто не говорил по-русски, зато бывали и финны, и австрийцы? Когда аппарат ЧК избивал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами? Когда большевистская власть в острые ранние периоды гражданской войны удерживалась на перевесе именно иностранных штыков, особенно латышских? (Тогда этого не скрывали и не стыдились.) Или позже, все 20-е годы, когда во всех областях культуры (и даже в географических названиях) последовательно вытравлялась вся русская традиция и русская история, как бывает разве только при оккупации, — это желание самоуничтожиться тоже было проявлением «русской идеи»? Замечает Горский, что году в 1919 границы Советской России примерно совпадали с границами Московского царства, — значит, большевизм в основном поддержали русские... Но ведь эту географию и так можно истолковать, что русские в основном вынуждены были *принять его на свои плечи*, и только? А разве знаем мы на Земле хоть один народ, который в XX веке был застигнут пришедшей волной коммунизма и устоял против него, встряхнулся? Таких примеров ещё нет, кроме Южной Кореи, где помогала ООН. Был бы ещё Южный Вьетнам, да, кажется, дали ему подножку. И что же теперь, коммунизм на Кубе и во Вьетнаме «есть органическое порождение русской жизни»? А «марксизм — одна из форм народническо-мессианского сознания» — во Франции? в Латинской Америке? в Танзании? И всё это — от немытого старца Филофея?

Как же разрушена, перекорёжена и затемнена русская история XX века, если не знающие её такие самоуверенные могут являться к нам судьи! Своим равнодушием мы рискуем дожить, что вообще провалятся в небытие 50—100 лет русской истории, и никто уже ничего достоверного о них не установит — будет поздно.

Группа статей в № 97 — не случайность. Это, может быть, замысел: нашей беспомощностью воспользоваться и выворотить новейшую русскую историю — на с же, русских, одних обвинить и в собственных бедах и в бедах тех, кто поначалу нас мучил, и в бедах едва ли не всей планеты сегодня. Эти обвинения — характерны, проворно выгащены, беззастенчиво подкиннуты, и уже предвидится, как нам будут их прижигать и прижигать.

Вся и моя статья написана не для того, чтобы применить вину русского народа. Но и не соскребать же на себя все вины со всей магушки Земли. Не имели защитной прививки — да, растерялись — да, поддались — да, потом и отдались — да! Но — не изобрели первые и единственные мы, ещё с XV века!

Не мы одни — и многие так, едва ли не все: подкатывает пора — поддаются, от-

даются, и даже при меньшем давлении, чем отдались мы, и при лучших традициях, нежели у нас, и даже — «с большой охотой». (Наша краткая история от Февраля до Октября оказалась сжатым конспектом позднейшей и нынешней истории Запада.)

Так уже при начале раскаяния получаем мы предупреждения, какими обидами и клеветами будет утыкан этот путь. Кто начинает раскаиваться первым, раньше других и полной, должен ждать, что под видом покаянщиков слетятся и корыстные, печень твою клеветать.

А выхода нет всё равно: только раскаяние.

6

Может оказаться, что мы уже не способны к этому мечтаемому пути поиска и признания своих ошибок, грехов и преступлений. Но тогда и нельзя увидеть нравственного выхода из нашего провала. А всякий другой выход — не выход. Лишь временный общественный самообман.

Если же мы окажемся настолько ещё не погибшими, что найдём в себе силы пройти эту жгучую полосу общенационального раскаяния, раскаяния внутреннего, что мы тут, внутри страны, наделали сами над собою, — то возможно ли будет России на этом остановиться? Нет, нам придётся решимость в себе найти ещё и на следующие шаги: на признание грехов внешних, перед другими народами.

А их немало у нас. И для очищения мирового воздуха и для убеждения других в нашей искренней расположенности, мы не должны ни скрывать этих грехов, ни комкать, ни смягчать в воспоминаниях. Я думаю: если ошибиться в раскаянии, то верней — в сторону большую, в пользу других. Принять заранее так: что нет таких соседей, перед которыми мы невиновны. Как в прощёный день просят прощения у всех окружающих.

Охват раскаяния — бесконечен. Тут не избежать и давних грехов, и то, что другим мы можем зачестить в давность, себе — не имеем права. Страницами несколькими ниже предстоит говорить о будущности Сибири — и всякий раз при этом вздрагивает сердце о нашем предавшем грехе потеснения и истребления коренных сибирцев. И какая ж тут давность? Будь сегодня Сибирь густо населена исконными народностями, наш нравственный шаг мог быть бы только один: уступить им их землю и не мешать их свободе. Но поскольку лишь эфемерным рассеянием они присутствуют на сибирском континенте — дозволено нам искать там своё будущее, с братской нежностью заботясь о коренных, помогая им в быте, в образовании и не навязывая им силую ничего своего.

Исторический обзор — не предмет этой статьи, уже не допускает и объём её. Нашлось бы там достаточно наших вин — таких, как перед горным Кавказом: завоевательный русский натиск XIX века (вовремя и осуждённый русскими великими писателями) и выселение XX века (о котором и сами-то кавказские писатели не смеют).

Раскаяние — всем всегда тяжело. И не только через порог себялюбия, но ещё и потому, что свои вины себе хуже видны.

Возьмём ли русско-польскую линию — нет и здесь конца узлам вин. Проследить их — поучительно в самом общечеловеческом смысле. (Сегодня, когда и поляки и мы раздавлены насилием, может показаться неуместным такое историческое разбирательство. Но я пишу — впрок. Когда-нибудь прозвучит и уместно.)

О наших винах перед Польшей у нас в России достаточно говорено, и в нашей памяти наслоилось, убеждать не надо. Три раздела Польши. Подавление восстаний 1830 и 1863 годов. После того русификация: вовсе запретили начальную польскую школу, в гимназиях даже польский язык преподавался на русском и был не обязательен, на квартирах ученикам между собою запрещалось говорить по-польски! В XX веке — упорное вымучивание, как не дать Польше независимость, лукавое двусмысленное поведение русского руководства в 1914—16 годах.

Но зато: сколько же и звучало с русской стороны раскаяния, начиная от Герцена, и как же едино было сочувствие полякам всего русского образованного общества, так что в кругах Прогрессивного блока польская независимость не считалась меньшей целью войны, чем сама русская победа.

Если же по событиям новейшим, в советское время, такого общественного раскаяния в России не прозвучало, то лишь по обстановке нашей подавленности, а помнят все, ещё будут поводы назвать громко: высоко-благородный удар в спину гибнущей Польше 17 сентября 1939 года; и уничтожение цвета Польши в наших лагерях; и отдельно Катынь; и злорадное холодное наше стояние на берегу Вислы в августе

1944 года, наблюдение в бинокли, как на том берегу Гитлер давит варшавское восстание национальных сил,— чтоб им не воспрять, а мы-то найдем, кого поставить в правительство. (Я был там рядом и говорю уверенно: при динамике нашего тогдашнего движения форсировка Вислы не была для нас затруднительна, а изменила бы судьбу Варшавы.)

Но подобно тому, как одни люди легче раскрываются раскаянию, а другие сопротивительней и даже вовсе ни на щелочку,— так, мне кажется, и нации есть более и менее склонные к раскаянию.

В предыдущие века расцветная, сильная, самоуверенная Польша не короче по времени и не слабее завоевывала и угнетала нас. (XIV—XVI века — Галицкую Русь, Подолию. В 1569 по Люблинской унии присоединение Подлясья, Волыни, Украины. В XVI-м — поход на Русь Стефана Батория, осада Пскова. В конце XVI века подавлено казачье восстание Наливайко. В начале XVII-го — войны Сигизмунда III, два самозванца на русский престол, захват Смоленска, временный захват Москвы; поход Владислава IV. В тот миг поляки едва не лишили нас национальной независимости, глубина той опасности была для нас не слабей татарского нашествия, ибо поляки посягали и на православие. И у себя внутри систематически подавляли его, вгоняли в унию. В середине XVII-го — подавление Богдана Хмельницкого, и даже в середине XVIII-го — подавление крестьянского восстания под Уманью.) И что ж, прокатилась ли волна сожаления в польской литературе? Никогда никакой. Даже ариане, настроенные против всяких войн вообще, ничего особо не высказали о покорении Украины и Белоруссии. В наше Смутное Время восточная экспансия Польши воспринималась польским обществом как нормальная и даже похвальная политика. Поляки представлялись сами себе — избранным божьим народом, бастионом христианства, с задачей распространить подлинное христианство на «полуязычников»-православных, на дикую Московию, и быть носителями университетской ренессансной культуры. И когда во 2-й половине XVIII века Польша испытывала упадок, затем и после разделов её, публично высказывались об этом размышления, сожаления, они носили характер государственно-политический, но никак не этический.

Правда, не всегда разделишь, где общенациональная черта, где отпечаток социального строя. Польский строй со слабыми выборными королями, всесильными магнатами и безмерным своеволием шляхты вёл к шумному самопроявлению её, исключал самоограничение, делал неуместным раскаяние. При таком строе образованные поляки чувствовали себя участниками и деятелями совершаемого, никак не сторонними наблюдателями. Русское же раскаяние XIX и начала XX века облегчалось тем, что осудители политики могли считать себя несоучастными: это всё совершают *они*, царь не советовался с обществом.

Но может быть польское раскаяние выразилось в *делах*? Больше столетия испытывав горечь разделённого состояния, вот Польша получает по Версальскому миру независимость и немалую территорию (опять за счёт Украины и Белоруссии). Каковы ж первые внешние действия её? Пилсудский (кстати — социалист и одноделец Александра Ульянова по процессу) ловит момент создать «Великую Польшу от моря до моря». Но для этого он не только не выступает против большевиков, а выжидает ослабления России от гражданской войны. Осенью 1919, в момент наибольших успехов Деникина, Пилсудский ведёт тайные переговоры с большевиками через Мархлевского, гарантирует им своё невмешательство и тем разрешает снять крупные красные силы с белорусского направления на битву под Орлом. Весной 1920, когда Деникин разбит и ждать не остаётся,— Польша энергично нападает на Советскую Россию, берёт Киев, с целью затем выйти к Черному морю. У нас в школах учат (чтобы было страшней), что это был «Третий поход Антанты», и что Польша координировалась с белыми генералами, дабы восстановить царизм. Вздор, это было самостоятельное действие Польши, переждавшей разгром всех главных белых сил, чтобы не быть с ними в невольном (и обязывающем) союзе, а самостоятельно грабить и кромсать Россию в её наиболее истерзанный момент. Эта цель Польше не вполне удалась. В августе 1920, при начавшемся крупном наступлении Врангеля, Польша, напротив, вступает в мирные переговоры с большевиками (и берет с Советов контрибуцию). Следующее внешнее действие её, 1921 года: незаконное отобрание Вильнюса со всюю областью от слабой Литвы. И никакая Лига Наций, никакие призывы и увещания не подействовали: так и продержала Польша захваченный кусок до самых дней своего падения. Кто помнит её национальное раскаяние в связи с этим? На украинских и белорусских землях, захваченных по договору 1921 года,

велась неуклонная колонизация, по-польски звучали даже православные церковные проповеди и преподавания закона Божьего. И в пресловутом 1937 году (!) в Польше рушили православные церкви (более ста, среди них — и варшавский собор), арестовывали священников и прихожан.

И как же над этим всем подняться нам, если не взаимным раскаянием?..

И не правда ли, есть ощущение: острота раскаяния, как личного, так и национального, очень зависит от сознания встречной вины? Если обиженный нами обидел когда-то и нас — наша вина не так надрытна, та встречная вина всегда бросает ослабляющую тень. Татарское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды. Вина перед эстонцами и литовцами всегда больней, стыдней, чем перед латышами или венграми, чьи винтовки довольно погрохали и в подвалах ЧК и на задворках русских деревень. (Отвергаю непременные здесь возгласы: «так это не те! нельзя же с одних — на других!..») И мы — не те. А отвечаем все — за всё.)

Это — лучший довод в пользу раскаяния всеобщего. И какое же очищение, даже восторженное, вызывает у нас, когда враги признают свою вину перед нами! С каким рвением добрым хочется перехлестнуть их в раскаянии, превзойти в великодушии!

Но теряет раскаяние смысл, если на нём и обрывается: порыдать, да жить по-прежнему. Раскаяние есть открытие пути для новых отношений. Новых отношений — и между нациями.

Как всякое раскаяние, так и раскаяние нации предполагает возможность прощения со стороны обиженных. Но ожидать прощения, прежде того самим не настроившись простить, — невозможно. Путь взаимного раскаяния есть и путь взаимного прощения.

Кто — не виновен? Виновны — все. Но где-то должен быть пресечен бесконечный счёт обид, уж не сравнивая их по давности, по весу и по объёму жертв. Ни сроки, ни сила обид сравняться никогда не могут, ни между какими соседями. Но могут сравняться чувства раскаяния.

Картина такая мне несколько не кажется идиллической, отвлечённой, не относящейся к современной ситуации. Напротив. Как нельзя построить хорошего общества при дурных отношениях между людьми, так и хорошего человечества не будет при дурных, затаённо-мстительных отношениях наций. И никакая позитивная внешняя политика и никакие ловчайшие усилия дипломатов так не договаривать договора, чтобы каждая сторона находила успокоение своей гордости, не заглушат семян раздора и не устранят новых и новых конфликтов.

Сейчас вся атмосфера ООН пересыщена ненавистью и злорадством — тем, с которым Ассамблея ликовала (даже, говорят, на скамьи вскакивали экспансивные члены), когда 10 миллионов китайцев Тайваня выкинули из человеческой семьи за то, что они не подчинились тоталитарному захвату.

Без установления существенно новых, добрых отношений между нациями вся задача «всеобщего мира» есть или утопия или шаткая эквилибристика.

Взаимных вин особенно много накапливается в государствах многонациональных и в федерациях — таких, как раньше была Австро-Венгрия, как сейчас СССР, Югославия, Нигерия, многоплеменные и многорасовые африканские государства. Для того чтобы такие государства существовали при внутренней прочности, а не на спайке понуждающей силы, никак не обойтись без развитого чувства раскаяния у живущих там народов — иначе под любой золою будет вечно тлеть и снова, снова вспыхивать огонь, и не будет прочности у этих стран. Западные пакистанцы были безжалостны к восточным — и страна развалилась, но и от этого не утихла ненависть. Напротив, с помощью английского и советского оружия и при равнодушии всего мира север Нигерия кроваво исправилась с её востоком, и страну удержали в единстве, — но если это не будет исправлено раскаянием и добром победителей — не будет той стране прочности и здоровья.

Раскаяние есть только подготовка почвы, только подготовка чистой основы для нравственных действий впредь — того, что в частной жизни называется *исправлением*. И как в частной жизни исправлять содеянное следует не словами, а делами, так тем более — в национальной. Не столько в статьях, книгах и радиопередачах, сколько в национальных поступках.

По отношению ко всем окраинным и заокраинным народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу.

После раскаяния и при отказе от насилия выдвигается как самый естественный принцип — самоограничение. Раскаяние создает атмосферу для самоограничения.

Самоограничение отдельных людей много раз наблюдается, описано, хорошо всем известно. (Не говоря уже, как оно приятно окружающим в быту, — оно может иметь для человека универсально-полезный характер и во всех областях его деятельности.) Но, сколько знаю, не проводило последовательно самоограничения никакое государственное образование и такой задачи в общем виде себе не ставило. А когда ставило в худую минуту в частной области (продовольствие, топливо и др.), то отлично себя самоограничение оправдывало.

Всякий профессиональный союз и всякий концерн добивается любыми средствами занять наиболее выгодное положение в экономике, всякая фирма — непрерывно расширяться, всякая партия — вести своё государство, среднее государство — стать великим, великое — владеть миром.

Мы с большой охотой порываемся ограничить *других*, тем только и заняты все политики, но сегодня высмеян будет тот, кто предложит партии или государству ограничить *себя* — при отсутствии вынуждающей силы, по одному этическому зову. Мы напряжённо следим, сторожим, как обуздать непомерную жадность *другого*, но не слышно отказов от непомерной жадности *своей*. Не раз уже дала нам история примеры кровопролитий, когда была обуздана жадность меньшинства, — но кто и как обуздает распалённую жадность большинства? Ведь только — оно само.

А мысль об общественном самоограничении — не нова. Вот мы находим её столетие назад у таких последовательных христиан, как русские старообрядцы. В их журнале «Истина» (Иоганисбург, 1867, № 1) в статье К. Голубова, корреспондента Огарёва и Герцена, читаем:

«Своей безнравственной борзостью подчиняется народ злостраданию. Не то есть истинное благо, которое достигается путём восстаний и отъятия: это скорее будет бесчестие развратной совести; но то есть истинное прочное благо, которое достигается *гальновидным самостеснением*» (выделено мною, А. С.).

И в другом месте:

«Кроме самостеснения нет истинной свободы человеческой.»

(!) После западного идеала неограниченной свободы, после марксистского понятия свободы как осознанно-неизбежного ярма, — вот воистину христианское определение свободы: свобода — это самостеснение! самостеснение — ради других!

Такой принцип — однажды понятый и принятый, вообще переключает нас — отдельных людей, все виды наших ассоциаций, общества и нации, — с развития внешнего на внутреннее, и тем углубляет нас духовно.

Поворот к развитию внутреннему, перевес внутреннего над внешним, если он произойдёт, будет великий поворот человечества, сравнимый с поворотом от Средних Веков к Возрождению. Изменится не только направление интересов и деятельности людей, но и самый характер человеческого существа (от духовной разбросанности к духовной сосредоточенности), тем более — характер человеческих обществ. Если процессу этому суждено где-то пройти революционно, то революции эти будут не прежние — физические, кровопролитные и никогда не благодатные, но *революции нравственные*, где нужны и отвага, и жертва, но не жестокость, — некий новый феномен человеческой истории, ещё неизвестный, ещё никем не провидимый в четких ясных формах. Рассмотрение всего этого выходит за рамки нашей статьи.

Но и в материальной сфере такой поворот отчетливо скажется. Человеку — не выколачиваться в жажде всё большего и большего заработка и захвата, но экономно, разумно, бессумятно тратить то, что у него есть. Государству — не как сейчас, не применять силу даже иногда без ясной цели, если где давится — непременно дави, если какая стенка поддаётся передвигай — передвигай, но и между государствами принять индивидуальную мораль: не делай другому, чего не хотел бы себе; но — углублённо осваивать то, что имеешь. Только так и может создаться упорядоченная жизнь на планете.

Понятие о неограниченной свободе возникло в тесной связи с ложным, как мы теперь узнали, понятием «бесконечного прогресса». Такой прогресс невозможен на нашей ограниченной Земле с ограниченными поверхностями и ресурсами. Перестать толкаться и самостесниться — все равно неизбежно: при бурном росте населения нас к

этому скоро вынудит сама матушка Земля. Но насколько было бы духовно ценней и субъективно легче принять принцип самоограничения — прежде того, *гальновидным самостеснением*.

Нелёгко будет такой поворот западной свободной экономике, это революционная ломка, полная перестройка всех представлений и целей: от непрерывного прогресса перейти к стабильной экономике, не имеющей никакого развития в территории, объемах и темпах (а лишь — в технологии, и то успехи её отсеиваются весьма придирчиво). Значит, отказаться от заразы внешней экспансии, от рыска за новыми и новыми рынками сырья и сбыта, от роста производственных площадей, количества продукции, от всей безумной гонки наживы, рекламы и перемен. Стимул к самоограничению ещё никогда не существовал в буржуазной экономике, но как легко и как давно он мог быть сформулирован из нравственных соображений! Исходные понятия — частной собственности, частной экономической инициативы — природны человеку, и нужны для личной свободы его и нормального самочувствия, и благодетельны были бы для общества, если бы только... если бы только носители их на первом же пороге развития *самоограничились*, а не доводили бы размеров и напора своей собственности и корысти до социального зла, вызвавшего столько справедливого гнева, не пытались бы покупать власть, подчинять прессу. Именно в ответ на бесстыдство неограниченной наживы развился и весь социализм.

Но русскому автору сегодня — не этими заботами голову ломать. Аспектов самоограничения — международных, политических, культурных, национальных, социальных, партийных — тьма. Нам бы, русским, разобраться со своими.

И показать пример широкой души. Небесплодности раскаяния.

В той надежде и вере я и пишу эту статью.

8

Может быть, как никакая страна в мире, наша родина после столетий ложного направления своего могущества (и в петербургский и в советский периоды), стянувши столько ненужного внешнего и так много погубивши в себе самой, теперь, пока не окончательно упущено, нуждается во всестороннем *внутреннем* развитии: и духовно, и как последствие — географически, экономически и социально.

Наша внешняя политика последних десятилетий представляется как бы нарочито составленной вопреки истинным потребностям своего народа. За судьбы Восточной Европы мы взяли на себя ответственность, не сравнимую с нашим сегодняшним духовным уровнем и нашей способностью понимать европейские нужды и пути. Эту ответственность мы самоуверенно готовы распространить и на любую страну, как бы далеко она ни лежала, хотя б на обратной стороне земного шара, лишь бы она проявляла намерение национализировать средства производства и централизовать власть (эти признаки по марксистской теории — ведущие, все остальные — национальные, бытовые, тысячелетний культур — второстепенны). Наша страна неутомимо вмешивается в конфликты всех материков, судит и рядит, подталкивает к ссорам и бесстыдно гонит оружие первым товаром советского экспорта (то, что в советских газетах до 40-х годов называлось «торговцы кровью»)*. В погоне за всеми этими искусственными целями, никак не нужными нашей нации, мы истощили свои силы, мы подорвали свои поколения: предыдущие — больше физически, сегодняшние — больше духовно.

Мы — устали от этих всемирных, нам не нужных задач! Нуждаемся мы отойти от этого кипения мирового соперничества. От рекламной космической гонки, никак не нужной нам: что подбираться к оборудованию лунных деревень, когда хилеют и непригодны стали для житья деревни русские? В безумной индустриальной гонке мы стянули непомерные людские массы в противоестественные города с торопливыми нелепыми постройками, где мы отравляемся, издёрживаемся и вырождаемся уже с юных лет. Изнурение женщин вместо их равенства, заброшенность семейного воспитания, пьянство, потеря вкуса к работе, упадок школы, упадок родного языка — целие духовные пустыни плешами выедают наше бытие, и только на преодолении и х ожидает нас престиж истинный, а не тленный. Дальних ли тёплых морей нам добиваться или что-бы теплота разлилась между собственными гражданами вместо злобы?

А ещё ко всему, похваляясь своею передовитостью, мы рабски копировали за-

* По данным западных специалистов с 1955 по 1970 СССР продал оружия на 28 миллиардов долларов; в 70-х годах его доля в мировой торговле оружием — 37,5%.

падный технический прогресс и вместе с ним бездумно впоролись в кризисный тупик, угрожающий сегодня существованию всего человечества.

Как семья, в которой произошло большое несчастье или позор, старается на некоторое время уединиться ото всех и переработать своё горе в себе, так надо и русскому народу: побыть в основном наедине с собою, без соседей и гостей. Сосредоточиться на задачах внутренних: на лечении души, на воспитании детей, на устройстве собственного дома.

Лечение наших душ — ничего нет для нас важнее теперь, после всего отжитого, после нашего всежизненного участия во лжи и даже злодействах. Поколения старшие быть может уже и не успеют с этим, но с тем большей ревностью и самоотверженностью мы должны заняться воспитанием наших детей, чтобы выросли они по чистоте несравнимы с нашим падшим обществом. *Школа* — это ключ в будущую Россию! А такая задача — худым родителям и воспитателям вырастить добрую смену, — противоречива, сложна, не в одну волну решается, бесцётных усилий требует: всю систему народного просвещения надо пересоздать и не отбросными, но лучшими силами народа. На то пойдут и миллиардные затраты — и взять их надо за счёт трат наших внешних, ненужных, хвастливых. Надо перестать выбегать на улицу на всякую драку, но целомудренно уйти в свой дом, пока мы в таком беспорядке и потерянности.

К счастью, дом такой у нас есть, ещё сохранён нам историей, неизгаженный просторный дом — русский Северо-Восток. И отказавшись наводить порядки за океанами, и перестав пригребать державною рукой соседей, желающих жить вольно и сами по себе, — обратим своё национальное и государственное усердие на неосвоенные пространства Северо-Востока, чья пустыньность уже нетерпима становится для соседей по нынешней плотности земной жизни.

Северо-Восток — это Север Европейской России — Пинега, Мезень, Печора, это и — Лена и вся средняя полоса Сибири, выше магистрали, посегодня пустующая, местами нетронутая и незнаемая, каких почти не осталось пространств на цивилизованной Земле. Но и тундра и вечная мерзлота Нижней Оби, Ямала, Таймыра, Хатанги, Индигирки, Колымы, Чукотки и Камчатки не могут быть покинуты безнадежно при технике XXI века и перенаселении его.

Северо-Восток — тот ветер, к нам, описанный Волопиным:

В этом ветре — вся судьба России...

Северо-Восток — тот вектор, от нас, который давно указан России для её естественного движения и развития. Он уже понимался Новгородом, но заброшен Московскою Русью, осваивался самостоятельным негосударственным движением, потом извольным бегунством старообрядцев, а Петром не угадан, и в последний полувек тоже, по сути, пренебрежён, несмотря на шумные планы.

Северо-Восток — это напоминание, что мы, Россия, — северо-восток планеты, и наш океан — Ледовитый, а не Индийский, мы — не Средиземное море, не Африка, и делать нам там нечего! Наши рук, наших жертв, нашего усердия, нашей любви ждут эти неохватные пространства, безрасудно покинутые на четыре века в бесплодном избыбании. Но лишь два-три десятилетия ещё, может быть, оставлены нам для этой работы: иначе близкий взрыв мирового населения отнимет эти пространства у нас.

Северо-Восток — ключ к решению многих якобы запутанных русских проблем. Не жадничать на земли, не свойственные нам, русским, или где не мы составляем большинство, но обратить наши силы, но воодушевить нашу молодость — к Северо-Востоку, вот дальновидное решение. Его пространства дают нам выход из мирового технологического кризиса. Его пространства дают нам место исправить все нелепости в построении городов, промышленности, электростанций, дорог. Его холодные, местами мёрзлые пространства ещё далеко не готовы к земледелию, потребуют необъятных вкладов энергии, — но сами же недра Северо-Востока и таят эту энергию, пока мы её не разбазарили.

Северо-Восток не мог оживиться лагерными вышками, криками конвойных, лаем человекоядных. Только свободные люди со свободным пониманием национальной задачи могут воскресить, разбудить, излечить и инженерно украсить эти пространства.

Северо-Восток — более звучания своего и глубже географии будет означать, что Россия предпримет решительный выбор *самоограничения*, выбор вглубь, а не вширь, внутрь, а не вовне; всё развитие своё — национальное, общественное, воспитательное, семейное и личное развитие граждан, направит к расцвету внутреннему, а не внешнему.

Это не значит, что мы закроемся в себе уже навек. То и не соответствовало бы общительному русскому характеру. Когда мы выздоровеем и устроим свой дом, мы несомненно еще сумеем и захотим помочь народам бедным и отсталым. Но — не по политической корысти: не для того, чтоб они жили по-нашему или служили нам.

Возразят: но как далеко могут нация, общество, государство зайти в самоограничении? Ведь роскошь произвольных и вполне самоотверженных решений, какая есть у отдельного человека, не может быть допущена целым народом. Если народ перешёл к самоограничению, а соседи его — нет, — должен ли он быть готов противостоять насилию?

Да, разумеется. Силы защиты должны быть оставлены, но лишь подлинно — защиты, но лишь соразмерно с непридуманною угрозой, не самодовлеющие, не самозатягивающие, не для роста и красоты генералитета. Оставлены — в надежде, что начнёт же меняться и вся атмосфера человечества.

А не начнёт меняться, — так уже рассчитано: жизни нам всем осталось менее ста лет.

Ноябрь 1973

ОБРАЗОВАНЩИНА

1

Роковые особенности русского предреволюционного образованного слоя были основательно рассмотрены в «Вехах» — и возмущённо отвергнуты всею интеллигенцией, всеми партийными направлениями от кадетов до большевиков. Пророческая глубина «Вех» не нашла (и авторы знали, что не найдут) сочувствия читающей России, не повлияла на развитие русской ситуации, не предупредила гибельных событий. Вскоре и название книги, эксплуатированное другою группой авторов («Смена вех») узко политических интересов и невысокого уровня, стало смешиваться, тускнеть и вовсе исчезать из памяти новых русских образованных поколений, тем более — сама книга из казённых советских библиотек. Но и за 60 лет не померкли её свидетельства: «Вехи» и сегодня кажутся нам как бы присланными из будущего. И только то радует, что через 60 лет кажется утощается в России слой, способный эту книгу поддержать.

Сегодня мы читаем её с двойственным ощущением: нам вызываются язвы как будто не только минувшей исторической поры, но во многом — и сегодняшние наши. И потому всякий разговор об интеллигенции сегодняшней (по трудности термина «интеллигенция» пока, для первой главы, понимая её: «вся масса тех, кто так себя называет», интеллигент — «всякий, кто требует считать себя таковым») почти нельзя провести, не сравнивая нынешних качеств с суждениями «Вех». Историческая оглядка всегда даёт и понимание лучшее.

Однако, насколько не гонясь сохранить тут цельность веховского рассмотрения, мы позволим себе, со служебною целью сегодняшнего разбора, суммировать и перегруппировать суждения «Вех» в такие четыре класса:

а) *Недостатки той прошлой интеллигенции*, важные для русской истории, но сегодня угасшие или слабо продолженные или диаметрально обёрнутые.

Кружковая искусственная выделенность из общенациональной жизни. (Сейчас — значительная сращённость, через служебное положение.) Принципиальная напряжённая противопоставленность государству. (Сейчас — только в тайных чувствах и в узком кругу отделение своих интересов от государственных, радость от всякой государственной неудачи, пассивное сочувствие всякому сопротивлению, своя же на деле — верная государственная служба.) Моральная трусость отдельных лиц перед мнением «общественности», недерзновенность индивидуальной мысли. (Ныне далеко оттеснена панической трусостью перед волей государства.) Любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному материальному благу парализовала в интеллигенции любовь и интерес к истине; «соблазн Великого Инквизитора»: да сгинет истина, если от этого люди станут счастливее. (Теперь таких широких забот вовсе нет. Теперь: да сгинет истина, если этой ценой сохранюсь я и моя семья.) Гипноз общей интеллигентской веры, идейная нетерпимость ко всякой другой, ненависть как страстный этический импульс. (Ушла вся эта страстная наполненность.) Фанатизм, глухой к голосу жизни. (Ныне — прислушивание и подлаживание к практической обстановке.) Нет слова, более непопулярного в интеллигентской среде, чем «смирение». (Сейчас подчини-

лись и до раболепства.) Мечтательность, прекраснотушие, недостаточное чувство действительности. (Теперь — трезвое утилитарное понимание её.) Нигилизм относительно труда. (Изжит.) Негодность к практической работе. (Годность.) Объединяющий всех напряженный атеизм, некритически принимающий, что наука компетентна решить и вопросы религии, притом — окончательно и, конечно, отрицательно; догматы идолопоклонства перед человеком и человечеством; религия заменена верой в научный прогресс. (Спала напряжённость атеизма, но он всё так же разлит по массе образованного слоя — уже традиционный, вялый, однако с безусловным предпочтением научного прогресса и «человек выше всего».) Инертность мысли; слабость самоценной умственной жизни, даже ненависть к самоценным духовным запросам. (Напротив, за отход от общественной страсти, веры и действия, иные образованные люди на досуге и в замкнутой скорлупе, кружке, вознаграждают себя довольно интенсивной умственной деятельностью, но обычно без всякого приложения наружу, иногда — анонимным тайным выходом в Самиздат.)

«Вехи» интеллигенцию преимущественно критиковали, перечисляли её пороки и недостатки, опасные для русского развития. Отдельного рассмотрения достоинств интеллигенции там нет. Мы же сегодня, углом сопоставительного зрения не упуская качеств нынешнего образованного слоя, обнаружим, как, меж перечислением недостатков, авторы «Вех» упоминают такие черты, которые сегодня нами не могут быть восприняты иначе, как:

б) *Достоинства предреволюционной интеллигенции.*

Всеобщий поиск целостного мирозерцания, жажда веры (хотя и земной), стремление подчинить свою жизнь этой вере. (Ничего сравнимого сегодня; усталый цинизм.) Социальное покаяние, чувство виновности перед народом. (Ныне распространено напротив: что народ виновен перед интеллигенцией и не кается.) Нравственные оценки и мотивы занимают в душе русского интеллигента исключительное место; думать о своей личности — эгоизм, личные интересы и существование должны быть безусловно подчинены общественному служению; пуританизм, личный аскетизм, полное бескорыстие, даже ненависть к личному богатству, боязнь его как бремени и соблазна. (Всё — не о нас, всё наоборот!) Фанатическая готовность к самопожертвованию, даже активный поиск жертвы; хотя путь такой проходят единицы, но для всех он — обязательный, единственно достойный идеал. (Узнать невозможно, это — не мы! Только слово общее «интеллигенция» осталось по привычке.)

Не низка ж была русская интеллигенция, если «Вехи» применили к ней критику, столь высокую по требованиям. Мы ещё более поразимся этому по группе черт, выставленных «Вехами» как:

в) *Тогдашние недостатки, по сегодняшней нашей переполосовке чуть ли не достоинства.*

Всеобщее равенство как цель, для чего готовность принизить высшие потребности одиночек. Психология героического экстаза, укрепленная государственными преследованиями; партии популярны по степени своего бесстрашия. (Нынешние преследования жесточе, систематичней и вызывают подавленность, не экстаз.) Самочувствие мученичества и исповедничества; почти стремление к смерти. (Теперь — к сохранности.) Героический интеллигент не довольствуется ролью скромного работника, его мечта — быть спасителем человечества или по крайней мере — русского народа. Экзальтированность, иррациональная приподнятость настроения, опьянение борьбой. Убеждение, что нет другого пути, кроме социальной борьбы и разрушения существующих общественных форм. (Ничего сходного! Нет другого пути, кроме подчинения, терпения, ожидания милости.)

Но — не всё духовное наследство растеряли мы. Узнаём и себя.

г) *Недостатки, унаследованные посегодня.*

Нет сочувственного интереса к отечественной истории, чувства кровной связи с ней. Недостаток чувства исторической действительности. Поэтому интеллигенция живёт в ожидании социального чуда (тогда — много и делали для него, теперь — укрепляя, чтобы чуда не было, и... ожидая его!). Всё зло — от внешнего неустройства, и потому требуются только внешние реформы. За всё происходящее отвечает самодержавие, с каждого же интеллигента снята всякая личная ответственность и личная вина. Превеличенное чувство своих прав. Претензия, поза, ханжество постоянной «принципиальности» — прямолинейных отвлечённых суждений. Надменное противопоставление

себя — «обывателям». Духовное высокомерие. Религия самообожествления, интеллигенция видит в себе Провидение для своей страны.

Все так совпадает, что и не требует комментариев.

Добавим каплю из Достоевского («Дневник писателя»):

Малодушие. Поспешность пессимистических заключений.

Так еще много бы оставалось в сегодняшней интеллигенции от прежней — если бы сама интеллигенция ещё оставалась быть...

2

Интеллигенция! Каков точно её объём, где её границы? Одно из излюбленнейших понятий в русских спорах, а употребляется весьма по-разному. При нечёткости термина многое обесценивается в выводах. Авторы «Вех» определяли интеллигенцию не по степени и не по роду образованности, а по идеологии — как некий новый *орден*, безрелигиозно-гуманистический. Они очевидно не относили к интеллигенции инженеров и учёных математического и технического циклов. И интеллигенцию военную. И духовенство. Впрочем, и сама интеллигенция того времени, собственно интеллигенция (гуманитарная, общественная и революционная) тоже к себе не относилась всех их. Более того, в «Вехах» подразумевается, а у последователей «Вех» укореняется, что крупнейшие русские писатели и философы — Достоевский, Толстой, Вл. Соловьёв, тоже не принадлежали к интеллигенции! Для современного читателя это звучит диковато, а между тем в своё время состоялось так, и расщелина была достаточно глубока. В Гоголе ценили обличение государственного строя и правящих классов. Но как только он приступил к наиболее дорогим для себя духовным поискам, он был публицистически исключён и отрешён от передовой общественности. В Толстом ценили те же разоблачения, ещё — вражду к церкви, к высшей философии и творчеству. Но его настойчивая мораль, призывы к опрощению, ко всеобщей доброте воспринимались снисходительно. «Реакционный» Достоевский был и вовсе интеллигенцией ненавидим, был бы вообще наглухо забыт и забыт в России и не цитировался бы сегодня на каждом шагу, если бы в XX веке внезапно на уважаемом Западе не вынырнула его громовая мировая слава.

А между тем все не попавшие в собственно интеллигенцию — куда же должны были быть включены? А у них были свои характерные черты, иногда далеко не совпадавшие с теми, какие подытожены в «Вехах». Например, к интеллигенции технической относятся лишь малая часть характеристик из «Вех». Не было в ней отдалённости от национальной жизни, ни противопоставленности государству, ни фанатизма, ни революционизма, ни ведущей ненависти, ни слабого чувства действительности и т. д. и т. д.

Если принять определение интеллигенции этимологическое, от корня (*intelligere*: понимать, знать, мыслить, иметь понятие о чём-либо), то, очевидно, оно охватило бы во многом иной класс людей, чем те, кто в России рубежа двух веков присвоил себе это звание и в этом качестве рассмотрен в «Вехах».

Г. Федотов остроумно предлагал считать интеллигенцией специфическую группу, «объединяемую идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей».

В. Даль определял интеллигенцию как «образованную, умственно развитую часть жителей», но вдумчиво отмечал, что «для нравственного образования у нас нет слова» — для того просвещения, которое «образует и ум, и сердце».

Были попытки строить определение интеллигенции на самодвижущей творческой силе, даже вопреки внешним обстоятельствам; на неподражаемости образа мысли; на самостоятельной душевной жизни. Во всех этих поисках высшая затруднённость не в формулировке определения и не в характеристике реально существующей общественной группы, а в разности желаний: кого мы хотели бы видеть под именем интеллигенции.

Бердяев позже предлагал определение, альтернативное тому, какое рассмотрено в «Вехах»: интеллигенция как совокупность духовно-избранных людей страны. То есть духовная элита, а не социальный слой.

После революции 05—07 годов начался тихий процесс поляризации интеллигенции: поворота интересов студенческой молодёжи и медленного выделения ещё очень тонкого слоя с повышенным вниманием ко внутренней нравственной жизни человека, а не ко внешним общественным преобразованиям. Так что авторы «Вех» не вовсе были в тогдашней России одиночками. Однако этому неслышному хрупкому процессу выделения нового типа интеллигенции (вслед за тем расщепился бы и уточнился сам тер-

мин) не суждено было в России произойти: его смешала и раздавила первая мировая война, затем стремительный ход революции. Чаще многих других произносилось в русском образованном классе слово «интеллигенция», — но так, за событиями, и не успело получить обстоятельно-точного смысла.

А дальше — условий и времени было ещё меньше. 1917 год был идейным крахом «революционно-гуманистической» интеллигенции, как она очерчивала сама себя. Впервые ей пришлось от одиночного террора, от кипливой кружковщины, от партийного начетничества и необузданной общественной критики правильности перейти к реальным государственным действиям. И, в полном соответствии с печальными прогнозами авторов «Вех» (ещё отдельно у С. Булгакова: «интеллигенция в союзе с татарщиной... погубит Россию»), интеллигенция оказалась неспособна к этим действиям, сбобела, запуталась, её партийные вожди легко отрекались от власти и руководства, которые издали казались им такими желанными, — и власть, как обжигающий шар, отталкиваемая от рук к рукам, докатилась до тех, что ловили её и были кожей приготовлены к её накалу (впрочем, тоже интеллигентские руки, но особенные). Интеллигенция сумела раскатать Россию до космического взрыва, да не сумела управлять её обломками. (Потом, озираясь из эмиграции, сформулировала интеллигенция оправдание себе: оказался «народ — не такой», «народ обманул ожидания интеллигенции». Так в этом и состоял диагноз «Вех», что, обожествляя народ, интеллигенция не знала его, была от него безнадежно отобщена! Однако, незнание — не оправдание. Не зная ни народа, ни собственных государственных сил, надо было десятижды остеречься непроверенно кликать его и себя в пустоту.)

И как та кочерга из присказки, в тёмной избе неосторожно наступленная ногою, с семикратной силой ударила олуха по лбу, так революция расправилась с пробудившей её русской интеллигенцией. После царской бюрократии, полиции, дворянства и духовенства следующий уничтожительный удар успел по интеллигенции ещё в революционные 1918—20 годы, и не только расстрелами и тюрьмами, но холодом, голодом, тяжёлым трудом и насмешливым пренебрежением. Ко всему тому интеллигенция в своём героическом экстазе готова не была и — чего уж от самой себя никак не ожидала — в гражданскую войну потянулась частью под защиту бывшего царского генералитета, а затем и в эмиграцию, иные не первый уже раз, но теперь — вперемешку с той бюрократией, которую недавно сама подрывала бомбами.

Заграничное существование, в бытовом отношении много тяжче, чем в прежней ненавидимой России, однако отпустило осколкам русской интеллигенции ещё несколько десятилетий оправданий, объяснений и размышлений. Такой свободы не досталось большей части интеллигенции — той, что осталась в СССР. Уцелевшие от гражданской войны не имели простора мысли и высказывания, как они были избалованы раньше. Под угрозой ГПУ и безработицы они должны были к концу 20-х годов либо принять казённую идеологию в качестве своей задушевной, излюбленной, или погибнуть и рассеяться. То были жестокие годы испытания индивидуальной и массовой стойкости духа, испытания, постигшего не только интеллигенцию, но, например, и русскую церковь. И можно сказать, что церковь, к моменту революции весьма одряхлевшая и разложившаяся, быть может из первых виновниц русского падения, выдержала испытание 20-х годов гораздо достойнее: имела и она в своей среде предателей и приспосабливателей (обновленчество), но и массою выдвинула священников-мучеников, от преследований лишь утвердившихся в стойкости и под штыками погнанных в лагеря. Правда, советский режим был к церкви намного беспощаднее, а перед интеллигенцией припахнул соблазны: соблазн понять Великую Закономерность, осознать пришедшую железную Необходимость как долгожданную Свободу — осознать самим сегодня, толчками искреннего сердца, опережающими завтрашние пинки конвойных или зашеины общественных обвинителей, и не закуснуть в своей «интеллигентской гнилости», но утопить свой «я» в Закономерности, но заглотнуть горячего пролетарского ветра и шатками своими ногами догонять уходящий в светлое будущее Передовой Класс. А для догнавших — второй соблазн: своим интеллектом вложиться в Небывалое Созидание, какого не видела мировая история. Ещё бы не увлечься!.. Этим ретивым самоубеждением были физически спасены многие интеллигенты и даже, казалось, не сломлены духовно, ибо с полной искренностью, вполне добровольно отдавались новой вере. (И ещё долго потом высились — в литературе, в искусстве, в гуманитарных науках — как запровадощные стволы, и только выветриванием лет узналось, что это стояла одна пустая кора, а сердцевина уже не было.) Кто-то шёл в это «догонянье» Передового Класса с усмешкою над

самим собой, лицемерно, уже поняв смысл событий, но просто спасаясь физически. Парадоксально однако (и этот процесс повторяется сегодня на Западе), что большинство шло вполне искренно, загипнотизированно, охотно дав себя загипнотизировать. Процесс облегчался, уверялся захваченностью подрастающей интеллигентской молодёжи: огненнокрылыми казались ей истины торжествующего марксизма — и целых два десятилетия, до второй мировой войны, несли нас те крылья. (Вспоминаю как анекдот: осенью 1941, уже пылала смертная война, я — в который раз и все безуспешно — пытался вникнуть в мудрость «Капитала».)

В 20-е и 30-е годы усиленно менялся, расширялся и самый состав прежней интеллигенции, как она сама себя понимала и видела.

Первое естественное расширение было — на интеллигенцию техническую («спецы»). Впрочем, как раз техническая, стоявшая на прочной деловой почве, реально связанная с национальной промышленностью и на совести не имевшая греха соучастия в революционных жестокостях, значит, и без нужды сплетать горячие оправдание Новому Строю и к нему льнуть, — техническая интеллигенция в 20-е годы оказалась гораздо большую духовную стойкость, чем гуманитарная, не спешила принять Идеологию как единственно возможное мировоззрение, а по независимости своей работы и физически устояла притом.

Но были и другие формы расширения — и разложения! — прежнего состава интеллигенции, уверенно направляемые государственные процессы. Один — физическое прерывание традиции интеллигентских семей: дети интеллигентов имели почти нулевые права на поступление в высшие учебные заведения (путь открывался лишь через личное подчинение и перерождение молодого человека: комсомол). Другой — спешное создание рабфактовской интеллигенции, при слабой научной подготовке, — «горячий» пролетарско-коммунистический поток. Третий — массовые аресты «вредителей». Этот удар пришёлся больше всего по интеллигенции технической: разгромив меньшую часть её, остальных смертельно напугать. Процессы шахтинский, Промпартии и несколько мелких в обстановке уже общей напуганности в стране успешно достигли своей цели. С начала 30-х годов техническая интеллигенция была приведена также к полной покорности, 30-е годы были успешной школой предательства уже и для неё: также покорно голосовать на митингах за любые требуемые казни; при уничтожении одного брата другой брат послушно брал на себя хоть и руководство Академией наук; уже не стало такого военного заказа, который русские интеллигенты осмелились бы оценить как аморальный, не бросались бы поспешно-угодливо выполнять*. Удар пришёлся не только по старой интеллигенции, но уже отчасти и по рабфактовской, он избирал по принципу непокорности, и так всё более пригибал оставшуюся массу. Четвёртый процесс — «нормальные» советские пополнения интеллигенции — кто прошёл всё своё 14-летнее образование при советской власти и генетически был связан только с нею.

В 30-е же годы совершилось и новое, уже необъятное, расширение «интеллигенции»: по государственному расчёту и покорным общественным сознанием в неё были включены миллионы государственных служащих, а верней сказать: вся интеллигенция была зачислена в служащих, иначе и не говорилось и не писалось тогда, так заполнялись анкеты, так выдавались хлебные карточки. Всем строгим регламентом интеллигенция была вогнана в служебно-чиновный класс, и само слово «интеллигенция» было заброшено, упоминалось почти исключительно как бранное. (Даже свободные профессии через «творческие союзы» были доведены до служебного состояния.) С тех пор и пребывала интеллигенция в этом резко увеличенном объёме, искажённом смысле и умалённом сознании. Когда же, с конца войны, слово «интеллигенция» восстановилось отчасти в правах, то уж теперь и с захватом многомиллионного мещанства служащих, выполняющих любую канцелярскую или полуумственную работу.

Партийное и государственное руководство, правящий класс, в довоенные годы не давали себя смешивать ни со «служащими» (они — «рабочими» оставались), ни тем более с какой-то прогнившей «интеллигенцией», они отчётливо отгораживались как «пролетарская» кость. Но после войны, а особенно в 50-е, ещё более в 60-е годы, когда уявля и «пролетарская» терминология, всё более изменяясь на «советскую», а с другой стороны и ведущие деятели интеллигенции всё более допускались на руководящие посты, по технологическим потребностям всех видов управления, — правящий класс тоже

* Эта угарная преданность государственным заказам очень нестеснительно выражена в недавней самиздатской публикации «Туполевская шарага», она не миновала и крупнейших фигур.

допустил называть себя «интеллигенцией» (это отражено в сегодняшнем определении интеллигенции в БСЭ), и «интеллигенция» послушно приняла и это расширение.

Насколько чудовищно мнилось до революции назвать интеллигентом священника, настолько естественно теперь зовётся интеллигентом партийный агитатор и политрук.

Так, никогда не получив чёткого определения интеллигенции, мы как будто и перестали нуждаться в нём. Под этим словом понимается в нашей стране теперь весь образованный слой, все, кто получил образование выше семи классов школы.

По словарю Даля *образовать* в отличие от *просвещать* означает: *придать лишь наружный лоск*.

Хотя и этот лоск у нас довольно третьего качества, в духе русского языка и верно по смыслу будет: сей образованный слой, всё, что самозванно или опрометчиво зовётся сейчас «интеллигенцией», называть *образованщиной*.

3

Так — произошло, и с историей уже не поспоришь: согнали нас в образованщину, утопили в ней (но и мы дали себя согнать, утопить). С историей не поспоришь, а в душе — протест, несогласие: не может быть, чтоб так и осталось! Воспоминанием ли прошлого, надеждой ли на будущее: мы — другие!..

Некто Алтаев (псевдоним, статья «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» в № 97 «Вестника РСХД»*), признавая это численное умножение, растворение интеллигенции и смыкание её с бюрократией, всё же ищет рычаг, которым бы отделить интеллигенцию от растворяющей массы. Он находит его в «родовом признаке» интеллигенции, якобы отличавшем её и до революции и сейчас, так что можно признать его за «определение» интеллигенции: что это «уникальная категория лиц», не повторяющаяся никогда ни в одной стране, живущая в «сознании коллективной отчуждённости» от «своей земли, своего народа и своей государственной власти». Но не говоря об искусственности такого определения (и не такой уж уникальности ситуации) можно возразить, что дореволюционная интеллигенция (в «веховском» определении) именно сознания отчуждённости от своего народа не имела, напротив, уверена была в своём полномочии высказываться от его имени; а интеллигенция современная вовсе не отчуждена от современного государства: те, кто ощущают так — сами с собой или в узком кругу своих, зажато-тоскливо, обречённо, отданно, — не только держат государство всею своей повседневной интеллигентской деятельностью, но принимают и исполняют даже более страшное условие государства: участие душой в обязательной общей лжи. Куда ж дальше? Ещё может быть можно остаться «отчуждённым», отдаваясь только телом, только мозгом, только специальными познаниями, — но не душой же! Интеллигенция прежняя действительно была противопоставлена государству до открытого разрыва, до взрыва, так оно и случилось, — об интеллигенции нынешней сам же Алтаев в противоречие себе пишет, что «она не смела выступить при советской власти не только оттого, что ей не давали этого сделать, но и оттого в первую очередь, что ей не с чем было выступить. Коммунизм был её собственным детищем... в том числе и идеи террора... В её сознании не было принципов, существенно отличавшихся от принципов, реализованных коммунистическим режимом», интеллигенция сама «причастна ко злу, ко преступлению, и это больше, чем что-либо другое, мешает ей поднять голову». (И облегчало войти в систему лжи.) Хотя и в несколько неожиданной форме, интеллигенция получила по сути то самое, чего добивалась многими десятилетиями, — и без боя покорила. И только ту утешку посасывала втихомолку, что «идеи революции были хороши, да извращены». И на каждом историческом изломе тешила себя надеждой, что режим вот выздоравливает, вот изменится к лучшему и теперь-то, наконец, сотрудничество с властью получает полное оправдание (блестяще отгранные у Алтаева шесть соблазнов русской интеллигенции — революционный, сменовеховский, социалистический, патриотический, оттепельный и технократический, в их последовательном появлении и затем сосуществовании во всякий момент современности).

Покорились — до полной приниженности, до духовного самоуничтожения, и что ж, как не кличка образованщины, по справедливости остаётся нам? Тоскливое чувство отчуждённости от государства (годов лишь с 40-х), своего невольничьего состояния в чу-

* См.: В. Ф. Кормер, «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» («Вопросы философии», 1989, № 9). (Прим. ред. 1990).

жих лапах — это не признак родовой, непрерывный, но зарождение нового протеста, зарождение раскаяния. И большинством же интеллигенции вполне сознается теперь — кем тревожно, кем равнодушно, кем высокомерно — отчуждение от нынешнего народа.

О том, как не размыться в образованщине, как отграничиться от нее и спасти понятие интеллигенции, много пишет и Г. Померанц (не псевдоним, лицо подлинное, востоковед, имеющий в Самиздате целый том философских эссе и публицистических статей): «самая здоровая часть современного общества», «другого такого прогрессивного слоя не найти»*. Но и он остаётся в смущении перед морем образованщины: «Понятие интеллигенции очень трудно определить. Интеллигенция в самой жизни ещё не устоялась.» (? За 130 лет от Белинского и Грановского не устоялась? нет, после революционного потрясения.) Ему приходится выделять «лучшую часть интеллигенции», это «даже не прослойка, а кучка людей», «собственно интеллигентно лишь маленькое ядро интеллигенции», «узкий круг людей, способных самостоятельно открывать вновь святыни, ценности культуры», даже: «интеллигентность — это процесс»... Он предлагает вообще отказаться от очерчивания контура, границ, пределов интеллигенции, а представить себе как бы поле (в смысле физики): центр излучения (самая малая кучка) — затем «слой одушевлённой интеллигенции» — дальше «неодушевлённая интеллигенция» (?), которая однако «развитее мещанства». (В старых вариантах той же самиздатской статьи Померанц делит интеллигенцию на «порядочную» и «непорядочную», с таким странным определением: «порядочные люди гадят ближнему лишь по необходимости, без удовольствия», а непорядочные, мол, с удовольствием, и в этом их различие!)

Правда, в защиту этого многомиллионного класса, на границе «неодушевленности» и «мещанства», Померанц находит весьма сочувственные слова: о тяжести работы школьных педагогов, врачей общей медицинской сети и бухгалтеров — этих «грузчиков умственного труда». Но, оказывается, эта его настойчивая защита есть скорее нападение на «народ»: доказать, что искать ошибки в платёжной ведомости тяжелее, чем колхознице работать в задушливом птичнике.

Что искажённый труд и искалеченные люди — верно. Я и сам, достаточно поработав школьным преподавателем, могу горячо разделить эти слова и ещё добавить сюда много разрядов: техников-строителей, сельхозтехников, агрономов... Школьные учителя настолько задрёганные, заспешенные, униженные люди, да ещё и в бытовой нужде, что не оставлено им времени, простора и свободы формулировать собственное мнение о чём бы то ни было, даже находить и поглощать неповреждённую духовную пищу. И не от природы и не от слабости образования вся эта бедствующая провинциальная масса так проигрывает в «одушевлённости» по сравнению с привилегированной столично-научной, а именно от нужды и бесправия.

Но оттого нисколько не меняется безнадежная картина расплывшейся образованщины, куда стандартным входом служит самое среднее образование.

4

Если обвиняют нынешний рабочий класс, что он чрезмерно законопослушен, безразличен к духовной жизни, утонул в мещанской идеологии, весь ушёл в материальные заботы, получение квартир, покушку безвкусной мебели (уж какую продают), в карты, домино, телевизоры и пьянку, — то на много ли выше поднялась образованщина, даже в столичной? Более дорогая мебель, концерты более высокого уровня и коньяк вместо водки? А хоккей по телевизору — тот же самый. Если на периферии образованщины колотья о заработках есть средство выжить, то в сияющем центре её (шестнадцать столиц и несколько закрытых городков) выглядит отвратительно подчинение любых идей и убеждений — корыстной погоне за лучшими и большими ставками, званиями, должностями, квартирами, дачами, автомобилями (Померанц: «сервис — это компенсация за потерянные нервы»), а ещё более — заграничными командировками. (Вот поразила бы дореволюционная интеллигенция! Это же надо объяснить: впечатления, развлечения, красивая жизнь, валютная оплата, покупка цветных тряпок... Думаю, самый захудалый дореволюционный интеллигент по этой причине не подал бы руки самому блестящему сегодняшнему столичному образованцу.) Но более всего характеризуется интеллект центральной образованщины её жаждой наград, премий и званий, несравненных

* Все цитаты из Померанца здесь и ниже — главным образом из статей «Человек ниоткуда» и «Квадрилья».

с теми, что дают рабочему классу и провинциальной образованщине, — и суммы премий выше и какая звучность: «народный художник (артист и т. д.)... заслуженный деятель... лауреат...!» Для всего того не стыдно вытянуться в струнчайшую безукоризненность, прервать все порицательные знакомства, выполнять все пожелания начальства, осудить письменно или с трибуны или неподанием руки любого коллегу по указанию парткома.

Если это всё — «интеллигенция», то что ж тогда «мещанство»?!

Люди, чьё имя мы недавно прочитывали с киноэкранов и которые уж конечно ходили в интеллигентях, недавно, уезжая из этой страны навсегда, не стеснялись разбирать екатерининские секретеры по доскам (вывоз древностей запрещён), попеременно с простыми досками сколачивали их в нелепую «мебель» и вывозили так. И язык поворачивается выговорить это слово — «интеллигенция»?.. Только таможенный запрет ещё удерживает в стране иконы древнее XVII века. А из более новых целые выставки устраиваются ныне в Европе — и не только государство продавало их туда...

Всякий живущий в нашей стране платит подать в поддержку обязательной идеологической лжи. Но у рабочего класса и тем более у крестьянства эта подать минимальна, особенно после упразднения ежегодных вымученных займов (душевредных и мучительных именно своей ложной добровольностью, деньги-то можно было отбирать в любой форме), осталось — редкое голосование на общем собрании, где не так уж тщательно проверяют отсутствующих. С другой стороны, государственные управители и идеологические внедрители иные искренне верят своей Идеологии, многие отдались ей по многолетней инерции, по недостатку знаний, по психологической особенности человека иметь мировоззрение, соответствующее его основной деятельности.

Но — центровая образованщина? Отлично видеть жалкость и дряхлость партийной лжи, меж своими смеяться над нею — и тут же цинично, в «гневных» протестах и статьях, звучно и витиевато повторять ту же ложь, ещё развивая и укрепляя её средствами своей злоквенности и стыла! На ком же узно, с кого ж и списано Оруэллом *двоемыслие*, как не с советской интеллигенции 30-х и 40-х годов? Это *двоемыслие* с тех пор лишь отработалось, стало устойчивым жизненным приёмом.

О, мы жаждем свободы, мы заклеймим (шёпотом) всякого, кто усумнился бы в желанности и необходимости полной свободы в нашей стране! (Пожалуй так: не для всех, но для центровой образованщины непременно. Померанц в письме XXIII съезду партии предлагает ассоциацию «интеллигентного ядра», обладающую независимой прессой, теоретический центр, дающий советы административно-партийному.) Однако этой свободы мы ждём как внезапного чуда, которое без наших усилий вдруг выпадет нам, сами же ничего не делаем для завоевания той свободы. Уж где там прежние традиции — поддержать политических, накормить беглеца, приютить беспаспортного, бездомного (можно службу казённую потерять), — центровая образованщина повседневно добросовестно, а иногда и талантливо трудится для укрепления общей тюрьмы. И этого она не разрешит поставить себе в вину! — приговорены, обдуманы, отточены многоязыкие оправдания. Подножка сослуживцу, ложь в газетном заявлении находчиво оправдываются совершившим, охотно принимаются хором окружающих: если б я (он) этого не сделал, то меня (его) бы сняли с этого поста и назначили бы худшего! Так для того, чтоб удерживать позиции *добра* к облегчению всех, — естественно каждый день приходится причинять зло некоторым («порядочные люди гадят ближним лишь по необходимости»). Но эти некоторые — сами виноваты: зачем так резко неосторожно выставили себя перед начальством, не думая о коллективе? или зачем скрыли свою анкету перед отделом кадров — и вот *подвели под удар* весь коллектив?.. Челнов («Вестник РСХД» № 97) остроумно называет позицию интеллигенции кривостоянием, «при котором прямизна кажется нелепой позой».

Но главный оправдательный аргумент — дети! Перед этим аргументом смолкают все: кто ж имеет право пожертвовать материальным благополучием своих детей для отвлечённого принципа правды?!.. Что моральное здоровье детей дороже их служебного устройства, — и в голову не приходит родителям, самим обеднённым на то. Резонно вырасти такими и детям: прагматики уже со школьной скамьи, первокурсники уже покорны лжи политучёб, уже разумно взвешивают, как наивыгоднейше вступить на состязательное поприще наук. Поколение, не испытавшее настоящих гонений, но как оно осторожно! А те немногие юноши — надежда России, кто оборачивается лицом к правде, обычно проклинаются и даже преследуются своими разъярёнными состоятельными родителями.

И не оправдаешь центровую образованщину, как прежних крестьян, тем, что они раздроблены по волостям, ничего не знают о событиях общих, давимы локально. Ин-

теллигенция во все советские годы достаточно была информирована, знала, что делается в мире, могла знать, что делается в стране, но — отворачивалась, но дрябло сдавалась в каждом учреждении и кабинете, не заботясь о деле общем. Конечно, от десятилетия к десятилетию сжимали невиданно (западным людям и не вообразить, пока до них не докатилось). Людей динамичной инициативы, отзывных на все виды общественной и личной помощи, самостоятельности, — подавляли гнетом и страхом, да и саму общественную помощь загаживали казённой лицемерной имитацией. И в конце концов поставили так, что как будто третьего нет: в травле товарища по работе никто не смеет остаться нейтральным — едва уклонясь, он тут же становится травимым и сам. И всё же у людей остаётся выход и в этом положении: что ж, быть травимым и самому! что ж, пусть мои дети на корочке вырастут, да честными! Была б интеллигенция такая — она была бы непобедима.

А есть ещё особый разряд — людей именитых, так недосytaемо, так прочно поставивших имя свое, предохрaнительно окутанное всесоюзной, а то и мировой известностью, что, во всяком случае в постсталинскую эпоху; их уже не может постигнуть полицейский удар, это ясно всем напрозор, и вблизи, и издали; и нуждою тоже их не накажешь — накоплено. Они и-то — могли бы снова возвысить честь и независимость русской интеллигенции? выступить в защиту гонимых, в защиту свободы, против удушающих несправедливостей, против убогой навязываемой лжи? Двести таких человек (а их и полтысячи можно насчитать) своим появлением и спаянным стоянием очистили бы общественный воздух в нашей стране, едва не переменяли бы всю жизнь! В предревOLUTIONной интеллигенции так и действовали тысячи, не ожидая защитной известности. В нашей образованщине — насчитаем ли полный десяток? Остальные — такой потребности не имеют! (Даже если у кого и отец расстрелян — ничего, съедено.) Как же назвать и зримую верхушку нашу — выше образованщины?

В сталинское время за отказ подписать газетную кляузу, заклинание, требование смерти и тюрьмы своему товарищу действительно могла грозить и смерть, и тюрьма. Но сегодня, — какая угроза сегодня склоняет седовласых и знаменитых брать перо и, угодивши спросивши — «где?», подписывать не ими составленную грязную чушь против Сахарова? Только личное ничтожество. Какая сила заставляет великого композитора XX века стать жалкой марионеткой третьестепенных чиновников из министерства культуры и по их воле подписывать любую презренную бумажку, защищая кого прикажут за границей, травя кого прикажут у нас? (Сокоснулся композитор безо всяких переговоров, душа с душою, с темной гибельной душою XX века. Он ли ее, нет, она его захватила с такой пронзающей достоверностью, что когда — если! — наступит у человечества более светлый век, услышат наши потомки через музыку Шостаковича, как мы были уже в когтях дьявола, в его полном обладании, — и когти эти, и адское его дыхание казались нам красивыми.)

Бывало ли столь жалкое поведение среди великих русских учёных прошлого? среди великих русских художников? Традиция их сломлена, мы — образованщина.

Тройной стыд, что уже не страх перед преследованием, но извилистые расчёты тщеславия, корысти, благополучия, спокойствия заставляют так сгибаться «московские звёзды» образованщины и средний слой «остепенённых». Права Лидия Чуковская: кого-то от интеллигенции пришла пора отчислить. Если не этих всех — то окончательно потеряны смысл слова.

О, появились бесстрашные! — выступить в защиту сносимого старого здания (только не храма) и даже целого Байкала. Спасибо и на том, конечно. В нашем сегодняшнем сборнике предполагалось участие одного незаурядного человека, достигшего между тем всех чинов и званий. В частных беседах стонет его сердце — о безвозвратности гибели русского народа. От корней знает нашу историю и культуру. И — отказался: к чему это? ни к чему не приведет... Обычная достойная отговорка образованщины.

Чего заслуживаем. На каком дне прозябаем.

Когда сверху дергали верёвку, что можно посмелей (1956, 1962), мы малость разминали затекшую спину. Когда дёргали «цыц!» (1957, 1963), мы сникали тут же. Был момент и самопроизвольный: 1967—68, Самиздат пошёл как половодье, множились имена, новые имена в протестах, казалось — ещё немножко, ещё чуть-чуть — и начнём дышать. И — много ли понадобилось на подавление? Полсотни самых дерзких лишили работы по специальности. Несколько исключили из партии, несколько из союзов, да семь дюжин «подписантов» вызвали на собеседование в партком. И бледные и потерянные возвращались с «собеседований».

И самое важное открытие своё, условие своего дыхания, возрождения и мысли — Самиздат, образованщина поспешно обронила в бегстве. Давно ли гнались образованцы за новинками Самиздата, выпрашивали перепечатать, начинали собирать самиздатские библиотеки? отправляли в провинцию?.. Но вот стали сжигать эти библиотеки, содержать в девственности пишущие машинки, разве иногда в тёмном коридоре перехватывать запретный листок, пробегать с пятого на десятое и тут же возвращать обожжёнными руками.

Да, в тех преследованиях прояснело, проступило несомненное *интеллигентное ядро*: кто продолжал собою рисковать и жертвовать — открыто или в неслышном сокрытии хранил опасные материалы, бесстрашно помогал посаженным или сам поплатился свободой.

Но и другое «ядро» открылось, кто обнаружил иную мудрость: из этой страны — бежать! Спасая ли свою неповторимую индивидуальность («там буду спокойно развивать русскую культуру»). Затем — спасая тех, кто остаётся («там будем лучше защищать ваши права здесь»). Наконец же — и детей своих, более ценных, чем дети остальных соотечественников.

Такое открылось «ядро русской интеллигенции», которое может существовать и без России...

5

Да всё бы простилось нам, вызывало бы только сочувствие — и наша зажатая униженность, и наше служение лжи, если бы мы смиренно признались в своей некрепости, в своей привязанности к благополучию, в своей духовной неготовности к этим слишком крутым испытаниям: мы — жертвы истории, произошедшей до нас, мы уже родились — в ней, и хлебнули её довольно, и вот барахтаемся, не знаем, как выбиться.

Но нет! В этом положении мы выискиваем изворотливые доводы ошеломительной высоты, почему должны мы «осознать себя духовно, не бросая своего НИИ» (Померанц), — как будто «осознать себя духовно» есть задача уютного размышления, а не строгого искусства, а не беспощадного испытания. Мы нисколько не отрекались от заночивости. Мы настаиваем на высоком наследном звании интеллигентов, на праве быть высшими судьями всего духовного, происходящего в стране и человечестве: давать общественным теориям, течениям, движениям, направлениям истории и деятельности активных лиц безапелляционные оценки из безопасной норы. Ещё в вестибюле НИИ, беря пальто, мы вырастаем на голову, а уж за чайными столами вечером произносится вершинная оценка: что из поступков и кому из деятелей «простит» или «не простит интеллигенция».

Наблюдая жалкое реальное поведение центральной образованщины на советской службе, невозможно поверить, на каком историческом пьедестале эта образованщина видит себя: каждый — сам себя, друзей и сослуживцев. Всё большее сужение профессиональных знаний, дающее возможность и в доктора наук проходить полуневеждам, нисколько не смущает образованца.

Настолько властно надо всеми образованными людьми это высокое мнение образованщины о себе, что даже упорный обличитель её Алиаев в промежутке между обличениями традиционно склоняется: «сегодня (наша) интеллигенция явно держит в своих руках судьбы России, а с нею и всего мира»!.. Горький смех... По пройденному русскому опыту перед растерянным сегодняшним Западом — могла бы держать! — да руки слабы, да сердце перебивается...

В 1969 году этот напор самодовольства научно-технической образованщины провалился в Самиздат статьёй Семёна Телегина (разумеется, псевдоним)*. «Как быть?». Тон — бодрого напористого всезнайки, быстрого на побочные ассоциации, с довольно развязным и невысоким остроумием, вроде «руссиш культуриш», то пренебрежением к этому населению, с которым приходится делить один участок суши («человеческий свиарник»), то — пафосными зачинами: «А задумывались ли вы, читатель?». «Творческое начало, источник этики и гуманизма», автор выводит от обезьян, лучшим выходом для разочарованных считает «трибуны стадиона», худшим — «в сектанты».

Но не так важен сам автор, как единомыслящий круг его, который он аттестует отчётливо: «прогрессивные интеллигенты» (состоящие в партии, ибо сживают на парт-

* По утверждению К Любарского («Московские новости», 1990, № 39), настоящая фамилия автора статьи — Герцен Копылов (Прим. ред. 1990)

собраниях и руководят «отдельными участками работы»), «мы — цвет мыслящей России», кто «создаёт свой круг воззрений, в котором можно жить, не путаясь в противоречиях». «Представьте себе класс высокообразованных людей, вооружённых идеями современной науки, умелых, самостоятельных, бесстрашно мыслящих, вообще привыкших и любящих думать, а не... пахать землю.»

Не скрывает Телегин и таких особенностей своего круга: «Мы — люди, привыкшие думать одно, говорить другое, а делать третье... Тотальная демобилизация морали коснулась и нас.» Речь идёт о *троедушии*, о тройной морали — «для себя, для общества, для государства». Но является ли это пороком? Весёлый Телегин считает: «в этом наша победа! Как так? А: власти хотели бы, чтобы мы и *думали* так же подчинённо, как говорим вслух и работаем, а мы *думаем* — бесстрашно! «мы отстаивали свою *внутреннюю свободу!*» (Изумишься: если шиш, показываемый тайно в кармане, есть внутренняя свобода,— что же тогда внутреннее рабство? Мы бы всё-таки назвали внутренней свободой способность и мыслить и *действовать*, не завися от внешних пут, а внешней свободой — когда тех пут вовсе нет.)

Именно в статье Телегина «цвет мыслящей России» адекватно и очень откровенно выразил себя. Обогачительно для нас познакомиться с этими взглядами.

«Под режимом угнетения» будто бы выросла «новая культура», «система отношений и система мышления», это «колосс на двух ногах — искусства и науки». В области искусства? — гитаристы-песенники и независимая самиздатская литература. В области науки? — «могучая методология физики», а из нее — «целая жизненная философия», вот уже «десятики отраслевых и локальных подкультур пускают побегов в чертёжных залах КБ, в коридорах НИИ, в холлах институтов Академии Наук». «Здесь простор творцам, и они есть.» «Науку не обуздать никаким властям» (гм-гм...). И вот: можно будет «методологию физики приложить к тонкостям морали» (упаси нас Бог...), «на этой подпольной культуре взойдёт, как на дрожжах, племя новых цельных людей, гигантов, которым будут смешны наши страхи.»

И дальше — смелый план, как эту культуру использовать для нашего спасения. Дело в том, что «открыто выступать против условий, в которых мы живём... не всегда лучший способ», «Зло злом не исправится», не помогут и не нужны «ни тайные заговоры, ни новые партии», нельзя призывать к революции.

С последним выводом мы искренне согласны, хотя в обосновании его автор грешит: падение самодержавия приписывает исключительно тому, что общество отвергло казённую идею, а никакой революционной деятельности. Это — не так, тут параллели не натянешь: и революционная деятельность была самая настоящая, и самодержавие не оборонялось в сотую долю так свирепо, и интеллигенция была жертвенна. Но с практическим выводом мы согласны: откинем мысль о революции, «не будем строить планов создания новой массовой партии ленинского типа».

А — что же? Вот: «на первых порах больших жертв не предвидится» (очень успокоительно для образованщины). 1-й этап: «неприятие культуры угнетателей» и своё «культурное строительство» (ну, читать Самиздат и высоко понимать в курилках НИИ). 2-й этап: прилагать «усилия по распространению этой культуры среди народа», даже «активно нести эту культуру в народ» (методологию физики? гитарные песни?), «внести в народ понимание того, до чего мы сами дошли», для чего искать «обходные способы». Такой путь «потребует в первую очередь не отваги (в который раз этот балзам на душу!), а дара убеждать, прояснять, умения долго и успешно возбуждать внимание народа, не привлекая внимания властей», «России нужны не только трибуны и подвижники, но и... ехидные критики, искусные миссионеры новой культуры». «Находим же мы с народом общий язык, говоря о футболе и рыбалке,— надо искать конкретные формы хождения в народ». «И неужели мы, владея мировоззрением... (и т. д.) ... не справимся с задачей, которую успешно решают полуграмотные проповедники религии?!» (Увёя себ, не в грамотности дело, на том и выдаёт себя заносчивая и подслепая образованщина, а — в душевной силе.)

Мы так щедро цитируем, потому что: не одного Телегина уже, а — всех самоуверенных идеологов центровой образованщины. Кого из них ни послушаем мы, одно это и слышим: осторожное просветительство! Статья Челнова (Вестник, № 97) точно, как и у Телегина, не сговариваясь, озаглавлена: «Как быть?» Ответ: «создавать тайные христианские братства», расчёт на тысячелетнее ж улучшение нравов. Л. Венцов (Вестник, № 99) «Думать!» — то же, не сговариваясь, телегинское лекарство. На короткое время заплодился в Самиздате журналы и журналы — «Луч свободы», «Светиль», «Свободная

мысль», «Демократ» — все строго конспиративны, конечно, и у всех совет один: только не открывать своего лица, только не нарушать конспирации, а медленно распространять среди народа верное понимание... Как же? Всё та же тысячелетняя пастораль, которую сто раз обгонят события ракетного века. Помнится это так легко: в норке рассуждать, рассуждения отдавать в Самиздат, а там — с а м о пойдёт!

Да не пойдёт.

В тёплых светлых благоустроенных помещениях НИИ учёные-«тёчки» и техники, сурово осуждая братьев-гуманитариев за «прислуживание режиму», привыкли прощать себе свою безобидную служебную деятельность, а она никак не менее страшна, и не менее сурово за неё спросится историей. А ну-ка, потеряли б мы завтра половину НИИ, самых важных и секретных, — пресекалась бы наука? Нет, империализм. «Создание антитоталитарной культуры может привести и к свободе вещественной», — уверяет Телегин, — да как же это себе вообразить? Полный рабочий день учёные (с тех пор как наука стала промышленностью — по сути квалифицированные промышленные рабочие) выдают вещественную если не «культуру», то цивилизацию (а больше — вооружение), именно вещественно укрепляют ложь, и везде голосуют и соглашаются и повторяют, как велено, — и как же такая культура спасёт всех нас?

За минувшие от статьи Телегина годы много было общественных поводов, чтобы племя гигантов хоть бы плечами повело, хоть бы дожнуло разик, — нет! Подписывали, что требовалось, против Дубчека, против Сахарова, против кого прикажут, и, держа шиши в карманах, торопились в курилки развивать «отраслевую подкультуру» и ковать «могучую методологию».

А может быть и психиатры института Сербского той же «тройной моралью» живут и гордятся своею «внутренней свободой»? И прокуроры иные, и высокие судьи? — среди них ведь есть люди отточенного интеллекта (например Л. Н. Смирнов), никак не ниже телегинских гигантов.

Тем и обманчива, в том и путана эта самодовольная декларация, что она очень близко проходит от истины, и это веет читателю на сердце, а в опасной точке круто сворачивает вбок. «Ohne uns!» — восклицает Телегин. Верно. «Не принимать культуру угнетателей!» — верно. Но: когда? где? и в чём не принимать? Не в гардеробной после собрания, а на собрании — не повторять, чего не думаешь, не голосовать против воли! И в том кабинете — не подписывать, чего не составил по совести сам. Какую там «культуру» отвергать? Никто и не навязывает «культуры», навязывают л о ж ь — и всего-то лжи нельзя принять, но — тотчас, в тот момент и в том месте, где её предлагают, а не возмущаться вечером дома за чайным столом. Отвергнуть ложь — тотчас, и не думать о последствиях для своей зарплаты, семьи и досуга развивать «новую культуру». Отвергнуть — и не заботиться, повторяют ли твой шаг другие, и не оглядываться, как это распространится на весь народ.

И потому, что ответ так ясен, стянут к такой простоте и прямоте, — от него всем блеском красноречия уливает анонимный идеолог высокомерного, мелкого и бесплодного племени гигантов*.

А кто не способен идти на риск — избавьте нас пока в нашей грязи, в нашей нищоте от ваших остроумных рассуждений, обличений и указаний, откуда наши русские пороки.

6

И как же при этом центровая образованщина понимает своё место в стране, по отношению к своему народу? Ошибётся, кто предположит, что она раскаивается в своей роли прислужницы. Даже Померанц, представляющий совсем другой круг столичной образованщины — непристроенной, неруководящей, беспартийной, гуманитарной, не забудет восхвалить «ленинскую культурную революцию» (разрушала старые формы производства, очень ценно!), защитить образ правления 1917—22 годов («временная диктатура в рамках демократии»). И: «деспотического отношения со стороны победивших революционеров обыватель, разумеется, вполне заслуживает. Его трусость, его раболепие воспитывают деспотов». Его раболепие, не на ш е!.. А чем же центровая образованщина ведёт себя достойной так называемого «обывателя»?

Даже предположения о какой бы то ни было *вине* перед народом за прошлое или

* В Самиздате — текучи редакции И позже Телегин изменил конец Появилось: «первые вёрсты — бойкот, неучастие, игнорирование» И: копирирование — это обычный шиш, а вот неучастие — где же?..

за нынешнее, чем так мучилась предреволюционная интеллигенция, не возникает ни у кого из певцов образованщины, ни у порицателей её. Тут они все едины, и Алтаев: «Народу самому неплохо было бы ощутить свою вину перед интеллигенцией.»

В сравнении себя с народом центровая образованщина все выводы делает в свою пользу. Померанц: «Интеллигенция есть мера общественных сил — прогрессивных, реакционных. Противопоставленный интеллигенции, весь народ сливается в реакционную массу» (выделено мною, А. С.). «Это — та часть образованного слоя общества, в которой совершается духовное развитие, в которой рушатся старые ценности и возникают новые, в которой делается очередной шаг от зверя к Богу... Интеллигенция это и есть то, что интеллигенция искала в других — в народе, в пролетариате и т. д.: фермент, двигающий историю». Более того: «Любовь к народу гораздо опаснее (чем любовь к животным): никакого порога, мешающего стать на четвереньки, здесь нет.» Да просто: «Здесь... складывается хребет нового народа», «новое что-то заменит народ», «люди творческого умственного труда становятся избранным народом XX века»!!!

То же у Телегина, то же и Горский (ещё один псевдоним, Вестник № 97): «Путь к высшим ценностям лежит в стороне от слияния с народом.» На 180 градусов от того, как думали их глупые интеллигентные предшественники.

Заберём себе и религию. Померанц: «Крестьяне не совершенны в религии», то есть без философской высоты: «можете назвать это Богом, Абсолютом, Пустотой... я не привязан ни к одному из этих слов», а просто сердечная преданность вере, её заветам и даже обрядам, фи,— крестьяне несовершенны в вере, «так же, как и в агрономии». (По крестьянской агрономии и хлебушек был и почва не гнила, а по науке вот скоро мы без почвы. Да, бишь, против почвенников и вся дискуссия Померанца, его идеал «люди воздуха, потерявшие все корни в обыденном бытии».) Зато «нынешние интеллигенты ищут Бога. Религия перестала быть приметой народа. Она стала приметой элиты». То же и Горский: «Смешивать возвращение в церковь и хождение в народ — опасный пред-рассудок.»

Один пишет в московском Самиздате, другие — в парижском журнале, друг друга вероятно не знают, а какое единство! — иголки не пробьёшь. Значит, не придумка одиночек, а направление.

А что ж порекомендуем народу? Вообще ничего. Никакого народа нет, в этом снова все они сходятся: «Культура, как змея, просто сбрасывает кожу, и старая кожа, народ, лежит, потеряв свою жизнь, в пыли.» «Для человечества патриархальные добродетели безнадежно потеряны», «мужик не может возродиться иначе, как оперный». «Мы не окружены народом. Крестьянства в развитых странах становится слишком мало, чтобы окружить нас», «крестьянские нации суть голодные нации, а нации, в которых крестьянство исчезло, — это нации, в которых исчез голод». (Это пока мы ещё не упёрлись в технологический тупик.)

Но если идеологи образованщины так понимают общее положение народов, то как тогда — национальные судьбы? Обдуманно и это. Померанц: «Нации — локальные культуры и постепенно исчезнут.» А «место интеллигенции — всегда на полдороге... Духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои.»

В таком интернационализме-космополитизме было воспитано всё наше поколение. И (если отвлекусь — если можно отвлекусь! — от национальной практики 20-х годов) в нём есть большая духовная высота и красота, и, может быть, когда-нибудь человечеству уготовано на эту высоту подняться. Такой взгляд достаточно владеет сейчас и европейским обществом. В ФРГ это приводит к настроению не очень-то заботиться об объединении Германии, ничего мистически необходимого в немецком национальном единстве, мол, нет. В Великобритании, ещё с иллюзорной хваткой её за мифическое Британское содружество и при чутком возмущении общества против малейших расовых утеснений, это привело к тому, что страна наводнилась азиатами и вест-индцами, совершенно равнодушными к английской земле, культуре, традициям и только ищущими пристроиться к уже готовому высокому стандарту жизни. Так ли уж это хорошо? Не нам издали судить. Но век наш вопреки пророчаниям, порицаниям и заклинаниям оказался повсюдным сплошным веком оживления наций, их самосознания, собирания. И чудодейственное рождение и укрепление Израйла после двухтысячелетнего рассеяния — только самый яркий из множества примеров.

Наши авторы как будто должны бы это знать, но в рассуждениях о России игнорируют. Горский раздражён против «бессознательного патриотизма», против «инстинк-

тивной зависимости от природных и родовых стихий», он запрещает нам безотчётно иррационально *просто любить* ту страну, где мы родились, но требует от каждого высидеться до «акта духовного самоопределения» и лишь таким способом выбрать себе родину. Среди признаков, объединяющих нацию, *он не называет родного языка!* (уступая даже такому теоретику, как... Сталин), ни — *ощущения истории* этой страны. Лишь на подсобном месте признает «этническую и территориальную общность», а видит единство нации в религии (это верно, но религия может быть шире нации) и опять — в неопределённой «культуре» (не той ли, что у Померанца «переползает как змея»?). Настаивает, что существование наций противоречит Пятидесятнице. (А мы-то думали, что, сходя на апостолов языками многими, Дух Святой и подтвердил разнообразие человечества в нациях, — как оно и живёт с тех пор.) С раздражением закликает, что для России «центральной творческой идеей» должно стать не «национальное возрождение» (это им в кавычки взято и нам запрещено такое глупое понятие), а «борьба за Свободу и духовные ценности». А мы по невежеству и противопоставления здесь не понимаем: как же иначе может духовно растерзанная Россия вернуть себе духовные ценности, если не через национальное возрождение? До сих пор вся человеческая история протекала в форме племенных и национальных историй, и любое крупное историческое движение начиналось в национальных рамках, а ни одно — на языке эсперанто. Нация, как и семья, есть природная непрдуманная ассоциация людей с врождённой взаимной расположенностью членов, — и нет оснований такие ассоциации проклинать или призывать к исчезновению сегодня. А в дальнейшем будущем видно будет, не нам.

К тому ж, конечно, и Померанц. Уверяет он нас, что «с позиции народности все кошки серы... Бороться с отечественными порядками, стоя целиком на отечественной почве, так же просто, как вытащить себя из болота». И опять мы по тупости не понимаем: а с *какой* же почвы можно бороться с *отечественными* пороками? — с интернациональной? Эту борьбу — латышскими штыками и мадыарскими пистолетами — мы уже испытали своими рёбрами и затылками, спасибо! Надо исправлять себя именно самим, а не кликать других мудрых себе в исправители.

Скажут: да что я прицепился к этим двум, Померанцу да Горскому, даже полутора (аноним за половину), с Алтаевым два, с Телегиным два с половиной?

А потому что — направление, все — теоретики и, видно, выставляются ещё не раз. Так на всякий будущий случай и поставим эти зарубки. Летом 1972 года, когда пылали русские леса по советскому бесхозяйству (у наших заботы были на Ближнем Востоке, в Латинской Америке), — бодрячок, весельчак и атеист Семён Телегин выпустил в Самиздат листовку, где впервые поднялся в свой гигантский рост и указал: это мол тебе, Россия, небесная кара за твои злодейства! Прорвало.

Как на национальную проблему смотрит центровая образованщина — для того пройдитесь по знатным образованским семьям, кто держит породистых собак, и спросите, как они собак кличут. Узнаете (да с повторами): Фома, Кузьма, Потап, Макар, Тимофей... И никому уха не режет, и никому не стыдно. Ведь мужики — только «оперные», *народа* не осталось, отчего ж крестьянскими, хрестьянскими именами и не покликать?

О, как по этому ломкому хребту пройти, и в обиду по напраслине своих не давши, и порока своего горше чужого не спуская?..

7

Однако, картина народа, нарисованная Померанцем, увы, во многом и справедлива. Подобно тому, как мы сейчас, вероятно, смертельно огорчаем его, что интеллигенции в нашей стране не осталось, а всё расплылось в образованщине, — так и он смертельно ранит нас утверждением, что и *народа* тоже больше не осталось.

«Народа больше нет. Есть масса, сохраняющая смутную память, что когда-то она была народом и несла в себе Бога, а сейчас совершенно пустая.» «Народа в смысле народа-богоносца, источника духовных ценностей, вообще нет. Есть неврастенические интеллигенты — и масса.» «Что поют колхозники? Какие-то остатки крестьянского наследства» да вбитое «в школе, в армии и по радио». «Где он, этот народ? Настоящий, народный, пляшущий народные пляски, сказывающий народные сказки, плетущий народные кружева? В нашей стране остались только следы народа, как следы снега весной... Народа как великой исторической силы, станового хребта культуры, как источника вдохновения для Пушкина и Гёте — больше нет.» «Го, что у нас обычно называют народом, совсем не народ, а мешанство.»

Мрак и тоска. А — близко к тому.

И действительно, как было народу остаться? Накладывались в одну сторону и погоняли друг друга два процесса. Один — всеобщий (но в России ещё бы долго он придержался и, может, могли бы его миновать) — процесс, как модно называть, *массовизации* (мерзкое слово, но и процесс не лучше), связанный с новой западной технологией, осточертелым ростом городов, всеобщими стандартными средствами информации и воспитания. Второй — наш особый, советский, направленный стереть исконное лицо России и натереть искусственное другое, этот действовал ещё решительней и необратимей.

Как же остаться было народу? Были насильственно выкинута из избы иконы и послушание старшим, печка хлебов и пряжки. Потом миллионы изб, самых благоустроенных, вовсе опустошены, развалены или взяты под дурной догляд, и 5 миллионов трудоохотливых здравых семей вместе с грудными детьми посланы умирать в зимней дороге или по прибытии в тундру. (И наша интеллигенция не дрогнула, не вскрикнула, а переловая часть её даже и сама выгоняла. Вот тогда она и кончила быть, интеллигенция, в 1930-м, и за тот ли миг должен народ просить у неё прощения?) Остальные избы и дворы разорять уже было хлопот меньше. Отняли землю, делавшую крестьянина крестьянином, обезличили её, как не бывало и в крепостное право, обезинтересили всё, чем мужик работал и жил, одних погнали на Магнитогорски, других — целое поколение так и погибших баб, заставили кормить махину государства до войны, всю великую войну и после войны. Все внешние интернациональные успехи нашей страны и расцвет сегодняшних тысяч НИИ был достигнут разгромом русской деревни, русского общака. Взамен притянули в избы и в уродливые многоэтажные коробки городских окраин — репродукторы, пуще того поставили их на всех центральных столбах (по всему лику России и сегодня это бубнит от шести утра до двенадцати ночи, высший признак культуры, и пойдй заткни — будет антисоветский акт). И те репродукторы докончили работу: они выбили из голов всё индивидуальное и всё фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и замусорили русский язык, нагудели бездарных пустых песен (сочиняла их интеллигенция). Добили последние сельские церкви, растоптали и загадили кладбища, с комсомольской горячностью извели лошадей, изгадили, изрезали тракторами и пятитонками вековые дороги, мягко вписанные в пейзаж. Где ж и кому осталось плясать и плести кружева?.. Ещё наслали лакомством для сельской юности серятину глупеньких фильмов (интеллигент: «надо выпустить, будут большие *тиражные*»), да то же затолкано и в школьные учебники, да то же и в книгах повзрослей (а кто писал их, не знаете?), — чтоб и новая свежесть не выросла там, где вырублен старый лес. Как танками изгадили всю историческую народную память (Александру Невскому без креста подняться дали, но чему поближе — нет), — и как же народу было сохраниться?

Так вот, на этом пепелище, сидя в золе, разберёмся.

Народа — нет? И тогда, верно: уже не может быть национального возрождения?.. И что ж за надрызг! — ведь как раз замаячило: от краха всеобщего технического прогресса, по смыслу перехода к стабильной экономике, будет повсюду восстанавливаться первичная связь большинства жителей с землёю, простейшими материалами, инструментами и физическим трудом (как инстинктивно ищут для себя уже сегодня многие пресыщенные горожане). Так неизбежно восстановится во всех, и передовых, странах некий наследник многочисленного крестьянства, наполнитель народного пространства, сельско-хозяйственный и ремесленный (разумеется с новой, но рассредоточенной техникой) класс. А у нас — мужик «оперный» и уже не вернётся!..

Но интеллигенции — тоже нет? Образованщина — древо мёртвое для развития? Подменены все классы — и как же развиваться?

Однако — кто-то же есть? И как людям запретить будущее? Разве людям можно не жить дальше? Мы слышим их устало-тёплые голоса, иногда и лиц не разглядев, где-нибудь в полутьме пройдя мимо, слышим их естественные заботы, выраженные русской речью, иногда ещё очень свежей, видим их живые готовые лица и улыбки их, испытываем на себе их добрые поступки, иногда для нас везапные, наблюдаем самоотверженные детские семьи, претерпевающие все ущербы, только бы душу не погубить, — и как же им всем запретить будущее?

Поспешен вывод, что больше нет народа. Да, разбежалась деревня, а оставшаяся приглушена, да, на городских окраинах — стук домино (достижение всеобщей грамотности) и разбитые бутылки, ни нарядов, ни хороводов, и язык испорчен, а уж тем более искажены и ложно направлены мысли и старания, — но почему даже от этих раз-

битых бутылок, даже от бумажного мусора, перевеваемого ветром по городским дворам, не охватывает такое отчаяние, как от служебного лицемерия образованщины? Потому что народ в массе своей не участвует в казённой лжи, и это сегодня — главный признак его, позволяющий надеяться, что он не совершенно пуст от Бога, как упрекают его. Или, во всяком случае, сохранил невыжженное, невытопанное в сердце место.

Поспешен и вывод, что нет интеллигенции. Каждый из нас лично знает хотя бы несколько людей, твёрдо поднявшихся и над этой ложью и над хлопотливой суетой образованщины. И я вполне согласен с теми, кто хочет видеть, верить, что уже видит некое интеллигентное ядро — нашу надежду на духовное обновление. Только по другим бы признакам я узнавал и отграничивал это ядро: не по достигнутым научным званиям, не по числу выпущенных книг, не по высоте образованности «привыкших и любящих думать, а не пахать землю», не по научности методологии, легко создающей «отраслевые подкультуры», не по отчуждённости от государства и от народа, не по принадлежности к духовной диаспоре («всюду не совсем свои»). Но — по чистоте устремлений, по душевной самоотверженности — во имя правды и прежде всего — для этой страны, где живёшь. Ядро, воспитанное не столько в библиотеках, сколько в душевных испытаниях. Не то ядро, которое желает считаться ядром, не поступаясь удобствами жизни центральной образованщины. Мечтал Достоевский в 1887 году, чтобы появилась в России «молодёжь скромная и доблестная». Но тогда появлялись «бесы» — и мы видим, куда мы пришли. Однако свидетельствую, что сам я в последние годы своими глазами видел, своими ушами слышал эту скромную и доблестную молодёжь, — она и держала меня как невидимая плёнка над кажущейся пустотой, в воздухе, не давая упасть. Не все они сегодня остаются на свободе, не все сохраняют её завтра. И далеко не все известны нашему глазу и уху: как ручейки весенние, где-то сочатся под толстым серым плотным снегом.

Это порочность метода: вести рассуждение в «социальных слоях», никак иначе. В социальных слоях получается безнадежность (как у Амальрика и получилось). Интеллигенция-образованщина как огромный социальный слой закончила своё развитие в тёплом болоте и уже не может стать воздухоплавательной. Но это и в прежние, лучшие времена интеллигенции было неверно: зачислять в интеллигенцию целыми семьями, родами, кружками, слоями. В частности могли быть и сплошь интеллигентная семья, и род, и кружок, и слой, а всё же по смыслу слова интеллигентом человек становится индивидуально. Если это и был слой, то — психический, а не социальный, и значит вход и выход всегда оставались в пределах индивидуального поведения, а не рода работы и социального положения.

И слой, и народ, и масса, и образованщина — состоят из людей, а для людей никак не может быть закрыто будущее: люди определяют своё будущее сами, и на любой точке искривлённого и ниспадного пути не бывает поздно повернуть к доброму и лучшему.

Будущее — неистребимо, и оно в наших руках. Если мы будем делать правильные выборы.

Вот и в сочинениях Померанца среди многих противоречивых высказываний выныривают то там, то сям поразительно верные, а если сплотить их, увидим, что и с разных сторон можно подойти к сходному решению. «Нынешняя масса — это аморфное состояние между двумя кристаллическими структурами... Она может оструктурироваться, если появится стержень, веточка, пусть хрупкая, вокруг которой начнут нарастать кристаллы.» С этим — не поспоришь.

Однако, упорно преданный интеллигентским идеалам, Померанц отводит эту роль стержня-веточки — только интеллигенции. По трудной доступности Самиздата надо цитировать обширно: «Масса может заново кристаллизироваться в нечто народоподобное только вокруг новой интеллигенции.» «Рассчитываю на интеллигенцию вовсе не потому, что она хороша... Умственное развитие само по себе только увеличивает способность ко злу... Мой избранный народ плох, я это знаю... но остальные ещё хуже.» Правда, «прежде, чем посолить, надо снова стать солью», а интеллигенция перестала быть ею. Ах, «если бы у нас хватило характера отдать все свои лавровые венки, все степени и звания... Не предавать, не подвывать... Предпочесть чистую совесть чистому подъезду и приготовить обходиться честным куском хлеба без крикы.» Но: «Я просто верю, что интеллигенция может измениться и потянуть за собою других»...

Здесь мы ясно слышим, что интеллигенцию Померанц выделяет и отграничивает по умственному развитию, лишь желает ей — иметь и нравственные качества.

Да не в том ли заложена наша старая потеря, погубившая всех нас, — что интеллигенция отвергла религиозную нравственность, избрав себе атеистический гуманизм, легко оправдавший и торопливые ревтрибуналы и бессудные подвалы ЧК? Не в том ли и начиналось возрождение «интеллигентного ядра» в 10-е годы, что оно искало вернуться в религиозную нравственность — да застучали пулемёты? И то ядро, которое сегодня мы уже, кажется, начинаем различать, — оно не повторяет ли прерванного революцией, оно не есть ли по сути «младовеховское»? Нравственное учение о личности считает оно ключом к общественным проблемам. По такому ядру тосковал и Бердяев: «Церковная интеллигенция, которая соединяла бы подлинное христианство с просвещённым и ясным пониманием культурных и исторических задач страны.» И С. Булгаков: «Образованный класс с русской душой, просвещённым разумом, твёрдой волею.»

Это ядро не только не уплотнено, как надо быть ядру, оно даже не собрано, оно рассеяно, взаимонеузвано: его частицы многие не видели, не знают, не предполагают друг о друге. И не интеллигентность их роднит — но жажда правды, но жажда очиститься душой и такое же ошizenное светлое место содержать вокруг себя каждого. Потому и «неграмотные сектанты» и какая-нибудь неведомая нам колхозная доярка тоже состоят в этом ядре добра, объединяемые общим направлением к чистой жизни. А какой-нибудь просвещённый академик или художник вектором стяжательства и жизненного благоразумия направлен как раз наоборот — назад, в привычную багровую тьму этого полувека.

Сколько это — «стержень-веточка» для «кристаллизации» целого народа? Это — десятки тысяч людей. Это опять-таки потенциальный слой — но не перелиться ему в будущее просторной беспрепятственной волною. Так безопасно и весело, как обещают нам, не бросая НИИ, по уик-эндам и на досуге, не составить «хребта нового народа». Нет — это придётся совершать в будни, на главном направлении нашего бытия, на самом опасном участке, да ещё и каждому в ледящем одиночестве.

Обществу столь порочному, столь загрязнённому, в стольких преступлениях полувека соучастному — ложью, холопством радостным или изневольным, ретивой помощью или трусливой скованностью, — такому обществу нельзя оздоровиться, нельзя очиститься иначе, как пройдя через душевный фильтр. А фильтр этот — ужасный, частый, мелкий, имеет дырочки, как игольные ушки, — на одного. Проход в духовное будущее открыт только поодиночке, через продавливание.

Через сознательную добровольную жертву.

Меняются времена — меняются масштабы. 100 лет назад у русских интеллигентов считалось жертвой пойти на смертную казнь. Сейчас представляется жертвой — рискнуть получить административное взыскание. И по приниженности запуганных характеров это не легче, действительно.

Даже при самых благоприятных обстоятельствах (одновременная множественность жертвенного порыва) придётся потерять не музейную икру, как предупреждает Померанц, но — апельсины, но — сливочное масло, торговля которыми так налажена в научных центрах. Ликовали злорадные критики, что в «Круге первом» я обнажил «низкий уровень любви в народе» пословицу «для щей люди женятся, для мяса замуж идут», а мы, мол, любим и женимся только на уровне Ромео! Но пословиц русских много, для разных оттенков и ситуаций. Есть и такая:

Хлеб да вода — молодецкая еда.

Вот на этой кой еде предстоит нам показать уровень своей любви к этой стране и её белым берёзкам. А любить их глазами — мало. Понадобится осваивать жестокий Северо-Восток — и придётся ехать нашим излюбленным образованским детям, а не ждать, чтобы мещанство ехало вперёд. И все умные советы анонимных авторов — конспирация, конспирация, «только не вылазки в одиночку», тысячелетнее просвещение да развитие тайком культуры — вздор. Из нашей нынешней презренной аморфности никакого прохода в будущее не оставлено нам, кроме открытой личной и преимущественно публичной (пример показать) жертвы. «Вновь открывать святыни и ценности культуры» придётся не эрудицией, не научным профилем, а образом душевного поведения, кладя своё благополучие, а в худых оборотах — и жизнь. И когда окажется, что образовательный ценз и число печатных научных работ тут совсем ни к чему, — с удивлением

мы почувствуем рядом с собою так презираемых «полуграмотных проповедников религии».

Слово «интеллигенция», давно извращённое и расплывшееся, лучше признаем пока умершим. Без замены интеллигенции Россия, конечно, не обойдётся, но не от «понимать, знать», а от чего-то *духовного* будет образовано то новое слово. Первое малое меньшинство, которое пойдёт продавливаться через сжимающий фильтр, само и найдёт себе новое определение — ещё в фильтре или уже по другую сторону его, узнавая себя и друг друга. Там узнается, родится в ходе их действия. Или оставшееся большинство назовёт их без выдумок просто праведниками (в отличие от «правдивов»). Не ошибёмся, назвав их пока жертвенною элитой. Тут слово «элита» не вызовет зависти ничьей, уж очень беззавистный в неё отбор, никто не обжалует, почему его не включили: включайся, ради Бога! Иди, продавливайся!

Из прошедших (и в пути погибших) одиночек составитя эта элита, кристаллизующая народ.

Станет фильтр для каждой следующей частицы всё просторней и легче — и всё больше частиц пойдёт через него, чтобы по ту сторону из достойных одиночек сложился бы, воссоздался бы и достойный народ (это своё понимание народа я уж высказывал). Чтобы построилось общество, первой характеристикой которого будет не коэффициент товарного производства, не уровень изобилия, но чистота общественных отношений.

А другого пути я решительно не вижу для России.

И остаётся описать только устройство и действие фильтра.

8

Со стороны над нами посмеются: какой робкий и какой скромный шаг воспринимается нами как жертва. По всему миру студенты захватывают университеты, выходят на улицы, даже свергают правительства, а смиреннее наших студентов в мире нет: сказано — политучёба, пальто с вешалки не выдавать, и никто не уйдёт. В 1962 весь Новочеркасск бушевал, но в общегитии Политехнического института заперли дверь на замок — и никто не выпрыгнул из окна! Или: голодные индусы освободились из-под Англии безнасильным непротивлением, гражданским неповиновением, — но и на такую отчаянную смелость мы не способны — ни рабочий класс, ни образованщина, мы Сталиным-батюшкой напуганы на три поколения вперёд: как же можно не *выполнить* какого-нибудь распоряжения власти? то уж — самогубительство последнее.

И если написать крупными буквами, в чём состоит наш экзамен на человека:

НЕ ЛГАТЫ! НЕ УЧАСТВОВАТЬ ВО ЛЖИ!

НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛОЖЫ!

— то будут смеяться над нами не то что европейцы, но арабские студенты, но цейлонские рикши: всего-то столько от русских требуется? И это — жертва, смелый шаг? а не просто признак честного человека, не жулика?

Но пусть смеются грибы другого кузова, а кто в нашем давится, тот знает: это действительно очень смелый шаг. Потому что каждодневная ложь у нас — не прихоть развратных натур, а форма существования, условие повседневного благополучия всякого человека. Ложь у нас включена в государственную систему как важнейшая цепка её, миллиарды скрепляющихся крючочков, на каждого приходится десятков не один.

Именно поэтому нам так гнетуще жить. Но именно поэтому нам так естественно и распрямиться! Когда дают безо лжи — для освобождения нужны меры политической. Когда же запустили в нас когти лжи — это уже не политика! это — вторжение в нравственный мир человека, и распрямленье наше — *отказаться лгать* — тоже не есть политика, но возврат своего человеческого достоинства.

Что есть жертва? — годами отказываться от истинного дыхания, заглатывать смрад? Или — начать дышать, как и отпущено земному человеку? Какой циник возмётся вслух возразить против такой линии поведения: *неучастие во лжи*?

О, возразят конечно тут же, и находчиво: а что есть ложь? А кто это установит точно, где кончается ложь, где начинается правда? А в какой исторически-конкретной диалектической обстановке и т. д., как уже и изворачиваются лгуны полвека.

А ответ самый простой: как видишь ты сам, как говорит тебе твоя совесть. И надолго будет довольно этого. В зависимости от кругозора, жизненного опыта, образова-

ния, каждый видит, понимает границу общественно-государственной лжи по-своему: один — ещё очень далеко от себя, другой — веревкой, уже перетирающей шею. И там, где, по честности, видишь эту границу ты, — там и не подчиняйся лжи. От той части лжи отстанься, которую видишь несомненно, явно. А если искренне не видишь лжи нигде — и продолжай спокойно жить, как прежде.

Что значит — не лгать? Это ещё не значит — вслух и громко проповедывать правду (страшно!). Это не значит даже — вполголоса бормотать то, что думаешь. Это значит только: не говорить того, чего не думаешь, но уж: ни шепотом, ни голосом, ни поднятием руки, ни опусканием шара, ни поддельной улыбкой, ни присутствием, ни вставанием, ни аплодисментами.

Области работы, области жизни — разные у всех. Работникам гуманитарных областей и всем учащимся лгать и участвовать во лжи приходится гуще и невылазнее, ложь наставлена заборами и заборами. В науках технических её можно ловчей сторожить, но всё равно: каждый день не миновать такой двери, такого собрания, такой подписки, такого обязательства, которое есть трусливое подчинение лжи. Ложь окружает нас и на работе, и в пути, и на досуге, во всём, что видим мы, слышим и читаем.

И как разнообразны формы лжи, так разнообразны и формы отклонения от неё. Тот, кто соберёт своё сердце на стойкость и откроет глаза на щупальцы лжи, — тот в каждом месте, всякий день и час сообразит, как нужно поступить.

Ян Палах — сжёт себя. Это — чрезвычайная жертва. Если б она была не одиночной — она бы сдвинула Чехословакию. Одиночная — только войдёт в века. Но так много — не надо от каждого человека, от тебя, от меня. Не придётся идти и под огнемёты, разгоняющие демонстрации. А всего только — дышать. А всего только — не лгать.

И никому не придётся быть первым — потому что «первых» уже многие сотни есть, мы только по их тихости их не замечаем. (А кто за веру терпит — тем более, да им-то прилично работать и уборщиками, и сторожами.) Из самого ядра интеллигенции я могу назвать не один десяток, кто уже давно так живёт — годами! И — жив. И — семья не вымерла. И — крыша над головой. И — что-то на столе.

Да, страшно! Дырочки фильтра в начале такие узкие, такие узкие — разве человеку с обширными запросами втиснуться в такую узость? Но обнадēju: это лишь при входе, в самом начале. А потом они быстро, близко свободнеют, и уже перестают тебя так сжимать, а потом и вовсе покидают сжатием. Да, конечно! Это будет стоять оборванных диссертаций, снятых степеней, понижений, увольнений, исключений, даже иногда и выселений. Но в огонь — не бросят. И не раздавят танком. И — крыша будет, и будет еда.

Этот путь — самый безопасный, самый доступный изо всех возможных наших путей, любому среднему человеку. Но он — и самый эффективный! Именно только мы, знающие нашу систему, можем вообразить, что случится, когда этому пути последуют тысячи и десятки тысяч, — как очистится и преобразится наша страна без выстрелов и без крови.

Но этот путь — и самый нравственный: мы начинаем освобождение и очищение со своей души. Ещё прежде, чем мы очистим страну, — мы очистимся сами. И это — единственно правильный исторический порядок, ибо зачем очищать воздух страны, если сами остаёмся грязными?

Возрают: но как жаль молодёжь! Ведь если на экзамене по общественной науке не проговоришь обязательной лжи, — двойка, отчисление из института, и перебито образование и жизнь.

В одной из следующих статей нашего сборника обсуждается, так ли правильно понимаем мы и осуществляем лучшие пути в науку. Но и без того: потеря в образовании — не главная потеря в жизни. Потери в душе, порча души, на которую мы беззаботно соглашаемся с юных лет, — непоправимее.

Жаль молодёжь? Но и: чьё же будущее, как не их? Из кого ж мы и ждём жертвенную злиту? Для кого ж мы и томимся этим будущим? Мы-то стары. Если они сами себе не построят честного общества, то и не увидят его никогда.

ГЕННАДИЙ БЕЗЗУБОВ

*

ДАЛЕКО ЛЕТЕТЬ ОТСЮДА...

* * *

Когда кололи кабана,
Вначале смерть была страшна,
Потом — странна, потом, поверьте,
Была смешна возможность смерти.

Расположенный на вынос,
Алел и хлюпал он в тазах,
И сердце сизое варилось,
Пробитое в один замах
(Была пробоина видна
В остывшем сердце кабана)

Его убийца, дядя Гриша,
Укоров совести не слыша,
Бродил назавтра по селу,
А жертву подали к столу...

Но был момент, когда, обложив
Соломою, он возлежал,
И проступала влажность кожи
Под узким лезвием ножа —
Чуть желтоватый, как фарфор,
Кабан венчал собою двор.

Хозяева стояли рядом,
Прося прощенья у него.
Под этим виноватым взглядом
Он вырастал, как божество,
Его лелеяли, как Будду,
И, словно Будда, был неслеп
Он и загадочен.

Забудут
Об этом сразу и на хлеб
Положат розовое сало
Как часть того, кого не стало.

* * *

По нетронутой зиме
Ходят птицы в Костроме
Или где-нибудь в Калуге,
Где ни зернышка в округе,
Только снежные поля
Да промерзлая земля.

Сердце замерло, застыло,
Ледяной простор, могила,
Километры пустоты,
Бури снежные винты.
Далеко лететь отсюда

В смутном ожиданье чуда,
Если только крепкий лед
Коркой крыльев не скует,
Если шальный выстрел снизу
По нетрезвому капризу
Пошадит, как божий гнев,
Мимо уха просвистев.

Оглянись душой несмелой —
Небеса в коросте белой,
Зарастает льдом просвет.
Ну, прощай. Возврата нет.

* * *

У Тютчевых теперь военкомат,
У Виельгорских принимают тару...
Из гроба встав, какой аристократ
Поверил бы подобному кошмару?
Ей-богу, запросился бы назад...

Но это так. И нет дороги вспять.
К Одоевским купить «собачью радость»
И к Тютчевым пособие принять
Спешит народ. У них другая статья:
«Кто? Что? Поэт? Какой такой? Не надоть!»
Все правильно. И не на что пенять.

* * *

Нет, Страшный суд не станет грохотать —
Невидимо, неслышимо, как тать,
Вкрадется в наши пыльные жилища,
Войдет и воцарится навсегда,
Как мертвая прозрачная вода
И жирная отравленная пища.

Потом объявят: вот он, наступил, —
И телевизионный Гавриил
Трубу уронит, утопая в ряби.
Каштаны, что ни месяц, станут цвести,
Пока листвы проржавленную жечь
Не сбросят в расступившиеся хляби.

* * *

Империя по-русски говорит,
Не чувствуя растущего акцента,
И нежная славянская плацента
Многоязыким пламенем горит —
Империя по-русски говорит.

Империя не слышит никого —
Ни разума, ни собственной природы.
Как будто размывают естество
Могучие подпочвенные воды!
Империя не слышит никого.

Уже у горла подкативший страх,
Уже томит предчувствие угрозы,
Которая клокочет в берегах
Неумолимой деревенской прозы,

Которая усобицы сулит,
Кровавые глухие перегрузки...
Империя по-русски говорит?
Империя не говорит по-русски.



ВАДИМ ФАДИН



Бывало, люди отмечали даты
торжественного вскрытия реки...
С моста смотрелись льдины как заплаты,
а мост без остановки плыл куда-то
здоровым рассужденьям вопреки,

кружилась голова, но было сладко
разглядывать в пучине с вышины
прекрасные картины беспорядка,
последнюю бессмысленную схватку —
и сомневаться в торжестве весны.

Нам доставалось самое простое —
смотреть на ледоход издалека,
и плыть с мостом над страшной пустотой,
и слушать, как моста трещат устои,
и ничего не знать наверняка.

АНАТОЛИЙ КРИВОНОСОВ

*

Я ЧЕЛОВЕК ИСТОРИЧЕСКИЙ

Повесть

Этого человека уже нет на свете — он умер от нынешнего дефицита водки, от ее недоброкачественного домашнего заменителя...

Его не сразу хватились — только на другие сутки, когда обнаружилось, что совхозная ферма осталась без пригляда. Было замечено соседом, что в эти дни Тишка Кривой, как прозвали его в деревне за выбитый глаз, никуда не выходил из дома. Стали искать и тут же нашли. Его увидели при входе из сеней в избу лежащим скрючившись на полу с сидевшей подле верной его собакой, которая с опаской ощерилась на людей, не разрешая подходить к своему хозяину.

Знать, по судьбе нашей бороной прошли.

Русская пословица.

Сколько он еще проспал бы себе без просыпу, может, и всю ночь пролежал бы пластом на голой земле, если бы не этот неожиданный дождь.

А с утра вроде же было непасмурно, намечалась такая духота, какая и среди лета нечасто случается, хотя уже кончался август, самая жарынь выдохлась, была на носу осень, и вот на тебе! Никаким дождем ей-ей и вправду сегодня не пахло, разве что к полдню с поля повеял ветерок, коротко взвихривая отложенные на дорогах за долгое бездожде легчайшие слои пыли.

Первые, конечно, редкие, но крупные капли упали считай что с чистого неба прямо при солнце, да и те тут же прекратились; только потом, под вечер, откуда что взялось — сразу все кругом потемнело, сделалось волглым.

От первых капель, попавших на лицо, он лишь улыбнулся во сне: хоть и редким попаданием, они все же освежили кожу; по очереди эти капли одна за другой, соединившись в еще более крупные, извилисто стекли по глубокой морщине у самого его подбитого глаза за шиворот, где еще успели высохнуть, покуда собрался настоящий дождь, никому теперь, к концу лета, не нужный, принялся поливать все живое и мертвое с первоначальным старанием.

Но и проливной дождь не сразу отрезвил его, а только после того, как вода, не успевая впитываться в пересохшую землю, подтекла под него, начала сжимать холодом, — он сообразил, что лежит у овражка ногами под уклон — где свалился, там и уснул, под старой березой с теневой стороны, когда солнце еще не достигло своей высшей точки и должно было не скоро достать до него...

Он поспешно, оскальзываясь, выполз на четвереньках по раскисшему суглинку из оврага к краю поля, за которым через километровую полосу жнивья, местами уже затопленного водой, угдывалась экономившая электричество деревня.

А где же коровы?

Голова его хоть и была как чугуун: недоспал положенное время, когда хмель мог выйти из нее без боли,— все-таки помнила, как для начала, сразу после утренней дойки, он прогнал стадо по истоптанной за лето до рыжих проплешин луговине — каждодневному маршруту; потом под ходовую матерщину и холостое, для острости, щелканье кнута, грубо свитого из прорезиненного кожзаменителя, направил коров сюда, к недавно сжатому ржаному полю. На исходе лета, в бескормицу, и такое пастбище годилось, неделю-другую было где пасти, а там, глядишь, скоро кукурузу, подсолнечник скосят на силос, где как: где еще сносно постараются, а где только схватят одни макушки. Так, по порядку, пустеет то одно поле, то другое. пока не дойдет очередь до картошки, не навалятся на нее всем миром, не покончат и с ней, останется лишь свеклу убрать... Вот так до поздних заморозков коровы и подбирают по листочку, по клубню — все, что разбросали, притоптали, оставили в земле по спешке и недобросовестности шефы из города.

Голова его все еще помнила и то, как стадо пестрым, лавинообразным множеством вклинилось в поле, принялось, все больше увлекаясь, выщипывать среди колкой стерни отросшую свежую травку. А дальше если его голова и помнила, как он оказался здесь, в овраге, то не хотела вспоминать: дальше-то, кроме одних неприятностей, ничего хорошего не было.

Уже весь мокрый, бессильный что-нибудь изменить, он потащился напрямую к ферме, которая выгодно выделялась в стороне от деревни, выбрасывая в темное небо излишки неоновомого света. А на деревне ни одного, даже простого, фонаря не было.

Подойдя ближе к ферме, он сразу успокоился, когда в низких освещенных окнах коровника, похожего в темноте на остановившийся среди поля ночной поезд, разглядел сквозь ослабший ненадолго дождь спины расставленных по своим местам животных, мокрый ветер донес до него скопившееся там от их дыхания тепло... И на этот раз жена выручила его — пригнала за него коров, хотя и намного позже, чем надо было, еще по свету.

Он уже не спеша, как бы очутившись в полной безопасности, прошел с задов ближе к дому по утопанной борозде, делившей его усадьбу пополам, увидел у соседа в окошке приземистой баньки через вздрагивавшие под частыми щелчками дождевых капель листья яблони тускленький огонек, услышал за нагретыми стенами мягкие удары распаренного веника, стойкое против парного духа мужское покряхтыванье, плеск вылитой на пол воды, позвякивание пустого таза... Эх, вот бы сейчас в баньку, забраться на полок, выпарить из тела озноб, истомив себя жаром до изнеможения, пока станет невтерпеж и не вывалишься голышом в предбанник. А если еще вообразить, что после баньки полагалось поддержать позамитованное у парной тепло чем-нибудь сосудорасширяющим... Отказать себе в этом значило не взять сполна от бани свой интерес: уж после бани-то где хошь достань, как говорят, продай портянки, но выпей.

Раньше, бывало, сосед сам зэзывал попариться вместе вперед женщин, пока не выстудилась каменка; но вот раз сказал ему правду в глаза, так с того дня вынужден ходить по разным чужим баням, напрашиваться, когда уже все поможется...

Помыться, конечно, если набраться сейчас нахальства, сосед пустил бы, не такой Кудачкин узколобий; но раз ему правда пришлось не по душе, пусть теперь в своей бане один моется, сам себе спину трет. Слуга ему, что ли? Слуг у нас давно нет. Отказались от слуг еще в семнадцатом году. От одних отказались, другие на смену пришли... А что, не так? Разве неправда? Всю жизнь Кудачкин Добровым прислуживал — так прямо и резанул соседа при всех, когда

его на пенсию отправляли. И хотя до открытой ссоры дело тогда не дошло — от крика сосед остерегся, но об ихних расхождении, видать, запомнил надолго: и зяться перестал, иногда только кивнет головой, если на глаза попадешься, а то и кивнуть забудет, пройдет стороной, вроде не заметил.

А может, и в самом деле набраться нахальства — напроситься в баню? В его положении чего-то там еще совеститься, гордость свою показывать?

И все-таки устоял — прошмыгнул мимо соседской бани к своему сараю, стал под крышу, отжал отяжелевшие от воды полы пиджачка, глянул через залитый лужами двор на окно, где за светом голой, на свисавшем спиралью шнуре малосильной лампочки торчала искаженная тень жены: значит, сидела ждала. Вот насторожилась — неужели почувствовала? — тень шевельнулась, и он отшатнулся за угол.

Не кажется ли ему, что он стал ее бояться? «Еще чего! — сказал он вслух, выглянув из-за угла: жена отошла от окна, заслонив собой лампочку. — Кто боится, я боюсь? Кого, ее? Ну, нет! Пока еще я тут хозяин!» И смело шагнул к крыльцу, намеренно громким шлепаньем по лужам извещая о своем возвращении домой. От сарая до крыльца всего-то и было какич-то пять шагов — не успел разогнаться, как ткнулся в дверь... Заперта! Какого лешего закрылась спозаранку?

Он постучал кулаком в верхний перекошенный угол двери — самое гулкое место, подождал немного. Не слышит, что ли?.. Конечно, он опять провинился перед ней — проглядел коров... Хотя что же это он? Раньше за своей женой этого не замечал, зловерной она не была, за что он, может, больше всего и ценил ее, берег, храня в тайне пугливую мысль — не слазить бы! — что вот ему досталась настоящая жена, не такая, хотя считают их, баб, всех одинаковыми, — нет, у него жена какую поискать, действительно подруга жизни! Жена его была живой, неустрашимой уликой, памятьвым свидетелем всей его той, былой, и этой вот теперешней, жизни, не зря ж говорят: муж да жена — одна сатана.

Он постучал по двери еще сильнее, но жена не спешила открывать. Вода стекала с крыши прямо ему за шиворот, пока откроет, не то что протрезвишься — совсем дуба дашь.

— Ну нет! — даже одна эта мысль о жене была для него недопустима, и он с разгона, что силы толкнул дверь плечом. Если жена в самом деле не слышала, то теперь услышит! Ему ничего не стоит вышибить эту ветхую дверь совсем. Но силы в толчке оказалось сверх всякой меры, и он ввалился в сени, содрогая стены, вина во всем жену, прежде чем понял, что дверь была не заперта, а сильно забухла от дождя. Он потоптался в сенях минуту-другую, стараясь не дать разрастись своей злобе, опять не сорваться, выдержать под дверью еще хотя бы минуточку. Нет, что-то тут не то, раз не вышла... И вот когда он было собрался сам открыть дверь, жена толкнула ее изнутри, выглянула в сени, держа на уровне лица зажженную, со свежей копотью на стекле керосиновую лампу.

— Глянь-ка, у соседей горит? — сказала она так, словно только из-за погасшего света и не вышла сразу, пока отыскала лампу, зажгла....

— И когда уж нам новую линию проведут! — находчиво возмутился он.

И хотя ему надо было опять соваться под дождь — выходить на улицу, высматривать в запутанном ряду изб, тонувшем в плотном окружении садов и огородов, хоть одно светящееся окошко, гадать, что там, за его потными стеклами, горит — электричество или тоже керосиновая коптилка, — однако более подходящего повода отвести свою необоснованную злость на жену нельзя было придумать.

У соседей совсем было темно, то ли еще не успели зажечь

лампу, то ли решили уже лечь спать. Дальше пройти по улице в такую грязь у него уже не было сил.

— Может, только у нас? — предположила жена. — Что-нибудь на столбе...

— Ни у кого не горит!

— А на ферме?

Ну, на ферме еще бы не было света; неоновые фонари с излишней щедростью разрывали темноту над коровниками, освещая сдвинутые бульдозером черные кучи навоза, сточные канавы, раскисшие под дождем подъезды, летние загоны скота, огражденные как попало осиновыми жердями. На ферме другая линия — новая. Там, если что откажет, сразу бегут исправлять. А у них по улице в грозу или в бурю провод оборвет — неделю жди, пока электрика пришлют. И то подсоединит — только до первого ветра. Как бы в подтверждение этого лампочка вдруг ярко вспыхнула, но тут же резко погасла. Через минуту опять загорелась, неуверенно набирая силу. Тушить лампу или подождать?

— Не туши, — сказал он, останавливаясь у порога с растопыренными руками, не в силах ни согнуться, ни разогнуться, погляди, как он вымок, прямо течет с него, страшно подумать, что он перенес, пока она отсиживалась тут, в тепле...

— На вот тебе, — жена кинула старые штаны и рубашку, — переоденься в это — сухое... Опять кашлять будешь, я лечить тебя должна!

О своем лечении уж лучше бы помолчала! От простуды он всегда лечился испытанным дедовским способом — наливал стакан водки, насыпал туда побольше, сколько мог вытерпеть, соли, перца, хорошенько раскручивал ложкой и, не давая всей этой гремучей смеси осесть на дно, побыстрее выпивал. Затем забирался на печь, наваливал на себя побольше всякого тряпья так, что дышать становилось тяжело, и лежал до тех пор, пока не прошибала благодатная испарина. Если не хватало печного жара для полного разогрева, просил у жены добавки, еще такую же порцию, но уже без соли и перца, одной чистой водки, без примеси. Не терпел отказа, если встречал по женской глупости — тут же, не доводя до резких обострений, восстанавливал свою власть. Но такие случаи были редки; чаще всего он получал от нее по своим потребностям — душа меру знает, — и к утру все как рукой снимало.

Он начал враспяжку снимать с себя мокрую одежду — тянуть тянучку, чем от минуты к минуте нагнетал в свою пользу и без того жуткую тишину в избе.

— Где же ты был, что так вымок?

— Не знаешь — где?

— Знала бы, так нашла!

Застряв ногой в штанине, он молниеносно глянул на жену одним здоровым глазом, другой его глаз, поврежденный, глубоко прятался под разросшейся, наполовину седой бровью.

— Ты если куда запрешься, так и с собаками не сыщешь.

— Плохо, значит, искала!

— Или тебя искать, или коров...

— А чего их, коров, искать? Куда бы они делись? — проворчал он. — Целы же остались, не пропали.

— Коровы-то целы, а вот капуста...

— Какая еще капуста?

— А такая! Завтра узнаешь... Как вызовут, за все отчитаешься, где был и что делал, когда коровы в капусту залезли.

— А в чью они капусту залезли, если не врешь?

— А то ты не знаешь — в чью? В совхозную! Я прибежала с палкой, а они уже там таких делов натворили... Тебя нигде нет. Попался бы ты мне в ту минуту, самого бы палкой бы отходила, чтобы

и не встал! — Жена сплюнула сотлевший окурок в порог, полезла в пачку за другой сигаретой. Уж он-то ее знал: когда жена говорила правду, курила не переставая, жадно хватая дым; голос ее от курения начинал еще больше хрипнуть, на нее нападал бесперебойный кашель.

— Все до поры до времени, — гнула свое она. — Вся деревня говорит. И директор все уже знает.

— Испугался я твоего директора! Что он мне сделает, из зарплаты высчитает? Этим я все равно не разбогатею!

— Одним тут высчетом не отделаешься.

— А что еще?.. — насторожился он.

— Поменьше бы в бутылку заглядывал, а то вот опять до тюрмы докатился!

— Да выкрути ты эту коптилку! — безотчетно вскричал он. — Чего будет — и лампочка и она еще гореть?

— А если свет погаснет?

— Не погаснет.

Он уже влез в сухие штаны и рубашку и сам, не дожидаясь жены, шагнул к лампе.

— Тебя же судить собираются...

Он намерился было только уменьшить в лампе огонь, но, услышав такое, утопил фитиль совсем; от задымившегося нагара по избе распространился сильный запах керосина и гари. Какое-то время он ничего не видел перед собой, кроме черных разводов копоти на овальном стекле лампы.

— А кто директору доложил? — осторожно спросил он.

Не успела жена ответить, как вслед за лампой погасло и электричество.

Пока жена вылавливала из глубокого кармана халата раздавленный коробок спичек, одной рукой зажгла спичку, другой вынула из лампы стекло, пока зажигала вторую, так как первая, быстро сгорев, обожгла ей пальцы, потом пока нашла в захлавленном ящике стола ножницы, обрезала нагар, добилась бездымного пламени, у него было время остыть.

— Так кто, спрашиваю, уже успел передать? — Темень в избе уже раздвинулась, сопротивляясь тусклому свету лампы. — Кто это тут такой шустрый нашелся?

— Да все в один голос, — ответила жена, не колеблясь ни секунды. — Все, кто был на ферме, такой хай подняли!

— А кто директору звонил? — Кричать пусть все кричали, но звонить все не могли, кто-то один.

— Сам должен догадаться — кто. Кому ты что говорил, вспомни!

— Соседу? — он глянул на жену: а кому? Больше он никому ничего не говорил. Так это Кудачкин, значит! Ясно... — И что директор сказал?

— А то и сказал: судить будут!

— Заладила: судить, судить! — Но тут снова вспыхнуло электричество, и он замолчал.

Жена направилась к лампе погасить ее.

— Пусть горит! — остановил он.

Но лампочка замигала, вот-вот погаснет, и они оба притихли, подняли глаза к потолку. Лампочка помигала-помигала и перестала, постепенно набрала силу, благополучно настроилась на ровный, устойчивый свет.

— Может, и ты туда, — он махнул рукой вверх, — писала, просила, чтобы это самое... Такой указ издали?

— А что, и написала б! — подхватила жена с хрипом. — А то пьете, пьете и все вам мало!

— Ты всерьез думаешь, что все так сразу пить бросят? — перекрыл он ее хрип своим хрипом. — Эти, что меня сегодня обсуждали, что ли не пьют? Сразу святые стали?

— Ты за других не расписывайся, лучше на себя сначала посмотри! Была жизнь похуже — и ничего, держался. А как в деревню вернулся...

— Ну все, хватит! Чем морали читать, лучше б поесть дала!

— Бери сам,— жена кивнула на погнутую, в сальной копоти печную заслонку,— доставай из печи картошку и ешь!

— А у тебя уже рук нет подать? Да и что мне твоя картошка? Мне б согреться чем-нибудь...

— Не знаешь — чем? Чаем!

— Да ладно тебе! Прямо так уж сразу... чаем!

— Нет у меня ничего!

— А если найду? Думаешь, не знаю, куда прячешь?

— Ну ищи, если знаешь, ищи! Ищи, если я тебя обманываю!

Но он продолжал стоять: ноги не слушались его.

— Пора уже потушить эту лампу,— проговорил он, стараясь взять себя в руки: жена не хуже его знала цену мужской выдержке и хладнокровию.— Теперь не погаснет!

Жена задула сверху через стекло лампу, но не успела отойти, как свет снова погас. В проницшей с улицы тишине было слышно, как под усилившимся напором ветра проскрипели старые ворота, покачнулся с таким же опасным скрипом дедовский забор, сыпнуло вскользь по оконному стеклу крупными каплями дождя.

Пока жена возилась в темноте с керосиновой лампой, не отвлекаясь на разговор, загорелась лампочка, и он, словно почувствовав поддержку ее яркого света, опять понес на жену:

— Подумаешь, тюрьмы не видал! Кто бы другой сказал, но тебе неподумительно! Ну, пусть директор... Еще ничего не выяснил, а уже в тюрьму сажать! Прошли те времена, когда без разбора хватало! Там, может, два кочана коровы сгрызли, а наговорили...

— Если бы два, и жалобы не было б,— спокойно отозвалась жена.— А то подчистую!

— Так уж подчистую?

— Ну, не веришь — сходи сам убедись... Что ты там ночью увидишь? — скрыто усмехнулась жена.— Да еще одним глазом...

— Ничего, увижу! Все, что надо, увижу!

В спешке, не попадая в голенища, он стал натягивать резиновые сапоги, взамен мокрого пиджака отыскал за печкой брезентовую робу, какие носят пожарники (привез с Камы), и, на ходу одеваясь, кинулся к двери. Перед тем как пригнуться под косо осевший от времени верхняк, оглянулся на жену.

— Вымок насквозь — сходи еще раз помокни, если не терпится,— даже не шевельнулась она, стоя спиной к печке.

Он так хлопнул дверью, что электричество за его спиной враз погасло.

Дверь в сенях совсем разбухла, никак не закрывалась, и он, бросив ее болтаться на перекошенных петлях, не разбирая шагнул прямо в лужу, подбиравшуюся к самому крыльцу.

Чего-чего, но грязи хватает по нашим деревням. И в их краю особая; только дождь брызнет — налипает на подошвы по целому пуду. А тут вот уже сколько шпарит, так расквасил — через двор не пролезть. Странно, но раньше, когда он дальше своей деревни нигде не был, ничего не видел, эта грязь ему была непочем — с детства привык по ней босиком лезть, бегать по лужам... Без этой самой, куда ни ступи, грязи, казалось, не могло и быть деревни.

Поскальзываясь, он кое-как добрался до лазейки в сад, между углом сарая и светящейся насквозь от щелей, полузавалившейся, низкой (как штаны надевать, так во весь рост не выпрямишься) уборной,— до того места, откуда уже была видна соседская банька, теперь тихая, с темными окошком, с истощившимся теплом парных стеш... Жаль, что этот иуда уже помылся, а то бы теперь не прошел мимо — поговорил бы с ним по душам... Ну, они еще встретятся на

узкой дорожке, подвернется случай — рассчитается сполна. Он выбрался из своего огорода на проселок. Отсюда напрямую, через перерезавший деревню овраг можно было сразу выйти к полю, где совхоз каждое лето сажал капусту.

Поглядев в сторону ярко освещенной фермы — до нее было каких-то полста шагов, — он так было с ходу и двинулся, когда из-под темной стены коровника к его ногам выполз черный, почти невидимый в темноте его верный пес Волкодав — сыскался!

Он подобрал Волкодава щенком в овраге — спас, можно сказать, от голодной смерти. Шел из магазина, нес хлеб с центральной усадьбы совхоза, целую сетку — десять буханок себе на прокорм и кабану, — с расчетом на неделю, до следующего привоза; от тяжести уже плечо сеткой нарезало, присел было отдохнуть на краю обрыва, прежде чем овраг перейти, как слышит: что-то копошится внизу, на дне свежей промоины. Глянул — щенок, до того истощавший, одни ребра торчат, чуть живой. Как он туда попал, то ли кто от него избавиться решил, то ли сам свалился в яму — гадай, никогда бы ему самому из этой ямы не выбраться. Спустился вниз, взял дрожащего щенка на руки и принес домой. «Зачем он тебе, этот щенок, да еще такой дохлый?» Стань возражать — жена скандал подымет, лучше отделаться молчанием. Сходил к соседу, попросил молока, налил в консервную банку и ткнул щенка мордочкой. До чего же жалко было глядеть, как тот, растопырив лапки, поджав хвост, тут же взахлеб начал хватать молоко — спешил съесть побольше, видно, страшно боялся, как бы не отняли. Молоко быстро переходило из банки в его желудок, живительной стружкой пульсировало под кожей по горлу, при каждом торопливом глотке вздрагивал, все полнел в редкой материнской шерстке живот.

Дошло ли тогда до жены, что это такое — помирать живому существу с голода? Наверное, дошло. Такое должно дойти до каждого. Сейчас бы он нашел на глупые слова жены еще и другой ответ, как он когда-то тоже чуть не помирал с голода... Как уже с самого детства...

Что было до войны, он почти ничего не помнит, кое-что, и то смутно. А вот войну и что было после войны... Нет, лучше не вспоминать, сейчас не до этого. Если бы не объявился Волкодав, где бы он уже был? За фермой. Ишь, пес паршивый. Он виноват в том, что случилось. Будь Волкодав сегодня рядом, наверняка бы не проспал столько и коровы не забрались бы в совхозную капусту. А значит, и день кончился б совсем по-другому: спокойно получил бы он от жены свой лечебный стакан с перцем и отдыхал бы сейчас на голой лавке в теплой, почему-то названной Красным уголком каморке под одной крышей с коровами, где, кроме телефона на оставшемся еще от Доброва столе да обязательства по надою молока на посеревшем простенке, ничего больше не было. А то вот надо переться ночью по дождю черт знает куда — искать впотьмах эту проклятую капусту...

Так что же, простить теперь пса, взять с собой? Небось стал забывать, как подышал в овраге от голода. Он-то, этот голод, конечно, и толкнул его тогда на преступление — щенок утащил из чулана кусок сала, за что и попалился. Вроде бы и не очень ударил кнутовищем, но угодил по глазу. Нечаянно. Как еще? Не нарочно же. Что он, изверг какой? Ему и самому жалко стало, когда щенок с визгом уполз под сарай. Больше суток пролежал там, поскуливая, не показывая на глаза. Ладно, думалось, ничего с ним не случится — поскулив-поскулит и перестанет. Когда же на другие сутки осмелился выползти на свет, виновато постукивая по земле тонким хвостиком, ткнулся ему в ноги, один глаз у щенка оказался закрыт, кровоточил. Вот так невезуха! Около месяца врачевал щенка — по несколько раз

в день промывал ему глаз отваром ромашки и зверобоя, отклонив борную кислоту, которую настойчиво, до ругани, предлагала жена, исчерпав все доводы в пользу своей медицины. Нагноение прошло, но глаз так и не открылся.

Выздоровев, щенок быстро, под усиленной кормежкой, пошел в рост, к концу лета вымахал в здорового пса. Слеп на один глаз, зато ухом чуток: стоило кому-нибудь приблизиться к ферме в неположенные, запретные часы или подойти к стаду, как он тут же настораживался, гляди, чтобы штаны не подвязал. Если прыгнет на грудь, то и с ног свалит. По этому признаку и кличку ему подобрал — Волкодав, одна эта кличка должна была наводить на всех страх, к тому же на месте одного глаза жутко чернел прикрытый наростшей шерстью провал.

Волкодав подполз к его ногам, лизнул резиновые голенища сапог, как бы не смея поднять на хозяина свой единственный глаз, прежде чем не убедится, что прощен за сегодняшний прогул. Двинуть бы его ногой так, чтобы и перевернулся — пусть не подлизывается!

— Уйди! Не лезь со своими грязными лапами!

Но Волкодав продолжал тереться возле ног, посверкивая из темноты уцелевшим глазом.

— Ну, не путайся под ногами! — Он уже слегка отпихнул от себя пса: — Пошел вон!

И пес, сразу поняв по этому голосу, что наконец-то прощен, с радостным визгом бросился вперед, куда направлялся хозяин — в обход фермы к черневшему за ней полю.

Свет от фонарей фермы сначала слепил, затем стал косо бить сбоку, потом зашел со спины, удлиняя тени и слабея, пока не стало кругом совсем темно. Дальше он пробивался наугад, на запах помятых, смоченных дождем капустных листьев, низинкой, богатой перегноем, где даже в засушливые дни держится парной, застойный воздух, а в непогоду быстро тяжелеет, перенасыщается влагой. То и дело спотыкался на бороздах и глыбах развороченной земли, попадая то в одну, то в другую яму с водой... Нечистая сила! Где же эта капуста, мать ее за ногу?

Но вот в темноте что-то забелело — капуста? Чему еще белеть тут? Сколько же ее... Не может быть, чтоб всю до кочана коровы съели! Сейчас он подойдет ближе — и все прояснится.

— Ну что ты, дурачок? — проговорил он, подбадривая собаку и сам собираясь с духом. — Ну? Чего ты? Пошли! И перешагнув через пса, первым поспешил к капустному полю. Под ногой хрустнула кочерыжка, и он сначала не поверил, когда, нагнувшись, нащупал вместо кочана только несколько растерзанных листьев. И везде, куда бы он ни сунулся, торчали одни кочерыжки да валялись втопганные в землю листья. Вот черт, забыл из-за жены фонарик взять. Хотя слабо, но все же светил... Он выматерился: жена не преувеличила — повольничали тут коровы, все кругом пусто. Да, подзалетел он с капустой...

А кто виноват? Один он только? А она, жена, не виновата? Раньше добровольно помогала ему все лето ходить за стадом, сухая, быстроногая, дальнзоркая, сразу замечала, куда какая корова норовила отбиться, не то что он с одним глазом; тут же перехватывала, возвращала в стадо. А вот сегодня осталась с утра дома: приболела, знает чем — хитростью!

Надо же было в этот день совпасть еще и третьему событию, которое теперь не знает, как и толковать.

Такие указы, мечта всех жен, и раньше издавали, а много ли от них проку, кто помнит? Цены повышали, а от водки в каждом магазине полки ломались, пейте, хоть залейтесь. Что пять рублей, если жизнь — копейка! А кто и смело пошучивал, мол, передайте Ильичу: нам и десять по плечу! Находились остряки, еще тогда как в воду

глядели... Теперь-то не до шуток, попритихли, стоят по городам в очередях да помалкивают.

А что было тут, в деревне? Жизнь научила его не спешить — ругать или хвалить, пусть люди поболтают, пока не надоест. Если не брехня — жди, скоро передадут по радио, покажут по телевизору, напечатают во всех газетах. И то еще он подумает: осуждать или сразу смириться, чего попусту колыхаться? Когда у нас было так, чтобы потом что-нибудь отменили? Что сверху, бывало, ни спустят, то уж навсегда. И вот когда слух, как уже бывало не раз, подтвердился, новые цены на водку оказались намного ниже тех, что предсказывали, все довольные и недовольные сошлись на одном: дороговато, но еще терпимо, ждали худшего. Кому как, конечно, кому терпимо, а кому уже чувствительно. По-всякому рассуждали мужики, но вот чтобы вообще все как один отказались от такого удовольствия, стали все поголовно трезвенниками — вообразить даже невозможно. Такой установки никто не ожидал. А если у кого свадьба или день рождения? Одним чайком обойтись? Узнают — никто не придет, вся деревня осудит. И хотя никаких свадеб в его жизни не предвиделось, — он сам-то без всякой свадьбы женился, скромно посидели вечер, вот и вся свадьба, — некого ему было ни женить, ни выдавать замуж, не вырастил ни сына, ни дочери, обошелся без детей, а свои дни рождения с женой отмечали от случая к случаю, только круглые даты, так же скромно, без всякой там икры и севрюги и всего такого, чего в деревне и в глаза не увидишь, но он враждебно затаился, отыскивая в жизни еще множество других примеров, когда ну никак ты не обойдешься без выпивки, если не хочешь осрамиться перед людьми.

Ну взять, раз он вспомнил, те же похороны... Когда умерла мать, ящик магазинной купил и самогона литров десять за вечер накапало, брат с сестрой из города приехали — раскошелились, и все пошло: столько народа перевернулось в хате за день, в три захода пришлось пропустить через застолье. Мать на него не обидится. И люди довольны остались. Он-то от матери хоть и отвык, но должен был похоронить ее как следует, иначе вся деревня его осудила б.

А если дело какое сделать... Поди попроси, поклоняйся в ножки, чтобы кто-нибудь тебе весной огород вспахал, дровец на зиму подкинул только за одни деньги, попробуй не угости. И не «червивкой» какой-нибудь, как раньше, в пределах полутора рублей, а сорокоградусной по новой цене. Так что легко сказать: водка зло, да только никто и шагу без нее не ступит. Но вина того, кто пьет, а не того, кто подносит.

Он не такой малоумный, чтобы говорить все это вслух. Каждый привыкал к неловким переменам на свой манер.

Но сперва водка хоть и подорожала, еще неделю-другую стояла у Нюры во всю полку. Только откуда у нее вдруг набралось столько «Столичной», сколько раньше и в Москве не увидишь? Не могла вина подешевле привезти, а что дороже выставила? А вскоре Нюра уже и «Столичную» не каждому — по выбору стала показывать, и то из-под прилавка. И вот не прошло и месяца, как привезла из района для мужиков страшную весть: решено в ее магазин совсем никакого спиртного не завозить, ни водки, ни вина.

И начались дебаты. Нюру затаскали. Весь июль шла неравная борьба, победит то одна сторона, Нюрина, то другая, вышестоящая, то появится водка в магазине, то исчезнет. Поиграли у мужиков на нервах. Взяло верх последнее — пришел строгий запрет. Раз и навсегда. Кому нужно — и за водкой теперь, как за хлебом, на центральную усадьбу совхоза. Один магазин на три деревни. А там своя Нюра... Свои клиенты. Кому есть, а кому нет. Попросишь у нее, поунижаешься. Да и псбегай каждый раз в другую деревню. Ничего

себе удовольствия! И вот разнеслась молва: сегодня наша Нюра последний день водкой торгует, спешите, не опоздайте!

Стоило это услышать, как все, где кто ни был, дома или в поле, побросав работу, задолго до двух часов (по новому распорядку) заспешили к магазину.

— А ты чего тут? — открыв кабину, крикнул шофер.

— А где мне быть?

— Это вот видишь? — шофер показал на несколько бутылок водки под сиденьем.

— Ну, вижу...

— Беги,— шофер кивнул в сторону деревни,— может, еще успеешь...

Вот тут-то он и бросил своих коров и скорее туда — а что, он хуже? — к Нюре. У нее уже набилось до того, что если бы и хотел без очереди взять, так не пролезешь. Сбежались и съехались сюда все кто мог, как говорится, и конные, и пешие, кто на мотоцикле, кто на машине, а кто и на тракторе... Оцепили магазин техникой. Брали про запас, у кого деньги были, хотя сколько ни бери, на всю жизнь не запасешься. А у него и денег-то с собой — на одну еле наскреб. И то еще ему повезло: досталась последняя бутылка. А куда ему было эту бутылку девать? В музей сдать? Вернулся к стаду, сел на бугорок и опорожнил ее без закуски...

Он рванулся, выходя из оцепенения, чуть было не подвернул ногу, наступив в темноте на кочерыжку.

— А-а...

От боли с отчаяния он хватил обратно напрямик через овраг — самым ближним, но опасным путем, натываясь в темноте на кусты, в бессмысленной спешке обдираясь о колючки, прикрывая лицо от веток задубелым воротником куртки, ничего не видя, едва не слетел с обрыва на дно оврага, куда, намывая песок, отовсюду стекали дождевые потоки, сливаясь ниже к лугу в один широкий, мутный поток, отрезавший деревню от дороги. Зато он одним махом выходил прямо к ферме, с тыла — самой нечистой, провонявшей навозной жижей стороны поднимался из оврага по накрученным между кривыми березками коровьим тропам.

Он чуть ли не на четвереньках вскарабкался по раскисшему глинистому склону — одолел последнее препятствие на пути к ферме, изо всех сил, на выдохе, напрягая ноги, взошел на ровное место. И вот тут, войдя в ворота, прикрытые на живую нитку скотниками, остановился, вынужденный отдышаться, повел высматривающим взглядом по длинным рядам коров, миролюбиво жевавшим жвачку над кормушками... А коровы не виноваты? Виноваты и коровы!

Он уставился на ближайшую корову, на ее мерно двигавшиеся челюсти... Небось не один кочан уничтожила, и хоть бы что ей! Смотрит на него безвинными глазами! Вот так бы сейчас заехал по морде! Но только погрозил кулаком — ударить не посмел, а та, дуреха, потянулась к нему, лизнула выставленный кулак шершавым языком, обдав его теплым дыханием.

— У-у, прожоры! — было подавшись на ее ласку, он отдернул руку и кинулся к другим коровам.— Жрете, жрете, и все никак не нажретесь!

Может быть, уже и ударил бы по-настоящему следующую корову, которая не проявила к нему такой доверчивости, как первая, если бы не подвернулся тут под ноги Волкодав,— в доли секунды, не раздумывая, переориентировался и метко, с разворота, поддел пса ногой, вложив в этот удар всю силу накопившегося гнева. Пес взвизгнул, отброшенный под корову, и та, шараясь от собаки, напугала в свою очередь соседку — коровы разногласо и тревожно

заревели, наставляя на собаку рога, и Волкодав, поджав хвост, успел прескочить в ворота.

И тогда он сразу остыл, боясь, что пес, обиженный, чего доброго, на этот раз убежит от него и не вернется, вышел через те же ворота, закрыл их на замок, как делал всегда, отправляясь с вечера спать в Красный уголок, и, приглядываясь к темным закуткам широкого скотного двора, негромко позвал:

— Волкодав! Волкодав! Где ты?.. — Прошел по двору, где было еще темнее: там фонарь не горел. — Волкодав!

Помолчал, прислушиваясь, и вот незаметно из темноты пес выполз на свет, падавший из окна коровника, прилег в нескольких шагах от хозяина — ближе не осмелился.

— Ну иди ко мне, дурачок, — сменил он тон. — Не бойся. Что я, изверг какой?

Он сам подошел к собаке, наклонился над ней, стал гладить по голове, отчего кожа под его ладонью сдвинулась, и на месте выбитого глаза открылся темный провал. Он отдернул руку, резко выпрямился.

— Ладно, не обижайся. Мне вот еще не так попало, и то я не обижаюсь.

Хоть и не хотелось вспоминать, да вот само в голову лезет... Теперь ему спешить некуда, впереди еще целая ночь, глядишь, скорее время пройдет... Что ночь? Вся жизнь, считай, прошла. Не успел оглянуться, как уже шестой десяток разменял. А что хорошего в своей жизни видел? Говорят, что вот до войны лучше жили, что сейчас еще лучше бы жили, если бы война не помешала... Не спорит: не все, конечно, и тогда было плохо, много можно и хорошего найти. Но чего было больше, чего меньше? Кому больше верить? Чья правда? У кого на что крепче память выходит...

После Сталина сколько лет прошло, а деревня не лучше — хуже делается, — видно, все же неполная правда говорилась, новая к ней неправда примешалась. Вся ли и сейчас правда сказана?

Да, шумно было в то время в деревне, весело, это верно, до войны лучше жили, сам может судить по своему довоенному детству. А может, и тут один обман, всем вдолбили? Народ поверил. Лучшей жизни не видел, настрадался, устал от перетрясок, и такой был рад. Работали действительно дружно, с песнями, не то что сейчас.

Раньше так и Добровы пели — веселились до войны. Сам Дорофей Дорофеевич, их первый председатель колхоза, бывало, еще как отплясывал под гармошку! Такой же был простой мужик, как все, голодранец; дед его — еще все помнили, — как весна наступала, по деревням с сумкой ходил — милостыню просил, под слепого поддевался, а то бы семья с голоду опухла. Потом и зимой стал ходить, до тех пор ходил, пока не нашли его в сугробе, между Ивановкой и Рассухой, замерзшего. Все же Добровы выжили, помаленьку окрепли при советской власти, перестали голодать, но какими были забитыми, такими и остались. Лишь один он, Дорофей Дорофеевич, и выделился из всего рода, не только из рода — во всей деревне равного ему не нашлось. Грамотешки чуть поболее других набрался (многие даже расписаться не умели, крестики ставили), гражданскую в коннице Буденного отвоевал, шашкой помахал, хотя Буденный, может, его и в лицо не запомнил: таких у него было много, целая конная армия; но не важно, зато вернулся в Ивановку другим человеком, подкованным. Как до колхозов дело дошло, зацепило Ивановку — тут Добров и объявился, как раз подоспел. Местные власти его, конечно, сюда, в председатели. Возражений нет? Тогда голосуем.

Ну, Дорофей Дорофеевич был еще человек; и на трудовни при нем больше, чем в других колхозах, получали. А вот об его родственничках не скажешь. Как говорят, из грязи да в князи. Быстро вошли во вкус... Да и вся его семеечка возомнила о себе, хотя гово-

рят: яблоко от яблони недалеко падает. Может, Дорофей Дорофеевич и сам такой был, да на людях не показывал — поумнее был. На Сталина говорят: культ, культ! Вот он культ: маленький, не чета Сталину, но тут он и царь, и бог, и воинский начальник! При Сталине, как бы его сейчас ни осуждали, этого бы не было. Тогда и водка везде стояла, и порядок был. В одном сосед прав — хорошо то время помнит, еще совсем молодым Кудачкин при Дорофее Дорофеевиче в бригады выбился, хоть маленькое, но начальство. Потом его сыну стал прислуживать... Да, яблоко от яблони... При живом отце не высовывался, но по деревне нет-нет да и проносился слухок: «Сын еще себя покажет!»

И показал после войны...

До войны что об этом культе личности знали? Слова даже такого тогда не слышали, да еще тут, в деревне. И о Хрущеве: скинули — и молчок. Сначала тоже культ из него сделали, а потом раз — и нет, был всем, а стал никем. Да и сейчас верить ли, что обещают полную гласность? Голову высунешь, а тебя по ней — трах! — не будь дураком, опять тебя к ногтю. Но вот Добровы, те ничего не боялись. У них была даже своя любимая частушка, неизвестно откуда они ее откопали, сами сочинили или где-то подхватили готовую. Но как соберутся всей родней на какой-нибудь праздник в одну хату, обособленно от всей деревни, как устроят гульбище, тетки, сестры, племянницы со своими мужьями, бывало, пляшут во дворе под гармошку и припевают:

А мы сами комиссары,
Сами председатели.
Не боимся никого —
Ни отца, ни матери!

И топ-топ ногами, топ-топ!

Но жизнь все-таки шла к лучшему; колхоз был небольшой, всего из одной деревни, Ивановки, народу было хоть и побольше, чем сейчас, с трех деревень столько не наберется; но наподобие артели, все на виду, за чужую спину на работе не спрячешься, на тебя тут же пальцем покажут: кто-то работать будет, а ты прохлаждаться? Нет, отлынивать не удастся, как сейчас в совхозе научились: сделать меньше, а получить больше. Начальства развелось больше, чем подчиненных, командовать — таких много, а работать некому.

Развал начался куда раньше, в то время он еще на Каме сучки обрубывал, когда Хрущев кукурузу тут везде стал сеять... Однако загубила Ивановку не кукуруза (ее совхоз и сейчас сеет на силос), а вот что, как он понимает своим умом. Если в распоряжении Доброва-отца была одна деревня, то у Доброва-сына стало их три, к Ивановке присоединили Рассуху, еще и Васильевку дали в придачу. От такого укрупнения Ивановка сразу оказалась на отшибе, быстро обезлюдела, захирела. При Доброве-сыне стало даже в школу некому ходить — вот до чего дожили! Только старались, строили, хотели, чтобы своя в Ивановке была да повместительнее, срубили с заглядом, по своим тогдашним силам, боялись, что через год-другой мала будет. А вот как жизнь повернулась, что теперь пустоует. Стоит на горке, тоску наводит, напоминает, как и он когда-то в нее ходил. Только год отучился, а тут война... Она, война-то, и поубавила мужиков в Ивановке, по каждой семье прошла, в одних выбила начисто, без жалости, в других — если кто не погиб, так вернулся с фронта калекой.

Вот придет же на ум то, что было уж так давно, что кажется и неправдой. Как быстро проходит жизнь... И началась-то она, его жизнь, воґ так: с несчастья — как хлестнул его в детстве Добров кнутом по глазу.. Конечно, не он один такой на свете, кто глаз, а кто и оба потерял — это уж совсем беда, хуже которой нет; одни,

хоть не обидно, на этой войне, а другие, как он, вот уже в мирное время... Всякие бывают случаи, но конечный результат у всех един: или ты совсем не видишь белого света, или только наполовину.

Для него начало мирной жизни хуже военной оказалось. Метил Добров по спине, да угодил по глазу. А за что? За то только, что он есть хотел? Все живое есть хочет. Поэтому-то он так заморышем и вырос, что не получил в детстве что положено.

Через такой промежуток жизни он и сам уже иногда подумает, не сон ли это? Нет, не сон. Вот то-то и оно, что не сон, а явь! А то ли еще будет! Он ведь не бычок, которого ведут на бойню, ничего не знает, что его там ждет. А тот, кто ведет, уже знает. Скажут: нечего по себе мерить, по своей жизни обо всем судить. А по чьей же ему еще судить? Других у него мерок нет, а чужие ему не подходят.

За что его всю жизнь наказывают? За какие провинности? Что он, вор? Тогда много таких воров было: голод — не тетка. Чуть что-нибудь поспеет... Не могли дожидаться, еще зеленое рвали и ели. Нет, тогда не до жиру было, не варили такие зеленые щи, как сегодня — на мясном бульончике, с вареным яичком и сметанкой. Это была одна светлая водичка. К тому же до появления на пригретых солнцем лужайках первых спасительных листочков щавеля, на сорных пустырях, под заборами — крапивы, а позже и лебеды на не родящей еще ничего, кроме сорняков, усадьбе, до того дня, когда начнет распускаться липа (молодые, клейкие листья липы можно было просто жевать сырыми), когда завяжутся в саду яблоки, созреет лесная ягода, пойдут грибы, — вот до этой поры еще надо было дотянуть через долгие зимние месяцы, перебороть весну, посевные тяготы, когда к тому времени уже все, что держалось в запасе по погребкам и подпольям, выгребалось до нуля. Дотянешь до нового урожая — выживешь, не дотянешь — отнесут на кладбище, в яму закопают, больше есть не запросишь. Нет, в яму было еще слишком рано, надо жить да и жить, хотя другие и умирали у него на глазах от голода. С ним этого никак не могло случиться, раз уже заколосилась, стала наливаться рожь. Бывало, заберешься в нее с головой, нарвешь покрупнее колосьев, вышелушишь из них на ладонь недоспелые, распаренные полуденным солнцем, брюхатенькие зерна, затем осторожно, чтобы не обронить в траву ни зернышка, выдуешь усы, захватишь все сразу губами с ладошки, чтобы хоть что-то почувствовать во рту, с наслаждением прожуеть и тут же проглотишь. Теперь он мог каждый день утолять так свой голод, набивать колосками полную сумку для младшего братишки и сестренки. Он был самый старший в семье, вместо отца, погибшего на войне. Что мать могла одна, неграмотная, с тремя детьми сделать? А он был храбрый парень, не боялся никого, даже самого Доброва...

Да, после войны сын Доброва показал себя — оборзел совсем, что ли, от контузии? Даже на слезы вдов, вспахавших кто на себе, кто на корове свои усадьбы, сукин сын, не поглядел — наказал штрафом. К ним тоже подлетел верхом на лошади, когда они с матерью допахивали усадьбу на себе (корова их сдохла от бескормицы — не дотянула до весны), стал грозить, что засеет усадьбу люпином, если мать не выйдет сейчас же на колхозное поле. Мать, конечно, в слезы, и просить, и молить: пожалей хоть детей-сирот. Куда там! Москва, мол, слезам не верит. «Стране нужен хлеб, мы должны скорее вырастить первый урожай, а тут находятся люди...» — этим Добров все оправдывал, никто и рта раскрыть не смел, боялись его как огня.

...И как он потерял бдительность — не углядел Доброва? Казалось, всего-то на минутку и сморил его сон прямо здесь же, во ржи, после того как он подкрепился несколькими горстками недоспелых зерен, с голодухи, конечно. Проснулся, только когда услышал уже совсем рядом храп разгоряченной лошади, увидел снизу, сквозь колосья, Доброва, но не побежал от него в страхе, а лишь неволью заслонил-

ся ладошкой от занесенного над собой кнута — мгновенная боль обожгла ему глаз... Не одного его Добров за колоски гонял, да не пойма, а вот он один попался — за всех ответил. И выследил, гад! Сейчас-то, при уборке, больше теряют, о колосках-то и разговора нет, никто их не собирает, как раньше по колосочку собирали, — все комбайнами жнут и молотят, за потери ни с кого не спрашивают.

Тогда не шутили, отваливали, если кто попадался, на полную катушку, без всяких скидок, никакие ссылки на бедность, недоедание — ничто не помогало. На суде и слушать даже не желали... Все отдай, а сам хоть помри. Это только в песне поется: «Все вокруг колхозное, все вокруг мое»...

Он пристально взгляделся одним глазом в приникшего к земле Волкодава: «Мне тоже, как видишь, попало. А за что? За то, за что и тебе, понял?» Пес чуть вильнул хвостом, кажется, понял. А что? Умная собака скорее человека поймет. «Ну вот! — одобрил он. — Зря, что ли, бьют? За одного битого, слышал, двух небитых дают». Он было протянул к собаке руку, чтобы погладить по голове, но она тут же отпрянула от него. «Ты чего? — поразился он. — Обиделся так? Ну, за глаз извини, конечно... Я же нечаянно, хотел только... А вот вишь, как получилось... Ну, ты это... не обижайся на меня, иди ко мне! Ну, иди». Собака отскочила от него еще дальше. «Обижаться — последнее дело. Обижаться тебе на меня не за что. Сегодня ты, парень, передо мной проштрафился, ты мне не финти. Возьмут и засудят, опять загонят, где Макар телят не пас... А что им? Кто я для них... Ну, так что будем делать? — спросил он, глядя издали на собаку. — У тебя это что, ерунда на постном масле в сравнении со мной. Я побую, я и пожалею». Собака еще больше насторожилась от его голоса. «А мне кто поможет? Завтра директор придет, спросит, а я что ему отвечу? Вот что, по-твоему?» От этого нового его вопроса пес испуганно прижался к земле, готовый отскочить в сторону и вовсе убежать в темноту. «Ты тож хорошо! Сбежал на весь день, одного меня с коровами бросил! За что я тебя кормлю, в тепле содержу?»

На последних словах он споткнулся, вспомнив, что пес жил у него в самых незавидных условиях, — не сделал он ему даже плохонькой конуры; щенком ночевал, где придется, забивался под стену сарая или погреба, зимой и летом под открытым небом. А теперь, когда вырос, оброс жесткой, плотной шерстью, что ему могло статься без конуры? «Погоди вот, может, все обойдется, я тебе такой дом смастерю — умирать не надо! — пообещал он. — Будешь жить у меня — всем собакам на зависть!..» Он шагнул к собаке и, присев на корточки, подставил ладонь с черными от набившейся грязи трещинами. «Ну, лапу! Дай лапу!» Но пес отказался подать ему лапу, и тогда он слегка ударил по ней рукой, как учил Волкодава здороваться еще щенком. «Лапу!» Волкодав отскочил и, поджав хвост, с опасливой оглядкой побежал к деревне.

Выходит, что же, не простил его? Не стерпел, когда он, человек, и не такое всю жизнь терпит? Что ж получается, он хуже собаки? Нет, все это чушь собачья, просто у него действительно никуда нервы, поизносились уже. А тут вот новая беда, не зря пес стал выть по ночам, а то и днем, бывало, взберется на погреб и начинает завывать, всю душу твою выворачивает. Недобрая примета... Выла, выла, вот и довылась на его погибель. Надо было ее не палкой гонять, а вздернуть на сухой осине, чтобы не предвещала больше... Пусть только вернется домой, болтаться ей на суку, прости господи!

Он, Добров, еще долго всем здесь заправлял, только раньше на лошади разъезжал, потом на «газик» пересел... Мало было всяких угроз за малейшую провинность, так взял еще и такую моду. Бывало, заметит чих-нибудь гусей на колхозном поле и — бах — из ружья. Подстрелит одного-другого, бросит гуся под ноги хозяину. «Забирай! — скажет. — Еще раз увижу, все стадо перебью!» Все время с

собой ружье в бричке возил, сколько лет тут царствовал, столько и разбойничал, никаких законов не признавал.

И хотя бы кто против слово проронил, ни в какие разговоры никто не осмеливался вступать. Молча подберут убитую птицу — и к дому.

Вот на этой почве и у него с Добровым новая вражда пошла, а лучше сказать, она и не прекращалась, только на время было затихла, пока глаз не зажил. Да и слыханное ли дело ему, подростку, тягаться с Добровым? Война чертова многим таким, как он, учиться помешала, но кто-то сумел наверстать, а он, с одним глазом, до седьмого класса походил и бросил. Что ему, такому дылде, в одном классе с малолетками сидеть? Да и какой был толк от его учебы? Профессором ему не стать по причине плохого зрения (пусть лучше младший брат с сестренкой учатся, им наука, может, пригодится), а чтобы коров пасти, уметь читать, писать необязательно. Он и пошел в подпаски к колхозному пастуху Евсею. Правда, нет ли, но говорили, что Евсей еще до вступления в колхоз как узнал, так тут же прикинулся глухим, и вот так ведь прожил всю жизнь, пока не прибрала обратно его земля. Ничего, бывало, от него не добьешься, что ни спросишь — он ладонь к уху приставит и только: «а-а?» Из-за этого его и на войну не взяли, оставили как негодного, зато уцелел, остался жив. Как-то же сумел врачей обдурить, хотя никто ему в жизни не верил, но и не осуждали особенно, лишь подшучивали: «Это он только «дай» не слышит, а «на» скажи — так сразу услышит». Евсей и на суде, когда коснулось — вызвали его в свидетели, кроме «а» ничего больше не сказал судьям, как те ни допытывались — на все их вопросы он: «а» да «а».

Ну до суда-то дело тогда еще не дошло, когда Добров и до их гусей добрался... Было у них семь штук, так из этих семи только трое уцелели, старый гусак и две молодые гусыни. Мать купила на развод пару, гусака и гусыню, вот эта пара вывела по весне всего полдесятка гусят, а по осени больше половины из них недосчитались по милости Доброва. Гусь, известно, птица вольная, только и забот летом, что из сарая выпустить, утром выпустить, а вечером загнать. Как улетят на речку, весь день их не видно, можно не волноваться: с заходом солнца сами домой возвращаются. Так все лето на речке и пропадают, а к осени, когда корма на лугу становится мало, нет-нет да и улетят на поле, на какое им вздумается, и тут попробуй за ними уследи, порой заночуют где-нибудь, как ни ищи — не доищешься. Ты их на одном поле ищешь, а они — на другом. Случалось, конечно, не без этого, и в зерно заберутся...

Первая пропажа произошла по несчастью: ударились при перелете старая гусыня в электрические провода, повредила себе крыло. Видел сосед, как упала: стадо полетело дальше через овраг, а она отстала, заковыляла по земле, припадая на крыло. Кто знает, куда она потом девалась, но больше домой не вернулась, зная, пропала, если не сам Кудачкин, грешным делом, подобрал и не признался.

Вторая пропажа обнаружилась вскорости за первой, произошла по причине злодейского выстрела, от руки Доброва, — выбил из стада и бросил, не стал даже разбираться — чьи гуси, хотя бы сказал, подлюка, чтобы подобрали. А так убитый гусь девался неизвестно куда, может, лиса съела, и наказание вышло вдвойне. А когда их гуси еще раз попались ему на глаза в недозволенном месте, Добров так рассвирепел, что пальнул сразу из обоих стволов, одну гусыню наповал, другую подранил, и ее пришлось прикончить, все равно бы не выжила. Мало того, что такой убыток нанес, еще и шумел на всю деревню: когда узнал, чьи гуси, бросил их возле двора и укатил. Мать была одна дома и только, конечно, поскобучалась втихомолку, на этом и успокоилась. Он узнал о случившемся, когда пригнал с Евсеем вечером колхозное стадо (бричка Доброва попалась

навстречу). Перед этим он слышал в поле два выстрела и, зная нрав Доброва, стал поскорее стогнать коров с дороги, но тот врезался в стадо, крикнул из брочки:

— Гляди, Родин! Не забыл про колоски?..

До него потом только дошло, когда он увидел дома две жертвы Доброва, и, не успев повесить на гвоздь кнут, бросился с этим кнутом со двора, да мать уцепилась за ноги:

— Сынок! Остановись! Не замай его! Будь он проклят! В тюрьму из-за него сестра хочешь?

И на этот раз пришлось стерпеть, закрыть душу на замок. А куда денешься? Так, видно, ему на роду написано, как ни старайся, а судьбу не обманешь. Если уж жизнь с самого начала пошла неудачно, то и вся дальнейшая оказалась не лучше, стоит перебрать хотя бы главные ее этапы... Да тут какой ни возьми, все главные, хоть по порядку, хоть вразнобой выдерни из памяти, дела не меняет — у каждого случая своя примета, особый привкус; но и есть один общий показатель, если собрать все факты до кучи, поглядеть на них не порознь, а выстроить в одну жизненную линию со дня рождения, то получится: не он жизнью правил, а она им правила. И тут как ни тасуй ее, как ни переставляй по частям, в итоге все равно сложится комбинация из трех пальцев — в любом варианте фига ему выходит. Был бы он поумнее, мог бы еще раньше вычислить, на сколько лет вперед, что его ждет. И в тюрьму проклятую — век бы ее не видеть! — не из-за брата, так все равно бы рано или поздно из-за собственной дурачности угодил бы — стычки с Добровым ему бы никак не избежать. Не на пять лет, как он за брата отсидел, а еще, может, на больше его бы Добров посадил.

Что-то стало в непогоду у Евсея с головой, закололо ему в левое ухо, совсем он слух потерял, может, и вправду на ветру прохватило или, может, притворился хитрый дед, надоело ему, видать, в холодную мокрядь за коровами бегать, вот и пришлось вместо деда Даньку к себе в помощники взять, да кабы знать, во что обойдется ему Данькина помощь, так и близко бы его к стаду не подпустил.

Данька сразу чуть подрос, эту жизнь просек, хрен с прибором на деревню положил, еще тогда на город посматривал, собирался, как только школу закончит, мотануть отсюда. Чего он будет копать в навозе, всю жизнь жить по уши в грязи? И при первой возможности стреканул Данька из дома, бросил мать одну с сестренкой... Сестра-то уж потом, когда заневестилась, с Даньки пример взяла — тоже в город рванула за лучшей жизнью. И началось: как выходной, так они с Данькой сюда, к матери, сумки набьют, еле поднимут, и назад в город, только бы успеть к понедельнику на работу. Так и таскали не один год от матери все, что она одна тут вырастит в саду, на огороде, выкормит в сарае — каждый раз по гусю зарежет на дорогу. А когда и кабана освежевать приедут, так тут же полкабана и увезут с собой. Там Данька женился, хоть и в городе, но такую же, как сам, беглую из деревни нашел себе — на городской жениться не рискнул, побоялся, что захомутает, в подчинение ей попадет. Вскоре и сестра выскочила замуж, она, наоборот, городского подцепила, хотя оказалась такой же деревенский, родная бабка в какой-то деревне отыскалась. И стали теперь к матери по парам ездить: Данька с женой, сестра с мужем, уже побольше сумок брать; потом дети прибавились, сами за подкреплением в деревню и их с собой. Всего-то тут час езды от Брянска на автобусе. Сейчас еще удобнее стало, когда бетонку провели рядом с деревней. Приедут, нагуляются под магнитофон, на речке накупаются, внуков да внучек бабе на все лето подкинут и забот мало. На другой день после такого отдыха сидят на работе сонные как мухи. Младший брат с сестрой умнее сказались... Не так сестра, как брат, кругом его, старшего, обставил, парень не впродмах, до армии поболтался в кол-

хозе, а после армии в гробу он видел Доброва — к той поре паспорта стали давать... Словом, неплохо устроился, думал: всегда ему такая лафа будет, хоть и мать умрет, все так же сумки, битком набитые, возить в город. Но тут-то братец и просчитался. Когда пришли с кладбища, он им обоим (пусть и сестрица знает), выдал:

— Все, закрылась ваша лавочка, хоть обижайтесь на меня, хоть нет. Так, в гости, всегда пожалуйста, если есть желание...

Данька на него, конечно, сразу с гонором:

— Откуда ты такой взялся?

— Оттуда, откуда и ты. Из одной... Сказал бы я тебе, да при женщинах воздержусь. Матери нет, я теперь тут хозяин.

Данька переглянулся с женой, еще больше свой гонор показал:

— Хватился! Где ты раньше был?

Такое от младшего брата слышать! Ради кого он пошел на все — пять лет отрубил на лесозаготовках, да два раза по столько сверх срока просто так, по доброй воле прожил там безвыездно? За столько лет приехал раз сюда — и то на похороны матери... Почему так? Всем не объяснишь, но родной брат-то должен его понять. Да, видно, никакие объяснения тут не помогут: с той минуты, как его увели под конвоем из зала суда, слишком долго они не виделись, далеко откатились друг от друга, много разного набрали в голову за эти годы. Сначала еще поддерживали переписку, то Данька напишет, перечислит все деревенские новости, то сестренка пришлет свои каракули на целый тетрадный лист в косую линейку — старалась показать, что научилась писать (когда его посадили, она только еще в школу пошла). Потом переписка ослабилась, а в последние годы совсем связь прервалась. Ясно — почему: Даньке стали уже одни новости на уме, а сестре — женихи. Еще одно письмо, уже под диктовку матери, сестра написала, и на этом все, поставили на нем крест. В этом последнем письме мать жаловалась: если бы она умела писать, каждый день писала бы, а то никого не допросишься. Просишь, мол, просишь, да хоть ты им в лоб стрельни. А от тебя получишь — тоже проси, чтобы прочитали, не то к чужим людям с твоим письмом иди. А станут читать, опять в письме ничего нет, никогда о себе не напишешь, хоть бы раз рассказал подробнее, только: жив-здоров, чего и вам желаю... Разве в письме обо всем напишешь, когда их там проверяют? И вот как на это письмо ответил, так больше никто не откликнулся. Удивительно, как еще о нем вспомнили, когда мать умерла, — телеграмму отбили, а то могли бы и не сообщить...

Теперь-то Данька с сестрой, видать, опомнились, хотели бы все назад повернуть. Нет уж, такая штукация ему не фасон — переиначивать. Вот его условие: пусть на него не надеются, кормить их он не намерен, с чем приедут к нему, с тем и уедут, — с пустыми сумками, раз они такие умные. Кому это понравится? Сестра-то еще ничего, выслушала и отошла тихо, спорить с ним не стала. А Данька сразу в бутылку полез:

— В таком случае и ноги моей тут больше не будет! И детям своим закажу!

А в первый день, как только увидел его с чемоданом возле двора, прослезился даже, прошел с ним в избу прямо с дороги до самого гроба матери, постоял рядом, как говорится, для моральной поддержки, но только еще больше нагнал на самого себя жалости. Еще бы ему не было жалко матери! И до похорон, и после кладбища не просыхал — прикладывался к бутылке, зазывая и его в темное за-печье, где был припрятан для своих трехдневный резерв магазинной водки, и так набрался до слей.

«Брат! — кричал он. — Брат! Ты спас мне жизнь! Ты понимаешь, что такое жизнь? Жизнь — это... Жизнь — это все! То, что ты для меня сделал, этого я сколько жить буду — не забуду!» А как на трезвую голову поговорили (водка кончилась), так сразу свои сло-

ва забыл, не помнит, что и говорил. Совсем обратное стал говорить: «Я тебя не просил, чтобы ты за меня сидел! Подумаешь, благородство проявил! Что, теперь я должен молиться на тебя? Каждый день тебе в ножки кланяться? Нет, я тоже человек! У меня своя гордость!»

Отсидел бы! Может, еще хуже стал бы — из тюрьмы бы не вылезал. Легко теперь рассуждать, после драки кулаками размахивать. А когда Добров попался, чуть в штаны не наложил, герой! И хватил же ума — колхозную корову подоить. Вот так помог! Знал бы такое дело, как-нибудь один бы справился с коровами, пока бы Евсей не выздоровел. А то вот оставил стадо на Даньку — не успел отлучиться в магазин, как он выкинул номер... Это только немцы, когда тут фронт пролегал, коров доили, лишь бы попалась чья-нибудь на глаза. Бывало, другой фриц русскую буренку поймает, к дереву или забору привяжет, автомат на плечо повесит, рукава засучит, ведро под вымя поставит и давай за соски дергать. Так то ж ведь завоеватели, фашистские захватчики. Не с них же пример брать...

У Даньки тогда, конечно, мякина еще была в голове вместо мозгов, гуляй ветер. Да и сейчас — только нахальства прибавилось. В детстве хоть было за что пожалеть: в нищете выросли, молока и того вдоволь не видели — на земле сидели, всю страну кормили, а самим жрать было нечего: то одно лихолетье, то другое...

...Судили, конечно, не за политику, а за колхозное молоко, покушение на общественную собственность. Все было четко, ломать судьям голову долго не пришлось — статью подбирать. Данька был пойман с поличным — прямо на Доброва нарвался, вернее, Добров его на месте застукал. Данька онемел от страха, когда тот возник перед ним, все молоко, что надоил, на землю пролил. «Откуда у тебя это молоко?» И дураку ясно — откуда.

— Что, Родин? — встретил его Добров, когда он прибежал от магазина. — Тебе это ни о чем не напоминает?

Добров ковырнул носком сапога молочное пятно, еще не успевшее впитаться в землю возле опрокинутого ведра.

— Кто был прав? Если зло сразу в корне не пресесть, оно рано или поздно снова даст свежие всходы.

Если бы Добров, озверев, кричал на них, понес бы их по кочкам, может, он и не выдержал бы — бросился бы на председателя, за все ему отомстил бы (семь бед — один ответ). Но он молчал заодно с Данькой. Данька только размазывал рукавом под носом сопли. Что, в самом деле, еще пацан был. Отправил бы Добров Даньку в колонию или придумал бы другое наказание, но простить ни за что бы не простил, хоть умри. Тут нельзя было долго раздумывать:

— Это я... Я ему сказал, чтобы он это... Молочка на обед...

— Вот ты и ответишь! — Добров даже повеселел, сел в бричку и уже жестко — это все, не вырваться из его лап! — прибавил: — Теперь ты мне за все ответишь! От худого племени не жди доброго семени! Сорную траву из поля вон!

На суде Доброву ничего не стоило представить все дело так, что он, Родин (они, Родины) от рождения такие, у них в крови это, с молоком матери всосали — горбатого могила исправит. Припомнил ему и колоски, и гусей, а теперь, мол, вот это молоко... Оправдываться было бесполезно. Кому больше веры? С начальством спорить, известно, что против ветра... Дальше все пошло, как по маслу:

— Подсудимый, встаньте! Вы признаете себя виновным?

— Признаю.

А Данька и на суде нюни распустил. На вопрос судьи: «Вы подтверждаете, что ваш брат Родин Тимофей Григорьевич, будучи пастухом колхозного стада, занимался хищением молока?» — ответил сквозь слезы, как его дома учили:

— Это не я, а Тимка доил...

— Значит, вы подтверждаете?

— Да.

— Сколько раз вы были этому свидетелем?

— Я не... Я не знаю,— сразу попал впросак Данька: никто не ожидал, что об этом его спросят на суде.

— Вы должны говорить суду правду и только правду,— напомнил судья и повторил свой вопрос: — Сколько раз ваш брат занимался доением колхозных коров для личного обогащения? Многократно? Отвечайте: нет или да?

Небось Данька уже забыл, как тогда дрожал на суде.

— Так нет или да? — наседали на Даньку судья.— Быстро отвечайте!

В свидетели призвали и Евсея, задали ему тот же вопрос, что и Даньке, хотели пришить побольше, если выяснится, что вместе доили коров, тогда будет пахнуть обоим еще больше за групповое хищение. Данька все же сообразил ответить «нет», а от Евсея, как ни бились, так ничего и не смогли добиться. Раз, другой, третий спросили, а он все не слышит. Ни на какие провокации не поддавался, хитрый дед! После этого верь и не верь, что он на самом деле, без придури, был такой тугоухий, земля ему пухом!

С того дня больше тридцати лет прошло...

Загнали его поэтапно на втором году лишения свободы в Пермскую (тогда Молотовскую, если кто не знает) область, на речку Каму, прямо в тайгу валить лес. Тайгой-то его мало испугаешь: их деревня была еще в худшем месте, хотя и не в тайге, а в центре России, но до железной дороги полста верст, в то время ни добраться, ни выбраться — автобус только сейчас пустили, и то стороной, через райцентр. Как ни пугала тюрьма, расставаться с такой деревней тогда вроде было и не жалко — жалко было только мать, приходилось ее с глухим Данькой да сестренкой одну оставлять. Помощи ей от него с того дня не было никакой — с восемнадцати лет как рассталась с ним, так раз только, когда приехал с целины, и повидала его. Что теперь раскаиваться? Ничего уже не воротить. Всегда бывает так:хватишься, да в пустой след. Ехал на похороны, ожидал увидеть мать, какой ее помнил, а когда подошел с Данькой к гробу — в нем лежала чужая, незнакомая старуха. Вот когда ему по-настоящему стало жаль матери.

Знал бы, чем тут все кончится, он бы и на похороны матери не приехал, хотя еще неизвестно, как сложилась бы его дальнейшая жизнь на Каме,— застрял бы он там со своей фельдшерницей навсегда, никуда бы не рвался. Только там на Каме докумекал он, что сказал ему еще Евсей (для всех всю жизнь был глух и нем, а тут, после суда, откуда у него и слух и голос взялись): «Держись, Тимка! — успел шепнуть ему хитрый дед, пока его не увезли из зала суда туда, откуда по своей воле не возвращаются.— Скоро грянет, скоро, Тимка....»

И вправду, скоро: не прошло и двух лет, как грянуло — умер Сталин, не ошибся дед. Вот тебе и глухой! Пастух! Может, он на другое что намекал? Может, просто совпало? Сталин и так бы скоро умер — уже старый был.

Сколько повыпустили, оправдали, но он под амнистию не попал, выходило, что посадили его правильно, поделом — он расхититель колхозной собственности, а за это хоть при Сталине, хоть при Хрущеве, хоть при ком не прощают, гляди, чтобы еще не добавили: мол, бунтует против заведенных порядков. Но и очень хорошим быть плохо. Он вот, подозревает, и под амнистию не попал после смерти Сталина потому, что был на хорошем счету у своего начальника, полковника Шарапова, как сейчас помнит... Ходил свободно по зоне, колот полковнику дрова, носил воду, ремонтировал мебель, красил полы, окна — выполнял всякие поручения, словом, был образцом поведения, за это Шарапов всегда ставил его в при-

мер, когда приезжало из Москвы начальство. А однажды признался: «Я мог бы написать на тебя хорошую характеристику, походатайствовать перед инстанциями за твое досрочное освобождение, но где я еще найду себе такого работника?» Вот тут-то поневоле задумаешься, повесишь голову. С того раза стали у него руки опускаться. Скоро все кончилось для него плохо. Шарاپов то хвалил его, а тут, когда он, нечаянно конечно, пролил на пол краску, отослал его в зону, приказал больше не присылать, отправить на лесосеку вместе со всеми под конвоем. Так и промахал топором в лесу весь срок до конца день в день, ни на час меньше, а минута в минуту по кремлевским часам.

Там, в местах лишения свободы, на Каме, в чужих таежных краях, за две тысячи верст от своей средней полосы, куда ворон костей не заносил, он и встретил свою жену, понятно, тогда еще не жену, просто Киру, девичья ее фамилия Озаренко, украинская, хотя родилась она не на Украине, а там же, на Каме, была старше его на три года, что, конечно, ерунда, разница в возрасте небольшая, теперь это не имело никакого значения, да и тогда тоже... Они знали, что детей у них и так и так не было бы по ее женской болезни, никакая медицина ей не могла помочь. Что ж делать? Сначала, правда, хотя бы одного ребенка, но хотелось иметь, как всем нормальным людям, чтобы было кому тебя хоть иногда вспомнить, не сразу забыли, в первый же день после похорон. А теперь, когда прожили, узнали, что это за жизнь, дети были бы им только в тягость. Зачем плодить нищету?

А тут еще узнал, что дед Киры — бывший кулак. Кто был побогаче, их всех таких ликвидировали как класс. И ее дед, конечно — дед с бабкой попали в этот класс. У них было семь сыновей и три дочери. Такой семьей можно было любое хозяйство поднять, справляться своими силами, без найма, вроде как сейчас при семейном подряде. Только где теперь такую семью найдешь, чтобы столько детей было? И выбился-то дед Остап в зажиточные (как Добров потом в председатели) из той же голи, что его раскулачивала, — не успел избавиться от нищеты, как его тут же под корень. С первого захода его заграбастали со всем семейством.

Сейчас бы если бы с такими мерками подходить, так всех подряд надо раскулачивать, дед Остап совсем бы нищим выглядел в сравнении кое с кем... За что ж тогда его даже два раза раскулачили? Первый раз — на своей родине, второй — уже на новом месте, на камских подзолах, на которые его взяли и пересадили с украинского чернозема. Вот за что? За то только, что он и там, куда его сослали из-под Винницы, согласно строгому предписанию, за счет своего труда выжил — не пропал?

Привезли туда сразу несколько семей и выпустили прямо на голое место среди глухой, безлюдной тайги, ни кола ни двора, под открытым небом, хоть живи, хоть ложись на землю да помирай. Некоторые так и загнулись, кто не перенес лишений, а кто от тоски да злобы. Но дед Остап обиделся на власть меньше всего, не стал тужить, а тут же взялся за дело, дружно, вместе со своими сыновьями и дочерьми. До зимы опять кругом обстроился, сам срубил все для себя: и дом, и сарай с разными пристройками, распахал таежную поляну, развел всякую живность — снова у него стало полно кур, гусей, свиней, три коровы... Перестарался, не то что сейчас, и одну держать корову не каждый согласен. Все любят жрать, только подавай, а работает пусть кто-то, и коров держит, и на наряд бегают в колхоз или совхоз, лишь бы не я, лучше в конторе сидеть.

Когда деда Остапа за лишнее усердие в труде — труженик везде труженик! — сослали еще дальше в тайгу — пришли и опять раскулачили, он и после этого не опустил руки, стал потихоньку распиряться, набирать темп, и, кто знает, может, снова пришлось бы его

наказывать за излишки трудовых доходов, если бы не эта война. Сыновей одного за другим подчистили на передовую, так — кулацкие сынки, а тут — сгодились, остался дед Остап без сподручной подмоги, и пошла его неумная жизненная сила на убыль, пока вся не иссякла. От дочерей какая помощь? Баба, какой бы двужилкой ни была, а всего мужика не заменит, не для всякого дела приспособлена, на другое себя расходовать должна. Дочери все замуж повышли, поотселялись, отреклись от хозяйства, вот тут дед Остап с бабой Маней и сели на мель, сложили руки, да и старость стала поджимать. Дед Остап так и не дожил свой век, не разор в хозяйстве, так другое: смерть сыновей подкосила — умер раньше намного, как получил похоронку на шестого сына, очередь оставалась за последним сыном, средним, ни младших, ни старших не стало, как корова языком слизала на первом же году войны — война добила-таки семью Озаренко окончательно, свела с ней все счеты за тех, кто начал, да не успел свести до конца. А баба Маня еще долго после него скрипела одна, оглохла и ослепла совсем, потеряла память, уже не помнила, откуда она родом и сколько на белом свете прожила, — забыла все! И кто такие были кулаки, и как она тут оказалась, помнила только одну войну да сыновей своих, всех погибших, каждого по имени: Андрея, Остапа, по отцу, Николу, Гришу, Егора, Якова — никого не спутала, часто, до самой смерти вспоминала их, сама только недавно умерла, уже сделалась как гриб-трутовик. Продолжателем рода остался один средний сын Леонтий, да и тот обошелся всего одной дочкой — Кирой, а у Киры вот тоже изъян вскоре выявился... На попятную тогда сразу не пошел — не решился и, как потом вышло, не ошибся: где бы еще он лучше себе жену нашел? А чего только ему не предсказывали! И по рукам пойдет, и... Без детей возле себя ее не удержишь — всякую гадость говорили, но он всем пренебрег, сколько вот уже с ней прожил — вернее жены просто человека никому и не снилось, во всяком случае пока что, до сегодняшнего дня...

А познакомился он со своей фельдшерницей в лагерном медпункте, куда заглянул однажды с загноившимся глазом. Так и стал ходить к ней лечиться после того раза, когда надо и не надо, нарочно нарушая все ее предписания беречься от инфекции, лишь бы найти причину повидаться. Он не сказал бы, что она так уж ему всем нравилась, втрескался сразу по самые уши. Не верит он в любовь с первого взгляда. Может быть, если встретится такая уж красавица, что глаз не отведешь... Но надолго ли такая любовь? Сколько мужиков на этих красивых обожглось?

У Киры совсем ничего красивого не было: ни лица, ни фигуры, плоская как доска. Ее мужики промеж собой и называли плоскодонкой, хватает острых на язык. Так и он ведь не красавец — с подбитым глазом, она тоже это понимала. Но он-то русский, а она не поймешь кто: отец украинец, а мать — поволжская татарка. Кира, выходит, наполовину хохлушка, наполовину... Но, видать, татарская кровь перетянула, от хохляцкого у нее почти ничего не осталось, если сравнить ее с настоящими хохлушками — с такими вот, не обхватить... Кому, конечно, что нравится, но на Кире род Озаренко свелся на нет, считай что выродился.

Говорил же Леонтий отец: не женись на ней, на матери Киры, но тот не послушал — женился на татарке раньше старших братьев, чем-то притянула его эта татарочка, такая там любовь была, что ни на что не поглядел, хотя она была ему по это самое, по пояс, ниже его в два раза, можно себе представить, какой он был, рослый красавец хохол, и какая она — как щенок. Из-за этой женитьбы отец и сын стали чуть ли не врагами, так и не поладили, даже перед уходом Леонтия на фронт отец ему не простил. Вот такой был дед Остап: и в работе и во всем остальном не знал меры. Каким бы

он стал, если бы прожил столько, сколько баба Маня? Помирился бы с сыном или до сих пор бы враждовал? Признал бы невестку или еще больше невзлюбил бы ее? Как относился бы к своей внучке? Наверное, за одно курение и на порог бы к себе не пустил. Тогда еще такой моды не было, чтобы девушки курили. А Кира уже тогда курила, когда он с ней познакомился в медпункте, не модничала, как теперешние девицы, просто курила, без этих выкрутас. Начала тоже с баловства, но так вот теперь и курила — не могла бросить, несмотря на хронический кашель. Да и спиртик был в ее распоряжении, для дезинфекции...

Вообще-то он и не собирался на ней жениться — решил просто так приударить сначала, авось что получится, а нет, глядишь, хоть раз-другой от работы освободит, и ладно. Да и какой мог быть брак в неволе? День на лесосеке как повкальываешь, только бы до барака добраться. Женитьба потом сама собой получилась, после отбывания наказания, когда ему надо было или уезжать, или тут оставаться. Если бы сразу уехал, и на этом бы все — поминай, как звали. Скоро уже был конец его мучениям, тяжелее всего, известно, даются последние дни, каждый день считаешь, будто уже сто лет не был дома, не видел родных. Но как ни рвался домой, а пришел к Кире проститься, и больше от нее не вышел.

Он нисколько не врет, так и было, никакой свадьбы они не стали заговать — обошлись вечеринкой. И без этого у всех язык чесался, трепались кому не лень, что она старше его да еще такая страшная, курит, целовать, мол, курящую женщину все равно что пепельницу. Везде всякий есть народ, а туда, в лагерь, какие попадают? Таким лишь бы что попалося мягкое по зубам, лучше не подходи к ним, держись подальше, не то бледен будешь. Сами-то кто? Всякий сброд, козлы, вонючки, а на других вякают: выселенная! Не выселенная, она уже на Каме родилась, дед ее был выселен, а не она, ее еще тогда и на свете не было. И отца ее нельзя назвать выселенным, мало ли что и детей вместе с родителями выселяли — сын за отца не отвечает! Куда ж было их девать, да еще столько, сколько у деда Остапа было? А вот и к Кире прилипло: выселенная. Она-то тут совсем ни при чем. Да что там говорить, когда отца ее, Леонтия, до сих пор так кулаком и зовут заглазно, если бы услышал, он бы показал им кулака — пятый угол искали бы, не успели бы рта открыть. Какой он кулак? От родного отца отрекся, когда понял, чем это все пахнет, сразу ушел из дома, как только отца второй раз раскулачили. Загнали на лесоразработки, стал Леонтий рабочим леспромхоза, завел свою семью, жил на одну зарплату — полностью отказался от домашнего хозяйства. Не столько из-за его женитьбы на татарке, а сколько из-за этого дед Остап и враждовал с ним до самой своей смерти — не мог простить среднему сыну измены.

Теперь только и судачат кому не лень об этой измене — измене земле, на все лады совестят за нерадивость тех, кто еще остался в деревне, каждый тычет пальцем, что мелко пашут да плохо убирают, всеми правдами и неправдами призывают хорошо работать, стараются привить любовь, какая раньше была. А если она была, то куда девалась? И как ее хотят вернуть? Через свое подворье? Выходит, если ты свою грядку копаешь, то это прививает любовь к земле? К какой земле — совхозной? Да сколько врать можно? Что-то он не встречал ни одного, кто бы свою грядку спутал с совхозным полем! Если бы можно было без своей грядки обойтись, кто бы стал ее копать?

У кого совести нет, наговорит о себе с три короба, мол, приехал по велению сердца, возвратился Нечерноземье поднимать, про того еще и в газете напечатают на первой странице! С портретом! Он тоже мог бы воспользоваться случаем, был бы сейчас, может, самым уважаемым человеком, да вот сказал не то, хотя и знал, что коррес-

понденту хотелось услышать от него — просек его политику. Сразу же его и срезал, мол, я не поднимать Нечерноземье приехал, а просто так, хочу, мол, умереть на родине, нечего наводить тень на плетень. Тому, конечно, это не понравилось: молодой еще, видать, для солидности бороду, усы отрастил, как сейчас модно, волосы вот такие, над воротничком кожаной куртки закручиваются. Ну, и с этой своей бандурой — магнитофоном с папиросную коробку, чтобы записывать... Нечего его записывать, в это дело впутывать.

Но что же опять заманило его в деревню? Какими путями, как он ни сопротивлялся, жизнь все-таки снова загнала его сюда?

То ли родные стены притянули, то ли открылась свобода, что Доброва, его врага номер один, непонятно за какие заслуги перевели на повышение в другую область, подальше от Ивановки, то ли все вместе повлияло, от этого ему не легче. Почему-то же решил, что теперь уже может пожить в деревне так, как он хочет, но, выходит, его опять надули? А может, ему на роду было написано? И никуда тут не деться, как бы он ни вертелся? Может, это судьба? Да какая, к черту, судьба! Чего-то он, видно, все-таки не понял — проглядел свою деревню, пока перебивался там, на Каме... А может, опять тут, на низах, исказили, покуда все дошло сверху по инстанциям? Однако рыба, говорят, портится с головы.

Хотел поделиться этими мыслями, да не с кем. Наклонишься, бывало, к собаке, заглянешь ей в глаза, спросишь: «Скажи, так или не так?» И сам отвечаешь: «Так, конечно». Потому что родина у него одна, вот она — какая была, такая и осталась, та же самая. На другую он никогда не менял и не променяет. А кто теперь он у нее? Вот кто он такой?

— Да, вот кто я теперь? — спрашивал он опять вслух собаку. — Ответь мне конкретно!

Увидев вместо глаза с радужной по краям зрачка пленкой лишь наросшее пучком шерсть, он резко отталкивал от себя пса: «Пошел вон!» Действительно, кто он теперь? Как получилось, что жизнь опять-таки загнала его под этот мокрый кустик, ни в какое другое место на земном шаре?

Эти рассуждения не мешали ему следить за коровами, сразу замечал, какая из них норовила отбиться от стада, при малейшем подозрении упреждающе, подсекая былье, щелкал кнутом, а чересчур проворным метил по ногам — дальше оврага не пускал, иначе потом не соберешь, а то, чего доброго, какая-нибудь дуреха и ноги себе поломает, тогда будет ему нагоняй, еще платить придется...

И вот так каждый божий день, уже сколько лет подряд. Хорошо, если лето нормальное выдастся, еще терпимо, а когда дождливое, так вот целый день и гнешься под мелким дождиком, который хуже крупного — крупный пролет как из ведра, за несколько минут выдохнется, и снова солнышко, тепло, светло и мухи не кусают. А мелкий дождь будет сыпать и сыпать с утра до вечера не переставая, может растянуться на неделю и две, для пастуха хуже такого дождя нет, потихоньку, исподволь, бывало, промочит тебя насквозь, брезентовая куртка становилась колом — не повернуться, тянула книзу излишним весом, отчего начинало ломить плечи, переходить на поясницу... Ноги уже не держали, подкашивались; сколько ни стой, ни гляди, что везде мокро, ни прилечь, ни присесть, но долго ли так выступишь на ногах? Покрутишься, покрутишься, да и присядешь на корточки под кустик, где посуше, притянешь к себе собаку, зажмешь ее для тепла между ног и так вот задумаешься, что время показало...

Сейчас бы он поговорил с корреспондентом на эту тему, все бы ему высказал, пусть бы это напечатал! Так рассуждать гораздо, но как дело дошло до его темного прошлого, тихонько свой блокнот убрал, быстро закруглился — и ходу от него, как от прокаженного... Ему все вдруг стало ясно, яснее уже быть не может: сколько лет

прошло, а он все в запрещенных ходит, никто не осмеливается написать о нем. Дело, конечно, не в газете (он уж не верит, надолго ли и разрешили), а в том, что его за человека не принимали, не доверяли ему, нечего ему лапшу на уши навешивать.

Насчет деревни тесть ему сразу сказал: не скоро из нее толк получится. Почему? А потому... Армянское радио спрашивают: «Может ли слон заработать грыжу?» Армянское радио отвечает: «Может, если возьмется поднимать сельское хозяйство». Тогда, при Хрущеве, полно было таких анекдотов, на каждом шагу рассказывали, сначала побаивались, конечно, потом осмелели, про все стали анекдоты сочинять, пока не пошел слух, что и за анекдоты будут сажать.

Дело прошлое, тогда у него еще вера была, когда он тоже поддался на агитацию — поехал целину поднимать. Все ехали, и он поехал, как же он мог от других отстать? Да и куда ему было податься? Опять на Брянщину, где тогда каждую весну за хлебом в очередях давились, или на Каме оставаться, в леспромхоз идти к тестю — пополнять рабочий класс?

О целине теперь остались одни воспоминания; хотя им с Кирой и не повезло там, а приятно вспомнить. Уже одно то приятно, что побывал на целине по своей охоте, не пригнали насильно под конвоем, как на Каму, а прибыл наравне со всеми как полноправный гражданин.

А как они ехали — с песнями, орали во всю глотку, никто ничего не запрещал, пой, пей — все что хочешь в вагоне делай. Тогда же сразу и песню про целинников сложили, разнеслась она по всей стране. Хорошая песня, ему очень нравилась. Особенно он любил подхватывать припев:

Вьется дорога длинная..
Здравствуй, земля целинная!
Здравствуй, простор широкий!
Весну и молодость встречай твою...

Нет, мою... Или свою? Как правильно? Он и тогда не все слова знал, ловил их на лету, часто переиначивая, затягивая невпопад. Да кто тогда особо прислушивался? Бывало, как кто-нибудь ударит в вагоне под гармошку, аж дух захватывает. Кто не верит, пусть у старых целинников спросит, они подтвердят. Все эту песню пели. И по радио ее часто передавали... А сейчас совсем забыли про нее. Да и кому сейчас та целина нужна? Но тогда целину поднимали, а теперь вот Нечерноземье вызволять из беды призывают, да что-то не очень кидаются. Чего было не наоборот: Нечерноземье сначала до ума довести, глядишь, отсюда народ не разбежался бы, не пришлось бы сейчас назад всеми правдами и неправдами заманивать.

Так чего он про целину-то вспомнил? На кой бы она ему сдалась, если бы он сам не был на целине? Если бы не был, и разговор был бы другой. Оправдала она себя или нет, теперь и дураку понятно. Одним махом хотели всю страну хлебом завалить, но вот до сих пор хлеб за границей покупаем. За целиной погнались, всю технику туда бросили, народу столько перекочевало из одного конца страны в другой. Народ! Народ! Что народ? Как стадо коров: куда одна корова первой пошла, туда и все стадо. А кто отбивается от стада, того бьют. Да стараются ударить как посылнее, чтобы на всю жизнь запомнил, в другой раз не вздумал в сторону глядеть. Нравится тебе или нет, все равно иди туда, куда все идут, чтобы не заблудился.

Ну, Кира и тогда умнее была, хоть мужики считают, что бабы глупее, если и согласилась с ним на целину ехать, то по другой причине: побоялась, что он там, на целине, себе другую подхватит. А что? Может, и подхватил бы!

Первый год прожили они в бараке среди голой степи. Да, кругом куда ни глянь — все степь да степь, ровно, хоть боком катись, с не-

привычки, после тайги, от простора дыхание перехватывало. Потом ничего, пообвыкли, пригляделись и к равнине, порой даже постоишь полюбуешься, когда пшеница взойдет. Только одна эта пшеница и видна, в какую сторону ни повернешь — все пшеница да пшеница до самого горизонта. Сначала и речке обрадовались в степи, хоть и небольшая была, не чета, конечно, Каме, но глубокая, вода кишмя кишела рыбой, он с Кирой, бывало, прямо голыми руками по ведру налавливал. А через год-другой как степь распахали — на глазах пересохла, превратилась в грязные вонючие лужи. По степи загуляли пыльные бури. Собрались они с Кирой съездить в отпуск на его родину, отработав на целине три года подряд, доехали уже до Москвы. Вот там, в Москве, он и попал в историю с этими баранками...

Кто еще не забыл, у кого память хорошая, помнит небось, как тогда было в стране с хлебом, — выпали на то время недороды на Украине, первой житнице страны, вдобавок и по всей средней полосе прокатилась одна засуха за другой — все тоже повыгорело, как Хрущеву назло, выпечку хлеба поджарили до предела, стали в него кукурузу добавлять... Кому-то хлеб с кукурузой даже нравился, кто защищал Хрущева, но большинство были недовольны, ругали Хрущева почему зря: еще и такого хлеба не всегда купишь сколько тебе надо, как было раньше — бери по потребностям. А раз выпечку сократили, то и продажу хлеба ограничили, когда две, а когда и одну буханку на руки черного, а белого вообще и в глаза не видели в таком, как тут, захолустье. А уж про сдобные булочки да баранки и говорить нечего. Только в Москве можно было купить, но за всем из-за скопления народа — очереди.

Говорил ему тесть: Хрущев еще больше деревню развалит, вот увидишь! Да, не послушал тогда тестя, умного человека, на себя понадеялся, еще спорить с ним стал: правильно Хрущев и сделал, что своих коров держать запретил, это надо быть двуязычным, чтобы там и там успевать — и в колхозе и на своем подворье. И вообще, мол, нечего частнохозяйственную психологию разводить, вот так! Припомнил ему, за что деда Остапа раскулачили, сгоряча обозвал и его кукулем. Молод еще был. Так и они, все вместе с Хрущевым, были, выходит, не умнее его, раз потом, когда Хрущева сняли, все назад вернули — опять коров заводить разрешили. Да, тесть оказался прав, как он сказал, так и получилось: Америку, как ни старались, не догнали. А тут еще эти засухи — одна, следом другая. Неожиданно и самого Хрущева сместили. Утром проснулись, а его уже нет — скинули.

Но до этого тогда дело еще не дошло, когда он с Кирой в отпуск домой с целины через Москву ехал. Сейчас, если кому рассказать, засмеют... Хотел матери какой-нибудь гостинец купить — не годилось в деревню с пустыми руками ехать. Сколько никого не видел — ни мать, ни сестру с братом, — и так вот без ничего домой приехать? Что про него в деревне скажут? С целины вернулся, побывал на больших заработках и хоть бы что-нибудь им привез!

И что тогда ему взбрело в голову? Как-то само с языка соскочило: я человек исторический...

Прибыв в Москву на Казанский вокзал, они прямо с поезда зашли с Кирой для начала в кондитерскую, а там целое столпотворение. Кира сразу в хвост стала — очередь заняла, но пока эта очередь до них дойдет, он попробует вперед пролезть, хоть посмотреть, что там дают. Но как ни становился на цыпочки, ни тянулся через головы, никак к витрине не подступиться, чем торгуют, не поймешь. Одни с печеньем вылезали из очереди, другие с конфетами, кто с чем.

Вот тут-то ему и стукнула моча в голову, когда он своими глазами увидел за спиной продавщицы связку баранок — лучше гостинца для матери не придумать! Там, в деревне, этих баранок, наверно, уже сто лет не видели, один черный хлеб едят.

— Товарищи! — обратился он без адреса, не услышав за шумом своего голоса, сразу поняв, что оратор из него निकудынный, незна-

дежно отстал от других, не приучился говорить в полный голос.

— Товарищи! Товарищи! — повторил он. — Послушайте, товарищи!

Но и на этот раз лишь кое-кто повернул к нему голову, кто стоял ближе, просто так, войдя в магазин, любители пошнырять и кто всегда создавал в голове очереди враждебный ей нарост. Остальным, кто стоял дальше, у самого прилавка, лицом к продавщице, отвернувшись от всех, было безразлично, кто и что говорит у них за спиной, пусть хоть разорвется кричит — эти к чужому горю глухи, ничем их не пронять: они своего уже достигли, были близко у цели.

— Внимание, товарищи! Тише! Дайте сказать... — крикнул он громче.

Еще больше голов повернулось к нему, кроме опять тех, кто уже брал.

— Ну говори, только короче, — заинтересовался им мужчина, что больше всех выделялся из очереди своим ростом.

— Пропустите меня без очереди...

— А чем ты лучше других?

— Я не говорю, что лучше...

— Нахальство — второе счастье, — поддержала высокого мужчину полная женщина, стоявшая впереди него. — У меня ноги болят, но я не прошу без очереди.

— Да, вот человек больной, и то стоит! — ухватился за слова соседки высокий мужчина. — Ты молодой, а постоять не можешь?

— Я ведь как людей прошу... Я с целины еду... — И как стоял, так с ходу, работая локтями, полез к прилавку.

— Да что же это такое? Не пускайте его, не пускайте! — оборонялась полная женщина, впереди которой он решил ввинтиться в очередь. — Много вас таких будет!

— Превратили Москву в проходной двор! — присоединилась к ней уже немолодая, с накрашенными губами, по всему видно, коренная москвичка.

Вот тут он не сходя с места и влепил:

— Я человек исторический...

— Ой, да что вы говорите! — Женщина заострила на нем взгляд, давая понять, на кого он похож, — на уголовного!

— Я с целины еду...

И тогда опять вмешалась москвичка:

— Мужчины! Да что же вы смотрите? С одним хулиганом справиться не можете? Да выведите вы его!

— Вызовите милицию! — подсказала другая, все время молчавшая. И тут от очереди отделился парень, что выделялся ростом, протянул лапу:

— Ты, деревня! Мотай отсюда, пока цел!

И хотя к тому времени уже и прошел какую-то закалку, что приняла душа, а что не приняла, но в общем примирилась с таким обращением, — эта же самая его душа вдруг так оскорбилась, так взбрыкнула, что он чуть не бросился в драку, не трахнул этого московского выродка по башке. В тот момент пустил бы в ход руки — это бы все, пропал он. И до дому б не доехал: забрали б опять и в каталажку, тем более что он уже был судим, отсидел срок. Но и смолчать уже не в силах был.

— А кто вас кормит, если не деревня? — так этому хмырю московскому и рубанул. — Чей хлебушек ты жрешь? Свой вырастил? Обобрали всю деревню, а кто из деревни придет в город купить чего, на них рот разеваете. Морды свои кривите. Все наше гребете, гребете и еще мало вам?

— Работать лучше надо! — бросил высокий мужчина. — Пахать поглубже да убирать почище, а не по городам разъезжать!

— Иди сам там поработай, а я лучше за тебя в очереди постою за всем готовенькиж!

Но тут на его плечо снова легла рука рослого парня.

— Ну хватит кочевряться! Отваливай! Ты мне надоел!

— Не тронь, падал! — Он резко сбросил со своего плеча руку парня. — Отойди — глаза выколую!

— Милиция! Милиция! — завопили в один голос женщины. — Скорее сюда! Сюда!

Ну что бы Кире раньше подойти к нему. А то пока она пробралась к нему через толпу, потащила его за руку из магазина, а он давай еще сопротивляться, отбояриваться от нее, опять к очереди кидаться... Вот пока он тягался с женой — та себе, он себе, кто кого перетянет, — не заметил, как привели с улицы милиционера, молодого сержанта, какого-то мозгляка, если бы не милицмейская форма, не пистолет сбоку, не фуражка с кокардой, если снять с него все эти прикрасы, одеть по гражданке, в обычную одежду, — такой бы был замухрышка, одним щелчком бы прихлопнул. Такие-то вот заморыши и идут в милицию, чтобы их тронуть боялись, знают, что любой пацан их обидит. Такие вот сухотелые, по его приметам, больше всех свою власть любят показывать, вздумашь сопротивляться — только хуже будет. Рассудить бы здраво, ему бы взять да увильнуть от милиционера, а он и милиционеру — кому? — начал доказывать. Все теперь, пропали его баранки!

Что было дальше — такая катавасия началась. Он милиционеру — свое, а тот — свое: «Пройдемте», и точка. «Дайте мне баранок купить, я с целины еду!» Нет, «пройдемте». Тогда он последний свой козырь выложил: «Я человек исторический...» А милиционер в ответ: «В милиции разберемся». Тут второй милиционер подоспел. Пришлось покориться самому добровольно, чтобы руки за спину не заламывали. С жены какая помощница? Это она только с мужем храбрая воевать, а с милицией не очень-то, сразу стала смиренная как овечка. Куда мужа вели, туда и она следом.

Ну, привели в милицию. Где-то тут неподалеку, за магазином, на замусоренных задворках, в каком-то кривом переулке — в центре Москвы таких полно, где тьма всяких организаций прячется с большими вывесками и маленькими, порой на одном доме по несколько штук, вывеска под вывеской, запутаешься в названиях. И милиция, оказывается, в этом переулке у них под боком пригрелась. Не подумаешь, что она здесь есть, ходил бы по Москве — и не знал.

...Провели его по улице — кончилось одно унижение, втокнули в дверь отделения милиции — началось другое: посадили его на скамейку с какими-то пьяными шлюхами, обе из них лыка не вяжут, а третья совсем разложилась на скамейке, как у себя дома на постели, заголив свои продажные ляжки. Что бы ему жена сказала, если бы видела эту срамоту? Хорошо, что ее не пустили — велели подождать на улице. Что же, пока дойдет очередь до него, шлюхи эти, может, еще три часа капитану будут голову морочить, похабщину нести. Им все равно, где время убивать, им никуда не ехать. А у него дорога впереди, мать в деревне ждет, нечего его задерживать...

— Я с целины еду, а они вот...

Один милиционер, рядовой, стал у него сзади, как бы преградив ему путь к выходу, а другой, сержант, направился с докладом к капитану.

— Документы! — потребовал тот.

Сержант передал паспорт из рук в руки капитану, капитан поглядел сначала в паспорт, на фотокарточку, потом на него, похож ли — у колхозников тогда еще не у всех и паспорта-то были. И вот сличив изображение с его личностью, капитан кивнул на скамейку:

— Садитесь!

Как, опять вместе с этими блудницами? Да он с ними в кустах рядом не сядет! А они еще на это и оскорбились: «Подумаешь, выиска-

ся! Деревня немытая!..» А дальше все та ж одна похабность, не каждый мужик такие слова да еще в милиции решится вслух сказать.

— Садитесь, садитесь! — повторил капитан.— Подождите!

— Чего я из-за них буду ждать? Некогда мне у вас тут рассиживаться! Я домой еду, к матери... Я с целины...

— Разберемся!

— Я человек...

— Разберемся, разберемся!

— Исторический.

— Да вот видно, какой вы...— проговорил капитан, заглянув в конец паспорта в особые отметки.— Вот вся ваша история... За что были судимы?

Вот тут-то он и прикусил язык, сразу отнялась у него речь, слова не мог выговорить.

— Где отбывали наказание? — допытывался капитан.— Какой срок?

Но он молчал как рыба.

Посадили бы его как пить дать на все пятнадцать суток (как раз указ вышел) за нарушение общественного порядка. Но он так сейчас понимает — пожалел его капитан. И не за хорошие глаза — один глаз-то его вызвал у капитана подозрение, а за что-то такое, чего он и сам до сих пор не знает, только догадывается, может, все-таки за целину, а может, тоже за полоумного принял, как все в магазине. Однако на пометку его взял и строго велел в двадцать четыре часа выбыть из столицы — не место ему было здесь с его паспортом.

Выскочил из милиции к жене на улицу, точно из пекла. Нет, все же чуден человек: надо было, пусть на короткое время, его задержать, потом выпустить, чтобы он оценил свободу, взлетел на седьмое небо. Получается так: то перекроют тебе кислород, то снова дадут хлебнуть, и ты уже счастлив без ума.

Но такое счастье и быстро выветривается. Не успел он доехать до своей деревни, как оно улетучилось, даже слабого запаха от него не осталось. Давненько уже не видел свою деревню, а увидел — душа зашлась от боли, хотя всего уж насмотрелся по стране. Только и порадовался в первый день при встрече с матерью, сестрой и братом, они — ему. А там встречу отметили, разгляделся кругом — прав был тесть: новый разор пришелся на деревню. Коров поторопились все сдать, кто — сам свел, первым отличился, кто — под сильным нажимом, «добровольно-принудительно». Не сдал пока один Кудачкин — все тянул под всякими предлогами, что-то еще выгадывал, вьюном вился вокруг начальства. А остальные что выгадали? Для котенка даже площадки молака во всей деревне не сыщешь.

Мать тоже сдала корову на мясо, с Данькой свели в район на бойню, он уже не застал, без него управились. От вырученных денег к его приезду и рубля уже не осталось — разошлись неизвестно куда, ни коровы теперь не было, ни денег. Зато как хвастались во всех газетах, призывали еще подналечь, чтобы догнать и перегнать, но не сдюжили, а то бы американцы голую задницу увидели, если бы обогнали. На один год только и хватило избобилия, когда зараз всех коров порезали. А находились люди — верили.

Вот и он сначала, грешным делом, клюнул на их удочку. Мать, неграмотная, и то прокляла того, кто это придумал — коров сдавать.

Данька рассказывал: всю дорогу проплакала от деревни до заготовкота, прутиком подгоняла и плакала. Не успел еще он, Данька, веревку на рога корове накинуть, за ворота вывести, как мать тут же в голос — на всю деревню взвыла, точно по покойнику. Потом вроде даже немного умом тронулась, бывало, вдруг остановится посреди избы, прислушается.

— Никак сейчас корова промычала,— проговоришь вслух и бросится во двор.— Это наша Красулька вернулась!

— Как же она может вернуться? — начнет Данька разубеждать мать. — С нее уже давно шкуру содрали!

А в другой раз и так бывало.

— Нет, мычит, — скажет мать, вся превратившись в слух. — В сарае мычит. Это я ее сегодня еще не накормила, надо ей поесть дать. — Схватит ведро с помоями и скорее туда.

Поглядел он на такую жизнь матери, на все эти безобразия, что творились в деревне, и трех дней не выдержал — повернул оглобли обратно на Каму к тестю. Наскоро собрался, простился возле двора — провожать дальше угла матери запретил, бежать вслед за ним, плакать. Отрывать от сердца — так сразу. Знал бы, что в последний раз мать видел, пусть бы бежала за ним, пусть бы поплакала, так себя не казнил бы, когда стоял у ее гроба. То ли, может, он дурной пример показал, то ли так уж само все к тому велось, но вот и Данька с сестрой, один раньше, другая позже, бросили мать, оставили ее совсем одну...

Ну, это он опять вперед забежал. Ему еще было далеко до возвращения в деревню, тогда он еще жил с Кирой на Каме неразлучной парой на положении поселенцев, до смерти матери, когда ему снова открылась дорога в деревню: то, что раньше проскальзывало только в осторожных разговорах между собой, наконец-то было сказано сверху — разрешили по-старому домашнее хозяйство держать. Опомнились, хватились, когда и в городе и в деревне жрать стало нечего: всю живность поизвели. Чем в верхах думали, головой или?.. Но хоть там и поумнели задним числом, так и крестьянин уже другой пошел, поумнел по-своему. В Ивановке, например, если сейчас и наберется с десяток коров — то и хорошо, все больше мелкую живность держат. У крестьян глаза прорезались.

И они с женой держали теперь только кабана да с десяток кур плюс усадьба: полдесятка старых яблонь, одна груша, и то наполовину сухая, куст смородины черной, грядка огурцов, грядка лука, больше ничего, кроме картошки. Никаких излишков, только себе на прокорм. Продавать не собирались, везти куда-то за тридцать верст на базар по такой дороге. Раз попробовал, так и то спекулянтном обозвали, чуть в милицию не попал. Бывало, мешок-другой картошки сдашь в совхоз, если еще проедут на машине по дворам, попросят, — вот и вся их прибыль, помощь государству.

А были планы наполеоновские! Даже корову сначала завели, перволтку, костромской породы, думали: надолго. Но и двух лет не продержали — вынуждены были сбыть: хотя луг и рядом, да не твой, — даром и травины не скосишь, еще заработать надо, чтобы пайку выделили.

— Будешь ты всю жизнь стоять врасстырку, — напороочил ему тесть. — Не дадут они пожить тебе, как ты хочешь.

Не голова у тестя, а Дом Советов. Как он сказал, так и вышло, — и вправду не дали, а он не верил, решил: раз запрет на коров сняли, то теперь он может сам по себе прожить, обойтись без совхоза. Зачем ему врасстырку стоять — между своим и общественным хозяйством метаться? Пропитания не хватит? С личного хозяйства прокормятся. Много ли на двоих надо? Без денег можно было бы прожить, только на хлеб да на сахар копейка нужна, на другие расходы... Но за малый срок, даже быстрее, чем тесть предсказывал, дело дошло до того, что сначала пришлось отказаться от коровы, потом... Что было потом, всего теперь уж и не припомнишь — все слилось в одну черную полосу...

А началось все со злых языков. Теперь уж и не докопаешься — скорее всего Кудачкин, сосед, он-то, наверное, и пустил первым по ветру слух, видать, завидки взяли... А чему тут было завидовать? Кто ему не давал заняться одним хозяйством — работу бросить? Как же! Лучше будет начальству задницу лизать, зато и начальство его в обиду не даст, что ни творит здесь, в Ивановке, все ему с рук схо-

дит. Хоть маленький, но тоже начальник, все в его распоряжении: люди, техника, корма... Захочет — даст кому, захочет — нет, найдет сто причин отказать. А для себя когда что надо — без никаких всегда пожалуйста, в любое время: своя рука владыка, потребуется что привезти себе, что куда отвезти — все задарма. Потому-то Кудачкин и дерет глотку, за все государственное ругает, чтобы себе можно было потащить за чужой счет. Пусть бы попробовал без совхоза прожить, без общественного — свое все иметь, из своего кармана за все расплачиваться, небось бы сразу прогорел, без порток бы остался. А на других рот разевает.

Ни за что ведь взъелся — за клочок сена: свалился с волокуш возле дома в овражке с подмытым скатом, за который, когда бы ни везли, каждый раз цепляли при подъеме в гору, оставляя на земле клочья сена. А сколько вообще этого сена растрясут за зиму по дорогам, пока перетащат трактором с луга на ферму, — этого Кудачкин не замечает. А тут заметил, выслужиться перед начальством захотел, хозяина из себя показать: подобрал — верни, не твое, пусть лучше сгниет. Да забери ты это сено, подавись им! Всего-то его — раз вилами взять, а шума на всю деревню.

Кудачкин-то еще что, мелкая тут сошка. С одним Кудачкиным он бы еще по-соседски сладил, из-за чего бы ни поругались, — в баньке вместе попарятся, глядишь, и помирятся, все же они свои, деревенские. Но от Кудачкина ниточка тянулась дальше — к директору, от директора в район, из района в область, из области... И сколько же их над твоей головой! С одним еще можно стовориться, а со всеми не срядишься. В этом-то и вся соль. Кудачкин один начал, а остальные продолжили, раздули кадило, всем стало до дела, кого касалось и не касалось. Приехал милиционер — везет ему на милиционеров! — прямо к нему у всех на виду. В городе никто б этого милиционера и не заметил, а в деревне только покажись он, пройди по улице, заверни к кому в дом, — с той же минуты всем становится известно, вроде ты уже убил кого, ограбил: зря милиционер не придет!

С милиционером у него был разговор короткий. Не успел войти — сразу вопрос:

— Вы почему нигде не работаете?

Вон оно что! Его за тунеядца принимают, за трутня... Пока были одни разговоры, он терпел: на чужой роток не накинешь платок. Но теперь и до местных властей дошло.

— Как? Я работаю...

— Вы только на себя работаете.

— А на кого еще мне работать? У нас нет эксплуатации. Мы все на себя работаем.

— У нас каждый обязан заниматься общественно полезным трудом. Даю вам месячный срок для устройства на работу.

И все. Разговор окончен. Милиционеру дали задание — он исполнил, тоже лицо подневольное: над кем-то он власть, а над ним еще своя власть, свой начальник.

Как он угадал, так пока и шло: ни через месяц, ни через два милиционер глаз не показал. Зато директор совхоза ему прямо сказал: ты в совхозе не работаешь, мне что с пенсионеров, что с тебя — никакой пользы, еще раз поймаю с косой на лугу — посажу. Вот и пришлось половину усадьбы засеять травой, чтобы поддержать сенокос коровку, еще умудрился за лето вечерком на лодке из поймы по охалке свежей травы подкинуть, но уже чувствовал: на больше сил не хватит. Помучился еще одно лето да и отрекся от коровы — отвел ее по осени, куда и мать свою Красульку отвела.

Не очень-то он и жалел о корове: так-то и вправду легче жить, можно и без молока обойтись. Бывало, пойдешь в магазин и возьмишь, сколько тебе надо, молочка от бешеной коровки...

Но что-то было вынута из души, а ничего на место не вложено, образовалась пустота, томила днями, вгоняла в тоску. Сновал из угла в угол, не зная, к чему руки приложить. Дотерпел до весны, мотанул в город, привез ворох пакетиков размером с ладонь. Что ни пакетик, в нем то один, то другой сорт огурцов — ранние, поздние, для открытого грунта, закрытого... Зачем ему столько? Для себя и одной грядки хватило бы. Конечно. Значит, на продажу...

Когда подошли бульдозер чинить над ним расправу, он был на речке — засиделся под кручей час лишнего, подгадав под лещинный клев на исходе мая, когда лещ вошел в охоту на горох. Прибежал уже по всполошенному крику жены к порушенным начисто парникам — не застал никого на месте. Бульдозер уже тарахтел внизу под горкой — укатывал назад, было уже поздно, может, это и к счастью, а то бы... Он не знает, что бы тому сделал, кто тут орудовал, может, Дему на бульдозер посадили или этого... Ерохина, придурка. Ни тот ни другой не откажутся, лишь бы чего начальство им пообещало. Сам бы под бульдозер лег. Но это после, когда остыл, так и этак рассуждал. А в первую минуту, когда увидел, кинулся от побитых стекол и поломанных рам вдогон, да куда там! Бульдозер уже скатился с горки — не утнаться. Да и что теперь сделала — бульдозеристу морду набьешь? Тому дали указания... А вот кто дал? Кудачкин? Нет, Кудачкин похитрее, мог кого хочешь на что угодно подбить, а сам остаться в стороне. Но кто-то же дал! Директор? Больше некому. Вот такой гад оказался, еще похлестче Доброва. Добров хоть свой был, а этот чужедальний, одна только фамилия совпадала с названием их деревни — Иванов Петр Александрович... Хоть свой, хоть чужой — один хрен, все они одинаковые, кто на эту орбиту вышел. Одному богу молятся... Добров только сам гонял в открытую: захочет — накажет, захочет — помилует. Самоуправничал. А этот научился законом прикрываться, вообще не поймешь, что он за птица. Если бы Иванов был просто придурковатый, дуб, ну тогда понятно. Нет, умный. Безголовому бы совхоз не доверили, не держали бы его все двадцать лет подряд и сейчас держат — давно бы выгнали, поумнее поставили бы.

А Кудачкин где ж в это время был? Небось стоял за углом да посматривал тайком, как Ерохин (он потом узнал — кто) старался под его указку, не иначе. Еще как ни в чем не бывало подошел, стал сочувствовать, возмущаться:

— Ну, звери-курицы! Не послушали меня... Тихо! Я ведь советовал им: не трогайте его! Человек живет, никому не мешает. А они мне что? «Ты ничего не понимаешь!» — «Чего я не понимаю? Тихо!» — «Мы должны бороться с нетрудовыми доходами.» — «Какие же это нетрудовые? Тихо! Человек собственным горбом...» — «Он частник, а ты его защищаешь!» — «Вы, — спрашиваю, — в городе давно были? Тихо! На базар заходили, видели, чем там торгуют? Все ряды пустые, людям нечего купить.» — «В магазине пусть покупают.» — «И в магазинах с перебоями, огурца какого-нибудь завалящего часто не купить, тихо! А качество? Тихо! На рынок кто-нибудь вынесет — огурчик в огурчик.» — «Зато цены заламывают! Выше государственных!» — «За хороший товар, тихо, и переплатить не жалко!» — «Нет, одни будут наживаться, а другие...» Как ни доказывал им, так и не доказал, тихо!

Складно. Кудачкин мастер подзалить, так совет. что и пове-ришь. Нет, верить Кудачкину он не собирался: уж ученый. Но и противоречить ему не стал — пусть думает, что поверил, не затаил на него зла, наоборот, еще и раздобрился — зазвал под повесть на рюмочку «Экстры». Признаться, хватили тогда они с ним крепко. Если по-честному, то Кудачкин ничего, только подошелся, настроился на разговор, а он что-то быстро окосел. Насухую, без смазки, так бы легко не прошел тот тяжелый для него случай. Кудачкин не будь

дураком, знал, когда приходить, знал, что без нее, без водки, тут ни один нормальный человек не обошелся бы — кондрашка хватила бы.

— Ты им еще спасибо скажи,— сразу перевернул Кудачкин все на другую сторону.

— За что?

— Тихо! Они ж тебе как лучше хотят!

— Я как-нибудь сам о себе позабочусь. Благодетели нашлись!

— Думаешь сам по себе прожить? Разбогатеть, тихо? Сколько у нас ни работай, как ни старайся, все равно богатым не будешь! Запомни это раз и навсегда, тихо, тихо!

— Чего «тихо»?

— А я говорю: тихо! Жить, как ты хочешь, тебе не дадут. Богатые у нас, сам знаешь, до семнадцатого года были! А теперь богатых быть не должно.

— Каких богатых? Таких, как раньше, и не надо.

— Тебе только дай — таким же быстро станешь... Тихо!

— С чего я стану-то? С этой грядки огурцов?

— Ну а для чего тебе эти огурцы нужны? Тихо! Чтобы деньги заиметь? А для чего тебе деньги? Куда ты их девать будешь? Ну ладно, машину купишь, «Волгу», а еще куда? Тихо!

— Были бы деньги, найду куда их применить.

— Начнешь свои грядки расширять? А докуда? Тихо, вот до куда? До этой самой,— Кудачкин мотнул головой за поветь,— до Рассухи? Тихо, тихо! Нет, дальше усадьбы никуда ты не двинешься.

— А зачем мне дальше?

— А куда ты расти будешь? Свои капиталы вкладывать без земли? Нет, тихо! А больше земли тебе дай, так ты и кулаком станешь! Тихо, тихо!

— Я-то?.. Кулаком? Перекрестись!

— Тогда чего ты так размахался? Зачем тебе столько, тихо?

— Что себе, что на продажу. За что я хлеб, сахар куплю? Все остальное... Купи без денег!

— Деньги ты сейчас можешь заработать и так...

— Где я так заработаю?

— В совхозе — где! Это раньше, когда денег колхозникам не давали,— натурой платили... Тихо! Думай, где их взять, а сейчас... Еще и на бутылку останется...

— Я те покажу бутылку! Я те покажу! — услышали они Фросин голос. Откуда и взялась.

— Тихо, тихо,— попятился из-под повети под натиском жены Кудачкин.— Я же вот ему и толкую: миллионером у нас все равно не станешь. Чего зря стараться?

— А то ты перестарался! — наседала Фрося.— Уйдешь на весь день в контору... Переработался там, как же!

— Тихо, мать, тихо! День прожили, и слава богу! Только тихо.

— Да ты вот так и привык: одним днем жить!

— Кто наперед много загадывает, тот сегодня не живет.

— Иди ты, черт лохматый, домой! — зашла со спины мужа Фрося да кулаками промеж лопаток ему, промеж лопаток. Не столько била, сколько показывала при людях свою бабью власть над мужем, когда, известно, у них все наоборот: он над ней командовал, за волосы даже иногда таскал по двору, когда начинала сильно переречь.— Иди уже, иди! — гладила его по спине Фрося, все подталкивая к воротам.— Залил глаза и сидишь тут, голова не болит!

— Все, мать, тихо! Молчу!

(Окончание следует)

АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ

*

ИНАЯ РЕЧЬ

* * *

Родная речь, прямая речь...
Но есть еще и речь иная.
Кому приходит время лечь
В сырую землю — ей внимают.

Зашелестит вокруг листва
Или пчела прильнет к могиле —
И ты услышишь те слова,
Которых мы не проходили.

* * *

О суровая зима,
Не своди меня с ума.
В чистом поле, без дорог
Я бреду на огонек.
Может, я приду к нему,
Все узнаю, все пойму.
Может, свет в чужом окне
Негасимым станет мне.

* * *

Я убит двойником в беспощадном бою.
Но воскрес и пред отчим порогом стою.
И сидит на крыльце седовласая мать.
И пытается встать, чтобы сына обнять.
И выходит двойник с полной кружкой вина:
— За маманю! Нас двое, а мама одна.



ВЛАДИМИР МАКАНИН

*

ТАМ БЫЛА ПАРА...

Рассказ

Там была пара, его имени не помню, а ее звали Маша, оба лет двадцати. «Мы уж год трахаемся! ну что ты!... Мы взрослые люди!» — говорила Маша кому-то по телефону в долгом разговоре. Оба были заметны, выделяясь прежде всего влюбленностью друг в друга. А потом он покончил с собой. (Зачем же еще подчеркнутое ощущение лет, если не для того, чтобы, означив возраст, — возраст забыть. Освобожденность таким путем. Но он умер, та кой молодой, а дуб, вероятно, ощущает свою несвободу.) Помню, мы с Машей закурили, а он, отложив сигарету в сторону, вертел в руках только что приобретенную им у кого-то (вот цену помню!) за сорок рублей «По ту сторону добра и зла» — ксерокопию очень старого издания на русском. Он все вертел ее в руках: мол, так много слышал о книге, а вот и купил. А я попросил дать почитать, и он совершенно просто и тут же мне дал. Он так и не прочитал, ибо как раз в последующие два или три дня покончил с собой, наглотавшись каких-то таблеток и оставив вполне ясную записку. Еще два дня он пролежал где-то у себя дома, только потом позвонили сюда. Молодых людей его смерть, по моим понятиям, не потрясла, они согласно и несуетливо сказали друг другу:

— Он же был сдвинутый! Ну, ясно!.. а что? не замечали?

И сразу, точь-в-точь как это делается и в нашем поколении, они припомнили немало случаев, в которых погибший был странен и в которых уже загодя чувствовалось некое его отклонение. Тем самым успокаивали самих себя, нормальных, как это делают и среди нас, — только у нас нет таких емких выражений, как «был сдвинутый» или «поехала крыша», у нас погрустнеют и говорят так: «Он же был шизик!.. Ты что, не знал?» — после чего с некоторой степенью достоверности назовут, пожалуй, больницу, где погибший раз в год подлечивался.

Сказать честно, я тоже не был потрясен его гибелью; возможно, потому, что знал его совсем мало, но возможно, что именно по тому же вдруг возникшему холодку в самозащищающейся душе, что и у них. Меня царпануло прежде всего то, что распалась такая красивая пара. Они очень подходили друг другу, особенно когда гремела их музыка и танцевали.

Девочка Маша — так я про себя ее звал — тоже не была потрясена. В тот вечер, когда стало известно о его гибели, она, конечно, плакала, даже выпила залпом что-то крепкое, но чуть позже слушала модный ВИА и спорила, выкрикивая яростные слова в защиту этого ансамбля; спорила она страстно, забыв все на свете и размахивая маленькой авторучкой, зажатой в кулачок, как увлеченная учительница младших классов.

Его жизнь кончилась, тем самым вполне совпав с его юностью, и в этом смысле он ушел из юности, а я, куда более старший, пришел и теперь сидел в их юности, откинувшись на стуле и слушая громкозвуч-

ный ВИА. Его уже здесь не было. Девочка Маша, и я, и все другие вокруг нас пили из чашек или из стаканов, из которых пил прежде и он. Обычно он пил (немного водки или красное вино) из прозрачного тонкого стакана, из тех дешевых, покупаемых какой-нибудь столовой сотнями в расчете на бой, и каждый раз, когда мне в общей путанице посуды попадалась не чашка, а такой стакан, я его все тискал и крутил в руках, словно проверял чей. Под окнами, а дело зимой, один из наших молодых людей, надев восточный халат прямо на голое тело, ездил на велосипеде кругами неподалеку от дома под падающим мягким снегом. Прохожие оглядывались на него, подчас свирепели, что нашей молодежи, скучившейся и наблюдавшей из окна, доставляло особую радость возрастного (и отчасти группового) вызова всем и вся. «Колька-аа! Никола-аааа! Хва-аа-тит!..» — кричали они ему. Собирали с подоконника снег и, целя в велосипедиста в ярко-красном алма-атинском халате, попадали снежками в прохожих. И кто-то говорил самому себе и другим тоже, — а из окна валил морозный воздух: «Хватит. Врубай музыку! Да закройте окно. Мужика простудите». И, конечно, «мужик» — это был я, сидевший несколько заторможенно в разбитом их кресле, уставший к вечеру и сидевший тихо, однако незаметно для себя сломавший стакан, еще и порезавший руку. Не знаю, как это вышло. Кажется, испугался, что утрачу этот возврат в их юность, вглядывался в лица (молодые лица всегда красивы), в их тонкие руки, в девичьи брови или молодые усы парней и от ощущения, что это надо видеть, слышать, вбирать, иначе пропадешь, от такой вот, самому мне несколько неожиданной, жажды биологического продления жизни возникло что-то вроде отмежеванья от своей судьбы, цеплянье за их зеленость, оклик или зов оттуда и... хр-руц, сжал стакан, обычный и тонкостенный стакан, быть может, его стакан. Сломал, поранил ладонь и пальцы тоже, притом сильнее, чем показалось в первый миг. Капало и капало, текло, платка не хватило, и теперь капало на пол меж расставленных моих коленей, — и кто-то из них сказал: «Смотри-ка на мужика. Ого?!»

Быть с ними не полезно, если думать о собственном теле, о здоровье: слишком часто сидишь за полночь, так что весь следующий день в голове тяжесть и тупость, поясницу ломит. Но кислцу дня сменяют надвигающиеся вечерние часы, вновь начинают манить, звать, и каждый раз это кажется большим, чем обычная притягательность порока на ночь глядя. Самое неприятное, что они бесконечно курят. Квартира (кажется, какого-то родственника), оказавшаяся в полном их распоряжении, все три комнаты и кухонька, прокурена донельзя, до прогорклости, до невозможности, так что сидеть тут долгий вечер напролет и еще за полночь — это надо быть одуревшим или... молодым. Но душа там мягчеет, они добры, эти мальчики и девочки, как я их называю, их мысли свежи, их слова неожиданны, и если прокуренностью и выпивкой я наношу урон телу, то психику я врачую. Так я себе объяснял. И чувствовал себя лучше. И только во втором или в третьем часу ночи, ощутив ровную сонность души и глянув на часы, говорил себе: «Пора» — и шел домой.

«Мужик» — так они звали меня, что перешло ко мне от одного старика, который ходил к ним прежде меня и который был когда-то профессиональным шпионом Отчасти легенда; он был известный разведчик, засылавшийся во время войны в чужие армии и даже в чужие разведки, был агентом и контрагентом (как сказали бы сейчас — многоразового использования), ибо, пойманный где-то там с поличным, бывал отчасти вынужден работать в пользу какой-то третьей страны. Крепко выпив (а портвейн у них в квартире был всегда), он нас забывал, пьяненькая стариковская память неумолимо погружала его в прошлое, и невозможность вспомнить, кто есть кто, достав-

ляла ему большие мучения. (Ему казалось, что опасность ежеминутна и что смерть в шаге.) Стариковское лицо от натуги бороздили морщины. Наполовину глухой, выставляя вперед правое ухо и внимательно прислушиваясь к болтовне, к щебету молодых, по крупицам их бытовой информации он пытался сообразить, угадать свое окружение — среди кого он и с кем.

Он жил неподалеку; оставшись без родных, томился в четырех стенах — и ходил сюда. Он интересно рассказывал о Черчилле, но в другой раз не мог донести до рта полстакана портвейна, расплескивал, наливал вновь и вновь не мог донести. Он исчез. Он перебрался в дальше Подмосковье, где его взяла к себе богомольная старушка, и чуть ли и сам не стал набожен. Кто-то из наших молодых ездил, и даже старушку навестил, и будто бы выпросил у нее небольшую, совсем не дешевую икону. Но, кажется, они попросту проморгали, как и каким образом старик исчез. Было лето, все они разъехались либо сдавали сессию, а потом разъехались, а осенью, когда вернулись в большой город, старика уже не было. Живого они его скоро забыли. Но образ его все усиливали и укрупняли, дотягивая до легенды.

— А видно, матерый был шпион! А как портвейн пил в свои семьдесят! — затевали они вспоминать старика, но почти сразу переходили на то, как русские за границей оставляют ложечку в чашке с чаем и слишком сильно хлопают дверцей автомашины, давая повод себя разоблачить, — знакомый набор выдумок, переживших человека.

Так что если о месте, то, пожалуй, я зря мучился — мол, живу юность погибшего молодого человека, дышу его воздухом. На деле же я занимал возрастную нишу ослабевшего старика с огромной головой и аккуратной седой бородой, как они его всем, и мне в том числе, описывали; возрастную нишу человека, греющегося возле молодости.

Творчество ВИА у них в большой цене — зная не только слова этих своеобразных текстов, они знают поименно исполнителей, а также сложную динамику отношений (не только любовных) внутри музыкальных коллективов: певец обиделся, а она не обиделась, а гитариста переманили, но зато у них появился классный ударник Евгений.

Слушая ансамбль, они занимаются чем угодно, некоторые даже готовятся к семинару по физике или просто играют в карты (в дурака или в иные простенько-блатные игры, преферанс у них не в чести) — сидят себе и играют часами. И говорят. А музыка ревет:

Ты спала с мерзким Курочкиным,
ты-ыыы спала с боксером-пьянчугой,
ты-ыыы спала со старикашкой-вахтером,
но,
но-оооо,
но-оооо я хочу быть с тобой, быть с тобой, быть с тобой

(то есть все равно хочу быть с тобой, и ничего тут мне не поделать и не придумать).

Икона (от богомольной старушки, приютившей резидента) стоит в углу, и иногда они зажигают возле нее свечу или две-три свечи. Они часто говорят о религии. Некоторые из них крестились. Они относятся к этому всерьез и культивируют в себе добро, что меня втайне восхищает. Среди них бывает Алик Пашков, паренек с задержанным развитием; он простой маляр, в отношениях с ним они обычны, но несомненно любят и по-своему берегут. Отношение к убогому человеку — лакмус, которым проверяется все и вся. Распадающаяся форма поступков уже на втором или третьем разе выкажет и твою и его суть, мимикрия сползает, как кожа. И если своей повседневностью эти молодые люди учат Алика жить, то Алик, того не ведая, учит их. (Кто живет кем — не взаимность, а процесс очищения, в это они уже проникли, и ведь как легко.)

Однажды я спросил Алика — как он относится к тексту этих громоподобных песен ВИА? нравится ли ему сам текст? (Меня эти слова только забавляли, ничего, кроме потехи и легкого презрения, к такому потреблению слова я не испытывал.) Спросил я Алика просто так, но и, конечно, с некоторым снобизмом — не сдержавшись и легонько фыркнув.

Он так стремительно вдруг ответил — на вопрос, нравятся ли ему слова:

— Нравятся. Очень. Очень.— И даже заволновался, бедный, покраснев.

И тут, кажется, я его понял.

— Но ты внимателен к тому, что они поют?

— Очень!

Мысль была столь же проста, сколь мгновенна: если жизнь идет навстречу убогим, если их трудоустраивают или если затевают в свободные часы соревнования на колясках для калек и дебилов и если матери их сидят во время таких марафонов, болея за своего мальчика и испытывая душевный подъем, почему бы и певцам и их песенным текстам не побегать иногда с убогими рядом?.. И ведь, в сущности, так просто понять всякому человеку:

Ты-ыны спала с мерзким старикашкой-вахтером,
но я,
но я

(убогий, счастливый уж тем, что меня приласкают и согреют),
но я хочу быть с тобой.

И не отодвигали от себя марксизм, потому как уже внешними процессами он был сам отодвинут от них несколько в сторону, полинявший. Они уже были — без. И так легко стали они внеобщественны (в старом смысле слова), с неожиданным удовольствием ощутив религиозный индивидуализм, готовность своего «я» к отношению с небом.

Культура таинства, венчающая в структурном смысле их направленность к небесам, еще не возникла (и скажем сильнее — была от них еще очень далека), но они уже объединились, уже тянулись быть вместе в новом своем качестве, а это уже нацеленный шаг.

Добро и зло — как лабиринт, говорил один из самых умных здесь мальчиков, по имени Саша, Сашук, тоже лет двадцати, не больше. Однако сложность добра и зла (или их простота) такова, что, сколько ни иди по бесконечным комнатам, не выйдешь. А если вдруг выйдешь, то как раз к тому памятного изначального месту, откуда пулся в путь, огибая углы.

Но скорее всего в лабиринте ты не запутаешься до полной потерянности, а попросту устанешь идти и махнешь рукой: хватит!.. махнешь обеими руками (тут Сашук улыбнулся, подверстывая уже подвернувшийся образ), взмахнешь и... как птица вдруг взлетишь и сделаешь круг и еще круг, видя уже сверху все многообразие комнат и переходов. Ощущение полета столь ново и содержательно само по себе, что ты (и тут тоже как птица) уже не хочешь разбираться в порядке, очередности или косвенной последовательности запутанных комнат. Устал? Дело не в усталости. Высокий звук (отзвук) христианского отчаяния, но не тупик. Но и когда улетаешь, делая последние круг за кругом и сверху оглядывая, все же не унесешь (и не удержишь в памяти) этот великий план человеческого многовекового опыта...

Слава богу, что у нас есть крылья и мы можем взлететь, мы как птицы, говорил Саша, Сашук.

Как бы меня и во внешнем тупик на взлет, они вскочили с мест (разговор побоку), тут же и врубив музыку, как всегда громкую. Отплясывали, курили, то делали полумрак, то включали свет, отыски-

вая нужную магнитофонную кассету, я же продолжал сидеть в кресле, прикрыв глаза. Музыка не гремела, стала вкрадчива, нежна. Танцующие раз-другой задели мои ноги. В старом их кресле торчали две пружины, так что приходилось к ним приспособляться, и я это уже умел, имел опыт. Но когда задевали по ногам и я сдвигался, пружины, перемещаясь, тотчас выстреливали и жестко о себе напоминали, после чего вновь приходилось елозить задом и смещаться (и пока я приспособлялся к пружинам, пружины приспособлялись ко мне).

Мы можем взлететь над лабиринтом добра и зла, мы как птицы, но мы не можем его осмыслить и за краткое наше время постичь, говорил умный Сашук. И потому — надо верить. Сейчас он танцевал, весь изгибаясь, а молодая женщина, повторяя своим телом его изгибы, льнула к нему и гнулась еще сильнее, самозабвеннее, чем он. Чувствовался поздний час; клонило в сон. Я перебирал в памяти их слова, их мысли и тихо завидовал.

Завидовал; из себя же ничего, кроме осторожной иронии, извлечь не мог.

Добро и зло — как две выскочившие и мешающие пружины старого кресла.

Я повторял столь кружным путем пришедшие слова. Благодеяние нечестивцев и испытание праведных — но почему? почему?.. То есть испытывают именно праведных, не доверяя им, и если в этом лишь известная формула очищения человека страданием, то почему их, молодых, вековечные эти слова так загодя тревожат и волнуют?.. Определений добра и зла, как и способов размежевания, нащупывания границы меж ними, было, надо думать, бесчисленное множество: как, скажем, лабиринт у этого умного юноши. Или хотя бы как пружины в старом кресле, которые мешают сидеть расслабившемуся и уже несколько сонному человеку. Но что, если в ту же самую сонливую и упрощенную минуту в нас шла и впрямь некая вечная борьба добра и зла, но только никак не связанная ни со словами Сашука, ни с моими словами, ни с нашими мыслями, ни даже с всполохами в глубинах нашего сознания, — неслышная, как не слышно нам движение в нас лейкоцитов крови или, скажем, лимфы. Вечное и неслышное сражение. Борьба идет, а мы не ощущаем ее и не чувствуем, какое великолепие! — подумал я в ту минуту.

Шахматная доска с фигурами давно расставлена, партия идет который век, а мы ее почти не видим. И что, если предводителя добрых сил во мне (и во всяком другом человека тоже), играющего белыми, назвать... но ведь и не названный он воюет, так что пусть ходит своими белыми пешками и белыми фигурами, пусть разрушает хитроумные комбинации хвостатого противника и завершает свои фланговые атаки и контратаки, пока я тут сплю. Да, я сплю. А он не спит. Он за меня, и ничего лучше нет этой мысли в мире. А я сплю. Что, если я хочу спать, но не свалившись в кровать спать и чтоб до самого утра и до галочьего за окном крика, а так, как сейчас, — сидя и вытянув ноги, и чтобы в старом кресле в углу и другим не в тягость, прикрыв глаза, когда рядом гудит тяжелый металл вокально-инструментального ансамбля и под этот металл (плюс пронзительный и цемящий женский голос — Маша?) танцует, гнется, льнет, прыгает, извивается, скачет и никак не может насытиться жизнью чья-то молодость? Устремившись за их рассуждениями о добре и зле, моя мысль, позавидовав, тоже сделала сколько-то спешных шагов в том направлении. Заторопилась, но скоро, конечно, иссякла, не умея набрать полных четырех тактов на чужом топливе. Я сидел в старом их кресле, дремал, и, видно, уже сильно дремал, клевал носом, — время шло к ночи. Они поставили мне на колени пустую консервную банку под пепел, так что в двух-трех шагах от дремлющего танцевали молодые женщины, хорошенькие, милые, лет двадцати, стращивали стол-

бики пепла своих сигарет в пустую банку, улыбаясь и получая удовольствие от этой и впрямь комической сцены. Я себе дремал, банка себе стояла на моих коленях. Им было проще и удобнее не бежать с сигаретой к пепельнице на столе или подоконнике. Можно было продолжать танцевать и курить, положив руки на плечи парней в полумраке, и нет-нет, перемещаясь, принагнуться и отряхнуть пепел в банку; никакой злой шутки, просто молодость и милое дурачество.

Лабиринт, через путаницу комнат и переходов которого все равно не выбраться (и не понять, но все же почувствовать, что есть еще и третье измерение. Есть пространство третьего измерения и есть птица, которая взлетела над — и которой далось-таки если не запомнить, то все же глянуть на миг сверху).

А тот их мальчик, молодой человек, наглотаившийся таблеток и оставивший ясную записку на столе возле кровати, был уже далеко. Его сожгли. Они пошли к нему в колумбарий, в тот нескончаемый лабиринт захоронения человеческого пепла в отсеках, комнатах и переходах, который в свой черед обогащен дополнительным лабиринтом иного измерения — лабиринтом небольших плит на стенах, с ладонь величиной, на которых еще более мелки фотографии с датами рождения и смерти; лабиринтом лиц, которых уже с нами нет и из которых тоже уже не выбраться, не осилить и не упомнить, а только взлететь над.

Они пошли к нему в колумбарий, потому что любили его и (пока еще) помнили, а еще потому, что жизнь стайей ведет к стайной забывчивости; они пошли, а я только вспомнил.

Случалось, разумеется, видеть по телевидению, как поутру бежит здоровья ради по специальному тренажеру человек в своей красиво обставленной квартире. Бежит он быстро. Делает бег, избавляясь от гиподинамии. Какой-нибудь финн или норвег. Бежит и бежит на одном месте, а тренажер, легко скользящее полотно тренажера так и проскакивает под его крепкими ногами, — представим себе, что бежит он вечно, бежит всегда, бежит каждый час и каждую минуту этот хорошо видный на экране круглолицый финн или узколицый норвег, и полотно тренажера скользит, летит под ним тысячелетье за тысячелетьем. Это и есть трудолюбивый ангел или даже бог, сражающийся с миром зла в нас и за нас, — в то время как мы можем этого и не знать. Частицами тренажерского полотна мы мелькаем и мелькаем под его ногами, поколение за поколением, как шаг за шагом (к примеру, почти промелькнули наши сталинисты). Если же говорить о том, как мелькает не поколение, а отдельный человек, это уж слишком краткий миг, доля секунды, мгновение, когда с отдельной пылинкой соприкасается его нога, а он все бежит и бежит, воин, который не убийца.

Нам жаль нашу краткость; пыльца на движущемся полотне тренажера, которого в эту самую четверть мига коснулась мускулистая боевая нога (но все же коснулась!), — и вот уже нет той пыльцы, проскочила куда-то, нас нет, мы умчались.

Олежка, единственный из них экстремист, молчаливый и полный ярости, которую он умел хорошо держать под спудом. Но которая вдруг прорывалась, и тогда он хотел напустить, науськать на умничающих интеллигентов изнуренную толпу. Он весь темнел и шел пятнами, когда касались темы. Он говорил: «Эти высоколобые...» — или: «Эти, дурачащие народ...» — и хотел, разумеется, чтобы умников прибрали к рукам и чтобы тем самым люди, человечество были выровнены. И чтоб никакого дальнейшего расслоения. Все мы должны быть более или менее одинаковы. И быть счастливы или несчастливы — но одинаковы и вместе.

Он был некрасив, в оспинках, припухшие щеки, но молодые женщины его любили. Вот что у Олежки было красиво — глаза. И я думал — ну зачем с такими мыслями и с такой притаенной готовностью к укусу такие глаза?.. Или так думал: озленный мальчик, но зато глаза у него. Хотя бы глаза.

На манер ли нашей гражданской войны, или как в тридцать седьмом, или хотя бы путем эмиграции интеллигенция должна подравниваться под народ, да, да, надо ее подравнивать, периодически тем самым от нее избавляться, — он любил сдержанно-энергичное слово. Хотя бы путем эмиграции.

— Но, Олежка, послушай. Все это уже было, — сказал ему я. И так получилось в ту минуту, что все смолкли, и даже магнитофон, вечно ревуший, попал на свою паузу или на перемотку, так что сказались мои слова в полной тишине и очень весомо. Все это уже было.

— Было, — кивнул он. И с этой минуты, кажется, меня ненавидел. Посмеивался, когда я приходил. И все иронизировал. Говорил, что меня надо непременно и принудительно заставить копать длинную канаву в восточном направлении, пока не докопаю до китайской стены. А когда я до них докопаю, китайцы научат (это уже, конечно, их проблема, он не смеет им подсказывать) — научат копать канаву дальше. Так что у меня даже на день не получится перерыва. Он язвил. Он покусывал. Он был мальчик. Обыкновенный мальчик. Я грустнел, застигнутый повторением. Я думал, что мыслей выровнять человечество (мыслей хотя бы и в чистом виде) уже нет. Я думал, они уже были. Всадники гражданской войны ускакали в далекую белую пыль, передвигаясь все дальше и дальше. Скрылись — думалось, их уже нет, а они за линией горизонта ни на минуту не прекратили своей скачки и, двигаясь на рысях, торопясь, обогнули, как Магеллан, землю и теперь появились с другой стороны, со стороны юных, появились в пыльных шлемах и, не слезая с коней, сказали:

— Вот и мы.

(Юность. Какая-то совместная поездка. Она. И я. Теплый, немного душный вечер. Костер у реки. И... вдруг утопленник. Какой-то бородатый старик лежит в подштанниках на берегу реки, на груди крестик. Люди стоят. Люди толпятся, разглядывают, и мы вдвоем — она и я — тоже хотим протиснуться, и я не выпускаю ее руку, тяну за собой, лезу сквозь людей. И тут кто-то дает мне по башке. Толкает меня. И других тоже толкает, отпихивает: «Ну-ка убирайтесь! ну-ка!.. нечч-чего тут смотреть!» — он толкает, гонит нас, как милиционер. Не знаю, кем он был. Во многих мужчинах просыпается милиционер в минуты возбуждения малой толпы (большая толпа — совсем другая тайна), тем более если мужчина крепок и если возбуждение толпы так или иначе связано с человеческой гибелью. И мы ушли. И я и она. Мы так сразу и легко подчинились.

Мы пошли вдоль реки. Мы были довольно симпатичной парой. И, с некоторой натяжкой, я мог бы вспоминать нас, как эту расплавленную пару — Машу и того юношу, наглотавшего таблеток.) ...Вьюга, ветер под ногами метет снег, я возвращаюсь домой и думаю о недостаточности реализовавшейся моей юности, о некоей духовности, которая могла возникнуть в дополнение моему «я», но не возникла. Развилка тропы. Ее замело снегом — снегом первой той московской зимы. Затем занесло снегом второй московской зимы. Затем снегом третьей зимы, и так каждый год заносило снегом. Я сокрушаюсь — мол, был же божий шанс. Был. Не истерика, не скорбь, но думать об этом мне горестно. Конечно, был. Возможно, в эту минуту я преувеличиваю свое огорчение, так как огорчен я был, когда сидел у них в углу в старом кресле. Когда слушал их и когда завидовал их юности, а потом напился, забылся, полудремал, и отодвинутое забытьем огорчение нагнало меня позже. Вот только теперь нагнало, и я его переживаю.

Соседствующий кусок юности — это когда я, студент университета, приехал в поселок, а там умерла моя двоюродная или даже троюродная тетка, а я пришел (кто-то сказал: пойди! пойди!..) в ее дом и по молодости слонялся там, не знал, что делать. В избе было темно и прохладно. Двое мужиков сбивали большой стол. Вокруг хлопотали, варили холодец, заботились о поминках. А я, слоняясь, видел тихие поборы. Суть их проста: когда человек умер, в его дом или в избу набивается разного народу, и непременно найдутся люди, старые бабки, почти ритуальные воровки, которые обязательно прихватят в общей суматохе вещь, чаще всего из одежды покойного или покойной. Дом стоит в эти горестные часы незащищенный, родные, конечно, не помнят или не уследят, а покойница, бедная, тоже обойдется на том свете ангельскими заботами. (И конечно, одежонки теплой с узорами не хватится и нам ее не сочтет.)

Тетка лежала на высокой лавке, и как раз с нее сняли кофту, теплую кофту далеких тех времен, когда одежда была просто одежда, кажется, и без названия, но с четкой функциональной направленностью: на зиму, на осень, на лето. Вероятно, тетку переодевали, стали обряжать, потому что всех, кто мужчины, выгнали, и вот уходя-то, поторапливаемый, я вдруг прихватил ее кофту. Так получилось. Моя рука тоже вдруг взяла, я так и вышел держа, пронес в другую комнату и только тут ощутил, что кофта — теплая. Она была теплая ее теплом. Вдруг осознав, что я забрал вещь и что это ведь стыдно, я потерялся и ничего лучше не придумал: сунул кофту себе под пиджак. И там, под пиджаком, кофта была теплая.

Примечательно, что я не взял, скажем, икону (а там были по меньшей мере две великолепные иконы), ни ее молитвенник, ни старое Евангелие. Я ведь не вспомнил о человеке, которым была моя тетка, о ее духовности. Уже вовлеченный в зигзаги общественного развития, я только и смог по-старинному ритуально взять (хорошо хоть этого не утратил), на уровне туземца прихватить ее вещь, растаскивание как вид памяти и продолжающейся жизни умершего, — и теперь опять слонялся без занятий в сенях и у крыльца, входил, и выходил, и ощутил наконец холод на том месте моего тела, где была прижата кофта. Возможно, меня уже тяготила нелепость поступка (ритуальность, сработав, испарилась?). Я вынул кофту, когда никто не видел, повесил ее тут же в сенях на старинный большой крючок: кофта была не холодная, уже с моим теплом.

Тонкостенный стакан молодого человека, наглотавшего таблетки. (И стопка-стаканчик шпиона. И кофта умершей родственницы.) Вещизм?.. След, который не остался, хотя и остался. И равнодушные стаканы красною вечною сиять. Люди ушли, из их вещей пьют другие — небрежность замысла? или как раз напротив — сам замысел?.. Или даже помимо замысла, — пей, если стакан остался.

Я чувствую себя в них, но я не пытаюсь понять себя через них (слава богу, наконец мне это далось!) — дышу их воздухом, сижу, ворую частички их бытия, в то время как они играют в карты или млеют в танце. Гремит их музыка. Ощущение выпитого смыкается с ощущением долгой дороги и краткого привала на ней. Разновидность самоутешения. Кажется, что времени и возраста нет, забот нет; только дорога.

Был час ночи, когда я ушел от них, — вышел и стоял уже очень пьяный на лестничной клетке, решаясь и отчасти не решаясь спуститься по лестнице по причине плохо слушающихся ног. А Олежка вышел следом непонятно зачем; стоял сзади меня. Он и я, только двое.

Покачиваясь, я боялся, как бояться все пьяные, ступить первым шагом. Лестница была крута. Я чувствовал, что Олежка как бы из воздуха возник и теперь стоит сзади. Возможно, он колебался. Все

же он не столкнул меня вниз, хотя в ту минуту это не стоило бы ему особых физических усилий. (Возможно, он пожалел. Или же подумал, что дальше со мной будет много возни, что я поломаюсь, стану стоять, и как ни бессознателен буду я после падения, к тому же и пьяный, ничего не соображающий, все равно они все (и он, возможно, тоже) начнут туда-сюда бегать, звонить по телефону, нести меня на руках, также и девчонки, переставшие танцевать, чтобы только поохать,— течение вечера, несомненно, сломается, это уж ясно. Возможно, вечер он и пожалел, хороший вечер.) Не столкнул. Я медленно ковьялял по ступенькам, растопырив руки, держась то за стену, то за крутые скользкие перила. Шатко, неуверенно топал. Когда, одолев первый марш вниз, я перевел дух и оглянулся, он стоял сзади как бы на высокой горе и зло крикнул мне сверху: «Ступай, ступай! И чтоб духу твоего здесь не было!..» — а я улыбался ему, пошатывающийся, ничего в ту минуту не понимая. Улыбался, приветливо и пьяно винаясь: мол, до свиданья, дружище... мол, извини.

Он не сказал мне — и больше не приходи! мол, тут тоже твоя развилка! — не сказал и не знал он этого слова, но развилка вспыхнуло в моем сознании само собой. Мгновенная фантазия неслучившегося.

Я вышел на улицу, на снег. Стоял теперь на снегу, пошатываясь и глядя вверх. В трех их окнах горел яркий свет. Доносилась даже их музыка. Возможно, я чуть протрезвел. Силуэты двух девушек, одна из них, кажется, Маринка, но не Маша. И еще высокий парень, откуда неузнаваемый. Я смотрел на их окна — и смотрел выше, на белую муть падающего снега; меня охватило тихое ликование; я жив. «Я жив», — повторил я себе самому вслух, вбирая отсюда вновь силуэты девушек, и с ними высокого парня с сигаретой, и где-то за их спинами убогого Алика и экстремиста Олежку, который меня не столкнул. Длющаяся жизнь и они, молодые, — все вместе составляло сейчас мое ощущение, мое переживание. И одновременно ощущение благодарности за то, что мне дано это переживать; дано мне не за что-то, а просто так.

Следующее, что я увидел сразу после моего отважного и нелегкого спуска по крутой лестнице, — снег; чудо снега. Освещенный из окна пучком лучей, лежал под моими ногами квадрат снежной пыли, если поточнее, параллелограмм. А за отделяющей граничной линией он только посверкивал из бархатной темноты.

Снег лежал в этом скошенном квадрате. И одновременно снег падал. Он появлялся снежинками в световом пучке и, ложась, добавлял снега, добавлял самое себя. Опьянение подталкивало меня что-то вспомнить, уже пробудило, но не давало никак расшифровать — жизнь моя попадала сейчас в рифму с их молодостью (и с моей молодостью). Я вспомнил, но не знал — что. (Вспоминание уже покачивалось во мне, как лодка на плаву.) Отклик, ауканье, несомненно, были оттуда. Расшифровать не умел, но одновременно точно знал — меня окликнули. В горле медленно собирался ком. Не умеющий на столь пронзительный оклик ответить и достаточно сильно пьяный, я стал на колени и так стоял: этого стояния для ответа было мало, было недостаточно, так как, не приученный к ритуалу, я всегда и загодя боялся фальши. Но ведь одновременно (и это главное) я боялся спугнуть самого себя, притушить несильное колыханье души. И потому только топтался и топтался в снегу на коленях на освещенности скошенного квадрата, тогда как ком в горле все накапал.

Снег летел. Конечно, не миры, чего уж преувеличивать, но и не просто же снежинки летели и летели сверху, если я вот так требовательно спрашивал с них смысла. (А они — с меня.) Жизнь во мне на эти секунды замерла, словно бы усомнившись в чем-то слишком огромном, чтобы сб этом подумать живому человеку. Снег падал, снег

засыпал, заваливая все подряд. Накрывая давнего юного меня, и тот костер у реки, и бородача-утопленника (и его колоды ноги), уже десять снегов завалили ту развляку юности, некий проблеск, который был мне дан, ощущение великолепного подъема на той степной дороге, — какие десять, с ума сошел! если счесть, уже десятки снегов засыпали и завалили, и ведь как надежно, как сильно завалили, не откопать.

И я (живой, но уже раздражающий кого-то своим существованием), и она, та девушка (уже пожилая женщина, тоже не умершая), и тот мужик, что преобразился в милиционера, и люди из толпы, которых он расталкивал, — многие из них еще живы и сейчас топчут снег ногами, как я топчу его коленями. Мы все в эту минуту над снегом.

Сколько умерло, молодых и не молодых, но жившие жили через тот снег и через следующий, через пятый — а это стоило благодарности. В том и суть, что нас, живых, сохранили, нас сберегли и как бы провели через эти сменяющиеся, ежегодные снега, всё и вся завалили, а нас провели как бы за руку, и вот мы еще на нем, на белом. Подумав о благодарности, я и точно узнал ее среди других моих чувств. Я впал в благодарность. Особенную радость как раз и внушало то, что мы, сохраненные, обычные, незначительные, даже просто малы, как в массе, так и порознь, — малы, а вот ведь нас сохранили. Нас оберегли. Нам дали это просто так. И безоценочно. Именно что не оценивая ни тех, ни этих. Тем самым нас вряд ли хоть сколько-то заметили, а жить дали. Просто так.

Но ведь я и хотел в ту минуту побыть помимо всех и иных чувств, кроме благодарности. Хотел побыть, думая о снеге будущего года, — молитва о жизни? А почему нет?.. И не только в том властном смысле, чтобы дожить до будущего снега или чтобы попомнить об этом скошенном квадрате, но опять же о прямой благодарности: о том, что не упал сам и что не столкнули с лестницы сильно пьяного (когда душа сама рвалась к богу, и путь к нему, чуть подтолкни, был совсем прост и как бы даже естествен — лети!) — я без труда представил себе дробный шум падения тела, сухое раздирание мышц, переломы, вовсе не болезненные в первую минуту, ну, еще удар головой, не береги голову, вот это единственное, что уже вошло в опыт. Не береги голову. И будь благодарным.

Духовность не зря же называют пищей: насыщает. И также возникает предел насыщения, почти тотчас за благодарностью. Вот с ней и уйди, повторял я себе, бормоча и вставая на разъезжающиеся в снегу ноги. Вставай, и пошли, пошли. Больше душа не примет.

ЛАЗ

Повесть

1

ИНТЕРЕСИТЕЛЬНАЯ КОШКА У ДВЕРЕЙ. То есть она у самых дверей. Ни туда, ни сюда. И конечно, мешает ему прикрыть дверь. «Ну?.. В дом? или на улицу?» — торопит ее Ключарев интонацией голоса, после чего захлопывает дверь квартиры и быстро спускается вниз. Обогнав кошку (она мягко прыгает по ступенькам лестницы), Ключарев выходит на улицу.

Он думает вдруг о смерти своего приятеля Павлова — как умер? каковы подробности?.. Он ничего не знает. В толпе, в давке движения погибло две сотни народу, если считать только на проспекте. Толпа не считает. (Но ведь Павлов там не был.)

О том, что улица пуста и что многие жители прячутся в квартирах за плотно зашторенными окнами, Ключарев старается не думать.

Конечно, без людей диковато. Но нет людей — нет и опасности. На улице тепло. Вечереет. Но еще не ночь. Ощущение уличного тепла таково, что вот-вот раздастся свист и хлынут толпой некие люди, а с ними убийства, грабежи, поправление слабых, — ощущение тяготит, и как тут не пасть духом. Но в то же время на улице пусто. Тихо. Это и есть жизнь... — так колеблются его тонкие, пугливые мысли интеллигента, сам же Ключарев шагает.

Если посмотреть сейчас сверху — опустевший город, ни людей, ни движущихся машин (есть отдельные мертво стоящие машины на обочинах, но они еще более подчеркивают общую статичность). Пустые тротуары. По глянцевої улице движется один-единственный человек, он в свитере, в шапочке с помпоном, помпон чуть припрыгивает во время его хода. Этот человек — Ключарев, наш старый знакомец. (Он несколько постарел; потускнел; виски поседели уже сильно, проседеь в волосах. Но еще крепок. Мужчина.)

Во время движения он иногда как-то странно на ходу подергивает телом, словно у него на боку под свитером и под рубашкой не вполне зажившая ссадина (так оно и есть, притом несколько ссадин). Вязаная легкая шапочка с помпоном (похоже, что лыжная) натянута на голову. Завершая свитерно-брючную обыденность, лыжная шапочка делает его чудаковатым. (Ключарев с этим не согласен. Он видит в шапочке проделавшую долгий путь логику его интеллигентности, которая нашла скромный вызов и одновременно защитную форму. Но не мимикрия.)

Свесив и впрямь раздается, когда Ключарев проходит мимо третьей по счету пятиэтажки. Ключарев приостановился. Оглядывается. Нет. Нигде ни души. (Что ж, кто-то мог свистнуть и просто так.)

Продолжая путь вдоль ровно стоящих пятиэтажек, он выходит знакомой асфальтовой тропой к пустырю — пустырь переходит в разнотравье, а тропа из асфальтовой становится обычной тропой, узкой, петляющей в траве. Тропа еще хорошо различима. Вот и приметные два куста конского щавеля, высоко выбросившего свои метелки. Ключарев подходит к узкому лазу в земле, или к дыре, как он этот лаз окрестил; он привычно постукивает ногами, чтобы не тащить с собой в дыру лишнюю грязь. (Когда дождь, он счищает налившую грязь о жесткую траву. Но дождя нет. Слава богу.)

Свесив в дыру ноги, Ключарев сидит и некоторое время решает-ся на спуск. Затем спускается, правильнее сказать, протискивается. Тело его трется о края дыры, окорябываясь о неровности, но не обдираясь. (Иногда в дыру спускаешься довольно легко.) И тут же, подумавший о легкости спуска и забывший об осторожности, Ключарев острым торчащим кремнем вспарывает на боку старую, уже было запекшуюся ссадину. Ч-черт. Рубашка сразу намокла, разумеется, кровь. А оборвавшиеся пуговицы рубашки полетели вниз. Ключарев еще только спустился до горловины (до середины), а пуговицы уже летят вниз много прежде него, и даже слышно, как они там внизу звенькают. Горловина узка. Тело Ключарева делает умелое вращательное движение, вкручивается, на миг ему перехватывает от стиснутости дыхание, но только на миг — он уже пролез, тело его висит теперь над пещерным пространством, но только не над темным, а над освещенным пространством довольно большого зала, где стоят столики и за столиками сидят и беседуют, пьют вино люди.

По лестнице-трапу (что-то вроде высокой стремянки), ступая ногами на металлические прутья, Ключарев спускается — и попадает уже внутрь этого красивого помещения с ярким полом в крупную шахматную клетку. Темные и белые большие квадраты разбросаны по всему полу. Спустившись, Ключарев ступает на один из них, тут же находя и две свои пуговицы.

Погребок шумит: люди пьют, разговаривают. (В сущности, Ключареву нужна была лопата, хорошая обычная лопата с гладким черенком, но, конечно, он не может сразу же и спешно пойти ее покупать.) Он видит Андрея Башкина, Северьяныча и Таню Еремееву, они машут ему рукой. В них уже не только сходство, уже сродство. Ключареву все равно проходить мимо них. Вероятнее всего, они искренно машут ему, зовут подойти, побыть с ними (оттенки! — тут ведь никогда до конца не знаешь), и Ключарев подходит, он тоже рад их видеть. Наливают в стакан вина, приветствуют радостно и шумно, подвигают блюдце с орешками, — ну как? как ты там живешь?.. небось хочешь пообщаться, поговорить? — спрашивают чуть не хором, зная его тягу.

— Хочу. Очень! — отвечает он очевидностью на очевидный вопрос, так что они, угадавшие, дружно смеются.

— Ну, молодец! молодец!.. рады тебя видеть! Садись!.. Что пить будешь?

Тут же находят ему стул (слегка побранившись с кем-то и пошучивая, оттаскивают для него стул от соседнего столика) — Ключарев не собирается с ними засиживаться, но, конечно, сидит, с удовольствием сидит, держа в руках стакан и отхлебывая глотками темное вино (вино холодновато, он греет его руками). Он слушает продолжающийся их разговор о том, что есть по сути своей современное общество: община? или артель?.. если община уходит корнями вглубь, то артель — это уже организация. Ключарев только-только вслушивается, он получает удовольствие, он тоскует по разговору, когда к столику подходит Никодимов, как всегда деловой. Он дружески кладет Ключареву руку на плечо и наклоняется к нему (чтоб говорить громко):

— Виктор, пойдем. Обещаю тебе — там ровно на одну минуту.

Ключарев наспех бросает в рот два орешка. Они солоноваты, хорошо очищены. Ключарев хотел бы еще посидеть, но Никодимов просит:

— Витя, я уже пообещал, что как только ты появишься — приведу. Ну, выручи меня. Не подводи.

Ключарев кивает всей компании, умной и приятной ему, — мол, вернусь. Вдвоем Ключарев и Никодимов идут меж столиков через весь этот погребок-ресторан и выходят, сворачивая в длинный коридор с великолепным мягким освещением. Здесь, как на улице в яркий день, всегда светло. Со вкусом и талантом так сделано, что и не угадать, где источники света. Никодимов идет чуть впереди. Ага. Вот и офис. Ключарев чувствует, что идет он туда, в редакцию, за Никодимовым безо всякого желания; и ведь будет там без желания что-то говорить. Ему это не нужно. В сущности, ему нужна лопата. Обычная лопата. Ну не смешно ли?

Они входят через вертящуюся дверь. «Со мной он», — просто сообщает Никодимов вахтеру, ведя Ключарева вперед.

МЫ БУДЕМ РАДЫ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ. Так они сказали. Круглом стеллажи книг. Девушка за пишущей машинкой. В углу постукивающий телекс, автоматически принимающий сообщения извне. И два человека за письменным столом. Оба — сидящие мужчины. Когда Никодимов и Ключарев входят, оба журналиста встают с вертящихся кресел. Представляются.

А Никодимов называет, кого он привел (пригласил):

— Ключарев.

— Да, да, — оба благосклонно кивают. Заинтересованы.

Говорят — рады, мы вам очень рады, и помните, пожалуйста, помните: любая информация нам интересна. Мы ведь в одной стране, но, спеленатые жизнью, мы от той половины оторваны. Так получилось. Мы ведь страдаем. Та жизнь — это тоже наша жизнь, примите нас

правильно... Ключарев понимает. (Он кивает в знак честного согласия и понимания их.)

Он понимает (и немного досадует: вдруг они предложат деньги. Но им хватает такта. Они же знают, что там, на темнеющих улицах города, деньги мало что значат). Когда Ключарев только вошел, он был для них несомненно лишь деловым моментом — делом. Но вот теперь их лица не могут скрыть растерянности. Они не знают, о чем спросить. Они вдруг (в голосе боль) спрашивают, нет ли на улицах, не валяются ли убитые, не видел ли Ключарев.

— Не видел,— отвечает он.

Разговор иссяк. Ключарев, кивнув им, уходит. Один из них идет за Ключаревым вслед, вдруг торопится и говорит на прощанье, что сам он жил в Мневниках, а первые годы почти в центре, на Таганке,— обе родные улицы и посейчас стоят перед глазами.

Когда Ключарев и довольный визитом Никодимов выходят, сознание Ключарева (до этой минуты совершенно ясное) начинает путаться. Глаза его не умеют найти опору. Вертящаяся на выходе дверь, которую они миновали, все еще вертится и вертится,— дверь становится огромной и теперь вертится медленно, плавно. «Виктор!..» — слышит он вскрик Никодимова, но какой-то далекий вскрик. Он едва не падает. Ухватившийся за косяк дома, он стоит и прощается с Никодимовым. «До свидания, Виктор». «Будь здоров».

Но едва Ключарев сворачивает за угол, как ему снова плохо, и только тут он осознает, что головокружение и что так остро болит рана в боку. «Надо бы в медпункт»,— говорит он самому себе. Аптеки здесь на каждом углу. Где-то близко должен быть пункт первой помощи.

Фонари освещения сделаны под старину — и вовсе не гнутые столбы с головой кобры. Фонарики пригнаны, словно бы прилеплены к стене, провисая старомодными коробочками прекрасных пушкинских времен. Из них льется не давящий на глаз, но достаточно яркий свет (так что лица ярки, надписи ярки, можно читать!). Приятно идти. Коридоры, сверкая, раздаются вширь — уже улица. Стены домов вдоль улицы всюду с легким рисунком, этакая не прерывающаяся фреска, прыгающая со стены на стену. Конечно, есть иногда мальчишьи надписи. Подростки всюду одинаковы и с удовольствием пробуют себя на границе мата и речи. Но творчество их аккуратно стирается, зарисовывается вновь: борьба за пространство... На этом рассуждений Ключарева (отчасти бредовом, но опирающемся на виденную реальность) медицинская сестра делает ему укол.

Врач и сестра занимаются Ключаревым, он лежит, и в глазах его мягкое освещение потолка. Да, освещение здесь — чудо. Радостное (другого слова и не подберешь) отсвечиванье стен, красивые светлые календари, и даже их белые медицинские халаты собирают в себя (помимо обязательной чистоты) частицы этого рассеянного теплого света. Ключарев знает, что он в маленьком пункте, где первая помощь. Но и здесь нет пугающей стерильности. И топчан как тахта: лежи себе. И когда Ключарев выйдет, ну через полчаса или сколько там займет времени, свет не переменится — свет словно пройдет с Ключаревым вместе, превращаясь в мягкую подсветку коридоров, в неущербные фонари улицы, а в том погребке-ресторане, где остались Северьяныч и Таня Еремеева, освещение сомкнется над столиками в желтоватый, добрый свет уюта, который будет вполне гармонировать с теплыми кремовыми скатертями...

Тем временем врач говорит:

— Рана запеклась. Но, разумеется, потом открылась. И был шок от боли. Однако крови вы потеряли немного, так что госпитализация ненадолго...

Они осматривают его уважительно, как осматривают, скажем, известного спортсмена. Вероятно, таков стиль. И конечно, преувеличивают. Но Ключарев уже почувствовал некоторую искусственность их заботы. Говорит спокойно, но им понятно — что вы, доктор, какая госпитализация. Мне надо идти.

Сестра закончила обламывать очередные ампулы.

Врач в завершение постукивает пальцем еще по одной, по красной ампуле. Называет препарат и назначает:

— Три укола в область плеча. Там связка неладна. Застарелое что-то. (Что-то нес тяжелое?..)

Ключарев вспоминает о не сделанных еще своих покупках и — в связи с этим — вновь думает об умелом здесь освещении: удивительны их светильники возле магазинов, яркие, но не настолько, чтобы пригнать прыгающую неоновую надпись. Кроме того, светильники прочного типа направлены откуда-то извне, как удар шпаги, на тот или иной товар, так что товары ты отлично видишь, но опять же товар не отсвечивает, а поглощает свет. (За счет поглощения становится еще, выпуклее.)

Вероятно, после шока это как бред, навязчивая мысль о светильниках. (Первое, что Ключарев увидел, когда открыл глаза, это медсестра и в ее руках ампулы — ампулы отбрасывали свет светильников и горели, вспыхивая, как звездочки.)

Сестра делает укол за укол, в то время как врач, сидя на стуле напротив Ключарева, рассуждает — это удача, что вы упали неподалеку. Разве вы не упали?.. А вы теряли раньше сознание? Нет?.. Значит, болевой шок. Но в общем, чепуха. Не стану вас больше пугать.. И вот тут, не меняя интонации разговора, он как бы само собой разумеющееся спрашивает — ну, как там сейчас наверху? Ключарев отвечает: «Так же, как и раньше». «Конечно, конечно», — говорит доктор. (Принимать насиле за испытание.) И говорит Ключареву — ну-ка встаньте. Ключарев встает. Ключарев видит себя в отсвете стеклянного шкафа, где лежат их стерильные салфетки и бинты. Видит себя сбоку: обработанная рана, как всегда, кажется страшнее, чем на самом деле. Ну и вид. Но чувствует он себя хорошо. Топает показательно ногами. Машет руками. Плечо чуть побаливает. «Нет, нет.. Это у вас что-то со связкой. Старое ваше», — говорит доктор.

Ключарев одевается. Благодарит. Забирает свою рубашку, свою лыжную шапочку с помпоном (знак интеллигента), а также свитер со спинки стула. Бинт на груди сидит плотно, ничуть не мешает. Доктор рассказывает, как важна повязка и как умело сестра Ганя обрабатывает раны, она еще до прихода врача сделала все существенное, такая умная. Уходя скажите и ей доброе слово.

Ключарев выходит из медпункта, ощущая на теле все четыре наклейки, где йодистый пластырь, но к ним, говорят, скоро привыкаешь. Зато сам бинт при движении не чувствуется.

Теперь бы стопку водки.

СТОПКА ВОДКИ. Он вошел туда, где люди выпивали стоя, если люди стоят — значит, будет быстро. Он замечает автомат, ага, полтинник!.. стаканчик уже вставлен. Ждет. И даже в маленьком этом питейном помещении светильники мягки и замечательно запрятаны. Свет и свет, а откуда — неясно. Ключарев бросает полтинник в щель автомата, сосредоточивая взгляд на своей монете, чтобы не промахнуться, и... только теперь замечает светильник! На серебристой грани полтинника отраженно мелькнула лампа — вот она где! С улыбкой угадавшего Ключарев перегибается чуть через разменный прилавок, заглядывает — да, вот и лампа. Так хорошо они ее разместили. Так хитро. Лишь полтинник, как его третий глаз, заметил лампу, — все правильно, глаз не любит, чтобы свет давил на сетчатку. Возможно, и свет не любит давить на глаза. Взаимность. Ключарев в два глотка

выпивает водку и выходит, уже слыша живительную влагу и быстрое пробуждение тела.

ЛОПАТА. Оторванные пуговицы на рубашке не смущают Ключарева, сверху свитер. И вообще он идет в хорошем настроении. Если о внешности, он больше боится за брючный ремень, от спусков через узкий лаз и от протискиваний по лазу вверх ремень постоянно перетирался. Ключарев попросту боится, что брюки однажды упадут, — может, ему и ремень купить, пока он тут? На углу Ключарев видит добротный ресторан, люди там едят и пьют неспешно. Чинно сидят. Умеют. Ага, за рестораном пошли наконец мелкие магазинчики и киоски — то, что ему нужно. Газетный открыт. С конфетами и с напитками — тоже. Магазинчиков полно, и все они открыты, но Ключарев тут покупать не спешит; ремень его пока держится, так что Ключарев сворачивает еще раз налево и выходит к складским помещениям. Склады — в то же время и магазины, правда, покупателей здесь почти нет, люди идут мимо. И то сказать, зачем им так вдруг инструменты?

А инструменты здесь можно приобрести (или просто взять на время за малую мзду) самые разные, любые. Можно даже маленький тракторишко вывести своим ходом — но куда Ключарев с ним денется? (Нет уж, нужна лопата.) Склад одноэтажен, вытянут, пять складских дверей; возле первой двери Ключарев замечает женщину со связкой ключей — хозяйка. Стиль всех складов в мире одинаков: хочу — выдам, хочу — не выдам. Апостол Петр у врат рая. (Дамочка в годах.) Конечно, даст Ключареву лопату, если хорошо просить, но, конечно, ей лень.

Подняв связку на уровень глаз, она бренчит ключами.

— Нет, мой дружок. Уже вечер...

— Но какой замечательный вечер, Ляля! — атакует Ключарев, вспомнив ее имя.

Но, оказывается, вспомнил он плохо и она не Ляля. Нет уж, только атака, и Ключарев, спешно возликовав, объясняет ей, что все-таки она Ляля и что нет никакой тут ошибки, ибо Ляля — имя всякой ласковой женщины, всякой доброй женщины, которая способна быть ласковой и способна понять человека (и выдать ему лопату, не беря за это большой платы).

— Вот как?.. неужели? — Она кокетничает. Облизывает губы, охорашиваясь, и поправляет свой фиолетовый форменный халатик. (Его длиннословие значит мало, но зато много значит ее внутреннее состояние.) Так и есть. Вот она уже говорит, глядя Ключареву прямо в глаза: — А я сегодня выпила как следует. Коньяк. Потом вино...

И смотрит; ля-ля-ля-ля — напевает голосом слабенько, но не фальшиво.

— Лопата нужна.

— Дам, дам тебе лопату. Ля-ля-ля...

Надо бы поладить и убажить. Несколько смутившийся Ключарев краем глаза прикидывает возможности — стара, но там и тут жирок. Еще женственна. Пожалуй, он справится. И уже решившись, он смело подмигивает — ух ты какая!

Она как раз выносит лопату. И ломик. К тому же она, кажется, хочет, чтобы Ключарев добивался ее расположения. (Иначе ей сахар не сладок.)

— И кирку, — просит он.

Щуря глаза и через каждую минуту хмыкая: «Ишь ты!.. Неужели и кирки нет, и как вы, нищие, там живете?» — она выносит и кирку. Запирает дверь. И только мелькнул, оставаясь в глазах Ключарева, такой красивый и такой строгий изнутри склад. Завернутые в пластик ряды инструментов. Чистота. Ряды и пирамиды. Тысячи

банок краски. Но она уже запирает свою дверь, дорожит местом работы. Обнимая, Ключарев ведет ее вдоль других дверей и поглядывает — ну, где тут у тебя тихая комнатка и какие-нибудь мешки? но только не с углем, а?.. — именно такой разговор ей нравится, он угадал, и в ответ она с удовольствием смеется: ишь, наглый. И вдруг делает попытку освободиться: крепко ли ее держат? — рванувшаяся на миг и сразу обмякшая, далее она уже ступает с ним шаг в шаг, и тело слышит тело. Они заходят в самом конце складского помещения в последнюю дверь. И точно — мешки. Ключарев быстро и довольно грубо сделал свое дело, разрядка; но она и тем оказывается очень довольна. «Жаль, ты спешишь...» — немного сетует. И после паузы вновь: «Ты меня так и не узнал», — мол, как женщина она могла бы проявиться побольше, раскрыть себя в любви, не с первого же раза. Сказала, что любит пообщаться с мужчинами и любит играть в карты, в последнее время в покер. Да, научилась. Их всех на складе научил один усатый толстяк. «Ты меня так и не узнал», — повторяет она. Она хозяйка, и Ключарев не спорит. «Дело, Ляля, поправимое, жизнь еще долгая», — заверяет ее Ключарев, торопиться, мол, нам незачем. Но тут же вопреки своим словам встает и самыми энергичными движениями приводит себя и свой внешний вид в порядок.

— Я полежу, — говорит она. Или это он, Ключарев, тихо спрашивает: ты полежишь? — и она в ответ лишь томно ему кивает.

В своем чистом фиолетовом халате она продолжает лежать на мешках, мешки упруги; апостольская лень. Лежит и слушает в тишине себя, свое расслабившееся холеное тело. Она уже и не смотрит на Ключарева. Не нужен. Глаза в потолок. (В то время как Ключарев стоит в дверях, озабоченный тем, как унести все, сгруппировав вместе лопату, ломик, кирку.) Ее жирок приятно ощущим под рукой и отнюдь не растрясен, и если в те минуты она вскрикивала, то не от страсти, а лишь когда Ключарев нечаянно делал ее мякоти больно, проминая своими руками до косточек, — но-но, не делай так больно, щади мой жирок.

Ключарев уходит — до свиданья, Ляля.

— А дверь прикрой. — Она продолжает лежать, смотреть в потолок и на старый, расплзшийся гобелен, изображающий средневековую битву — мешанина рыцарских тел и коней. В минуту близости Ключарев влоборота вдруг углядел там рыцаря, трубящего в рог, но потом потерял. Нагруженный инструментом, он бросает на ткань быстрый взгляд, опуская глаза вплоть до мешков с красивыми печатями и с огромными буквами на боковинах мешков: КУЗЬМИН И ЛЮМБЕКЕ. NO SMOKING. КУЗЬМИН И ЛЮМБЕКЕ. Рыцари, монахи. Такой старый этот гобелен. Лошади скачущие. Лошади упавшие, с задранными копытами. Но трубящего в рог Ключарев не видит.

И всюду — люди, люди. Осторожно ползут по улице сверкающие машины. Навстречу Ключареву молодая пара; смеющаяся, слегка навеселе женщина и пьяненький парень, оба красивые, оба с мороженым в руках, так что Ключареву с его инструментом, который он тяжело держит (а как еще? не через плечо же лопату с ломом?), приходится приостановиться, ибо они, улыбаясь и мало что сообщая, вот так парой и движутся прямо на него. Следом надвигается некая немолодая группа встретившихся друзей: этапность жизни. Идут густо. С ними нанятое цыганское трио, скрипка, гитара и аккордеон, — цыган со скрипкой выскакивает на несколько шагов вперед...

Можно бы и послушать, но Ключарев поторапливается. В погребок-ресторан он входит в боковую дверь, чтобы пройти сразу в задние комнаты. Мимо столиков Ключарев, не задерживаясь, быстро идет по черно-белому в клетку шахматному полу и уже на ходу

подымает глаза кверху — там лаз. На белом потолке видна рваная дыра, все более сужающаяся и темнеющая. (Северьяныч, Таня Еремеева и с ними присоединившийся за это время старенький Иван Николаевич сидят за своим столиком, но Ключарева не видят. Счастливые их лица. Ключарев не станет ни прощаться, ни откланиваться — нет времени. В следующий раз он посидит с ними подольше.)

Ключарев уже в самом углу. Подталкивая, он двигает приспособленную и довольно легкою лестницу, по которой он поднимается к лазу. Лестница напоминает трап самолета, так же и крута, но только, когда подынешься, вместо самолетного люка (из которого обычно нам машут, сняв шляпу, улетающие президенты), — вместо люка черная рваная земляная дыра.

ДЫРА СТАЛА УЖЕ. Ключарев протискивается до самой горловины, вползая и цепко держась. В узком месте он может уже расклататься, удерживаясь за счет трения о землю. Зависнув, он подымает лопату в правой руке, то есть над головой, — движение кистью, и он выбрасывает лопату наружу и даже улавливает слухом, как она там упала, несильно скрежетнув. Затем он спускается вновь на самую верхнюю перекладину лестницы, берет лом, к счастью, нетяжелый, и, протиснувшись до горловины и зависнув, повторяет с ломом все то же самое, но с большими предосторожностями (раскачивая в руке, сильно выталкивает его и тут же после броска прикрывает рукой темя: при плохом броске лом мог бы убить, падая вновь вниз). Когда раскачивал лом, задевал края, и щебень, песок с шорохом сыпались на макушку. Но кирку, конечно, выбросить не удастся, будет цеплять землю. И рука устала.

Привязанная к животу кирка мешает Ключареву, но главная трудность в самой горловине: лаз сузился. Или это сказывается близость к реке, где обычное подмывание из года в год (и из века в век) крутого берега ведет к опережающему подмыв смещению грунта. Или же подземная, и соответственно земная, нестабильность вызвана тектоническими переменами?.. Переживание, не потерявшее остроту. Он, Ключарев, знает лишь то, что с землей все время (и даже каждый час) что-то происходит. Земля — дышит; нас сотрясают процессы, природы которых мы не понимаем; уже ясно, что в тишине не отсидеться, хотя, разумеется, есть научные объяснения, гипотезы, но природа остается природой — тайной. Дыра сужается, вот и все; стискивается, сползается краями — вот и вся простота земного дела. А иногда лаз становится шире. (Тоже бывает. В этом и простота.)

Придавив, кирка продолжает и дальше деформировать тело протискивающегося Ключарева; привязанная у живота, она продирается вместе с ним, острыми забойных концов скребя, чертя борозды по крестнистым округлым стенам лаза. Они приспособляются друг относительно друга — кирка и его живот, и все же Ключарева сдавливает до такой степени, что он думает об отступлении, об обратном пути (можно же вылезти, а затем вытянуть кирку на веревке — веревки, правда, нет, мелькает в сознании склад, на миг старая Ляля с ее жирком, — в конце концов он обойдется без кирки. Дыхание пресекается, Ключарев начинает хватать воздух открытым ртом, сыроватый воздух с песком). Плечи Ключарева обдираются, сужаясь и беря на себя весь перегруз дергающегося движения, которое затем переходит в движение нацеленно вползающее, — так движется червь, так движутся и люди, если они не притворяются. Больно?.. Конечно, больно. Его правая рука все время впереди, как у пловца, плывущего на боку, но левая — у живота, где Ключарев сторожащими движениями смягчает вдруг упершуюся в ребра кирку. Вот когда больно. Ключарев кривится, лицо его, глаза забиты темным песком. Левая рука ищет углы кирки, в то время как телом Ключарев делает

новое усилие протискивания. Плохо, потому что кирка отстала. Вновь левая шарит, ощупывает, пробует подтянуть кирку на уровень,— через боль, покряхтывая, Ключарев вздергивает (тянуть не получилось) кирку повыше и еще повыше и выводит ее даже с некоторым запасом выше мякоти живота; обрывок бинта, которым кирка привязывалась к поясу, давно сбился и, вероятно, смялся в комок. Сантиметр за сантиметром кирка продвигается по Ключареву, ударные острия теперь на уровне груди, на уровне его сосков, но шире. Теперь она еще больше мешает Ключареву, но теперь он не боится ее потерять. Плечи удается свернуть для протискивания, однако острия давят, упираются в предплечья,— но надо же лезть, Ключарев начинает дергаться, он едва не рвет правое предплечье своей же киркой. Взывает к разуму: спокойнее. Ведь уже в горловине, в самой горловине,— и чем дальше, тем легче. Ключарев заставляет себя дышать ритмичнее; заодно он улавливает первые запахи свежего воздуха, воздуха уже оттуда. Неуправляемые судорожные дерганья наконец прекращены. Спокойнее. Теперь Ключарев выносит плечо, правильнее сказать, выпирает свое правое плечо вверх и в обвод острия кирки, делает это настолько, насколько возможно, и только тут в ход идет его левое плечо, повторяя тактику переползающих препятствие червей, которую знает в себе всякий, если опять же он не притворяется. Сколько-то пути (десять сантиметров?.. пятнадцать?) Ключарев продвигается, обдирая кожу, но зато его плечи расходятся и сходятся вновь без той острой боли, и вот таким именно образом (правое выше, левое оттянуто вниз, затем выравнивание), повторяя маневр многократно, Ключарев продвигается уже до уровня, где в лицо ему дышит черная земля: почва еще не перед глазами, но уже дышит эта темная тонкая прослойка, которой кормится все живое. Становится свободнее. Голова может стряхнуть с макушки песок. Еще немного. Безо всякой мысли, однако же это получается вполне осознанно, Ключарев отрывает вдруг кирку от тела и выбрасывает ее, почти выкладывая в броске ее рукой наружу, ибо край рядом. Край земли, если идти изнутри. Когда он вскидывал голову, стряхивая песок и землю с макушки, он видел светлое небо. Но это обычный обман, когда смотришь на небо из дыры. Еще одно усилие рук — и Ключарев вылезает. Вокруг тот же вечер. Смеркает уже.

От слабости его шатает. Он повалился на землю, на зелень травы. Рядом лопата, рядом лом и далее всего выброшенная последним усилием кирка. Он отдышится. Немного. Спазм смирения. Если смотреть вперед, ему видны их пятиэтажки еще хрущевского производства — дома в сумерках вполне различимы,— там в сумерках и его дом, чуть выдвинутый. Если же смотреть налево, свинцово светлеет река.

МЫСЛЬ, В КОТОРУЮ ОН НЕ СЛИШКОМ-ТО ВЕРИТ,— это мысль о пещере. (Которая достаточно близко от пятиэтажек, от своего дома.) Ключарев выбирает место. Отступая, он на несколько шагов спускается вниз. Овраг сходит к реке, это удобно. Овраг — это своеобразный разрез, и копать здесь легче, ибо принцип всякой пещеры прост и состоит в том, что копаешь не вглубь, а вбок. Вгонять лопату удобнее, также и отвал прост, так как земля отбрасывается или ссыпается сама собой вниз, не торчит кротовьей кучей и не мозолит глаза чужому человеку. Да, немного на склоне. Но не слишком вниз. Когда ударят ручьи, чтобы не заливало.

На миг Ключарев осматривается: запоминает место. Бурьян. Две стелющиеся корявые березки, а по склону над ними довольно рослая черемуха. И для совсем цепкой памяти — крапива, уже суховатая на выходе из оврага.

Обозначив глазом тропку, видную только ему, Ключарев принимает бурьян. Здесь. Лопата, дом пока в стороне, зато кирка сразу и

хорошо идет в дело, не зря же лез с ней через всю дыру и едва не вогнал себе под ключицу, когда прижало. Копают. Мысль, в которую Ключарев не слишком-то верит, — мысль-минимум: если не удастся ни с кем объединиться, Ключарев сможет отрыть пещеру для себя и своей семьи на тот случай, если в домах жить станет невозможно. Копают. Сбрасывает свитер, но останавливаться не хочет, дабы не прошел первый запал. Теперь (и все еще не останавливаясь) за лопату — отбитая земля теперь летит вниз комьями и россыпью, после чего Ключарев выравнивает пространство, выбитое по первому разу грубой киркой. Старательно стесывая лопатой углы, он замечает, что результат пока лишь напоминает собой нору и, пожалуй, дыру, в которую Ключарев лез и из которой только что так болезненно и трудно выбирался, — да, он невольно копирует. Что поделать, не столько интуитивное, сколько подинтуитивное, земляное мышление, которое вбирает чужой опыт, даже не доложив своему собственному сознанию, — вот что его ведет. Колея веков. Ползучие движения, как и ободранность (оглаженность) плеч и коленей, усвоены лишь на дальнем стыке с опытом тысячелетий; тех тысячелетий, когда не было еще опыта чужого или опыта своего и был лишь один опыт — сиюминутный. Ключарев устал. Бинт, стягивающий грудь, и зализы пластыря вновь раздражают кожу. Когда протискивался в лаз, бинта не слышал, но после того как помаhal киркой, тело изошло потом. Ладно. До пояса он уже может в свою пещеру войти. Он слышит вдруг звуки. Вот! Внизу слабо булькает ручей, значит, к реке где-то совсем близко спадает чистая водица, родившаяся здесь же, в овраге. Удобно. Не бегать к реке. (Возможно, что у самой реки будет небезопасно, как и в пятиэтажках. Как и на всяком заметном месте.)

Ключарев припрятавает инструмент в кустах. Придет попозже и покопает, еще не ночь.

Надо позвонить Чурсину. (Надо пытаться.) И конечно, Оле Павловой.

Но как позвонить на вымершей улице?.. В телефонной будке трубки попросту нет, ее оторвали и выбросили. Торчит огрызок провода, более ничего. Ключарев идет дальше. Надо пытаться. В следующей вдоль по улице будке телефона-автомата телефонная трубка также оторвана, но она хотя бы видна: трубка валяется под ногами, раздавленная несколькими ударами сапога. Не хватало только столбика пыли. Расплющенная телефонная трубка впечатляет и заставляет поработать воображение (заставляет представить себе гигантское ухо).

Ни души. Одинокий прохожий возник, но и он, увидев другого человека, шмыгает куда-то за угол дома и там ждет. (Ждет, пока Ключарев пройдет.) В окнах домов темно. В некоторых квартирах несомненно живут, но они там забаррикадировались, а чтобы их не выдал свет в окнах, сделали самые плотные шторы. Шторы — наши запоры. Нас нет. Нас никого нет. Нас совсем нет.

Ключарев тем же шагом проходит запертый магазин, проходит разбитую витрину. (Но успевает оглянуться: человек из-за дома выскочил.)

— Послушайте! — торопливо кричит Ключарев.

Тот быстро уходит.

— Послушайте же! Я не собираюсь вас догонять! — кричит Ключарев громче.

Голос Ключарева на пустой улице неожиданно звучен и гремит (для самого Ключарева неожиданно тоже), и человек тем более припускает бегом, сильно вжав голову в плечи, словно Ключарев собирается после окрика взять его на мушку прицела.

Спросить некого. Ключарев один посреди улицы — наконец впереди (дальнозоркость сорокасемилетнего книжника) он высматривает телефон-автомат с трубкой, исправно висящей на своем месте;

он подходит туда, он спешит!.. Но телефон, разумеется, также оказывается неисправным. В ухо сыплются непрерывные частые гудки, по этому телефону уже высказали людям все свои досады, дав вечный отбой.

Сквозь гудки Ключарев, еще не оторвав трубки от уха, умудряется услышать некий скрип: поскрипывание двери. Он оглядывается. Позади телефонной будки виден подъезд дома с распахнутой дверью до предела, и, значит, скрипит не эта зафиксированная жестко дверь, а какая-то дверь внутри. Он идет в подъезд. Так и есть. Одна из квартир на первом этаже открыта, и легкий сквозняк гоняет дверь туда-сюда. Кажется, еще не ограбили. Голос?.. Нет, это включенный телевизор. Диктор, как обычно, сообщает о фактах, которые подтверждают, что обстановка мало-помалу нормализуется.

Вещи на местах. Пустая квартира. Водяные знаки отсутствия. Ключарев ходит по комнатам, на всякий случай не включая свет. Вот и телефон.

И чудо — отменные редкие гудки. Можно звонить.

Оля Павлова заплакала и подтвердила, что Павлов умер. Умер на улице от инфаркта, подробностей пока никаких. Оля всхлипывает, давится слезами. Но может быть, случайная с кем-то стычка? Драка?.. Нет. Она не знает.

— Что Чурсины?

— Ничего... — Оля Павлова говорит, что звонит Чурсиным непрерывно — гудки длинные, телефон работает, но к телефону никто не подходит.

Оля плачет. Она рассказывает, что тело Павлова не знали, куда деть, так что и сегодня тело по-прежнему лежит в 3-м мединституте, и ей страшно — ей тягостно и страшно думать, что студенты станут вдруг делать на нем, мертвом, своей тренаж, опыты, как на всяком неустраиваемом покойнике. «Какой тренаж! какие студенты!..» — кричит Ключарев, пытаюсь ее успокоить. С ума сошла! Кому сейчас нужен труп?! Выражение чудовищно по отношению к мертвому Павлову, но Ключарев не успевает себя поправить. Он спешит. Он спешит рассеять ее тревогу — суть в том, что Оля Павлова беременна. На пятом или на шестом месяце. И надо сбить ее волнение хотя бы нажимом и уверенным криком.

Кричит Ключарев на нее (и для нее) — сам, однако, он не так уверен. Вечером и ночью город отключается, но ведь с утра занятия в институте, возможно, будут.

— Не плачь. Не плачь, Оля... — Ключарев говорит, что придет, что поможет похоронить. Он обещает, он клянется, что придет. — Не плачь.

Сразу же после Оли Павловой он звонит Чурсиным, но трубку не берут. Ключарев помнит, что у Чурсиных есть старенькая дача, и номер телефона помнит. Он звонит и туда, но впустую.

Смерть всегда некстати. (Хотя, по сути, в жизни человека нет ничего более естественного. Всего лишь конец жизни.) Но боже мой, до чего Ключареву не хочется сейчас, в это безвременье, ехать куда-то и хоронить беднягу Павлова, не хочется хлопотать, добиваться, много говорить, тем более в присутствии плачущей Оли Павловой. Ничегошеньки не умеющей сделать, еще и беременной. Второстепенность смерти, он думает об этом. Конечно, Ключарев поедет. Конечно, долг по отношению к умершему проснется и даст Ключареву хорошего пинка под зад, погонит его, заставит, но та минута еще не подошла, а в эту минуту он, Ключарев, не готов, даже растерян, настолько это сейчас некстати, невпопад.

Думает: кому бы еще позвонить? (Если уж под рукой телефон, который не отключен. Но в памяти телефонных номеров больше нет.)

Ключарев оставляет квартиру. Дверь он маскировочно прикрывает, зажав меж дверью и металлической полоской замка плотно

свернутый обрывок газеты. (Дверь открыта, но никому, кроме Ключарева, это не заметно. Ведь он придет еще звонить. Жизнь не кончилась.)

Но вдруг осеняет — дверь была специально оставлена открытой для других, для всех, и ведь он сам потому только и позволил, что дверь была открыта и к тому же скрипела. Разумеется, Ключарев тоже оставляет дверь открытой. (Пусть скрипит.) Он только запомнит номер дома и подъезд.

2

У СЕБЯ ДОМА. Когда Ключарев приходит домой, жена кормит сына — их сын огромный парень, четырнадцать лет, переболевший в детстве и теперь в своем развитии медленно наверстывающий упущенное. Он плохо делает движения руками, особенно мелкие (не умеет застегнуть пуговицу), плохо говорит (каша во рту) — в надежде, что сознание его восстановится, не отказано, надежда есть, но как медленно в таких случаях ползет время! Пока что он — громадный, с кроткими глазами ребенок лет пяти, он на целую голову выше Ключарева, значительно более мощный в торсе и крепкий. Жену Ключарева, то есть свою мать, он превосходит объемом и весом раза в четыре.

— Давай, давай! — Ключарев, едва войдя, поддерживает голосом их важное занятие.

— Даем, — откликается жена; она и сын вместе держат одну громадную ложку. Сын несет ложку в рот самостоятельно, но какого-то малого усилия ему все же недостает, и вот тут-то рука матери, подхватывая ложку в конце спадающей траектории, добавляет необходимую долю усилия, после чего ложка с картофельным пюре прицаливает к вяло жующим губам.

— На-на-нела несть, — произносит он. (Надоело есть.)

Но мать ведет его руку вновь, и он вновь покорно черпает и покорно ест, как это и всегда делают отстающие в развитии дети.

Ключареву она говорит:

— Надо нам все-таки связаться с Чурсиным. И с Павловыми...

— Надо.

— Что ж это мы все так потерялись! — Она продолжает кормить.

Ее боязнь, что Ключаревы останутся в одиночестве, облегчит ему вскоре уход. (Он это отмечает.) Но он не спешит. Бытовая подкладка.

Он не рассказывает жене про смерть Павлова и про необходимость похорон, зато он охотно рассказывает, что нашел место недалеко от дома и от реки и уже начал рыть убежище. Они обговаривали это уже прежде, но теперь жена спрашивает с новой силой, она должна быть убеждена — разве в доме оставаться страшнее? почему?.. Ключарев объясняет: все зависит от обстоятельств, представь себе, что воды нет, света нет, канализации, разумеется, тоже нет — дом уже не дом. А если к тому же в половине квартир никто не живет и там спят пришлые, курят и сводят счета, то часам к четырем ночи замечательная их пятиэтажка непременно вспыхнет и будет гореть довольно долго, потому что пожарная машина (если она даже приедет) не найдет, где накачать воды. Что касается пещеры, то там чудесно, он уже выкопал ее по пояс. Выкопает глубже, нарубит веток, выстелит изнутри — можно и какое-то покрытие придумать. И ведь они переселятся туда с теплыми вещами...

Ключарев бодро болтает: воздействует на ее интонацию своей. Сам тем временем зашел в ванную комнату, снял рубашку, — смочив йодом вату, он как бы с той же неиссякаемой бодростью шлепает ватой по царапинам и краям своей раны, чтобы не воспалилась. Же-

на закончила кормление. Она ставит на электроплитку чайник. Затем она подходит к Ключареву сзади и другим комком ваты — шлеп-шлеп-шлеп — обрабатывает ему спину, где самому рукой не достать. Она оттягивает бинт, смачивает там, под бинтом. Она словно штемпелует большое письмо.

— Дыра, как я вижу по ссадинам, еще сузилась — что только делается с этой дырой?!

— Спроси лучше: что делается с землей?.. Сжимается земля, а не дыра.

Жена не желает вступать в спор. Обрабатывает ему спину. И говорит, призадрав одну из его штанин:

— Смотри, что с ногами!..

Но ноги у Ключарева достаточно грубокожи, пореза там нет, а воспаляющиеся ссадины он в расчет не берет.

Ключарев все еще бодр, взятый тон не дает проговориться про Павлова — да, да, он сейчас же отправится и к Павловым и к Чур-синным. Да, да, друзья есть друзья, общение важно. Но надо поторопиться. Скоро станет темнеть. Вечер, согласно кивает жена.

Они моют сына. Когда раздели, становится особенно заметно, какой сын большой. Огромной белой горой он стоит в ванне и тихонько всхлипывает — боится воды. Вода бежит и бежит с журчаньем. (Хорошо, что она есть.) После тяжелого и осторожного перемещения сына в ванну Ключарев присаживается на край ванны и некоторое время натужно дышит... Жена, взяв мочалку, моет сыну руки. «Правую... А теперь левую. Ну какие мы молодцы!» — теперь они начинают уговаривать, чтобы мальчик присел, не пугайся, я же держу тебя за руку; вода со дна ванны словно бы взлетает кверху, вмиг заполняя объем по самые края — столь много занято его мощным телом. Ему уже не зябко, ему приятно. Его глаза наполняются благодарностью. Он добрый мальчик. Отставание от сверстников не сказалось на его внутреннем мире, а даже просветлило его; но вот эти-то благодарные глаза, взгляд их Ключарев не умеет выдерживать. Мой мальчик, думает он. Он отвернул лицо, а сын той рукой, которой держался, теперь гладит спину отца. Возможно, сын знает, что его голос хрипл и невнятен, и только поэтому он не произносит: «Папа...» — но, касаясь, его ладонь скажет в эту минуту именно это слово и никакое другое. Вполне внятно.

— Теперь ты, — говорит Ключареву жена.

Она выходит. Ключарев моет его пах, половые органы, — он у нас сильный мужчина, несмотря на свои четырнадцать лет, и это вовсе не от гормональных препаратов, которыми его начали кормить лишь год назад. (Растительность повышенная — да, от препаратов.) Добротнo намылив мочалку, Ключарев моет, трет его пядь за пядью, стареющий хлопотун, он любит сына, — мальчик нежно играет резиновым львом, который в воде не тонет, пуская и пуская пузыри. Но вот, булькнув в финале, лев все же тонет. Тогда Дениска берет уточку, от его перемещения в ванне вода едва не выходит из берегов, — сын опасно и лукаво косится на Ключарева, но не из-за колыхнувшейся от неловкого движения воды, а из-за того, что когда-то Ключарев объяснил ему, что уточки — девчачьи игрушки, в то время как его игрушки — лев, слон, лодка.

— Голову сегодня не моем? — кричит Ключарев жене в пространство квартиры.

— Нет..

Смывает мыло с его могучей спины, спускает мыльную воду, затем душем еще раз чистой струей по чистому телу — теперь вставай, мой мальчик. Помогает сыну подняться, тот боится, потому что скользко. «Ну-ну!» — говорит Ключарев, внушая ему голосом уверенность, а грудью и плечом принимая всю тяжесть на себя. Дениска

наваливается огромным весом, но, молодец, пока Ключарев кряхтит, успевает вынести правую опорную ногу из ванны на пол — вот. Первый шаг трудный.

ПО ПУСТЫННОЙ УЛИЦЕ — К АВТОБУСУ № 28, что делать, если весь остальной транспорт не работает и если в их районе ходит единственный автобус. И то спасибо. Маршрут автобуса извилист, искривлен, однако же можно выбраться в другие кварталы города, а дальше, если повезет, пересесть.

Ни души. Ключарев на остановке. Обычно возле остановки люди чертыхались на валявшийся тут собачий кал. Мол, безобразие, не убирают. Теперь асфальтовый пяточок на удивление чист. Поскольку из еды остались консервы да крупы, собачники вывезли своих собак и, как говорят, отпустили всех за городом: мол, живите как сможете. Другие, конечно, уехали в деревню, в какую-нибудь самую далекую, темную. Уехали, если, конечно, у них есть машина и если, конечно, они достали бензин. Бензина нет. Тщета усилий. Машины мертво стоят у домов. Настолько мертво, что хозяйева даже не приглядывают за ними из-за плотно пришторенных окон.

Подошел автобус — пустой. Кроме Ключарева, в автобусе единственный пассажир, старушка, она рассказывает Ключареву все время какой-то вздор — вероятно, от страха. (Хотя Ключарев, войдя через заднюю дверь, сел от нее достаточно далеко, за пять сидений.)

Два дня назад, рассказывает старушка, в автобус входила группа людей и снимала с женщин хорошую обувь. И с мужчин тоже. И все безропотно отдавали, а те обувь заберут и на следующей остановке выходят. Хотя бы тапочки предлагали людям вместо их обуви, как в музеях, острит старушка и оглядывается на Ключарева, чтобы он сказал что-то в ответ, желательного тоже остроумного.

Отважная такая старушка.

— А вот я свои ботиночки не отдала бы, — смеется она негромко.

На остановке автобус замедляет ход, но, не остановившись, вдруг загудел, зарычал, прибавил — и мчит мимо. Ключарев видит в окно троих мужчин, размахивавших руками и показавшихся водителю агрессивными. Водитель решил не рисковать. Автобус мчит по пустым улицам.

Сходит наконец отважная старушка. Ключарев один — от водителя он узнал, что по пути следования они пересекут линии двух курсирующих автобусов (только двух), и теперь он соображает, какой из этих двух лучше, чтобы ему выбраться за город к даче Чурсиных. Автобус летит как пуля. Улицы сплошь из домов с темными печатями окон. Ни огонька.

Ключарев вспоминает глаза своего мальчика. Они так кротки и добры; если к тому же в них вдруг появляется на миг осознание нынешней ситуации (как он ее чувствует? каким тайным знанием?) и вместе с тем осознание своей личной беды, он спрашивает: «Нана, нанему ня наной?» (Папа, почему я такой?) А Ключарев теряется, не может выдержать его взгляда. Мой мальчик. Ему не пролезть ни в какой лаз. Но что будет с сыном, если Ключарев тем или иным случайным образом погибнет? Был же Павлов Сергей Леонидович — и нет больше Павлова Сергея Леонидовича. Глаза моего мальчика — прекрасные глаза. Они никогда не выразят лишнего, житейского. Они полны знанием, которое люди знают, но которое выразить они не могут. (Знанием, как печален и как открыт человек.) Не выдерживая его взгляда, Ключарев обычно отворачивается, но его мальчик успевает заметить. Заметить и понять. Он чуток. Он кладет Ключареву руку на плечо или на спину и, слыша неслышные тихие сотрясения отца, говорит: «Не нана. Не нана...» (Не надо.)

Там, где дачи, Ключарев появляется после того, как еще дважды пересаживается с автобуса на автобус. Движение возможно лишь галсами, зигзагами маршрутов, спасибо, что они есть, — и когда колесный путь кончается, Ключарев, оглядев местность, идет пешком там, где уже пахнет хвоей, сосной. Там, где дачи.

Сначала вдоль мощных заборов, глухих, как стена, — это убежище, пожалуй, надежно, никто и никогда не знает, живешь ты здесь или нет, уехал или таишься. Забор высок, величав, внушает уважение. Но величественное кончается скоро. Уже пошли с обеих сторон дачки пообыкновеннее, с малой землей, со штакетником, просвечивающим далеко насквозь и жалко защищенным сиренью. В одной из плохоньких и явно брошенных дач виден подыхающий пес. Некормленный и забытый, он лежит у своей будки не в силах подняться. Жалость к животному (она еще есть! — удивляется Ключарев) толкает Ключарева войти в калитку, чтобы отвязать его с цепи, но оказалось, подыгавший пес не привязан. Просто он там, где всегда. И если другие голодающие собаки разбежались, этого что-то удерживает, любовь или долг. Глядит на Ключарева спокойным взглядом животного, уже знающего смерть. Поискав в кармане, Ключарев отламывает половину сахара, кладет близко.

У Чурсиных дачка также из плохоньких, из серых, и Ключарев не уверен, нашел бы он ее сейчас в подступающей темноте, если бы не один беденький пейзаж, который вдруг встает перед его глазами. Обыкновенная опушка. Изгиб, поворот дороги. Сосна у поворота. Это и есть опушка Чурсина, поворот дороги, который он не раз показывал Ключареву и говорил, что вот — часть его жизни. Он, Чурсин, может смотреть на этот поворот дороги бесконечно. Он приходит сюда и в дождь. Ключарев не знает, что за тени или какие такие души минувших веков будоражат тут память его друга. Он не знает, что это дает Чурсину, но ему, Ключареву, это тотчас дает сориентироваться в дачной географии. Как план-карта. Через три минуты Ключарев уже возле их дачи. Собаки у них нет. Ключарев гремит их негромким звонком, затем входит, сначала, разумеется, подсунув руку и сбросив щеколду калитки.

Пусто на даче, но запустения нет. Ключарев отмечает, что нет березовых чурбачков, на которых они любили посиживать в былые времена. Но также он замечает, что вьюн вдоль террасы недавно полит водой, земля влажная, — это поливала, конечно, Галка, жена Чурсина. Или их красивые дочки, совершенные красавицы пятнадцати и семнадцати лет, — Галка боится за них невысказанно, вся трясется, и, вероятно, Ключарев очень скоро это особенно хорошо почувствует (Галка не захочет Чурсина с ним отпустить).

Отыскав ключ под половицей, он входит. Пусто. Тихо. Но на столе лист бумаги, где выведено крупно: «ПОМНИШЬ ЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ...» — слова обрываются многоточием, и Ключарев мигом напрыгает память и (какой точный ход!) сразу же вспоминает, как именно прошлым летом Чурсин водил его к своему соседу по даче, водил как бы с визитом вежливости. Бывший детдомовец Чурсин любил подшучивать над своим старичком-соседом, который был совсем уж древних лет, тем не менее побаивался атомной войны — нашел чего побаиваться! — и соорудил бункер, подталкивая себя страхом (а также пользуясь своими былыми связями). В прошлом почетный строитель, старичок сделал бункер просто и остроумно. Огромную цистерну он зарыл в землю, рядом с ней зарыл другую цистерну, в одной вода, в другой — воздух; живи, дыши в обеспеченном тебе объеме. Из соседней цистерны проведена, разумеется, трубка с краном: пей; в воду брошен серебряный оклад с иконы — святая вода желудка не испортит. Тогда они мило посмеивались; старичок тоже.

Теперь же, вдруг воодушевившись чужой, всплывшей на поверхность идеей, Ключарев быстро проходит на соседнюю дачу. Он идет

напрямую — через огород с кустами малины, как ходили прежде и ходят, вероятно, сейчас сами Чурсины. По пути съедает, выхватив из листвы, несколько ягод.

Отыскивает вход. Стучит. Вход в бункер в густом разросшемся малиннике, еще более мощном, чем у ограды. Спуск в несколько ступеней в яму, где из земли выступает голый темный бок цистерны, как бок присыпанного землей динозавра. «Привет!» — говорит Чурсин, открывая скрипящий люк. Ключарев протискивается, дверца люка вырезана прямым куском из тела самой цистерны, после чего посажена на грубовато приваренные штырьки. Зато прочно. Внутри цистерны на маленьком крепком столике горят две свечи. Третью свечу держит в руках одна из дочерей.

— Входи, входи!.. Мы как раз сидим и от скуки рассматриваем старичково богатство.

Объясняют: старичок помер месяца три назад, похоронен. И надо же быть столь недогадливыми: целых два месяца Чурсины сидели в своей хлипкой даче, запираясь на все засовы, задвигая трухлявую входную дверь комодом (да, да, милый, каждую ночь, жена велит, что поделаешь!), пока вдруг не догадались. Ну ясно! Что может быть лучше!.. И вот уже неделю (нет, две, две!) как Чурсины живут днем на даче, а как только сумерки, посмотрят программу «Время» и прямиком через малинник — сюда.

— Но я звонил вам на дачу.

— Мы не берем трубку. В городе разве работает телефон?..

— У меня отключили, а у Павловых работал еще два или три дня.

Свечное слабое освещение дает увидеть вокруг высокие каре киселя в порошке. Пирамиды сгущенного молока. Пакеты риса и сахара.

— Вот тебе и старичок! Мученик идеи! Ах, если бы еще керогаз! или примус!.. не жизнь, а рай! — говорят Чурсины радостно, даже восторженно, и конечно же, они не только показывают свалившиеся на них запасы, но и готовы поделиться — да, да, приходите прямо сюда. Да, да. Если что, будем сидеть здесь вместе, держать осаду!

Ключарев сомневается — Дениска вряд ли сюда пролезет.

— Мы его протиснем, разом возьмем за ноги, за руки — и полный вперед!

Чурсины хорошие люди, особенно когда они в энтузиазме, — более того, они из тех чудесных людей, кто готов поделиться, даже когда сам наступит бедой. Однако Ключарев знает, что в этой замечательной цистерне для слишком многих станет нечем дышать. Что касается Дениски, один раз его, возможно, и протолкнут, ободрав ему кожу, а в другой и в третий раз? а как Дениска втиснется, если ему придется на время остаться одному? А если все побегут, куда побежит он?.. Мой мальчик. Он сядет в том малиннике и никуда более не двинется. Будет сидеть, рассматривать листики.

Галка Чурсина спрашивает Ключарева о его жене, они подруги; ты, Ключарев, запрети ей выходить на улицу — это опасно, да и есть ли хоть что-то сейчас в магазинах?.. Чурсин в эту самую минуту с энтузиазмом рисует Ключареву закрытое ведро, он придумал, как его сделать. Надо иметь одно-два закрытых ведра. Ну, типа лейки, только с отрезанным носом. Опять забота: лейку достать, примус достать. Все трое (включая Ключарева) возбуждены, говорят чуть не разом; красивая дочка молча их слушает. Вторая красавица дочь и вовсе стоит поодаль, все так же со свечой в руках — как мадонна. Рядом с ней освещенные колеблемым светом ряды банок сгущенного молока.

Ключарев говорит — да, заботы; но для нас есть еще одна забота — надо хоронить Павлова.

После этого они молча сидят долгую печальную минуту. Павлов их друг.

Мало-помалу разговор сам собой катится к уже предвиденной Ключаревым ссоре. Это понятно: Галка не хочет отпускать мужа, не

хочет отпустить своего Чурсина, такого энергичного и находчивого интеллигента с детдомовским прошлым. Ей без него страшно. (Ей и двум подрастающим дочерям без него не жить.) А ведь Павлов умер и его уже не спасти.

— Я уверена, что Павлова похоронят. И Оле непременно сообщат, где он похоронен, — ничего случайного в таких делах не бывает. Люди везде люди...

Оля беременна. Оля сейчас одна — вот довод Ключарева.

Но зачем? тем более зачем ей сейчас появляться на темных улицах?

— Но Галя! Возможно, Павлова надо забирать. Он валяется в морге какой-то приинститутской больницы. Кому он нужен, подобранный на улице?

— Значит, его похоронят, если уж подобрали! Как раз в этих учрежденьях люди работают во все времена и при всяких переменах.

Ссора. Только дочь молчит, смотрит на свечи, горящие на маленьком столике; подперла щеку рукой. Вторая дочь со свечой все еще в глубине комнаты-цистерны.

Чурсин нервно объясняет жене — керогаз, мол, нужен, термос нужен, их надо достать, а чтобы достать, Чурсину все равно надо уйти с дачи и поехать в город.

— Мы с тобой и трех часов здесь не проживем, если не обеспечим себя керогазом или примусом загодя! — кричит он жене.

И... подмигивает Ключареву.

Ключарев понял, он прощается. Он извиняется, что принес в их дом столько шуму, и просит Галку его простить — такое сейчас время. До свидания. Он передаст привет жене и Денису. Спасибо.

Он уходит, а Чурсин его нагоняет (он ведь должен Ключарева пропроводить!). Едва они вышли за малинник, Чурсин бранит себя: он увлекся спором и забыл, что с женщинами не спорят, а немножко их обманывают и отвлекают. Да, да, обманывают чуть и чуть отвлекают.

Кстати сказать, разумные лидеры именно так поступают с непокойным народом. (Этим камешком Чурсин бросает в верха: в отличие от Ключарева он не верит в лидеров, в их помощников и высших чиновников, в весь этот пульсирующий рой, слепо кружащий над нами.) Не столько обмануть, сколько отвлечь, вот как надо, — через полчаса Чурсин еще раз поговорит с женой и убедит. И непременно ее убедит. Уверен? Абсолютно. Так что самое большее через час-два я освобожусь — и встречаемся мы с тобой прямо у Оли Павловой.

Они идут мимо дач; за весь долгий путь ни души. Люди затаились. Чурсин показывает дачу некоего Веретенина-Воронина, ограбленную уже трижды, — унесли посуду, унесли даже одеяла. Хозяева давно куда-то слиняли.

— Считается, что первыми начнут грабить тех, кто на дачах. Таково мнение народа, — уважительно сообщает Чурсин. — Вот там маталические засовы. А там пудовый замок, кто как может!.. Но вот если пройти по тому проулку, ты увидишь заборы, обтянутые колючей проволокой. Ей-ей. Страх — двигатель регресса. Однажды среди ночи я слышал, как опробовали старый пулемет. Не шучу! Да ей-богу! Я тоже сначала подумал, что «калашников» брешет, однако прислушался, не-еет — подстукивает самый настоящий пулемет. Разгадка проста: среди наших дач есть дача музейного работника, из музея гражданской войны, разумеется, он и принес. Украл, разумеется. Почему бы и нет, если наш истопник в котельной — мужик рукастый и умелый и починить «максим» ему никакого труда и никаких расходов. Если же «максим» починить, штука надежнейшая. У тебя нет знакомых в музеях?

Шутит, но и не шутит, — таков Чурсин. Энергично объясняет, размахивая рукой. Вот так же приободряет Чурсин свою пугливую жену и своих молчаливых красавиц дочерей. Стараются добыть керогаз. При-

бывает доски к забору. Хлопочет с незащищенной своей дачей, хлопочет с бункером. (Как и спохватившийся Ключарев со своей пещерой.)

Они прощаются, после чего Ключарев идет по дороге, выводящей на автобусный маршрут. А Чурсин сворачивает на левую просеку. Чурсин говорит, что этим путем ему возвращаться ближе.

Но Ключарев догадывается, почему выбрана левая просека. Таким образом Чурсин пройдет мимо той опушки. И мимо того поворота дороги, где сосна. И постоит там минуту. Обретение пространства.

АВТОМАТЫ С ГАЗИРОВАННОЙ ВОДОЙ, они самые. Но сначала Ключарев на пустынной улице у витрины магазина видит пугливого вора. Боязнь вора — это как раз естественно, но надвигающаяся ночь несет, вероятно, некий общий страх, и Ключарев сознает, что в этом чувстве он с вором един, совпадает. Витрина темна (гладь ее как гладь темной воды), и стоящий там вор словно прилип. Вор не виден. Он, кажется, пытался взрезать витрину и проникнуть в магазин, — Ключарев вдруг видит, как тот стоит на коленках, прикладывая к стеклу линейку, и камешком, вероятно эрзац-алмазом, пытается отрезать угол стекла.

Он похож на старательного ученика со своей линейкой. Тихий скрежет. Ключарев догадывается, что это вор, только когда оказывается в шаге от него и когда тот, схватив свою линейку, срывается с места и скрывается за углом. Страх ночного вора?.. Ключарев слышит удаляющиеся шаги, словно вор бежит на тонких-тонких ножках — такие вот ломкие звуки, — и с внезапной ясностью Ключарев понимает, совместившись, что и этот вор, и он, оба они боятся толпы. Этим переболеть. Опережающим слухом (опережающим знанием) Ключарев слышит не существующий пока топот тысяч ног на улице, **ш р а х - ш р а х - ш р а х - ш р а х!**..

Темнеет. На улице ни единой машины, ни автобуса и, конечно, **безлюдье** — Ключарев пересекает гладь улицы напрямик. Никаких правил перехода, он идет, чтобы сразу и круче свернуть в переулок, и вот тут, на повороте, натывается на автоматы с газированной водой. Ключарев больно ударился о край одного из них. (Единственный горящий фонарь стоит далеко в стороне, у подземного перехода.) Ушибся. Узнал. Волна узанной (но не выпитой) газировки ударяет ему в небо. Слюна обжигает небо, горло, душу. Глаза слезятся. Забытое удовольствие торопит Ключарева найти в карманах монетку. Нашел. Бросает в щель. Не работает. Другой автомат. Не работает. Но Ключарев все упорствует, бросает. Нет. Нет... но вот зашипел, смотри-ка, срабатывает. И поскольку никаких, конечно, стаканов, Ключарев торопливо подставляет ладони ковшом, набирает пузырящейся долгожданной жидкости, пьет, прижав. И когда вода кончается (так скоро!), мокрыми ладонями **отирает** лицо.

Когда улица пуста до самого горизонта, человека, тем более **несколько**, замечаешь мгновенно: на другой стороне Строительной улицы, не на тротуаре, а несколько в глубине меж двух зданий, Ключарев видит мужчин, которые насилуют женщину, поставив ее на колени. Двое держат, справа и слева. Третий стоит прямо перед ней и, расстегнув брюки, сует ей в лицо, в рот. Все молча, все как в немом фильме, с некоторой даже медлительностью, и все совершенно понятно в этой притихшей полутьме.

Героического желания метнуться к ним через улицу в Ключарева не возникает, нет также желания, вступившись за нее, получить ножом под ребро, ибо в известном смысле это их час, это их время — такова полутьма. Однако срабатывает инстинкт (или это осознанное чувство?) не дать хотя бы ее убить. Ключарев пересекает улицу и, надвигаясь на них, кричит: «Эй! твари!..» — голос Ключарева **угрожающ**, но идет Ключарев к ним, конечно, медленно. Да, спуг-

нуть. И в этом смысле опыт с тем магазинным вором — свежий опыт. «Эй! твар-ри!» — второго его рыкающего крика хватает, ибо тут они туда-сюда оглядываются, бросают ее и скрываются, бегут двое, потом и последний. Ключарев подошел. Она уже поднялась с колен, идет, она молодая, Ключарев идет с ней рядом и выговаривает ей с укором, нельзя же, мол, в такой час выходить на улицу, разве она не знает. Старейший человек в шапочке с помпоном; правда, шапочку он потерял. «Да ничто,— говорит она хриловато.— Ничто».

Молодая. Им по пути — по этой пустынной улице. Прокашлявшись, она рассказывает Ключареву своим простоватым, неожиданно певучим голосом: «Садист. Никак кончить не мог. Это он нарочно. Хотел, чтобы я захлебнулась.— И тут она добавляет, как бы не желая на людей наговаривать лишнего: — А те двое ничего. Нормальные».

Она жалуется ему, как ужасно без кино, без развлечений. Да уж, не золотой век, соглашается Ключарев. Там, где Строительная улица пересекается с улицей Жебрунёва, где стоят без пользы и без смысла мигающие, меняющие цвета светофоры, там Ключареву поворачивать. Оба приостановились, прежде чем разойтись. «Если по-человечески, если нормально, то я слотну... Хочешь?» — спрашивает она. Ключарев отвечает, что он торопится, и ощупывает голову, где же его шапочка с помпоном.

— Я тоже тороплюсь. Автобуса нет, пешком прошла уже три километра, если не четыре.

Держится она неплохо. Молодая. Прежде чем расстаться, говорит Ключареву, что вообще-то она улицы не боится. «Но боюсь, что люди вдруг набегут. Набегут и затопчут. Прямо вижу, как тыщи и тыщи бегут по улицам...» — она тоже боится толпы.

ЗИГЗАГИ АВТОБУСОВ. Но в том и незаметность, что лишние километры расстояния неощутимы и не в тягость, если ты сидишь внутри автобуса и если в пути автобус зажег все огни, в салоне светло. Еще не ночь, еще вполне видно. Но возможно, что водитель при огнях чувствует себя смелее.

В автобусе Ключарев один.

Зато в следующем автобусе, в который Ключарев пересаживается, в салоне, кроме него, робкая семейная пара,— Ключарев слышит, как они шепчутся и как она вдруг произносит слово: «Милиция...» — показывая мужу за окно и голосом внушая ему (или себе) чуточку спокойствия. Ключарев тоже видит — на пустой улице стоят двое постовых. Оба при дубинках. Оба при пистолетах в кобуре, которая по правилам этих дней висит не на боку, а прямо на животе, под рукой. Один, конечно, с рацией.

Зигзаги автобусов таковы, что ехать к Оле Павловой неизвестным путем Ключарев не решается (зигзаги могут вынести и выбросить совсем на другую окраину города), и потому знакомым уже маршрутом он сначала возвращается в район, где его дом. А уж дальше он двинется на ощупь, от печки.

Когда Ключарев идет вдоль реки, в том месте, где он начал копать пещеру, его настораживают чужие звуки. Он было прошагал мимо, но ведь сам выбирал столь запрытанное место. Слышать Ключарев ничего не слышит (там замерли раньше), но он словно бы отмечает за двумя корявыми березами мелькнувшую вспышку. Именно там. Беспokoйство за пещеру (и за инструмент) тотчас толкает его вперед и в бой. «Кто там?» — спрашивает Ключарев грозно, стоя поверху. Отвага человека в шапочке с помпончиком. Голос его нацелен в овраг, на спуск, и вот оттуда слышится вздох и такой знакомый Ключареву голос: «Виктор? Ты?... Боже мой, как я напугалась», — ее голос.

ЖЕНА. Пока Ключарев спускается к черемухе и к корявым березкам, вновь вспыхивает фонарик; их домашний обслуживающий

фонарик; укрепив его на ветке куста при призрачном свете (батарейка уже еле дышит), жена Ключарева занималась тем, что в одиночку продолжала работу мужа. Копала.

«Денис спит»,— говорит она, оправдываясь, и, чтобы Ключарев ее не бранил, уверяет его, что она вышла из дому на пять минут и что сейчас (сейчас же! клянусь тебе!) собирается вернуться домой. Нервы на пределе. Чтобы не обругать ее сгоряча, Ключарев заставляет себя заняться осмотром пещеры-самоделки. Смотрит. Пещера углубилась, жена стоит в ней уже по самые плечи. Копает она здесь не менее получаса. «Углублять не следует,— говорит он, все еще стараясь не вспылить (ему страшен ее приход сюда в одиночку, животный страх, хватающий за кишки),— копай теперь вширь. Чтобы был объем».

«Как?» — она не понимает. «Для объема надо копать в сторону». — «В какую?» — «В какую хочешь. Это все равно. Но не вглубь»,— дает немного еще ей покопать, отбирает лопату. Осматривает теперь изнутри. Пасть пещеры расширять более не стоит. Пещера должна быть как кувшин. Вход узкий — а дальше уже только вширь. Сначала киркой Ключарев работает как забойщик, отворачивая ком за комом. Земля довольно суха, осыпается с хорошим сухим шорохом. Жене ни слова. Он бьет киркой, пока отбитой, осыпавшейся земли не становится ему по колено, так что Ключарев не в состоянии сместить собственный центр тяжести, и при каждом следующем ударе тело его заносит. Он едва не падает. Стоп. Высвободил ноги. Набитую киркой землю он руками, точнее сказать, ладонями, распятив их, как бы бульдозером, всей горой сдвигает к зеву пещеры, земля пахнет корнями, жуками, иногда попадающийся кремень царапнет руку. Вылез.

Стараясь на скосе ступать осторожно — ага, уже луна,— он перенацеливает луч фонарика себе под ноги, укрепив его на той же качающейся ветке куста. Лопатой Ключарев сбрасывает землю в обрыв, не заботясь о тишине и отчетливо слыша, как комья влетают, вонзаются шумно в кусты (его исходящая озленность) и, распадаясь, летят с шорохом дальше. Жена все это время ощущает свою вину.

— Не сердись,— произносит она наконец.

Он молчит.

— Не сердись... Я пойду. Как бы Денис не проснулся...

Молчит.

Она виновато начинает карабкаться наверх, падает, пискнув как птица, и кое-как ухватывается за ветки. Взбирается. Надо бы и еще помолчать — чем суровее Ключарев будет сейчас, тем глубже в нее вживется чувство вины за этот случай, и тем вернее, что больше она сюда без Ключарева в темный час не придет. Ведь безумие!.. Но Ключарева не хватает. Конечно, если уж ты роешь пещеру, то в отношении ты должен сам стать отчасти пещерным и деспотичным, ибо иначе ни тебе, ни твоей мягкосердечной семье не уцелеть и не выжить. (Но, видно, Ключарева еще недостает на это. Он еще только на полпути.) Ключарев спешит к жене, помогая ей выбраться из оврага. Наверху он говорит ей: «Извини. Одну минуту»,— спускается опять вниз, скоро припрятывает инструмент, забирает фонарик. Он нагоняет ее. Отдает ей фонарик. Даже суетно не сумел отругать, помпончик на шапочке. Впрочем, наверху светлее, чем в овраге, и они оба радуются тому, как хорошо и далеко видно, вплоть до их пятиэтажек. Еще не ночь! Ключарев рассказывает жене, что был у Чурсиных, передает привет от Галки, рассказывает также про умершего их старичка-соседа (помнишь его?!) и про оставшийся от него и занятый теперь ими бункер.

— Теперь я поеду к Павловым,— размышляет вслух Ключарев.— А уж от них вернусь домой.

— Но уже темнеет.

Она произносит слова с тем легким укором, с легчайшим, который посторонний человек не ощутил бы никак, но Ключарев, конечно, слышит и доволен, ибо ее упрек уже вводит их обоих в обычные от-

ношения друг к другу, — в отношения, когда он виноват, а она права. «Слава богу», — думает Ключарев. Ожила.

Она продолжает говорить: воду не отключили, но горячей воды больше нет, мы Дениса вовремя вымыли. Пшено кончилось. Телефон?.. Нет, не работает.

Ключарев не провожает ее, но он, конечно, видит, как она подымается к пятиэтажкам.

Ключарев идет вдоль реки. Не выпуская жену из поля зрения, он садится, чтобы снять ботинки и высыпать из них набившуюся землю (иначе ему не дойти даже до автобуса). Сняв носки, вытряхивает из них песок. Сидит с босыми ногами. Он вдруг видит, что сел он рядом с лазом. Он едва не вскрикивает: лаз совсем сузился! Земля стянулась, кусты, что у самой дыры, торчат теперь с наклоном градусов в тридцать, почти полегли вдоль земли, так сильно сдвинуло их подземным смещением относительно их корней. Сдвиг не сказался на дереве черемухи, но по кустам и даже по пучкам травы все видно, как по стрелкам приборов.

Ключарев не собирался туда сейчас, но мысль, что он отрезан от тех людей навсегда, толкает его к дыре.

Ногами вниз (как обычно) лезть безопаснее, но так теперь далеко не пролезешь; ноги слепы. Ключарев нервничает, решает рискнуть: он вползает головой вниз. Прилив крови неприятен. (И опасен.) Но зато Ключарев может ощупывать землю впереди себя рукой, может втискивать и изгибать отсыревшее тело, используя на все сто процентов опыт ползущих, генетическую память всякого гнущегося позвоночного столба. Притираясь щекой и выискивая рукой, так Ключарев и ползет — на ощупь. Вот оно. Как стиснулась горловина лаза! Нет, не пролезть... Вероятно, Ключарев сможет лишь немного втиснуть туда голову, так как смещение пласта привело в этом узком месте уже не к изогнутости, а к излому лаза, и не может же Ключарев и точно ползти как червь; у человека тело прямое. Но голову он втискивает. Через шум крови в висках и в ушах он различает теперь слабый гул погребка, звуки застолья и мало-помалу голоса. Но уже ясно, что если он продвинется еще немного, то скорее всего погибнет, потому что не сумеет выбраться назад. Стоп. Не шевелись. Но его заложенных ушей уже достигают слова, слова волнуют, дают высокий настрой духа: в высокие слова. Затем Ключарев расслышит пение сдвинувшихся за столом, милого голоса звуки любимые, перебор гитары, и спор о духовности, и чей-то неожиданно живой, хотя и отрезвляюще терпкий, густой басок: «Да, да, Виталик... всем еще по сто грамм! Не поленись, милый!» — отчего Ключарева не только не корбит, но обдает теплом, любовью и стремительным человеческим желанием быть с ними, быть там. Ну-ну, успокаивает он себя, мол, не прислушивайся слишком и не огорчайся, не надо.

Дыра сомкнулась, лаз стиснулся до невозможности, и Ключарев старается не думать о том, как огромна его потеря. Не застолье и даже не мыслящих людей в том застолье теряет он, но саму мысль — ход мысли. Разумеется, никто из говоривших там не знает и не может сейчас ничего знать до конца, но все они (и Ключарев с ними) пытаются, и их общая попытка — их спасение. Хотя бы попытка! Нет-нет. Нечего об этом и думать. Иначе погибнешь. Который век перебирают высокие слова. Который век рождают их или хотя бы припоминают уже прежде рожденные, отчего и дается почувствовать всякому (и полюбить по нашей слабости). Что же еще, если не тот укол высоких слов, напоминает, что он и она (и ты с ними) не просто ползущие или вползающие существа? Что он и она (и ты тоже) не умрут, — что же еще?.. Высокое небо потолков над столиками, где сидят и говорят. Нет, нет, Ключарев не станет об этом думать. Высокие слова, без которых ему не жить. (И без которых не жить его жене. И без которых

не жить Денису, ибо даже не понимающий слов человек понимает, что слова есть; и живет пониманием. И Чурсиным не прожить. И той девке, что хотела слотнуть там, возле бессмысленного и мерно мигающего светофора. Мы — это слова. Даже если только проходим си-нюшной тенью мимо друг друга, мы успеваем их передать один другому — тем и живем.)

Стараясь не думать и гоня мысли прочь, Ключарев уже выкараб-кивается обратно, когда вдруг испытывает то, чего не испытывал ни-когда в жизни: ощущение стискивающейся земли. В области живота перехватывает его как петель, и Ключарев понимает, что еще один малейший сдвиг — и он погибнет. Так просто, думает он. Вот оно как. Но испуг подхлестнул. Левой рукой, которую он все время дер-жит вдоль тела именно на случай заднего хода (напоминая и тут плов-ца, плывущего на боку, плывущего в земле), — этой самой левой рукой он судорожно хватается за выступы земли. Изю всех сил пружиня жи-вотом, прессом, он одновременно выталкивает свои ороговевшие ноги назад, вверх по лазу. Он дергается, он бьется, выталкивая себя пуль-сирующими движениями кверху. Ноги уже в воздухе. Ноги над зем-лей. Последнее пружинящее усилие вверх, и ноги его падают своим весом, тело Ключарева вытаскивает самое себя и (в последнюю оче-редь) голову. Ключарев сидит и плюется землей. Протирает глаза, полные песку. И дышит, дышит.

Все вместе длилось, вероятно, совсем недолго. Во всяком случае, прочистив глаза, Ключарев видит свою жену, которая продолжает по-дыматься по сизо-серой асфальтовой тропе. Она уже подошла к пяти-этажкам. Возможно, меж домами темно, и потому жена включает там фонарик, — Ключарев видит скошенный эллипс светового пятна у ее ног на темной дороге.

Жена уже возле второй пятиэтажки. (Он полез бы туда, прополз, протиснулся, ободрав щеку и окровавив ухо, а земля сдвинулась бы не до того, как он полез, а после, и Ключарев остался бы там отрезан-ный и отделенный от темнеющей этой улицы, где идет сейчас жена, и где Денис, такой огромный и добрый, и где мертвый Павлов, и где на темных улицах не купить ни гвоздя, ни батарейки.)

Ключарев наклоняется и кричит в сомкнувшийся лаз: «Эй!.. Э-эй!.. Э-эй!» — это уже ярость, уже бессмыслие, но и яростный его крик не доходит. Ни звука в ответ. (Вот и вся от него информация. — не-сколько камешков да песок, ссыпавшийся, когда Ключарев пытался туда протиснуться. Официант подмел, даже не ругнувшись.) Жена Ключарева уже возле дома. Световое пятно ее фонарика погасло; ве-роятно, вблизи дома она экономит последнее дыхание батарейки. Но возможно, батарейка сама сомлела, иссякла. Сколько Ключарев ви-дел, жена шла не оглянувшись: обдумывала. Больше она одна не вый-дет на улицу. Не уйдет из квартиры. (Денис, если он проснулся и если никого рядом нет, — плачет; простая душа, он открывает на ули-цу окно и зовет плачущим голосом: «Мама! Мама!..» — подарок для любителей наживы и поживы. Пустая, вымершая улица. И плач ребен-ка — чего же прощел!)

3

ДВЕРЬ ИНЖЕНЕРА ПАВЛОВА. Вот она. Ключарев знал про дверь еще от Павлова, когда тот был жив. В одну из своих тихих минут, на самом острове страха, Павлов придумал эту дверь — так просто и так гениально (но проще ли той пещеры, гениальнее ли?..). Ключарев замечает вязь металлических полосок, и на них, как точки, пропускающие отверстия — своеобразные поры двери, которые выделяют из себя маленькие дозы смерти. Маленькие, но достаточные. (Так долж-ны думать люди толпы. Дырочки — для них.) Дверь через свои ме-таллические поры дышит смертью, ибо сзади, за дверью, находится небольшая, но опять же достаточная рентгеновская «пушка». О чем

и сообщает крупная над дверью надпись, мол, никаких тайн, мужики, и никаких иллюзий. ЗА ДВЕРЬЮ «ПУШКА», ДВЕ СЕКУНДЫ ВОЗЛЕ ДВЕРИ — 2000 РЕНТГЕН, ЧЕТЫРЕ СЕКУНДЫ — 4000 РЕНТГЕН. И никаких иных слов инженер Павлов более не оставил, полагая, что надпись и без пояснений прочтется понятно и свежо теми людьми, кто вздумает выламывать дверь (сколько бы ни были они профессионалы и быстры и храбры от выпитого).

Кнопку звонка Ключарев нажал, секунды идут — так что сейчас Оля Павлова уже подошла, посмотрела в глазок и думает: убить Ключарева рычажком-выключателем или, узнав его, просто открыть ему дверь?.. Она открывает дверь, вся заплаканная, с красным от слез носом. «Проходи. Как ты долго!..» — и точно, Чурсин уже здесь, Чурсин сидит за столом, раскинув перед собой карту города, и жирным карандашом помечает маршруты автобусов, что еще ходят.

Оля торопит сразу же — только давайте не медлить, не медлить, смотрите, как быстро темнеет!.. Но сама же подает им по чашке чаю. Она в фартуке. Живот стоит горой — шесть, но, может, и семь-восемь месяцев?

За чаем спор: Чурсин, добравшийся сюда своим путем, уверяет, что 42-й автобус ходит укороченно и до 291-го автобуса не добраться. Он предлагает пройти два квартала в сторону, до кинотеатра, но зато сразу сесть на 295-й, и тот почти прямехонько повезет их к мединституту. Ключарев возражает: кинотеатр давно пустует, и, стало быть, автобус, тем более такого растянутого маршрута, как 295-й, может спрямить путь и не проезжать мимо кинотеатра — что мы будем тогда там делать?..

— И все же он там проезжает,— уверен Чурсин.

— Ну, смотри.

Чурсин уверен. Чурсин в старой кепке, надвинутой на лоб. Кепку он надевает, когда готов вступить в борьбу без правил. (В борьбе за выживание кепка взывает к его запасным внутренним силам, к былому детдомовству. У него действительно меняется облик, стиль поведения, даже речь.)

Оля Павлова переоделась; они выходят. Оля собрала сумку — она кладет в нее белые простыни. «Могут пригодиться»,— говорит она негромко (видно, повторяя чужого опыта умудренную фразу) и громко всхлипывает. То есть простыни понадобятся, чтобы там его завернуть, или зачем еще?.. Чтобы отвлечь ее мысли от белых простынь, Ключарев задает вопрос — Оля, а где же агрегат? «пушка» где?.. (Разумеется, он понимал, что никакой «пушки» нет. Но хотя бы ярко испыхивающее устройство. Чтоб за дверью через дырочки что-то струилось.)

— Павлов сделать не успел.

— Но я не вижу и начала.

Они стоят минуту у дверей, прежде чем выйти (тут никакого даже намека на устройство). Искрой укальзывает Ключарева мысль, что Павлов ничего и не делал. Насмешливый ум. Веселый и лукавый. Иногда впадал в пафос, мол, никогда и никакой лаз его не заманит надолго, и как бы ни сложилось, Павлов останется на этих улицах, когда начнет темнеть. И остался.

АВТОБУС 295-Й, он подходит, и в салоне его уже плещется свет — еще не ночь, но, конечно, автобус уже едет с огнями. В автобусе десяток милиционеров, их везут, чтобы расставить по точкам. На каждой третьей остановке сколько-то милиционеров выходит. Обычно двое. Парой. По одному их уж давно нигде не расставляют — слишком легкая добыча.

Оля Павлова рассказывает про мужа. Позвонили не ей, а позвонили на АТС, энергопитание которой кончалось: станцию уже консервировали. Блоки отключались с минуты на минуту, и лишь с конт-

рольного аппарата Оле Павловой перезвонили, прокричали в трубку, что ее Павлов упал прямо на улице. Инфаркт. Его подобрала люди мединститута, у них есть морг, все это ей прокричали наспех, глотая слово за словом, и за то им спасибо, великое спасибо... Оля плачет: ведь мединститутские люди поднимают на улице бездомных для чего? — да только чтобы потрошить...

— Ну-ну! — обрывают ее Ключарев и Чурсин. Успокаивают: — Прекрати плакать...

Мотор натужно гудит; автобус идет на подъем — значит, они уже за 1-м микрорайоном.

На остановке входит в автобус крепкий, хладнокровного типа мужичок. Он в новеньком ватнике, в коротких сапогах (так и думается, что за сапогом у него нож. Таких и боится милиция, охота за милицейскими пистолетами идет каждый вечер). Сильный мужчина лет тридцати пяти. С лентой выискивающие жертву светлые серые глаза. Сидит гоняет желваки. Скрываемая улыбка. Он выходит на одной из остановок, сходит в полутьму, как к себе домой. Его время.

Остановки не объявляются, водитель молчит.

Чтобы ориентироваться и прочесть название остановки на табличках, Ключарев смотрит в окно не отрываясь. Еще можно прочесть. В полутьме мелькают опустевшие детские площадки, давно без детей. Пустые качели, успокаивающее присутствие. Тянутся долгие-долгие витрины магазинов с мелькнувшей крупной надписью: «ТОВАРОВ НЕТ. ПРОСЬБА НЕ БИТЬ ОКНА», — но окна, конечно, разбиты. Зияют дыры от камней с далеко расходящимися трещинами. Один полукирпич так и застрял в стекле (первое пробито, во втором застрял), исчерпав свою полетную силу, засел, торчит в стекле, и двухметровые трещины расходятся от него, как лучи от солнца.

Они трое только и остались в автобусе.

Автобус внезапно тормозит на одной из остановок, так что они дергаются головами вперед, а Оля Павлова при этом опасливо хватается за живот.

Автобус стал. Двери открылись. Конец пути — это понятно и без слов, однако маршрут автобуса кончается не на этой остановке, и потому, уже сойдя, все трое подходят к кабине водителя попытать удачи. «Нам дальше ехать», — напирает Чурсин, но водитель только мотает головой — нет, не еду. Нет, он дальше не едет. Чурсин не отстает:

— Но ведь она беременная! Не видишь?..

— Ясно, что беременная! — кричит водитель с вдруг вспыхнувшей злобой на интеллигентов, которые были и есть виноваты. — Ясно и ежу, что беременная! Если б не живот, вы бы с ней давно в свои дыры улезли! попрыгались бы!

Социальная ярость, как всегда, груба, но ведь она только и претендует на грубую, приблизительную точность попадания. Вероятно, он прислушивался к их разговорам, и поскольку не матюкались, не говорили о примусах и жратве, то было ясно, что они и довели страну до ручки. Погубили! (Если не продали.)

Но водителя тоже можно было понять (Ключарев немедленно это отмечает, спешит простить), ибо как раз за той небольшой площадью, которую водитель автобуса не решился переехать, начинались темные, глухие и заведомо опасные улицы, с малым числом домов и недостроенными корпусами мединститута.

— Ну, и езжай, мать твою!.. — кричит Чурсин, еще пять минут назад так надевавшийся на свою кепку. (Считал, что она его опрощает и чуть ли не делает из него работягу.)

Стоят.

Автобус медленно разворачивается. На какую-то минуту кабина водителя, вычерчивающая круг, оказывается против них. Водитель, притормозив, кричит, что он на те глухие улицы уже съездил и с него

хватит! — вчера ездил! — там в темноте его тотчас окружили мужики и забрали бензин. Прямо с бензобаком. К тому же отобрали ужин, который дала ему с собой жена. Отобрали последние две сигареты. Забрали поясной ремень. А какая-то сука велел снять ему ботинки, но увидев, что ботинки плохонькие, просто нассал в них, — такой вот умный, мать его!..

Водитель все это выкрикивает под рычанье своего разворачивающегося автобуса, под выстрелы выхлопной трубы.

— Езжай, езжай, вонючка! Жаль, тебе на башку не нассали! — кричит Чурсин ему прямо в лицо, не прощая и не снисходя. Социальная ярость, если уж она выходит на поверхность, делает всех взаимно проще и взаимно злее.

Оба продолжают орать друг на друга под рев мотора, наконец автобус трогается в обратный путь.

Перекресток пуст.

Довольно долго идут в тишине. Оля Павлова держится за руку Чурсина, уж очень здесь пусто и тихо. Сумку несет Ключарев.

В совершеннейшей тишине откуда-то издали, но именно с той стороны, куда они идут, возникает в воздухе шероховато плывущий звук. Этот звук ни с чем не сравним (хотя и принято сравнивать его со звуком набегающих волн, но схожести мало; натяжка на образ). Звук особый. Звуки ударные и звуки втягивания, сливающиеся в единый скрежет и шорох, вполне узнаваемый всяким человеческим ухом издалека: толпа.

Шарканье тысяч ног с каждой минутой приближается; но все еще кажется происходящим где-то поодаль, тем неожиданнее это тысячное шарканье и гул вдруг материализуются в большую группу людей. «Боже мой!» — вскрикивает Оля Павлова. Людской поток возник сразу. Люди идут, торопятся, но и поспешая они движутся тесно, плечо к плечу. Поток пока невелик, но что за ним дальше?

Ключарев, Чурсин и Оля остановились, смотрят — людской поток возник из-за дома, притом огибает дом так плотно, что угол и стены, вероятно, уже вытерты плечами до кирпича. Почему по закону стопорящегося движения толпа желала поворачивать тут, а не там? — неизвестно. Вырвавшиеся, выскочившие из пробки люди отделяются от общей круговерти и — с относительной свободой — тут же устремляются почти бегом (спешка, подбадривающие крики! топот ног по асфальту!). Через головы бегущих виден теперь еще один людской поток. За ним — третий.

— Потоки мы пересечем, но после столкнемся сразу со всей толпой. Они будут давить все подряд! Не выбраться нам, — говорит Ключарев.

Чурсин отшвыривает окурок, сплевывает.

— Но иначе мы вообще не пройдем.

— А если дворами?

Спорить времени нет — надо на что-то решаться. Оба смотрят на Олю Павлову, словно это она может решить или хотя бы дать им знак на решение. Но Оля, конечно, ни слова не произносит, глаза ее в растерянности остекленели.

Они идут в обход. Дома глухи. Дворы тоже — пусты детские качели, пусты натянутые веревки для белья. Пусты скамейки для старушек, что у подъезда. И откуда-то выскакивают, проносятся мимо две собаки. «Пшли! Пшли!» — кричит Чурсин, а Оля Павлова в страхе жметя к Ключареву. Остановились. Сложив руки рупором, Чурсин звывает к окнам домов: «Э-эй!» — после чего тянется долгая-долгая минута. В одном из темных окон возникает лепешка лица, слышится совет через форточку:

— Не пройдет тут. Возьмите еще левее. И идите до самой стены!

Дома с мертвыми глазницами окон тянутся без конца, бесконечны пустые дворы, но как только в междомье Чурсин, Ключарев и Оля оказываются на сквозняке, сразу же слышно то же тысяченое шарканье по асфальту и смутный гул (все же не рев) толпы. Стихающий на миг топот обманчив. Чтобы опередить этот надвигающийся гул, они еще больше огибают дворы, но появляется линия прилепившихся друг к другу гаражей, она опасна, она может нарочь отрывать, и тогда как идти?.. Дворы... Детские площадки. Песочница, брошенные детские совки. А гаражи все тянутся (один гараж со взломанной дверью, машины, конечно, нет). Вдруг объявляется пьяный мужичок. Маленький, худой, он идет за ними и ноет: «Тто-ттто-варищи. Нни... нне... бросайте меня...»

Ключарев и Чурсин не говорят ни да ни нет.

Пьяный тащится сзади, бормочет о потерянном лотерейном билете, о том, что только что его сбил автобус и даже, кажется, переехал, так что теперь «все внутренности стали вытянуты».

— Не ной,— строго бросает ему Чурсин.

Подошли к каменному высокому забору, за ним должна быть площадь, которую надо успеть пройти прежде толпы. У забора пьяндыга начинает ныть с особой силой, цепляется, мешает, лезет к ним, боится, что его здесь навсегда бросят. Времени нет. До такой степени он осточертевает своим нытьем, что Чурсин и Ключарев подсаживают первым его и помогают перевалиться по ту сторону, взгромоздив его на забор, как куль.

Но главное — Оля. Ключарев отыскал доску, приставил к забору: доска коротковата, угол подъема велик, Оля подымается по доске, опираясь на руки Чурсина, сам Чурсин остается на земле. Руки Чурсина не достают и слабеют, доска тяжелеет с каждым ее шагом, но к этой минуте Ключарев уже сидит на каменном заборе верхом и тянет руки к ней сверху, ну... ну, еще немного. Дотягивается и перехватывает Олю, помогает ей сесть на кромку забора. Ключарев мокр, он обливается потом, помогая Оле медленно спуститься, удерживая ее за обе руки. «Только не плюхаться. Не падать. Терпи. Опущу тебя почти до земли»,— повторяет Ключарев, еще немного — и его пресс лопнет от натуги. Но уже Чурсин перелез забор, прыгнул и принимает весь живой вес Оли и ее живота на руки.

— Скорее! — поторапливает Ключарев.

С высоты забора, прежде чем прыгнуть, Ключарев видит дальше, чем видят они: впереди лежит площадь — огромная толпа заливает ее, но верх площади еще чист, пуст, надо успеть.

Топот тысяч и тысяч ног заполняет, забивает уши, — все трое вместе устремились к незанятому пространству, необходимо достичь хотя бы середины площади (чтобы их выгалкивало, но уже на ту сторону). На них набегают. Столкновения нет, так как первые люди бегут довольно редко, меж ними прогалы, и насколько Ключарев, Чурсин и Оля стараются уклониться, настолько и бегущие стараются с ними не сталкиваться, не сшибаться. Эти прогалы, пустоты толпы дают возможность сохранять свое движение и тогда, когда уже начались неминуемые толчки тел о тело. «Не могу!» — говорит Оля Павлова. И оступившись, вдруг садится, обхватив руками живот и тяжело дыша. «С ума сошла!» — кричит Чурсин, ухватывая ее за руку.

Она вопит:

— Не могу-уу!

Ключарев и Чурсин, наклонившись над ней, тянут за руки, просят, уговаривают ее хотя бы подняться. Их оббегают, на них наскакивают, сшибают с ног. Толпа густеет, их начинает сминать, тащить — Оля Павлова все же кое-как поднялась, непрерывные удары локтей, подталкиванье, пиханье. Лицо в лицо жаркое дыхание людей. Затмело. Вокруг головы, плечи, пиджаки. Ключарев и оберегаемая Оля

стоят обнявшись. Оба уже срослись, слиплись в одно, но продвижению это не помогает.

— Чурсин! Чурсин!— зовет Ключарев.

Но того уже оторвало от них: не видно. Рев и гул вокруг. Толпа густа, но еще густеет, сдавливает. «Не дергайся. Держись за меня. Держись за меня»,— уговаривает Ключарев Олю, чуть что и подталкивая ее в возникающий впереди небольшой прогал (думает— достигли середины? или нет?). Оля дышит ему в лицо, в шею. Она молодец. Кажется, они все-таки на той стороне, и Ключарев решает больше не пробиваться, отчасти подчиниться толпе. Сразу становится легче. Их сдавливает, стискивает, определенно несет вперед и в сторону, вынося по какой-то почти ощутимо плавной кривой. Держащиеся вместе, они делают шажок-два в прогал, потом снова подчиняются потоку, и, подхватывая их как щепу, толпа несет, как несет река. Через головы и кепки Ключарев уже видит ту сторону площади: дома на той стороне помалу приближаются, словно Ключарева с Олей и впрямь выбрасывает медленным течением на отмель берега.

Лица толпы жестки, угрюмы. Монолита нет— внутри себя толпа разная, и все же это толпа, с ее непредсказуемой готовностью, с ее повышенной внушаемостью. Лица вдруг белы от гнева, от злобы, задеревеневшие кулаки наготове и тычки кулаком свирепы, прямо в глаз. Люди теснимы, и они же— теснят. Стычки поминутны, но все их стычки отступают перед их главным: перед некоей их общей усредненностью, которой не перед кем держать ответ, кроме как перед самой собой, прежде чем растоптать всякого, кто не плечом к плечу. К счастью, движение Ключарева и Оли растворено в движении толпы, неприметно: в сущности, скрыто. Их несет толпа. Они ее частица. Олю знобит. Зубы ее лихорадочно стучат от пережитого страха. «На всю жизнь. На всю жизнь...»— повторяет Оля Павлова, мол, запомнила и не забудет.

В какую-то минуту, вытянув шею, Ключарев видит Чурсина: тот не может выбраться из коловорота, образовавшегося у фонарного столба. Пытаясь вырваться, Чурсин делает отчаянные усилия, но едва он, работая локтями, отбивается в сторону, как его тут же волочет с общей массой назад. Волочет с такой силой, что он вынужден вновь хвататься за фонарный столб. «Чурси-ииин!»— кричит Ключарев, но тот не слышит. Еще миг Ключарев видит его лицо, мокрое от усилий, от мышечной работы, его кепку, а затем Ключарева и Олю сносит дальше, Чурсина отрывает от фонаря, и лицо его с надвинутой кепкой исчезает, унесенное толпой.

Они уже определились, Оля Павлова и Ключарев,— вся толща толпы позади, их нет-нет и подталкивает, но уже несильными пульсирующими толчками. Можно сказать, что они шагают рядом.

Они на той стороне, возле одного из домов. Ждут. Ноги у Ключарева мокры под брюками, будто бы нижняя половина его тела была в бане, более жаркой, чем голова и грудь. Он уже сориентировался. Показывает Оле пальцем на корпуса мединститута: «Вот там...»— а мимо них все идет толпа. Толпа напирает. Ключарев и Оля жмутся в спасительный проулок, а толпа, густея, давит вперед. «А-ааа. Уу-ууу...»— катится окрест многоголосое, многоногое и ничем не сдерживаемое, если не считать застывших справа и слева каменных тел зданий. Появляется, слава богу, Чурсин. Он без кепки, растерянное лицо человека, которому помогло чудо, а не бывшее его детдомовство. А толпа все катит за валом вал.

Они вновь идут вместе, все трое— идут проулком по печальной своей необходимости, все прибавляя шагу и все более (после рева толпы) погружаясь в ту самую тишину, что так их пугала.

Улицы вновь пусты. Небо темнеет. Сумерки.

Они отыскивают нужный им корпус (отсюда позвонили на АТС, а те перезвонили Оле),— пускают их здесь только до перегорожки,

за которой сидит человек с оружием, как бы вахтер. Они долго объясняют через перегородку, кто они и зачем пришли. «Семеньч!..» — человек кричит некоего Семеньча, зычно кричит в пустоту здания, и появляется невысокий мужичонка в ватнике, с огромными ржавыми ключами на стальном кольце. «А-а. Здравствуйте», — довольно просто (и довольно человечно) говорит Семеньч и машет им рукой, пошли, мол, после чего они без помех идут за ним к моргу. К маленькому домику на отшибе.

С самого начала их похода Ключарев понимал, что никуда они этим вечером тело Павлова, конечно, не повезут (на чем? и куда?..) и что надо похоронить здесь же. И потому, ища подходы и контакт, Ключарев говорит о том о сем с Семеньчем, говорит простецки и душевно, а Семеньч тоже простецки нет-нет и выпаливает вместо ответа: «Х-ха!» — шагают они рядом. Сзади идущую Олю Павлову захлестнули слезы, слышится короткий ее вскрик, рыдание. Но с ней Чурсин, обнимает ее за плечо, успокаивает.

Меднолицый, брэнча связкой ключей, Семеньч выносит Оле бумагу, где она расписывается. Но внутрь они ее, конечно, не пускают. Входит внутрь Чурсин, за ним Ключарев — Семеньч включил свет, показывает, — быстро заворачивают они своего насмешливого Павлова, лежащего на переднем столе, в одну из простынь. Павлов во льду, весь ледяной; в брюках, в рубашке, в пиджаке, и галстук, как и при жизни, насмешливо отброшен в сторону. Завернув в первую, они кладут его на вторую простыню и, крепко держа за углы, Чурсин спереди, Ключарев сзади, — выносят. Оля стоит, обхватив лицо руками.

Далее все быстро. Семеньч еще раз спрашивает, нет ли у них машины (машину, если она и есть, в сумерки паркуют тихо, стоит себе меж других машин, словно бы также безбензинная и брошенная). Но машины и точно нет. Тогда Семеньч говорит про разрушенную церквуху на задниках второго институтского корпуса. Там есть ряд старых могил. Третьего дня он, Семеньч, самолично похоронил там одного парнишку, затоптанного толпой.

Конечно, старую церквуху могут снести, построят следом дом, и Оля окажется без могилы мужа. Но ничего лучшего нет. Поэтому Ключарев молчит (ни слова Оле), молчит и Чурсин. Семеньч вызывается их проводить. Извлек откуда-то старые больничные носилки, чтобы легче нести. Сменяя то одного из них, то другого, он помогает нести в очередь. Он замечателен, этот Семеньч, последний профессионал, честно выполняющий свое дело. Ключарев несет сзади, а Семеньч впереди, невысокого роста, в старом ватнике, с седой головой.

Церковь порушена, еще и осквернена остаточным хламом, был склад, но больше и под склад не захотели использовать, — при появлении людей вороны дружно взлетают, одна из них, взлетевшая, покачивается на высоком штыре, что вместо креста. Семеньч, отыскав в кустах лопату, говорит, что копать будет он, ведь он это сделает лучше. Но и они, сменяя его, копают. Яма быстро углубляется; сначала зев ямы похож на лаз, на дыру, затем на какое-то время яма делается емкой и обещает стать пещерой, но затем мертвенная форма прямых углов овладевает земляным пространством, и яма становится тем, чем и хочет сейчас быть: могилкой. Пещера их Павлова, он ее получил, земля ему пухом. Оля припала к холодному телу; целовала, высвободив, голову. Это конец. Они опускают его без гроба, в простыне. Засыпали. И стоят рядом, отдельно от него, когда уже над ним их скорый холм.

Семеньч, тряся ключами, провожает их и все говорит Оле, что «для приметы» он посадит тут «отменный шиповник», пересадит к могиле уже живой, большой куст, — Семеньч, расставаясь, делается

слишком говорлив, из него продолжает исходить доброта, которой, как ему кажется, он не успел вполне окружить их при недолгом общении.

Проводив Олю, они еще какое-то время стоят у подъезда ее дома — сама Оля, Чурсин и Ключарев. Мужчины говорят друг другу, что надо держаться вместе. Чурсин уверяет, что бункер его старичка-соседа прекрасно вместит всех и что при опасности пусть каждый немедленно приходит к нему, а Ключарев в свою очередь сообщает, что роет пещеру, место отличное и хорошо спрятанное, рядом ручей, вода прозрачна... Так они зовут друг друга, но исподволь проступает уже знакомое ощущение расставания. Потому что вместе — опаснее. И хотя они искренни и говорят, да, да, да, держаться вместе, быть вместе, искать вместе, с каждой минутой проступает, что хорошие слова — лишь надежда, и что еще минута, и они разойдутся. Смолкли. По причинам, не зависящим от их движений души, Чурсин надеется на бункер, Ключарев на пещеру, а Оля Павлова на свою пугающую дверь с объявленной за ней «пушкой». Грустное чувство. Кажется парадоксом, тем не менее природа призывает их сейчас не объединиться, чтобы выжить, а напротив — быть порознь, затаиться в своих щелях, сделаться меньше и незаметнее, ибо именно у распылившихся, у ставших как пылинки, более шансов выжить и уцелеть.

Оля Павлова стоит отрешенная. (Она еще там, у могилы.)

Ее спрашивают:

— Как твои роды? Сестра приедет?..

Оля кивает — да, сестра обещала, старшая сестра приедет ко времени и поможет. Это важно. Жена Ключарева и жена Чурсина, конечно, тоже помогут. Но как общаться? Как узнать, если ни телефона, ни почты?.. Время от времени хотя бы перекинуться словом, ну, скажем, там, где автобус № 28 делает круг. Этот круг (более или менее!) недалек от всех них. Да, да, если что-то рухнет или что-то случается особо важное, то у автобуса № 28...

ТЕМНЕЕТ БЫСТРО, но еще не ночь. Возможно, темнота кажется большей чем есть из-за того, что, когда Ключарев идет совершенно пустой улицей, среди тысячи темных окон два окна вдруг вспыхивают и словно выстреливают в глаза Ключареву (случайно в чьей-то квартире зажгли и тут же, спохватившись, погасили). Невольно вбравший в себя вспышку, как это бывает в полутьме, он на время слепнет. Идет как в ночи.

До такой степени глаза еще не видят, что Ключарев натывается на человека. Ключарев тут же отшатывается в сторону, но и человек отбегает: он тоже не видел Ключарева, потому что, присев, как раз рылся в карманах кого-то, лежащего сейчас на асфальте, вероятно, мертвецки пьяного. Человек отбежал. Но видя, что Ключарев прошел мимо, человек тотчас возвращается к своей жертве.

— Иди, иди! — кричит он, осмелев, хриплым голосом вслед Ключареву.

Садится на лежащего и выворачивает ему один за другим пиджачные карманы. Покончив с пиджаком, лезет в брюки. Отбрасывает из добычи что-то в сторону, что-то счастливо прячет себе. Пьяный не подает признаков жизни. Возможно, мертвый.

Ключарев один, больше никаких встреч. Сумерки. Пустынная улица и негромкий звук его собственных шагов.

ЛАЗ НЕМНОГО РАСШИРИЛСЯ. Это видно. Каждый раз, уже сев в дыру ноги, готовый спускаться, Ключарев, сидя на краю, выбрасывает предварительно все из карманов, чтобы не пораниться при

протискивании: авторучку, ключи от квартиры, кошелек; Ключарев перекладывает добро в небольшой мешочек-пакет, привязывает его к ноге, за лодыжку, так что пакет висит на ноге и неощутимо опускается сам собой в лаз прежде Ключарева все ниже и ниже. Но все острые камни в пакет не спрячешь, не застрахуешься. При дерганьях тела (а они обязательны) Ключарев уже не втискивается, а ввинчивается, сначала коленями и задом, а затем плечами делая круговые движения, при этом шумно дыша, а то и вскрикивая, если вдруг больно. Кремень, камешек (всего-то с орех) отрывается от грунта, попадает меж узкой горловиной и ребрами Ключарева — и вот уже нестерпимая боль. Теперь главное не задергаться и не сбить дыхание, иначе в страхе начинаешь инстинктивно выкарабкиваться наверх, как утопающий, и весь труд зря: отдышался — спускайся снова. Поджатой левой рукой Ключарев пытается кремень ухватить. Нельзя упустить минуту: камешек, прорвав кожу, может на чуть войти в рану, тогда хоть погибай. Руки шарят. Ключарев в то же время выдыхает из легких весь воздух насколько может, с тем чтобы на миг освободившийся камень собственным весом сполз пониже. Камень либо сам упадет вниз (так в этот раз и случается), либо поджатая левая рука Ключарева сумеет стронувшийся камень выискать и прихватить в пальцы. Вот сколь важно дыхание. Весь сжимаясь, Ключарев еще раз выдыхает из легких, — и камень летит вниз. Больше того, за камнем следом, со все еще поджатыми легкими, и сам Ключарев рывком ввинчивается вниз чуть ли не на полметра. В боку боль, камень успел продрать бинт и поранить кожу, зато и Ключарев уже преодолел узкое место горловины.

Теперь Ключарев старается быть толще, упирается локтями, так как лаз широк и ноги не чувствуют земли — ноги висят. Еще усилие, и протиснувшийся Ключарев уже весь зависает в воздухе. Он висит над свободным пространством, напширивая ногами верхнюю перекладину лестницы-трапа. Ни правая, ни левая нога ничего не находят (Ключареву бы хоть чуть опустить голову, чтобы видеть). В потолке, к счастью, из самой дыры торчит кусок арматуры, Ключарев, заскользив, ухватывается за него руками. Теперь он висит надежнее. И видит. Внизу — застолье, шум и гам, как всегда. Лестницу-трап с несущим ее столбом передвинули в сторону, так как для посетителей понадобилось поставить несколько дополнительных столиков.

— Эй! — окликает Ключарев. (Но не слишком громко; ему кажется неловко и не слишком-то интеллигентно прерывать занятых едой и беседой людей.) Так и есть. Они поставили столики, пьют, спорят, а лестницу-трап попросту сдвинули, забыли. Два новых столика. Они почти под висящим Ключаревым. — Эй! Э-эээй!

Можно разбиться. На миг высвободив одну руку, Ключарев наскреб пальцами сколько-то камешков вместе с землей и бросил вниз, метя не на стол, конечно, но в крайнего из сидящих мужчин. Мимо. Еще раз — теперь Ключарев выбрал камешки, землю отсеял меж пальцев и пригоршней камней запускает в крупного мужика с поднятой в руке стопкой водки. Попал. Тот недоуменно глядит направо-налево, наконец подымает глаза.

— Ого! — вскрикивает он. — Смотрите!..

Затем его дама, затем и другие люди за столиками галдят и указывают друг другу на Ключарева, прилипшего к потолку. Мужчина отставил водку и кусок рыбы на вилке, встал, к нему подбежал официант в помощь — вдвоем они подкатывают столб с лестницей-трапом. Столб не дается, тяжел, так что еще два интеллигентных бородача бросаются помочь. Пьяненькие, щедрые, улыбающиеся Ключареву в его всях, они оттолкнули официанта, мол, занимайся своим прямым делом, слабак, — и дружно, мощно катят столб, подкатили, с разгона едва не ударив Ключарева верхней ступенькой стремянки по ногам. Подошвы обрели опору. Ключарев спускается, на каждой пе-

рекладине слыша мелкую дрожь ног. Диафрагма после долгого всеячего напряжения никак не успокоится, дергается. В придачу одолела икота. Но уже обступили, хлопают его по плечам и ведут за тот, или за тот, или даже за третий столик — к нам! к нам! — и чтобы сбить его малозстетичную икоту, Ключареву наливают нарзану и пепси, но кто-то кричит, что это ошибка, коньяк, коньяк вернее всего! Ключарев еще не различает их лиц.

— Ты же голоден! поешь!.. сегодня отличная вырезка, поешь! — говорят ему со всех сторон, суют тарелку, стопку, и Ключарев пьет и жует, приходя помалу в себя.

Возобновляется их разговор (о Достоевском, о нежелании счастья, основанного на несчастье других, хотя бы и малом, — известный зачин), и уже через две минуты душа Ключарева прикипает к их высоким словам. Они говорят. Сферы духа привычно смыкаются над столиком, и Ключарев, онемевший (мертвый?) на тех пустынных улицах, где активен лишь вор, сидящий верхом на жертве и роющийся в ее карманах, — онемевший Ключарев слышит присутствие Слова. Как рыба, вновь попавшая в воду, он оживает: за этим и спукался.

Замечательно освещение; Ключарев с удовольствием вглядывается в лица. В полутьме улиц он привык довольствоваться слабым пятнышком лица, смазанным очерком скул и потому сейчас почти невнятно вбирает богатство всякого человеческого лица, все равно — мужского, женского.

Высокие слова отступили. Общение не может быть высоким беспрерывно; так же как нельзя всю ночь смотреть на звезды. Душа расправилась, затрепетала, вздохнула — и того довольно. Механизм всякого разговора таков, что за кратким всплеском духа идет простой треп, бытовщина и ирония над ней, жуется долгая жвачка обмена информацией, и только вдалеке маячит вновь всплеск духа, быть может, мощный или, быть может, минутный, краткий, как разряд, но ради него, минутного, и длится подчас подготавливающее нас человеческое общение.

Вера в то, что мы вместе (и там, на темных улицах, и здесь, за столиком), и вера в то, что это вместе уже изначально заложено в нашей сущности, — что это? почему это?.. Говорит Георгий Н., молодой, в нем пляшет нетерпение; Ключарев его знает мало. Георгий Н. переводит общее внимание на Ключарева; спрашивает:

— Но электричество есть?.. Не ходите же вы там в полной тьме?

Что ему ответить? как выразить стометровое отстояние одинокого фонаря на дальнем подземном переходе пустой улицы?.. Отвечая, Ключарев машинально теребит рубашку и, как оказывается, отрывает ее, прихваченную запекшейся кровью, — движение за движением, по сантиметру Ключарев отдирает рубашку от тела (это не больно, и это с пользой, потому что не дает рубашке присохнуть к ранкам). Георгий Н. вдруг заходится кашлем (тоже своя боль), и когда кашель стих и Георгий отнял платок ото рта, Ключарев успевает заметить в платке сгустки крови. Кровь не телом, а горлом. Много света, но маловато кислорода. Георгий Н. наскоро бросил платок в большой солидный портфель, спрятал, вынудив на подмену другой. И как ни в чем не бывало сидит, оглаживая платком свои молодые усы.

— Надо бы еще выпить. Сергей, закажи официанту еще по сто.

— А закуски?

— И закуски тоже.

И снова включается в их разговор:

— Позволь, Сергей, тебе возразить...

Незнакомый Ключареву мужчина с красным шейным платком начинает новый безупречный накат слов — впрочем, без страсти. Дух оставил говорящих на время; но говорящие поддерживают хотя бы

уровень своих слов. (Дабы духу было куда вернуться,— угли, которые раздует, быть может, ветер.)

— ...И если беда, то беда эта — общая. Давайте взглянем хоть однажды на слово «общая» с дурной, с отрицательной его стороны. Что нас пугает? Нас теперь то и пугает, что мы общи и повязаны общностью — стрясись голод, уличные беспорядки, погромы и убийства прямо на улице, толпа-обезумевает вся целиком. Это — охватит всех нас, вот общность. Мы не верим ни в милицию, ни в войска, ни даже в танки на улицах, потому что милиция, войска, танки сами точь-в-точь такие, как мы. Они непременно запоздают. Они стопроцентно запоздают, потому что они и толпа — одно общее...

Ему (несколько ворчливо) возражает пожилой мужчина. Говорит, что мрачность — тоже наша нынешняя общая черта, не поддадимся же ей.

Женщина (она до этого молчала) вдруг сворачивает в историю:

— Но связана ли с нынешней общностью русская крестьянская община? я имею в виду — коллективистское мышление общины?

Хочется приопустить разговор в глубь веков, в старинные заводы и дубравы отшумевших и не столь болезненных обобщений. Отход в древность поддерживает огонь в углях. Мысль перестраивается, нетнет и вспархивая из залежей истории с прихваченным оттуда квантом старой энергии. Дух так и оплодотворяется более всего — хаосом различных мнений.

Ключарев встает. Он отдышался, «глотнул», теперь он может продолжать жить — может вспомнить конкретные мелкие заботы: чай, батарейки купить, керогаз, что там еще?.. Поскольку он уходит, они хотят выпить за его здоровье. (И если он уже встал, они подымутся и выпьют стоя.)

Молодой Георгий Н., не давая остыть теме, торопится сказать:

— Мы, как пчелы, повязаны ройностью. И как пчелы, мы погибнем все сразу, если погибнем. Где бы мы при этом ни находились (вверху или внизу — все равно!). Еще минуту. Я рад, что мы пьем стоя. Мы словно в полете. Как гибнет рой, вы знаете? — пчелы все разом взлетают, взмывают, последний воздушный дриблинг, полет, а потом все разом они валятся на землю, на траву лапками кверху, и — отвернитесь! — некрасивое последнее содроганье...

ПОКУПКИ. Поразительно это обилие света! Светильники теряют подчас уличную симметрию и обрушиваются на его зрение гроздьями, огненным водопадом, игрой огня, — еще немного, и Ключарев почувствует, как в воздухе пахнет хвоей, разлапистой елкой, детством.

Магазины, расцвеченные в час распродажи. (Зазыванье ведь тоже игра из детства.) Магазины набиты товаром. Что хотите. И как хотите. Ломятся от добра. Продавцы, правда, надменны и слишком сыты. Когда покупателей немного (а покупателей почти нет), продавец должен быть по европейским, скажем, образцам покладистым, если не любезным, — но ведь тут, кажется, не Европа и даже не эмиграция. Продавец помогает Ключареву выбрать малоемкий керогаз, но едва Ключарев заплатил, швыряет ему для упаковки (завернешь сам! руки не обломатся!) пакет с яркой надписью его лавчонки. Пакет не долетает до Ключарева. Продавец уже отвернулся, уткнувшись в газету.

Ключареву нужна ткань, обычная грубая серятина для выстилки той пещеры, что он копает на спуске к реке. В соседней лавке продавец много любезнее — зазывает, приглашает войти. Его магазинчик сверкает изнутри еще более, чем снаружи. Неоновые стрелы рекламы многоцветны и упираются каждая в свою ткань: ткани великолепны, яркие и привлекательны, но Ключареву нужно совсем иное. «А мы вам скатаем ткань в рулон. Удобно нести, как удилще. Как смотанную удочку!» — шутливо предлагает продавец, взгляд его цепок, умен. Быть может, он видит через свитер Ключарева рельеф бинта, обтя-

нувшего его ободранное туловище (и ведь «удобно нести» как раз и означает — вытянуть в лаз, вытолкнуть в дыру, удобство узости). Ключарев (он и не делает из покупок секрета) объясняет, что цвет нужен серый; если не темный, то, во всяком случае, сдержанный цвет, чтобы не привлекать внимания ни издали, ни даже если всунуть внутрь пещеры любопытную голову. Если же краски, то пусть дождь, и пужухие до черноты листья, и мокрый грязный снег будут вашим краскам в тон.

— Нет,— мотает головой продавец.

И повторяет, понимая Ключарева, но не умея ему помочь:

— Нет.

И кричит уходящему Ключареву уже вслед — вы нигде не найдете, разве что бросовое на складах?!.. И ведь нетрудно вытоптать! вы и не заметите, как вытопчете ткань после первого же дождя!

Кто-то трогает Ключарева за плечо. Извините. На одну лишь минуту... Это продавец из лавки, но не тот, с умным взглядом, а первый, хамоватый, у которого Ключарев купил маленький керогаз и батарейки. Вероятно, все эти десять минут ключаревский керогаз («Самый маленький. И желательно узкой формы...») медленно доплывал до его ленивого сознания — и доплыл.

— Послушайте,— продавец понижает голос до шепота.— Послушайте. Вы будете выбираться наверх?

Ключарев кивнул.

— У меня просьба. Не откажите... Позвоните по этому телефону.—

Он дает (дарит) Ключареву еще одну батарейку для фонарика, на корпусе ее четко написаны семь телефонных цифр.— Скажите им: привет от Валентина Андреевича. Валентин Андреевич — это я. Да, только привет. Я больше ничего не прошу. Только три этих слова. Мол, жив и здоров...

Сытого хамства на его лице уже вовсе нет — просящий интеллигентный человек, Ключарев, конечно, не может отказать, Ключарев смущен (только что плохо о нем подумал). Но ведь на темнеющих наших улицах почти все телефоны без энергопитания. Он попытается. Нет, обязательно попытается... Нет, это ничего не будет ему стоить.

Складское помещение. Ряд запертых дверей. Но одна дверь открыта,— Ключарев заглянул, тетка Ляля, жирненький стареющий бабеч (и когда только он отделается от жаргона молодости) в фиолетовом чистом халате все еще лежит с той самой поры на положенных один на другой упругих мешках. Ключарев вошел — озабоченно говорит про ткань. Полулежа Ляля кивает, мол, понятно. «Вот опять понадобилась!..» — смеется не подымаясь.

Ключарев, поважнев, объясняет — ткань, мол, нужна прорезиненная, но теплая.

— Есть такая. Третья складская дверь.

Говорит она лениво, едва подняв голову. Полулежит. Глаза ее увлажнены, удовлетворены; быть может, дремала, но скорее всего просто-напросто не отошла с той сладкой минуты. Мадам. Смотрит на Ключарева разморенными глазами, прикидывая, поспать с ним сейчас или не поспать, пропустить один раз мимо.

Ключи рядом, и одной рукой она вяло ими поигрывает (музыка! они чуть позвенькивают!). Ключи лежат на клетчатом мешке, словно бы тоже разморенные музыкой, и она перебирает их пальцами, приводя их негромкий звон в полное согласие с притихшей душой. «Подойди ближе. Ближе. Прошу тебя...» — он подошел. Она улыбается. Той же рукой, не подымаясь, тянется к его брюкам, что как раз на ее высоте. Запустив руку внутрь, с той же ленцой, глядя ему глаза в глаза, она перебирает там пальцами, как только что перебирала связку ключей. Ключарев молчит, она перебирает. Но, видно, решив,

что напрягаться ей сейчас не по настроению или просто лень, ограничивается лишь малым удовольствием его возбуждения: на уровне то ли ласки, то ли игры. Затем сворачивается клубочком и закутывается в немодный складской плед. «Возьми ключи», — говорит. Закутанная в плед, поджавшая ноги, лежит, провожая взглядом Ключарева, отправляющегося вдоль запертых дверей.

Вышедшие из моды ткани (водоотталкивающие и к тому же теплые, с ворсом). Цвета те самые — от серого до землистого. За третьей дверью склада Ключарев тщательно роется, выбирая. А выбрав, скатывает отмеренный материал в рулоны, стараясь сделать скатку ровной, без морщин.

Уносит два куска тканины, свернутые в узкие рулоны. Две пики. (Две смотанные удочки.)

Холеная старенькая тетка спит, и Ключарев (неожиданно) испытывает человеческое сочувствие к ее годам, к возрасту. Все мы стареем. Он кладет ключи подле нее. «Я не сплю, — она, кажется, оправдывается; она спит и пытается выразить чувство, не открывая сонных глаз. — Я не сплю. Я томная...»

На открытой эстраде поэт; в руках микрофон, слова несколько гулки. Здесь меньше света, но больше блеска. Кроме того, два прожектора держат читающего стихи в перекрестье (когда поэты сменяют друг друга, прожекторные лучи тотчас разделяются, один луч провожает уже выступившего, второй луч выхватывает из толпы и в овале света ведет к микрофону того, кто будет выступать со стихами следом). Люди вокруг замерли: слушают. Ключарев не стал пробираться ближе; со своими рулонами, прижав их к груди, он стоит поодаль, но он тоже замер. Слово имеет над ним власть. Стихи при непосредственном впечатлении улавливаются приблизительно, но талант нет-нет и сверкнет, и тайна, как озеро поутру, исходит белым туманом поверх воды произносимых строк. Ключарев пьянеет. Поэт, по его мнению, очень вырос. Под стать и облик. Жесты руки умеренны, артистичность несомненна, и даже некоторая громкость дыхания, плата за микрофон, не в счет.

Неподалеку целая россыпь киосков, где предлагают купить стихотворные книжечки. Пестуют вкус. Ключарев видит девушку-продавца, — держа раскрытый томик в руке, она следит за стихотворной строкой глазами и одновременно слышит стих в авторском исполнении (нирвана?).

Видит Ключарев и поэта, которому предстоит сменить выступающего. Тот весь волнение. Щеки в румянце, не может с собой справиться... Волна рукоплесканий, шум и ликующие возгласы завершили отзвучавший только что стих. Через головы потянулись записки (вопросы). У микрофона поэт принимает их одну за другой, белые записки вспархивают, бьются в перекрещивающихся лучах, как белые бабочки.

Видит Ключарев и смерть; прямо тут же, в двух шагах. Слушая стихи, человек закашлялся и согнулся, — казалось, он сейчас распрямится, но он все сгибался, сгибался... и падает, откинув голову. Молодой. Говорят, смерть здесь легка. Некоторые оглянулись. Но в общей увлеченности мало кто заметил. К упавшему, впрочем, тут же подходят люди в белых халатах и, удостоверившись, что умер, — уносят. Быстро.

Когда человек ли, животное ли умирает внезапно, они расслабляют не только трудягу сердце, но и все свои мышцы, в том числе мочевого пузыря. Отчего и выскакивает маленькая, невольная детская струйка, последнее избавление от напряжения, от обязанности жить. Простительное это пятнышко так и осталось на асфальте. Недалеко от Ключарева. И почти перед самым киоском с девушкой-продавцом, державшей в руках стихотворный томик. Но, вероятно, изве-

стно, что не впитается, потому что появляются еще двое, поскоблили, потеряли, присыпают песком. Самую малость проступает теперь на асфальте темный овал, с ладонь величиной, словно бы детский. Все, что осталось.

ЗАБЛУДИЛСЯ. Ключарев довольно точно свернул на улицу с ярко освещенными продуктовыми магазинами (он все время держал в голове, что забыл про чай, что нужен запас чая), но обратный путь следовало бы найти короче. Продуктовых магазинов сотни, но как пройти их поскорее, чтобы вернуться к тому винному погребку, где лаз? Именно поиск короткого пути приводит к путанице: приводит к тому, что одна (вроде бы такая знакомая, залитая светом) улица сменяется другой (еще, казалось бы, более знакомой!) великолепно освещенной улицей, тем не менее, выйдя на площадь, Ключарев понимает, что здесь он впервые. Чай он купил, но надо же отсюда выбраться.

Понимая, что сбился с пути, Ключарев пытается угадать верное направление. Надо прибавить шагу. Свернутые рулоны ткани он кладет удобства ради на плечо (войн с двумя пиками) и — вперед.

Он вспоминает, как совсем недавно заблудился там, на близких от дома темных улицах (тут его сбило с пути обилие света и рекламы — там отсутствие света и тьма). Он всего-то и хотел на той темной улице добыть свечку. Без свечей не жизнь, и Ключарев готов был даже украсть, в том новом смысле слова «красть», которое уже появилось и прижилось, а именно: взять среди разворованного и уже бессмысленно валяющегося добра. В огромной магазинной витрине был пролом, оба стекла почти полностью высажены. Но все же оглянувшись туда-сюда, как и положено вору-новичку, Ключарев вошел в магазин (не влез, а именно вошел — так велик был пролом в стеклах). Прошагал вдоль пустого продуктового отдела и вышел к разграбленному, но не дочиста, отделу «Мелочи», — там были банки пудры, были какие-то тусклые тюбики, в полутьме прочитать их названия Ключарев не смог, была даже зубная паста, но ни мыла, ни единой, увы, свечки. Именно в поисках свечей он забрел тогда на товарные подъездные пути, вспомнив слухи о якобы не разгруженных вагонах. Меж вагонов он вдруг и заблудился. Понимал, что тылы вокзала и что, стало быть, совсем недалеко от дома, но выйти никак не мог. Вагоны, вагоны, вагоны...

Он увидел тогда несколько вагонов, полных уголовниками, которых не успели выслать из города. Увидел жалкую охрану — по два солдатика на каждые два вагона. Солдаты были совсем юные, топгались в полутьме. Даже не прикрикнули на Ключарева, подошедшего слишком близко, — только смотрели и, кажется, ждали, не скажет ли он им чего. Но что мог он сказать?.. Проходя мимо, Ключарев слышал глухую возню в зарешеченных вагонах. Там топали. Там бухали. Громкий слышался мат. Где-то, как ему показалось, медленно поскрипывала отдираемая вагонная доска. Безусловно, солдатики были обречены, и, может быть, впервые в жизни сочувствие Ключарева пало не на запертых, а на тех, кто их охранял. Солдатики натянуто улыбались. Они подбадривали друг друга шуточками, ежились в вечернем воздухе. Когда Ключарев огибал последний вагон, один из молодых солдат, не выдержав, спросил:

— Вы не знаете случайно, скоро ли смена?

Нет, Ключарев не знал.

Обойдя состав, он увидел еще одну темную массу вагонов, кажется пустых. Пришлось обойти их и медленно выворачивать к станции; ни огонька!.. Так плутал Ключарев тогда в темноте. Там давила на глаза темнота меж вагонов, здесь давит яркость зазывающих неоновых ламп.

Впрочем, Ключарев уже ориентируется. Улица сверкает, а провисающая нитка фонарей — как перспектива пути. Идет навстречу веселый люд, ага, рекламный щит, Ключарев его уже узнает. Ключарев переходит на ту сторону (а память еще удерживает недавнее прошлое, так что одновременно Ключарев выбирается сейчас из толчи застывших темных вагонов на станции. Ага! видны маленькие точки семафоров, и, подныривая под вагон, Ключарев выбирается на ту сторону состава). Ключарев идет сейчас словно бы сразу в двух пространствах, но ведь один народ, одна земля, что ж удивительного, если оба пространства совпадают и географией, — ведь Ключарев идет и там и тут. И если он заблудился, сбился с пути, то он заблудился и там и тут. Уличное сострадание к самому себе. Ключарев идет меж газетными и книжными киосками, огни рекламы так бьют в глаза, что он вновь переходит на ту сторону улицы, где двери зазывающе открыты, а люди жуют и пьют, и дразнящий запах жареного кофе нельзя спутать ни с чем на свете. (Совпадение пространств. Одновременно Ключарев нагибается и подныривает под очередную темный вагон, потому что обходить на рельсовой путанице еще один длинный пустой состав нет сил. Огоньки. Большая темная масса. Вот и пыхтень — это паровоз, вероятно, маневровый, и вот наконец стоит живой человек, железнодорожник с тусклым фонарем. Мазнул Ключарева лучом по лицу — мол, кто такой?)

— Состав обойдешь, а там все время прямо. И выйдешь с путей к вокзалу, — объясняет железнодорожник заблудившемуся Ключареву.)

Совпадение пространств. Так что неудивительно, что на углу под яркой рекламой стоит некий человек с газетой, к которому тоже можно обратиться с вопросом. Одет человек солидно, отвечает спокойно:

— Улицу пересечете, а там все время прямо. И выйдете от магазинов к вашему ресторану.

Он объясняет заблудившемуся Ключареву. Сложив на миг газету, указывает ему рукой направление: там.

Путь теперь недолог, и Ключарев решает выпить пива. Он покупает и, встав на углу (и даже немного привалившись к стене, чтобы отдохнули ноги), пьет пиво из горлышка, запрокидывая бутылку. Забытое чудесное удовольствие. Но тут же Ключарев сам себе отчасти удовольствие портит: «Некрасиво! Войди в кафе», — говорит он себе и корит себя пивной пробкой, которую он отшвырнул не глядя чуть ли не под ноги идущим. Спыхватывается. Виноват. Он ведь одновременно шел среди темных вагонов. Часть из них была зарешечена. Несся глухой мат. Ключарев был здесь на освещенной улице, но он был там возле старого дощатого вагона, в плавающих запахах смазки и старых колес. В вагонах могли быть не только угольники, могли быть и несправедливо осужденные — сложное чувство. И вот жест Ключарева, когда он отбросил пивную пробку на пахнущие прошлыми десятилетиями шпалы. С чувством вины, застигнутый среди яркой, залитой огнями улицы, он видит свою пивную пробку на сиреновом асфальте, свою руку, запрокинувшую вверх бутылку, которая булькает пивом прямо в рот. Что это он? Как же это он так?..

Ключарев приходит в себя (вполне определяется в пространстве) и, успевший сделать три-четыре глотка, идет допивать пиво в кафе; бутылку он уверенно держит в руке; бутылка, изнемогая, исходит крупными пузырями.

Свернутую в рулоны ткань Ключарев тоже не забывает; берет с собой.

КАФЕ-КЛУБ, вот что это за кафе — туда идут и идут люди, и Ключарева тоже тянет туда (отчасти все еще эстетика старых вагонов, мол, где больше людей, там и попроще). Но оказывается, в ка-

фе происходит социологический опрос (здесь опросы что ни шаг), и опрос бог весть о чем, о вере людей в будущее. Вот только в какое будущее? В ближайшее?

На его, ключаревский, вкус в этом кафе слишком много говорят о политике, но Ключарев уже вошел, и потому он скромно подсаживается за столик со своей бутылкой пива. Заказывает к пиву горячих колбасок с пюре; денег немного, но должно уже подкрепить силы.

За ближайшим столиком разговор. Уже, конечно, давний. Быть может, следует сейчас любить толпу, чтобы понять ее интересы, а быть может, с интересами толпы вовсе считаться не следует (она сама не знает своих желаний!) и тогда толпу нужно попросту обмануть, — но обмануть для ее же блага?!

— Быть может, нужен новый кумир, — рассуждают они, близко придвинувшиеся лицом к лицу, но говорящие достаточно громко. — Человек, но не кичащийся умом, нравящийся толпе, желательно добрый.

— Но был же! был! — перебивают криками. — Однако в наши дни надо, чтобы человек этот нравился. Чтобы новый, совсем новый имидж. Не имидж отца родного, а, скажем, имидж великого ученого, который придумает в экономике нечто (вместе с нами!) и нас спасет?.. а не согдится ли имидж простого практичного мужичка, который поймет и простит наши слабости? А что — мы бы его подняли на щит. Мы бы придали и ума его недомолвкам. Мы бы раздули. Вознесли! Но как угадать, насколько он по нраву простой толпе? простой и усредненной толпе?..

Подбирая приблизительный типаж, они прогоняют перед глазами быстро сменяющуюся картотеку знаменитостей прошлого. Любимы не только политики. Никон, победивший раскол, называется первым. Старик Леонардо. Улыбающийся Александр Пушкин. Жуков с его громадным подбородком. Чаплин с тростью, но в сильно стоптанных башмаках, под бедность. Кто сейчас, в наши дни, окажется люб е е величеству Толпе? Но если образ не в чистом виде, если гибрид — то в каких пропорциях и кого с кем?.. (Ключарев прислушивается. Заказывает еще пиво. Лампы мягкого внутреннего освещения кафе играют на вздувшейся пенной шапке.)

Бородатый мужчина ищет альтернативу более общую: быть может, нужен сейчас не кумир, а напротив — некто, кого люди бы откровенно не любили и, не любя, они бы день за днем на нелюбимой физиономии отыгрывались? Человек, в сущности, недоволен собой. Всегдашнее, если не вечное недовольство собой. А воплощается оно в недовольстве с в о и м правительством, с в о и м и пустыми магазинными полками, страхом идти по темнеющей с в о е й улице... Но что же мы придумаем, что мы можем придумать, если посреди ярких витрин и полных прилавков человек останется навязчиво недоволен?!

— Но-но! — перебивает тот, что напротив бородача. — Человек все же должен найти себе нишу. Он конкретен, и не раздувайте человека. Либо — да. Либо — нет. Либо он найдет себе нишу в виде любви к какому-то образу или сверхобразу. (И тут же запрячется в эту любовь как в нишу.) Либо все к чертям. И не делайте, не делайте из человека загадку, не делайте из него великана, прошу вас!

Разговор взметывается, все они говорят теперь разом — как?! значит, все дело в обмане толпы образом?.. Как?! Стало быть, друг ты наш умный, вся и проблема в том лишь, чтобы толпу и народ обмануть? облапошить их, да? Убаюкать любовью к кому-то?..

Они слишком разгорячились. Кричат. Ключарев не доверяет разговору политиков — людей, спешащих прожить и умереть. С гонкой. С деформирующей психику напряженностью честолюбцев. (Для них и беседа — самоутверждение. Для них и поминки — зарабатывание очка.) Но он не бросит в них камень. И он готов им поверить,

пусть только они постараются ради людей. Ведь всякий труд стоит благодарности. Ведь тоже божья искра. Среди витиеватых политических распрей тоже наступает миг, когда говорящие упираются в стену бессилия. Они как бы замирают. Они перестают драться, и в их безмолвии проступает неслышимое звучание высоких слов. (Через минуту опять кинутся друг на друга, но ведь минута эта — время; недолгое время неосознанного братства.)

Они слишком кричат. (Но ведь он в кафе-клубе, что поделаться.)

Страсти накалены и в соседнем небольшом зале, в глубине кафе, — это туда все время идут люди и, побывав там минуту-две, выходят: это и есть тот самый зал отношения к будущему, где происходит опрос. Опрос до чрезвычайности прост. Если ты веришь в будущее своих полутемных улиц, ты берешь в учетном оконце билет и уносишь с собой. Если не веришь — билет возвращаешь. (Это очень зримо. Возвращенный билет бросают прямо на пол.) Люди в кафе нет-нет и поглядывают, как растет холм возвращенных билетов. Холм уже высок. Но снова подходит человек, мужчина или женщина, и к брошенным листкам добавляет свой. Возвращает билет в будущее.

В зале несколько человек комиссии по учету, но от их нейтральности уже нет и следа, — вероятно, поэтому страсти там так накалились. Они убеждают входящих людей верить, объясняют, настаивают, чуть ли не всовывая билеты им в карман, но те бросают свои билеты вновь: слишком, мол, много крови, слишком много тех слезинок уже пролито и потому не верим, не желаем будущего на крови и слезах. Не хотим.

Один из комиссии, отбросив уже всякий нейтралитет, превращается на глазах в оратора. Он долго молчал. Худой, со впалыми щеками (и кажется, неизлечимо больной — Ключарев всех готов жалеть), он страстно кричит уходящим:

— Опомнитесь!.. Будущее — это будущее! Ведь вы всю свою жизнь ели и пили на чьих-то слезах и на чьей-то крови. Да вы читать-писать научились на чьей-то крови!.. Да каким бы ни было будущее, вы уже сейчас спите, едите, пьете на тысячах тыщ слезинок младенцев, вы уже запятнаны, вы помечены!.. берите же свои билеты, смиритесь! оправдайте хотя бы то, что вы уже получили в школах, в вузах, это уже ваше, ваше — я не устану повторять, в ваше будущее! — как бы вы теперь от него ни отпирались и как бы, уходя, ни бежали...

Он кричит. Он страстно кричит. Но они бросают и бросают свои листки, возвращают свои билеты. Холм уже в человеческий рост.

Торопливость тут же дает себя знать: за Ключаревым из кафе выскакивает бородач, нагоняет и — посреди шумной улицы — передает Ключареву забытые им рулоны. «Бежал за вами по улице, как стражник с пикой!» — смеется он, а спохватившийся Ключарев благодарит.

5

Дыра в потолке рваная, большая, но сузился ли лаз, не понять, пока не попробуешь протиснуться. Лестница-трап на своем месте, но есть новшество — под дырой натянута квадратный кусок парусины, своеобразная сетка-уловитель, чтобы осыпающаяся сверху земля и камни не падали на столики, где пьют и беседуют люди. Ключареву сетка никак не мешает. Когда с покупками Ключарев заберется на самую вершину трапа, он сразу окажется выше этой сетки.

Готовясь к подъему, следует расположить свой нехитрый багаж в очередь. Рулоны свернутой ткани. Пластиковая сумка с чаем. Керогаз. Свечи. Что еще?.. За столиком, что совсем рядом с копошащимся Ключаревым, тем временем идет разговор. Там две молодые пары и старик, и разговор их становится настолько интересен, что внима-

ние Ключарева привлечено, ему не хочется уходить так сразу, так дорог ему вдруг теплый уют общения, интеллигентность, высота слов, возникающих как бы из ничего. (Кажется, разговор и слова только тут и набирают высоту и духовность, когда тебе пора уходить.) Ключарев думает уже с усилием: ага, если сначала протащить в лаз рулоны, то как же керогаз?.. Да, да,— говорят они за столиком меж собой,— понятно! Но как задействовать ресурсы личности, растворенные в толпе? Сейчас в ходу состояние индивидуума на уровне ощущений. Почти зоология. Но,— спорит и воодушевляется одна из молодых женщин за столиком,— но в человеке есть нечто и помимо зоологии, вот только как дать этому нечто ход?.. как?

Они говорят. (Ключарев тоже не знает ответа. Он тоже не слишком-то верит в свою мысль о пещере. Но если речь о совместимости, Ключарев, конечно, строит на время себе пещеру. Ключарев может стрыть еще одну пещеру для своего друга. Он может отрыть для себя. Но он не может расширить лопатой дыру лаза: тут предел... Мысль его понижается: Ключарев делает себе заметку, мол, в следующий раз для работы внутри пещеры надо бы купить лопату с коротким черенком.) Они говорят: можно ли считать, что человек — существо, пересоздающее жизнь? меняет ли человек жизнь и себя?.. или это существо, которое дергается туда-сюда в своих поисках потому только, что не вполне нашло свою биологическую нишу? огромный биологический отряд, который ищет нишу? разумеется, ищет на ошибках и в своих пределах,— это ли и есть люди? Туда нам нельзя. И туда нам тоже нельзя. И стало быть, в этих «нельзя» определяются наши границы. Черепахи уже нашли свою нишу. И обезьяны наши. А мы только ищем. О, как мы сразу тогда успокоимся. Как станем всем довольны! когда найдем...

Они говорят искренно и с болью за человеческий (такой скромный) итог. Высокие их слова неточны и звучат не убеждая, но с надеждой, что даже приблизительность искренних слов раскроет душу (лаз в нашей душе), и исторгнутая оттуда боль скажет слова новизны. Слова не выкрикнутся, просто назовутся сами собой, и люди, быть может, притихнут от догадки: вот оно!.. (И станет добра толпа? и добра и совсем неопасна станет многотысячная толпа, умиротворенная своим возвращением из кино или из бескорыстного болящего застолья, когда ночь полна звезд; и чей-то голос в толпе полет?)

Они говорят. А Ключарев переносит на самый верх лестницы-трапа рулоны ткани, чай, керогаз... Ему близки, ему дороги их слова. Но человек конечен. Человек смертен. И как всегда, когда пора уходить, человеку кажется, что разговор достиг наконец своего белого пика...

Они говорят.

Ключарев сколько-то уже протиснулся в лаз. Вытянутой рукой, не с первой, но с третьей попытки, он выталкивает, выбрасывает вверх свои рулоны свернутой ткани. Примерно так, как крепится боевой флажок к казацкой пике, то есть у самого острия, Ключарев прикрепил к одному рулону мешок с чаем и свечками, к другому — завернутый в пакет керогаз. Навязанный дополнительный груз задевает края, осыпая землю и камни. Пришлось протиснуться почти до горловины, держа рулон в вытянутой правой руке, затем только метать,— и все же, как ни тяжело, он выбрасывает один рулон с третьей, другой с четвертой попытки. Теперь Ключарев взбирается сам, глотая земляную пыль, которая не оседая стоит в дыре после стольких бросков; глаза полны песка. Ввинтившись в горловину, Ключарев, как всегда, испытывает при движении боль. На этот раз изгиб лаза дает его голове протискиваться только под углом, щека обдирается в кровь, кожу словно снимают заживо. Узкое место. Как и всегда, Ключарев переживает тут минуту ступора: некую окончательность своего застревания, отвратительное омертвление. Он затычка. Тело

уже не болит, не гудит ссадинами, так плотно и точно оно повторило изгибы дыры в этом узком месте. Ключарев уже настолько вполз и сдвинувшаяся земля настолько плотно облепила его тело, что он уже не он, он — часть земли, плотно, если не идеально, подобранная телесная пломба. Именно в этом месте в какой-то будущий раз ему уже не сдвинуться: Ключарев кончится тут, и, мертвый, все еще будет оставаться пломбой, затычкой. Он будет разлагаться, все уменьшаясь, но и земля будет сходиться, забивая просветы пылью, песком, да и просто стискиваясь (земля это умеет); так что и после смерти Ключарев, можно надеяться, останется на посту, и кости его с прежним упорством будут осваивать лаз, пока не стиснет настолько, что земля станет для них обычной могилой. Но-но, подбадривает себя Ключарев.

Если не дергаться, ужас застревания помалу проходит. Мякоть мышц каким-то образом перераспределяет свои скрытые нагрузки; безусловно, не только опыт человека, но опять же и червя (от и до — все наше) приводит к медлительно-гениальному процессу перетекания тела. Сама собой чувствуется возможность шевельнуть рукой, затем немного сместить плечо, а затем, повернув удобнее, оторвать от приставшей земли кровотокающую щеку. Вот так. Вот так. Голова втискивается. Голова миновала горловину, теперь боль принимают на себя плечи. Боль тупа и обширна. В запасе есть еще одна мысль, которой Ключарев подбадривает себя в горловине, повторяя, что земля как женщина, как молодая, может быть, женщина, а он как мужчина, совершающий свое вечное мужское дело. (Земля, быть может, потому только и не сомкнулась, не стиснулась окончательно, что Ключарев, протискиваясь, каждый раз тут наново корячится.) Он продвигается, подбадривая себя тем, что боль взаимна, что дыре тоже больно, когда он дергается и обдирает плечи и щеки в кровь. Ей тоже больно. Ей каждый раз больно. Заклиная себя словом, Ключарев последним трудным поворотным движением высвобождает колени из узкого места горловины. Вот! Ободранная щека облипла песком, саднит, голова кружится, но голова уже вне лаза, голова над землей. Вот трава. Ключарев дышит прибрежным воздухом.

Выбравшись, какое-то время он сидит совсем расслабленный, пустой, без единой мысли. Иногда вдруг негромко постанывает, покахтывает, приходя в себя.

Конечно, стемнело еще. Но видно. Сумерки как сумерки. Во всяком случае, Ключарев различает ниже по реке брошенные лодки. Лодки стоят у самого берега, привязанные. Замерли на воде. Людей там давно нет. Река тускло светла.

Переводя мимолетно взгляд выше, Ключарев словно ударяется глазами среди зелени пейзажа о черное рваное пятно: разрушенная его пещера... Так и есть! Подойдя ближе, он видит, что пещеру обнаружили и обвалили, быть может, просто назло копавшему. Рядом на траве две пустые бутылки из-под водки, следы ног на рыхлой земле. Попытались даже развести костер, погореться на чужих развалинах.

Грустная минута. «Но ничего», — думает Ключарев. Грустно. Но ничего. Он в эту свою идею не слишком верил.

На черемухе висит убитая ворона. Убили и повесили над развалом. Мол, знай, как рыть себе свое.

Но Ключарев только сплотнул ком. Ключарев и тут найдет положительный момент. Что ж, думает он, от зоологии и ненависти перешли к конкретным знакам, которые можно понять. Это уже знак. Это уже начало диалога. (За знаками и жестами придут слова — разве нет?)

Он ищет свой инструмент. Нет ничего. Разумеется, забрали. Он роется руками в траве — пусто. (Но быть может, инструмент им по-

надобился. Быть может, инструмент им был нужнее. Ему не хочется думать, что лопату, лом и кирку они попросту бросили вниз, на дно оврага.)

Он чувствует усталость. Он устал, но не ропщет; он такой.

Ключарев идет домой — сначала по земляной, затем по асфальтовой тропе он медленно подымается в гору. Конечно же, несет с собой свой груз, рулоны ткани, керогаз, свечи.

Поравнялся с первой из пятиэтажек. Здесь магазин, в темных витринах которого Ключарев видит слабое в сумерках свое отражение. Стекла витрин заклеены полосками бумаги крест-накрест: предупреждая, что в магазине ничего нет, не бейте понапрасну стекла.

На улице ни души. В окнах пятиэтажек всюду зашторено и темно. Вот там и его окна.

Ключарев приостанавливается, чтобы несколько иначе перегруппировать свою ношу. Руки устали, затекли. Он сел прямо на землю и перекладывает керогаз в тот же пластиковый мешок, где чай, где свечи. Перераспределяет, увязывает, и усталость вдруг наваливается на него и с усталостью вместе — краткий сон. Такое бывает.

Сны эти, как правило, нехороши и всегда на одну тему — земля стиснулась, сомкнулась, лаза нет, и он остался, навсегда отрезанный, на темных улицах. (Самый мучительный сон, когда земля стискивается в момент пролезания — Ключарев застревает в дыре, задыхается и гибнет. Если спит дома, он мечется, хрипит и бьется, дергаясь головой, пока жена не разбудит: «Да прекрати же! Прекрати!..») Сегодняшний сон не столь мучителен, как сон застревания, но страшен. Лаза нет. Оставшаяся дыра ничтожна. Склонившись над ней, всунув туда, насколько это возможно, голову, Ключарев кричит им. Он кричит им первое, что приходит ему на ум — о том, что нет свечей и батареек, о том, что на улице быстро темнеет, о порушенной пещере и повешенной дохлой вороне. (Логика не нужно. Им сгодится любая информация; их ЭВМ расшифрует.)

Как и во всяком сне, Ключареву приходится кричать им слишком громко. Кричит. Потом прикладывает ухо. И оттуда по узкой норе через стиснувшуюся толщу земли доносится:

— Говори еще! говори!..

То есть продолжай давать нам информацию, любую, всякую, какую угодно, — давай! И вновь Ключарев кричит им в узкую нору о пустынных улицах и о многотысячной топчущей толпе, о домах, в которых тысячи темных окон.

И снова ухо к дыре. И опять оттуда еле доносится:

— Говори! Говори!

Он кричит, что подступающая темнота отменяет человеческую личность. Что на улицах пугливы даже насильники и воры. Кричит с Денисе. Кричит о карманном запасе хлеба. О голоде. Кричит о темных шторах, даже если есть свет... Мысли его путаются. (Но ведь важно, что это говорится отсюда. Пусть потрудятся их компьютеры-расшифровщики, вычленив не только смысл его слов, но и ужас сна, исповедальную неготовность. Он сознает, что сон, но пусть они разложат его состояние на психомоменты, на блуждание мысли, на чистую информатику и на прочие кирпичики. Должны же они понять закодированные то спазмом, то невнятицей языка слова, которые искажены уже самим криком в дыру (с отбрасывающей вспять звуки акустикой), — они должны расшифровать и понять, кто же, если не они.

Теперь их ответ. Теперь Ключарев спускает им вниз тонкую веревку, нет, не веревка в прямом смысле, но специальная прочная леса, — она выдержит, скользнет, не застрянет, и, удерживая в руках свободный конец, Ключарев чувствует, как они там уже прикрепляют, цепляют что-то. Да, их ответ и их совет. Да, помощь. (Я тебе — ты мне, единственная возможность прямого обмена мыслью.) Ключ-

чарев выбирает, вытягивает лесу. Ага. Появляется длинный предмет, палка. В подступающих сумерках Ключарев не сразу различает палку. Тем более не понимает ее смысл. Мозг слабеет после долгого затяжного крика. Но за палкой появляется еще одна палка, теперь Ключарев видит и ощупывает на каждой палке загнутый конец, которым они прицеплены к лесу. Почему-то Ключарев (ведь это сон) ожидал вытянуть скрученный в трубку текст или микропленку с текстом (вроде бы в бамбуке, в котором вынесли паломники от китайцев коконы, секрет шелка) — но нет текстов, ни слова в ответ. Он был бы рад, на худой конец, если бы они прислали в помощь свечи, узкие и длинные, метровые свечи, неужели же его информация о подступающей темноте была непонятна (искажена его криком?). Ключарев излишне интеллигентен, и безусловно он был бы несколько задет, царапнуло бы (но он бы смирился. Ибо не до щепетильности, когда вокруг голод), если бы вместо ответа душе он вытягивал бы сейчас за лесу тонкие связки сосисок; ведь их так удобно тянуть. Но нет. Вновь вытягивается палка с загнутым концом. И еще одна палка. И еще. Но должно же быть что-то в ответ, и Ключарев с определенной, хоть и не великой надеждой ждет. Ключарев тянет и тянет длинную, бесконечную лесу, и палки выползают одна за другой из стиснувшейся дыры, и, как ни слаб уставший его мозг, Ключарев все же понимает: палки для слепых. Когда наступит полная тьма, идти и идти, обстукивая палкой тротуары. Весь ответ.

Ключарев все тянет и тянет, уже сотни, тысячи палок для слепых вытягивает он — и наконец просыпается. Ужасный сон. И несправедливый, с точки зрения Ключарева, в своем недоверии к разуму.

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК В СУМЕРКАХ. (Так мало и так много.) Он и разбудил Ключарева, этот прохожий. Ключарев проснулся возле той же пятиэтажки, где он привалился к углу дома и уснул, когда удобнее укладывал свои свечи и чай. Он и спал-то минуты четыре-пять.

И голос:

— Что это вы уснули? — Простой голос. — Не следует спать на улице...

Ключарев, отчасти еще сонный, смотрит. Стоит мужчина. Средних лет, с довольно длинными волосами, свободно падающими почти до плеч. Да, прохожий. Увидел, что Ключарев спит, и разбудил.

— Вставайте, — повторяет он так же утвердительно, со спокойной и терпеливой улыбкой. — Не следует спать на улице.

И протягивает руку. Ключарев встал бы и сам, так что этот человек только чуть ему помогает. Рука теплая, прикосновение, которое остается с Ключаревым и после.

Ключарев встает.

— Да, — говорит он, потягиваясь. — Как стемнело.

— Но еще не ночь, — говорит тот человек, опять же с мягкой улыбкой, которую Ключарев не столько видит, сколько угадывает в полутьме.

Собрав свое добро, Ключарев идет к дому, от которого он уже совсем близко. Оглядывается. Человек еще стоит на том же месте, и только по мере того, как Ключарев уходит, его фигура мало-помалу растворяется (и все же не растворяется до конца) в сумерках.

МАГДАЛИНА ВЕРИГО

*

ВОРОНКА МАЛЬСТРЕМА

Не найдешь образа лучшего, чем найден самой Магдалиной Брониславовной Вериги, отмечавшей недавно свое девяностодевятилетие,—чудовищная воронка мальстрема.

Водоворот окружностью в полстраны втянул и перемолол и ее поколение, и ей предшествующее, и лучшие части поколений последующих. Жалко всех одинаково, независимо от ума и образования. Но нельзя и не сказать, что сметен был самый гребень нашей культуры — снесен без остатка. В этом смысле равенство было достигнуто.

В воспоминаниях М. Б. Вериги — исчезнувшие краски жизни первых пореволюционных лет, ее несомненный пафос, теперь почти непредставимый вне подобных свистельств. Эфемерный, лишь на историческое мгновение повисший в воздухе, чтобы тут же исчезнуть, раствориться в потоке крови, период — нет, не период, именно миг призрачной эстетичности революции...

Перед нами — череда людей из тонкого, даже тончайшего и драгоценного слоя российской интеллигенции, те, для кого политика не имела цены вне искусства. Это истинно художественная интеллигенция — пока еще не вытесненная полностью политиканствующими поклонниками «передвижников» и отжатого до грубого народопоклонства Некрасова.

«...Встречались в рукопожатьях еще по-прежнему нежные пальцы, улыбки, интонации...»

Вот она — пластика культуры, расцветшей в российском «серебряном веке», еще не расплющенной. Богатая деталями, тенями и оттенками, но не размытая, прочно держащая форму — кованая роза. Перед нами плоды многолетней творческой жизни — части этой полностью сохраненной сложной культуры. Молот чудом просвистел рядом.

Магдалина Брониславовна Верига родилась 10(23) января 1891 (1892?) года в семье профессора Одесского, а впоследствии Пермского университета Бронислава Фортунатовича Вериги (1860—1925). Гимназию в Одессе окончила экстерном, так как вынуждена была ее оставить из-за участия в действиях против еврейских погромов. За это же была заключена на месяц в тюрьму (февраль 1907). Призвание к искусству ощутила в гимназические годы, чему благоприятствовало большая библиотека родителей.

Первый успех в литературе: лауреатство на Всероссийском конкурсе лирических поэтов в 1912 году (жюри: В. Я. Брюсов, И. А. Бунин, В. В. Вересаев), публикация в альманахе «Полигимния» (1914), в журнале «Любовь к трем апельсинам» В. Мейерхольда (1915, опубликовал А. А. Блок), публикация стихотворений и прозы в петроградских журналах 1917—1918 годов, в изданиях колчаковского времени (1919) в Перми и Томске. Эти последние публикации исключали для Магдалины Брониславовны возможность выступать как писателю при советской власти. Она не могла рисковать собой, так как должна была сохранить память и архив своего мужа Феликса Петровича Чуговского, талантливого писателя, умершего 31 августа 1919 года от испанки. Магдалина Брониславовна не оставляла литературных трудов всю жизнь. Ею написано пять книг оригинальных стихотворений, она перевела первые две главы «Потерянного рая» Дж. Мильтона, другие его работы, «Старого моряка» Кольриджа, книгу мемуаров друга Бальзака Леона Гозлана «Бальзак в домашних туфлях».

Живописное образование получала в студии Ф. А. Соколовича в Одессе, в Академии Рансон (1912—1913, Париж), по совету Н. К. Рериха — в Одесском императорском училище, в студии И. Машкова, К. Юона (1915—1916). Выставки: 1913, Одесса; 1920—1921, Красноярск, Мариинск, Томск. В 1929 году ее работы были отвергнуты жюри выставки ОМХ как не соответствующие реалистической программе выставки, несмотря на лестный отзыв жюри, переданный А. Лентуловым. Определилось отношение как к художнику-«формалисту», политически враждебному. Работала в живописи до 1971 года, когда началось резкое ухудшение зрения. Техника: масло, рисунок, акварель. Темы: лесные пейзажи, Подмосковье, Москва-река, пейзажи Самарканда (1942—1943), интерьер, портрет, натюрморт. В 1970—1980 годах заботами искусствоведов Н. В. Скоморвской (Пермь) и Т. Н. Микуцкой (Томск) работы Магдалины Брониславовны были приобретены картинными галереями этих городов и выставляются

Предлагаемые вниманию читателя главы мемуарной книги М. Б. Вериги «Время забывать. Время вспоминать» описывают события ее пребывания в Томске в 1920 году. Книга должна охватывать жизнь автора в Томске и Перми в 1920—1925 годах. Цель автора — не описание множества событий, свидетелем которых она была, но характерных, слагающих обобщенную картину времени в таких его основных чертах, как торжество Смерти, предчувствие Новой Жизни, новое значение Искусства. Потеряв мужа, брата, все прежнее, М. Б. Вериги оказалась деятельно включена в художественную жизнь¹ Томска вместе с художниками М. М. Беринговым, Р. Вакером, Н. Г. Котовым, В. А. Милашевским, стала председателем секции ИЗО Томского Всерабиса, заведовала отделом Наробраза, участвовала в работе литографической и плакатной мастерских, выполнила свыше ста зарисовок Томска (утрачены) для отдела охраны памятников, писала картины (и они выставлялись), сама организовала выставку «Все для всех» на новых, демократических принципах, занималась художественной критикой, публиковала статьи в газете, писала стихи. С тех пор и до сего времени ее имя в печати не появлялось².

С 1922 года жила в Перми, занималась живописью и, будучи приглашена учащимся Художественного техникума, преподавала живопись и рисунок для старших курсов по собственной программе, читала собственный курс истории новой живописи. В 1923 году выходит замуж за Бориса Владимировича Властова (1894—1964), биолога. С 1925 года живет в Москве.

М. ЧУДАКОВА, М. ЛЕВИН.

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Много кругом врагов

На пояс саблю вешай, солдат!
Много кругом врагов.
А крест у матери дома оставь:
С крестом не пускают в ад.

Зорко дорогой иди, солдат!
Много кругом врагов.
Полон каждый овраг ворон,
Смотреть берегися назад.

Слышишь грай за твоей спиной?
Полон овраг ворон.
Дымен неба синий котел,
Полдень брагу льет через край.

В поле жатва шмелем гудит...
Много кругом врагов.
Только старый серп не готовь:
Ныне саблею жатву снимать

Ах, богат настал урожай!
Много кругом врагов.
Будет, верно, вечер хорош,
Что вороны, грая, кружат.

Сядем брагу за здравье пить!
Дымен неба котел.
Крест у матери, сабля здесь.
Полон каждый овраг ворон!

Из цикла «Перед порогом» (1920—1922).

¹ См.: Муратов П. Д. Художественная жизнь Сибири 1920-х годов. Л. 1974, стр. 36—41, 132.

² Фрагменты воспоминаний «Из мемуарной книги» впервые опубликованы: «Четвертые Тыняновские чтения» (Рига, 1988); см. там же статью о ней М. Чудаковой, М. Левина, Е. Тоддеса.

Морока

Этот город такой темный.
Повалились от ветра заборы.
А скучнее всех Ярлыковская улица:
Она, лая, ведет на пустую гору,
На горе стоит деревянный дом —
В том доме живет мое горе.

В том доме высокая горенка,
На окне дырявая занавеска,
Под окном поломанная ветка,
На ветке стрекочет сорока,
За окошком — моя морока.

Сам не знаю, какая неволя
Меня водит под это окно.
Только в сумерках станет темно,
Затомлюсь я, как будто больной,
И бреду я глухими снегами,
И сердито свищу ей в окно.

Выбегает она горностайкою,
Обнимает меня на юру.
А метель ее косы таскает
И толкает локтями ей грудь.

Поднимусь я скрипучею лестницей,
Сяду гостем за крашенный стол.
Буду слушать, как злится и бесится
За окном ее родичей молвь.

Не товарищем, не любовником —
До глухой, до глубокой ночи
Буду горьким сидеть невольником
И угрюмо смотреть ей в очи.

Буду в очи смотреть ей темные,
Усмехаться нелюбой речи,
И повадки ее бездомные
Будут мне до тоски перечить.

Почему такая веселая?
Никогда ни о чем не заплачет...
Если слово скажу тяжелое,
Рукавом свое горе спрячет.

Чем гордится и чем она чванится,
Для кого зажигает свечи,
Для чего как с постылым пьяницей
Провожает со мною вечер?

Долго ль мне с ней губить свою душу?
Долго ль думать недобрую думу?
За какую вину быть в ответе?

Не видал я бледней ее личика,
Не знавал я темней этой улицы,
Не жывал я скучнее на свете.

Глина

Я, может быть, тоже из глины,
 Как эти дома, и тела
 Красавиц и старцев,
 И ветви ствола,
 Из глины горячей и милой,
 Которую солнце любило,
 В которую солнце светило
 И грело до самого дна.
 Быть может, и я, как она,
 Грядущую жизнью полна,
 Цветами и медом шмелей,
 Как плотная глина полей,
 Как легкая глина дорог,
 Что пылью клубится у ног,
 Как гибкая глина людей,
 Которые вышли из глины.

Здесь в глине торгуют, и спят
 И, ноги поджавши, сидят,
 Плоды золотые едят,
 А розы кадят у плеча.

И если рука горяча,
 И если запястья бренчат
 И золото ярче луча,—
 То сами смеются уста
 И смуглые щеки горят.

Они не ушли далеко
 Дорогою трудной и длинной,
 Домой им вернуться легко,—
 И все возвращаются в глину.

И в полдень, когда у людей
 Сгорают остатки теней,
 Когда от плеча и до пят
 Лучи наотвес просквозят,
 Уходят к большому стволу,
 Что темную чашу листвы
 Приподнял и льет с высоты
 Густую прохладу и мглу,
 И там у корней на земле
 Садится народа семья.
 Сажусь между ними и я.

Из «Самаркандских стихов» (1942).

О том, как Юй-Бой, лютно разбив, протиснулся с «Понявшим звук»

*На тему новеллы этого названия из китайского
 сборника новелл «Цзинь-Гу Ци-Гуань» XV века*

Он, над рекою стоя,
 Скрытый листвою дерев,
 Лютни в руках Юй-Боя
 Вдруг услышав напев.

Ночи минуя тени,
 В сердце вступил тот звук.
 Дрогнуло тело в пеньи,
 Как наклоненный лук.

Пел, отражен волною,
 Лунный его двойник.
 В лютне златой Юй-Боя
 Новый напев возник.

К берегу был причален
 Юй-Боя корабль в ночи,
 Висел за Юй-Боя плечами
 Плащ Золотой парчи.

Юй-Бой из каюты вышел
 И посмотрел во мрак.
 — Кто-то меня здесь слышал,
 Понял и дал мне знак.

Лютня поет так странно:
 Кто-то услышал звук.
 На берегу туманном
 Лютне внимает друг.

Лютни внимавший звуку
 В сумраке ночи друг,
 Выйди и дай мне руку,
 Если ты понял звук.

Вышел внимавший звуку,
 Прост был его наряд.
 Дал он Юй-Бою руку,
 С ним говорил как брат.

Взоры, слова и струны
 Всю ночь вели разговор...
 Больше не встретил Чжуна
 Названный брат с тех пор.

Взоры закрылись Чжуна:
 Кончился жизни срок.
 Над головою Чжуна
 Камень тяжелый лег.

Весть услышав утраты,
 Оставил свой дом Юй-Бой.
 Принял он имя брата
 Вместе с его судьбой.

Память о том, кто понял,
 В сердце замкнул Юй-Бой.
 Досыта был напоен
 Счастьем в ту ночь Юй-Бой.

И навсегда веселье,
Как дорогой удел,
Стало его владеньем,
Мерой мечты и дел.

Но никогда на лютне
Уже не играл Юй-Бой.
Свою золотую лютню
О камень разбил Юй-Бой.

1960.

ИЗ МЕМУАРНОЙ КНИГИ

Время, о котором я сейчас вспоминаю, было стремительное время. Оно обгоняло жизнь и сознание людей, подхваченных его потоком, оно не давало им возможности приостановиться и осмотреться, люди не успевали даже обернуться на тот берег, с которого их смыла буйная волна.

Грозен и ярок был воздух тех дней, когда так тесно, вплотную придвинулись друг к другу надежда и гибель, жизнь и смерть. И те, кто вдыхал его озон, неотвратимо менялись. Не волей своего решения они вышли из прежнего жизненного уклада, но они уже вышли из него, и возврат к нему был невозможен, хотели бы они этого или нет.

Какой-то новый психический опыт, еще не всплывая к поверхности сознания, уже начал свой тайный путь, он уже коснулся подспудно, незримо разных сторон внутренней жизни. Люди еще думали, что они любят по-прежнему, по-прежнему чувствуют красоту природы и гармонию искусства, в них еще действовала инерция прежних отношений к миру, но прежнего уже не было. Им еще казалось, что они только случайно и временно утратили свое прежнее. Но они утратили его навсегда. Самым удивительным было то, что в большинстве своем они, в сущности, и не очень горячо стремились к утраченному, словно как-то не надеялись, что оно осчастливило бы их.

Не только для исторической оглядки, но даже и для простых летописных отметок не оказывалось нужных условий. Хронография тех дней писалась на макулатурных клочках дефицитной бумаги, и писалась не в виде долгосрочных каких-нибудь документов а в форме коротеньких справок на потребу текущего дня, с не всегда достоверными номерами «входящих» и «исходящих», проставленными наспех какими-нибудь случайными канцеляристами, вовсе не предвидевшими, что, может, когда-то эти бумажки улягутся в архив и руки будущих историков будут держать их, вопрошая как нелицеприятных свидетелей о том времени, которое само было еще только живую историей.

И может быть, рассматривая эту разнокалиберную фактографию листов, где на одной стороне даже не зачеркнуты были записи торговых ведомостей какого-нибудь дома Макушина или Алафузова или отчета консистерской типографии, а на другой — торопливые тексты делегатских мандатов, скажем, на Всесибирский съезд работников искусств, или командировочных удостоверений на пленум в Дом профсоюзов, или на право ходьбы по городу после комендантского часа, или еще билеты на спектакль в тюрьме, поставленный силами заключенных, — билетки, отпечатанные на изнанке маленьких конфетных оберток, лицевая сторона которых была украшена сентиментальным голубеньким цветком, — будущий историк почувствует вдруг пошвисты ветра далекого времени, и тесноту, и волю, и голод, и мужество тех дней.

И, ощутив живой голос былого, он пожелает снова войти в воды той реки, куда не входят дважды.

Взволнованный возникшим виденьем, энергией его дыхания, он захочет воссоздать его образ на широком полотне картины тех дней, укрепить и утвердить этот образ обильем и многосторонностью фактов, их аналогиями и параллелями и на основании этих обильных данных вывести свое суждение.

Но нынче намеренья и желанья руководят сейчас мною, счевидицей и участницей тех дней. Не широкое полотно картины хотела бы я предложить читателю, а лишь некоторые фрагменты этого возможного полотна, наподобие того как делают современные издательства, когда сопровождают репродукцию какой-либо картины ее фрагментами в укрупненном масштабе, чтобы, когда на них направляется фокус внимания зрителя, в них можно было бы уловить те черты, которые обычно ускользают, заслоненные более обширным целым. Недаром сейчас этот метод показа приобретает все большее значение: в таких увеличенных деталях обнажаются те живые эмоциональные черты, которые давали импульсы к осуществлению общего замысла.

И вот мне хотелось бы здесь, на страницах этих воспоминаний, дать некоторые приметы того времени, участницей которого я была. Когда не выцветшими архивными

памятками были описанные мною мандаты, билеты и справки, а живыми деловыми ежедневными спутниками.

Томск — мальстрем

Лавина событий и перемен широким потоком шла через города и страны, метя их своим знаком. Не каждое место получало отметину одинаковой силы. Но города Томск был ею отмечен знаком особенной яркости.

Большой, богатый, провинциально-тихий город, стоявший несколько поодаль от транссибирского пути, он как бы приблизился вдруг к магистральному ходу лавины, сделался вдруг могучею воронкою мальстрема, водоворота, втягивающего в свое жерло толпы людей, попавших в сферу его притяженья.

Люди, наполнившие просторные улицы спокойного провинциального города, изменившие весь его облик, весь крепкий уклад его жизни, уроженцы различных мест, не знавшие Томска, незнакомые друг другу, эти люди вошли сюда совсем по-особенному: не как чужие и не как свои, не как гости, не как случайные пришельцы и не как новоселы, а скорее как посланные или позванные судьбою ради какого-то дела. Они вошли и жили здесь жизнью большого напряженья, повышенной тратой энергии. И воздух в то время, казалось, стал ярче, и ветер звонче, и время несло быстрее..

Они появились как стая птиц. Не тех перелетных, что летят ежегодно, повинуюсь смене сезона, привычной трассой на свою вторую родину, но скорее как те кочующие стаи свиристелей и снегирей, которые в одно прекрасное утро являются вдруг среди снежных деревьев, перекликаются дружно между собой, не вьют здесь гнезд, не ищут долговременного приюта и, насытив воздух красотою и пеньям, исчезают опять.

Так и те внезапные пришельцы, столь решительно и быстро наполнившие Томск, проделав здесь какую-то работу, покинули город и уже не вернулись. Они и не могли бы вернуться: через каких-нибудь два-три года и они и город уже стали другими. Когда они ушли, что-то окончилось, минуло; кончился какой-то период, изменился пласт времени.

Как художник, строящий картину, ощущает градации планов, расчленяющих и конструирующих ее пространство, так тот, кто всматривается в движение времени, в развитие событий, угадывает в них какие-то деленья и межи, ищет признаки, которыми обозначаются различия в их зонах, и ставит вехи на рубежах переломов, чтобы картина истории соответствовала реальной силе и яркости.

Столица Снега. Город Мора

На первый лист заглавным словом
Я ставлю Смерть.
Перед порогом жизни новой —
С косою Смерть.

В городе уже не было широких улиц, просторных тротуаров, обсаженных деревьями. Пешеходы шли в глубоких карьерах, прорубленных среди толщи сверкающих снеговых пород, они шли каньонами, ущельями, где полосы солнечного света перемежались синевою теней такой глубины и силы, какие возможны только в мире непомраченного снега. Древность, периоды напластований этих пород обнаруживались слоями различных оттенков на вертикальных отвесах прорезанных стен.

Новая архитектура, богатая по вариации форм, разнообразных, но выдержанных в одном и том же стиле, созданная из одного геологического материала, явилась на смену старой, которая сейчас не шла уже в счет.

Тяжелые прогибы, округлые выступы, карнизы и башни, лепные украшения из снега и льда, своеобразно подчеркивали какую-нибудь раньше никем не замеченную деталь, отмечали ледяной бахромой узенький карниз над крыльцом, бровку дверей, наличник окна.

Люди, взбаламученные тревогами, бедами, переменами, надеждами, уже не боролись с победно вошедшей стихией зимы, они просто стали жить с ней бок о бок.

Но людей было много в этом городе снега, разных людей, и живых и мертвых. Потому что Город Снега был также и Городом Мора. Три грозных тифа — сыпняк, брюшняка и возвратный — справляли здесь свой пир и Пляску Смерти. Мертвых было так много, они как-то медлили уходить, казалось, продолжали участвовать в жизни, существовали бок о бок с живыми, и те не чувствовали себя отгороженными от них. А в некоторых семьях их было даже больше, чем живых. Они присутствовали везде:

в обрывках разговоров встречных и в закоулках лестничных клеток. Бывало, жесткая рука мертвеца, высунувшись из-под одеяла с носилок, хватала за рукав или шарф проходившего мимо пешехода на тесной улице.

На людном перекрестке у площади я как-то увидела издали лоточника, который нес перед собою на лямке, надетой на плечо, лоток, наполненный яркими бумажными цветами. Никто не оборачивался и не покупал у него этот пестрый веселый товар. Подойдя ближе, я увидела, что это был не лоток, а маленький гробик, в котором лежал укрытый розанами младенец. Яркое солнце весело и безжалостно освещало его синее личико и неподвижное лицо его отца.

В другой раз, переходя эту же улицу, я увиделадвигающуюся по ней похоронную процессию. Я присоединилась и прошла с ней квартал ради той бодрящей силы, которой было заряжено это мрачное шествие. На лафете стоял гроб; шедших за ним людей осеняло поднятое на высоких шестах черное полотнище, на котором твердыми крупными буквами было написано: «Мы отомстим!» Это была смерть война, смерть бойца, смерть, с которой можно бороться, которой можно грозить, которую можно победить. Люди молчали. Но трубы, отдохнув, запели ликующе и грозно. И те, кто слышал, вздохнули с облегчением и надеждой.

А какие лица встречались иногда в толпе!.. Казалось, они больше чем наполовину еще принадлежат Тифу и Смерти и потому стесняются в обществе живых. В знак их крещения смертью у них были бритые головы и желтые лица. Но главным знаком их было особенное выражение глаз, в котором нельзя было обмануться и которое делало их всех такими сходными между собой: они смотрели так, как будто мир живых был позабыт и они старались и не могли его вспомнить и все боялись поэтому сделать какую-то неловкость или промах. Они жались к стене, уступая дорогу, и странно пошатывались, если на них смотрели в упор.

Один из их мира однажды пришел и ко мне. Он стоял в передней, дожидаясь, пока меня позовут, бритый и желтый, в худой шинели, как все они. Мне не забыть, в какой растерянной и жалкой улыбке задрожало его лицо, когда он увидел, что я не узнала его. Он поцеловал мне руку холодными лиловыми губами так нерешительно, точно боялся, что я в испуге отдерну ее. Да, трудно было поверить, что это действительно он — недавний удачник и баловень счастья, дерзкий игрок судьбою. Но когда он рассказал, как он лишился всего, даже своего имени и сходства с самим собой, я увидела, как прежняя беспечность и удаля опять засквозили в его улыбке. Он положил на стол исхудалые слабые руки и сказал:

— У меня не осталось ничего, кроме жизни. Но я жив, и скоро у меня будет все опять.

Он был из тех, для кого встреча со смертью только досадная случайность, и он уверенно горопился снова занять свое место среди живых. Возможно, уже через месяц у него стали курчавиться волосы и бледность заменила желтизну на щеках. Возможно, появились и какие-то удостоверенья, карточки и другие признаки, утверждающие его право на жизнь. Если только он действительно остался в живых. Я ничего о нем не слышала больше.

Мне случалось не раз в те дни слышать рассказы о том, что происходило с заболевшими тифом. Тиф нападал на свою жертву решительно и быстро, не тая своего лица, и захваченный им понимал очень скоро, что с ним произошло.

И так как то время было временем великого переселения и передвижения народов, то редко кого болезнь захватывала дома. Почувствовав жар в крови, заболевший устремлялся домой, к семье, к близким, которые теперь как раз были где-то далеко и часто даже неизвестно где. Но теперь ему начинало казаться, что он очень точно знает, где они, и, торопясь, пока еще не потерял память, он втискивался в какую-нибудь ледающую теплушку поезда. Иногда он все-таки потом возвращался к жизни и, выйдя из беспамятства, оказывался в каком-нибудь чужом городе, оборванный, голодный, без документов, без права на жизнь, которая вернулась к нему. Но чаще его снимали с поезда уже без признаков жизни на какой-нибудь случайной станции в пути. Хоронить зимой было трудно, оттепелей до весны не предвиделось, и мертвых складывали штабелями вблизи вокзала.

Вот сейчас я вспомнила о том, как спустя двадцать лет мне еще раз пришлось услышать о тех мертвецах.

Был сорок первый год, шла Отечественная война; я причесывалась в парикмахерской, когда завывла сирена.

- Пойдете в бомбоубежище? — спросил мастер.
 — Пожалуй, нет.
 — Не боитесь?
 — Боюсь.

— А я вот не боюсь. Потерял страх, и все тут. А со страхом, может, как-то и лучше было... И знаете, как я страха лишился? Это в двадцатом году было, в Томске или в Тайге, сошел я с поезда ночью, стал пробираться к вокзалу, чтоб в помещенье согреться. Освещения нет, ну, ощупью иду вдоль поленницы и пальцы завязил в сучки. Тут кто-то фонариком осветил, и вижу: это же не дрова, а покойники сложены... И я, значит, рукою кому-то в рот угодил... Навалено их там было видимо-невидимо. Ну как о них, знаете, думать и волноваться? Это одного можно очень жалеть, а если их сотни? На всех жаленья не хватит. Тут уж другой получается смысл. Попробуй пожалей такую ораву! Это же как мошкара. Вот я о себе как о мошке подумал, без сочувствия; муторно стало, но только без страха.

Парикмахер этот был крепкий человек лет шестидесяти, деловой и дельный; может, и выпить не дурак, особенно если с балычком.

Голоса из метели

Но вот сквозь завесы метелей на улицах города стали все чаще видны расклеенные здесь и там большие листы плакатов, объявлений, написанных наспех корявою кистью, призывы к трудовому объединению, к товариществу, к союзу. Они были как дружеские руки, протянутые из сумрака вьюг, как голоса приезда и бодрости. И люди, пробравшиеся сквозь буран, приостанавливались, задерживались около них, стояли кучками, не торопясь уйти, и перечитывали слова, внушавшие надежду.

На одном из них я прочла: «Товарищи художники! Идите на общее собрание секции Изо! Оно будет там-то...»

И я пошла на их зов. Их было несколько — таких собраний, на которых я тогда побывала. Люди там были все незнакомые, кажется, и друг с другом большинство из них встретились впервые. Шли горячие толки о планах и надеждах своей работы; все было одушевлено и деловито.

Я вступаю в строй

Был темный вьюжный вечер, когда я пошла на одно из таких собраний, происходившее в театре под старым названием «Интимный», которое так мало соответствовало его теперешней роли.

Переходами полутемных коридоров и лестниц я пробралась на третий этаж и пошла к освещенной двери, откуда уже издали доносился радующий успокоительный гул голосов. После холодного мрака он казался отрадным, как мирное гудение пчел. Оказалось, избирали Правление секции Изо. Кто-то назвал мою кандидатуру, и мне предложили уйти за дверь.

- Но меня же никто не знает, — сказала я.
 — Не беспокойтесь! Идите, — ответили мне сурово.

Вернувшись в зал, я узнала, что меня выбрали. Так я вступила в строй и получила воинское звание Председателя секции.

Когда я уходила, художник Берингов сказал:

— Давайте я вас провожу, а то вы заплутаетесь, пожалуй. Нет, не в эту дверь, я вас провожу иначе.

Внизу у выхода он спросил:

- Вы сюда как шли? Наверное, через зал с декорациями?
 — Да, кажется.

— Ничего не заметили там? Я вас нарочно туда не пустил: покойники там за декорациями... Померли какие-то тифозные. Я шел и наткнулся впотьмах. Завтра уберем обязательно...

На улице на углу толпились люди, читали только что расклеенные листы, большие листы мрачного ржаного цвета с крупною черною надписью — в ней был объявлен расстрел Колчака. Качался фонарь на ветру, летел косой снег.

Люди читали молча, угрюмо. Кто-то перекрестился, кто-то громко сказал рядом: «Упокой, Господи, души усопших раб твоих».

— Злодеев не жалеи, отец! — строго промолвил другой.

Берингов, проводив меня, попросил позволения прийти послезавтра в гости.

Розовый дом с белыми колоннами

Томский отдел Народного Собрания, или попросту Наробраз, помещался в красивом ампирином здании, розовом, с белой колоннадой фронтона, бывшем Архирейском Доме, стоявшем в центре Томска.

В белом большом кабинете бывшего Архирейского Дома за большим столом, покрытым зеленым сукном, в больших одинаковых креслах с высокими овальными спинками, обтянутых темно-малиновым штофом, что придавало обстановке гармоничность, сидели два апостола просвещения, заведующий и его заместитель. Они были объединены не только общим стилем обстановки, но и внутренним сходством. Спокойные, немногословные, они внушали уважение и доверие своей задумчивой тишиной. Как я жалела потом, что не запечатлела их тогда на двойном портрете, задуманном мною, к которому у меня уже был подготовлен эскиз на листе картона. Может быть, он достовернее слов смог бы воплотить какую-то духовную грань духовной культуры того времени.

И лица, и одежда, и обстановка, весь облик этих людей говорил языком какого-то уверенного строгого стиля. В их обликах было то, что можно было бы назвать иконописностью в смысле не случайного, типического отбора всех черт, озаренности каким-то своим особым содержанием. Однако то не была иконописность, утвержденная неким мастером древнего письма, она сближалась скорее с портретными приемами Крамского, изографа русской интеллигенции.

Да, тут была еще живая связь с недавней эпохой тех самоотверженных учителей, что шли из столиц к некрасовским школьникам, упрямым и трудолюбивым маленьким мальчикам, я к ясногоглазым, терпеливым школьникам Богданова-Бельского, но было уже и что-то новое в широте задач, в новом государственном оптимизме, в новом безмерно возросшем и растущем объеме знаний. И это новое уже создавало иную формацию духовной жизни, в чертах ее проступало новое качество монументальности в смысле типичности, опоры индивидуального и частного на широкую основу общности.

В задуманном портрете, как и в живом его прототипе, этому соответствовало сходство одежды обоих сидевших в одинаковых креслах. Как бы исторически узаконенными, классически утвержденными были их темные сатиновые косоворотки под темными пиджаками, строгая демократическая одежда — форма работников «Третьего фронта», как именовали тогда фронт просвещения. Может быть, и самая эта одежда, как и элементы обстановки, была бы уже почти достаточной характеристикой того портрета. Но лица тех, кто занимал посты в этом деловом кабинете, развивали и усугубляли содержание этой характеристики. Слева сидел узколицый человек с узкою черной бородкой, с черными прямыми волосами. Справа — светлолицый и светловолосый его товарищ.

Одной из важных для художников черт в работе тогдашнего Наробраза была вера работников просвещения в большую культурную и этическую силу искусства. Руководители Наробраза не предъявляли художникам узкоутилитарных требований, но представляли подотделу Искусств и секции Изо большую автономность в их делах. Это доверие было основано и на понимание самого характера работы художника, и на общности политических взглядов, так как именно художники, и в основном молодые художники левых направлений в искусстве, с первых же дней восстановления советской власти в Сибири стали работать вместе с ней. Притом же часть этих художников, как, например, Берингов и Котов, находилась в подполье в период владычества Колчака.

Эта же вера в значение искусства была и у многих рядовых работников просвещения. Мне случалось бывать на конференциях уездных работников культуры, собиравшихся в Наробразе, выступать иногда с докладами на них, и я помню, с какой горячностью эти уездные и сельские просветители выражали надежду на свое приобщение к культуре, которая для них была связана с наглядностью живописного изображения. Это шло не «сверху», не из лозунгов, это шло из самых глубин, из уздов.

Я в докладе упомянула:

— У нас нет материалов, холста.

— А вы только скажите, вы не знаете, как вас там ждут. Ведь бабы снимут свои холсты со станков.

А другой воскликнул еще горячее:

— Да они юбки отдадут вам для живописи.

Такова была вера, что через искусство они приобщатся к культуре.

В такой же большой комнате, этажом ниже, помещался подотдел искусств. За столом заведующего сидел архитектор Засышкин. Сдержанно-подвижный, тихо-энер-

гичный, он всегда внимательно, оживленно и дружелюбно разговаривал с посетителями. Приставив ладонь к здоровому уху, другим он не слышал, он оборачивался к собеседнику медленно, плавно, как цветок поворачивается к солнцу. И это постоянное напряжение, дававшееся ему, вероятно, нелегко, накладывало на него налет усталости и спокойной грусти.

А наверху, в мезонине, — о, там было все по-другому! Туда вела очень узкая, очень неудобная, изгибистая, скрипучая лесенка. Длинная, загроможденная, темноватая комната и примыкавший к ней совсем темный чердак. Здесь находились, можно бы даже сказать, здесь таились владения отдела охраны памятников искусства и старины.

Отделом ведали пылкий, углубленный в свои мысли архитектор Шиловский и тайственный художник Берингов. Раза два или три в неделю туда поднимался по темной лестнице, особенно жутким скрипом возвещавшей его приближение, консультант профессор Борис Леонидович Богаевский, зрудит и фантаст.

Берингов был конспиративен и по своей завкаске художника, привыкшего жить какими-то своими необщими и необыденными ходами творческой мысли, и по своему прошлому подпольщика-революционера; высказывания его были обычно решительны, резки и мгновенны. Человек науки, Богаевский, естественно, пользовался другими формами общения. Притом же он был ироничен, сух и мало склонен вникать в чужую и чуждую ему психологию.

— Опасный человек! — сказал он мне про Берингова. — И взрывчатый какой-то, и потаенный, и подозрительный...

— Да, он нелегкий человек. И даже может быть опасным. Но по природе он и доверчив и добр; только, кажется, слишком чувствителен и обидчив и потому слишком осторожен.

— Да? — сказал Богаевский. — Возможно, возможно.

А Берингов говорил о Богаевском решительно и кратко:

— Паук!

Но Берингов был, как и я, человек государственного настроения и был готов терпеть сотрудничество с пауком ради пользы дела. Кроме того, Берингов был любознателем, а Богаевский много и не скупно давал ему от своих знаний.

На чердаке Розового Дома

Ромул и Рем взойшли на гору,
Хотм перед ними был дик и нем.
— Здесь будет город, — промолвил Ромул.
— Город как солнце! — ответил Рем.

Н. Гумилев.

Мансарда и большой чердак розового Архирейского Дома были загалены хламом. Белый свет бессолечного зимнего дня сквозь немывтые, тусклые окна освещал нагромождения и обвалы бумажного хлама. На оконных стеклах не было инея, так как мороз был равен по ту и по другую их сторону. На белых грудях лежала пыль, как матовый снег.

Будущие хранители народных сокровищ, закладчики фундамента для будущих музеев и академий, вошли сюда и осмотрели свои владенья.

— Здесь мы поставим столы, — сказал заведующий отделом охраны, художник Берингов.

— Здесь будут большие шкапы, — сказала председательница секции Изо, художница Верига.

— Здесь будет цирк, — промолвил Ромул, —
Здесь будет дом наш, открытый всем.
— Но надо поставить поближе к дому
Могильные склепы, — ответил Рем.

— Зачем же склепы? — недовольно сказал Берингов, не любивший упоминаний об очень близко угрожавшей ему всегда смерти. Он носил в себе туберкулезные бактерии со времени трехлетнего пребывания в тюрьме.

— Так ведь Ромул же убил Рема, — сказала Верига.

— А, да, — вспомнил Берингов, замолчал и задумался безмолвно, с привычной ему непроницаемостью революционера-подпольщика. Задумался, вероятно, не только о давнем воспоминании, но и о происходивших рядом событиях, которые уже начали себя

обнаруживать. Социал-демократы сменяли социал-революционеров здесь же, в одних и тех же учреждениях.

И они принялись за расчистку помещенья, груза макулатуру и мертвые залежи брошюрок консistorского издательства в корзинки и мешки и вынося их по узкой винтовой лестнице в сарай во дворе.

И так как я делала в то время эскиз плаката с лозунгом «Победив, мы строим!», на котором, осененный пальмовою ветвью победы и мира, кузнец ковал крестьянину косу, то во все время нашей работы я ощущала над собой торжественное и светлое веянье той же пальмовой ветви.

Когда, устав, мы сели отдохнуть на еще не истаявший бумажный сугроб и Берингов, вынув из кармана полшубка, поделился со мной куском холодного черствого хлеба, я спросила:

— Можете ли вы чувствовать радость жизни вот сейчас, среди этой пыли, разрухи, голода?

— Да! — сказал Берингов и весь оцепенел в неподвижности от напряженной силы, которую он зарядил в это слово. И скрытое лицо его стало еще более непроницаемым. — Я весь в радости. А в вас и всегда — праздник! — прибавил он. — Только устали, поди?

— Какие тяжелые они, эти маленькие брошюрки, — сказала я.

— Чугун! — подтвердил Берингов. — Я вам хотел сказать еще насчет вашей совы.

— Какой совы?

— Да натюрморта вашего. Перышки у нее надо бы сделать пожестче и определеннее, как лучи, маховые перышки то есть. Я вам это тогда же хотел сказать, да постеснялся... И лессировкою вам бы это по ним пройти... Хотя Пюви де Шаванн вам этого не одобрил бы...

— Конечно, но ведь я ему не стану показывать.

Берингов рассмеялся.

ГОД ПАМЯТИ. 1910—1990

В номере одиннадцатом читайте:

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Из неопубликованного

Неизвестные страницы «Войны и мира». «Искания истинной веры». «Вопросы духобору». «Письма в копировальных книгах».

ВЛАДИМИР МИКУШЕВИЧ

*

ЗВЕЗДОЗВУК

Мы не заметили, как стихи вытеснили Стих. Никак нельзя сказать, что «Слово о полку Игореве» написано стихами, но это не проза, это именно Стих. Стих и Слово синонимичны в древнерусской поэтической традиции. «Слову о полку Игореве» сопутствует «Стих о Голубиной книге». Стих и Слово восходят к Божественному Слову, которое было в начале. Изначальное Слово воспринималось древними как Имя Божье. Во всех именах присутствует звук или хотя бы отзвук этого истинного Имени. Великий лингвист Фердинанд де Соссюр усматривает в древней поэзии главную заботу автора — подражать слогам священного имени.

Отсюда торжество звука над отдельными словами. Звук преодолевает их рознь, выявляет надсловесный смысл, приближающийся к сверхслову. Так возникает анаграммный стих, основывающийся на осмысленном звуке. Звук заведомо выходит за пределы так называемого благозвучия. Все «Слово о полку Игореве» — в сущности, единый звукоряд, в котором «слово — соловей — слава» совпадают со светом, торжествующим над тьмой. В анаграммном стихе звуки уподобляются звездам. Они образуют осмысленные созвездия, астрологические конstellации, из которых исходит пророчание и пророчество.

Задолго до того, как древнейшие хроники впервые упомянут Русь, у ветхозаветного пророка Иезекииля появляется слово «Рос» (великий, главный), таинственным образом предвосхищающее судьбы Руси — России. В Апокалипсисе Святого Иоанна Богослова засвидетельствовано послание к Ангелу Смирнской Церкви. Литовско-французский поэт Оскар Милош прочитал в слове «Смирна» имя византийской императрицы Ирины, покровительницы православия, истолковав послание как пророчество о гонениях, которым Русская Церковь подверглась после 1923 года. К этому можно прибавить, что Ирина означает «мир», а Смирна соотносится со смиреннем, высшей добродетелью именно Православной Церкви. Вот уже четыре века историков озадачивают астрологические пророчания Мишеля Нострадамуса. Между тем они определяются не только небесными, но и словесными созвездиями. Нострадамус называет город Варенн, где во время Французской революции будет арестована королевская чета. В сбывшемся пророчании, кроме астрологических данных, сказывается и созвучие города с французским словом *reine* (королева).

Анаграммный стих преодолевает не только словесную, но и языковую рознь. Он торжествует над вавилонским смещением языков, возвращая нас к единому райскому языку рода человеческого. Не знаю, подтвердит ли когда-нибудь филология родство слова «Русь» и санскритского «Сурья» (солнце), но для меня поэтическая истина «Солнце — Русь» — Ярилин ярус мироздания. Соединение Стиха и Слова создает славянскую стихиру, позволяющую по-новому раскрыть вечную проблематику современности.

Для многих христианских мистиков была неприемлема идея ада, вечной казни, несовместимой с Божественной Любовью, как им казалось. Звуковой анализ показывает: воистину существует лишь Рай, вечность, которую не Бог, а человек превращает в ад, злоупотребляя своей свободой. Адрай — одна и та же Божественная вечность. Она будет раем для тех, кто принесет в нее любовь и творчество. Она будет адом для тех, кто отравит ее душевной пустотой, завистью и ненавистью.

АДРАЙ

Стихира

Кто речет «да», тот речет «ад», тогда как «нет» значит «ныть», ибо плоть — се сорная сныть, которой не прополоть, ибо плоть — это столп толп, а ныть начал Ной, но в ответ прозвучало верховное «да», а да — се вода, сиречь во ад; ноет Ной, мол, на нет и суда нет, а в ответ речено: нет ничего, кроме суда, и спасенье — только суд, но... супротив ков чек века и во ад не плывет лишь ковчег: стар ад, а Ной — новь, и поют на ковчеге: тарара, тарара, и возникает Арарат, что означает стар, а рад; когда ад рад, образуется квадрат, а квадратура круга — квота поругания, а квант в квадрате *vanitas*¹, сиречь вони таз, а вонь — это новь, посему воняет падалью; где падаль, там прогресс; навоз — новость, наваянная навью; кто питается падалью, тот говорит: «Подлей! Подлей!» — подлей, да некуда: лишь подлейший хочет продлить потоп, для коего Лот — лотос, но Лот пролил пот, и вот уже Лот — плот, сиречь плоть, а плоть плодится; где плоть, там толпа, а где толпа, там суета, а где суета, там столп, а где столп, там срам, а срам — это Марс, а где Марс, там морс для упыря, а где упырь, там тыр-пыр, голубь мира, отсюда пырей человечества; стало быть, срам — се мразь; сперва тарара, потом тарарам.

Сперва сперма, потом стерва; сперва Шумер, потом шум эр; сперва Египет да Урарту, потом гип-гип ура! Сперва Элогим, потом Элада, сиречь даль ада, а в аду Воду, эфиопский удав, но супротив удава Давид, чей пращур — Диво, и от пращура у Давида праща, а сам Давид — пращур прощения.

«Я, Давид, ядовит» — эпитафия самозванцу, герою времени, ибо время — для человека вред, пока Давидов род — угроза для угрозыска, и кричат «ура», когда пал Урия, а Бетшеба значит «тебе, шеф», но шеф в бешенстве, когда идет нашествие шестисот шестидесяти шести ползучих лазутчиков, чье призвание мазать лазурь, отсюда мазут и мазурики, а тебе, шеф, гешефт: кровь за кровь, и, стало быть, Бетшеба — гейша, когда Давид пляшет, приговаривая: «Аве, Гея», Аллилуйя, мать сыра земля, но Бетшеба при этом — Вирсавия, сиречь вирус царствия, а супротив вируса Русь, а Русь — се Сурья, Ярилин ярус мироздания; ниже Сурьи — мрак, а во мраке — храм, а храм строил Соломон, а Соломон — якобы саламандр, но и Соломон — самозванец, ибо с ним Суламифь, сиречь миф сулит, а посул — посол солнца, замещающий само солнце; когда солома Соломонова горит, саламандра мандрагорой давится, и у нее Давид поперек горла; когда Саул — посол несбыточный, Давид — пастырь, Саул — пас; Давидовы струны — Ураново руно, и на Сауловой улице урон; Давид — вития, и Давид — вид ада для Саула, а без ада вид — Идея, и Давидовы очи цвета радуги, но и в радуге угадывается ад без Ра, и от вируса Вирсавии к радуге примешивается мрак; у Давида рать, и не для Давида храм; посему кто речет: «Я Давид», тот ядовит, ибо я без Яхве — ад.

Но и радуга — Арарат, а Урарту — утрата; Арарат и радуга — врата, а врата без Ра — опять же ад, ибо Ра есть агс, творение и горение, посему Ра — яр (посему симметрия), а Яр — крутояр, оберег берега, Яр — навес нови, Яр — хрящ оргазма, коего лишен Уран, ибо Уран — рана, вечно ноющая, хотя Ной исцелен симметрией Сима и Яфета от Хама хронологии; Яр — *das Jahr* (время) и Яр — ярд (пространство); и то и другое — Уран, однако Уран — вран, клаюющий падаль, ибо Уран — врун без рун, а руны — уния супротив уныния; Яр — ярл эроса, Яр — ярлык лика, Яр — ягуар, ибо ягуар — гуру, в коем Яга и гурия, но ягуар — фигура фиктивная, ибо ягуар — Фигаро, то Яга, то гурия, а гурия — в прошлом фурия, а Яга — Гея; Яр — Арий, рассекающий Бога на Отца и Сына, а последователи Ария — готы, а Год — се Времябог;

Год — опровержение времени; посему от готов — Гёте, сиречь Итог, ибо Хвауст — хвост кометы, а комета — метакод, а метакод — Константа Кедров, при которой Яр есть рай, ибо Яр — соитие времени с пространством, когда «да» есть ад, но ја тоже «да», я — последняя буква в аллилуйя, а аллилуйя — истинный алфавит, сиречь вид альфы, идея Я, а Я — се яд без Бога; говорят «яд, яд», и выходит «дядя» вместо отца, а с Богом Я — Яхве, стало быть, Бог не без я.

«Да» — это «я», а «нет» — это «ты», а ты — это тын, за которым рай, ибо Яр и я на ты, но из я изъян, зато аз всегда за; атом — ад omnis², отсюда всеадность бытия; посему повторяют «ом», но ом — это homo³, стало быть, повторяют, «се человек», а homo — хам, ибо homo из гумуса, отсюда хамунизм, но притом ом — это ум, а умно умножение, отсюда ум-и-рать; ом c'est le mot⁴, отсюда салам и отсюда же Соломон; его нарекли Соломонстр, но это клевета; le mot c'est la mort⁵, однако Соломон — это не Черномор, а Беломор, точнее, мор на Соловках; а Соломон — Словоман или Словомаг, потому Соломон и воздвиг храм, только храм его хромой, ибо где Соломон, там ярмо мудрости, а ярмо — c'est le mot. «Яр-мо», говорят, чтобы не сказать «Бог — слово», ибо le mot — ломоть Слова, участь вместо причастия, а вместо части omnia, но не значит ли тогда, что ад все? Но все — это свет, и если ад — свет, то ад — свят, но стоит сказать «яр ад», и выходит «я рад», но лишь дурак аду рад; «я рад» значит «дар я», а Дарья — госпожа Вселенная, где все вес, а вес — это век, а век — это весть, а весть — это свет, а яр — кость света; отсюда свечность: кто яр, тому рай, кто яд, тому ад, но когда говорят «умирай», подразумевают «в уме рай».

Два тоже в ад, однако три — се ритм, а ритм — Митра, а Митра — друг, а где друг с другом, там третий — дар, посему древо райское Драй⁶, а ступень к нему одр для одра, научившегося драить лубочную палубу любомудрия на ковчеге свечности, а по волнам светового потопа до сих пор бегут три царца царства Ratio: первый царец по имени Охнеты, второй царец по имени Охион, третий царец по имени Охилия; за кого рыбы, а за них «Бы», а где Бы, там Ох — Бог, посему первый царец Бохнеты, второй царец Бохион, третий царец Бохилия; бегут по волнам, пока кричат: «Адрай! Адрай! Адрай!», ибо Адрай — се ядро.

¹ Vanitas — суета (лат.).

² Omnis — всякий, весь (лат.).

³ Homo — человек (лат.).

⁴ C'est le mot — вот слово (франц.).

⁵ Le mot c'est la mort — слово есть смерть (франц.).

⁶ Drei — три (нем.).

Д Н Е В Н И К П И С А Т Е Л Я

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

...КОЛЕБЛЕТ ТВОЙ ТРЕНОЖНИК

Бесчастный наш Пушкин! Сколько ему доставалось при жизни, но сколько и после жизни. За пятнадцать десятилетий сколько поименованных и безымянных пошляков упражнялись на нём как на самой заметной мишени. Надо ли было засушенным рационалистам и первым нигилистам кого-то «свергать» — начинали, конечно, с Пушкина. Тянуло ли сочинять плоские анекдоты для городской черни — о ком же, как не о Пушкине? Зудело ли оголтелым ранне-советским оптимистам кого-то «сбрасывать с корабля современности» — разумеется, первого Пушкина.

Но даже в самые жуткие годы, к ранней пятилетке, уже стали «революционные идеалисты» очунаться. И даже в печалославной советской «Литературной энциклопедии» (наше поколение учили черпать мудрость из её столбцов, затая дыхание получать в читальнях), хотя и прокатывали Пушкина через разрыв с феодальной литературой, связь с капиталистическим развитием, тревогу за будущее своего класса, боязнь демократических низов, то прогрессивный романтизм, то романтизм реакционный, — но всё ж выводили «включение поэта в нашу эпоху и ценность его для социалистической культуры».

Увы, даже от такого кислого приятия (но, увы же, не от драгоценных классовых ухваток к царю и декабристам) отшатнули литературные оценщики из сегодняшней образованщины. Вот эмигрантский журнал («Синтаксис», № 10) печатает на редкость сердитую статью из СССР «Пушкин без конца» (в смысле: когда же ему будет конец?). Ведь кажется так уже ясно: «вряд ли можно найти что-нибудь более чуждое современному человеку, чем лирика этого поэта», «Пушкин попросту не нужен», — но изумляет жёлчного автора «неожиданная необычайная популярность поэта» и даже «возникший у нас культ личности Пушкина». Впрочем, берётся объяснить, — «надо только отделаться от пиетета перед его гением». Методика будет такая: «светлая сторона личности Пушкина не будет нас здесь интересовать», «незачем касаться того, в чем он был чист и глубок» (ведь не это же нам объяснит, почему его так любят в России через 150 лет), также и — «нас интересует здесь не поэтический дар... Александра Сергеевича», достаточно мерки классово-политической. А вот путь исследования: «Никто не станет теперь отделять психическую жизнь человека от ее физиологической основы» (прямо от писаревских нигилистов). В свой поиск о личности поэта не упустить глумно включить его собственные признания (удобно, пригодится):

И, с отвращением читая жизнь мою...

Бегло накидать уже сильно потрёпанный предшественниками очерк декабристской эпохи, дворянства, общества, да нации, да всей страны («извечное русское холопство», «редкий в этой стране здравый смысл») — и разной грязи об её истории. И вот наконец ответ о сегодняшней популярности Пушкина: он потому близок и понятен нашему обществу, что он такой же предатель! — вот открытие. Пушкин «предал свои убеждения под угрозой тюрьмы и покорился власти, от которой зависело его общественное положение и материальное благополучие. Пушкин был политическим рене-

гатом». В духе стандартной дореволюционной «освобожденческой» непримиримости нам указывается: Пушкину «не пришла в голову мысль, что откровенность с царем постыдна, потому что царь — политический враг». (Ископаемое из слоя тех десятилетий.) И только, де, потому никого не заложил, что его не посадили в каземат. Но Пушкину «надо было образумиться срочно... в одну ночь, примириться с действительностью... или идти в тюрьму».

Не расхлёбывать нам сейчас тут заново неразмесную кашу декабризма. Бойкий оценщик не удосужился даже соотнестись получше с датами. И царствование Александра I совсем не было к Пушкину «снисходительным», как он его называет. И тем не менее уже в его сроки Пушкин испытывает поворот мировоззрения. Можно бы заметить, «Андре Шенье» — написан до декабрьского восстания, Пушкин уже тогда разгадал цену революциям. И «Годунов» со всей его исторической глубиной — создан до. С. Л. Франк писал: уже к 1825 году в Пушкине выработалась «совершенно исключительная нравственная и государственная зрелость, беспартийно-человеческий, исторический, «шекспировский» взгляд», «глубоко-государственное, изумительно мудрое и трезвое сознание, сочетающее принципиальный консерватизм с принципами уважения к свободе личности». И даже та прожжённая советская литэнциклопедия худших начётнических времён отмечала поворот во взглядах Пушкина с 1823, а пушкинское неодобрение декабрьского восстания объясняла хоть «боязнь крестьянской революции», но не лично шкурными же интересами. Далеко же шагнули образованские критики в своих понятиях.

Да это ещё не всё, главный смак нам оставлен на последние странички. Оказывается: женский светский аристократический Петербург составлял личный гарем царя. (Да какие ж у нашего пронизательного исследователя источники? — ну, уже догадались: «послушаем, что рассказывает об этом (проезжий) маркиз де-Кюстин», со слов «одной из своих знакомых, как поступила бы она, если бы царь проявил к ней интерес».) Итак, установлено: «царь не встречал отказа, таких случаев просто не знали». Значит и Пушкин: «продал царю свое перо, а теперь должен служить ему и своей женой... Известный своей гордостью поэт... должен был теперь нести постельную повинность, подобно всем».

Однако не амурный поворот статьи, нет, политико-социальный, и Пушкин тут всего лишь как матерчатая мартышка, главные же громы — к ничтожным современникам, злость и высокомерие автора к ним уже в области забавности, но поскольку он не открыл нам себя, то лишает возможности оценить, насколько сам своею жизнью вознёсся над описываемым стадом. И оттого отскакивают к нему рикшетом его же формулировки: «Культура утрачена до такой степени, что самая утрата ее уже не осознаётся», «человеку свойственна глубокая потребность в самоутверждении... поэтому так интересно рыться в грязном белье так называемых великих людей».

Ах, как предчувствовала Пушкин, написал: «Уважение к именам, освященным славою... первый признак ума просвещенного».

Но появившись эта статья в отроге вольной социалистической публицистики, она и была бы отрыжкой всё тех же классовых аналитиков. А нет, пикантность в том, что её приючает в ограниченном объёме своего журнала Сиявский. Что же тут могло привлечь разборчивого литературного критика?

Это заставляет задуматься: с каким же ведущим чувством были написаны и «Прогулки с Пушкиным»? Берём их в руки. Ещё обложка предупреждает нас, в чём будут состоять прогулки: франтоватость беспечного Пушкина (у него же не было горей) — и основательная огруженность лагерника Сиявского, вероятно прямо с лесоповала: в валенках, стёганой ватной одежде, рукавицах, и всё это внутри двойного обмыка колючей проволоки: вот, дескать, сейчас мы тебя распатроним перед нашим лагерным опытом.

Задачи своей критик не скрывает от самого начала: спешит выразить её глубину юмористическим эпитафием из «Ревизора», а на первой же странице уже включает и в текст как устоявшееся бы суждение о Пушкине: «так как-то всё». Мучительно переборов свою «любовь к Пушкину, граничащую с поклонением», критик однако не сразу переходит к разбору «священных стихов поэта». Начинает он... Да с того же самого вопроса, который мы только что слышали: «нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе», «чем, в самом деле, он знаменит за вычетом десятка-другого ловко скроенных пьес»? И затем — да, с тех самых анекдотов о

Пушкине, затрёпанных, пошлых, они служат как бы научным входом. Вот так трасируется:

— Ходячие анекдоты о Пушкине — Небрежность стиха, расхлябанность работы — Пушкин при дамах, кружение влюбчивости...

Эта череда ходов и не претендует на стройность, и даже избегает её, это — продуманный танец вокруг Пушкина, не проникающий в его ядро, и часть па — меткого подражания, существенных примет, а часть и пустой припляс.

... — Пушкин пародия и развивался вбок — Пристрастие Пушкина к анекдоту — Пушкин умер как мальчишка в согласии с программой своей жизни — Смирение — Универсализм от легкомыслия вальсирующего взгляда...

И как же стыкается ход с ходом? По ассоциациям, часто искусственным, хотя искусным, перескоки с сюжета на сюжет.

... — Содержимое Пушкина — пустота — Пушкин — вурдалак — Беспутный Певец чумного шара...

Ещё более удивившись этому сооружению: не постройка, а как бы прогрызен Пушкин норами и всё больше по нижнему уровню, и система нор так запутана, что к концу мы вместе с эссеистом уже вряд ли помним своё начало и весь путь.

... — Мелочная регистрация жизни вместо её описания — «Евгений Онегин» — роман ни о чём, растительное дыхание жизни — Болтовня как осознанный стилистический принцип Пушкина — Пушкин — родоначальник невыносимого реализма русской литературы...

Тут танцор захрамывает и даже падает на колени:

... — Неуничтожимое чувство истории — Неопровержимое ощущение гармоничности бытия — И оттого — скульптурность, удержание образа — «Магический кристалл», вспышке невоплощённого блаженства... —

и это лучшее место, мы к этому вернёмся. Но затем движение снова уклокочивается —

... — Первая частная персона в фокусе исторического внимания — Семейность и экстравагантное позирование — ... — Преимущества негритянского происхождения — Пушкин равняется на Петра I — Пушкин равняется на Аполлона — Дионисийский восторг «Медного всадника» — Пушкин отрясает свой ничтожный прах в Онегина — Пушкин — это Хлестаков!

Странное... скажем, эссе, я назвал бы его «червогрыз», наиболее точно к его ходам. У него нет смысловой конструкции, оно именно так и строится: начав со сладкого места, прогрызая и дальше лабиринт по сладкой мякоти, а где твёрдые косточки, что не идёт в жвало — миновать. Ни там индуктивного, ни там дедуктивного метода критик нам не предлагает, но ведёт по замышленно запутанным извилям. Противоречия между ходами не смущают эссеиста: вурдалак (с большой экспрессией и пониманием нам передан процесс вурдалачества и его ощущения) — и смирение. У беспутного — полнота гармонии. В пустоте — напряжённое чувство истории. Отрешённый царь поэзии, Аполлон, или земной царь Пётр, «спиной к человеку», раздавливая его, — и Хлестаков... Эссеист увидел в Пушкине и что действительно можно увидеть — и чего уж никак не возможно. Но начальное скольжение идёт у критика легко, обаятельно, и быстро приводит нас к заслуженно ничтожной смерти поэта. Однако танец, на всём пути умело оркестрованный стихами Пушкина, продолжен: цитаты если не всегда к месту по мысли, то к месту по музыке — музыка заимствуется у жертвы, — и, при ограниченном объёме произведения, эссеист возвращается, — не от запутанности своих ходов, но от страсти, — второй раз отбить чечётку над дуэлью и смертью Пушкина, один раз ему кажется недостаточным. «Как ему еще прикажете подышать?»

В подробном лабиринте всего прогрыза чего только мы не услышим, через что только не вынуждены будем переползать. Безответственность, безтрудолюбие, беззаботность Пушкина. Пушкин «органично воспринял вкусы балагана». И эти дешёвые вкусы не могли же не определить и собственного поведения пушкинского ничтожества: «Площадная драма, разыгранная им под занавес... в своей балаганной форме... правильно отвечает нашим общим представлениям о Пушкине-художнике... в крупном любочном вкусе преподносит достаточно близкий и сочный его портрет» — и, через двоечтие, объяснение портрета: пугачёвская притча, что лучше раз питаться живой кровью, чем триста лет питаться падалью, — любимая притча Сталина, много преподанная в советской школе, — вот её и прилепить Пушкину, приём! «Вольно пересекаемое пространство», по которому «скользит, вальсируя, снисходительный взгляд поэта», — «вот его творчество в общих контурах». Наш аналитик вообще любит так — «в общих

контурах» (а то «грубо говоря» или: «продолжая быть может немного дальше, чем (оппонент) намеревался сказать», — многообещающая метода), представить предмет не в его пропорциональности, а в карикатуре, тогда его легче препарировать. «В общих контурах» мы и получаем, что «в облегченных условиях творчества» юноша Пушкин «шалая-валяй, что-то там такое пописывал, не утомляя себя излишним умственным напряжением».

Подкрепим эссеиста примерами: в 16 лет — «Наполеон на Эльбе», «На возвращение Государя из Парижа»; в 17 лет — «К принцу Оранскому», «Боже царя храни!»; в 20 — «Деревня» («Приветствую тебя, пустынный уголок»).

«Легкость в отношении к жизни была основой мирозозерцания Пушкина». Подкрепим и тут: «Безверие» (1817). 18-летний юноша так разветвленно описывает отроги неверия, этих мук, когда

Ум ищет Божества, а сердце не находит...
Во храм Всевышнего с толпой он молча входит,
Там умножает лишь тоску души своей. —

а между тем

Завесу вечности колеблет смертный час,

приводя к открытию, что

Лишь вера в тишине отрадою своей
Живит унылый дух и сердца ожиданье.

В наше время не каждому и в 60 лет доступно такое видение.

«В произведениях (Пушкина) свирепствует подмена, дергающая авторитетные тексты вкривь и вкось». И где ж это «дёрганье»? Мы не ткнуты. (Тут бы и вспомнить критику, если б стояло у сердца: например, гениальное переложение в стихи «Отче наш» и молитвы Ефрема Сирина — вот уж не «вкривь», и вот ещё на что шла лёгкость пушкинских стихов, — кто из поэтов делал что-нибудь подобное?) Совмещал «вселенский замах», «генеральные масштабы» со вниманием к «расположенной под боком букашке», «крохоборческое искусство детализации», «карикатурно мелочен» — в упрёк. (А это — высшая похвала: что художник с равным успехом пользуется и легко меняет дальний и ближний объективы. Такая гибкость послана редко кому.) От Пушкина «повелся на Руси обычай изображать действительность» (раздражённый курсив Синявского). И чем же плох обычай? «Болтливость Пушкина сочли большим реализмом». И такой ещё находится Пушкину упрёк: «первобытная радость простого названия вещи», «повременная регистрация мира», впрочем, «небрежная эскизность и мелькание по верхам» сближала сочинения Пушкина с «адрес-календарём». Особенно допекают критика многословные перечисления в «антиромане» «Онегине»: мол, «взамен описания жизни он учинял ей поголовную перепись», что может дать простой реестр?

Отчего же? Вот, например, простой реестр издёвок, которые успевают нашвырять критик поэту на тесном пространстве своего упражнения (для лёгкости чтения даю абзац без кавычек):

Егозливые прыжки и ужимки. Проворнее оттараторить. В ампула ловеласа... при-быльное циркулирование стихов. Жестикуляция по-обезьяньи. При даме он вроде как при деле. С барышнями... вибрировать всеми членами. На тоненьких эротических ножках вбежал в большую поэзию. Сплошное популярное пятно с бакенбардами. Поэтический стриптиз. (Для дам) незаменимый как болонка, такая шустрая, в кудряшках. Паркетный шаркун. Сколотавший на женщинах состояние. (Хлестаков) — человеческое alter ego поэта. Небесный выходец, скорее бес...

Скорее бес...

А то и просто трунит: «плакать хочется — до того Пушкин хорош», «мы слизываем языком слезы со щек». Впрочем, «возбуждал иногда у чутких целомудренных натур необъяснимую гадливость». И это при том, что Синявский то и дело восхищается Пушкиным, излагая это талантливо, увлечённо, местами ярко, однако эпитеты выдержаны так, чтоб и похвальная форма грязнила бы поэта. Нам предложено такое условие игры: сквозная двусмысленность, повсюду искать порчику или даже искусственно её создавать.

Теперь о пушкинском творчестве:

(Левовское) «искусство в производе». Сам не заметил, как стал писателем, со-сватанный дялюшкой под пьяную звёздочку. Расхлябанность и мгновенное решение темы. Слабость к тому, что близко лежит. Его понесло. Опалевший автор. Мчался давить мук.

Порожня тара. Пушкинская лужа (наплаканная Станционным смотрителем). (Его) болячка исключала сколько-нибудь серьёзное и длительное знакомство с действительностью. Работал как фокусник... если правая (рука) писала стихи, то левая ковыряла в носу. Подсовывает читателю заваливающий товар. У него было правило не отказываться от дешёвых подачек. Строфа его... достаточно ординарна и вертится бесом, не брезгуя... ни примелькавшимся плагиатом, ни паждками... рифмами. Его бессмысленно звонкие строфы. Кто ещё эдаким дуриком входил в литературу?

Или в литературную критику?..

И это тянется через всё вертлявое сочинение, хлещет на каждой странице, таков — фон исследования. Зачем эта цепь кривляний, как она идёт к делу? Ею ничто не решится.

Постепенно мы начинаем понимать, что это и к чему. Критик увидел надёжный пятячок, на котором чем громче тарелки бить, тем и сам слышней. Пушкин для него не столько предмет, сколько средство самопоказа — своих прыжков, ужимок и замираний. Но при этом непоправимо отказывает эссеисту чувство меры. «Поражает, как часто его гениальность пробавлялась готовыми штампами», — зато Синявский тщится только бы не стривляничать. Он — в своём излюбленном жанре анекдота и скандала. Он предлагает читателю «отбросить тяжеловесную сальность» «простодушного плебейского похабства» — но с тем, чтобы пуститься в похабство интеллигентское.

Да, так о дуэли же ещё (опять без кавычек):

Жил, шутил и играя... умер, заигравшись чересчур далеко. Колорит анекдота был выдержан до конца. Сплетню первым пустил поэт... Дуэль, раздутая сонмом биографов и... обещаний клятвенно отомстить за него (шипылка Лермонтову)... — была итогом его трудов... И будет распускать позорный слух о Пушкине по всей планете всяк сущий в ней язык... И будет спрашивать всё слышавшее о нём человечество... (что же именно спрашивать?)... «с кем, когда, где»? (а может быть намёк непонятен? кто не понял, тому в прямую пропечатку: ? вопрос по-уличному, не повторяем), — самый острый, самый существенный вопрос для эстетика-литературоведа. И теряя последнее чувство меры — ещё раз в мякоть, отдельной строчкой-жалом:

«— Ну а все-таки?»

Да не к этой ли самой мякотке он и точил весь свой грызовой ход? С такою сальностью глумиться над несчастной колотьбенной замученной жизнью поэта в его послезненьные годы, когда уже и осень в Михайловском не давала ему покоя и вдохновения, а только заботы существования и горечь от жизни. А наивная-то Ахматова, полагая славу Пушкина утверждённой уже навек, недавно взялась перебирать изболелые листки, отслоенные от исстрадавшейся души: «Тема семейной трагедии Пушкина не должна обсуждаться», но берётся она «уничтожить неправду» — из-за «змеиного шиления Полетики, марзматиического бреда Трубецкого, сюсюканья Араповой». Вот никак не догадывалась Анна Андреевна, что тут же, под рукой, подрастает ещё один славный язвист, а там потянется и целая приплясывающая вереница.

Неизлечимое ампула Синявского — вторичность, переработка уже готовой литературы, чужого вдохновения, с добавкою специй. А ещё у него есть несчастное представление, что он творит новый литературный стиль языковыми разухабствами. Даёт он им волю и здесь. Не в лад, не в уровень к предмету рассмотрения, не к задуманной высоте открытий напихать в текст грубых выражений, не слыша фальши собственного голоса (и это надо каждый раз понимать как художественный приём):

валандаются герои... шанс выйти в люди... встать на попа... жить на фуфу... по боку... на арапа... даешь Варшаву!.. 15-летний пацан... смолоду ударил по географии... навяливается со своей биографией... ворошить злосчастные бебехи... к нашим баранам... сменив пластинку... скача на пуантах фатума (особая гордость стилиста, ибо: «по плитам международного форума», и не слышит безвкусицы)... закидоны донны Анны... карманник Германн.

Последнее подводит нас к лагерному опыту эссеиста, и конечно же он не упускает украсить и тамошний жаргоном:

насобачившийся хлять в рифму (Пушкин)... статья Пушкина (то есть уголовная, в смысле жизненного жребия)... тянет резину... кейфуя... подначки... для понта, на слабб...

Так трудится Синявский, чтобы сделать своё сочинение памятной гримасой нашего литературоведения. Изворачивает взвешенное правило французского вкуса: у меня маленький бокал... а я хочу пить из большого. Поражаясь пушкинской широте и глубине восприятия существующего, Синявский изощряется объяснить их «сердечной

неполноценностью», пустотой или «почти механической реакцией», «расфасовкой страстей и намерений по полочкам». «Много ль надо (вложить), коли нечего вкладывать», когда «не хватает своей начинки». В бессилии уловить тайну пушкинского приятия мира, критик нетерпеливо толкает поэта — в пустоту.

Для пустоты Пушкина он находит и такое веское доказательство: под его пером мы «успе(ваем) подружиться с обеими враждующими сторонами», Пушкин «наслаждается потехой» столкновений, «подыгрывает нашим и вашим», «будто науськивает их». Норовит придраться: «Бог помочь вам, друзья мои»? В этот стих щедро включено по крайней мере девять сфер жизни,— критик выхватывает оттуда одну «царскую службу»: ка-ак, и это наряду с декабристами?!.. Тут у Сияевского вызвучивает революционно-демократическая погудка, хотя уж так она не подходит к абстрактному эстетизму, настроение и мысли совпадают с приключенным разоблачителем «Пушкина без конца». «Царская служба»? — кроме жандармской никогда не воображали ревдемократы других служб, создающих и крепящих Россию.

И вот куда дальше разыгрывается «пустота» Пушкина: «Для него уподобления суть образ жизни». Как будто критику такого ранга невдомёк, что уподобления, способность без остатка воплотиться в персонаже, и есть высшая форма писателя и артиста, а что вне этого — то будет Салтыков-Щедрин. Пушкин настолько «пуст», чтобы по-писательски уметь отобразить собой весь мир, а не только само-само-самовыражаться. Для того нужна не пустота, а бездонная глубина. Да, кто слишком занят собой, этого свойства понять нельзя. Всякий раз, воплощается ли Пушкин в Пугачёва, самозванца, Петра, Татьяну, Онегина,— всякий раз Сияевский торжествует, что тут-то он и поймал Пушкина на какой-то собственной мерзкой черте! И, переплясав, он выдувает пустой пузырь... Пушкина-вурдалака! Ему мнится: «в столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое»,— а иначе критик не может объяснить: это «переливание крови жертв в порожнюю тару того (Пушкина!), кто в сущности никем не является». Феноменальное открытие! Содрогнулась история мировой литературной критики. Надо подмазать, обосновать. А вот. Будто: у Пушкина в произведениях слишком много места отводится непогребённым телам, и даже «мертвое тело смещается к центру произведения». Да где же это? А вот — убиенный царевич в «Годунове». Но позвольте, он повторно выплывает и выплывает как сюжет совести, а вовсе не в натуральном непогребённом виде, и вовсе не как страсть поэта-вурдалака. Сколько существует пушкинский «Годунов» — никто тут не видел до Сияевского наслаждения кровососания. Другие доказательства: прямые упоминания мертвецов, утопленников и даже вурдалака в стихах Пушкина. Но это потому, что они не так редки в фольклоре (ба! пропущенная тема: «народ-вурдалак»),— и Пушкин с чуткостью следует за народным фольклором. (А Сияевский, увы, демонстрирует чувствительность скорее к фольклору блатному.) Но к чему поставлено у Пушкина? Утопленник? — мораль перед мёртвым; вурдалак сведён к шутке, из чего нам надувают? «Покойник у Пушкина служит... катализатором, в соседстве с которым (действие) стремительно набирает силу и скорость». Ну что за натяжка? Кто, оглядывая в целом всё читанное у Пушкина, уловит это некрофилическое возбуждение? Сияевский натягивает примеры из «Дон-Жуана», из Вильсона (сюжеты бродячие), а из «Онегина» даже антипример (от смерти Ленского действие прервалось надолго), всё сходится. Но на том и лопнул вурдалачный пузырь.

Как же это всё понять? В разборе есть столько талантливого — зачем же его губить? Неужели Сияевский не видит выших уровней Пушкина? О, отлично видит (из-за того и всё выламывание на Пушкинкой площади) и от поры до поры даёт им прорисоваться на своих страницах. «Эротическая стихия у Пушкина вольно рассеиваться, истончаться, достигая трепетным эхом отдаленных вершин духа». (Или, менее удачным слогом: «впечатление перекрыто положительным результатом».) «Всем на удивление — нов, свеж, современен и интересен». «Загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашенных». Да и «растительное дыхание жизни» — пожалуй тоже оборачивается похвалой? «Роман утекает у нас сквозь пальцы», «неуловим как воздух». (Пушкину) «всегда удавалось попасть в такт», «он, и безумствуя, знает меру, именуемую вкусом» (урок его критикам). «Вещи выглядят у Пушкина, как золотое яблочко на серебряном блюдечке». «Пушкин чаще всего любит то, о чем пишет...» (и вот чего лишена наша новейшая литература, увы) — ...а так как он писал обо всем, не найти в мире более доброжелательного писателя». «В своих сочинениях (Пушкин) ничего другого не делал, кроме как пересказывал ритмичность миропорядка». Это провозгласно в снижен-

ном ряду «обеда и ужина, зимы и лета», — а есть ли у художника более высокая задача, чем делать слышимым ритм миропорядка? Чувство всеобщей гармонии, царствующее в Пушкине, дразнит критика — и он схемно, коридорно объясняет его фатализмом, «сознанием собственной беспомощности». Сень божественного Провидения у Пушкина критик подменяет с маленькой буквы «судьбой, распределяющей награды и штрафы». «Ленивый гений Пушкина-Моцарта потому (I) и неспособен к злодейству, что не берётся «самовольно исправить судьбу». Во всех извилистых ходах тяготеет над Синявским это недоумение от разности мироощущений. (По поговорке — «болен чужим здоровьем».) По художественному чутью он не может этого не воспринимать на каждом извиве. «Пушкин — золотое сечение русской литературы». «Фигура круга... наиболее отвечает духу Пушкина», «самый крутой в русской литературе писатель». Где-то в середине Синявский и вовсе прекращает свой танец, на короткое время перестаёт суетиться с нагромождением парадоксальностей, но в озадаченности всё поднимается. Тут он делает своё замечательное наблюдение, что изобилие «отрывков» у Пушкина, «Пушкин по преимуществу мыслит отрывками, это его стиль», — вовсе не порок, а тоже признак совершенства: «Утраты не портят их, а, кажется, придают настоящую законченность образу... Фрагментарность тут, можно догадаться, вызвана прежде всего пронзительным сознанием целого, не нуждающегося в полном объеме и заключенного в едином куске». Эти все наблюдения до чего же верны. Это тут критик зорко судит о природе скульптурности у Пушкина как способе удержания образа, тут со вдохновением истолковывает и необмыслимый «магический кристалл» и, «в виденьях первоначальных, чистых дней», всплытие блаженства. И даже, в последней крайности, пронзённый, один раз присоединяет и свой голос к голосу поэта: «Отче, открой нам, что мы Твои дети».

Мы всё более недоумеваем. Понимая т а к о е — на что же тратить свой талант? как же можно столько изгаляться, наметать столько блатного мусора? Какое же чувство может двигать критиком, столько раз декларировавшим свою преданность русской культуре? Может быть, и для него самого это загадка. Вдруг встречаем в его новейшем эссе («Синтаксис», № 12):

«Где только не испражняется русский человек! На улице, в поворотне, в сквере, в телефонной будке, в подъезде. Есть какая-то запятая в причудливой нашей натуре, толкающая пренебрегать удобствами цивилизации и непринужденно, весело справлять свои нужды, невзирая на страх быть застигнутым с личным... Однако ничто у нас на Руси так не загажено, как «памятники народного зодчества»... Пустынное место, что ли, располагает к интимности? Что же еще делать в пустоте одинокому человеку? Скинет штаны, почувствует себя на минуту Вольтером и — бежать. И не просто дурь или дикость. Напротив. Чувствуется упорная воля... И сколько тут смелой выдумки, неистощимой изобретательности! В соборе XIII столетия мне посчастливилось обнаружить кокетливый след одного правдоискателя, оставившего аккуратную кучку под самым куполом...»

Вернее — видимо не объяснить. Не система взглядов и оценок ведёт критика, а вот этот синдром. Очевидно, «есть какая-то запятая в натуре» всякого ниспровергателя (о, далеко не единственного) искать для такой нужды если не святое место, то просто притягивающее человеческую любовь, тепло — и туда... «И сколько тут смелой выдумки, неистощимой изобретательности» — перелистывайте сегодняшнюю печатную продукцию, обретшую свободу.

А чтобы такой творческий акт, особой формы, произвести над гением — удобнее совершить над ним виссекцию: рассечь на гения и человека, «светлую часть рассматривать не будем», выпустим, так и быть, гения из храма через купол, а в оставшемся пустом храме — нагадим. Эту виссекцию, пигмейскую уловку, охотно употребляла до-революционная псевдемократическая критика, затем и советская, теперь и новоэмигрантская. И Синявский много страниц сжатого изложения не жалеет на изощрённые спекуляции о разъятии, совмещении, замещении Поэта и человека. «Пушкинский Поэт... нечто настолько дикое и необъяснимое, что людям с ним делать нечего... Он либо стоит столбом, ни на кого не обращая внимания, либо носится, как сумасшедший». Смешивать в живом лице человека и поэта — «тонкий соблазн». Пушкин «единого человека рассек пополам на Поэта и человека» (вовсе нет, приписывает свой метод), — «фокусник». Столько фиоритур на темы крови («негр — это нет, негр — это небо») — и ничего о духовной укоренённости Пушкина. «Пока не требует поэт к священной жертве Аполлоном» — «странная тирада»? Всё это не ново. малозначительно, густые упражнения. Как

во всяком человеке, всё едино, органично и в гении: его жизненное поведение, светлые и тёмные стороны, краски и тени личности, его мысли и взгляды, его художественные достижения и провалы,— и притом во всякую минуту естественное пребывание самим собою. Гениальность — не влитая отдельная жидкость. Судить по разъятым частям — обречь себя не понять сути. Но конечно, понять явление целостно — несравнимо трудней.

Синявский приносит и навязывает Пушкину, что для его «модели мироздания... необходимо в середине земли предусмотреть... гроб... неиссякающего мертвеца, конденсированную смерть». Так — для многих (чаще неверующих) людей, замороженных неизбежностью нашей смерти, тоскующих «в той норе, во тьме печальной». Но у светлого Пушкина мы нигде не встречаем страха смерти, для него смерть — на надлежащем, отнюдь не стержневом месте, на истинном уравновешенном её месте в строю вселенной, Пушкин и в этом проявляет предельное духовное здоровье. Когда он говорит о божестве и божественном — это никогда не пустые слова, не мимоходный эпитет. Поэт не сомневается в бессмертии души, сумел выразить его в двух поразительных эпитафиях младенцам. Говорил: «Я много думаю о смерти и уже в первой молодости много думал о ней»,— но относился к смерти примирённо, спокойно, с возвышением мысли. После дуэля потребовал от Данзаса не мстить за свою смерть. Причащавший его старый священник сказал: «Для самого себя желаю такого конца, какой он имел».

Однако заиграть Пушкина в пустоту — ещё будет мало. Как и предшественник их Писарев, новые критики заботятся создать впечатление, что Пушкин был глуповатый человек без существенных мыслей, лишь несомый необузданным даром. Тот тугоухий рационалист писал:

«В так называемом великом поэте я показал моим читателям легкомысленного версификатора, погруженного в созерцание мелких личных ощущений и совершенно неспособного анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века».

В «Пушкине без конца»: «С легкой руки Достоевского принято считать (Пушкина) мудрецом». И у Синявского так прямо и написано: «по совести говоря, ну какой он мыслитель!», и подробней: «Отсутствие строгой системы, ясного мировоззрения, умственной дисциплины, всеядность и безответственность (Пушкина) в отношении бытовавших в то время фундаментальных доктрин».

Что имеют оценщики в виду? Какие такие фундаментальные доктрины? Они-то знают, но читателю не спешат разъяснить. Пушкин осмеливался высказываться так: «Нам уже слишком известна французская философия XVIII столетия», «соблазнительные исповеди» и «ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя». А посему все нежелательные — острые, меткие, глуповатые замечания выдающегося интеллекта в его публицистике, критике и письмах должны быть замолчаны, не напоминать, авось не заглянут, соорудить временный желаемый шалашик без них.

Мы постепенно вступаем в объём, не изъеденный ходами критиков. Мы оглядели, что они в Пушкине изрыли,— но ещё остаётся: от чего уклонились, а без этого и картины нет.

С какой уверенностью и знанием возражает Пушкин Чаадаеву:

«Что касается нашего исторического ничтожества, я положительно не могу с вами согласиться... (следует беглый обзор событий). Разве вы не находите чего-то величественного в настоящем положении России?.. Клянусь вам честью, что ни за что на свете я не захотел бы переменить отечество, не имея другой истории, как историю наших предков, такую, как нам Бог ее послал».

Или в очерке о Радищеве:

«Умствования его пошлы и не оживлены слогом... охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого атеизма... думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал... Истинный представитель полупросвещения».

И о «Путешествии» его, этих святцах российской реведемократии:

«...Сатирическое воззвание к возмущению... Варварский слог... Бранчивые и напыщенные выражения... с примесью пошлого и преступного пустословия..

желчью напитанное перо... Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственной книгой»,

изданной ради политического взрыва в такое время, когда

«...правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения».

Но и шире:

«Нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви».

Да невыносимо образованским литераторам цитировать Пушкина, где он и в виду внешней цензуры не упускает внутреннюю ответственность:

«Он элится на цензуру. Не лучше ли было поголковать о правилах, которыми должен руководствоваться законодатель, чтобы с одной стороны сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвой бессмысленной своенравной управы; а с другой — чтобы писатель не употреблял этого божественного орудия к достижению цели низкой или преступной?»

И даже ещё куда невыносимей: что «аристократия пишущих талантов» —

«самая мощная, самая опасная... На целые поколения, на целые столетия налагает свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки... Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно»... «Самое глупое ругательство и неосновательное суждение получают вес от волшебного влияния типографии».

Да может быть в таких-то взглядах Пушкина (помимо его общего раздражающего душевного здоровья, равновесия, неизъеденности ржавчиной) и залегает одна из причин нынешнего гнева. Две цитаты всё же пропирают кольями бок изнутри, и Синявский не утаивает их:

«Дикость, поглость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим», «Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне...» (и, проболюм критика:) «частные, поверхностные сведения, наобум приносившиеся ко всему», —

да ведь это на полтора-века вперёд о сегодняшнем полупросвещении и претензиях его глашатаев. А ещё ж о Соединённых Штатах, 150 лет назад:

«С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к гогольству».

И это неприятное: «Что нужно Лондону, то рано для Москвы».

А ещё же бывали перёчные свидетельства поэта вроде:

«Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смысленности и говорить нечего. Преимчивость его известна... Никогда не встретите вы в нашем народе невежественного презрения к чужому».

А ещё ж недостижимая способность Пушкина «соединить в себе непримиримые сознания интеллигенции и империи» (Бердяев), «синтез империи и свободы, неосуществимый после него... Как только Пушкин закрыл глаза — разрыв империи и свободы совершился бесповоротно... Свободу мятежную он судит во имя высшей свободы... Ничто не позволяет назвать его демократом... С возросшим опытом, с трезвым взглядом на Россию... его консервативное сознание» (Федотов), «свободный консерватизм» (Вяземский). Пушкин договаривался до того, что «устойчивость — первое условие общественного блага».

Да, при таких взглядах — Пушкина удобнее всего, разумеется, перевести в дурочки.

Гершензон так и статью назвал «Мудрость Пушкина». А Франк: «великий русский мудрец». Он указывает... что Пушкин оставался в русском общественном сознании недооцененным в течение всего XIX века — потому что политическая мысль до самого 1917 года пошла (и пришла...) не пушкинскими путями. Используя все письменные высказывания поэта и достоверно дошедшие до нас устные, Франк оценивает политическое мировоззрение Пушкина как «изумительное историческое явление русской мысли», настаивает, что «величайший русский поэт был также совершенно оригинальным и, можно смело сказать, величайшим русским политическим мыслителем XIX века», «Пушкин представляет в истории русской политической мысли совершенный уникал среди независимых и оппозиционно настроенных русских писателей XIX века».

А пушкинский жадный интерес к истории и напряжённое чувство её? — много ли равного мы потом разыщем в нашей литературе? С каким настоящим, рискуя вызвать высочайшее раздражение, он держится за право доступа в исторические архивы. Как заботливо ищет бумаги по частным хранителям. Несколько начатых крупных исторических замыслов, история от Петра I до Петра III. Уж литературоведу надо бы уметь видеть писателя в тех контурах, к которым он рос и тянулся, а не только в тех, которые, по нескладности жизни, он успел занять. И каково толкование текста «Слова о полку Игореве», в спор набравших поспешных специалистов! Яркая память всей глубины истории русской, с которою Пушкин ощущает свою органическую слитность, всех веков, а особенно последних царствований, а особенно Отечественной войны в пору своего отрочества, и трагических фигур этой войны. Постоянная забота «о славе и о бедствиях отечества» — и впереплёт с этим пристальное внимание ко всеобщей истории, и Запада и Востока, «всечеловеческий захват при сохранении национальной полноты» (П. Струве), и не остывающий интерес к Европе (Вейдле: «метко застреленный европейцем, но плохо переведенный на европейские языки») и недавней тогда французской революции, верное суждение о духе её:

О брате сожалеть не смеет ныне брат...
...Убийцу с палачами
Избрали мы в цари....

братское чувство к казнимому Андре Шенье.

Но мало того что пушкинское чувство истории было напряжённым — оно было и удивительно взвешенным: он мог одновременно негодовать от внутренних пороков в современной ему России (письмо Чаадаеву, 1836) и не упускать места России в мировой истории. И каким уроком последующим десятилетиям звучит его предостережение:

«...не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества».

Мы вовсе не призываем стать такими беспредельными поклонниками Пушкина, как те, которые в ответ на критику всех зол петербургского периода России отвечают: «А зато он дал нам Пушкина!» Однако удивляться надо тому, сколько пушкинского мы переносим с собою в XXI век. Что даже частные письма его мы сегодня читаем с упительным интересом. (И как они умны!) Ведь Пушкин застал нашу прозу «так еще мало обработанной, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для объяснения понятий самых обыкновенных». Чтение его случайнейших отрывков, заметок передаёт нам ощущение полёта всегда свободной мысли. Ещё не имея и достаточно лет на мужанье и сотворенье, он стал верное начало наше. А мы не так-то много, не так-то во многом за ним и пошли, скорее сказать: русская литература до сих пор недостаточно усвоила Пушкина — и предложенную им широту (столько уклонясь — за Радищевым? — к мортирным сатирам на социальные язвы), и его легкохватчивый попутный скользящий беззлбный юмор, отозвавшийся заметнее всех в Булгакове. Ещё и с рождением народной трагедии — сочетание свойств, о котором не скажешь, что оно потом легко повторялось в нашей или в другой какой литературе. Пушкину у нас оказались верны не столько имена первого ряда.

Пушкин уверенно вывел из наблюдений: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тона обычаев, поэзий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь на-

роду». Так вот Пушкин — принадлежал русскому, хотя удивительно были ему открыты и древняя Греция, и древний Рим, Египет, Библия, мусульманский мир, Испания, Франция, Англия.

Пушкин пропитан русской народной образностью; в общей сродности с народной основой и его христианская вера. Она выражается в форме народного благочестия, которое он естественно перенимает из народной стихии: «Пречистая и наш божественный Спаситель». Тут и нянино венчанье — «Так, видно, Бог велел», и предсмертный земной поклон Пугачёва кремлёвским соборам, и весь колорит «Бориса Годунова» и православный подвижник Пимен, и прямая защита православия в письме к Чаадаеву. С сочувствием и пониманием комментирует наш поэт и «Словарь святых», не боясь вольтерьянского хохотка. Не сочтёшь поэтической игрой переложение двух молитв. Не сочтёшь и простым разговорным оборотом:

Веленью Божьему, о Муза, будь послушна.

Вера его высится в необходимом, и объясняющем, единстве с общим примирённым мироучувствием:

Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне.

Самое высокое достижение и наследие нам от Пушкина — не какое отдельное его произведение, ни даже лёгкость его поэзии непрезойдённая, ни даже глубина его народности, так поразившая Достоевского. Но — его способность (наиболее отсутствующая в сегодняшней литературе) всё сказать, всё показываемое видеть, осветляя его. Всем событиям, лицам и чувствам, и особенно боли, скорби, сообщая и свет внутренний, и свет осеняющий — и читатель возвышается до ощущения того, что глубже и выше этих событий, этих лиц, этих чувств. Ёмкость его мироощущения, гармоничная цельность, в которой уравновешены все стороны бытия: через изведанные им, живо ощущаемые толщи мирового трагизма, — всплытие в слой покоя, примиренности и света. Горе и горечь осветляются высшим пониманием, печаль смягчена примирением.

За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать?

Это — не мимоходная фраза, это философия, «милость к падшим призывал». Пушкин принимает действительность именно всю и именно такую, как её создал Бог. У него нет «онтологического пессимизма, онтологической хулы на мир...», но хвала ему; и «русская литература в целом была христианской в ту меру, в какой она оставалась, на последней своей глубине, верной Пушкину» (о. А. Шмеман). «Самый гармонический дух, выдвинутый русской культурой... Воплощение меры и мерность... До конца прозрачная ясность...» (П. Струве). Все противоречия у него разрешаются в жизнеутверждающей созвучности, в светлом аккорде. Вот этим оздоравливающим жизненчувствием Пушкин и превозвысил надолго вперёд — и русскую литературу уже двух веков, и сегодняшнюю смятенную, издёрганную западную. Из-за этого чуда и «не было в России писателя, перед которым анализ оказался бы настолько бессилён... Бедны и заносчивы все комментарии к тому» (Адамович).

Но прибегают проворные, быстро сколачивают фанерный макет, претензией больше бронзового памятника, заслоняют и малюют: «Пушкин-вурдалак», «Пушкин-Хлестаков», «Пушкин-предатель» (и ещё будет). И читателям предлагается забыть, что наслаилось в их душах от Пушкина, иля по крайней мере усумниться. (Оба начинают с жалобы, что им мешает величие, вознесённость Пушкина, предлагают прогуляться с чёрного хода, — мол, парадный «заставлен венками и бюстами». Если принять эту мотивировку за чистую монету, — нельзя не поразиться: какая ж внутренняя несвобода в общении с высокими ценностями, какое рефлексивное, подростковое сознание.)

Естественно ли было нам ожидать, что новая критика, едва освободясь от негнётосимого гнёта советской цензуры — на что же первое употребит свою свободу? — на удар по Пушкину? С нашим нынешним опоздавшим опытом ответим: да, именно этого и надо было ожидать. Потому что эта критика реально продолжает эстетический нигилизм шестидесятников, хотя б и понимала себя суперавангардистской. Не случайно у того же Синявского в диссидентской исповеди читаем: «я воспринимался в лучших тра-

дициях русской революции... в традициях революционного идеализма, о чем, кстати, сейчас нисколько не сожалею» (дело хозяйское). Ревдемовскую и новейшую критику роднит революционное неуважение к классике (через которое они претендуют отделиться самобытностью мысли), новейшей кроме того свойственна вседозволенность сальности и хамства.

И этот хоровод не вокруг одного Пушкина, и не только в двух названных сочинениях. В первом бегло успето и о Достоевском: «несуразное мировоззрение»; и Достоевский, мол, осудил своё вольнодумство «по той же причине» — то есть из желания угодить властям и добыть материальные преимущества. (Только о сутенёрстве пока не сказано.) В «Прогулках» достается тоже не одному Пушкину. Походя замечание о Гоголе такого типа. «Рисова(л) все в превратном свете своего кривого носа». (Стиль-то! — свет носа...) Но гораздо чаще о Лермонтове (Лермонтов чем-то сильно уязвил критика — своим ли мистическим мироощущением?): много играл «на нервах» войны; «Бородино» появилось «под влиянием *гяди*» «самых честных правил» (ведь такое редкое слово «дядя», ясно виден литературный исток); ещё ж это неприличие «мстить» за Пушкина, или вызов: «Я рожден, чтоб целый мир был зритель...» Тут пока только эскизы, но может быть грянет и книга о Лермонтове, тем легче, что Лермонтов имел мало простора объясниться. Да вообще эта «лишенная стати... оголтелая описательность девятнадцатого столетия», «горы протоколов с тусклыми заголовками»... Беглыми рикшетами раздражение критика достается Гончарову, Чехову, ну и конечно же Толстому: над называем «Воина и мир» критик хихикает, иронически называет Толстого «артистом», а в другом месте и прямо объявил его «гениальной посредственностью». (И что ж вырастает за грандиозная аполлоническая фигура самого судьи, создателя «Крошки Цорес».)

Это — перспективное направление, от него можно ждать ещё разительных открытий о русской классике. Еще придут новые боратели, доказывать: как ни в чём и никакого прошлого у России не было, так и литературного тоже. Уже целая литературная ветвь (в эмигрантском отвилке усвоив себе и новый атрибут «русскоязычная») практически «работает на снижение», развалить именно то, что в русской литературе было высоко и чисто. Распушенная и больная своей распушенностью, до ломки граней достоинства, с удушающими порциями кривляний, она силится представить всеиронию, игру и вольность самодостаточным Новым Словом, — часто скрывая за ними бесплодие, вспышки несущественности, переигрывание пустоты.

Хотя не думаю, чтоб этот разгул оказался губителен для нашей литературы, с корнями в тысячелетней толще бытия народа и языка, но несомненно он прививает новые язвы нашему изнемогающему обществу, которому так мучительно трудно отставать обломки культуры в семидесятилетнем развале. Фет писал о Чернышевском: «Он кидает, например, грязью в Пушкина вовсе не за то, что Пушкин талант, нет, ему приятно в лице Пушкина хватить во всякий авторитет». В этом суть. (И дух «плюралистов».) Для России Пушкин — непререкаемый духовный авторитет, в нынешнем одичании так способный помочь нам уберечь наше насущное, противостоять фальшивому. В удушьи 1921 года это уже понял и выразил Блок: «Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе!»

Апрель 1984.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

*

ДНЕВНИК

1922

1 сентября. Ольгино. <...> Детское утро в Ольгине — вышло не слишком удачно. Щепкина-Куперник читала долго и нудно. Романсы пелись самые неподходящие. Должно быть, поэтому мой «Тараканище» имел наибольший успех. Но у меня муть на душе — и какие-то тяжелые предчувствия.

5 сентября. Вчера познакомился с Чарской. Боже, какая убогая. Дала мне две рукописи — тоже убогие. Интересно, что пишет она малограмотно. Напр., перед что всюду ставит запятую, хотя бы это была фраза: «Не смотря ни на, что». Или она так изголодалась? Ей до сих пор не дают пайка. Это безобразие. Харитон⁵⁸а получает, а она, автор 160 романов, не удостоилась. Но бормочет она чепуху и, видно, совсем не понимает, откуда у нее такая слава.

20 сентября. У детей спрашивают в Тен[ишевском] Училище место службы родителей. Большинство отвечает: *Мальцевский рынок*, так как большинство занимается тем, что продает свои вещи.

29 сент. <...> Вчера я был у Анненкова — он писал Пильняка. Пильняку лет 35, лицо длинное, немецкого колониста. Он трезв, но язык у него неповоротлив, как у пьяного. Когда говорит много, бормочет невнятно. Но глаза хитрые — и даже в пьяном виде пронзительные. Он вообще жох: рассказывал, как в Берлине он сразу нежничал и с Гессеном, и с советскими, и с Черновым⁵⁹, и с Накануневцами — больше по пьяному делу. В этом «пьяном деле» есть хитрость — себе на уме; по пьяному делу легче сходить с нужными людьми, и нужные люди тогда размягчаются. Со всякими кожаными куртками он шатается по разным «Бристолям», — и они подписывают ему нужные бумажки. Он вообще чувствует себя победителем жизни — умнейшим и пройдошливейшим человеком. «Я с издателями — во!» Анненков начал было рисовать его карандашом, но потом соблазнился его рыжими волосами и стал писать краской — акварель и цветные карандаши⁶⁰. После сеанса он повел нас в пивную — на Литейном. И там втроем мы выпили четыре бутылки пива. Он рассказывал берлинские свои похождения: Лундберг из тех честолюбивых неудачников, которые с надрывом и вывертом. Он как-то узнал, что я, Белый и Ремизов собираемся читать в гостях у Гессена в пользу «Союза Писателей», и сказал мне: «Что вы делаете? Вы погубите себя. Вам нельзя читать у Гессена». Я (т. е. Пильняк) взял и рассказал об этом Гессену, Гессен тиснул гнусную заметку о Лундберге⁶¹, и т. д. и т. д. Лундберга называли советским шпионом и т. д. — Ну можно ли было рассказывать Гессену пусть и глупые речи несчастного Лундберга? Потом говорил о Толстом, как они пьянствовали и как Толстой рассказывал похождения дьякона и учителя. Учитель читает книгу и всюду ставит нотабене. А дьякон, и т. д. Много смешных анекдотов. <...>

Анненков. Мы в тот же вечер отправились с ним в Вольную Комедию. Вот талант — в каждом вершке. Там все его знают от билетерши до директора, со всеми он на ты, маленькие актрисы его обожают, когда музыка — он подпевает, когда конференсье — он хохочет. Танцы так увлекали его, что он на улице, в дождь, когда мы возвращались назад: «К. И., держите мою палку», и стал танцевать на улице, отлично припоминая все па. Все у него ловко, удачливо, и со всеми он друг. Собирается в Америку. Я дал ему два урока английского языка, и он уже — I do not want to kiss black woman, I want to kiss white woman*.

Жизнь ему вкусна, и он плотояден. На столе у него три обложки — к «Браге» Тихонова, к «Николе» Пильняка и к «Кругу». Он спросил: нравятся ли они мне; я откровенно сказал: нет. Он не обиделся.

О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 7, 8 с. г.

* Я не хочу целовать черную женщину, я хочу целовать белую женщину (англ.).

За обедом он рассказал Пильняку, что один рабочий на собрании сказал:
— Хотя я в этом вопросе не компенгаген.

30 сентября. Был с Бобой в Детском театре на «Горбунке». Открытие сезона. Передо мною сидели Зиновьев, Лилина⁶² и посередине, между ними лысый розовый пасторовидный здоровый господин — с которым Лилина меня и познакомила: Андерсен-Нексе, только что прибывший из Дании. «Горбунок» шел отлично — постановка старательная, богатая выдумкой. Текст почти нигде не искажен, театральное действие распределяется по раме, которая окаймляет сцену. Я сидел как очарованный, впервые в жизни я видел подлинный детский театр и все время думал о тусклой и горькой жизни несчастного автора «Конька-Горбунка». Как он ярок и ослепителен на сцене, сколько счастья дал он другим — внукам и правнукам, — а сам не получил ничего, кроме злобы. Эту мысль я высказал сидящему рядом со мною господину с вострым носом, который оказался весьма знаменитым сановником. Потом Пильняк и Всеволод Иванов явились за этим датчанином и повезли в «Дом Искусств». В «Доме Искусств» на суботе Серапионов был устроен диспут об искусстве. Андерсен оказалась банальным и пресным, а Пильняк стал излагать ему очень сложное *credo*. Пильняк говорил по-русски, переводчики переводили не слишком точно. Зашел разговор о материи и духе (*Stoff und Geist*), и всякий раз, когда произносили слово *штоф*, Пильняк понимающе кивал головой. Замятин был тут же. Он либеральничал. Когда говорили о писателях, он сказал: да, мы так любим писателей, что даже экспортируем их за границу. Пильняк специально ходил к Зиновьеву хлопотать о Замятине, и я видел собственноручную записку Зиновьева с просьбой, обращенной к Мессянгу^{62а}: разрешить З[амятин]у поездку в Москву. Анненков когда увидел эту записку, долго говорил со мною, что ежели Замят. такой враг с[оветской] вл[асти], то незачем ему выпрашивать у нее записочки и послабления. Вся борьба Замятина бутафорская и маргариновая. <...>

9 октября. Был у Кони. <...> Елена Васильевна Пономарева, желая сделать мне приятное, ввела в комнату к нему трех детей, которые стали очень мило декламировать все зараз моего «Крокодила», он заулыбался — но я видел, что ему неприятно, и прекратил детей на полуслове.

Читал вчера с великим удовольствием книгу о Бакуinine, написанную Вячеславом Полонским. Очень, очень хорошая книга. Потом рассказ Федина о палаче — гораздо лучше, чем я думал⁶³.

27 ноября 1922. Я в Москве три недели — завтра уезжаю. Живу в 1-й студии Худож. Театра на Советской площади, где у меня отличная комната (лиловый диван, бутафорский, из «Катерины Ивановны» Леонида Андреева) и электрич. лампа в 300 свеч. Очень я втянулся в эту странную жизнь и полюбил много и многих. Москву видел мало, т. к. сидел с утра до вечера и спешно переводил Плэйбоя⁶⁴. Но пробегая по улице — к Филиппову за хлебом или в будочку за яблоками, я замечал одно у всех выражение — счастья. Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины; женщины с сладострастными, пьяными лицами прилипают грудями к оконным стеклам на Кузнецком, где шелка и бриллианты. Красивого женского мяса — целые вагоны на каждом шагу, — любовь к вещам и удовольствиям страшная, — танцы в таком фаворе, что я знаю семейства, где люди сходятся в 7 час. вечера и до 2 часов ночи не успевают чаю выпить, работают ногами без отдыха: Дикси, фокстрот, one step и хорошие люди, актеры, писатели. Все живут зоологией и физиологией. <...> Психическая жизнь оскудела: в театрах стреляют, буффонят, увлекаются гротесками и проч. Но во всем этом есть одно превосходное качество: сила. Женщины дородны, у мужчин затылки дубовые. Вообще очень много дубовых людей, отличный материал для истории. Смотришь на этот дуб и совершенно спокоен за будущее: хорошо. Из дуба можно сделать все что угодно — и если из него сейчас не смастерить Достоевского, то для топорных работ это клад. (Нэп.)

28 ноября 1922. Уезжаю. <...> Ну вот актеры: Алексей Денисович Дикий, умный, даровитый, себе на уме — вроде Куприна — чудесный исполнитель. Джона в «Сверчке»⁶⁵ — без вышних восприятий, но прочный и приятный человек. На лице у него детски-хитрое, милое выражение, играет он четко, обдуманно, работает, как черт, и режиссерствует без суеты, без криков, но авторитетно. Я сказал ему, что нельзя ставить любовную сцену в «Плэйбое» в тех тонах, в каких ставит он, что это баллада и проч., — он согласился, принял все мои указания и уже две недели работает над этой сценой. Его жена Катерина Ивановна⁶⁶, молоденькая монголка с опьяненным тихим лицом, за которым чувствуется отчаянная безумная кровь. Я видел, как она пляшет, от-

давая пляске всю себя. Лидия Ив. Дейкун, добрая, в пенсне, жена молодого Аркадия Ив. Добронравова, матрона, угощавшая нас макаронами. Гиацинтова Софья Владимировна и Попова — знаю их мало, но чувствую: работащи, любящи, уютны. Высокий, ленивый и талантливый Либаков — художник, музыкант, танцор — и Ключарев, молодой человек, 24 лет, который будет играть неподсильную ему главную роль, — умница, начитанный, любит стихи, играет на бгах — и волнуется своей ролью очень. Марк Ильич Цыбульский — толстый жуир.

Эти люди и не подозревают, как много они сделали для меня, введя меня в свою среду как равного.

15 декабря 1922. Бездельничая после Москвы. Все валится из рук. Печатаем «Мойдодыра» и «Тараканище» — я хожу из типографии в литографию и болтаюсь около машин. Недавно цензура запретила строчку в Мойдодыре «Боже, Боже», ездил объясняться⁶⁷. Вчера забрел к Анне Ахматовой. Описать разве этот визит? Лестница темная, пыльная, типический черный ход. Стучусь в дверь. Оттуда кричат: не заперто! Открываю: кухонька, на плите какое-то скудное варено. Анны Андреевны нету: сейчас придет. Кухарка сидит посреди кухни и жалуется: шла она (кухарка) вчера за пайком, поскользнулась, вывихнула ногу, и теперь «хоть кричи». Развернула грязную тряпку, показала ногу. На полу наваленные щепки («Солдат рубил, сама не могу!»). Вошла седая женщина — стала собирать щепки для печурки. Тут вошла Анна Андреевна с Пуниным, Николаем Николаевичем. Она ездила к некоей Каминской, артистке Камерного Театра, та простужена, без денег, на 9-м месяце беременности. Я обещал сказать американцам, чтобы они оказали ей мед. помощь. <...> нынче Ахматова в своей третьей ипостаси — дочка. Я видел ее в виде голодной и отрекшейся от всего земного монашенки (когда она жила на Литейном в 1919 г.), видел светской дамой (месяца три назад) — и вот теперь она просто дочка мелкой чиновницы, девушка из мещанской семьи. Тесные комнаты, ход через кухню, маменька, кухарка «за все» — кто бы сказал, что это та самая Анна Ахматова, которая теперь — одна в русской литературе — замещает собою и Горького, и Льва Толстого, и Леонида Андреева (по славе), о которой пишущая десятки статей и книг, которую знает наизусть вся провинция. Сидит на кушетке петербургская дама из мелкочиновничьей семьи и «занимает гостей». Разговор вертелся около Москвы. Ахматовой очень хочется ехать в Москву — но она боится, что будет скандал, что московские собратья сделают ей враждебную манифестацию. Она уже советовалась с Эфросом, тот сказал, что скандала не будет, но она все еще боится. Эфрос советует теперь же снять Политехнический Музей, но мне кажется, что лучше подождать и раньше выступить в Худ. Театре. Она крикнула: «Мама». В комнату из кухни вошла ее мать. «Вот спроси у К. И., что ты хотела спросить». Мама замылась, а потом спросила: «Как вы думаете, устроят Ане скандал в Москве или нет?» Видно, что для семьи это насущный вопрос. Говорили о критиках. Она говорит: «Вы читали, что написал обо мне Айхенвальд. По-моему, он все списал у вас. А Виноградов... Недавно вышла его статья обо мне в «Литературной Мысли» — такая скучная, что даже я не могла одолеть ее⁶⁸. Щеголев так и сказал жене — раз даже сама Ахматова не может прочитать ее, то нам и Бог велел не читать. Эйхенбаум пишет книгу... тоже». Я ушел, унося впечатление светлое. За всеми этими вздорами все же чувствуешь подлинную Анну Ахматову, которой как бы неловко быть на людях *подлинной* и она поневоле, из какой-то застенчивости, принимает самые тривиальные облики. Я это заметил еще на встрече у Щеголева: «вот я как все... я даже выпить могу. Слыхали вы последнюю сплетню об Анненкове?» — вот ее тон со знакомыми, и как удивились бы ее почитатели, если б услышали этот тон. А между тем это только щит, чтобы оставить в неприкосновенности свое, дорогое. Таков был тон у Тютчева, например. Читаю Шекспира «Taming of the shrew»* — с удовольствием. О, как трудно было выжимать рисунки из Анненкова для Мойдодыра. Он взял деньги в начале ноября и сказал: послезавтра будут рисунки. Потом уехал в Москву и пропадал там 3 недели, потом вернулся, и я должен был ходить к нему каждое утро (теряя часы, предназначенные для писания) — будить его, стыдить, проклинать, угрожать, молить — и в результате у меня есть рисунки к «Мойдодыру»! О, как тяжело мне бездельничать — так хочется с головой погрузиться в работу!

20 декабря 1922 года. Клячко исправил мне пальто, но оно расплзлось. Я отдал свое пальто в починку портному Слонимскому — и сегодня шеголяю в летнем. Обвязал шею шарфом и прыгаю по Невскому, как клэрк мистера Скруджа. Добежал до

* «Укрощение строптивой» (англ.).

мистера Гантта, американского доктора, и подал ему прошение о той несчастной Каминской, о которой говорила Ахматова. Каминская беременна, от кого, неизвестно, и кроме того простужена. Он согласился помочь ей, но спросил, кто отец ребенка. Я сказал: отца нет. Он нахмурился. Очевидно, ему трудно помочь необвенчанной роженице. Это было вчера. А сегодня мы должны с ним в 5 часов поехать к Каминской, а пальто у меня все нету, а холода отчаянный, а я простудился и всю ночь страдал желудком. Вчера у меня пропало полдня у Клячко. Обсуждали с приехавшими представителями издательства «Накануне», как и за сколько продать моего «Мойдодыра» и «Тараканище». Я сказал, что я требую сию минуту вперед 10% с номинала. Они согласились, но Клячко сговаривался с ними еще полдня — и я не успел в Публичную Библиотеку. Из Американской Помощи — вечером во «Всемирную» — на заседание Коллегии. Забавно. Сидят очень серьезные: Волинский, С. Ф. Ольденбург, Н. Лернер, Смирнов, Владимирцев, Тихонов, Алексеев, Лозинский — и священнодействуют. Тихонов разделял Браудо за его гнусную редактуру нем. текста. Браудо делал попытки оправдаться, но Волинский цыкал на него. Потом я предложил начать во «Всемирной» особую серию «Театральных Пьес». Потом Браудо со всеми китайскими ужимками. «Теперь, когда я получил заслуженную кару за мою несовершенную работу, я знаю, что я не пользуюсь вашим сочувствием, но для дальнейшей работы мне необходимо ваше сочувствие»... и стал читать рецензию на свою книжку о Гофмане. Книжка глупая, рецензия глупая, никто не заметил ни той, ни другой, но он полчаса говорил, чрезвычайно волнуясь. Все слушали молча, только Лернер писал мне записочки — по поводу Браудо (его всегдашняя манера). В связи с прочитанной рецензией возник вопрос: как перевести «Teufel's Elixir». Эликсир сатаны, или дьявола, или черта. Четверть часа говорили о том, какая разница между чертом и дьяволом, в преньях приняли участие и Ольденбург и Волинский. И хотя все это была чепуха, меня вновь привели в восхищение давно не слышанные мною тембры и интонации культурной профессорской речи. Клячко и Розинер⁶⁹ так отумолил мой мозг своей некультурной атмосферой, что даже рассуждения о черте, высказанные в таких витиеватых периодах, доставили мне удовольствие. Я, как Хромоножка в «Бесах», готов был воскликнуть: «по-французски!» Оттуда домой — весь иззябший, ничего не евший. (У Клячко перехватил колбасы, копченой, железоподобной.) Дома — М. Б. лежит больная, измученная, читает «Девяносто третий год» — и возле нее Мурка. У Мурки сегодня был интересный диалог с собою. Она стучала в дверцу ночного столика и сама боялась своего стука. Стукнет и спрашивает: *кто там?* (испуганно) *Лев? или (спокойно) я? Лев или я?*

22 декабря. <...> у Чехонина. Чехонин сделал для американца — поздравительную карточку: Best Wishes — Happy New Year — Merry Christmas*. — Тот очень рад. На карточке есть тройка, сани, в санях сидит он сам — Dr. A. R. A. Gantt (Baltimore). Посередине Петропавловская крепость, слева Исаакиевский собор, словом, квинтэссенция январского снежного Петербурга. Очень хороши оснеженные, нарядные петербургские деревья. Тут же Чехонин пожелал сделать мой портрет. В воскресенье еду к нему на сеанс.

Тихонов сказал мне, что Браудо критиковал во «Всемирной Лит.» рецензию о себе потому, что, как думают коллеги, эту рецензию писал Лернер!!

Вчера случилось великое событие: я после 8-летнего перерыва (или шестилетнего?) заказал себе новый костюм. Сейчас буду редактировать «Робинзона Крузо», а потом примусь писать о Синге. Был у меня вчера вечером Бенедикт Лившиц⁷⁰.

23 декабря, суббота. Видел вчера во «Всемирной Лит.» Ахматову. Рассказывает, что пришел к ней Эйхенбаум и сказал, что на днях выйдет его книга о ней, и просил, чтобы она указала, кому послать именные экземпляры! «Я ему говорю: „Борис Михайлович, книга ваша, вы должны посылать экземпляры своим знакомым, кому хотите, при чем же здесь я?“» И смеется мелким смехом.

Она очень неприятным тоном говорит о своих критиках: «Жирмунский в отчаянии — говорит мне Эйхенбаум. Ему одно издательство заказало о вас статью, а он не знает, что написать, все уже написано».

Эфрос готовится теперь все для встречи Анны Ахматовой в Москве. Ее встретят колокольным звоном 3-го января (она со Щеголевым выезжает 2-го), Эфрос приглашал ее жить у себя.

— Но не хочется мне жить у Эфроса. По наведенным справкам, у него две ком-

* Добрые пожелания — Счастливого Нового года — Веселого Рождества (англ.).

наты и одна жена. Конечно, было бы хуже, если бы было наоборот: одна комната и две жены, но и это плохо.

— Да он для вас киот приготовляет,— сказал Тихонов.— Вы для него икона...

— Хороша икона! Он тут каждый вечер тайком приезжал ко мне...

Тихонов, смеясь, рассказал, как Эфрос условился с ним пойти к Анне Андреевне в гости и не зашел за ним, и отправился один, «а я ждал его весь вечер дома».

— Вот то-то и оно! — сказала Ахматова.

Она показала мне свою карточку, когда ей был год, и другую, где она на скамейке вывернулась колесом — голова к ногам, в виде акробатки.

— Это в 1915. Когда уже была написана «Белая Стая»,— сказала она.

Бедная женщина, раздавленная славой.

С моим «Тараканищем» происходит вот что. Клячко в упоении назначил цену 10 мил. и сдвинуться не хочет. А книжники в книжных магазинах, кому ни покажешь, говорят: дрянь книжка! За четыре лимона — извольте, возьмем парочку! И я рад, ненавижу эту книжку. Книжная торговля никогда не была в таком упадке, как теперь. Книг выходит множество, а покупателя нет. Идут только учебники. Вчера я купил роскошное издание «Peter and Wendy» с рисунками Bedford'a ⁷¹ за 1½ миллиона, то есть за 10 копеек! (Трамвай — 750 тысяч.) <...>

24 дек. 22 г. Первое длинное слово, которое произнесла Мурка,— Лимполо. У Бобы есть привычка, вместо хорошо говорить Лимпопо. <...>

25 декабря. <...> Я иду к Бенуа. <...> Он встретил меня тепло, широко, угостил кофеем и сам рядом ел, чавкая, с удовольствием. Картинки Анненкова одобрил, Чижонина — нет ⁷². Напевал мотивы из «Петрушки» и спрашивал, откуда это. За столом три молодые дамы — жена Бенуа-младшего, дочь Бенуа (Черкесова) и еще какие-то. Чувствуется большая гармония, спетость. Бенуа посадил на колени своего внука и прочитал ему «Мойдодыра». Тут же за столом ребенок рассматривал десятки других картинок — в ребенке видна привычка смотреть картинки. Бенуа любит внука до ярости. «Посмотрите на эту уродину,— говорит он с диким любовным рычанием,— ну выдали вы такую мерзкую рожу». Если есть в доме ребенок, избалованный и, так сказать, центральный, это, несомненно, Ал. Бенуа. Все в доме вертится вокруг него, а дом — полная чаша, атмосфера веселья и работы. Он сейчас занят по горло, работает для театра, но согласился сделать картинку для «Радуги». Подали огромную коробку конфет — их принес Ф. Ф. Ноттафт, издатель «Аквилона», по случаю выхода в «Аквилоне» новой книжки Бенуа «Версаль». «Ешьте, ешьте, К. И., а то я все съем»,— говорил он, поглощая огромную уйму конфет. От Бенуа я ушел (унося атмосферу праздника) <...>

30 декабря. Вчера самый неприятный день моей жизни: пришел ко мне утром в засаленной солдатской одежде, весь потный, один человек — красивый, изящный, весь горящий, и сказал, что у него есть для меня одно слово, что он хочет мне что-то сказать — первый раз за всю жизнь,— что он для этого приехал из Москвы,— и я отказался его слушать. Мне казалось, что я занят, что я тороплюсь, но все это вздор: просто не хотелось вскрывать наскоро замазанных щелей и снова волноваться большим, человеческим. Я ему так сказал, я сказал ему:

— Нужно было придти ко мне лет десять назад. Тогда я был живой человек. А теперь я литератор, человек одеревенелый, и изо всех людей, которые сейчас проходят по улице, я последний, к кому вы должны подойти.

— Поймите,— сказал он тихим голосом,— не я теряю от этого, а вы теряете. Это вы теряете, не я.

И ушел. А у меня весь день — стыд, и боль, и подлинное чувство утраты. Я дал ему письмо к Оршанскому ⁷³, чтобы Оршанский помог ему (ему нужно полечиться в психиатрич. больнице). Когда я предложил ему денег, он отказался.

Третьего дня я был у Оршанского. Деревянный флигель при лечебнице для душевнобольных. Жена — седая, без кухарки, замученная. Множество переполненных детскими книгами шкафов — в нескольких комнатах. Орш. только что вернулся из Берлина и привез целые ящики новинок по художеству, литературе, педагогике, медицине и пр. Я так и впился в эту груды. А жена Орш. сказала: «Я до сих пор еще не удосужилась даже перелистать эти книги». Приняли меня радушно, показали все свои богатства, и я так увлекся, что позабыл, что не обедал, и впервые (после завтрака) вкусил пищу в 10½ ч. ночи, вернувшись домой. Орш. указал мне комнату, где жил Врубель, — вверху, по деревянной лестнице, ход из кабинета.

У него собрание игрушек, которых я не успел осмотреть.

Сам Лев Гр. седоусый, простой, без пошлости, без роли — без позы, очень усталый и добрый.

Сегодня утром я должен написать предисловие о Синге — и все отлыниваю. А между тем пьеса уже набрана. Откладываю дневник и берусь за статью.

Снился Илья Василевский⁷⁴. К добру ли? <...>

1923

Вот и Новый Год. 12 часов 1923 года.

Вчера у нас обедал Бенедикт Лившиц. Я весь день редактировал Joseph'a Cop-gad'a¹, так как денег нет ниоткуда, Клячко не едет, не везет гонорара за мои детские книги. Очень устал, лег в 7 часов, т. е. поступил очень невежливо по отношению к Лившицу, моему гостю. Проснулся внезапно, побежал посмотрел на часы; вижу: 12 часов ровно. Через минуты две после того, как я встал, грохнула пушка, зазвонили в церкви. Новый Год. Я снова засяду за Конрада, — вот только доем булочку, которую купил вчера у Бёца. 1922 год был ужасный год для меня, год всевозможных банкротств, провалов, унижений, обид и болезней. Я чувствовал, что чертвею, перестаю верить в жизнь и что единственное мое спасение — труд. И как я работал! Чего я только не делал! С тоскою, почти со слезами писал «Мойдодыра». Побитый — писал «Тараканище». Переделал совершенно, в корень свои некрасовские книжки, а также «Футуристов», «Уайльда», «Уитмэна». Основал «Современный Запад» — сам своей рукой написал почти всю Хронику 1-го номера, доставал для него газеты, журналы — перевел «Королей и капусту», перевел Синга, — о, сколько энергии, даром истраченной, без цели, без плана! И ни одного друга! Даже просто ни одного доброжелателя! Всюду когти, зубы, клыки, рога! И все же я почему-то люблю 1922 год. Я привязался в этом году к Мурке, меня не так мучили бессонницы, я стал работать с большей легкостью — спасибо старому году! Сейчас, напр., я сижу один и встречаю новый год с пером в руке, но не горюю: мне мое перо очень дорого — лампа, чернильница, — и сейчас на столе у меня моя милая «Энциклопедия Британика», которую я так нежно люблю. Сколько знаний она мне дала, как она успокоительна и ласкова. Ну, пора мне приниматься за Синга, нужно же наконец написать о нем статью!

Вот что такое 40 лет: когда ко мне приходит какой-нибудь человек, я жду, чтоб он скорее ушел. Никакого любопытства к людям. Я ведь прежде был как щенок: каждого прохожего обнюхать и возле каждой тумбы поднять ногу.

Вот что такое дети, большая семья: никогда на столе не улежит карандаш, исчезает как в яму, и всегда кто-нб. что-нибудь теряет: «Дети, не видали ножниц?», «Папа, где моя ленточка?», «Коля, ты взял мою резинку?»

2 января 1923. Мурка стоит и «читает». Со страшной энергией в течение двух часов:

Ума няу, ума няу, ума няу, уманя,

перелистывает книгу, и если ей иногда попадется под руку слово, вставляет и его в эту схему, не нарушая ее. Раньше ритм, потом образ и мысль. <...>

5 янв. Человек рождается, чтобы износить четыре детских пальто и от шести до семи «взрослых». 10 костюмов — вот и весь человек. Вчера получил телеграмму из Студ. Театра: переменить «Плэйбоя» на «Героя». Вчера к вечеру я сказал Мурке, что она — кошечка. Она вскочила с необычн. энергией, кинулась на пол, схватила что-то и в рот. «Митю ам!» (Мышку съем.) Так она делала раз 50. Остановить ее не было возможности. Она только твердила как безумная: «Еще де митя?» (где еще мышь?) — и торопливо, торопливо, в большом возбуждении хватала, хватала, хватала. Это испугало меня (самый темп был страшен). Я сказал: кошка отдыхает, спит. <...> Я пробовал показать ей картинки. Я — мяу! — закричала она.

Вчера весь день сидел в Канцелярии Публ. Б-ки, отыскивал в «Acade» [нрзб.— Е. Ч.] рецензии о Syng'e.

6 янв.; ровно 3 часа ночи. Сочельник. Встал, чтобы снова написать о Синге. Принимаю писать третий раз, все не удается. Напишу и бракую. <...>

8 янв. Был у Кони. Он выпивал мою кровь го капле, рассказывая мне анекдоты, которые рассказывал уже раз пять. И все клонится к его возвеличению. Предложил

мне написать его биографию — «так как я все же кое-что сделал». Рассказал мне, как он благодетельствовал проф. Осипова² (которого я застал у него). Так как этот рассказ я слушал всего раза два, я слушал его с удовольствием. Новое было рассказано вот что: в одной своей статье о самоубийстве он приводит цитату из предсм. письма одного рабочего. Письмо написано в 1884 году. Рабочий пишет: «Худо стало жить и т. д.». Цензура потребовала, чтобы Кони прибавил: «Худо стало жить при капиталистическом строе. Да здравствует коммуна!» Вчера ночью во «Всемирной» был пир. <...> Центр пьяной компании — Анненков. Он перебежал от столика к столику, и всюду, где он появлялся, гремело ура. Он напился раньше всех. Пьяный он приходит в восторженное состояние, и люди начинают ему страшно нравиться. <...> Он подводил к нашему столу то того, то другого, как будто он первый раз видит такое сокровище, и возглашал:

— Вот!

Даже Браудо подвел с такими одами, как будто Браудо по меньшей мере Лессинг. Каковую танцорку подвел со словами:

— Вот, Тальони! Замечательная! Чуковский, выпей с нею, поцелуйся, замечательная... Ты знаешь, кто это? Это Тальони, а это Чуковский, замечательный. <...>

Второй замечательный персонаж был Щеголев. Он сидел в полутемном кабинете у Тихонова, огромный, серый, неподвижный, на спинке кресла у его плеча примостилась какая-то декольтированная девица, справа тоже что-то женское, — прямо Рубенс, Раблз, — очень милый. А тут в отдалении где-то его жена и сын, Павел Павлович. Михаил подошел ко мне и сказал: «В жизни все бывает, и у девушки муж помирает». Ни с того ни с сего.

Умственная часть вечера была ничтожна. Замятин читал какую-то витиеватую, саморекламную и скучноватую хрипу — История Всемирной Литературы³, где были очень злобные строки по моему адресу: будто я читал пришедшим меня арестовать большевикам стихи моего сына в «Накануне» и они отпустили меня на все четыре стороны, а он, Замятин, был так благороден, что его сразу ввергли в узилище. Хитренькое, мелконькое благородство, карьеризм и шулерство. <...>

12 янв. 1923. Четыре раза написал по-разному о Синге — и так и сляк, — и наконец то удалось, кажется. Писал с первого января по одиннадцатое, экая тупая голова. <...> Чехонин пишет (т. е. рисует углем) мой портрет; по-моему, сладко и скучно — посмотрим, что будет дальше. Он очень милый, маленький, лысоватый, добрый человек в очках, я его очень люблю. Всегда сидит за работой, как гном. Придешь к нему, он встанет, и зазвенят хрустали на стоящих светильниках 18 века. У него много дорогих и редкостных вещей, иконы, картины, фарфор, серебро, но я никогда не видел, чтобы такая роскошь была в таком диком сочетании с мещанской, тривиальной обстановкой. Среди старинной мебели — трехногий табурет. На роскошной шифоньерке — клизма (которая не убирается даже в присутствии дам: при мне пришла к нему О'Коннель). На чудесную арфу он вешает пальто и костюм и гостям предлагает вешать. «Очень удобная арфа!» — говорит он. Во время сеанса он вспоминал о Глебе Успенском, которого знал в Чудове, о Репине (учеником которого он был; «Репин рассказывал нам об японцах, здорово! Мастернице! Не скоро в России будет такой второй!»). Очень хорошо он смеется — по-детски. Его дети — двое, мальчики — тоже имеют тяготение ко всяким ручным трудам: один сделал из бумажной массы замечательную маску с огуречным носом. Чехонин говорил про Гржебина: вот сколько я ему сделал работ, он ни за одну не заплатил — и ни разу не возвратил рисунков. Напр., иллюстрации к стихам Рафаэловича⁴. Даром пропала работа. (Потом, помолчав.) А все-таки я его люблю.

У Замирайлы⁵ на двери висит гробоподобный ящик для писем, сделанный из дерева самим Замирайлой. Черный, с бронзовым украшением — совсем гроб. Гретий раз пытаюсь застать Замирайлу дома, когда ни приду, заперто.

14 января 1923. <...> Чехонин третьего дня писал меня вдохновенно и долго. Рассказывал о Савве Мамонтове, о княгине Тенишевой. «Репин был преподавателем школы, основанной Тенишевой. Мы были его ученики: я, Чемберс, Матвеев и др. Потом Репин поссорился с Тенишевой и стал преподавать только в Академии. Но мы не захотели идти в академию и основали свободную школу, без учителя».

Портрет мой ему удается — глаза виноватые, лицо жалкое, — очень похоже⁶.

Получил телеграмму из 1-й Студии. Приглашают на первое представление. Ехать ли?..

Читаю глупейший роман Арнольда Беннета «The Gates of Wrath»*. Я и не знал, что у него на душе есть такие тяжкие грехи. Был вчера с Тихоновым у Оршанского. У него восхитительный музей детских книг и игрушек. Мне понравилась мадонна — кукла испанских детей. Оршанский добр и очень рад показывать свои сокровища. Показывает их суетливо, несдержанно, навязчиво, — и страшно напоминает Исаака Влад. Шкловского (Dioneo). С Замятинным у меня отношения натянутые⁷.

17 янв. У Ю. П. Анненкова познакомился с сыном Павла Васильевича Анненкова, «друга Тургенева». <...> Интересуется больше всего генеалогией рода дворян Анненковых, ради чего и приходит к Юрию Павловичу и рассматривает вместе с ним листы, где изображено их древо. — Был дня два назад у м-ра Кеэпу и его жены — рыжей уроженки Георгии, южного штата Америки. Единственный американец, к-рый интересуется искусством, литературой. Они дали мне книгу нашумевшего Mencken'a «Prejudices»**. Ничего особенного. Я писал и лучше в свое время. <...> У Мурки такое воображение во время игры, что, когда потребовалось ловить для медведя на полу рыбу, она потребовала, чтобы ей сняли башмаки. Сейчас она птичка — летает по комнатам и целыми часами машет крыльями.

20 янв. Был у американцев. Обедал. Ам-цы как из романа: Brown из Бруклина, Renshaw — в черных очках и д-р Гэнтг, нескладный и милый. Мы сидели в parlour*** и разговаривали о литературе. Браун дал мне дивный роман «Babbitt», by S. Lewis. Я сижу и упииваюсь. Ой, сколько навалили корректуры: Некрасов (от Гржебина), журнал «Совр. Запад» и проч.! Когда я с этим справлюсь. Вчера был в ложе у Конухесов на первом выступлении Н. Ф. Монахова в «Слуге двух господ» — первом после его выздоровления. Эту пьесу я уже видел — раз — сидел в той же самой ложе у Блока: тогда Блок привел нас и в тех местах, где ему казалось, что мы должны смеяться, оглядываясь, смеемся ли мы, и очень радовался, если мы смеялись. <...> Вчера было Крещение, мы во Всемирной условились, что будем слушать Замятина. Пришли Вольтинский, Ольденбург, Владимирцев, я, Ольденбург, слушая, спал и даже похрапывал. Владимирцев дергал головою, как будто его жмет воротник. Тихонов правил корректуры. Вол. старенький, сидел равнодушно (и было видно, каким он будет в гробу; я через очки впервые разглядел, что, когда он молчит, у него лицо мертвеца.) Ой, как скучно, и претенциозно, и ничтожно то, что читал Замятин. Ни одного живого места, даже нечаянно. Один и тот же прием: все герои говорят неоконченными фразами, невразумительно, он очень хочет быть нервным, а сам — бревно. И все старается сказать не по-людски, с наивным вывертом: «ее обклеили улыбкой». Ему кажется, что это очень утонченно. И все мелкие ужимки и прыжки. Старательно и непременно чтобы был анархизм, хвалит дикое состояние свободы, отрицает всякую ферулу, норму, всякий порядок — а сам с ног до головы мещанин. Ненавидит расписания (еще в «Островитянах» смеется над Дьюли, который даже жену целовал по расписанию), а сам только по этому расписанию и пишет. И как плохо пишет, мелкочко. Дурного тона импрессионизм. Тире, тире, тире... И вся мозгология дурацкая: все хочет дышать ушами, а не ртом и не носом. Его называют мэтром, какой же это мэтр, это сантиметр. Слушали без аппетита. Вольтинский ушел с середины и сделал автору только одно замечание: нужно говорить не Егова, но Ягве. (Страшно характерно для Вольтинского: он слушал мрачно и мертво, но при слове Егова оживился; второй раз он оживился, когда Замятин упомянул метафизическую субстанцию). Потом Вольтинский сказал мне, что роман глупый, глупый и пр. Тихонов — как инженер — заметил Замятину, что нельзя говорить: он поднялся кругами; кругами подняться невозможно, можно подняться спиралью, и все заговорили о другом⁸. Ольденбург — о пушке. Оказывается, Пулковская обсерват. уже не дает сигнала в крепость, когда наступает 12 час. Сигнал дается только на почтамт, поэтому пушке доверять нельзя. И стал читать свою статью — о «Новом Востоке», которая после Замятинских потуг показалась и свежей и милой. <...>

30 января. Вынырнул из Некрасовской корректуры! Кончил Мюнхгаузена. Прибежала Мурка:

— Дай Моньдоньдынь! (Мойдодыр)

Третьего дня был у Розинера, встретился там с Сытиним. Бессмертный челолек. Ласков до сладости. Смеется каждой моей шутке. «Обожаемый сотрудник наш»; и

* «Ворота ярости» (англ.).

** «Предрассудии» (англ.).

*** Гостиной (франц.).

опять на лице выражение хищное. Опять он затеял какие-то дела. Это странно: служит он просвещению бескорыстно — а лицо у него хищное, и вся его шайка (или «плеяда»), все были хищные: Доросевич, Руманов, Григорий Петров⁹ — все становились какими-то ястребами — и был им свойствен какой-то особенный сытинский хищный азарт! Размашисты были так, что страшно — в телеграммах, выпивках, автомобилях, женщинах. И теперь, когда я сидел у Розинера — рядом с этим великим издателем, который кланялся (как некогда Смирдин) и несколько раз говорил: «я что! я ничтожество!», — я чувствовал, что его снова охватил великий ястребиный восторг.

И опять за ним ухаживают, пляшут вокруг него какие-то людишки, а он так вежлив, так вежлив, что кажется, вот-вот встанет и пошлет к ... матери.

Вчера утром был у Замирайло. На лестнице у него нестерпимо пахнет кислой капустой и кошками. Он в сюртуке, подпоясан кушаком, красив и ясен. С радостью взялся иллюстрировать мои сказки. Руки в кофоти — топит печку. В комнате шесть градусов. Пыль. На стене гравюра Дорэ («суховато», говорит он; «но ведь Дорэ не был гравер») и два подлинных рисунка Дорэ (пейзаж в красках и карандашный рисунок), лупа на каком-то стержне и дешевая лубочная картинка о вреде пьянства. «Очень мне нравится, — говорит он, — сколько народу и как скомпоновано». У него на столе недоконченный (и очень скверный) рисунок, дама с господином, вроде Евг. Онегина. Это иллюстрации, заказанные ему издательством Красный Путь (!) — к роману Анатоля Франса «Боги жаждут». «Черт возьми, не люблю я Франса — делаю против воли — за-ради денег». Я поговорил с ним о Щекотихиной. «Да, ей Билибин присылал такие теплые письма и телеграммы, что в Питере становилась оттепель: все начинало таять. Вот она вчера уехала, и сегодня впервые — мороз!»¹⁰ (Вчера действительно было первые 10 градусов, а до сих пор погода — как на масленицу: тает и слякотно.)

Сегодня Замирайло был у Клячко и принял заказ. Его так увлекли мои сказки, что, по его словам, он уже в трамвае по дороге сюда рисовал на стекле танцующего Кита. <...>

Вчера пела Зеленая в Балаганчике:

Говорять, в Америке
Ни во что не веруют.
Молоко они не доют.
А в жестянках делают.

Сяду я в автомобиль
На четыре места —
Я уж больше не шофер —
Председатель треста.

В Балаганчике пою,
Дело не мудреное,
Никто замуж не береть,
Говорять: Зеленая.

Были гости у меня,
Человечков двести.
А потом они ушли
С обстановкой вместе.

Есть калoshi у меня,
Пригодятся к лету.
А по совести сказать:
У меня их нету.

Но в театре мало народу. Актеры шутят через силу. Все как будто только и ждут, чтобы скорее уйти. Как будто за кулисами у них серьезная печаль, а пред публикой, перед гостями, они должны то keep arrearance *. Замирайло сказал мне третьего дня: «Нет, знаете, я отдам Клячко то, что обещал, потому что я ненавижу заказанные мне вещи и не хочу хранить их дома. А вам изготавлю что-нибудь из головы». Про Дорэ:

* Соблюдать приличия (англ.),

«Жаль, что он умер, не дождался меня. Если бы он был жив, я бы его разыскал, пошел бы к нему». Лупы у него на рычагах для гравюры. <...>

Февраль 12, понедельник. Над Сингом моя работа была особенно докучна и трудна. Ни одной книжки о Синге найти невозможно в Питере, поэтому, соображая время постановки его пьес, я рылся в старых номерах «Acade [нрзб.— Е. Ч.] и «Athenaeum'a», отыскивая крошечные и беглые рецензии о «Playboу'e». Так как иностранный отдел Публ. Библиотеки заперт, я был вынужден сидеть в канцелярии, людной и шумной, и перелистывать журналы страница за страницей, примостившись у окна. В журналах по большей части не было оглавлений — и уходило часа 2 на то, чтобы разыскать нужные строки. Так я собирал матерьял. Потом началось писание — о, какое трудное! У меня и сейчас сохраняются три статьи, которые я забраковал, — только четвертая хоть немного удовлетворила меня. И что же! напечатали ее таким мелким шрифтом, что читать нельзя было. Тихонов велел перебрать. Перебрали. Вдруг из Москвы бумага: «Так как Чуковский выражает свои собственные мысли — выбросить предисловие». Еду в Москву бороться — за что? с кем? Признаюсь, меня больше всего уязвило не то, что пропала моя долгая работа, а то, что какой-то безграмотный писарь, тупица, самодовольный хам — смеет третировать мою старательную и трудно давшуюся статью как некоторый хлам, которым он волен распоряжаться как вздумает:

«Первую часть предисловия Чуковского (гл. I и II), содержащую ценные фактические данные о жизни и об отзывах англ. печати о произв. Синга, оставить, выпустить последний абзац первого столбца. В остальной же части предисловия Ч. выражает свой собственный взгляд на творчество автора. Его анализ — извращенно-индивидуалистический. Признавая всечеловеческое значение» (чего?) и отрицая социальные мотивы творчества, Ч. приписывает Сингу «логику безумия» и оправдание «мировой чепухи». Ч. отрицает совершенно тон иронию у автора в изображении быта ирландского крестьянина. Чуковский выдает талантливое изображение автором ограниченности и тупости ирландских фермеров и кабатчиков как выражение талантливости, богатства натур.

Начиная с третьей главы до конца предисловие Ч-ого неприемлемо, и потому эту часть следует выпустить или же лучше написать соверш. новое марксистское предисловие, в крайнем же случае издать пьесу без всякого предисловия, ограничившись прекрасным предисловием самого автора».

Самое убийственное в этом смешном документе — что он так неграмотен: «выдает талантливое изображение автором (?) как (?) выражение». Этаким болван скудоумный. Но видно, что сам он своей ролью чрезвычайно доволен — и даже не прочь и сам пойти в критики и показать мне, как нужно писать. Его критическая статья превосходна — как будто из Щедрина, Кузьмы Пруткова или Зоценки. Все банальные газетные фразы собраны в один фокус.

«Произведение Синга написано живо, увлекательно» и читается с большим интересом. Автор умело, ярко и колоритно (ярко и колоритно!) передает быт ирландских фермеров. Большое богатство, безыскусственность в передаче непосредственности в переживаниях действующих лиц. (Какова фраза.) Ханжество, ограниченность и тупость крестьянской психики нашли в пьесе рельефное и ироническое отражение. Герои убивают отца или мужа (мужа-то убивают героини) и совершают всякие пакости «с помощью божьей». В известной степени это является сатирой на религиозные убеждения. По всем этим соображениям пьесу издать следует». Подпись Старостина.

Из этого документа так и вылезла на меня морда такого хамоватого тупицы, каких, бывало, ненавидел Чехов. Пусть бы зарезали статейку, черт с нею, но как-нибудь умнее, каким-нб. острым ножом. И в итоге такая щедринская приписка:

В редакционный сектор Госиздата.

По распоряжению тов. Яковлева возвращаю вам корректуру Джон Синга «Плейбой» с отзывом тов. Старостина и резолюцией тов. Яковлева:

Издать без предисловия Чуковского

Секретарь редакционно-инструкторского отдела

подпись Волков № 7 7/II-23 года.

Тихонов, передавая мне эту бумагу, думал, что я буду потрясен. Художник Радаков говорит: «Если бы такая беда случилась со мною, я запил бы на две недели». А я, что называется, ни в одном глазу. Мне так привычны всякие неправды, уколы, провалы, что я был бы удивлен, если бы со мною случилось иное. Черт с ними —

жаль только потерянных дней. Да и какая беда, если никто не прочтет предисловия, — ведь вся Россия — вот такие Старостины, без юмора, тупые и счастливые. Я написал вчера бумагу, что Синг не писал сатир, что я не отрицаю социальных мотивов творчества и т. д., и т. д., и т. д. Вкрапил язвительные уколы: только тот, кто знает прочие сочинения Синга, кто знает Ирландию, кто знает англ. литературу, может судить о том, прав я или нет. Но это больше для шикю. Вот Коган или Фриче¹¹ знают англ. язык, а что они понимают, *Loг' what do they understand!* *

Вчера был у Розинера. Все торгуемся насчет «Крокодила».

Клячко оказался мелким деспотом и скувалдой. Чехонину не платит, мне не платит, берется за новые дела, не рассчитавшись за старое, мое стремление помочь ему рассматривает как желание забрать все в свои руки...

Читаю роман Arnold'a Беннета «The Card»** — очень легко, изящно, как мыльная пена, но, боже, до чего фельетонно — и ни гроша за душой. Автор ни во что не верит, ничего не хочет, только бы половчее завертеть фабулу и, окончив один роман, сейчас же приняться за другой.

Февраль 13, вторник. Суета перед отъездом в Москву. Мура больна серьезно. У нее жар седьмые сутки. Очень милые многие люди в Ара¹², лучше всех Кини (Keeny). Я такого человека еще не видал. Он так легко и весело хватается за жизнь, схватывает все знания, что кажется иногда гениальным, а между тем он обыкновенный янки. Он окончил Оксфордский Университет, пишет диссертацию о группе писателей Retrospective Review*** (начало XIX в.). Узнав о голоде рус. студентов, он собрал в Америке среди Young Men Christian Association**** изрядное количество долларов, потом достал у евреев (Hebrew Students*****) небольшой капитал и двинулся в Россию, где сам, не торопясь, великолепно организовал помощь русским профессорам, студентам и т. д. Здесь он всего восемь месяцев, но русскую жизнь знает отлично — живопись, историю, литературу. Маленький человечек, лет 28, со спокойными веселыми глазами, сам похож на студента, подобрал себе отличных сотрудников, держит их [в] дисциплинированном виде, они его любят, слушаются, но не боятся его. Предложил мне посодествовать ему в раздаче пайков. Я наметил: Гарину-Михайловскую, Замирайло, жену Ходасевича, Брусняину, Милашевского и др. А между тем больше всех нуждается жена моя Марья Борисовна. У нее уже 6 зим подряд не было теплого пальто. Но мне неловко сказать об этом, и я не знаю, что делать. На днях я взяла Кини с собою во «Всемирную». Там Тихонов делал доклад о расширении наших задач. Он хочет включить в число книг, намеченных для издания, и Шекспира, и Свифта, и латинских, и греч. классиков. Но ввиду того, что нам надо провести это издание через редакционный сектор Госиздата, мы должны были дать соответствующие рекомендации каждому автору, например:

Бо[к]каччо — борьба против духовенства.

Вазари — приближает искусство к массам.

Петроний — сатира на эппманов и т. д.

Но как рекомендовать «Божественную Комедию», мы так и не додумались.

Уходя с заседания, Кини спросил: «What about copyright?»***** Я, что называется, blushed***** , потому, что мы считаем copyright пережитком. Кини посоветовал издать Бенвенуто Челлини. <...>

14 февраля 1923. Поездка в Москву. <...> Первый раз спал в вагоне — правда, под утро. Но спал. В Москве мороз. В Студию — комнат нет. Встретили растерянно, уклончиво: никому нет дела. Из уклончивых ответов я понял, что Синг провалился. Всю вину они возлагают на Радакова. Мы видели, что он губит пьесу, но было уже поздно... Нелюбовь к Радакову чувствуется во всех отзывах о нем. «Он никогда не мыл шею. Никогда не умывался. В его комнату войти нельзя было: грязь, вонь; помадит свои вихры фиксатуром. Ленив до такой степени, что, созвав всех малевать декорации, сам лег спать и т. д.». Напившись в Студии чаю — в Госиздат. Новое здание — бывший магазин Мандля — чистота. Там Тихонова нет. Встречаю Марию Карловну Куп-

* Боже, что они понимают! (Англ.)

** «Карта» (англ.).

*** Ретроспективный обзор (англ.).

**** Молодежная христианская ассоциация (англ.).

***** Еврейские студенты (англ.).

***** А как насчет копирайта? (Англ.)

***** Покраснел (англ.).

рину — и с ужасом вижу, что она уже старушка. Мексин¹³ — о «Крокодиле». Оттуда в «Красную Новь» — издательство, вонючее, как казарма. Грязь, табачный дым, окурки, криво поставленные столы. Там Вейс¹⁴ и Николаев — о «Крокодиле» и Уитмэне. Устал. Снова в Студию — там часа два канитель с устройством комнаты. Потом в Госиздат эпать — о, bother! * Заседание, Шми[д]т, Калашников¹⁵, Тихонов. Тихонов гениально всучивает им нашу программу, а они кряхтят, но принимают, и как дипломаты двух враждебных держав, вежливо, но начеку. Изумительный документ Старостина был показан мною Мещерякову¹⁶. Мещ. был очень сконфужен и сказал, что завтра вынесет резолюцию. Ругал цензора сам. Потом с Тих. ужинать, разговор о Замятине, потом в Студию, оказывается, никто не приготовил ни одеяла, ни простыни, и я в обмороке. Наконец-то лег и спал минут 40.

15/II. <...> Я читал в Доме Печати о Синге, но успеха не имел. Никому не интересен Синг, и вообще моск. нэпманская публика, посещающая лекции, жаждет не знаний, а скандалов. Все оживилось, когда Юлий Соболев¹⁷ стал разносить постановку «Героя», и смотрели на Дикого сладострастно, ожидая, как-то он отделает Соболева. Но Дикый сказал, что статья Соболева ему нравится, и все увяли: мордобой не состоялся.

Из Дома Печати мы всей ватагой: я, Анненков, Пинкевич, Пильняк, Соболев, Ключарев, пошли к Васе Каменскому: он живет наискосок, через дорогу. Вся комната оклеена афишами, где фигурирует фамилия Васи. Иные афиши сделаны от руки — склеены из разноцветных бумажек, и это придает комнате веселый, нарядный вид; комната похожа на Васьины стихи. С потолка свешивается желтое полотнище: «Это поднесли мне рабочие бумажеиногo треста — на рубаху».

Вся умеет говорить только о себе, простосердечно восхищаясь собой и своей приятной судьбою, а неприятного он не умеет заметить. Играл на гармонике, показывал письмо от Бурлюка из Японии, к-рое он повесил на стенку. Он ждет Евреинова¹⁸. Евреинов едет в Москву — читать лекцию о наготe... (нэп! нэп!) Анненков побежал куда-то за вином и скоро вернулся с большой корзиной.

На др. день вечером все сошлись у меня: Вася, Пильняк, Пинкевич. Анненков надул. Пин[кевич] и Пильняк были в бане и привели с собой какого-то сановника из Госиздата — молодого, высокого и важного. Впрочем, он снизошел к нам настолько, что съел у меня несколько орехов и выпил бутылку вина <...> У меня большая грусть: я чувствую, как со всех сторон меня сжал сплошной нэп — что мои книги, моя психология, мое ощущение жизни никому не нужно. В театре всюду низменный гротеск и, например, 20 февр. я был на «Герое» Синга: о рыжие и голубые парики, о клоунские прыжки, о визги, о хрюканье, о цирковые трюки! Тонкая, насыщенная психологией вещь стала отвратительно трескучей. Кини сказал мне: «О Синге говорили, что его слова пахнут орехами (nuts). Но nuts в Америке значит также и дураки». Мне было не [до] смеху: я чуть не плакал... Видел 3-го дня «Потоп». Очень разволновался. Чудесно играли Волков и Подгорный. Вчера видел «Эрика XIV»¹⁹. Старательно, но плохо. И что за охота у нынешнего актера — играть каждую пьесу не в том стиле, в каком она написана, а непременно навыворот. Был я вчера у актера Смышляева, он ставит «Укрош, строптивый» бог знает с какими вывертами. Сляй видит себя во сне: получается два Слая, один ходит по сцене, другой сидит в зрительном зале.

В Госиздате я подслушал разговор Мещерякова о себе: «По-моему, я скажу Чуковскому, что он не прав, и цензору сделаю Мещеряков». 26 вечером мы гурьбою прошли в б[ывший] театр Зона, который ныне официально называется Театр Мейерхольда. Публики тупомордой — нэпманской — стада. Нас долго не пускали; когда же наконец я достал билеты, заставили снять пальто. Мы опять ругались.

[Вывраны страницы. — Е. Ч.]

...Новое помещение, только что крашенное (бывший конфексион Мандля), с утра нависает писателями, художниками, учеными, которые дежурят у разных дверей или мечутся из комнаты в комнату. Вначале часов до двенадцати лица у них живые, глаза блестящие, но часам к двум они превращаются в идиотов. На каждом лице — безнадежность. Я встретил там Любочку Гуревич, Сергея Городецкого, Володю Фидмана, скульптора Андреева, Тулупова, Дину Кармен²⁰, у всех тот же пришибленный и безнадежный взгляд. Тихонов там днюет и по-ует. Я еще не знаю о судьбе Синга, но Мещ. ко мне теперь гораздо ласковее: он прочитал «Мойдодыра» и юрчо полюбил

* O, morona! (Англ.)

эту книгу. «Читал ее два раза, не мог оторваться». «Мойдодыру» вообще везет: все хвалят его, и вчера в Госиздате Корякин (жирный человек) громовым голосом декламировал

Надо, надо умыться
По утрам и вечерам —

но никто и не подумает дать об этой книжке рецензию, а, напротив, ругают как сукина сына. <...>

Дикий о портрете Тр[оцкого]: «Фармацевт, обу́тый в военный костюм».

В Москве теснота ужасная; в квартирах установился особый московский запах — от скопления ч[еловече]ских тел. И в каждой квартире каждую минуту слышно спускание клозетной воды, клозет работает без перерыву. И на дверях записочка: один звонок такому-то, два звонка — такому-то, три звонка такому-то и т. д.

27 февраля. Вчера сидел в Госиздате с 11 ч. до половины 5-го и наконец подписал договор. О, как болела голова, сколько раз по лестнице вверх и вниз. Два раза переписывали. <...> На следующий день я был у Пильняка, в издательстве «Круг». Маленькая квартирка, две комнатки, четыре девицы, из коих одна огненно-рыжая. Ходят без толку какие-то недурно одетые люди — как неприкаянные — неизвестно зачем — Будандев²¹, Казин²², Яковлев и проч. Все эти люди трактирные, Пильняк со всеми на ты, рукописей ихних он не читает, не правит, печатает что придется. В бухгалтерии — путаница: отчетов почти никаких. Барышни не работают, а болтают с посетителями, особенно одна из них, Лидия Ивановна, фаворитка Пильняка. Деловую часть ведаёт Александр Яковлевич Аросев — плотный и самодовольный. В распоряжении редакции имеется автомобиль, в котором чаще всего разъезжает Пильняк. Я с Пильняком познакомился ближе. Он кажется шалым и путаным, а на самом деле — очень деловой и озабоченный. Лицо у него озабоченное — и он среди разговора, в трактире ли, в гостях ли, непременно удалится на секунду поговорить по телефону, и переход от разговора к телефону — у него незаметен. Не чувствуется никакой натуги. Он много говорит теперь по телеф. с Красиным, хочет уехать от Внешторга в Лондон. Очень забавна его фигура, длинное туловище, короткие ноги, голова назад, волосы рыжие и очки. Вечно в компании и всегда куда-нибудь идет *предприимчиво*, с какой-то надеждой. Любит говорить о том, что люди...

[Вырвана страница.— Е. Ч.]

Городецкий! В палатах Бориса Годунова. С маленькими дверьми и толстенными стенами. Комнаты расписаны им самим — и недурно. Электр. лампы очень оригинально оклеены бумагой. Столовая темно-синего цвета, и на ней много картин. «Вон за этого Врубеля мы только что заплатили семь миллиардов», — говорит Нимфа²³, Нимфа все та же. Рассказывает, как в нее был влюблен Репин, как ее обожал Блок, как в этом году за ней ухаживал Ф. Сологуб. Они были в Питере и пили с Сол[огубом] в «Астории». Пришел Сергей — и оказался мне гораздо талантливее, чем в последние годы. Во-первых, он показал мне свой альбом, где действительно талантливые рисунки. Во-вторых, он очень хорошо рассказывал, как он спасал от курдов армянских детей — спас около трехсот. В комнате вертелся какой-то комсомолец — в шапке, нагловатый. У Нимфы на пальцах перстни — манеры аристократические, — великосветский разговор. Городецкий такой же торопыга, болтун, напомнил прежние годы — милые.

Вечером у Маяковского. <...> Пирожное и коньяк. Ждут Мс Кау'я. Наконец начинает читать. Хорошо читает. Произнося по-холоади у вместо в и очень вытягивая звук о — Маякоооуский. Есть куски настоящей поэзии и тема широкая, но в общем утомительно. Он стоял у печки, очень милый, с умными глазами, и видно, что чтение волнует его самого. Был художник — Ро[д]ченко, Брик, две барышни, слушавшие Маяковского благоговейно. Я откровенно высказал ему свое мнение, но он не очень интересовался им. Потом прочел довольно забавную «агитку» — фельетон в стихах о том, что такое журналист, — в журнал «Журналист»²⁴. Потом в коридоре, уходя (Мс Кау не пришел), я при Л. Ю. Брик сказал ему, что его упоминание о нас в автобиографии нагло, что ходил он ко мне не из-за обедов и проч. Он обещал в следующ. изд. своей книги это переделать²⁵.

...Я сказал Маяковскому, что Анненков хочет написать его портрет. Маяк согласился позировать. Но тут вмешалась Лиля Брик. «Как тебе не стыдно, Володя. Конструктивист — и вдруг позировать художнику. Если ты хочешь иметь свой портрет, поди к фотографу Вассерману — он тебе хоть двадцать дюжин бесплатно сделает».

19 марта 1923. Вот уже неделя как я дома — и все ничего сделать не могу. Вчера читал на вечере, данном в честь Леонида Андреева, свои воспоминания о нем. И не досидев до конца, ушел. Страшно чувствую свою неприкаянность. Я — без гнезда, без друзей, без идей, без своих и чужих. Вначале мне эта позиция казалась победной и смелой, а сейчас она означает только круглое сиротство и тоску. В журналах и газетах — везде меня бранят, как чужого. И мне не больно, что бранят, а больно, что — чужой. Был у Ахматовой. Она со мной — очень мила. Жалуетса на Эйхенбаума — «после его книжки обо мне мы раззнакомились»²⁶. Рассматривали Некрасова, которого будем вдвоем редактировать. Она зачеркнула те же стихи, что в изд. Гржебина зачеркнул и я. Совпадение полное. Читая «Машу», она вспомнила, как она ссорилась с Гумилевым, когда ей случалось долго залеживаться в постели — а он, работая у стола, говорил:

Только муженик труж белолыдый...

24 марта 1923. Мурка гуляет с Аннушкой в садике. Лужи. Аннушка запрещает ей ходить по лужам. Когда Мурке хочется совершить это преступление, она говорит: «Аннушка, дремли, дремли, Аннушка».

У Ахматовой. Щеголев. Выбираем стихотворения Некрасова. Когда дошли до стихотворения:

В полном разгаре страда деревенская,
Доля ты русская, долюшка женская,
Вряд ли труднее сыскать!

Ахматова сказала: это я всегда говорю о себе. Потом наткнулись на стихи о Добролюбове:

Когда б таких людей
Не посылало небо —
Заглохла б нива жизни.

Щ[еголев] сказал: «Это я всегда говорю о себе». Потом Ахматова сказала: одного стихотворения я не понимаю. — Какое? — А вот этого: «На красной подушке первой степени Анна лежит»²⁷. Много смеялись, а потом я пошел провожать Щеголева и чувствовал, как гимназист, что весна.

27 марта. Вчера был в Конфликтной комиссии в споре с домкомбедом, который требует с меня, как с лица свободной профессии — колоссальную сумму за квартиру. Я простоял в прихожей весь день — очень тоскую. <...> Мое дело было правильное — я действительно работаю во «Всемирной Литературе», но у меня не случилось какой-то бумажки, которую достать — раз плюнуть, и все провалилось. Притом я был в крахмальном воротничке. Портфель мой был тяжел, я очень устал, попросил позволения сесть, не позволили — два раза не позволяли, — а среди них было две женщины, и то, что мне не позволили сесть, больше взволновало меня, чем два миллиарда, которые я должен заплатить. О, о! тоска! Все деньги ушли, а я так и не засел за работу. Редактирую хроника для третьего номера. Это мелочная труднейшая работа, мешающая заниматься делом. Вчера в Доме Ученых я читал о Некрасове. Было человек двадцать — старушки. И была сестра Кони, Грамматчикова. Она читала из «Русских Женщин». <...>

1 апреля 1923. Вот мне и 41 год. Как мало. С какой завистью я буду пересчитывать эту страницу, когда мне будет 50. Итак, надо быть довольным! Когда мне наступило 19 лет — всего 22 года назад, — я написал: «Неужели мне уже 19 лет?..» Теперь же напишу:

— Неужели мне еще 42-й год.

Игра сыграна, плохая игра — и нужно делать хорошее лицо. Вчера купил себе в подарок Илью Эренбурга «Хулио Хуренито» — и прочитал сегодня страниц 82. Неплохо, но и не очень хорошо: французский скептицизм сквозь еврейскую иронию с русским нигилизмом в придачу. Бульварная философия — не без ловких в литературном отношении — слов. <...>

20 апреля. Дни идут. Я раздавлен «Хроникой» «Современного Запада». Замятин пальцем о палец не ударил, всю работу взвалил на меня; это работа колоссальная: достать матерьял, выбрать наиболее интересное, исправить неграмотные заметки Рейнтца, Порозовской и др. Был несколько дней тому назад на премьере «Мещанина в дворянстве» — постановка Ал. Бенуа. Это то, что нужно нашей публике: бездумное оспектакливание. Пропаала мысль, пропало чувство — осталось зрелище, восхитительное, наряд-

ное, игривое, но только зрелище. Ни сердцу, ни уму, а только глазу — и как аплодировали. Бенуа выходил раз пять, кланяясь и пожимая актерам руки (его манера: когда вызывают его, он никогда не выходит один, а в компании с другими, аплодируя этим другим). На следующий день я был у него. Кабинет. Стол. Буржуйка. Возле буржуйки сохнут чулочки его обожаемого Татана. На столе письмо, полученное им накануне от Юрьева: оказывается, что Бенуа на генеральной репетиции так не понравился Кондрат Яковлев в роли Журдена, что сгоряча он потребовал, чтобы спектакль отменили. Юрьев в письме убеждает Бенуа этого не делать. «Трудный актер Яковлев, трудный, упрямый, обидчивый, себе на уме», — говорит Бенуа. Был у меня вчера Ник. Тихонов — хриплым голосом читал свои лохматые вещи. Он очень прост, не ломака, искренен, весь на ладони. Бедствует очень, хотя мог бы спекулировать на своей славе. (Лунач[арский] написал о нем как об одном из первейших русских поэтов — а он, оказывается, даже не знал этого.) Бываю я в Аре — хлопочу о различных писателях: добыл пайки для Зоценко, П. Быкова²⁸, Брусняниной и проч. <!...>

Мурка, ложась спать: — Мама, я укрыта? — Да. — А мне тепло? — Да. — Ну, я буду пать.

Марья Борисовна была в клубе «Серапионовых братьев». Ее видела Оля²⁹ и написала стишки:

Красивая, торжественная дама,
«Жена Юпитера» — вы скажете о ней.
А муж ее, ну, знаете, тот самый
Точно на винтиках держащийся Корней.

21 апреля 1923. Был вчера в «Былом». Очень забавен Щеголев. Лукавая детская улыбка, откровенный цинизм и лень — сидит в редакции, к нему приходят всякие люди, он с ними торгуется и дает в десять раз меньше, чем они просят. Вчера у него был Ник. Никитин, который долго считал, сколько ему должен Щеголев, а когда исписал цифрами страницы три — и перевел на золото, то оказалось, что не Щеголев ему, а он — Щеголеву должен огромные суммы. Так подводит людей золотая валюта. Щеголев смеется, Никитин скрежет затылок. Я спросил недавно Щеголева, читает ли он «Белое», которое он редактирует. «Да что его читать... такая скука», — сказал он. От Щеголева я к Ал. Бенуа. Бенуа в духе, играл на рояле, шекотал Татана, приговаривая каballистические стихи, очень смешно рассказывал о Теляковском. Нынче Теляковский опять вынырнул: он напечатал в «Жизни и Искусстве» статью о Мейерхольде³⁰ в таком забавном бюрократическом духе, как будто пародия Зоценки. «Я призвал к себе Мейерхольда в кабинет и...» Бенуа рассказывал: «Года три назад кто-то хотел возобновить балаганы в «Народном Доме» — т. е. не в самом Доме, а возле. Пригласили нас, экспертов. Снег, тоска, мы молчим. Вдруг вижу, с красным носиком, с самодельным чемоданом стоит на снегу камергер Теляковский. Его тоже почему-то пригласили. Смотрел он властям в глаза искательно, был на все готов, и мне казалось, что он с того света... Сегодня едет в Питер Мейерхольд: поздравляться и чествоваться. Здесь его будут всем синкайтом величать: я теперь боюсь даже мимо Александринки пройти, как бы не поздравить нечаянно». Анна Карловна Бенуа говорит, что на дальнейших представлениях «Мещанина в дворянстве» Яковлев играл еще хуже. «Хам такой, он даже роли не знает: вместо герцогиня говорит княгиня». Оттуда к Розинеру: он купил у меня книжку о Блоке. Оттуда к Форш: чудесный вечер, был Ст. П. Яремич, М. Слонимский, Пяст. Пяст читал свои стихи о мировой войне, написанные в 1915 г. «Грозою дышащий июль», — в них он с той наивностью, которая была трисуща нам всем и от которой ничего не осталось, прославляет «святую» Бельгию, «благородную» Францию, проклинает Вильгельма и т. д. Стихи местами очень хороши. Как будто читаешь в стихах старые «Биржевые Ведомости».

21 апреля. Опять негр Мак-Кэй. Потолстел, но говорит, что это от морозу: отможенные щеки. Очень много смеется, но внутренне серьезен и когда говорит о положении негров в Америке — всегда волнуется. Я сдуру повел его к Клячко; с изумлением увидел, что Клячко не знает, что негры в Америке притесняемы белыми. «Как же так? — спрашивал он. — Ведь там свобода! Ай да американцы!» и т. д. Мак-Кэй ждет к себе в гостиницу Wine-merchant'a *, про к-рого он говорит, что д[окто]р — двоюродный брат Александра Блока. Wine-merchant снабжает его бесплатно вином. Гулял с Анной Ахматовой по Невскому, она провожала меңя в Госиздат, и рассказывала, что в эту суб-

* Виноторговца (англ.)

боту снова состоялись проводы Замятина. Меня это изумило: человек уезжает уже около года, и каждую субботу ему устраивают проводы. Да и никто его не высылает — оббил все пороги, наклонялся всем коммунистам — и вот теперь разыгрывает из себя политического мученика.

7 мая. Был у Сологуба неделю назад. Он занимает две комнатки в квартире сестры Анаст. Чеботаревской. Открыла мне дверь племянница Анастасии Лидочка. В комнате Сологуба чистота поразительная. Он топил печку, когда я пришел, — и каждое полено было такое чистенькое, как полированное, возле печки ни одной пылинки. На письменном столе две салфеточки — книги аккуратны, как у Блока. Слева от стола полки, штук 8, все заняты его собственными книгами в разных изданиях, в переплетах и проч. Заговорили о романе Замятина «Мы». «Плохой роман. В таких романах все должно быть обдуманно. А у него: все питаются нефтью. Откуда же они берут нефть? Их называют отдельными буквами латинской азбуки плюс цифра. Но сколько букв в латинской азбуке? Двадцать четыре. На каждую букву приходится 10.000 человек. Значит, их всего 240.000 человек. Куда же девались остальные? Все это неясно и сбивчиво».

Заговорил о здоровье. У него миокардит. Сердце не болит, если он не волнуется. Но волноваться приходится часто. «Если, напр., я спорю с друзьями, хотя бы расположенными ко мне; если я читаю свои стихи, хотя бы в самом тесном кругу, — я волнуюсь. И по лестнице всхожу очень медленно».

Заговорил о стихах. «У меня непечатанных стихов (он открыл правый ящик стола) — тысяча двести тридцать четыре (вот, в конвертах, по алфавиту)».

— Строк? — спросил я.

— Нет, стихотворений... У меня еще не все зарегистрировано. Я не регистрирую шуточных, альбомных стихов, стихов на случай и проч.

Это слово «регистрирую», «зарегистрировано» он очень любит.

— Французских стихотворений у меня зарегистрировано пять, переводных сто двадцать два. А стихотворений ранних, написанных в детстве, интимных, на шесть томов хватило бы.

Заговорили о рецензиях.

— Рецензий я не регистрирую. Вот переводы у меня зарегистрированы. Меня переводили на немецкий яз. такие-то и такие-то переводчики, на французский такие-то, а на английский такие-то.

И он вынул из среднего ящика карточки и стал читать одну за другой дольше, чем следовало.

Я понял: эгоцентризм, доведенный до культа. Сологуб стоит в центре мира, и при нем в качестве придворного историографа, библиографа, регистратора состоит Сологуб же. Это я подумал без насмешки, а сочувственно. В такой саморегистрации — для Сологуба спасение. Одиноким старичком, неприкаянным, сирота, забытый и критикой и газетами, недавно переживший катастрофу³¹, утешается саморегистрацией.

— Моех переводов из Верлена у меня зарегистрировано семьдесят.

Окошечки у него в кабинете маленькие, но вид оттуда — широкий. На стене портреты А. Н. Чеботаревской. Она с ним за чайным столом, она с ним на диване, она с ним в Париже, все чистенько, по-немецки, и без вкуса развешано.

— Не хотите ли вина?

— Я не пью. Да и вам вредно.

— Нет, немного можно. Хорошее вино. Не можете ли вы пристроить в Госиздате мой роман «Творимая легенда»?

— Ну, Госиздат такой вещи не возьмет.

— Почему? Мне говорили, что этот роман читала Клара Цеткина с восторгом. Вот бы она написала предисловие.

— А теперь вы пишете прозу?

— Нет. Вышел из этого ритма. Не могу писать. У меня это ритмами. Как болезни. Я, например, в январе всегда болен. Всю жизнь. Непременно лежу в январе.

— А стихи?

— Стихов я всегда писал много. Вот, напр., 6 декабря 1895 года я написал в один день сорок стихотворений. Вернее, цикл. «История девочки в гимназии». Многие из них не напечатаны, но часть попала в печать в виде отдельных стихотворений.

Заговорили о Некрасове. Он стал читать наизусть, сбиваясь, «Где твое личико смуглое», «Когда из мрака», «Все рожь кругом», «Если пасмурен день».

Был вчера у Ахматовой Анны. Кутается в мех на кушетке. С нею Оленька Судейкина. Без денег, без мужей — их очень жалко. Ольга Афанасьевна стала рассказывать, что она все продала, ангажемента нету, что у Ахматовой жар, температура по утрам повышенная, я очень расчувствовался и взял их в театр на «Чудо святого Антония». Нужно будет о Судейкиной похлопотать перед американцами.

Был у меня ночью Мак-Кэй. Он написал стихи о Первом Мае и хочет, чтобы я переводил. Очень ругательно отзывался об Аре, я защищал, мы поругались. Я уже чувствую, что он в свои будущие очерки о России внесет много клевет, сообщенных ему всякой сволочкой. Много сообщает ему Mrs. Stark, жена Гордина, — и врет как на мертвых.

10 мая. <...> Был вчера у Блока, потянуло на его квартиру, прошел пешком с Невы, по Пряжке; мальчишки барахтались на берегу. Вот его грязно-желтый дом, — грязно-зеленый подъезд, облупленный черный ход. Звоню. Кухарка открыла. Слева в прихожей телефон, где сохранился почерком Блока перечень телефонных номеров — «Всемирная Литература», «Горький» и т. д. Вышла ко мне навстречу тетка Бекетова Марья Андреевна. Бекетова — поправилась, стала солиднее, видно, внутренне она в гармонии с собой. «Вот живу в комнате покойной сестры!» — сказала она. Это белая узкая комната, где за тонкой черегородкой матросы. На стене большой портрет Блока работы Т. Н. Гиппиус³², множество карточек, и вот тетка сидит среди этих реликвий и пишет новую книгу о Блоке — текст к фотокарточкам, которые хочет издать к годовщине смерти Блока Алянский. Я сел за столик у окна и стал перелистывать журнал «Вестник», издававшийся Блоком в детстве. О, как гениально все это склеено, переплетено, сшито, сколько тут бабушек, тетушек, нянюшек. Почерк совсем другой — и весело, весело. А карточки трагичны. Особенно та, где Блок отвернулся от стола — от всех — Лермонтовым и глядит со страхом вперед; и даже по детским карточкам видно, что бунтарь. Руки очень самостоятельно — в детстве. Марья Андреевна стала читать мне свою рукопись, там, конечно, нет и догадки, кто такой Блок, там мирный и банальный Саша, любимец, баловень, а не — «Ночные часы». Интересно только, как он поспирал платья с гвоздей, чуть его заперли в чулан, — да и то анекдот. О, какое страшное лицо у него на балконе, на Пряжке! Тетка об этом не знает ничего. И все чувствуется какое-то замалчивание — замалчивается роль Любовь Дмитриевны, замалчивается та тягость, которую наложила на Блока семья, замалчивается сам Блок. Про Любовь Дмитриевну она сказала: «Люба сюда своего портрета не дает (в альбом). Она хочет остаться в тени. (Помолчав.) Такая скромность!» <...> Я к Ольге Форш. Она одна — усадила — и начала говорить о Блоке. Говорила очень хорошо, мудро и взволнованно, о матери Блока:

— Да она ж его и загубила. Когда Блок умер, я пришла к ней, а она говорит: «Мы обе с Любей его убили — Люба половину и я половину».

Много говорила о стихах Блока — я стал успокаиваться, но пришли С. П. Яремич и Сюннерберг. Я попрощался и ушел к Выгодскому. <...>

14 мая. Колив товариш Леня Месс — красивый, матоволикий скульптор. Небольшого роста, молчаливый, изящный, значительный. Мы с Колей зашли за ним, и пошли троим в Эрмитаж. Долго ходили по залам скульптуры, потом смотрели немцев, голландцев, англичан — и перед «Данеей» Рембрандта я умер от упоения. Мне слышалась музыка, как будто я вижу первую в жизни картину. Другие картины хороши или плохи, а эта — абсолютна, на веки веков. И еще поразила меня маленькая (сравнительно) картина Тициана — женский портрет в круглой зале — и больше ничего. Остальное — Литература. Эрмитаж полон. Интерес к искусству сильно вырос в массах. Но бедные зрители. Ходят неприкаянные, скучая, не зная, куда смотреть, а руководители экскурсий мелют вздор — и так громко, что мешают смотреть.

Очень интересна сегодняшняя газета³³.

Был у Ахматовой. Она показывала мне карточки Блока и одно письмо от него, очень помятое, даже испаряно булавкой. Письмо — о поэме «У самого моря». Хвалит и бранит, но какая правда перед самим собой³⁴... Я показал ей мои поправки в ее примечаниях к Некрасову. Примечания, по-моему, никуда не годятся. Оказывается, что Анна Ахматова, как и Гумилев, не умеет писать прозой. Гумилев не умел даже переводить прозой, и когда нужно было написать предисловие к книжке Всем. Лит., говорил: я лучше напишу его в стихах. То же и с Ахматовой. Почти каждое ее примечание —

сбивчиво и полуграмотно. Напр.: Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — современник Некрасова и имел с ним более или менее общие взгляды.

— Клейнмихель главное лицо по постройке...

— Байрон имел сильное влияние как на П[у]шк[ина], так и на Лерм[онтова].

Я уже не говорю о смысловых ошибках. Элегия — «форма лирич. стихотв.» и т. д. В одном месте книги, где у меня сказано: «пьесы ставились», она переделала: «одно время игралась».

Я не скрыл от нее своего мнения о ее работе и сказал, что, должно быть, это писала не она, а какой-[то] мужчина.

— Почему вы так думаете? Мужчина нужен, только чтобы родить ребенка. <...>

18 мая. <...> Ах, какая канитель с репинскими деньгами³⁵. Опять Абрам Ефимович затягивает платежи. А я решил сегодня послать их. Вести о том, что разгромлена моя дача, не ужасают меня, и я ужасаюсь под диктовку Марии Борисовны. Мне гораздо больнее, что разгромлена моя жизнь, что я не написал и тысячной доли того, что мог написать.

Был у Серапионов. Читал мне свои стихи Антокольский — мне вначале они страшно нравились, он читает очень энергично, — но потом я увидел, как они сделаны, и они разнравились.

Полонская читала так себе. Несколько раз вбежала Марнэтта Шагинян. Каверин говорил резкие вещи с наивным видом. Напр., Антокольскому сказал:

— А все же в ваших стихах — не обижайтесь — много хламу.

Луниц (больной ревматизмом) сказал Коле:

— Знаешь, твои стихи начинают повторяться. Все веточки, букашки, душа, и непременно что-нибудь «колышется».

Тон очень простой, наивный и труженический. <...>

30 мая. Был вчера у Кони и заметил, что у него есть около двенадцати методов для невиннейшей саморекламы. Напр.: как трогательно было. Я читал лекцию, а два матроса — декольте вот такое! — краса и гордость русской революции — говорят мне: «Спасибо, папаша!»

Второй способ — бранить кого-нибудь, противопоставляя его себе. Вот так: «Вообразите себе, как утеряно теперь моральное чувство: одна дама, узнав, что я отношусь отрицательно к покойному Н[иколаю] П, сказала:

— Прочтите лекцию о нем, мы вас озолотим.

Я сказал:

— Сударыня, понимаете ли вы, что вы говорите?

— А что?

— Да ведь кости его еще не истлели, а вы хотите, чтобы я публично плевал на его могилу».

Третий способ такой: «Ах, как я освежился в Москве. Я прочел там четыре лекции, ах, какую приветственную речь сказал мне проф. Сакулин³⁶! И вы знаете, в каком я был неприятном положении.

— Почему вы были в неприятном положении?

— Да как же: чувствовало меня Юрид. О-во. Ну, сказали похвальные речи, причем взяли октавой выше, а я должен был ответить, но что сказать? Ужасно неприятно. Промолчать — выйдет, что я согласен со всеми хвалами, сказать, но что? Я встал и сказал:

— Жалею, что в этом зале не присутствует Потемкин-Таврический.

Они переглянулись: с ума сошел старик. Но я продолжаю:

— Когда Потемкин увидел пьесу Фонвизина, он сказал: „Умри, Денис, лучше не напишешь“. Мне бы он сказал: „Умри, Анатолий, лучше не услышишь“». <...>

Был у жены Блока. Она очень занята театром, пополнила.

Пристал ко мне полуголодный Пяст. Я повел его в ресторан — и угостил обедом. <...>

Замятин напомнил мне, как я вовлек Блока в воровство. Во «Всемирной Литер.» на столе у Тихонова были пачки конвертов. Я взял два конверта — и положил в карман. Конверты — казенные, а лавок тогда не было. Блок застыдился, улыбнулся. Я ему: «Берите и вы». Он оглянулся — и больше из деликатности по отношению ко мне — взял два конверта и, конфузясь, положил в карман. <...>

[Коктебель. Сентябрь.] <...> Чувствую себя худо, чужим этой прелести. <...> Интеллигентных лиц почти нет — в лучшем случае те полуинтеллигентные, которые для меня так противны. Одиночество не только в вагоне, но и в России вообще. Брожу неприкаянный.

35 минут 8-го. Сижу над бездной — внизу море.

22 дня живу я в Коктебеле и начинаю разбираться во всем. Волошинская дача стала для меня пыткой — вечно люди, вечно болтовня. Это утомляет, не сплю. Особенно мучителен сам хозяин. Ему хочется с утра до ночи говорить о себе или читать стихи. О чем бы ни шла речь, он переводит на себя.— Хотите, я расскажу вам о революции в Крыму? — и рассказывает, как он спасал от расстрела генерала Маркса, — рассказывает длинно, подробно, напористо — часа три, без пауз. Я Макса люблю и рад слушать его с утра до ночи, но его рассказы утомляют меня, — я чувствую себя разбитым и опустошенным. Замятин избегает Макса хитроумно — прячется по задворкам, стараясь проскользнуть мимо его крыльца — незамеченным. Третьего дня мы лежали на пляже с Замятиним и собирали камушки — голые — возле камня по дороге к Хамелеону. Вдруг лицо у З[амяти]на исказилось, и он, как настигнутый вор, прошептал: «Макс! Все пропало». И действительно, все пропало. По берегу шел добродушный, седой, пухлый, важный — Посейдон (с длинной палкой вместо трезубца) и, чуть только лег, стал длинно, сложно рассказывать запутанную историю Черубины де Габриак, которую можно было рассказать в двух словах³⁷. Для нас погибли и камушки, и горы, мы не могли ни прервать, ни отклонить рассказа — и мрачно переглядывались. Такова же участь всех жильцов дачи. Особенно страшно, когда хозяин зовет пятый или шестой раз слушать его (действительно хорошие) стихи. Интересно, что соседи и дачники остро ненавидят его. Когда он голый проходит по пляжу, ему кричат вдогонку злые слова и долго возмущаются «этим нахалом». «Добро бы был хорошо сложен, а то образина!» — кудахтают дамы. <...> Мы с Замятиним вчера вправо — спасаясь от Макса и кривоногой девицы. Каменисто под ногами, но хорошо. У него свойство — сейчас же находить для себя удобнее место — нашел под горкой — безветренное, постлаал лохматую простыню — и лег, читал Флоренского «Мнимые величины в геометрии». Мы лежали голые, у него тело лоснится, как у негра, хорошее, крепкое, хотя грудь впалая. Читая, он приговаривал, что в его романе «Мы» развито то же положение о мнимых величинах, которое излагает ныне Флоренский. Потом я стал читать Горького вслух, но жара сморила. Мы пошли на пляж — и, невзирая на дам, стали купаться — волна сильная, я перекупался. <...> «Каменная болезнь».

Ни я, ни Замятин не собирали до сих пор камней, но дней пять назад я нашел два камушка, З[амяти]н тоже, и с тех пор страстно, напряженно ищем, ищем, ищем — стараясь друг друга перещеголять. Здесь было два детских утра, где я читал «Тараканище», «Крокодила», «Мойдодыра», «Муркину книжку» — и имел неожиданно огромный успех. <...>

20 м[инут] 1-го 4 окт. 1923. З[амяти]н: «Отныне буду любить всех детей, как Чуковский». <...> З[амяти]н: «Все спят, вся деревня спит, одна баба-яга не спит». По поводу моей бессонницы. <...> Нужно описать, как уезжали из Коктебеля мы с Замятиним. Он достал длинную линейку, Макс устроил торжественные проводы, которые длились часов пять и вконец утомили всех. На башне был поднят флаг. Целовались мы без конца. <...>

Воскресенье, 7 октября 1923. Приехал из Крыма, привез Муре камушки — она выбирает из них зеленые — и про каждый прибегает за четыре комнаты спрашивать: это зеленый? Винограду привез три пуда, мы развесили его на веревочках, и на пятый день уже ничего не осталось. Груши, привезенные мною, еще не дозрели, лежат на подоконнике. Я черный весь, страшно загорел, приехал обновленный, но сонный, ничего не делаю, никого и ничего не хочу. Вялость необыкновенная. Да и есть отчего быть вялым: я провел этот крымский месяц безумно. Приехал я в Коктебель 3 сентября. Ехал мучительно. В Феодосию прибыл полутрупом. Готов был вернуться назад в той же линейке. В воскресенье в 4 часа дня дотащился до Макса. Коктебель место идиллическое, еще не окурорченное, нравы наивные, и я чувствую себя, и Макса, и всех коктебельцев древними, доисторическими людьми. О нас будут впоследствии писать как о древних коктебельцах. Макс Волошин стал похож на Карла Маркса. Он так же преувеличенно учтив, образован, изыскан, как и подобает *poetae minori**. В тот же вечер, когда я при-

* Менее значительные поэты (лат.).

ехал, Замятин читал свою повесть «Мы». Понемногу я начал отходить, но прошла неделя, и Волошинская дача стала для меня пыткой: вечно люди, вечно болтовня. Я перестал спать. Волошин не разговаривал ни с кем шесть лет, ему, естественно, хочется поговорить, он ястребом налетает на свежего человека и начинает его терзать. Ему 47 лет, но он по-стариковски рассказывает все одни и те же эпизоды из своей жизни, по нескольку раз, очень округленные, отточенные, рассказывает чрезвычайно литературно, сложными периодами, но без пауз, по три часа подряд. Не знаю почему, меня эти рассказы утомляли, как тяжелые бревна. Самая их округленность вызывала досаду. Видно, что они готовые сберегаются у него в мозгу, без изменения, для любого собеседника, что он наизусть знает каждую свою фразу. С наивным эгоизмом он всякий случайный разговор поворачивает к этим рассказам, в которых главный герой он сам: «Хотите, я расскажу вам о революции в Крыму?» — и рассказывает, как он, Макс, спасал большевистского генерала Маркса от расстрела — ездил в Керчь вместе с его женой — и выхлопотал генералу облегчение участи. Стихи Макса декламационны, внешни, эстрадные — хорошие французские стихи, — несмотря на всю свою красоту, тоже утомляли меня. Человек он очень милый, но декоративный, не простой, вечно с каким-то театральным расчетом, без той верхней чуткости, которую я люблю в Чехове, Блоке, в нескольких женщинах. Живет он хозяином, магнатом, и походка у него царственная, и далеко не так бесхозяйствен, как кажется. Он очень практичен — но мил, умен, уютен и талантлив. Как раз в эти годы он мучительно ищет большого стиля — нашел ли он его, не знаю. Его нарочито русские речи в стихах звучат по-иностранным. Его жена Мария Степановна, фельдшерница, обожает его и считает гением. Она маленького роста, ходит в панталонах. Человек она незаурядный — с очень определенными симпатиями и антипатиями, была курсисткой, в лице есть что-то русское крестьянское. Я в последние дни пребывания в Коктебеле полюбил ее очень — особенно после того, как она спела мне *Зарю-заряницу*. Она поет стихи на свой лад, речитативом, заунывно, по-русски, как молитву, и выходит очень подлинно. Раз пять я просил ее спеть мне это виртуозное стихотворение, которое я с детства люблю. Она отнеслась ко мне очень тепло, ухаживала за мною — простосердечно, по-матерински. Коктебельские гости обычно ее ненавидят и говорят про нее всякую гнусь. Чуть я приехал, Макс подхватил мои чемоданы, понес их наверх на чердак, где и определил мне жить. Но Ирина Карнаухова⁸⁸, та самая, с которой я познакомился в Москве в 1921, когда ездил туда с Блоком, уступила мне свою комнату, а сама стала спать на балконе. Вскоре я познакомился со всей Волошинской дачей: глухая племянница Макса, Тамара, танцовщица, ее брат Витя, синеглазая старушка Ал. Александровна и скрюченный старичок Иосиф Викторович. <!...>

Старушка Александра Александровна из Вятки — была в Нижнем во времена Анненского и Короленко (ее муж был земск. статистик), в Крыму она первый раз, и все ей кажется, что «в России лучше». Повел ее как-то Макс на Карадаг. Она: «Вот здесь хорошо; если бы здесь Москва-река была, совсем бы Воробьевы горы». О Крымских горах отзыват[ся], что Жигули выше и красивее. <...>

Иос. Викт. — замусоленный эмигрант, помнит Бакунина, теперь целые дни сидит и курит — и ничего не делает. Все это, конечно, не общество для Макса — и он потому набрасывается на каждого человека. Но помимо этого тесного (скупного) круга, есть в Коктебеле около 3-х десятков приезжих — очень пестрых, главным образом женщины, — и Замятин. Замятин привез кучу костюмчиков — каждый час в другом, англ. пробор (когда сломался гребешок, он стал причесываться вилкой), и влюбляться в него стали пачками. <!...> Мы ходили с ним ежедневно на берег, подальше от людей, и собирали камушки. Особенно памятна одна прогулка, вправо, спасаясь от Макса. <!...> Роман Замятина «Мы» мне ненавистен. Надо быть скопцом, чтобы не видеть, какие корни в нынешнем социализме. Все язвительное, что Замятин говорит о будущем строе, — бьет по фурьеризму, который он ошибочно принимает за коммунизм. А фурьеризм «разносили» гораздо талантливее, чем Замятин: в одной строке Достоевского больше ума и гнева, чем во всем романе Замятина.

13 октября. Был я вчера у Анны Ахматовой. Застал О. А. Судейкину в постели. Лежит изящная, хрупкая — вся в жару. У нее вырезали кисту, под местной анестезией. Теперь температура высокая, и крови уходит много. Она прелестно рассказывала об операции. «Когда действие анестезии кончилось, заходили по моей ране опять все ножи и ножницы, и я скрючилась от боли». При мне она получила письмо от Лурье (композитора), который сейчас в Лондоне. Это письмо взволновало Ахматову. Ахматова утом-

лена страшно. В доме нет служанки, она сама и готовит, и посуду моет, и ухаживает за Ольгой Аф., и двери открывает, и в лавочку бегаёт. «Скоро встану на четвереньки, с ног сладось».

Она потчевала меня чаем и вообще отнеслась ко мне сердечно. Очень рада — благодаря вмешательству Союза она получила 10 фунтов от своих издателей — и теперь может продать новое издание своих книг. До сих пор они обе были абсолютно без денег — и только вчера сразу один малознакомый человек дал им взаймы 3 червонца, а Рабинович принес Анне Андреевне 10 фунт. стерл. Операцию Ив. Ив. Греков производил бесплатно. У Ахматовой вид кроткий, замученный.

— Летом писала стихи, теперь нет ни минуты времени.

Показывала гипсовый слепок со своей руки. «Вот моя левая рука. Она немного больше настоящей. Но как похожа. Ее сделают из фарфора, я напишу вот здесь: «моя левая рука» и пошлю одному человеку в Париж».

Мы заговорили о книге Губера «Донжуанский список Пушкина» (которой Ахм. еще не читала).

— Я всегда, когда читаю о любовных историях П[у]шк[ина], думаю, как мало наши пушкинисты понимают в любви. Все их комментарии — сплошное непонимание (и покраснела).

О Сологубе:

— Очень непостоянный. Сегодня одно, завтра другое... Павлик Щеголев (сын) говорит, что он дважды спорил с Сологубом о Мережк. — в суб. и в воскр. В субботу защищал Мережк. от Сологуба, а в воскрес. напал на Мережк., котор. защищал Сологуб. <...>

Приехал Тихонов, бегу узнать, чем кончилась его пряс с Ионовым.

14 октября. Воскресение. «Ветер что-то удушил не в меру»³⁹ — опять как три года назад. На лицах отчаяние. Осень предстоит тугая. Интеллигентному пролетарию зарез. По городу мечутся с рекомендательными письмами тучи ошалелых людей в поисках какой-нибудь работы. Встретил я Ключева, он с тоской говорит: «Хоть бы на ситничек заработать!» Никто его книг не печатает. Встретил Муйжеля, тот даже не жалуется, — остался от него один скелет, суровый и страшный. Капляет, глаз перевязан тряпичей, дома куча детей. Что делать, не знает. Госиздат не платит, обанкротился. В книжных магазинах, кроме учебников, ничего никто не покупает. Страшно. У меня впереди — ужас. Ни костюма, ни хлеба, управление домовое жмет, всю неделю я бегал по учреждениям, доставая нужные бумаги, не достал. И теперь сижу полураздавленный. <...>

Суббота, 21 октября. В этот понедельник сдуру пошел к Сологубу. Старик болен, простужен, лежал злой. У него был молодой поэт, только что из Тифлиса, Тамамшев — а потом Юрий Верховский⁴⁰. Сологуб говорил, что писатель только к ста годам научается писать. «До ста лет все только проба пера. Возьмите Толстого. «Война и мир» — сколько ошибок. «Анна Каренина» уже лучше. А «Воскресение» совсем хорошо». Он сильно осунулся, одряхлел, гости, видимо, были ему в тягость. За чаем он очень насмешливо отнесся к стихам Ю. Верховского. Говорил, что они подражательны, и про стихотворение, в котором встречается слово «глубокий», сказал: «Это напоминает „вырыта заступом яма глубокая“»; хотя, кроме этого слова, ничего общего не было. Подали конфеты — «Омские». Хозяйка (сестра Чеботаревской) рассказала, что у них в доме открылась кондитерская, под названием Омская, хотя в Омске хлеб ничем не знаменит. Сологуб вспомнил Омск: «Плоский город — кругом степь. Пыль из степи — год, два, сто лет, вечно — так мирно и успокоительно засыпает весь город. Я остановился там в «гостинице для приезжающих». Ночью мне нужно было укладываться. Электричества нет. Зову пологового. Почему нет электричества? — Хозяин велел выключить. — Почему? — У нас всегда горит до часу. А теперь два. — Да мне нужно укладываться. — Хозяин не велел. — Дурень, а читал ты вывеску своей гостиницы? Там написано — не «гостиница для хозяина», а «гостиница для приезжающих». Я — приезжающий, значит, гостиница для меня». Аргумент подействовал, и Сологуб получил свет.

Верховский — нудный человек, говорит все банальные вещи. Он совсем раздавлен нуждою, работает для «Всемирной», но ему не платят, а в доме живет свояченица без места и т. д. О свояченице он говорит «мояченица». Кто-то произнес слово «теща», и Сологуб вспомнил свой недавний экспромт:

Теща, теща,
Вудь попроче:

С Поликсенкою
 Не спорь теперь.
 А не то поддам тебе коленкою
 И за дверь.

Придрался к одной строчке стихотворений Тамамшева, где сказано: *стройноногая*, и долго пила поэт: «Можно сказать о стане, о туловище *стройный*, а о руке или ноге этого сказать нельзя». Верховский напомнил ему Пушкина, напрасно! Он по-учительски, тягуче, уныло канителил, что нельзя ноги называть стройными: стройно то, что статично — а ноги можно назвать быстрыми, легкими, но не стройными...

Очень я пожалел, что пошел к старику; поджидая трамвая, простудился, слег и провалялся ровно неделю. Отныне кончено — никуда не хожу. Сажу дома и замаляваю грехи крымские.

24 окт., среда. <...> Клячко — хлопоты о «Муркиной книге». Мурка каждый день спрашивает: «Когда будет готова моя книга?» Она знает Муху Цокогуху наизусть и вместо:

Муху за руку берет
 И к окошечку ведет —

читает:

Муху за руку берет
 И к Кокошеньке ведет.

24 октября. В ужасном положении Сологуб. Встретил его во «Всемирной» внизу; надевает свою худую шубенку. Вышли на улицу. Он, оказывается, был у Розинера, как я ему советовал. Розинер наобещал ему с три короба, но ничего у него не купил. Сологуб подробно рассказал о своем разговоре с Розинером. И потом: «Он дал мне хорошую идею: переводить Шевченко. Я готов. Затем и ходил во Всемирную — к Тихонову. Тихонов обещает похлопотать, чтоб разрешили. Мистралья, которого я теперь перевожу, никто не покупает. Я перевел уже около 1000 стихов. Попробую Шевченка. Не издаст ли Розинер, спросите». Мне стало страшно жаль беспомощного, милого Федора Кузмича. Написал человек целый шкаф книг, известен и в Америке, и в Германии, а принужден переводить из куска хлеба Шевченко. «Щеголев дал мне издание «Кобзаря» — попробую. Не знаете ли, где достать Львовское издание?»

Мурке сказали, что она заболела, если будет есть так мало. Она сейчас же выпила стакан молока и спросила: «А теперь я не умру?» <...>

28 окт., воскр. Был у меня вчера поэт Колбасьев ⁴¹. Он рассказывал, что Никитин в рассказе «Барка» изобразил, как красные мучили белых. Нечего было и думать, чтобы цензура пропустила. Тогда он переделал рассказ: изобразил, как белые мучили красных, — и заслужил похвалу от Воронского и прочих.

У Анны Ахм. я познакомился с барышней Рыковой. Обыкновенная. Ахматова посвятил[а] ей стихотворение: «Все разрушено» и т. д. Критик Осовский в «Известиях» пишет, что это стихотворение — революционное, т. к. посвящено жене комиссара Рыкова ⁴². Ахм. хохотала очень.

30 октября (т. е. 17 октября, годовщина манифеста). Идет снег, впервые в этом году. <...> Я пишу о Горьком — не сплю 2 ночи. Сегодня в издательстве «Петроград» я встретил Сологуба. Он жалок, пришел получить один червонец, ему обещали прислать завтра. Я взял его к Клячко. Клячко заказал ему детскую книжку и обещал завтра прислать 3 червонца. Старик просиял, благодарил. Клячко читал ему стихи Федорченко. Я сказал: вот хорошо, у вас будет Федорченко, будет Федор Сологуб... Сологуб сказал: все Федоры будут у вас. <...>

Я Муре рассказывал о своем детстве. Она сказала:

— А я где была? — И сама ответила: — Я была нигде. — И посмотрела на небо.

Муря поет:

И сейчас же щетки, щетки
 Затрещали, как три тетки.

Иногда она говорит две тетки.

С Клячко Сологуб был очень точен: обещал сказку изготовить к 3-му декабря, по-недельнику, к четырем часам. <...>

7 ноября. Годовщина революции. Кончил только что статью о Горьком ⁴³. Понесу к переписчице. Вчера устраивал в Госиздате «Детское Утро». Читал свою Муху и «Чудо-дерево». <...> Сейчас держу корректуру «Муркиной книги». Часть рисунков Конаше-

вича переведены уже на камень. Я водил вчера Мурку к Клячко — показать, как делается «Муркина книга». Мурку обступили сотрудники, и Конашевич стал просить ее, чтобы она открыла рот (ему нужно нарисовать, как ей в рот летит бутерброд, он нарисовал, но непохоже). Она вся раскраснелась от душевного волнения, но рта открыть не могла, оробела. Потом я спросил ее, отчего она не открыла рта.

— Глупенькая была. <...>

Мы очутились с Муркой в темной ванной комнате; она закричала: «Пошла вон!» Я спросил: «Кого ты гонишь?» «Ночь. Пошла вон, ночь».

Мурка плачет: нельзя сказать «туча по небу идет», у тучи ног нету, нельзя, не смей. И плачет.

Поет песню, принесенную Колей:

Ваня Маню полюбил,
Ваня Мане говорил:
Я тебя люблю,
Дров тебе куплю,
А дрова-то все осина,
Не горят без керосина,
Чиркай спичкой без конца,
Ланца дрица цы ца ца!

И говорит: «Он ее не любит, плохие дрова подарил ей». <...>

Ноябрь 14, 1923, среда. Был вчера у Ахматовой. Она переехала на новую квартиру — Казанская, 3, кв. 4. Снимает у друзей две комнаты. Хочет ехать со мною в Харьков. Тепло пальто у нее нет: она надевает какую-то фуфайку «под низ», а сверху легонькую кофточку. Я пришел к ней сверить корректуру письма Блока к ней — с оригиналом. Она долго искала письмо в ящиках комода, где в великом беспорядке — карточки Гумилева, книжки, бумажки и пр. «Вот редкость» — и показала мне на франц. языке договор Гумилева с каким-то франц. офицером о покупке лошадей в Африке. В комode — много фотографий балерины Спесивцевой — очевидно, для О. А. Судейкиной, которая чрезвычайно мило вылепила из глины для фарфорового завода статуэтку танцовщицы — грациозно, изящно. Статуэтка уже отлита в фарфоре — прелестная. «Оленька будет ее раскрашивать...» Со мною была Ирина Карнаухова. Так как Анне Андреевне нужно было спешить на заседание Союза Писателей, то мы поехали в трамвае № 5. Я купил яблок и предложил одно Ахматовой. Она сказала: «На улице я есть не буду, все же у меня — «гайдуки»*, а вы дайте, я съем на заседании». Оказалось, что в трамвае у нее не хватает денег на билет (трамвайный билет стоит теперь 50 мил[лионов], а у Ахматовой всего 15 мил.). «Я думала, что у меня 100 мил., а оказалось меньше». Я сказал: «Я в трамвае широкая натура, согласен купить вам билет». «Вы напомянете мне, — сказала она, — одного американца в Париже. Дождь, я стою под аркой, жду, когда пройдет, американец тут же и нашептывает: „Мамзель, пойдем в кафе, я угощу вас стаканом пива“. Я посмотрела на него высокомерно. Он сказал: „Я угощу вас стаканом пива, и знайте, что это вас ни к чему не обязывает“».

В Союзе решается дело о Щеголеве и Княжнине⁴. Щеголев сдавал Княжнину работу от Госиздата, причем на подряде сам прирабатывал толику. Ахматову очень волнует это дело. «Ах, как неприятно... Какие вскрылись некрасивые подробности».

Придя во «Всемирную», я застал там Житкова, которого и свел с Замятиним. Житков — мой кумир в детстве. <...> Во «Всемирной» я неожиданно получил 25 тысяч, что-то около 3-х черв. Прохожу мимо Сологуба. Он спрашивает: «Не знаете ли, где достать денег, нужно 48 рублей на крышу». Я отдал ему все свои деньги.

18 ноября 1923, воскресенье. Сейчас обнаружилось, что на чердаке украли все белье, мое, детское, все, все. Остались мы к зиме голыми. — Очень огорчают меня рисунки Конашевича к «Муркиной книге».

20 ноября, вторник. Мокрый снег, гнусь. <...> Редактирую Свифта — так как надо заработать на покупку белья. Пробую приструнить к статье об Алексее Толстом. Вчера из типографии получил в готовом виде 3-е издание «Мойдодыра» и «Тараканища».

21, среда. Видел вчера Сологуба. Он возвратил мне взятые у меня деньги. Справился в книжечке: в прошлый вторник курс червонца [был] столько-то, за эту неде-

* «Гайдук» упоминается в ее стихах о царе. Теперь критики, не зная, о ком стихи, стали писать, что Ахматова сама ездит с гайдуками. (Прим. автора.)

лю — вырос на столько-то, вы дали мне столько-то, возвращаю столько-то. «Я сегодня вообще плачу долги, заплатил Ал. Толстому, своей племяннице, всем. Вы дали мне хорошую идею, я у всех взял по частям. Не только то важно, что вы дали деньги, но и то, что вы толкнули меня — взять и у других. Иначе я не уплатил бы в срок и мне пришлось бы платить пеню». Отчетливо мыслит старик — почти как Блок. Тот был еще отчетливее. Нужно было заплатить мне столько-то миллионов плюс 15 миллионов — 15 миллионов сейчас одна копейка с третью. Я говорил ему «нэ надо», он долго искал в кармане — взял у меня сто рублей и дал мне 85 мил. сдачи.

Маршак говорит, что Ирина Миклашевская⁴⁵ очень хорошую написала музыку на мой «Бутерброд». Конашевич принес пробный рисунок к «Мухе Цокотухе». Очень хороший, против ожидания. Сидят насекомые и пьют чай.

В городе удивительно много закрытых магазинов. Единственная выгодная профессия — живописцы вывесок. Их то и дело зовут замазать одну вывеску, написать другую, которую придется через недели две снова замазать. <...>

22 ноября. Четверг. Был вчера у Кини. Он был с женою в Италии и теперь приехал — именно вчера. <...> Жена его и после Венеции, после Рима, после Капри осталась все такая же insignificant*. Ординарные слова, готовые фразы, по поводу всего — банальные клише. Тосковала в Италии по самовару, «по своему русскому самовару», а Неаполь — грязный, ужасно грязный и все — такие лентяи. «Русская грязь имеет оправдание: революция, но грязь итальянцев непростительна». Оказывается, что она посылала мне открытки, но я этих открыток не получил. Привезла Лидочке — кораллы из Капри (увы, увы, я потерял эти кораллы в трамвае). Я сел на диванчик и стал читать новые номера «Observer'a». <...> Перелистал я новые номера «London Mercury» — каждая статья интересна. Скоро пришел Кини. Насвистывая, читал и, читая, разговаривал. Сказал, что ему из Америки прислали 200 долларов для семьи Мамина-Сибиряка, а он не может эту семью разыскать. <...> Я заговорил о том, что очень нуждаются Анна Ахматова и Сологуб. Он сказал, что у него есть средства — специально для такой цели, и обещал им помочь. Потом мы пообедали, и я мирно уехал домой.

Сегодня прочитал книжку «London Mercury», с упоением. Особенно понравилась статья о Leslie Stephen'e и сам Leslie Stephen, на которого я страшно хотел бы походить.

23 ноября. Весь вчерашний день ушел на расклейку «Муркиной книги». В последнюю минуту спохватился, что не хватает двух рисунков. Но в общем книга лучше, чем казалась. Очень приятно наклеивать рисунки — в этом что-то праздничное.

24 ноября. С утра посетители: Карнаухова — взяла зачем-то Диккенса. Молодой поэт Смелков — взял книг 15. Житков — завтракал, взял 1½ миллиарда, ему, бедному, на трамвай не хватает. Был Вознесенский — взял у меня обещание, что я буду читать в его киностудии лекции. <...> Был в Госиздате. Узнал от Белицкого, что арестован Замирайло. Говорит Белицкий, что у него дело серьезное. Я просил Житкова — чтобы он попросил Мишу Кобецкого⁴⁶ похлопотать. У Замирайлы взяты при обыске рукописи моих сказок и сказка Блока, которую я отыскал среди его бумаг. Из Госиздата к Ахматовой. Милая — лежит больная. Невроз солнечного сплетения. У нее в гостях Пунин. Она очень возмущена тем, что для «Критического сборника», затеваемого изд-вом «Мысль», Ив. Разумник взял статью Блока, где много нападок на Гумилева.

— Я стихов Гумилева не любила... вы знаете... но нападать на него, когда он расстрелян. Пойдите в «Мысль», скажите, чтобы они не смели печатать. Это Ив. Разумник нарочно...

В Харькове она ехать хочет. <...>

25 ноября, воскресенье. <...> Погода на улице подлая: с неба сыплется какая-то сволочь, в огромном количестве, и образует на земле кашлицу, которая не стекает, как дождь, и не ссыпается в кучи, как снег, а превращает все улицы в сплошную лужу. Туман. Все, кто вчера выходил, обречены на инфлуэнцу, горячку, тиф. Конашевич болен: приезжала из Павловска его жена — с этим известием. «Мухина свадьба» застряла. У Клячки нет денег. <...> Я уехал от него и по дороге зашел к Ахматовой. Она лежит, — подле нее Стендаль «De l'amour»**. Впервые приняла меня вполне по душе. «Я, говорит, вас ужасно боялась. Когда Анненков мне сказал, что вы пишете обо мне, я так и задрожала: пронеси Господи». Много говорила о Блоке. «В Москве многие ду-

* Незначительная (англ.).

** «О любви» (франц.).

мают, что я посвящала свои стихи Блоку. Это неверно. Любить его как мужчину я не могла бы. Притом ему не нравились мои ранние стихи. Это я знала — он не скрывал этого. Как-то мы с ним выступали на Бестужевских курсах — я, он и, кажется, Николай Морозов⁴⁷. Или Игорь Северянин? Не помню. (Потому что мы два раза выступали с Блоком на Бестужевских — раз вместе с Морозовым, раз вместе [с] Игорем. Морозова тогда только что выпустили из тюрьмы...) И вот в артистической — Блок захотел поговорить со мной о моих стихах и начал: «Я недавно с одной барышней переписывался о ваших стихах». А я дерзкая была и говорю ему: «Ваше мнение я знаю, а скажите мне мнение барышни...» Потом подали автомобиль. Блок опять хотел заговорить о стихах, но с нами шел какой-то юноша-студент. Блок хотел от него отвязаться: «Вы можете простудиться», — сказал он ему (это в автомобиле простудиться!). «Нет! — сказал студент. — Я каждый день обливаюсь холодной водой... Да если бы и простудился — я не могу не проводить таких дорогих гостей!» Но, конечно, не знал, кто я. «Вы давно на сцене?» — спросил он меня по дороге.

Я собираю народные песенки для отдельной книжки. Очень трудная работа. (Пятьдесят порсят.) <...>

27 ноября. Понедельник. Был у Сологуба. С[ологуб] говорил, что у него память слабеет. Помню давнишнее, а что было вчера, вылетает из головы. «Это значит, — сказал я, — что вы должны писать мемуары». «Мемуары? Я уже думал об этом. Но в жизни каждого человека бывают такие моменты, которые, будучи изложены в биографии, кажутся фантастическими, лживыми. Если бы я, напр., описал свою жизнь правдиво, все сказали бы, что я солгал. К тому же я разучился писать. Не знаю, навсегда это или временно. Сначала в молодости я писал хорошей прозой, потом поддался отвратительному влиянию Пшибышевского и стал писать растрепанно, нелепо. Теперь — к концу — стараюсь опять писать хорошо. Лучшая проза, мне кажется, у Лермонтова. Но биографии писать я не стану, т. к. лучше всего умереть без биографии. Есть у меня кое-какие дневники, но когда я почувствую, что приближается минута смерти, — я прикажу уничтожить их. Без биографии лучше. Я затем и хочу прожить 120 лет, чтобы пережить всех современников, которые могли бы написать обо мне воспоминания».

У него есть учительская манера — излагать всякую мысль дольше, чем это нужно собеседнику. Он и видит, что собеседник уловил его мысль, но не остановится, закончит свое предложение.

— Купил Тредьяковского сегодня. Издание Смирдина. Хороший был писатель. Его статьи о правописании, его «Остров любви» да и Телемахида... — И он с удовольствием произнес:

Чудище обло, стозевно... и лайл.

— Как хорошо это лайл! — сказала я. — Жаль, что русское причастие не сохранило этой формы. Окончания на щий ужасны.

— Да, вы правы. У меня в одном рассказе написано: «Пролетела каркая ворона». Не думайте, пожалуйста, что это деепричастие. Это прилагательное. Какой ворон? — каркий. Какая ворона? — каркая. Есть же слово: палая лошадь.

Потом мы пошли с ним обедать. Обед жидковатый, в комнате холодно. Впрочем, Сологуб отличается страшно плохим аппетитом. Похлебал немного щей — вот и все. Вернувшись из Москвы Александра Ник. Чеботаревская рассказывает, что в тамошней Кубе очень дешевые обеды: 30 коп. Сологуб сказал: «Мне это дорого. Да я на 30 коп. и не съем. В Царском я плачу дешевле». Потом он повел меня к своей маленькой внучке — дочери одной из сестер Анаст. Ник. Чеботаревской. Девочке 2½ года, а она знает наизусть «Крокодила», «Мойдодыра», «Тараканище» и «Пожар» Маршака. Страшно нервная девица. Зовут дедушку «Кузьмич». <...>

28 ноября. Сологуб читает Одоевского «Русские ночи» — и очень хвалит: «Теперь так не пишут: возьмите «Noctes» * Карсавина⁴⁸, какая дрянь».

Вчера в поисках денег забрел я в Севзапкино. Там приняли меня с распростертыми объятьями, но предложили несколько «переделать» Крокодила — для сценария — Ванку Васильчикова сделать комсомольцем, городского превратить в милиционера. Это почему-то меня покорило, и я заявил, что Ваня — герой из буржуазного дома. Это провалило все дело — и я остался без денег. Тогда я побежал в Госиздат. К Белицкому, — Белицкий уехал в банк. К Ионову: «Уехал в типографию». К Горлину — ничего не вышло... К Ангерту⁴⁹ — он дал мне 40 рублей авансом под «Doctor Dolittle». При этом

* «Ночи» (лат.).

был горячий разговор о «Всемирной». Я стоял за «Всемирную» горой, хотя и не знаю, почему, собственно. Из Госиздата во Всемирную на заседание — там Вольтинский, который написал обо мне в «Жизни Иск.» на днях ругательную статью⁶⁰, был особенно со мною ласков и, отведя меня в сторону, участливо сказал: «Я знаю, что вы хотите попасть в Севзапкино. Я в хороших отношениях со Сливкиным и, если вам угодно, помогу вам»⁶¹.

Я горячо благодарил Акима Львовича. <...>

29 ноября. <...> Вчера начали переводить на камень рисунки к «Муркиной книге». Я сегодня все утро составляла для Розинера сборник детских народных песен. Это — трудно очень. «Doctor Dolittle» принят. Поспеть бы достать денег, чтобы послать маме. Мама скоро именинница. Сегодня в пять буду у Кини: кажется, удастся достать денег для Ахматовой и Сологуба.

3 декабря 1923. Понедельник. Был я вчера у Кини: хлопотал о четырех нуждающихся: Орбели, Муйжеле, Сологубе, Ахматовой. Встретил у него — перед камином — длинноногого бездарного Владимирова⁶², которому они привезли из Варшавы кистей и красок — в подарок. Он рассказал им анекдот из современной жизни. Теперь каждый коллекционер картин прячет свои картины подальше, снимает их со стен, свертывает в трубочку, так как боится фининспектора, требующего, чтобы буржуи платили налоги. И вот один господин, у которого есть подлинная картина Айвазовского, очень больших размеров, позвал к себе Владимирова и попросил его покрыть подпись «Айвазовский» гуммиарабиком, а сверху красками написать: «Копия с Айвазовского», дабы обмануть фининспектора. До сих пор происходило обратное: на копиях писали: Айвазовский.

Очень пламенно прошло наше заседание в пятницу, посвященное «Всем. Литературе» и распре с Ионовым. Ионов, зная, что теперь дело зависит от членов коллегии, стал ухаживать за мною — очень: подарил мне несколько книг, насулил всяких благ, Тихонов тоже был ласков до нежности. Он вернулся из Москвы, рассказывает: «Видел я Лебедева-Полянского, главного цензора. Он спросил меня, что говорят о цензуре. Я ответил: «Плохо говорят, прижимают очень». Он говорит: это выдумка, просмотрите наши книги, вы увидите, что число задержанных нами рукописей ничтожно». Тихонов стал смотреть и увидел такую строчку: не печатать ввиду идеалистического уклона. Немного ниже была такая строка: не печатать вследствие мистического уклона. Когда он посмотрел, к кому относятся эти строки, он увидел, что первая имеет в виду книгу Луначарского, вторая книгу Бонч-Бруевича (о сектантах). Хлопоча об облегчении цензурных тягот, Тихонов говорил с Каменевым. Каменев сказал: «Вы все анекдоты рассказываете. А вы соберите факты, я буду хлопотать, непременно». Неужели он не знает фактов? Перевожу Доктора Дулиттла. Приехал из Москвы Гиллер и говорит, что на «Мой додыра» такой спрос, что к Рождеству вряд ли хватит третьего издания.

Мура Лиде: «Знаешь, когда темно, кажется, что в комнате звери». Мура сама себе: «Тебе можно сказать: дура?» «Нет, нельзя». Сама же отвечает: «Можно, можно, ты не мама».

4 декабря. Ездил вчера с Кини по делам благотворительности. Первым делом к Ахматовой. Встретили великосветски. Угостили чаем и печеньем. Очень было чинно и серьезно. Ольга Афанасьевна показывала свои милые куклы. Кини о куклах: «Это декаданс; чувствуется скрещение многих культур; много исторических реминисценций... Чувствуется, что О. А. очень в свои куклы и в свою скульптуру верит, ухватилась за них и строит большие планы на будущее... Ахматова была смущена, но охотно приняла 3 червонца. Хлопотала, чтобы и Шилейке дали пособие. Кини обещал.

Оттуда к Сологубу. У Сологуба плохой вид. Пройдя одну лестницу, он сильно запыхался и, чтобы придти в себя, стал поправлять занавески (он пришел через несколько минут после нас.) Когда я сказал ему, что, мы надеемся, он не испытает неловкости, если американец даст ему денег, он ответил длинно, тягуче и твердо, как будто издавна готовился к этой речи:

— Нельзя испытать неловкости, принимая деньги от Америки, потому что эта великая страна всегда живет в соответствии с великими идеалами Христианства. Все, что исходит от Америки, исполнено высокой морали.

Это было очень наивно, но по-провинциальному мило. От Сологуба мы по той же лестнице спустились к Ал. Толстому. Толстой был важен, жаловался, что фирма Livelight [не] уплатила ему следуемых долларов, и показал детские стишки, которые он написал, «так как ему страшно нужны деньги». Стишки плохие. Но обстановка у Тол-

стого предестная — с большим вкусом, роскошная — великолепный старинный диван, картины, гравюры на светлых обоях и пр. Дверь открыла мне Марьяна, его дочь от Софьи Исаковны, — очень повеселевшая...

Мороз стоял жестокий. Ветер. От Толстого я отправился к Розинеру, оттуда к Чехониному. Чехонин согласился иллюстрировать мою книгу «Пятьдесят поросят», после чего я отчетливо и откровенно сказал ему, почему не нравятся мне его рисунки к «Тараканищу». Он принял мои слова благодушно и согласился работать иначе. После этого я вернулся домой — и обедал в $\frac{1}{2}$ 12 ночи. Конечно, не заснул ни на минуту.

5 декабря 1923. Вчера Ионов не явился. Он явится послезавтра. А между тем Вольтинский, уже очевидно обработанный Ионовым, стал вести дело к тому, чтобы мы встретили его вежливее, ласковее, и всяческими софизмами стал убеждать Коллегию, чтобы она отказалась от своего желания прочесть обидный для Иопова протокол (где наиболее резкие слова принадлежат самому Вольтинскому). Говорил он очень возвышенно.

— Всякий человек, поскольку я с ним говорю, есть для меня возвышенная личность. Ионов, каков бы он ни был, когда я стою перед ним лицом к лицу, есть для меня Сократ и Христос...

Но Коллегия с этим не согласилась, и Замятин очень язвительно спросил Вольтинского, не намерен ли Вольтинский встретить Иопова такой же приветственной речью, какою он встретил Мещерякова. Очень резко говорил Алексеев. Я предложил такое: чтобы Вольтинский не читал протокола в самом начале — а прочел бы его тогда, когда найдет удобным, но прочитал бы непременно.

Мурка у Коли (Коля читает и старается отделаться от нее), указывая на висающую на стене геогр. карту Европы:

— Это зверь?

— Нет, это Европа.

— А зачем же у него ножка? (Указывает на Италию.)

— Это не зверь, а география.

Мура смешала слово география с типографией.

— Я географии боюсь. Я там плакала, потому что там шум.

— Нет, Мурочка, география — это такая наука. <...>

9 декабря 1923. Был вчера у Клячко. <...> «Муркина книга» вышла, завтра будет послано в Москву 500 экз., если литограф Горюнов выпустит книгу, не получив по счетам. Клячко прячется от кредиторов и, слышав звонок телефона, просит сказать, что его нет дома. <...>

От него к Монахову. Монахов ласков, красив, одет джентльменски. В квартире актерская безвкусица: книги в слишком хороших переплетах, картинки в слишком хороших рамах. Чувствуется, что это не просто квартира, а «гнездышко». Его жена Ольга Петровна — крупная, красивая, добродушная, в полной гармонии с ним, и он этой гармонией счастлив. Вообще, он счастлив бытием, собою, всеми процессами жизни. Такие люди умываются с удовольствием, идут в гости с удовольствием, заказывают костюм с удовольствием. Предлагает мне принять участие в их сборнике «Блок и Большой Театр». К пятилетию театра. Я согласен, но хочу спросить актеров, какие имеются у них матерьялы. Он рассказывал, как чудно ему было в Евпатории, что он с удовольствием припекался на солнце, всласть ходил босиком, очень, очень радостно было. Приехал сюда: у нас очень канительное: назначили нам Адриана Пиотровского, ну, это человек ничемный, никакого отношения к театру не имеющий. Потом дали нам Н. В. Соловьева... Ну, это просто растапа. Взялся он ставить Бернарда Шоу «Обращение Майл Брестоунда» — ставит, ставит, а слова сказать не умеет. Не способен. Вот и попросили А. Н. Лаврентьева взять это дело на свою ответственность⁵³.

Вообще он очень занят театральными делами. «Готовлю роль обывателя из пьесы Ал. Толстого⁵⁴. Пьеса ничего, но сбивчивая к концу. Невыдержана. Был я у Толстого — он такой хэ хэ хэ», — и Монахов рассмеялся глуповато расейским смехом Ал. Толстого.

Вообще в разговоре он любит показывать тех, о ком говорит, выходит дивно. Заговорили о каком-то профессоре-малороссе — Монахов стал говорить фальшиво-благодарным голосом лукавого и ласкового украинца: «Он очень любить искусство и работаете у Ёгорному клубі». Показывал также, как гуляют еврейки по пляжу в Евпатории.

Мы напились чаю, он поцеловался с Ольгой Петровной, и мы пошли с ним в театр: два шага от его квартиры. В темных закоулках лестницы он вынимал из кармана фонарик и освещал мне дорогу — с удовольствием гимназиста. Придя, он сейчас же стал гримироваться для роли Труффальдино. Никогда я не видел, чтобы какой-нибудь актер гримировался с таким удовольствием. Раньше всего он взял пластырь, приклеил его к кончику носа — и другим концом к переносице. Нос забрался вверх, изменив все выражение лица.

— Вот и хорошо! — сказал Монахов. — У меня насморк, и приятно, когда ноздри вот так.

Потом он надел курчавый парик и стал грунтовать лицо. Потом пришел «художник» и стал кистями расписывать это лицо, доставая тем Монахову удовольствие. Я с любопытством смотрел, как один мой знакомый — у меня на глазах — превращается в другого моего знакомого, т. к. Труффальдино для меня — живое лицо, столь же реальное, как и Монахов.

— Мы играем уже 72-й раз. Скоро юбилей: 75-летие «Слуги двух господ». Люблю эту роль. Весело ее играть. И всегда, играя, я переживаю ее. И знаете, там я на сцене жую хлеб, мне всегда в карман кладут кусочек хлеба, и я — за кулисами доедаю его с большим аппетитом. Ничего вкуснее я в жизни не ел, как этот кусочек хлеба!

...Ходил сегодня в ГПУ платить штраф. Я в оперетке сказал целый монолог от себя. Это запрещено, и меня оштрафовали. Пошел я платить, встретил знакомого, который прежде был там секретарем, а теперь стал чином выше. Он говорит: вы заплатите заплатите, но возьмите у них выпсочку и пожалуйте прокурору, п. ч. такого закона нет, чтобы штрафовать актеров.

Я пошел и спрашиваю:

— Укажите мне, пожалуйста, на основании какого обязательного постановления или закона вы штрафуете меня.

Секретарь вскинул на меня глазами.

— Уж поверьте, что мы знаем, кого и за что штрафовать.

— Но и мне хотелось бы знать. Выдайте мне бумажку, что я оштрафован вот за то-то.

Он бумажку выдал. Мой знакомый, на ее основании, составил жалобу прокурору, и теперь будет суд. Посмотрим.

Примеру он говорил, что для роли обывателя для пьесы Толстого «Бунт машин» он загримирруется так, что в двух шагах нельзя будет разобрать, что это грим. Не театральному, без усиления красок.

10 декабря 1923 (понедельник). Был вчера у Толстого. Толстой был прежде женат на Софье Исаковне Дымшиц. Его теперешняя жена Крандиевская была прежде замужем за Волькенштейном. У нее остался от Волькенштейна сыночек, лет пятнадцати, похожий на Миклухо-Маклая, очень тощий. <...> У него осталась от Софьи Исаковны дочь Марьяна, лет тринадцати. <...> Но есть и свои дети: 1) Никита, совсем не соответствующий своему грузному имени: изящный, очень интеллигентный, не похожий на Алексея Николаевича, и 2) Мими, или Митька, 10 месяцев, тяжеловесный, тихий младенец, взрощенный без груди, с титаническим задом, типический дворянский ребенок. Тих, никогда не плачет.

Крандиевская в поддельных бриллиантах, которые Толстой когда-то привез ей из Парижа.

Сегодня именины ее Миклухо-Маклая, и она, по его требованию, надела это кольцо. Толстой чувствует себя в Питере неуютно. <...> Он очень хочет встретиться с Замятиным [нрзб.— Е. Ч.]. Все просит меня, чтобы я пригласил их к себе. Денег у него сейчас нет. Пьеса «Бунт машин» еще когда пойдет, а сейчас денег нужно много. Кроме четырех детей у него в доме живет старуха Мария Тургенева, тетка. Нужно содержать восемь-девять человек. Он для заработка хочет написать что-нибудь детское. Советовался со мной. Кроме того, он надеется, что его америк. издатель Boni и Liveight пришлет ему наконец деньги за его роман «Хождение по мукам».

Читал мне отрывки своей пьесы «Бунт машин». Мне очень понравились. «Обыватель» — страшное, смешное, живое, современное лицо, очень русское. И, конечно, как всегда у Толстого, милейший дурак. Толстому очень ценно показывать, как все великие события, изображенные в пьесе, отражаются в мозгу у дурака. Дурак — это лакмусова бумажка, которой он пробует все. Даже на Марс отправил идиота...

Потом я поехал — в страшном тумане, под дождем — к Заславскому — с мокрыми дырявыми калошами — сказать ему свое мнение о стихах Канторовича⁶⁵. Покойник писал стихи, вычурные, без искры; я очень тщательно исследовал их — и привез к Заславскому. У Заславского я стал читать пьесу Толстого, — пьеса всех захватила, много хотали.

Это я пишу утром, в постели. Вдруг слышу шаги, Боба ведет Мурку; Мурка никогда так рано не встает.

— Что такое?

— Где «Муркина книга»?

Тут только я вспомнил, что три дня назад, когда Мурка приставала ко мне, скоро ли выйдет «Муркина книга», я сказал ей, что обложка сохнет и что книга будет послезавтра.

— Ты раз ляжешь спать, проснешься, потом второй раз ляжешь спать, проснешься, вот и будет готова «Муркина книга».

Она запомнила это и сегодня чуть проснулась — ко мне.

11 декабря, вторник. Был в Большом Театре — разговаривал с актерами о Блоке. Они обожали покойного, но, оказывается, не читали его. Комаровская⁶⁶ вспоминает, что Блок любил слушать цыганский романс «Утро седое», страстно слушал это «Утро» в Москве у Качалова, но когда я сказал, что у Блока у самого были стихи «Седое Утро», видно было, что она слышит об этом в первый раз. Был Монахов и много говорил. <...>

Отправил Валерию Брюсову такое письмо:

«Д[орогой], гл[убокоуважаемый] В[алерий] Я[ковлеви]ч».

Ни один писатель не сделал для меня столько, сколько сделали Вы, и я был бы неблагодарнейшим из неблагодарных, если бы в день В[ашего] юбилея не приветствовал Вас. Не Ваша вина, если я, ученик, не оправдал В[аших] усилий, но я никогда не забуду той настойчивой и строгой заботливости, с котор. Вы направляли меня на первых шагах».

Среда, 12 декабря. Сегодня высокаторжественный день моей жизни: утром рано Мура получила наконец свою долгожданную «Муркину книгу».

Вошла с Бобой, увидела обложку и спросила:

— Почему тут крест?..

Долго, долго рассматривала каждую картинку — и заметила то, чего не заметил бы ни один из сотни тысяч взрослых:

— Почему тут (на последней картинке) у Муры два башмачка (один в зубах у свиньи, другой под кроватью)?

Я не понял вопроса. Она пояснила:

— Ведь один башмачок Мура закопала (на предыдущих страницах).

Пятница, 14 декабря. Третьего дня пошел я в литографию Шумахера (Вас. О., Тучков пер.) и вижу, что рисунки Конашевича к «Мухе Цокотухе» так же тупы, как и рисунки к «Муркиной книге». Это привело меня в ужас. Я решил поехать в Павловск и уговорить его — переделать все. Поехал — утром рано. Поезд отошел в 9 часов утра, было еще темно. В 10 час. я был в Павловске. Слякоть, ни одного градуса мороза, лужи и насморк в природе, и все же насколько в Павловске лучше, чем в Питере. Когда я увидел эти ели и сосны, эту милую тишину, причесанность и чинность, — я увидел, что я не создан для Питера, и дал себе слово, чуть выберусь из этого омута Розинеров и Клячек, уехать сюда — и писать.

Конашевич <...> живет при дворце, в милой квартирке с милой женой, не зная ни хлопот, ни тревог. Чистенький, вежливый, с ясными глазами, молодежавый. Я взял его с собою в город. По дороге, в поезде и в трамвае, он говорил, что он не любит картин: ни одна картина за всю его жизнь не взволновала его... А работаю я от пяти до одиннадцати. Каждый день, кроме пятниц и вторников. Я привез его прямо в литографию, и вид исковерканных рисунков несколько не взволновал его.

Я в таких тисках у Клячко и Розинера, что даю себе слово с первого января освободиться от них. <...>

Денег нет — не на что хлеба купить, а между тем мои книги «Крокодилы» и «Мой-додыры» расходятся очень. Вчера в магазине «Книга» Алянский сказал мне: «А я думал, что вы теперь — богач».

16 декабря, воскресенье. <...> Вчера и третьего дня был в цензуре. Забавное место. Словового вида угрюмый коммунист — без юмора — басовитый — секретарь. Рыло

кувшинное, не говорит, а рывкает. Во второй комнате сидит тов. Быстрова⁵⁷, наивная, на- свистанная, ни в чем не виноватая, а в следующей комнате — цензора, ее питомцы: нельзя представить себе более жалких дегенератов: некоторые из них выходили в приемную — каждый — карикатурен до жути. Особенно одна старушка, в рваных башмаках, обабделая от непрерывного чтения рукописей, прокуренная насквозь никотином, плюговая, грязная, тусклая — помесь мегеры и побитой дворняги, вышла в приемную и шепотом жаловалась: «Когда же деньги? Черт знает что. Тянут — тянут».

Именно она читала мою книжку «Две души Максима Горького» и выбросила много безвредного, а вредное оставила, дурында. Кроме нее из цензорской вышли другие цензора — два студента, восточного вида, кавказские человеки, без малейшего просвета на медных башках. Кроме них, я видел кандидатов: два солдафона в бараньих шапках стояли перед Быстровой, и один из них говорил:

— Я теперь зубрю, зубрю и скоро вызубрю весь французский язык.

— Вот тогда и приходите,— сказала она.— Нам иностранные (цензора) нужны...

— А я учу английский,— хвастанул другой.

— Вот и хорошо,— сказала она.

Тоска безысходная.

Был вчера у Чехонина, и мы нечаянно решили издавать «Пятьдесят поросят» без помощи издателей.

20 декабря. В воскресенье были у меня Толстые. Он говорил, что Горький вначале был с ним нежен, а потом стал относиться враждебно. «А Бунин,— вы подумайте,— когда узнал, что в «Figaro» хотят печатать мое «Хождение по мукам», явился в редакцию «Figaro» и на скверном французском языке стал доказывать, что я не родственник Льва Толстого и что вообще я плохой писатель, на к-рого в России никто не обращает внимания. Разоткровенничавшись, он рассказал, как из Одессы он уезжал в Константинополь. Понимаете: две тысячи ч[елове]к на пароходе, и в каждой каюте другая партия. И я заседал во всех — каютах. Наверху — в капитанской — заседают монархисты. Я и у них заседал. Как же. Такая у меня фамилия Толстой. Я повидал-таки людей за эти годы. А внизу поближе к трюму заседают большевики... Вы знаете, кто стоял во главе монархистов: Руманов! Да, да! Он больше миллиона франков истратил в Париже в год. Продад два астральных русских парохода какой-то республике. «Астральных» потому, что их нигде не существовало. Они были — миф, аллегория, но Руманов знал на них каждый винтик и так описывал покупателям, что те поверили...»

Пишет он пьесу о Казанове. Очень смешно рассказывает подробности — излагал то, что он читал о Казанове,— вышло в сто раз лучше, чем в прочитанной книге. Была у нас его жена Нат. Вас. и сын Никита. Я о чем-то говорил за столом. Вдруг Никита прервал меня вопросом — сколько будет 13 раз 13. Он очень самобытный мальчик.

Была вчера у меня Ольга Форш. Рассказывала о церковных сектах. Очень милая.

Был Чехонин. Рисовал Мурочку. <...>

20 декабря, четверг. Еду сегодня в Ольгино. Третьего дня был в «Европ. Гостин.» у Абрама Ярмолинского и Бабетты Дейч. Он — директор Славянского Отдела Нью-Йоркской Публичн. Библиотеки. <...> Очень милые. У нее несомненный поэтический талант, у него — бескорыстная любовь к литературе. Он пишет книгу о Тургеневе, отчасти ради этого приехал. Я верю, что книга будет хорошая. Оказывается, он всюду разыскивал меня, чтобы поговорить со мною о... Панаевой... Нью-Йорку нужна Панаева!

С Розинером я кончил миром. Коле он заплатил за второе изд. «Сына Тарзана» 55 рублей. Черт с ним!

27 декабря, четверг. — Мурочка, иди пить какао! — Не мешайте мне жить!

Мурочка страстно ждала Рождества. За десять дней до праздника Боба положил в шкаф десять камушков — и Мурочка каждое утро брала по камушку.

На Рождество она рано-рано оделась и побежала к елке.

— Смотри, что мне принес Дед Мороз! — закричала она и полезла на животе под елку. (Елка стоит в углу — вся обсвечанная.)

Под елкой оказались: автомобиль (грузовик), лошадка и дудка. Мура обабдела от волнения. Я заметил (который раз), что игрушки плохо действуют на детей. Она от возбуждения так взвинулась, что стала плакать от каждого пустяка. <...>

30 декабря 1923. Мура в первую ночь после Рождества все боялась, что явится Дед Мороз и унесет елку прочь. Вчера во «Всемирной» видел я Сологуба. Он говорил Тихонову, что он особым способом вычислил, что он (Сологуб) умрет в мае 1934 года.

Способ заключается в том, чтобы взять годы смерти отца и матери, сложить, разделить и т. д. Сказку, заказанную ему Клячкой, он до сих пор еще не написал. «Не пишется. У меня только начало написано: «Жил-был мальчик Гоша, и были у него [папа] и мама». А что дальше, не могу придумать».

— Помните о Некрасове! — сказал я ему, намекая на анкету, которую обещал он заполнить.

— Да зачем же помнить о Некрасове. Я и так помню Некрасова, — сказал он и стал декламировать, обращаясь ко мне:

Украшают тебя добродетели

(Когда упомянул о червонцах, ухмыльнулся, ибо теперь червонцы имеют иное значение, чем в пору Некрасова)⁵⁸.

Мне удалось выхлопотать у Кини денежную выдачу для Ходасевич (Анны Ив.)⁵⁹, для сестры Некрасова, для Анны Ахматовой.

Был у меня Вяч. Полонский. Я пошел с ним к Анненковым. <...>

Я вожусь с доктором Айболитом. Переделываю, подчищаю слог.

КОММЕНТАРИИ

1922

⁵⁸ Харитон Борис Иосифович (1877—1941, погиб в лагере) — журналист.

⁵⁹ Чернов Виктор Михайлович (1876—1952) — министр Временного правительства, политический деятель.

⁶⁰ Графический портрет В. Пильняка опубликован на стр. 287 книги Ю. Анненкова «Дневник моих встреч» (т. 1). Местонахождение акварельного портрета неизвестно.

⁶¹ Лундберг Евгений Германович (1887—1965) — писатель, критик.

⁶² Лилина Злата Ионовна (1882—1929) — жена Г. Е. Зиновьева, деятельница Наркомпроса.

⁶³ Мессинг Станислав Адамович (1890—1937, расстрелян) — начальник ленинградского ОГПУ.

⁶⁴ ...книгу о Вакунине... — Вяч. Полонский. Михаил Александрович Вакунин (1814—1876). М. Государственное издательство, 1920; ...рассказ Федина о палаче... — «Рассказ об одном утре» в кн.: Конст. Федин. Пустырь. М.—Пб 1923.

⁶⁵ «Плэйбой» — пьеса ирландского драматурга Дж. Синга (1871—1909). Пьеса издана в переводе К. Чуковского и с его вступительной статьей в 1923 году. Название пьесы по-русски — «Герой».

⁶⁶ «Сверчок на печи», инсценировка рождественской сказки Ч. Диккенса.

⁶⁷ Катерина Ивановна — Е. И. Карнакова (1895—1956) — актриса МХАТа-2. Ей посвящено стихотворение Чуковского в «Чукоккале»: «Карнакова, Катя Карнакова, /Слышу крик монгольского орла...» Стихотворение опубликовано в воспоминаниях Н. Ильиной о Е. И. Карнаковой (см.: Н. Ильина. Судьбы. М. 1980, стр. 270).

⁶⁸ Речь идет о строфе из «Мойдодыра»: «Боже, боже, /Что случилось? /Отчего же /Все кругом...» Запрет этот и борьба с крамольной строчкой продолжались десятилетиями. В письме редактору издательства «Малыш» Э. В. Степченко Чуковский писал в 1967 году: «Какие странные люди пишут мне письма, в которых бранят новое издание «Мойдодыра» за то, что в нем есть ужасная строка: Боже, боже, что случилось?»

⁶⁹ Разговор идет о статье Ю. Айхенвальда «Анна Ахматова» в его книге «Поэты и поэтессы» (М. «Северные дни», 1922) и о статье В. Виноградова «О символике А. Ахматовой» («Литературная мысль». Пг. «Мысль». 1922, кн. 1).

⁷⁰ Розинер Александр Евсеевич (1880—1940) — управляющий конторой издательства «Нива», затем сотрудник издательства «Радуга»

⁷¹ Лившиц Бенедикт Константинович (1886—1938, расстрелян) — поэт, переводчик.

⁷² ...«Peter and Wendy» с рисунками Bedford'a... — книга для детей. J. M. Barri. Wendy and Peter. Drawings by F. D. Bedford. London. Hodder & Stoughton. 1911. Герой книги — Peter Pan.

⁷³ Ю. Анненков сделал рисунки к «Мойдодыру», а С. Чехонин — к «Тараканищу».

⁷⁴ Оршанский Лев Григорьевич — врач-психиатр, коллекционер, библиофил.

⁷⁵ Василевский Илья Маркович (псевдоним Не-Буква, 1882—1938, расстрелян) — журналист.

1923

¹ Речь идет о книге: Дж. Конрад. Каприз Олмейера. Перевод М. Соломон под редакцией К. Чуковского и К. Вольского. Предисловие К. Чуковского (Пб. Государственное издательство, 1923).

² Осипов Виктор Петрович (1871—1947) — психиатр, академик

³ «История Всемирной литературы» — шуточная история, написанная Замятиным В архиве К. Чуковского (РО ГВЛ, ф. 620) хранится «Краткая история

Всемирной литературы от основания и до сего дня» (часть I, пять страниц на машинке), датированная 25 декабря 1921 года, а в «Чукокнале» — «Часть III, и последняя» (16.XII.24). Однако в этих рукописях нет тех слов, которые записаны в дневнике Чуковского. Один из сохранившихся вариантов «Истории...» опубликован в «Сочинениях» Е. Замятина (ФРГ. 1986, т. 3, стр. 344). Там, в частности, говорится: «Когда пришли воины к Корнию, он в страхе... окружил себя двенадцатью своими детьми, жалобно закричал... И сделал тайный знак одному из младенцев, который, повинувшись, начал петь воинам свои стихи, сочиненные им накануне».

⁴ Рафалович Сергей Львович (1875—1943) — поэт, театральный критик.

⁵ Замирайло Виктор Дмитриевич (1868—1939) — художник.

⁶ «Этот портрет теперь находится в Америке в собрании Н. Лобанова-Ростовского, размер 67×43, поколенный» — так написал мне 15 мая 1972 года художник Н. В. Кузьмин, в прошлом ученик С. В. Чехонина.

⁷ После того как Ал. Толстой опубликовал письмо Чуковского в приложении к газете «Накануне» (см. прим. 54, 1922), отношения Чуковского и Замятина испортились. В письме Чуковского были такие строки о Замятине: «Замятин очень милый человек, очень, очень — но ведь это чистоплдый, осторожный, ничего не почувствовавший». 30 июня 1922 года, отвечая Чуковскому (очевидно, на письмо с извинениями и объяснениями), Замятин писал ему: «...говорить, что я на Вас сердит, — это было бы совершенно неверно. <...> После Вашего письма Толстому у меня есть ощущение, что именно друг-то и товарищ Вы — довольно колченогий и не очень надежный. Я знаю, что вот если меня завтра или через месяц засадят (потому что сейчас нет в Советской России писателя более неосторожного, чем я) — если так случится, Чуковский один из первых пойдет хлопотать обо мне. Но в случаях менее серьезных — ради красного словца или черт его знает ради чего — Чуковский за милую душу кинет меня Толстому или еще кому. <...> Чуковским, т. е. одним из тех десяти или пяти, кто по-настоящему честно относятся к слову, к искусству слова, — Вы для меня все равно остаетесь (для десяти или пяти я. должно быть, и пишу)».

⁸ Судя по фразам, вызвавшим возражения Тихонова, Волынского и Чуковского, Е. Замятин читал свою новую трагикомедию «Общество почетных звонярей» (по повести «Островитяне»). Пьеса была опубликована в 1924 году (Л. «Мысль») и поставлена в 1925-м в бывшем Михайловском театре.

⁹ Руманов Аркадий Вениаминович (1876—1942) — журналист; Петров Григорий Спиридонович (1868—1925) — священник, литератор.

¹⁰ Цекачихина-Потоцкая Александра Васильевна (1892—1967) — художница, жила в общежитии Дома искусств. По приглашению И. Я. Билибина она уехала к нему за границу. Там она вышла за него замуж.

¹¹ Коган Петр Семенович (1872—1932) и Фриче Владимир Максимович (1870—1929) — критики-медиевисты.

¹² «АРА» (ARA: American Relief Administration; 1919—1923) — «Американская администрация помощи», организация, помогавшая голодающим в России.

¹³ Куприна-Иорданская Мария Карловна (1879—1966) — издательница журнала «Мир Вожий», первая жена А. И. Куприна; Мексин Яков Петрович (1886—1943) — редактор отдела учебников московского Госиздата.

¹⁴ Вейс Давид Лазаревич (1877—1940) — заместитель заведующего Госиздатом РСФСР.

¹⁵ Шмидт Отто Юльевич (1891—1956) — геофизик, математик, в 1921—1924 годах заведующий Госиздатом; Калашников Алексей Георгиевич (1893—1962) — заведующий редакционным сектором Госиздата.

¹⁶ Мещеряков Николай Леонидович (1865—1942) — председатель редколлегии и главный редактор Госиздата РСФСР.

¹⁷ Соболев Юлий (Юрий) Васильевич (1887—1940) — режиссер, драматург.

¹⁸ Евреинов Николай Николаевич (1879—1953) — режиссер и драматург.

¹⁹ «Потоп» — пьеса Ю. Бергера, «Эрик XIV» — пьеса Ю. Стриндберга. Обе пьесы были поставлены Е. Вахтанговым в 1-й Студии МХТ и пользовались большим успехом.

²⁰ Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940) — писательница, критик; Андреев Николай Андреевич (1873—1932) — скульптор; Тулупов Николай Васильевич (1863—1939) — редактор отдела детской литературы Госиздата. Кармен Дина Львовна — жена писателя Л. О. Кармена.

²¹ Буданцев Сергей Федорович (1896—1938, расстрелян) — писатель и поэт.

²² Казин Василий Васильевич (1898—1981) — поэт.

²³ Нимфа — домашнее имя жены С. Городецкого Анны Алексеевны Городецкой (урожд. Белоконь, ум. 1946).

²⁴ Речь идет о стихотворении В. Маяковского «Газетный день», опубликованном в «Журналисте» (№ 5, март — апрель).

²⁵ Чуковский имеет в виду такую фразу в автобиографии В. Маяковского «Я сам» (в главке о Куокнале): «Семизнакомая система (семипольная). Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье «ем» Чуковского, понедельник — Евреинина и т. д. В четверг было хуже — ем репинские травы».

²⁶ Ахматова говорит о книге В. Эйхенбаума «Анна Ахматова. Опыт анализа» (Пб «Первопечатъ», 1923).

²⁷ Строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Утро» («Ты грустна, ты страдаешь душою...»).

²⁰ Быков Петр Васильевич (1843—1930) — поэт, критик.

²¹ Оля — Дьячкова, одна из учениц К. Чуковского в Студии художественного перевода. Она же написала «Оду» Чуковскому (см.: «Чукоккала», стр. 260).

²² Теляковский Владимир Арнадьевич (1861—1924) — бывший директор императорских театров, поместил в № 14 «Жизни искусства» (6 апреля 1923) статью о Мейерхольде. Статья приурочена к двадцатипятилетию сценической деятельности Вс. Мейерхольда. Теляковский ставит ему в заслугу, что он «несомненно долгими годами сложившийся театральным муравейник растревожил».

²³ Чуковский подразумевает самоубийство жены Ф. Сологуба Анастасии Николаевны Чеботаревой (1876—1921).

²⁴ Гиппиус Татьяна Николаевна (1877—1957) — художница, сестра З. Н. Гиппиус.

²⁵ Трудно сказать с уверенностью, что именно заинтересовало Чуковского в газете. В эти дни газеты писали об убийстве В. Воровского и об английской ноте — «ультиматуме Керзона». Были помещены речи Чичерина, Бухарина и Троцкого с возражениями против ноты английского правительства.

²⁶ Это письмо теперь опубликовано. Блок пишет о поэме Ахматовой: «Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они — не пустяк, и много такого — отрадного, свежеего, как сама поэма. Все это — несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши «вовсе не знала», «у самого моря», «самый нежный, самый кроткий» (в «Четках»), постоянные «совсем» (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). То же и «сюжет»: не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо «экзотики», не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больнее. — Но все это — пустяки, поэма настоящая, и Вы — настоящая».

²⁷ «...какая канитель с репинскими деньгами. — По неопубликованной переписке И. Е. Репина с К. И. Чуковским (архив К. Чуковского и музея-усадьбы И. Е. Репина Пенаты) видно, что Чуковский посылал Репину деньги, а потом и отчет издателя Абрама Ефимовича Эйзлера о гонорарах, следующих И. Е. Репину за издание его книги «Бурлаки на Волге» в издательстве «Солнце» (1922). Из-за постоянной девальвации рубля в это время денежные отношения с Репиным запутались. Из отчета издателя видно, что Чуковский, который готовил это издание и был редактором книги, никаких денег за эту работу не получал. Репин, однако, считал, что ему посылают «фальшивые» деньги, так как встречался с трудностями при переводе рубля в финские марки. Все эти сложности нашли свое отражение в переписке с Чуковским.

²⁸ Сакулин Павел Никитич (1868—1930) — историк литературы.

²⁹ Черубина де Габриана — поэтесса, чье имя и биографию придумали летом 1909 года М. Волошин и Е. Васильева. Стихи Черубины печатали в «Аполлоне» С. Маковский. Об этой истории, об Е. Васильевой, о дуэли между Н. Гумилевым и М. Волошиным см. публикацию Вл. Глодера «Елис. Васильева...» («Новый мир», 1988, № 12).

³⁰ Карнаухова Ирина Валериановна (1901—1959) — фольклористка.

³¹ «Ветер что-то удушлив не в меру» — строка из стихотворения Н. А. Некрасова «О погоде».

³² Верховский Юрий Никандрович (1878—1956) — поэт, литературовед.

³³ Колбасьев Сергей Адамович (1898—1942, погиб в лагере) — писатель.

³⁴ Речь идет о стихотворении «Все расхищено, предано, продано...», посвященном Наталии Рыковой. В статье Н. Осинского «Побеги травы», напечатанной в «Правде» (4 июня 1922), автор полемизирует с эмигрантскими критиками по поводу этого стихотворения и заявляет: «Одна беда, рецензенты не сообразили, что Н. Рыкова, коей посвящено стихотворение, является женой «большевистского комиссара». На самом деле Наталья Викторовна Рыкова (1897—1928), близкий друг Анны Ахматовой, была женой профессора Г. А. Чуковского и никакого отношения к «большевистскому комиссару» А. И. Рыкову не имела.

³⁵ По-видимому, Чуковский работал над статьей «Две души М. Горького», опубликованной в 1924 году издательством «Т-ва А. Ф. Маркс» отдельной книжкой.

³⁶ В январе 1923 года В. Н. Княжнин, живущий в Петрограде, дал П. Е. Щеголеву доверенность — заключить в Москве договор с Госиздатом о печатании тома сочинений Н. А. Добролюбова (дневники, переписка, со вступительной статьей и примечаниями). По этой доверенности Щеголев получил причитающийся Княжнину аванс. Рукопись не была представлена в срок, издательство пригрозило расторжением договора. В странном письме в Госиздат Княжнин обвинил Щеголева в неточном составлении договора, в том, что он «скрывал от меня срок». Дальнейшую работу с Госиздатом Княжнин хотел вести «без посредничества г. Щеголева», а доверенность на ведение своих дел передал М. Кобецкому (Архив ИМЛИ, ф. 28, оп. 2, № 12).

³⁷ Миклашевская Ирина Сергеевна (1883—1956) — композитор.

³⁸ Кобецкий Михаил Вениаминович (1881—1937, расстрелян) — дипломат, соученик Чуковского и Житкова по гимназии, в 1924—1933 годах полпред СССР в Дании.

³⁹ Морозов Николай Александрович (1854—1946) — народоволец, шлиссельбуржец, писатель.

⁴⁰ Карсавин Лев Платонович (1882—1952, погиб в лагере) — философ, историк-медиевист.

⁴¹ Горлин Александр Николаевич (1878—1938, погиб в лагере) — заведующий иностранным отделом Ленгиза; Ангерт Давид Николаевич (1893—1977) — один из руководителей Госиздата.

⁵⁰ Имеется в виду статья А. Воынского «Лица и лики» («Жизнь искусства», 1923, № 40).

⁵¹ Сливкин Борис Юльевич (погиб в заключении ок. 1937) — сотрудник Севзапкино. Сценарий Чуковского по «Крокодилу» сохранился. Часть этого сценария (с грубыми ошибками) теперь опубликована (см. сб.: «История становления советского кино». М. 1986, стр. 127—135).

⁵² Владимиров Иван Алексеевич (1870—1947) — художник.

⁵³ Пятровский Адриан Иванович (1898—1938, расстрелян) — историк театра, литературовед; Соловьев Владимир Николаевич (1887—1941) — режиссер, театральный критик; Лаврентьев Андрей Николаевич (1882—1935) — режиссер и актер.

⁵⁴ Обыватель — персонаж из пьесы Ал. Толстого «Бунт машин».

⁵⁵ Заславский Давид Иосифович (1880—1965) — журналист; Канторович (псевдоним Канев) Владимир Абрамович (1886—1923) — поэт, журналист.

⁵⁶ Комаровская Надежда Ивановна (1885—1967) — драматическая артистка.

⁵⁷ Быстрова Людмила Модестовна (1884—1942, погибла в лагере) — зам заведующего ленинградского Гублита.

⁵⁸ Украшают тебя добродетели — первая строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Современная ода». Во второй строфе говорится: «И червонцы твои не украдены / У сирот беззащитных и вдов».

⁵⁹ Сохранилось письмо Владислава Ходасевича: «Дорогой Корней Иванович! Экстренно и в последнюю минуту: спасибо за заботу об Анне Ивановне. Дай Вам Бог здоровья. Обнимаю Вас, Ваш В. Ходасевич. 23.IV.923» (РО ГВЛ, ф. 620).

Подготовка текста, публикация и комментарии ЕЛЕНЫ ЧУКОВСКОЙ.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. АВТОРХАНОВ

*

ЗАГАДКА СМЕРТИ СТАЛИНА

Главы из книги

ОТ АВТОРА

На вершине пирамиды советской партократии не было достаточно места для двух преступных гениев — для Сталина и Берия. Рано или поздно один должен был уступить место другому или оба погибнуть во взаимной борьбе. То и другое случилось почти одновременно. Настоящее произведение и посвящено реконструкции исторического процесса последних пяти лет сталинского правления (1948—1953), приведшего к этому.

При тиранических режимах политика есть искусство чередующихся интриг. Придворные интригуют, чтобы оказаться поближе к тирану, а тиран — чтобы натравливать их друг на друга: ведь придворные, постоянно соперничающие между собой, не способны организовать заговор против своего владыки. В подобного рода интригах Сталин и его клика не имели себе равных.

Сталин окружил себя людьми, преданность которых обуславливалась не общественными идеалами, а лишь соображениями карьеры. Каждый из них боролся за Сталина, ибо Сталин — это власть, но чтобы они не объединялись против него в борьбе за власть, Сталин разжигал среди них взаимную ненависть. Эта тактика имела и еще одно преимущество: когда Сталину было нужно «пустить в расход» кого-нибудь из своей клики, он делал это по доносам одних, при энтузиазме других и при молчаливом согласии остальных.

У правящей элиты было атрофировано самое элементарное чувство коллегиальной солидарности для спасения своих отдельных представителей — хотя бы ради своего собственного спасения. Этим воспользовался Сталин до войны, на пути к единоличной тирании. Этим Сталин продолжал пользоваться и после войны, пока самый способный из его учеников — Берия — не превзошел своего учителя.

Если каждый из членов последнего сталинского Политбюро умер или умрет своей смертью, то это благодаря тому, кого они убили: Берия. Если не состоялась вторая, куда более грозная, чем в ежовщину, «великая чистка», если сотни тысяч людей были спасены от чекистских пуль, а миллионы — от концлагерей, то этим, вероятнее всего, страна обязана тоже Берия. Это не было его целью, но это было его невольной заслугой.

Когда Сталин решил ликвидировать свою «старую гвардию» (молотовцев), апеллируя к «молодой гвардии» (маленковцам), Берия первый разгадал его стратегический план — уничтожить всех членов Политбюро по шаблону 20-х и 30-х годов: «старую гвардию» — при помощи «молодой гвардии», «молодую гвардию» — при помощи «выдвиженцев». Но Сталин просчитался: его окружали теперь не идейные простофили 20-х, не политические евнухи 30-х годов, а его же духовные двойники, выпестованные им самим, по его собственному криминальному образу мышления и действия. Но на высоте криминального искусства самого Сталина стоял среди них только один Берия. К счастью народов СССР, Бог лишил Сталина разума в тот самый момент, когда он на правил его гнев в сторону Берия.

С уму непостижимой оплошностью Сталин выдал себя, сформулировав обвинение кремлевских «врачей-заговорщиков»: ведь обвинение всей сети верховных органов госбезопасности в попустительстве «заговорщикам» было прямо направлено против Берия. Берия слишком хорошо знал и Сталина, и судьбу своих предшественников, чтобы строить иллюзии. Сталину теперь нужна была его голова. У Берия не было никаких других средств спасти ее, кроме того как лишить самого Сталина его собственной головы.

Вот так и был организован беспрецедентный по трудности, но и блестящий по технике исполнения заговор Берия против Сталина. Организатор заговора доказал, что он превзошел Сталина в том, в чем последний считался корифеем: в искусстве организации политических убийств!

Естественно, в результате власть Сталина оказалась у Берия. Члены Политбюро, судьбой которых Берия теперь мог распоряжаться, решили отнять у него власть. Возглавленный Хрущевым, был создан второй, беспрецедентный по трусости заговор — против Берия, заговор, который, по существу, был убийством из-за угла. Впрочем, таким же был и организованный впоследствии заговор против самого Хрущева — с той лишь разницей, что его оставили в живых.

Не абстрактные спекуляции, не искусственные конструкции, а логика целой цепи косвенных доказательств, называемых в юриспруденции уликами, привела меня к окончательному выводу. Сталин умер в результате заговора. Заговор этот не был импровизацией. Он был лишь последним актом той продолжительной послевоенной трагедии, в которой актеры как бы поменялись ролями: предназначенные к гибели герои умертвили «бессмертного», чтобы самим остаться в живых. С такой же уверенностью я не могу этого утверждать о втором аспекте моей темы: как был умерщвлен Сталин. Коллапс как последствие шока от заседания Политбюро с последующим вредительским лечением или яд замедленного действия, полученный от Берия? Впрочем, собранные мною улики для того или другого случая я предоставляю на суд самого читателя.

Я не буду останавливаться на характеристике использованных мною советских и западных источников, но немного надо сказать о моих частных источниках информации из СССР. В этом отношении я оказался в несколько более выгодном положении, чем другие историки на Западе. Объясняется это тем, что КГБ широко разрекламировал мою книгу «Технология власти» (1959): на многих политических процессах в Москве, Ленинграде, Киеве и других городах она фигурировала — в издании самиздата — как вещественное доказательство против подсудимых (за нее мастера фальсификации из ЦК сочинили мне биографию, в которой нет ни одного слова правды, кроме моего имени). Уже в той книге я написал, что загадочная смерть Сталина последовала, вероятно, в результате заговора четверки (Берия, Маленков, Хрущев, Булганин) и что подозрительно само это подчеркивание в официальном сообщении о месте нахождения заболевшего Сталина «в Москве в своей квартире» (А. Авторханов. Технология власти. 1959, стр. 282, 285). Все мои дальнейшие поиски за истекшие годы и были посвящены этой «загадке смерти Сталина». Но так как «Технология власти» переиздал не только самиздат, но и ЦК КПСС — в издательстве «Мысль», с грифом «запрещенная литература», — то у нее оказался относительно широкий круг читателей. Отсюда и приток ко мне по разным каналам дополнительных сведений о том, как происходили некоторые из описываемых мною послевоенных событий. К сожалению, в момент создания книги я был лишен возможности использовать их полностью. Для этого тогда еще не наступило время. Исключение было сделано только в тех случаях, когда аутентичность материала кажется бесспорной или поддается объективной проверке.

А. АВТОРХАНОВ.

Когда одного из большевистских завоевателей Грузии Буду Мдивани, соратника Ленина и врага Сталина, вели в 1937 году на расстрел, он крикнул на весь коридор Метехского замка: «Пусть Сталин не забывает, что за Дантоном последовала очередь Робеспьера!» Сталин делал в дальнейшем все, чтобы грузинский Дантон не оказался пророком. До войны с этой задачей он, не без учета урока Робеспьера, справился блестяще. Робеспьер посылал на эшафот лишь отдельные группы из Конвента, великодушно оберегая сам Конвент, но тогда Конвент послал его туда же. Сталин, как диктатор,

поступил более разумно: разделавшись со своими ультрареволюционными гебертистами (троцкистами) и правооппортунистическими дантонистами (бухаринцами) при помощи большевистского Конвента, Сталин послал под конец на эшафот и этот слепо преданный ему Конвент — ЦК 1934 года. Сталин, если речь шла о его личной безопасности, не искал врагов — он уничтожал потенциальных врагов (группами, классами и даже целыми народами), считая, что уничтожить их, когда они станут действительными врагами, будет трудно, а может быть, и невозможно...

РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ПОЛИТБЮРО И СТАЛИНЫМ

Если выразиться образно, то в послевоенные годы Сталин правил страной, как рулевой в бурную погоду на океане, бездумно бросающий дырявую лодку навстречу грозным волнам. Пассажиры же ее — члены ЦК — то беспрерывно выкачивали воду со дна лодки, то отчаянно метались с одного борта на другой, чтобы сбалансировать ее движение, но неумолимый рулевой балансировал его тем, что бросал их за борт одного за другим. Сколько их было выброшено за последние три года по «ленинградскому делу», по «сионистскому делу», по «грузинскому делу», по начавшемуся «московскому делу», в которое, по замыслу Сталина, могли бы быть включены остальные уцелевшие пассажиры сталинской лодки?! Не важно, что сами пассажиры подсказывали рулевому, кого первыми вышвырнуть, важно другое: все они знали, что при этом рулевым та же участь рано или поздно постигнет каждого из них.

Сталин пришел к выводу, что в сложившихся условиях лучше всего — уничтожить всех, и «старогвардейцев» и «младогвардейцев», по рецептам 20-х годов.

Берия и Маленков великолепно научились читать затаенные мысли Сталина и разгадали весь его стратегический план. А тогда произошло то, что Сталин считал абсолютным исключительным: по инициативе Берия и Маленкова члены Политбюро пришли к спасительному для них компромиссу и заключили оборонительный союз против замыслов Сталина. Результатом этого союза и было решение Политбюро созвать в августе 1952 г. пленум ЦК ВКП(б) и назначить на нем созыв съезда партии.

По формально действующему уставу партии съезды ее должны были созываться не реже одного раза в три года. Последний съезд был до войны — в марте 1939 года. Сталин, охотно соглашаясь на аккуратное проведение выборов в тогдашний советский лжепарламент, никак не соглашался на выборы нового ЦК на очередном съезде партии. Так было пропущено более четырех сроков созыва съезда. За это время началась и окончилась Великая Отечественная война, были приняты важнейшие международные и внутренние решения, находящиеся в компетенции только съезда партии, а Сталин и не думал его созывать. Более того, даже пленум того довоенного ЦК, члены которого в войну сыграли столь решающую роль в политической организации фронта и тыла страны, не созывался уже более пяти лет (по уставу его надо созывать раз в три месяца).

Трудно найти другую причину несозыва съезда, кроме боязни Сталина, что «учевики» в рамках устава легально лишат его единоличной власти. Опасения его не были беспочвенными.

После «ленинградского дела» Сталин начинает терять контроль над аппаратом партии и полиции в той же мере, в какой растет там влияние Маленкова и Берия.

Сталин не хотел никакого съезда партии, пока не проведена намеченная вторая «великая чистка» — в этом сомневаться не приходится (XVIII съезд тоже был создан только после первой «великой чистки», в 1939 году).

Правда, объявление о созыве съезда и его повестке дня было опубликовано за подписью одного генерального секретаря ЦК — Сталина. Но так делалось всегда. Самым поразительным был беспрецедентный факт: впервые за время сталинского правления политический отчет ЦК делал не Сталин, а Маленков. Это сразу вызвало недоумение: что произошло? Либо Сталин нездоров, либо он намеренно выдвинул главным политическим докладчиком ЦК избранного им «кронпринца». Только потом мы узнали, что оба предположения были ложными. Сталин был здоров, писал больше «дискуссионные» статьи, присутствовал на съезде и даже выступил в конце съезда с краткой речью (не по существу работы съезда, а с обращением к иностранным компартиям, что, как мы дальше увидим, тоже имело свое значение). И в «кронпринцы» Сталин никого не намечал, хорошо зная всю опасность такого предприятия.

Остаются два других предположения: либо Сталин отказался делать доклад на съезде, организованном и созванном вопреки его воле, либо Политбюро, не разделявшее

теперь многие из практических предложений и мероприятий Сталина, решило поручить доклад Маленкову, открытие съезда — Молотову, закрытие — Ворошилову.

Хрущев, которого партийные интересы заставляли придерживаться определенной схемы, какую-то часть правды всегда обволакивал туманом лжи. Он хотел нас уверить, что и поручения Молотову и Ворошилову тоже исходили от Сталина. Но этим он опровергал самого себя.

В самом деле, по официальным выступлениям того же Хрущева на XX съезде мы знаем, что после XIX съезда, во время первого организационного пленума нового ЦК, Сталин обвинил Молотова в шпионаже в пользу Америки и Ворошилова в шпионаже в пользу Англии, а их жены-еврейки по тем же обвинениям уже сидели в подвалах Лубянки. Но из отчетов о XIX съезде мы знаем, что его торжественно открыл Молотов и торжественно закрыл Ворошилов. По партийной традиции, эти почетные обязанности раньше исполнял Ленин, а так как Сталин отказался их перенять, то был заведен новый порядок: открывали и закрывали съезды два разных лица из наиболее популярных старых членов Политбюро.

Спрашивается, как мог Сталин оказать такой почет тем, кого он в конце того же съезда собирался разоблачить как шпионов? Ясно, что они были выдвинуты не Сталиным, а Политбюро в результате вышеупомянутого «исторического компромисса», как ясно и то, что от расправы Сталина их спас аппарат во главе с Маленковым—Берия.

Тот, кто думает, что Сталину было все подвластно, что стоило ему только «пошевелить мизинцем» — и все его враги взлетят на воздух, забывает, что власть Сталина основывалась на абсолютном повиновении непосредственных управляющих машиной властвования. Они-то теперь и вышли из повиновения. Что же мог делать Сталин один, без них? Выйти на Красную площадь и призвать народ к бунту?

До разбора работы XIX съезда и анализа итогов его пленума ЦК надо бросить беглый взгляд на недавнее прошлое.

Наивно думать, что политическое развитие в руководстве партии и государства определялось лишь взаимными интригами сталинцев, или объявлять кажущийся бесмысленным жесткий террор Сталина результатом паранойи. И интриганы и Сталин боролись не только за власть, но и за определенный курс внутренней и внешней политики Кремля. Сталин никого не убивал из любви к убийству. Не был он и садистом и еще меньше — параноиком. Такие оценки его действий вытекают из неправильной «антропологической» предпосылки: Сталина рассматривают как человека со всеми человеческими атрибутами, а поэтому все его нечеловеческие поступки сводят к душевной болезни. Между тем все поступки, действия, преступления Сталина целеустремленны, логичны и строго принципиальны. У него нет зигзагов душевнобольного человека: помрачение ума, а потом просветление, восторг сейчас, меланхолия через час, злодеяние сегодня и раскаяние завтра, как бывало с действительно больным Иваном Грозным. Сталин был политик, действующий уголовными методами для достижения цели. Более того, он представлял собою уникальный гибрид политической науки и уголовного искусства, превосходя этим всех других политиков. Сталин был принципиально постоянным в своих злодеяниях — в восемнадцать лет он выдал свой марксистский кружок в Тифлисской духовной семинарии жандармам (оправдывая себя тем, что так он сделал кружковцев революционерами); в двадцать восемь лет он руководил убийством людей на Эриванской площади в Тифлисе во время вооруженного ограбления казначейства; в тридцать восемь лет он лично командовал в Царицыне массовыми расстрелами пленных «белогвардейцев»; в сорок восемь лет начал подготовку к истреблению крестьянства; ему было пятьдесят восемь лет, когда по его приказу в 1937—1938 годах чекисты умертвили миллионы невинных людей; ему было уже семьдесят лет, когда он без суда расстрелял дюжину членов ЦК, своих ближайших помощников. Теперь он решил взяться за остальных.

Сумасбродные действия, как говорит Хрущев? Ничуть не бывало. Целеустремленные и целеоправданные действия с гениальным чутьем предвидения. Если бы Сталину удалось уничтожить Политбюро 1952 года, он, вероятно, жил бы подольше, а антисталинского XX съезда партии в истории вовсе не было бы.

К XIX съезду партии Сталин оказался в полной изоляции от остальных членов Политбюро по важнейшим вопросам международной и внутренней политики. Достаточно беглого анализа спорных вопросов, чтобы видеть глубину разногласий.

Так, Сталин просто проспал радикальную революцию в мировой политике и дипломатии в результате появления термоядерного оружия. Трубадуры сталинизма не раз

писали, что когда президент Трумэн на Потсдамской конференции сообщил Сталину эпохальную новость о том, что американцы изобрели беспрецедентное оружие — атомную бомбу, то Сталин перевел разговор на тему о погоде. Трагизм положения в том и заключался, что на Сталина эта бомба действительно не произвела должного впечатления.

Позднее, назначив Берия председателем советской атомной комиссии, Сталин, однако, не стал вести миролюбивую политику хотя бы до тех пор, пока будет готова советская бомба. Наоборот, он искусственно, порою вызываясь, провоцировал крупные международные кризисы один за другим: форсированная большевизация восточноевропейских государств в нарушение всех союзнических договоров, попытка аннексии иранского Азербайджана, предъявление Турции требования о военных базах в районе проливов, организация движения советских армян и грузин за возвращение Турцией армянских и грузинских земель, организация гражданской войны в Греции, требование о передаче Ливии Италией Советскому Союзу, берлинская блокада, корейская война — все это Сталин делал, когда у него еще не было серийного производства атомных бомб.

Можно себе представить, на каком языке Сталин собирался разговаривать с миром после того, как это производство у него появилось бы.

Коренное разногласие между Сталиным и Политбюро возникло именно по вопросу о политике мира. Политбюро стояло на той же точке зрения, что и Запад: в эпоху термоядерного оружия результатом войны будет лишь самоубийство человечества. Поэтому Политбюро пересмотрело основное положение Ленина, гласившее: в эпоху империализма мировые войны абсолютны неизбежны, как неизбежна мировая коммунистическая революция на руинах этих войн. В Политбюро думали, что поскольку в атомную эпоху войны могут быть только атомными, а следовательно, и не приводящими к революции, то от этого учения Ленина и основанной на нем международной политики надо отказаться.

Политбюро приводило и другие аргументы: образовавшаяся после второй мировой войны мировая социалистическая система и движение широких масс за мир во всем мире способны предупредить новые войны. Это самое важное разногласие между Сталиным и Политбюро доказывается анализом партийных документов. В этой связи придется остановиться на полемической работе, выпущенной Сталиным и приуроченной им к XIX съезду партии: «Экономические проблемы социализма в СССР» (сентябрь 1952).

Никакая другая работа Сталина после войны так много не цитировалась советологами, как «Экономические проблемы социализма в СССР», но только одна она так и осталась непонятой на Западе. Это вполне естественно. Западные исследователи читали только текст, но не читали и не поняли подтекста, поскольку не знали причин, вызвавших к жизни «Экономические проблемы...». Сталин здесь вовсе не занимался теорией, вовсе не был занят открытиями новых абстрактных законов марксизма в политэкономии, он спорил с другими ведущими руководителями ЦК по важнейшим вопросам дальнейшего развития внутренней и внешней политики СССР. Что Сталин спорит с ними, знали только эти руководители ЦК, но ни советский народ, ни партия, ни тем более западные исследователи этого не знали и знать не могли.

Это непонимание усугублялось еще и тем, что как раз те, против кого выступал Сталин, первыми объявили (на словах) «Экономические проблемы...» «гениальным вкладом» Сталина в марксизм, чтобы на деле саботировать вытекающие из них практические выводы.

Обо всем этом мы узнали только после смерти Сталина. Сравнение требований Сталина в «Экономических проблемах...» и практической политики ЦК после его смерти дает нам ключ, которым мы легко открываем все тайники спорных вопросов.

Разберем сначала установки партийных документов. Вот что записало сталинское Политбюро на XX съезде: «Миллионы людей во всем мире спрашивают: неизбежна ли новая война, неужели человечеству, пережившему две кровопролитные мировые войны, предстоит пережить еще и третью? Имеется марксистско-ленинское положение, что, пока существует империализм, войны неизбежны. Но в настоящее время положение коренным образом изменилось. Фатальной неизбежности войны нет. Теперь имеются мощные общественные и политические силы, которые располагают серьезными средствами, чтобы не допустить развязывания войны империалистами» («XX съезд КПСС. Стенографический отчет». 1956, т. 1, стр. 37—38).

А вот как возражал Сталин: «Говорят, что тезис Ленина о том, что империализм неизбежно порождает войны, нужно считать устаревшим, поскольку выросли в на-

стоящее время мощные народные силы, выступающие в защиту мира, против новой мировой войны. Это неверно... Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм» (И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. М. 1952, стр. 36). Анонимами, с которыми Сталин спорил на XIX съезде («говорят»), как раз и были члены его Политбюро (это они так единодушно и доказали на следующем, XX съезде партии).

«Мирное сосуществование» — это кодовое определение для ленинской стратегии: разгромить капитализм не военной силой Советской России, что вообще невозможно, а взорвать его изнутри инфильтрацией идей, людей и организацией перманентных революционных диверсий. Поэтому-то в «Программе КПСС» (1961) и записано, что мирное сосуществование «является специфической формой классово-борьбы». Надо отдать должное наследникам Сталина, что в этом споре, изменяя букве ленинизма, они остались верными его духу, чего нельзя было сказать о самом Сталине.

Хотя Ленин писал о неизбежности войн в эпоху империализма, который представлялся ему последней стадией загнивающего, умирающего капитализма, в нем все-таки хорошо было развито чувство реальности. Поэтому Ленин делал оговорку, которая сводила на нет только что им выставленный тезис, а именно: капитализм в эпоху империализма развивается быстрее, чем до нее.

Сталин считает, что после второй мировой войны это утверждение недействительно. Он пишет: «Можно ли утверждать, что известный тезис Ленина, высказанный им весной 1916 года, о том, что, несмотря на загнивание капитализма, «в целом капитализм растет неизмеримо быстрее, чем прежде», — все еще остается в силе? Я думаю, что нельзя этого утверждать. Ввиду новых условий, возникших в связи со второй мировой войной, (этот. — А. А.) тезис нужно считать утратившим силу» (там же, стр. 32).

Выходило, что западная экономика и техника не способны дальше развиваться, капитализм теперь уж окончательно загнил. Отсюда логический вывод: пришло время справлять отходную по мировому капитализму! Разумеется, реалисты из Политбюро считали это опаснейшей иллюзией.

В той же работе Сталин спорил с Политбюро не только по внешнеполитическим, но и по внутриэкономическим вопросам. Он пишет: «...цель капиталистического производства — извлечение прибылей... Цель социалистического производства не прибыль, а человек с его потребностями» (там же, стр. 77).

В результате такой «заботы» Сталина о человеке более 50 процентов советских предприятий работало нерентабельно. Хрущев старался выйти из этого положения чистейшим волюнтаризмом и сорвался. Более прагматичные Косыгин и Брежнев прямо записали в решении сентябрьского пленума ЦК (1965): «...улучшить использование таких важнейших экономических рычагов, как прибыль, цена, премия, кредит» («КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», М. 1972, т. 8, стр. 519).

Большинство в Политбюро полагало, что всю технику машинно-тракторных станций (МТС) надо передать колхозам, а Сталин писал: «...предлагая продажу МТС в собственность колхозам... пытаются повернуть назад колесо истории. (это. — А. А.) привело бы не к приближению к коммунизму, а наоборот, к удалению от него» («Экономические проблемы...», стр. 91).

Послесталинское руководство ликвидировало МТС и передало их технику колхозам.

Сталин писал: «Какие мероприятия необходимы для того, чтобы поднять колхозную собственность, которая является, конечно, не общенародной собственностью, до уровня общенародной («национальной») собственности? Некоторые товарищи думают, что необходимо просто национализировать колхозную собственность, объявив ее общенародной собственностью... Это предложение совершенно неправильно и безусловно неприемлемо» (там же, стр. 87).

Ровно через год после того, как Сталин это написал, и через шесть месяцев после его смерти состоялся сентябрьский пленум ЦК (1953), заложивший основу национализации колхозов, а руководство Брежнева форсировало эту национализацию, превратив значительную часть колхозов в совхозы, которые и считаются «общенародной» собственностью. Да и сохранившиеся колхозы де-факто были превращены в государственную собственность решением мартовского пленума ЦК и особенно не опубликованным майским решением ЦК (1965).

Мы остановились лишь на некоторых из тех спорных вопросов между Сталиным

и Политбюро, которые легко прослеживаются по партийным документам. Однако были и разногласия, только глухо выходящие наружу.

Во внутренней политике таким было требование Сталина о новой «великой чистке» в партии, армии и государственном аппарате и продолжение, по примеру Грузии, массовой чистки от «буржуазных националистов» во всех союзных и автономных республиках. После Грузии была очередь Украины. (В начале июня 1952 года на пленуме ЦК Украины главным вопросом обсуждения и был украинский «буржуазный национализм».)

Главные же разногласия между Сталиным и Политбюро в международной политике касались новой доктрины, впервые официально сформулированной на будущем, XX съезде, — об упомянутом «мирном сосуществовании» в духе Ленина. Ученики и соратники Сталина считали, что «мирное сосуществование» социализма и капитализма есть, по Ленину, «генеральная линия» советской внешней политики. Сталин отвечал, что лозунг «сосуществования», собственно, выдумали идеологи американского империализма для маскировки подготовки третьей мировой войны против социалистического лагеря.

Сталин на самом деле, в полном согласии с Лениным, думал, что «генеральная линия» советской внешней политики — это курс на мировую пролетарскую революцию, а что касается «сосуществования», то Ленин даже не знал этого слова.

Очень отрицательную, даже вредную для СССР роль сыграла и другая установка Сталина: он ошибочно считал, что после второй мировой войны фактически никакого освобождения колониальных народов не произошло, сменилась только форма колониализма и все эти Неру и Сукарно — наемные сатрапы западных империй. Соратники и ученики Сталина полагали, что такая установка мешает Советскому Союзу войти в тыл освобождающихся колоний, привлечь их в русло советского влияния и противопоставить их бывшим метрополиям. Ученики Сталина, действуя в духе Сталина его лучших былых времен, считали нужным и возможным материально участвовать и в создании в бывших колониях особых форм правления и социального общежития нового типа.

Теперь вернемся к XIX съезду и рассмотрим некоторые сухие факты, чаще протокольные, но иногда касающиеся и существа дела.

Один такой важнейший факт мы уже отметили — открытие съезда одним «шпионом» (Молотовым) и закрытие его другим «шпионом» (Ворошиловым).

Второй сюрприз: в нарушение всей сталинской традиции в президиум съезда не избрали трех членов Политбюро — Микояна (два сына, генералы, сидят в тюрьме), Андреева (жена-еврейка — в тюрьме) и Косыгина (был замешан в деле ждановцев).

И еще один сюрприз: в перечислении рангового места членов Политбюро Берия, который до «миргрельского дела» твердо занимал третье место, после Молотова и Маленкова, очутился теперь на пятом месте (даже после Булганина). Так сообщает протокол утреннего заседания съезда от 5 октября. Чтобы партия не приняла это за недоумение, хроника съезда вновь повторяет ту же «иерархию культов».

Но Берия взял реванш. Он выступил на съезде с самой большой речью. И она была не только большая, а острая по стилю, высококвалифицированная политически и убедительная для слуха и ума партийных ортодоксов. Она была и единственной речью, на которой лежал отпечаток личности оратора.

Конечно, речь Берия, как и других ораторов, — это панегирик Сталину. Но его панегирик целевой: апеллируя к величию Сталина, изливаясь в верноподданнических чувствах, Берия тонко протаскивает, по существу, антисталинскую ересь — ставит партию впереди Сталина: «Вдохновителем и организатором великой победы советского народа (в войне. — А. А.) была Коммунистическая партия, руководимая товарищем Сталиным» («Правда», 9.10.52). До сих пор во всех газетах, журналах и книгах можно было прочесть, что «вдохновителем и организатором» был сам Сталин, а потом, где-то на задворках, что-то делала и партия Берия дал понять, что не оговорился, он кончил речь опять ссылкой на партию: «Народы нашей страны могут быть уверены в том, что Коммунистическая партия, вооруженная теорией марксизма-ленинизма» — и затем «под руководством товарища Сталина».

Другая ересь была вызывающей. Берия не ко времени, а потому и очень смело напомнил партии приоритеты ее национальной политики: есть разные опасности отклонения от национальной политики партии, и они следуют в таком порядке — на первом

месте стоит опасность «великодержавного шовинизма» (значит, русского шовинизма), на втором месте опасность «буржуазного национализма» (значит, опасность местного национализма) и на третьем месте опасность «буржуазного космополитизма» (значит, «сионизм» и прочие «измы»).

Можно смело предположить, что, кроме Сталина и членов Политбюро, никто на съезде не знал, что здесь Берия прямо спорит со Сталиным, считавшим буржуазный национализм, сионизм и космополитизм главной опасностью для СССР, а русского великодержавного шовинизма не признававшим вообще.

Интересна и другая деталь: больше половины речи Берия посвятил национальной политике и национальным республикам СССР, но ни словом не обмолвился о Грузии и грузинских «буржуазных националистах», а ведь для его земляков, мингрельцев, не хватало мест в тюрьмах Тбилиси, Сухуми и Батуми... Защищать их Берия не мог, но он и не осудил их, как того требовала нынешняя кампания Сталина против «буржуазного национализма».

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ СТАЛИНА

Понять Сталина можно, только постаравшись проникнуть в его политико-психологический мир и его глазами глядя на положение и перспективы развития СССР. Тогда мы увидим в действиях советского диктатора не манию преследования, не причуды и капризы старика, а железную логику основателя данной системы, его обоснованный страх за ее интегральность, его глубочайшую озабоченность беспечностью его учеников и соратников, его мрачные думы о завтрашнем дне. На XX съезде цитировались слова Сталина, обращенные к его ученикам и полные тревоги за будущее СССР: «Вы слепы, как новорожденные котятя; что будет без меня?»

Сталин был идеален для господства над закрытым обществом — закрытым внутри, закрытым вовне. Жизнеспособность и долголетие такого общества зависели от систематической регенерации ячеек власти сверху донизу — от постоянного вычищения отработанных кадров, от постоянного возобновления армии бюрократов. Порядок Сталина не допускал ни свободной игры сил на верхах, ни гражданской инициативы в обществе, даже самой верноподданнической.

«Генеральная линия партии» была сильна своей ясностью, неуязвимостью, повелительностью. В ее лексиконе не было слова «думать», а было всем понятное и принятое слово «действовать!» «Думать» — это прерогатива одного Сталина, «действовать» — это задача всей партии. Поэтому и «порядок» был идеальным, и управлять было легко. Война внесла в «генеральную линию» дисгармонию. Люди, прошедшие через войну, от Волги к Эльбе, стали другими.

В глубине души Сталин был согласен с западными острямиками: «Сталин в войну сделал только две ошибки: показал Ивану Европу и Европе Ивана». Советские люди притягивали домой бациллы свободы и социальной справедливости: «в Германии скот живет лучше, чем у нас люди», «у американского солдата шоколада больше, чем у нашего картошки», «на Западе президенты и министры — обыкновенные грешники, а у нас боги-недотроги». Надо вернуть этот расфилософствовавшийся, «больной народ» в первоначальное довоенное состояние: нужен антибиотик, нужно и новое, полезное кровопускание. Чем раньше это сделать, тем быстрее он выздоровеет.

Этого никак не хотят понять верхи партии. Они даже не прочь начать диалог с Западом («сосуществование!»), не прочь искать его помощи в решении внутриэкономических (колебания — принять или не принять «план Маршалла») и внешнеэкономических проблем СССР (предложения о хозяйственно-технической кооперации), а для этого готовы посягнуть на святая святых — монополию внешней торговли — и немножко приоткрыть железный занавес для циркуляции бизнеса. Но это ведь начало конца «генеральной линии». По каналам бизнеса двинутся в СССР тысячи, миллионы новых бацилл Запада. Железный занавес станет дырявым, и начнется другой диалог: диалог между народом и правительством, поощряемый и подстрекаемый Западом. Случится небывалое и непоправимое: народ начнет интересоваться своим прошлым и философствовать о будущем. Появятся новые Радищевы, Белинские, Герцены. Русь духовно придет в движение, а за нею и антирусские окраины, за ними и страны-сателлиты. Вот какая перспектива рисовалась Сталину, если не вернуться к старой, испытанной «генеральной линии».

Прогноз был правильный, но предупредить такое развитие дел Сталин мог бы в возрасте сорока—пятидесяти лет, а ему было уже за семьдесят; другого Сталина в

Политбюро не было, да такие и рождаются раз в сотни лет. Старость Сталина совпала с дряхлостью режима. Этому режиму можно было продлить жизнь не хирургией (он не выдержал бы никакой серьезной операции), а терапией. На языке политики это означало медленный «спуск на тормозах» в поисках «существования» как со своим народом, так и с внешним миром. Сталин был полон решимости ни в коем случае не допустить этого, ошибочно полагая, что его ученики не способны пойти против его воли. Но первый организационный пленум ЦК, избранный на XIX съезде, доказал обратное.

По неписаной партийной традиции организационный пленум нового ЦК происходит еще во время работы съезда и результаты (выборы Политбюро, Секретариата и генсека) докладываются последнему заседанию съезда. Этот закон впервые был нарушен. Пленум нового ЦК происходит через два дня после закрытия XIX съезда, а именно — 16 октября 1952 года. При внимательном наблюдении можно было заметить, что этот необычный прецедент был связан с трудностями создания исполнительных органов ЦК. Впоследствии стало известно, что Сталин, демонстративно игнорировавший рабочие заседания XIX съезда (из восемнадцати заседаний он посетил только два — первое и последнее, — оставаясь на них по несколько минут), был исключительно активен на пленуме ЦК. Сталин разработал новую схему организации ЦК и его исполнительных органов. Он предложил XIX съезду вдвое увеличить членский и кандидатский состав ЦК: было избрано 125 членов и 111 кандидатов в члены ЦК. Теперь пленуму ЦК он предложил, как бы соблюдая симметрию, избрать в членский состав Президиума (Политбюро) 25 человек, а в кандидатский состав — 11. Но дело было не в процентной норме и не в желании симметрии — Сталин смешивал своих «нечестивых» адептов из старого Политбюро со рвущимися наверх «целинниками» из областных вотчин партии. На расстоянии загнипнотизированные «гением отца» и святостью его воли, партийные «целинники» должны были явиться орудием уничтожения «нечестивых». Знали ли они о предназначенной им роли — значения не имеет. Важно другое — старые члены Политбюро знали, что такова цель Сталина. Тогда же приняли они и меры, чтобы сорвать этот план. Какие меры, мы увидим дальше, здесь лишь приведем заявление, которое ЦК устами Хрущева сделал XX съезду: «Сталин, очевидно, намеревался покончить со всеми старыми членами Политбюро. Он часто говорил, что члены Политбюро должны быть заменены новыми людьми».

А вот зачем нужно было расширить состав Президиума (Политбюро): «Его предложение после XIX съезда об избрании 25 человек в Президиум Центрального Комитета было направлено на то, чтобы устранить всех старых членов из Политбюро и ввести в него людей, обладающих меньшим опытом, которые бы всячески превозносили Сталина. Можно предположить, что это было также намерением в будущем ликвидировать старых членов Политбюро...» (Н. С. Хрущев, «Доклад на закрытом заседании XX съезда КПСС», стр. 58).

Это сообщение имеет решающее значение для раскрытия внутренних мотивов поведения старых членов Политбюро как компактной группы внутри нового Президиума, когда каждый из них убедился вслед за Берия и Маленковым, что Сталин переносит дебаты в другую плоскость — быть или не быть. Если быть Сталину, тогда не быть им, не только политически, но и физически. Неумолимая логика Сталина в таких ситуациях не знала полумер.

Как остановить Сталина? Этот вопрос старые члены Политбюро пока еще не ставят. Но Сталин настойчиво толкает их к этому своими действиями.

В прежнем Политбюро, кроме Сталина, было 10 членов. Во время выборов нового Президиума ЦК Сталин дал отвод 6 членам из 10. Причем дал отвод даже и тем, кто скорее был готов добровольно подставить свои затылки под пули чекистов, чем поднять руку на Сталина. — Молотову, Ворошилову, Кагановичу, Андрееву. О поведении двух других, тоже отведенных Сталиным, — Микояна и Косыгина, — конечно, нельзя говорить столь же уверенно.

Чем же Сталин мотивировал свой отвод столь преданным и заслуженным соратникам?

Пройдет время, и историки, получив доступ к архивам ЦК той эпохи, ответят на этот вопрос. Всегда словоохотливый Хрущев, к сожалению, мотивы Сталина обошел молчанием. Он ограничился следующим сообщением:

«Вследствие необычайной подозрительности Сталина у него даже появилась нелепая и смехотворная мысль, что Ворошилов был английским агентом... В доме Ворошилова была даже сделана специальная установка, позволяющая подслушивать, что там

говорилось. Своим единоличным решением Сталин отстранил от работы в Политбюро еще одного человека — Андрея Андреевича Андреева. Это было одним из самых необузданных проявлений произвола. Вспомним о первом пленуме ЦК после XIX съезда партии, когда в своем выступлении Сталин, охарактеризовав Вячеслава Михайловича Молотова и Анастаса Ивановича Микояна, высказал мысль, что эти два старых работника нашей партии повинны в каких-то совершенно не доказанных проступках. Не исключена возможность, что если бы Сталин оставался у руля еще несколько месяцев, товарищи Молотов и Микоян, вероятно, не могли бы выступить с речами на сегодняшнем съезде» (там же, стр. 54).

После только что проведенного процесса «сионистских шпионов» Америки во главе с Лозовским и Молотовой Сталину всюду мерещились сионистские заговорщики. Таким заговорщиком в его глазах был каждый еврей, независимо от того, коммунист он или нет, более того — им был и каждый русский коммунистический лидер, если он женат на еврейке. Свои «генеалогические таблицы» Сталин расширял до вторых и третьих колен в родословии коммунистов, выскивая у них еврейских бабушек, дедушек или внуков. Так, у Хрущева нашли внучку от еврейской матери, у Берия — мать, якобы грузинскую еврейку, у Маленкова дочь замужем за евреем.

Когда Сталин, напоминая пленуму ЦК «ленинградское дело», «сионистское дело», «грузинское дело», стал разбирать членов Политбюро по косточкам, копаясь в их исторических, политических и генеалогических грехах, то выяснилось: из 11 членов Политбюро 5 оказались еврейскими родственниками (Молотов, Маленков, Ворошилов, Хрущев, Андреев), один — евреем (Каганович), один — «полуевреем» (Берия), два — причастными к «ленинградской мафии» (Косыгин и Микоян; сын последнего был женат на дочери Кузнецова), только один человек оказался чистым — безвредный и бесцветный Булганин.

Во время атак Сталина против его соратников еще никто из них не знал, какой новый подвох готовится тому, о ком, кажется, он ничего не сказал на пленуме: Берия.

На XIX съезде Берия реабилитировал себя за «грузинское дело», но только перед съездом, что отнюдь не означало — перед Сталиным.

В Праге и Варшаве готовились два политических процесса над коммунистическими лидерами этих стран, которых спас лично Берия во время конфликта с Тито, а также процесс титовцев в Болгарии и Венгрии, тоже до сих пор пользовавшихся поддержкой Берия. Эти спасенные Берия лидеры теперь оказались «сионистами»: генеральный секретарь ЦК компартии Чехословакии Сланский (еврей) и генеральный секретарь ЦК компартии Польши Гомулка (женат на еврейке). Таким образом, круг большого международного заговора сионистов Америки, СССР и Восточной Европы против коммунизма замыкался (тут Сталин действовал точь-в-точь по рецепту Гитлера, только и говорившего о «заговоре мирового еврейства»).

Абсурдность концепции «еврейского заговора» и копания в генеалогии ярко выявляется в том, что у самого Сталина были еврейские родственники (внук, названный в его честь Иосифом).

Автор биографии А. П. Берия посвятил этому подвоху Сталина против Берия следующие многозначительные строки: «Первой мишенью атаки против позиций Берия являлась Чехословакия. Все ключевые позиции власти Берия предал там своим союзникам... После убийства Масарика и смерти Бенеша Берия управлял этой высокоиндустриальной и цивилизованной страной через своих ставленников в чешской тайной полиции так, как это находил нужным в своих собственных интересах. Как только Игнатьев стал во главе госбезопасности, он ударил по бастиону Берия в Чехословакии. Вдруг прокатилась волна арестов, которая охватила чиновников советского аппарата в Праге, а также высокопоставленных чиновников тайной полиции Чехословакии, работавших под руководством Берия. Главными жертвами чистки оказались ставленники Берия. Чиновники были арестованы по обвинению в шпионаже, саботаже, диверсии и государственной измене, но так как они были людьми Берия, то обвинение против них косвенно наносило удары и Берия. Однако одна поразительная черта характеризует всю эту акцию. Почти все арестованные высокие чины во главе с их лидером Рудольфом Сланским (настоящая фамилия которого — Зальцман) — Бедржих Геминдер, Рудольф Марголюс, Андре Симон, Артур Лондон и девять других протеев Берия — были евреями. Арестованных обвиняли также, что они «сионисты»... Новая чистка имела типично антисемитский привкус и была очевидно инсценирована Сталиным» (Th. Wittlin, *Commissar*. Macmillan Company, London, 1972, pp. 366—367).

Подозрения Сталина против Берия в «варшавском деле» были еще серьезнее. Све-

дения о том, какую роль Сталин хотел приписать Берия, если удастся «варшавское дело», исходят от самого Гомулки (Гомулка продиктовал одному своему близкому сотруднику документы типа «Khrushchev. Remembers» — «Мои 14 лет». «Мои 14 лет» опубликованы в журнале «Kurier Polsko-Kanadyiski», 1973, № 47, стоящем близко к польскому посольству в Канаде).

С первых же дней после войны Польшей правили три человека — Берут, председатель ЦК Польской коммунистической партии (Гомулка называет его питомцем НКВД), член Политбюро и глава органов госбезопасности Якуб Берман (такой же «питомец НКВД») и первый секретарь ЦК Гомулка, во время войны возглавлявший борьбу польских коммунистов в тылу Польши против немцев. Первые два были личными ставленниками Берия, но Сталин, видимо, решил дискредитировать Берута и Берия арестом и показаниями против них со стороны Бермана и Гомулки.

Какие же показания хотел иметь Сталин? Он хотел узнать только одно: Берия замышлял заговор против Сталина и втянул в это дело своих польских ставленников. Послушаем самого Гомулку:

«Берут очень опасался Бермана, полагая, что тот во время следствия или процесса может сказать о нем что-нибудь весьма компрометирующее. Так, будто бы Берия в свое время замышлял заговор против Сталина и якобы Берут был втянут в это дело. Я не совсем уверен в этом, но мне это дело именно так излагали. Как бы там ни было, Берут очень оберегал Бермана, а одновременно и меня, ибо я должен был первым предстать перед судом. Так был составлен сценарий... Берут затягивал дело как только мог, прибегая даже к отправке в Москву ложных сведений. Например, он уверял, что я смертельно болен... Берут тянул так долго, как только мог, и в конце концов спасла положение смерть Сталина» (там же).

Все это — и чешские допросы и варшавские «сценарии» — поступало к Берия, ибо допрашивали арестованных ставленников Берия другие его ставленники. Тут Сталин против своей воли попал в заколдованный круг. А что знал Берия, знал и Маленков, прочнейшим образом связавший с ним свою судьбу. Сталин не без тревоги наблюдал за их столь тесным сближением.

Хрущев и Аллилуева — единодушны в подчеркивании спайки между Берия и Маленковым. Когда они демонстративно уединялись на каком-нибудь очередном банкете от остальных членов Политбюро, Сталин кивал в их сторону и говорил, согласно Хрущеву: два плута, два неразлучных мошенника!

Каждый из них знал, что если Сталин убьет одного, то обязательно убьет и другого. И спайка их была лучшим способом застраховать свою жизнь от Сталина. Эта спайка спасла жизнь и старым членам Политбюро. В этом они и убедились на последнем сталинском пленуме.

Тут мы подошли к самой загадочной проблеме: Сталин дал отвод, по крайней мере шести членам старого Политбюро, так почему же важнейшие из них (Молотов, Егоршилов, Микоян, Каганович) были все-таки избраны в члены нового Политбюро (Президиума)? Сталин дал им отвод перед пленумом ЦК, состоявшим из 236 членов и кандидатов. Из них только 20—25 человек знали Сталина по-настоящему, а для остальных он был непогрешимым богом. Почему же эти остальные не согласились с отводом Сталина?

Установленная процедура выборов была такова: состав ЦК избирается по бюллетеням тайного голосования, их проверяет избранная съездом счетная комиссия, протоколирует их и результаты докладывает съезду, бюллетени не уничтожают, а передают на хранение вместе с протоколами съезда в секретный архив ЦК. Исполнительные органы ЦК: Политбюро, Секретариат, генеральный секретарь и председатель Комитета партийного контроля при ЦК.— избираются открытым голосованием, если нет требования пленума провести эти выборы тайным голосованием.

Вот во время этого открытого или тайного голосования пленум ЦК дезавуирует Сталина и демонстративно выбирает отведенных им людей в состав Президиума (Политбюро).

Что Сталин их отводил, известно из доклада ЦК на XX съезде, но что они все-таки были избраны, мы узнали из официального сообщения о пленуме ЦК («Правда», 17.10.52). Это было первое историческое поражение Сталина в его партии. Как это могло случиться? Как Сталин реагировал?

Сталин не сдался. Он решил, выражаясь по-шахматному, ходом коня сразу убить с Доски «старую гвардию» и таким образом выправить свое положение. Он обра-

тился к Президиуму: поскольку Президиум ЦК очень громоздок (25 членов и 11 кандидатов), надо выбрать из его среды маленький орган для оперативной работы преимущественно из молодых, энергичных членов Президиума. Таким органом должно было быть Бюро Президиума, вообще уставом не предусмотренное.

Цель Сталина ясна — обойти Ворошилова, Молотова, Кагановича и Микояна. Но и это ему удается только частично: избирается Бюро из 9 человек, в котором старые члены Политбюро составляют большинство: Маленков, Берия, Хрущев, Булганин, Ворошилов, Каганович против двух «молодых» — Первухина и Сабурова — и самого Сталина (см.: Kh r u s h c h e v. Remembers, vol. I, p. 299). Молотов и Микоян остались вне Бюро. Бюро и в этом составе, по Хрущеву, фактически не функционировало, а все дела решала пятерка: Сталин, Маленков, Берия, Хрущев, Булганин. Таким образом, Сталин все-таки исключил Ворошилова и Кагановича.

Как же могло случиться, что Сталину не удалось легально избавиться от нежелательных лиц? Как мог пленум ЦК не пойти за своим «отцом и учителем»? Неужели члены пленума ЦК не знали, что Сталин физически уничтожил 70 процентов состава пленума ЦК 1934 года за сопротивление предложению судить Бухарина и Рыкова? Это они, конечно, знали. Но они знали и более важную вещь: ко времени съезда власть была уже не у Сталина, а у аппарата во главе с Маленковым и Берия. Теперь не Сталин контролировал аппарат, а аппарат контролировал его самого. Сталин был бог, пока партийно-полицейский аппарат был в его руках, а теперь члены ЦК видели, что бог де-факто низвергнут.

Исчерпав все другие средства, Сталин наконец решил пойти ва-банк. Произошло событие, точно зафиксированное в доступных нам документах, но оставшееся совершенно незамеченным в литературе о Сталине. Сталин подал тому же пленуму ЦК заявление об освобождении его от должности генерального секретаря ЦК, во-первых, будучи убежден, что оно не будет принято, а во-вторых, чтобы проверить отношение к этому своих ближайших соратников и учеников.

Но произошло невероятное: пленум принял отставку Сталина!

Это было второе историческое поражение Сталина.

О том, что Сталин подал такое заявление, мы знаем из двух друг от друга не зависимых источников: от Светланы Аллилуевой и от бывшего военно-морского министра СССР адмирала Н. Г. Кузнецова.

В книге «Двадцать писем к другу» Аллилуева пишет: «Наверное, в связи с болезнью он (Сталин.— А. А.) дважды после XIX съезда (октябрь 1952 г.) заявлял в ЦК о своем желании уйти в отставку. Этот факт хорошо известен составу ЦК, избранному на XIX съезде» (стр. 191).

Во второй своей книге «Только один год» она пишет на ту же тему: «По словам его бывшего переводчика В. Н. Павлова, избранного на XIX съезде в ЦК, отец в конце 1952 года дважды просил новый состав ЦК об отставке. Все хором ответили, что это невозможно... Ждал ли он иных ответов от этого стройного хора? Или подозревал кого-нибудь, кто выразит согласие его заместить?.. Да и хотел ли он в самом деле отставку?» (стр. 340).

Мы дальше увидим, что Аллилуева ошибается, думая, что его отставка не была принята.

Об этом заявлении Сталина пишет и адмирал Кузнецов, добавляя, что ЦК принял его отставку только частично, но явно путая, в чем выразилось это «частично». Вот его слова:

«Официальную просьбу о частичном его (Сталина.— А. А.) освобождении я услышал позднее, на Пленуме ЦК КПСС, после XIX съезда партии. Тогда Сталин был освобожден от поста Министра обороны, но главные должности в ЦК партии и Совете Министров все же решил оставить за собой» (см.: «Нева», 1965, № 5, стр. 161).

В одном Кузнецов ошибается, и даже грубо, ибо известно, что Сталин ушел с поста министра Вооруженных сил СССР еще в 1947 году, передав этот пост Булганину.

Как же было с отставкой? Мимо цензуры проскочило два документа, из которых явствует, что «частичное освобождение» Сталина выразилось в принятии его отставки с поста генсека с сохранением за ним должности одного из секретарей ЦК и председателя Совета министров.

Еще при первом послесталинском «коллективном руководстве» вышел Энциклопедический словарь, где в биографии Сталина прямо и недвусмысленно написано сле-

дующее: «После XI съезда партии, 3 апреля 1922 пленум Центрального Комитета партии по предложению В. И. Ленина избрал И. В. Сталина генеральным секретарем ЦК партии. На этом посту И. В. Сталин работал до октября 1952, а затем до конца своей жизни являлся секретарем ЦК» (разрядка моя.— А. А.) (Энциклопедический словарь в 3 томах. М. 1955, т. III, стр. 310).

То же повторено в справочном аппарате Полного собрания сочинений Ленина, вышедшем при втором, брежневском «коллективном руководстве». Там сказано: «Сталин... С 1922 по 1952 год — генеральный секретарь ЦК партии, затем секретарь ЦК КПСС» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 651).

Никакой случайной обмолвки тут нет. Эти документы не оставляют сомнения, что Сталин после октябрьского пленума ЦК 1952 года перестал быть генеральным секретарем, а был лишь одним из десяти его секретарей.

Кто же занял его место? Об этом нет никаких указаний ни в мемуарах современников, ни в официальных документах партии, однако секрета никакого не было — место Сталина в Секретариате ЦК занял, конечно, Маленков. Только теперь он назывался не генеральный секретарь, а первый секретарь ЦК. Власть Сталина перешла к его ученикам теперь и юридически.

Конечно, Сталин остался лидером партии, при перечислении членов Президиума и Секретариата ЦК его имя названо первым, вне алфавита. Но теперь он такой первый, который всецело зависит от вторых. Сталин не был бы самим собою, если примирился бы с этим. Следующий кризис он спровоцирует, стараясь вернуть себе прежнюю неограниченную власть.

РАЗГРОМ «ВНУТРЕННЕГО КАБИНЕТА»

Анализ последующих событий показывает, что новый министр госбезопасности С. Д. Игнатьев играл двойную роль: прилежно выполнял приказания Сталина и аккуратно сообщал их тем, против кого они были направлены, — Маленкову, Берия, Хрущеву. Это было не предательством, а своего рода самострахованием Игнатьева. Он знал, что никто из министров госбезопасности, уничтожавших людей по приказу Сталина, своей смертью не умер. После выполнения ими задания Сталин их также ликвидировал. Так погибли Менжинский, Ягода, Ежов. Так сидит теперь Абакумов, на очереди стоит Берия, а после Берия Сталин ликвидирует и его, Игнатьева.

О двойной игре Игнатьева, например, в «деле врачей» сообщил XX съезду Хрущев. «На этом съезде, — сказал Хрущев, — присутствует в качестве делегата бывший министр государственной безопасности товарищ Игнатьев. Сталин ему резко заявил: „Если ты не добьешься признания врачей, мы тебя укоротим на голову!“» (Н. С. Хрущев, «Доклад на закрытом заседании XX съезда КПСС», стр. 44).

Зная, что Сталин при всех условиях «укоротит его на голову», Игнатьев и стал вести двойную политику. Иначе его не было бы на съезде, которым руководило старое Политбюро во главе с Хрущевым, Булганиным, Маленковым. Он, собственно, оказался и единственным уцелевшим руководящим чекистом из сталинского окружения: его заместителя Рюмина расстреляли, расстреляли его предшественника министра госбезопасности Абакумова и всех его помощников, расстреляли предшественника Абакумова министра госбезопасности Меркулова и всех его помощников, расстреляли Берия и всех его помощников, ликвидировали министров внутренних дел и госбезопасности Круглова и Серова и всех их помощников, а вот Игнатьев остался жив (в 1974 году к своему семидесятилетию он даже получил орден).

Когда после смерти Сталина Берия объединил министерства госбезопасности и внутренних дел в одно МВД СССР и сам возглавил его, то Игнатьев получил лишь повышение — его сделали секретарем ЦК КПСС по госбезопасности!

Столь удивительной способностью самосохранения, умением приспособляться к обстановке и обходить подводные рифы, да еще играть с таким огнем, как Сталин, мог обладать лишь исключительно талантливый партизанапартчик. Им и оказался Игнатьев. Более четверти века он работал внутри партаппарата на всех уровнях: в области (Башкирия), в республиках (Узбекистан и Белоруссия), в центре (ЦК КПСС). Он был более предан аппарату, чем лицам, даже таким, как Сталин. Он был не оппортунистом, а фанатиком аппарата. В этом, вероятно, и секрет его спасения.

Естественно, что и в Министерстве госбезопасности он ощущал себя не профессиональным чекистом, а резидентом партаппарата, его посланником и исполнителем его

воли. Если интересы тайной полиции приходили в столкновение с интересами партаппарата, то люди типа Игнатъева становились на сторону партии, а партию олицетворял собою партаппарат. Однако личная диктатура Сталина требовала, чтобы не партия контролировала полицию, а, наоборот, полиция контролировала партию. И теперь, когда Сталин задумал новую чистку и против партии и против полиции, он невольно спровоцировал единение старых полицейских кадров со старыми партаппаратчиками, в результате чего ему и подсунали министром безопасности Игнатъева. Сталин принял нового главу полиции в уверенности, что он его перекует по своему образу и подобию. И ошибся. Игнатъев оказался истинным сталинцем: двурушником. В силу этого Игнатъев был идеальным орудием на идеальном месте для организации заговора против Сталина.

Теперь наше изложение вступает в область, где наряду с официальными данными важную роль играют и доказательства косвенные.

По Хрущеву (см.: K h g u s h c h e v. Remembers, vol. I, p. 305), «врачи-заговорщики» были под арестом еще со времени XIX съезда (октябрь 1952); «сценарий» по делу Гомулки тоже уже был известен. В ноябре того же года судили ставленников Берия в Чехословакии (процесс Сланского); интенсивно шли допросы бериевцев в Тбилиси.

Первые же сообщения Игнатъева о ходе допросов врачей показали, что замыслы Сталина направлены не только против Берия и его чекистов, но и против всего Политбюро.

Комментатор хрущевских воспоминаний Эдвард Кренкшоу совершенно правильно пишет, что «последняя чистка Сталина была направлена против его ближайших коллег, в первую очередь против Берия» (K h g u s h c h e v. Remembers, vol. I, p. 301). Все это и привело к решению Берия предложить Сталину, чтобы он подал в отставку со всех своих постов.

На путях к предъявлению, а тем более к осуществлению такого решения, однако, были очень серьезные препятствия, без преодоления которых Сталин был неуязвим. Это его «внутренний кабинет» во главе с генералом Поскребышевым, его личная охрана во главе с генералом Власиком, комендатура Кремля во главе с генералом Косынкиным. Берия отлично понимал, что Сталина можно превратить в политический труп только через физические группы этих преданных ему служаек.

Были еще две проблемы: во-первых, где предложить Сталину отставку — в Кремле, на его даче под Москвой или на его даче на Черноморском побережье (как это потом сделали с Хрущевым); во-вторых, кого из членов Президиума ЦК можно включить в «делегацию» к Сталину.

Известно было, кто не пойдет к Сталину с таким требованием: Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян, — не пойдут из-за своих бывших личных связей или из-за трусости. Новые члены Президиума вообще отпадают — велика была опасность, что кто-нибудь из них выдаст весь план. Остаются те, кого Хрущев называет правительствующим внутренним кругом нового Бюро, куда, кроме Сталина, входили только члены негласной четверки: Берия, Маленков, Хрущев и Булганин плюс ставленник этой четверки — Игнатъев. По проищу судьбы только их Сталин и пускал к себе.

Данные Хрущева подтверждаются и воспоминаниями Аллилуевой: «В самое последнее время обычными лицами (у Сталина на даче. — А. А.) были: Берия, Маленков, Булганин, Микоян. Появлялся и Хрущев. С 1949 года, после ареста его жены, Молотов был фактически не у дел, и даже в дни болезни отца его не позвали» («Двадцать писем к другу», стр. 192).

Местом, наиболее безопасным для предъявления Сталину требования об отставке, конечно, было далекое от Москвы Черноморское побережье Грузии. Однако после создания «мингрельского дела» Сталин побаивался своих земляков и перестал ездить туда на отдых. Аллилуева сообщает: «Последнее время он жил особенно уединенно; поездка на юг осенью 1951 года была последней» (там же, стр. 190). Так отпал юг. Оставались Кремль и дача под Москвой. Кремль импонировал с легальной стороны — как резиденция государства и партии. Все легальные акты должны исходить отсюда. Но если Сталин отказался бы принять требование об отставке, то одним нажатием кнопки он поднял бы тревогу не только в Кремле, но и в Москве да и по всей стране: коммуникация здесь была идеальная. Поэтому отпадал и Кремль. Оставалось Кунцево, дача Сталина под Москвой.

Кунцево тоже было опасно, но только до тех пор, пока безотказно действовал «внутренний кабинет» Сталина. Лишите Сталина этого «кабинета», и тогда он в ваших

руках — таков и был план Берия. Надо было убрать от Сталина его личного врача, начальника его личной охраны, начальника его личного кабинета, его представителя в Кремле — коменданта Кремля. Их можно было убрать только руками самого Сталина. Здесь Берия был в своей стихии.

У нас нет никаких прямых свидетельств, но нет и сомнений, что именно Берия организовал пропажу секретных документов Сталина из бюро Поскребышева, о которой рассказывает Хрущев (см.: K h g u s h c h e v. Remembers, vol. I, pp. 292—293). Вероятно, Берия сумел утащить у Поскребышева что-то более секретное, чем экономические рукописи Сталина, о которых говорит Хрущев. Иначе не было бы понятно заявление Сталина: «Я уличил Поскребышева в утере секретного материала. Никто другой не мог этого сделать. Утечка секретных документов шла через Поскребышева. Он выдал секреты» (там же, стр. 292). Сталин немедленно снял Поскребышева, но расстрелять не успел.

Куда легче было направить гнев Сталина против генерала Власика. Как профессиональный чекист он был целиком в руках Берия, благодаря которому и удержался у Сталина столько лет. Но его, вероятно, никак нельзя было использовать против Сталина, зато оказалось возможным спровоцировать Сталина на его арест, что Берия и сделал. Аллилуева пишет:

«Надо сказать, что в это самое последнее время даже давнишние приближенные отца были в опале: неизменный Власик сел в тюрьму зимой 1952 года, и тогда же был отстранен его личный секретарь Поскребышев, служивший ему около 20 лет» («Двадцать писем к другу», стр. 192).

Зимой 1952 года — это значит в декабре 1952 года, так как в октябре 1952 года Поскребышев выступал на XIX съезде партии и там был избран членом ЦК. Добавим тут же: освобожденные Поскребышевым, Власиком и их помощниками места заняли люди, выдвинутые туда через Игнатьева «внутренним кругом» — четверкой.

Есть серьезные основания предполагать, что личный врач Сталина Виноградов и начальник Лечебно-санитарного управления Кремля Егоров тоже были арестованы по плану Берия. По тому же плану, вероятно, был снят и министр здравоохранения СССР Смирнов, имевший доступ к Сталину (на его место назначили никому не известного в партии, но хорошо известного Берия врача Третьякова).

Один из деятелей Коминтерна, Франц Боркенау, по свежим следам ареста кремлевских врачей высказал догадку: арест личных врачей Сталина означает заговор против него его соратников во главе с Маленковым — они хотят приставить к Сталину своих врачей, чтобы решить его судьбу (см.: «Rheinischer Merkur», 23.01.53).

Сегодня уже определенно можно утверждать, что врачи из группы академика Виноградова (лейб-врача Сталина) были арестованы по доносу сексотки Берия, врача Тимашук, но Сталин обратил эти аресты против самого Берия, объявив врачей «давнишними английскими шпионами» (как и Берия!) по доносу маршала Конева (см.: K h g u s h c h e v. Remembers, vol. II, p. 305).

О реакции Сталина на арест врачей рассказывала его экономка Валентина Васильевна. Так, сразу же после ареста личных врачей Сталина о них заговорили у Сталина за обеденным столом в присутствии Берия, Маленкова, Хрущева, Булганина. Аллилуева пишет:

«„Дело врачей“ происходило в последнюю зиму его жизни. Валентина Васильевна рассказывала мне позже, что отец был очень огорчен оборотом событий. Она слышала, как это обсуждалось за столом во время обеда. Она подавала на стол, как всегда. Отец говорил, что не верит в их „нечестность“, что этого не может быть — ведь „доказательством“ служили доносы доктора Тимашук, — все присутствующие, как обычно в таких случаях, молчали...» («Двадцать писем к другу», стр. 192).

Аллилуева думает, что Валентина Васильевна приставна и защищает ее отца, но добавляет: «И все-таки надо слушать, что она рассказывает, и извлекать из этих рассказов какие-то здоровые крупницы, так как она была в доме отца последние 18 лет, а я у него бывала редко» (там же).

Допускал ли сам Сталин заговор против себя со стороны Берия? Не только допускал, но и очень опасался его как раз после войны. Вот рассказ Хрущева: «После войны Берия стал членом Политбюро, и Сталин начал тревожиться о его растущем влиянии. Более того, Сталин начал бояться его. Я тогда не знал, какие причины для этого, но позднее, когда была раскрыта вся машина Берия по уничтожению людей, все стало ясно. Практические средства по достижению целей Сталина находились в руках Бе-

рия. Сталин осознал, что если Берия способен уничтожить любого человека, на которого он укажет ему пальцем, то он, Берия, может уничтожить и любого другого по собственному выбору. Сталин боялся, что он окажется таким первым лицом, которого выберет сам Берия» (K h g u s h c h e v. Remembers, vol. I, p. 335).

Все известные нам из истории тираны были мнительны, трусливы, вечно воображали себя в опасности, сами разрабатывали сложнейшие правила обеспечения своей личной безопасности, выкидывали разные трюки, чтобы проверить преданность окружающих. То, что люди называют манией преследования, на самом деле было их вернейшим превентивным оружием против возможных заговорщиков. Сталин превзошел и в этом отношении всех своих предшественников.

Прежде всего он лишил потенциальных заговорщиков их излюбленного времени расправы с тиранами — ночи. Сталин был единственный в истории тиран, который ночью не спал, а работал или веселился в компании соратников у себя на даче. Ложился спать в четыре — пять часов утра, а вставал в одиннадцать — двенадцать часов дня. Вся гигантская партийная и государственная машина страны тоже приспособлялась к этому режиму работы.

Сталин был и единственным правителем, не жившим в отведенной ему официальной резиденции — в Кремле. Вся страна думала, что Сталин живет в той трехкомнатной квартире в здании бывшего сената в Кремле, которую описал Анри Барбюс, а на самом деле он жил в изолированной от внешнего мира, запрятанной в лесу, обнесенной высоким забором крепости под Москвой, которая называлась Ближней дачей в Кунцеве.

Да, ни один тиран в истории так надежно не охранялся, как Сталин при Поскребышеве и Власике, и ни одна свита не была так предана своему владыке, как сталинская (поэтому-то у него малограмотные повара делались генералами, а личные охранники в конце концов становились министрами — Абакумов, Меркулов, Круглов).

Порядок посещения Сталина не только министрами, но и членами Политбюро был просто оскорбительным — каждый, кто шел к Сталину, независимо от чина и ранга, должен был подвергаться обыску его личной охраной. Насколько строгой была личная охрана Сталина, показывает, например, случай, бывший с Молотовым. Однажды, возвращаясь из важной поездки в Лондон, Молотов прямо с аэродрома направился с докладом к Сталину в Кремль. Охрана нашла в кармане Молотова пистолет и не очень вежливо вытаскала его оттуда. Молотов пожаловался Сталину, но Сталин поддержал свою охрану (см. V i c t o r A l e x a n d r o v. The Kremlin. London. 1963, p. 322). Таким же строгим был порядок охраны и дачи-крепости Сталина...

Хрущев сообщает, что Берия участвовал в подборе obsługi и охраны Сталина. Было время, когда Берия окружил Сталина только грузинами. Сталин обратил на это внимание и обвинил Берия, что он верит только грузинам, тогда как русские ему, Сталину, не менее преданы. Берия пришлось заменить охрану. Однако влияние Берия и на новую охрану Сталина было велико. Хрущев замечает: «Берия и после изгнания грузин продолжал контролировать и дальше свиту Сталина. Берия так долго работал в Чека, что знал всех чекистов. Они все искали расположения Берия, и Берия было легко их использовать для своих целей. Поэтому Сталин не мог верить даже своей русской свите, включая и лейб-охрану» (K h g u s h c h e v. Remembers, vol. I, p. 336).

Однако пока Поскребышев стоял во главе «внутреннего кабинета», а Власик во главе охраны, Берия не так уж легко было бы использовать охрану Сталина «для своих целей». Но, поддавшись провокации, Сталин разгромил весь свой «внутренний кабинет». Это был с его стороны самоубийственный акт.

Легко представить, какое важное значение придавала четверка тому, чтобы место Поскребышева занял человек, способный изолировать Сталина от внешнего мира и информации и сам не знающий, почему это надо делать (у заговорщиков было много таких невольных исполнителей). Временю должностю Поскребышева занял старший после него в «кабинете» — Владимир Наумович Чернуха, сибиряк, член партии с 1918 года, активный участник гражданской войны, вместе с которым Поскребышев и начал свою большевистскую карьеру в Уфе и которого он притащил в «Секретариат т. Сталина» в 1925 году. Чернуха был хотя и лояльным, но ограниченным аппаратчиком из породы канцелярских крыс. Он явно не подходил к роли нового Поскребышева, а других около Сталина не было. Вероятно, поэтому Сталин решил искать себе нового помощника вне аппарата ЦК. От нового шефа «кабинета» Сталина требовались, кроме

волевых качеств и преданности, всестороннее знание функционирования партийно-чекистской машины, военного порядка и основательная теоретическая подготовка. И такой человек очень скоро нашелся: первый секретарь Ленинградского горкома КПСС Владимир Никифорович Малин. Это был кандидат с самыми высокими связями — его по прежней работе знали по крайней мере следующие члены Президиума ЦК КПСС: Андрианов, Пономаренко, Игнатьев, Маленков и Берия.

Малин был из числа тех маленковцев, которые пришли в аппарат партии в результате «великой чистки». К началу войны Маленков его сделал секретарем ЦК Белоруссии, во время войны он был назначен сначала членом Военного совета армии в ранге генерала, потом заместителем начальника Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного главнокомандования (начальником штаба был Пономаренко). Весьма вероятно, что в этой должности Малин соприкасался и со Сталиным во время очередных докладов о партизанских делах, но зато несомненно, что по роду своей службы Малин имел тесный контакт с Берия. После войны он вновь был назначен вместе с Пономаренко и будущим министром госбезопасности Игнатьевым одним из секретарей ЦК Белоруссии. Когда в 1948 году Пономаренко был назначен секретарем ЦК КПСС, Малин попросился на учебу в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК. Он окончил ее в 1949 году досрочно, получив ученую степень кандидата наук. В том же году, когда начался разгром ждановцев, Маленков отправил в Ленинград своих самых проверенных людей: Андрианова — первым секретарем Ленинградского обкома и Малина — первым секретарем Ленинградского горкома. Вот с этого поста в конце 1952 года Малин перебрался в кресло Поскребышева, разумеется, без его репутации грозного временщика, но достаточно властный, чтобы сыграть предназначенную ему роль — аккуратно докладывать Маленкову каждое распоряжение и движение Сталина, и достаточно умный, чтобы не претендовать на самостоятельность в данных условиях.

Как только Сталин опубликовал знаменитую статью от 13 января 1953 года об аресте кремлевских врачей, всякие гадания о замыслах диктатора кончились. Теперь все ждали — от членов Политбюро и до рядовых советских граждан — «худшего варианта»: чистки «бурной, всесокрушающей, беспощадной», которая, как и в 1937 году, должна унести в тюрьмы, лагеря и на тот свет миллионы людей, чтобы Сталин чувствовал себя еще более безопасным на своей даче-крепости. Таково именно было впечатление Заградина-Хрущева после посещения дачи-крепости Сталина в Кунцево. Если этого не произошло, если сотни тысяч людей остались в живых, если миллионы были спасены от отправки в концлагеря, то это заслуга самого ненавистного после Сталина человека в СССР — Берия...

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СТАЛИНА

В роковой для себя день, 13 января 1953 года Сталин опубликовал «Хронику ТАСС» — о раскрытии органами государственной безопасности «террористической группы врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Эта публикация как раз и сократила жизнь самому Сталину.

Чтобы понять, как и почему это случилось, мы должны спросить себя: зачем Сталину нужно было «дело врачей»? На это с предельной ясностью и не свойственной ему оплошностью ответил сам Сталин в опубликованной того же 13-го числа статье «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». Статья не подписана, но по специфическим особенностям языка и стиля, по манере аргументации ясно, что автор ее сам Сталин.

В «Хронике...» говорится, что «врачи-вредители» работали по заданию двух иностранных разведок: американской (профессора-врачи Вовси М. С., Коган Б. Б., Фельдман А. И., Гринштейн А. М., Этингер Я. Г. и др.) и английской (академик Виноградов В. Н., профессора-врачи Коган М. Б., Егоров П. И.). Все арестованные, кроме Виноградова и Егорова, — евреи. Все они врачи кремлевской поликлиники и как таковые — лейб-врачи членов Политбюро, правительства и высших военных чинов. Все евреи первой группы были «завербованы» в американскую разведку через международную еврейскую буржуазно-националистическую организацию «Джойнт», выдающую себя за благотворительную организацию, а члены группы Виноградова «оказались давними агентами английской разведки».

«Хроника...» сообщила о признании врачей, что они умертвили «путем вредительского лечения» секретарей ЦК Жданова и Щербакова, хотели убить маршалов Василевского, Говорова и Конева, генерала армии Штеменко, адмирала Левченко. Профессор Вовси якобы заявил следствию, что получил директиву от сионистов из «Джойнта» «об истреблении руководящих кадров СССР» (заметим, что важнейших маршалов — Жукова и Булганина, а также важнейших деятелей партии — Маленкова, Берия, Хрущева — нет в числе намеченных жертв).

Если бы Сталин ограничился этой «Хроникой...», то можно было бы подумать, что это лишь очередной взрыв антисемитизма и «дело врачей» просто вариант «дела сионистов». Но статьей в «Правде» (от того же 13 января) Сталин преждевременно (а потому и неосторожно) раскрыл карты: дело лейб-врачей членов Политбюро выглядело как дело самого Политбюро.

Всегда богатая криминальная фантазия Сталина в «деле врачей» оказалась удивительно куцей: он просто вытащил из архива дело Бухарина, Рыкова, Ягоды и судившейся вместе с ними группы кремлевских «врачей-вредителей» (профессора Плетнева, докторов медицины Левина, Максимова и Казакова), вместо старых имен поставил новые, модернизировал обвинение и подсунил его Политбюро. Более того, Сталин снова пустил в ход свою политическую философию того времени о классах и классовой борьбе при социализме, о «правых оппортунистах», о «врагах народа», которые тем больше размножаются, чем больше социализм имеет успехов. Вытащил и впервые тогда примененный прием признания врачей в убийстве (Плетнев, Левин, Максимов и Казаков тоже сознались, что по заданию агентов иностранных разведок, бывших членов Политбюро Рыкова, Бухарина, главы НКВД Ягоды они убили путем вредительского лечения члена Политбюро Куйбышева, члена ЦК Менжинского и «пролетарского» писателя Максима Горького).

Сталин настолько ослеп в своей злобе против Политбюро или настолько одряхлел умственно, что уже не видел, как шьет новое черное дело старыми белыми нитками: «...некоторые люди делают вывод, что теперь уже снята опасность вредительства, диверсий, шпионажа... Но так думать и рассуждать могут только правые оппортунисты, люди, стоящие на антимарксистской точке зрения «затухания» классовой борьбы. Они не понимают или не могут понять, что наши успехи ведут не к затуханию, а к обострению борьбы, что чем успешнее будет наше продвижение вперед, тем острее будет борьба врагов народа» («Правда», 13.01.53).

Кто ж эти анонимные «правые оппортунисты»? Конечно, не колхозники и даже не «врачи-вредители», а члены Советского правительства и руководители органов госбезопасности, которые, как и «правые оппортунисты» Бухарин, Рыков и Ягода, легко могут быть подведены под чекистские пули.

Впрочем, сам Сталин прямо указывает адрес искомых «врагов народа»:

1) «Некоторые наши советские органы и их руководители потеряли бдительность, заразились ротозейством»; 2) «Органы государственной безопасности не вскрыли вовремя вредительской, террористической организации среди врачей». Сталин не думает, что бесталанно повторяет прошлый трюк, сажая на скамью подсудимых врачей Кремля. Он считает их «вредительство» почти закономерностью: «...история уже знает примеры, когда под маской врачей действовали подлые убийцы и изменники Родины вроде «врачей» Левина, Плетнева, которые по заданию врагов Советского Союза умертвили путем умышленно неправильного лечения великого русского писателя А. М. Горького, выдающихся деятелей Советского государства В. В. Куйбышева и В. Р. Менжинского».

Левин был тогда личным врачом Сталина, как теперь Виноградов. Оба хотели убить Сталина по заданию «правых оппортунистов» и «врагов народа», находившихся на службе у иностранных разведок. Сталин остался жив лишь благодаря собственной бдительности, а органы НКВД ни тогда (Ягода), ни сейчас (Берия) не вскрыли вовремя «вредительской, террористической организации среди врачей».

Почему?

Ягода — потому что сам оказался и «правым оппортунистом» и «врагом народа», а почему не вскрыл Берия — Сталин хочет выяснить теперь.

Сталин заканчивает статью грозным предупреждением: «Советский народ с гневом и возмущением клеймит преступную банду убийц и их иностранных хозяев. Презренных наймитов, продавшихся за доллары и стерлинги, он раздавит, как омерзительную гадюку. Что касается вдохновителей этих наймитов-убийц, то они могут быть уверены,

что возмездие не забудет о них и найдет дорогу к ним, чтобы сказать им свое веское слово» («Правда», 13.01.53).

Это язык времен ежовщины, когда Сталин «нашел дорогу» к «вдохновителям» Левина и Плетнева, когда расстрелял половину Политбюро и 70 процентов всех членов ЦК. Берия и Маленков, Хрущев и Булганин, не говоря уж о Молотове и Ворошилове, о Микояне, Кагановиче и Андрееве, отлично знали и этот язык и свою обреченность, если Сталин останется у власти еще несколько месяцев. Об этом говорилось и на XX съезде КПСС:

«Вспомним «дело врачей-вредителей». На самом деле не было никакого «дела», кроме заявления женщины-врача Тимашук, на которую, по всей вероятности, кто-то повлиял или же просто приказал (кстати, она была неофициальным сотрудником органов государственной безопасности) написать Сталину письмо... Вскоре после ареста врачей мы — члены Политбюро — получили протоколы, в которых врачи сознавались в своей вине... Дело было поставлено таким образом, что никто не мог проверить тех фактов, на которых основано следствие... Когда мы пересмотрели это «дело» после смерти Сталина, мы пришли к заключению, что оно было сфабриковано от начала до конца. Это позорное «дело» было создано Сталиным. У него не хватило времени, однако, довести его до конца (так, как он себе представлял этот конец)» (Н. С. Хрущев, «Доклад на закрытом заседании XX съезда КПСС», стр. 44).

Каким же представлял себе этот конец Сталин?

На этот вопрос дан ясный и категорический ответ: «Сталин, очевидно, намеревался покончить со всеми старыми членами Политбюро», было намерение «в будущем ликвидировать старых членов Политбюро» (там же, стр. 58).

С опозданием в тридцать лет Политбюро вытащило из секретного архива «Завещание» Ленина, где предлагалось снять Сталина с поста генсека, так как он способен злоупотреблять властью. «Эта отрицательная черта Сталина... в последние годы его жизни приобрела абсолютно нетерпимый характер», — констатирует Политбюро (там же, стр. 8).

Вот когда члены Политбюро пришли к убеждению, что Сталин хочет их ликвидировать и что характер его стал «абсолютно нетерпимым», они решили предъявить Сталину ультиматум не только об освобождении врачей, но и об уходе со всех постов. Сделать это могли лишь те, кто имел еще реальную власть, — Берия, Маленков, Хрущев и Булганин, опираясь на армию (Жуков, Захаров, Москаленко, Соколовский, Еременко) и полицию (Игнатьев). Спровоцированный ими же разгром «внутреннего кабинета» дал возможность предъявления этого ультиматума. Главой заговорщиков несомненно был Берия.

Вернемся ненадолго ко взаимоотношениям Сталина и Берия. Мы уже приводили рассказ Хрущева, как Сталин боялся Берия и даже опасался заговора с его стороны. Мы видели также, что «мингрельское дело» было направлено против Берия. Наконец, и «дело врачей» было прежде всего «делом Берия». В этих условиях кажется странным, почему Сталин не сделал с ним того же, что со старыми членами Политбюро — Молотовым, Ворошиловым и другими, которым он просто запретил посещать его дом. Ведь Берия бывал у Сталина в любое время дня и ночи, когда хотел. Берия бывал в семье Сталина еще при его покойной жене — Надежде Аллилуевой. Именно она первая предупредила мужа, что Берия негодяй. Светлана Аллилуева пишет:

«Отвращение к этому человеку и смутный страх перед ним были единодушными у нас в кругу близких. Мама еще давно (году в 29-м), как говорил мне сам отец, „устраивала сцены, требуя, чтобы ноги этого человека не было у нас в доме“. Отец говорил мне это позже, когда я была уже взрослой, и пояснял: „Я спрашивал ее — в чем дело? Приведи факты! Ты меня не убеждаешь, я не вижу фактов. А она только кричала: я не знаю, какие тебе факты, я же вижу, что он негодяй. Я не сяду с ним за один стол. Ну, — говорил я ей тогда, — убирайся вон! Это мой товарищ, он хороший чекист, он помог нам в Грузии предусмотреть восстание мингрельцев, я ему верю. Факты, факты мне надо!“» («Двадцать писем к другу», стр. 18).

Вот эти факты и заставили Сталина изменить свое мнение о Берия. Аллилуева запомнила, «как была поражена словами отца», когда однажды осталась ночевать у жены Берия, а «наутро вдруг позвонил разъяренный отец и, обругав меня нецензурными словами, прокричал: „Сейчас же езжай домой! Я Берия не доверяю!“» («Только один год», стр. 327).

Все это Берия уже видел и чувствовал. «Берия отлично понимал, что его судьба в постоянной опасности» (там же, стр. 325).

Однако и изменив свое мнение о Берия, сразу избавиться от него Сталин не мог, а потому внешне ничем себя не выдавал. Сталин был не только прекрасным конспиратором, но и виртуозным артистом. Сначала войти в доверие избранной жертвы, а потом нанести ей внезапный ошеломляющий удар — таково было первое правило его криминального искусства как во внутренней, так и во внешней политике.

Сталин старается придумать что-нибудь оригинальное, чтобы замаскировать задуманный удар, но это ему явно не удается. Может быть, некоторой компенсацией его выдохшейся изобретательности служит «братанье» на участвовавших попойках в Кунцеве, где он подчеркнуто предоставляет Берия роль тамады. Ведь, по кавказским обычаям, пока Берия тамада, он может командовать и Сталиным, даже в его доме.

Сталин не предполагал ни того, что сам может обмануться, ни того, что это случится во время очередного, и последнего, его пира.

Сталин любил каждое свое преступление обосновывать идеологически: ссылкой на Ленина, если есть подходящая цитата, сочинением новой догмы, если такой цитаты нет. В основе этого идеологического обоснования должна была лежать концепция о классах и классовой борьбе. Но Ленин, как и Маркс, объяснял исторический процесс и поведение людей интересами классов и классовой борьбы только в обществе классовом, а социализм считался обществом бесклассовым (такovým в 1936 году объявил его и сам Сталин), и поэтому никакие общественно-политические явления в нем нельзя было обосновывать ссылками на классовую борьбу. Но тогда как же объяснить, что СССР кишмя кишит вредителями, диверсантами, убийцами, около 10 миллионов которых ежегодно сидят в концлагерях? В уже упомянутой статье от 13 января Сталин дал обезоруживающий своей простотой ответ: «В СССР эксплуататорские классы давно разбиты и ликвидированы, но еще сохранились... носители буржуазных взглядов и буржуазной морали — живые люди (выделено в оригинале. — А. А.), скрытые враги нашего народа». Вот они, эти «живые люди», объединившись в класс в бесклассовом обществе, ведут со Сталиным смертельную борьбу.

Эти тезисы Сталина лежат в основе идеологической кампании «Правды» весь январь и февраль.

18 января «Правда», дополнительно приводя сделанные Сталиным еще в ежовские времена высказывания о классах и «врагах народа», призывает в русских областях страны разоблачать этих «врагов народа», а в национальных республиках — «буржуазных националистов».

В разгаре кампании, 21 января, публикуется Указ Президиума Верховного Совета СССР: «За помощь, оказанную правительству в деле разоблачения врачей-вредителей, наградить врача Тимашук Лидию Федосеевну орденом Ленина». Это уже открытый призыв к местным сексотам тимашукам: давайте пишите побольше доносов — и тоже получите орден!

22 января «Правда» публикует доклад секретаря ЦК Михайлова к двадцать девятой годовщине смерти Ленина. Сталин знал, кому поручить доклад: Михайлов не только почти буквально повторил его статью от 13 января, но и добавил несколько острых высказываний Сталина времен ежовщины.

24 января «Правда» в связи с выборами в местные Советы настойчиво призывает народ к бдительности и сплоченности вокруг партии Ленина — Сталина.

25 января «Правда» подчеркнуто отмечает годовщину отравления Куйбышева «врачами-вредителями».

31 января «Правда» печатает передовую статью «Воспитывать трудящихся в духе высокой политической бдительности». Статья, ссылаясь на «прошедшие за последние годы судебные процессы над бандами шпионов и вредителей в Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Польше и других народно-демократических странах, разоблачение в СССР шайки подлых шпионов и убийц», призывает страну к решительному разоблачению «скрытых врагов нашего народа». Газета приводит примеры разоблачения «чуждых элементов» в руководящих органах министерств Украины и «космополитов», литовских и еврейских «буржуазных националистов» — в Литве.

6 февраля «Правда» публикует большую статью об арестах органами госбезопасности шпионов в разных районах СССР. Статья изобилует примерами кражи секретных документов (Поскребышев!), почему-то непременно попадающих в руки «врагов» и «изменников».

11 февраля Тимашук письмом в редакцию «Правды» благодарит за «многочислен-

ные письма и телеграммы» с поздравлениями в связи с разоблачением ею «врагов советского народа».

На основании доноса этой «патриотки своей Родины» Сталин и создал «дело врачей». Но Тимашук донесла лишь на одного врача — академика Виноградова. Как мы уже упомянули, этот донос Берия мог организовать для того, чтобы лишить Сталина добросовестного и лояльного личного врача. В планах о будущей болезни Сталина академик Виноградов был лишним, действительно вредным для Берия человеком именно из-за своей добросовестности и лояльности. Берия собирался приставить к Сталину своего врача, но это не удалось — Сталин не допускал к себе никаких врачей и перешел на медицинское «самообслуживание» из своей маленькой домашней аптечки. Берия, конечно, замыслил не это, но все же его устраивало и то, что Сталин оказался вне медицинского контроля.

В разгар бешеной кампании «Правды» против «убийц» происходят еще два убийства, выданные тогда за естественную смерть. Но теперь уже ясно, что одна смерть нужна была Сталину, а другая — Берия.

17 февраля газета «Известия» сообщила, что «безвременно» умер генерал Косынкин, руководитель комендатуры Кремля, ответственный за безопасность Сталина. Генерал был назначен на этот пост прямо из личной охраны Сталина. Человек относительно молодой, вполне здоровый, фанатично преданный Сталину и чувствовавший себя независимым от Берия, он недооценил возможностей Берия, а потому и умер «безвременно». Но убийство, нужное Сталину, было организовано весьма естественно, даже торжественно, чтобы все подумали — «человек умер на боевом посту». Речь идет о Льве Мехлисе.

В историческом становлении Сталина-тирана по части идеологии Мехлис был тем же, что Ежов и Берия по части полиции. Мехлис был единственным членом ЦК, который мог бы сказать: «Я проложил Сталину идеологическую дорогу к власти через все группы старой гвардии Ленина, я же его сделал и великим вождем партии и гениальным корифеем всех наук». Достаточно взять комплекты «Правды» 20-х и 30-х годов, чтобы увидеть, как ее редактор Мехлис преуспевал в достижении этой цели. Благодарный Сталин ответил взаимностью: бывшего слушателя Института красной профессуры Мехлиса сначала сделали заместителем главного редактора, потом и главным редактором «Правды», а после «великой чистки» Сталин ввел его в состав ЦК и его Оргбюро (коллегия, распределявшая высшие кадры партии и государства). Во время войны Сталин назначил его своим заместителем по наркомату обороны и начальником Главного политического управления Красной Армии в чине генерал-полковника (Хрущев, член Политбюро, был только генерал-лейтенантом). После войны Сталин сделал его министром государственного контроля и вновь членом ЦК (на XIX съезде). После «дела сионистов» и нового «дела врачей-вредителей» Сталин вспомнил известный «дефект» Мехлиса — он был евреем. Плоская логика антисемита ему и подсказала: если еврей, то сионист, а если сионист, то мог дать задание сионистским врачам (не только пациентом, но и покровителем которых он был) убить своего давнишнего соперника и преемника на посту начальника Главного политического управления Красной Армии, бывшего однокашника по ИКП — А. Щербакова. И вот пока «врачи-вредители» ожидали суда, Сталин послал Мехлиса в «важную командировку» в Саратов. Там без шума и без свидетелей его арестовали. Переведенный в больницу Лефортовской тюрьмы в Москве, он дал нужные Сталину показания и 13 февраля 1953 года умер (см.: Victor Alexandrov. The Kremlin, p. 325).

Мехлиса торжественно похоронили на Красной площади в присутствии многих членов Политбюро, маршалов, министров, но без Сталина. Вероятно, Сталин решил, что лицемерие тоже должно иметь меру. По крайней мере он отсутствовал не по болезни, так как 17 февраля принял посла Индии К. Менона и долго беседовал с ним. По словам К. Менона, Сталин, несмотря на свои семьдесят три года, выглядел совершенно здоровым человеком. Во время беседы Сталин рисовал на листках блокнота волков и высказал мысль, не только не относившуюся к дипломатическому разговору, но даже и не дипломатическую. Как бы комментируя собственные рисунки, он заметил, что крестьяне поступают мудро, уничтожая бешеных волков! Сталин, конечно, думал о «бешеных волках» из Политбюро (см.: K. Menon. The Flying Troika. London. 1963, p. 29).

Тем временем «Правда» продолжает кампанию по накаливанию политической и психологической атмосферы в стране. Статьи и корреспонденции «Правды» 8, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27 февраля посвящены «убийцам», «шпионам», «вредителям»,

«врагам народа» и «буржуазным националистам». Ни одна политическая передовая «Правды» не выходит без ссылки на «бдительность» и «врагов народа». По точным рецептам периода ежовщины «Правда» целеустремленно и систематически культивирует всеобщую шпиономию.

Поздно вечером 28 февраля выходит «Правда» на 1 марта, в которой напечатано постановление ЦК КПСС о женском празднике — дне 8 Марта,— но и там тоже говорится о «шпионах», «убийцах», «скрытых врагах советского народа»...

А со следующего дня происходит нечто странное и необъяснимое: «Правда» вдруг прекращает печатать всякие материалы о «врагах народа». Более того — «враги народа» совершенно не упоминаются даже в политических статьях и комментариях. В передовых статьях «Правды» от 2 марта («Расцвет социалистических наций») и от 3 марта («Важнейшее условие подъема пропаганды») нет ни слова о «буржуазных националистах», «врагах народа», «шпионах» и «убийцах»!

Кампания против «врагов народа» была отменена. Отменена, конечно, не в редакции «Правды», а наверху. Кто же ее отменил? Сталин? Нет, конечно, не Сталин. Ее отменили те, кто начиная с 1 марта 1953 года караулил смерть Сталина. Эти «караульщики» в лице четверки — Берия, Маленков, Хрущев и Булганин — совершили в ночь с 28 февраля на 1 марта 1953 года переворот, завуалированный ссылкой на болезнь Сталина, «временно» отошедшего от власти. Четверка немедленно распределила между собой власть в обход Президиума ЦК КПСС. Всем же остальным наследникам Сталина из Политбюро — старым, законным, но не участвовавшим в перевороте, — достались вторые роли. Четверка выпустила «Правительственное сообщение», которое заканчивалось так: «Центральный Комитет и Совет Министров Союза ССР, как и вся наша партия, весь наш советский народ, сознают все значение того факта, что тяжелая болезнь товарища Сталина повлечет за собой более или менее длительное неучастие его в руководящей деятельности. Центральный Комитет и Совет Министров в руководстве партией и страной со всей серьезностью учитывают все обстоятельства, связанные с временным уходом товарища Сталина от руководящей государственной и партийной деятельности» («Правда», 4.03.53).

Сталин тем временем умирал, умирал медленно, но верно, по всем правилам «врачебного лечения», которое он сам на себя накликал... Кстати, в первом «Правительственном сообщении» оказалась и другая ложь. В нем говорилось, что удар у Сталина — кровоизлияние в мозг — произошел в ночь на 2 марта, когда он находился в Москве в своей квартире, а на самом деле, как выяснилось позже, это случилось не в Москве, а в Кунцеве. Если все происходит естественно и совесть у учеников Сталина чиста, то зачем они скрывают действительное место его смерти? Зачем нужно от имени ЦК и Совета министров грубо обманывать собственную партию и народ, если не для того, чтобы создать себе алиби?

Первым, узнавшим от Хрущева, что Сталин умер не в Москве, был бывший губернатор Нью-Йорка, посол США в Москве во время войны Аверелл Гарриман. Ему же Хрущев рассказал, как четверка охраняла смерть Сталина. Вот что говорит об этом Гарриман:

«Так называемый заговор врачей, по которому несколько врачей обвинялись в заговоре с целью убийства некоторых руководящих коммунистов, был, очевидно, сострян Сталлиным, чтобы начать новую чистку. Некоторые иностранные наблюдатели России намекали, что люди из окружения Сталина, боясь потерять свою собственную жизнь в связи с новым массовым террором, сами убили старика. Я все время искал ответа на это. В моей недавней продолжительной беседе с Хрущевым Хрущев рассказал свою версию о смерти Сталина. Позднее по моей просьбе он разрешил мне опубликовать это.

Сталин, говорил мне Хрущев, стал в последние годы очень подозрительным, депрессивным и безжалостным. „Он никому не верил, и никто из нас ему тоже не верил. Он не давал нам делать работу, на которую сам давно не был способен. Нам было очень трудно. Однажды в субботу, ночью, он пригласил нас на обед к себе на дачу за городом. Сталин был в хорошем настроении. Это был веселый вечер, и мы хорошо провели время. Потом мы поехали домой. По воскресеньям он обычно звонил нам, чтобы обсуждать дела, но в то воскресенье он не звонил, что нас поразило. В понедельник он также не вернулся в город. В понедельник вечером звонит начальник его личной охраны и говорит, что Сталин болен. Все мы — Берия, Маленков, Булганин и я — немедленно отправились на дачу, чтобы увидеть его. Он уже потерял созна-

ние. Одна рука и одна нога были парализованы, отнялся язык. Мы находились с ним три дня, но сознание к нему не возвращалось. Потом на некоторое время к нему вернулось сознание, и тогда мы вошли в его комнату. Сиделка поила его чаем из ложки. Он пожал нам руки и старался шутить с нами, сидясь смеяться, показал здоровой рукой на картину, висевшую над его постелью. На ней был нарисован козленок, которого маленькая девочка кормила ложкой. Вот теперь, как бы говорил он жестом, он такой же беспомощный, как и этот козленок. Через некоторое время он умер. Я плакал. Прежде всего мы были его ученики и обязаны ему всем".

Я спросил Хрущева, выбрал ли Сталин себе наследника. Хрущев резко ответил: „Он никого не выбрал. Он думал, что будет жить всегда" (Averell Harriman. Peace with Russia. New York. 1959, pp. 102—103).

Из этого рассказа мы узнаем важные вещи:

1) Сталин умер не в Москве, а на своей даче (позже от Аллилуевой мы узнаем, что это была кунцевская дача);

2) последними посетителями Сталина были Берия, Маленков, Хрущев и Булганин, и они провели всю ночь субботы, 28 февраля 1953 года, у Сталина за выпивкой;

3) только в понедельник, 2 марта, охрана Сталина сообщает этой четверке, что Сталин заболел, они едут к нему и три дня караулят у его постели, спокойно ожидая его смерти;

4) о врачах вообще не упоминается.

Эту версию Хрущев потом много раз повторял разным лицам. В воспоминаниях Хрущева она немного расширена. Дата болезни Сталина перенесена на 28 февраля, но суть остается прежней. Только, очевидно, кто-то надоумил Хрущева, что нужно упомянуть о врачах, хотя бы на второй день болезни. Окончательная редакция рассказа выглядит так:

«Сталин заболел в феврале 1953 года (то есть 28 февраля.— А. А.). Маленков, Берия, Булганин и я были у него на даче Ближняя в субботу ночью... Как обычно, обед продолжался до 5—6 часов утра. Сталин был после обеда изрядно пьяный и в очень приподнятом настроении. Не было никаких признаков какого-нибудь физического недомогания... Мы разошлись по домам счастливые, что обед кончился так хорошо... Я был уверен, что на следующий день, в воскресенье, Сталин вызовет нас для встречи, но от него не было звонка. Вдруг раздался телефонный звонок. Это был Маленков, он сказал: «Слушай, только что звонила охрана с дачи Сталина. Они думают, что со Сталиным что-то случилось. Будет лучше, если мы поедем туда. Я уже сообщил Берия и Булганину. Будет хорошо, если ты немедленно выедешь»... Я быстро оделся и поехал на дачу Сталина... Через 15 минут я был там. Когда мы все собрались, мы посетили дежурных офицеров, прежде чем идти в комнату Сталина. Офицеры объяснили нам, почему они подняли тревогу: «Товарищ Сталин обычно почти всегда вызывает кого-нибудь и просит чай или что-нибудь поесть к 11 часам. Сегодня он этого не сделал». Поэтому они послали Матрену Петровну узнать, в чем дело. Это была старая дева, которая с давних пор работала у Сталина. Она не отличалась блестящими способностями, но была честной и преданной Сталину. Вернувшись, она сообщила охране, что Сталин лежит на полу большой комнаты, в которой он обычно спит. Очевидно, Сталин упал с кровати. Охранники его подняли с пола и положили на диван в маленькой комнате. Когда нам все это рассказали, мы решили, что неудобно явиться к Сталину, когда он в таком не презентабельном состоянии. Мы разъехались по домам» (Khrushchev. Remembers, vol. I, pp. 340—342).

Значит:

1) 28 февраля со Сталиным пировала четверка;

2) они ушли от Сталина утром 1 марта;

3) вечером того же дня Сталин тяжело заболел (упал с кровати и подняться сам не мог, не требовал пищи, не разговаривал с обслугой; очевидно, лишился речи);

4) четверка была вызвана вечером 1 марта к больному Сталину, но они не стали вызывать врачей, отказались видаться с больным и разъехались по домам.

Хрущев продолжает:

«Поздно ночью Маленков позвонил второй раз: «Охрана Сталина звонила. Они говорят, что со Сталиным что-то определенно не в порядке»...

Когда мы вновь послали Матрену Петровну проверить состояние Сталина, то она сказала, что он спит глубоким сном, но сном не обыкновенным. Мы решили, что

лучше уехать. Мы поручили Маленкову вызвать Кагановича и Ворошилова, которых с нами не было накануне, а также врачей» (там же, стр. 342).

Наконец все-таки вызвали и врачей! Врачи раздели Сталина и перенесли обратно в большую комнату, где было больше света. Врачи «сказали нам, что болезнь такого рода продолжается недолго и ее исход бывает смертельным», рассказывает Хрущев.

Кто же эти врачи? Они никому не известны. Как мы увидим дальше, никого из них не знает и Светлана Аллилуева. Нет не только личного врача Сталина Виноградова, но и тех, кто в нормальных условиях немедленно должен был бы прибыть к больному Сталину: начальник Лечебно-санитарного управления Егоров посажен вместе с Виноградовым, а министр здравоохранения СССР Смирнов, собутыльник Сталина, исчез как раз накануне болезни Сталина, замененный Третьяковым, которого тоже никто не знает.

Как издевательством над Сталиным звучат слова Хрущева «мы сделали все, что бы поставить Сталина на ноги» после его же рассказа, как, осведомившись у Матрены Петровны о состоянии Сталина, они даже не зашли к нему, не вызвали врачей, а разъехались по домам. Врачей вызвали (если вообще это были врачи) только тогда, когда Сталин оказался в безнадежном состоянии, и только тогда его и раздели!

Дальше Хрущев рассказывает, что единственным человеком, желавшим смерти Сталина, был Берия. Берия открыто издевался над умирающим Сталиным (см. там же, стр. 343).

Однако важно другое признание Хрущева:

«Я был более откровенен с Булганиным, чем с другими... Я спросил его:

— Ты знаешь, какая ситуация сложится, если Сталин умрет? Ты знаешь, какой пост хочет занять Берия?

— Какой?

— Он хочет стать министром госбезопасности. Если он им станет, то это начало конца для всех нас... Что бы ни случилось, мы абсолютно не должны допустить этого.

Булганин сказал, что он согласен со мною, и мы начали обсуждать, что мы отныне должны делать. Я сказал, что я поговорю обо всем этом с Маленковым. Я думаю, что он согласится с нами» (там же, стр. 344).

Если Хрущев иногда бывает искренним, то в данном случае он искренен вдвойне: борьба за раздел политического наследия Сталина началась еще у постели умирающего и первой жертвой был намечен Берия. Но пост министра госбезопасности ему все-таки достался: он просто взял его, прихватив заодно и пост министра внутренних дел.

Вернемся к названным выше датам начала болезни Сталина.

Итак, когда же, собственно, у Сталина был удар — в субботу, 28 февраля, когда его посетила четверка; в воскресенье, 1 марта, когда она его уже покинула (обе эти даты начала болезни названы Хрущевым); в ночь на 2 марта, как утверждает «Правительственное сообщение» (оно солгало о месте нахождения Сталина, могло солгать и о дате), или вечером того же 2 марта, как рассказывал Хрущев Гарриману?

Названы четыре даты, поэтому трудно с уверенностью сказать, какая из них истинная. Я склоняюсь к дате 28 февраля, ибо, как указывалось выше, уже 1 марта фактически власть была в руках четверки (объективное доказательство этого — внезапное прекращение 1—2 марта кампании в «Правде» против «врагов народа»). Но заговорщикам очень важно скрыть (не только от народа, но и особенно от партии и армии) то, что происходит со Сталиным, чтобы выиграть время для беспрепятственного и успешного завершения переворота. Поскольку заговорщики заинтересованы в создании безупречного алиби, то они приглашают детей Сталина и двух избранных членов Политбюро (Ворошилова и Кагановича) к постели умирающего на второй или третий день болезни, а народу о ней сообщают на четвертый или пятый день, когда смерть Сталина уже неизбежна.

Теперь обратимся к воспоминаниям Светланы Аллилуевой. Она подтверждает, что Сталин умер не в Москве, а на кунцевской даче; ее и Василия Сталина вызвали к умирающему только 2 марта, когда Сталин окончательно потерял сознание. Дальше она пишет: «Незнакомые врачи, впервые увидевшие больного, ужасно суетились

вкруг. Ставили пиявки на шею и затылок, снимали кардиограммы, делали рентген легких, медсестра непрерывно делала какие-то уколы, один из врачей непрерывно записывал в журнал ход болезни... Все суетились, спасая жизнь, которую нельзя было уже спасти...» («Двадцать писем к другу», стр. 6—7). Из всех этих врачей С. Аллилуевой показалась знакомой одна женщина-врач. «Я вдруг сообразила, что вот эту молодую женщину-врача я знаю,— где я ее видела? Мы кивнули друг другу, но не разговаривали» (там же, стр. 7). (Эту женщину-врача важно запомнить.)

Наблюдения Аллилуевой о поведении Сталина, когда он приходил в себя, совсем не такие, как у Хрущева. Хрущев говорит, что когда к Сталину на некоторое время вернулось сознание, «то тогда он начал пожимать каждому из нас руки...» (K h g u s h c h e v. Remembers, vol. I, p. 343).

У Аллилуевой сказано: «Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах... В какой-то момент... он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный... Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут,— это было непонятно и страшно, я до сих пор не понимаю, но не могу забыть,— тут он поднял вдруг кверху левую руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то вверх (Хрущев дважды повторяет, что Сталин указал на рисунок с козленком и девочкой.— А. А.), не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно, к кому и к чему он относился» («Двадцать писем к другу», стр. 9—10). Так что того почти идиллического прощания Сталина со своими соратниками, какое рисует Хрущев, не было. Прощание было «гневным», «угрожающим».

Но наблюдения Хрущева и Аллилуевой о поведении Берия в основном совпадают.

Аллилуева пишет: «Только один человек вел себя почти неприлично — это был Берия. Он был возбужден до крайности... лицо его то и дело искажалось от распырвавших его страстей. А страсти его были — честолюбие, жестокость, хитрость, власть, власть... Он так старался в этот ответственный момент, как бы не перехитрить и как бы не недохитрить... Он подходил к постели и подолгу всматривался в лицо больного,— отец иногда открывал глаза... Но это было без сознания... Берия глядел тогда, впиваясь в эти затуманенные глаза... А когда все было кончено, он первым выскочил в коридор, и в тишине зала, где стояли все молча вокруг одра, был слышен его громкий голос, не скрывающий торжества: «Хрустале! Машину!» Это был великолепный современный тип лукавого царедворца, воплощение восточного коварства, лести, лицемерия, опутавшего даже отца, которого вообще трудно было обмануть... Во многом Лаврентий сумел хитро провести отца... Его дико боялись и знали, что в тот момент, когда умирает отец, ни у кого в России не было в руках большей власти, чем у этого ужасного человека» (там же, стр. 7—8).

Стало быть, после Сталина власть фактически была в руках Берия, но так как Сталин теперь лежал без сознания, то власть и над Сталиным — жить или умереть ему — тоже была в его руках. И Хрущев и Аллилуева единодушны в своих наблюдениях: Берия желал смерти Сталина, а когда она наступила — он торжествовал. Теперь мы подошли к самому загадочному вопросу: не ухаживали ли за больным Сталиным по методу, который Сталин приписывал арестованным врачам Кремля, — ставя неправильный диагноз и давая противопоказанные лекарства? У нас есть один исключительно важный свидетель, присутствовавший при смерти Сталина и категорически и во всеуслышание утверждавший: Сталина отравили, Сталина убили! Это сын Сталина — генерал-лейтенант Василий Сталин.

Как видно из ее книг, дочь Сталина довольно рано начала проявлять критическое отношение к учению отца и окружающей ее советской действительности, но она не пишет, что ее серьезно занимали политические вопросы или что она вела с отцом какие-либо разговоры на политические темы. Как бы оставаясь верным патриархальным традициям Кавказа, где почти неприлично было говорить с женщиной о политике, Сталин, видимо, не говорил с дочерью о политике. К тому же дочь бывала у отца в последние два-три года его жизни очень редко.

Совершенно по-другому обстояло дело с сыном. Василий Сталин к началу войны окончил военно-авиационную школу. Всю войну провел на фронтах, летал на истребителях, командовал дивизией, корпусом, авиационным соединением в Германии после войны. Потом он был назначен командующим военно-воздушными силами

Московского военного округа. Всеми традиционными воздушными парадами под Москвой, а во время праздников и над Красной площадью командовал лично Василий Сталин. Конечно, в возрасте двадцати пяти — двадцати шести лет офицеры генералами не делаются, исключением был разве только Наполеон (на то он и был Наполеоном), но Василия тоже надо считать своего рода исключением — он был сыном Сталина. Сталинские маршалы, чтобы угодить самому Верховному, раболепствовали перед его сыном и осыпали его чинами и орденами. Однако сколько бы ни рассказывали, что Василий любил выпить, никто не оспаривал его отвагу и мужество во время войны, да трусы и не лезут в летчики реактивной истребительной авиации.

Если Сталин когда-нибудь и кому-нибудь открывал хоть частицу того сокровенного, что он думал о своих сподвижниках из Политбюро, то скорее всего только беззаветно ему преданному сыну. Отношения между отцом и сыном остались нормальными и после снятия Василия с его должности: это видно хотя бы из того, что по совету отца он поступил в Академию Генерального штаба. Василия Сталина, как и его сестру, об ударе, случившемся с отцом, известили, как уже указывалось, лишь на второй или третий день, когда Сталин уже не владел речью. В таком состоянии умирающие уже не жалуются.

Но велики тайны провидения. Какая-то неведомая сила, может быть, просто внутреннее чувство дочери заставило Аллилуеву позвонить умирающему Сталину именно в то воскресенье, 1 марта 1953 года. «Я хотела приехать (к отцу.— А. А.) еще раз в воскресенье 1 марта, но не могла дозвониться» («Двадцать писем к другу», стр. 195).

Конечно, не могла дозвониться! Все телефоны Сталина были в руках Берия, им блокированы, но это свидетельство Аллилуевой имеет историческое значение. Аллилуева продолжает: «А наутро 2 марта меня вызвали с занятий в Академии и велели ехать в Кунцево. Моего брата Василия тоже вызвали 2 марта 1953 года. Он тоже сидел несколько часов в этом большом зале... В служебном доме он еще пил, шумел, разносил врачей, кричал, что «отца убили», «убивают»...» (там же, стр. 195 — 196).

Аллилуева, вероятно, склонна думать, что брат бушует под действием алкоголя. Однако в дни похорон, очевидно, совершенно грезивый, неся гроб отца рядом с Молотовым, он вновь повторяет, что «отца убили». Аллилуева продолжает: «Смерть отца потрясла его. Он был в ужасе. Он был уверен, что отца «отравили», «убили»; он видел, что рушится мир, без которого он существовать не может... В дни похорон он был в ужасном состоянии и вел себя соответственно — на всех бросался с упреками, обвинял правительство, врачей, всех, кого возможно, — что не так лечили... Он ощущал себя наследным принцем» (там же, стр. 198).

Уверенность Василия, что отца убили, о чем он настойчиво и многократно повторял каждому, кто это хотел слышать (Василий, вероятно, надеялся, что армия заступится за своего Верховного), не была и не могла быть бредом пьяного. Он знал слишком много. Он знал, что заговорщики «организовали болезнь» Сталина, он знал также, что его отец думал о готовящемся заговоре. Молодой генерал, знающий тайну смерти отца, мог сделаться знаменем, даже организатором нового переворота против узурпаторов отцовской власти. Поэтому его дни на воле оказались считанными.

Сначала постарались избавиться от него по-хорошему. Министр обороны Булганин вызвал его к себе и предложил ему поехать в провинцию, в один из военных округов, но он отказался, желая остаться в Москве. Тогда его разжаловали, арестовали и посадили в знаменитую теперь своим зверским режимом Владимирскую тюрьму. Это произошло через неполных два месяца после смерти Сталина — 28 апреля 1953 года. Просидев там семь лет, он умер в ссылке в Казани в марте 1962 года. Сестра его думает, что он умер от алкоголизма, но, увы, есть в мире еще и другая, более безжалостная болезнь — политика. От нее он скорее всего и умер...

Вернемся вновь к официальным документам.

В «Правительственном сообщении» от имени ЦК КПСС и Совета Министров, опубликованном только 4 марта 1953 года, сказано: «В ночь на 2-ое марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи».

О тяжелой, смертельной болезни Сталина сообщают только на четвертый день, ибо фактически удар у Сталина был вечером 1 марта (смотрите выше рассказ Хру-

щевя). «Правительственное сообщение» о болезни Сталина, видно, составлено заговорщиками без консультации с врачами, иначе Сталин не потерял бы сначала сознание, а потом речь. Для лечения Сталина создается комиссия из восьми врачей — академиков и профессоров. Во главе комиссии — новый министр здравоохранения СССР Третьяков и новый начальник Лечебно-санитарного управления Кремля Куперин. В сообщении говорится, что «лечение товарища Сталина проводится под постоянным наблюдением Центрального Комитета КПСС и Советского Правительства», то есть «вредительское лечение» исключается.

5 и 6 марта выходит несколько бюллетеней о ходе болезни Сталина. Составленные на этот раз, по всей видимости, с использованием последних и лучших медицинских учебников, бюллетени поражают подробностью и избытком непонятных, сугубо медицинских терминов, частично тут же переведенных на русский язык. За внешней озабоченностью ходом болезни Сталина и «энергичными мерами» его лечения, иногда даже вызывающими частичное улучшение состояния больного, чувствуется, что смерть Сталина — дело решенное. Так, бюллетень, составленный 5 марта, в день смерти, и опубликованный 6 марта, сообщает: «В 11 часов 30 минут вторично наступил тяжелый коллапс, который был с трудом ликвидирован соответствующими лечебными мероприятиями»; но даже: «В дальнейшем сердечно-сосудистые нарушения несколько уменьшились, хотя общее состояние продолжало оставаться крайне тяжелым», — словом, дело клонится к летальному исходу, но энергичные лечебные меры не дают еще Сталину умереть.

5 марта 1953 года Сталин умирает. Тогда наследники прибегают к неслыханной мере: они создают совершенно новую комиссию академиков и профессоров из семи человек во главе с теми же Третьяковым и Купериным для подтверждения правильности диагноза болезни Сталина и правильности его лечения под руководством ЦК. Комиссия дала авторитетное заключение: «Результаты патологоанатомического исследования полностью подтверждают диагноз, поставленный профессорами-врачами, лечившими И. В. Сталина. Данные патологоанатомического исследования установили необратимый характер болезни И. В. Сталина с момента возникновения кровоизлияния в мозг. Поэтому принятые энергичные меры лечения не могли дать положительный результат и предотвратить роковой исход» («Известия», 7.03.53).

Это не врачи, а Берия и его соучастники заручились свидетельством, чтобы доказать свое алиби. Они знали, что не только Василий Сталин будет утверждать, что «они убили Сталина». Но одно то, что им понадобилось такое свидетельство, выдает их с головой.

Дворцовый переворот в ночь с 28 февраля на 1 марта 1953 года против Сталина во многом напоминает дворцовый переворот против Павла I и его убийство в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Тогда восстала дворянская элита против жестокого царя, сейчас восстала сталинская элита против «отца и учителя», открыто угрожавшего «детоубийством». В этом последнем заключается и разница: дворянские заговорщики восстали, чтобы спасти Россию от тирана, а сталинцы — чтобы спасти собственные головы.

Большинство заговорщиков против Павла были склонны сохранить жизнь царю, если он подпишет манифест о добровольном отречении от престола (только при этом условии дал свое согласие на переворот сын Павла Александр); большинство заговорщиков против Сталина, вероятно, тоже сохранили бы ему жизнь, если бы он добровольно ушел со своих постов. Но Берия думал, что в создавшихся условиях лучший Сталин — Сталин мертвый. В свое оправдание он мог бы процитировать и своего предшественника, организатора заговора против Павла, петербургского военного губернатора графа Палена, сказавшего в ночь заговора своим соучастникам: «Вспомните, господа, что нельзя сделать яичницу, не разбив яйца».

Даже объявления о наступлении новой эры после Павла и после Сталина перекликаются между собою. Обычная традиционная формула при естественном наследовании престола в старой России гласила, что сын будет управлять в духе «независимого родителя нашего», но в манифесте 12 марта 1801 года Александр I подчеркнул, что будет управлять по законам и «по сердцу» покойной государыни Екатерины II. Это означало либеральное управление. Заговорщики против Сталина в своем первом постановлении после его смерти отмежевываются от него тем, что умалчивают его имя и обещают управлять страной, руководствуясь «выработанной нашей партией политикой», а не «гениальными указаниями» только что умершего

«отца, учителя и вождя». При этом наследники предупреждают против возможного «разброда и паники» (ничего, мол, страшного не произошло!). Вот соответствующее место из Постановления совместного заседания пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1953 года:

«Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР, Президиум Верховного Совета СССР в это трудное для нашей партии и страны время считают важнейшей задачей партии и правительства — обеспечение бесперебойного и правильного руководства... что в свою очередь требует... недопущения какого-либо разброда и паники, с тем чтобы таким образом безусловно обеспечить успешное проведение в жизнь выработанной нашей партией и правительством политики как во внутренних делах нашей страны, так и в международных делах».

Таким образом, в этом первом, самом важном юридическом акте о престолонаследии нет ни слова о Сталине, но есть обещания управлять так, как когда-то управляла наша «государыня» — партия.

Если аналогия, то до конца: граф Пален думал, что править Россией при молодом царе будет он, но Александр I уволил его в отставку. Свергая Сталина, Берия думал превратить Россию сталинскую в Россию бериевскую, прикрываясь именем номинального царька Маленкова, но его перехитрили и отправили на тот свет, руководствуясь его же «философией»: лучший враг — мертвый враг.

КАК ПРОИЗОШЕЛ ПЕРЕВОРОТ?

Если существование антисталинского заговора надо считать фактом неоспоримым (как по условиям сложившейся наверху олигархии, так и по объективным результатам переворота), то вопрос, как произошел сам переворот, остается все еще одной из самых глубоких тайн Кремля.

После XX съезда, после «Закрытого письма ЦК» к партии, после ряда статей в печати в начале 1956 года с разоблачениями Сталина советские и иностранные коммунисты начали бомбардировать ЦК КПСС письмами и запросами: «Если Сталин был такой негодяй, то что же делали вы, ведь он без вас был ничто?» ЦК решил, что настало время сказать что-то важное. Было издано постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 года «О преодолении культа личности и его последствий». В нем ЦК первый и последний раз признал, что антисталинские руководители ЦК (четверка) не сидели сложа руки. В их лице был создан противовес Сталину: «XX съезд партии и вся политика ЦК после смерти Сталина ярко свидетельствуют о том, что внутри ЦК партии имелось сложившееся ленинское ядро руководителей» («Правда», 2.07.56).

Так как в это «сложившееся ленинское ядро руководителей» не входил сам Сталин, то абсолютно ясно, что оно и сложилось против него. Таким образом, это «ленинское ядро» и есть псевдоним антисталинского заговора. Заговор фактически признается, но о технике его осуществления умалчивается (только через десять лет после смерти Сталина Хрущев немножко приподнял завесу над этой тайной). Однако сначала разберем версии, появившиеся в западной прессе.

Первая версия принадлежит Илье Эренбургу — подставному лицу, рупору тогдашнего руководства Кремля. Поручая Эренбургу эту миссию, Кремль преследовал те же цели, что и в постановлении ЦК от 30 июня 1956 года о культе личности: дать понять, что, когда Сталин создавал дело «врачей-вредителей», руководители ЦК не сидели сложа руки. Свою версию Эренбург рассказал французскому философу и писателю Жану Полю Сартру. После публикации во французской прессе она обошла и всю мировую печать.

Вкратце рассказ Эренбурга сводится к следующему: 1 марта 1953 года происходило заседание Президиума ЦК КПСС. На этом заседании выступил Л. Каганович, требуя от Сталина: 1) создания особой комиссии по объективному расследованию «дела врачей»; 2) отмены отданного Сталиным распоряжения о депортации всех евреев в отдаленную зону СССР (новая черта оседлости). Кагановича поддержали все члены старого Политбюро, кроме Берия (?!). Это необычное и небывалое единодушие показало Сталину, что он имеет дело с заранее организованным заговором. Потеряв самообладание, Сталин не только разразился площадной руганью, но и начал угрожать бунтовщикам самой жестокой расправой. Однако подобную реакцию на сделанный от имени Политбюро ультиматум Кагановича заговорщики предвидели. Знали они и то, что свободными

им из Кремля не выйти, если на то будет воля Сталина. Поэтому они приняли и соответствующие предупредительные меры, о чем Микоян заявил бушующему Сталину: «Если через полчаса мы не выйдем свободными из этого помещения, армия займет Кремль!» После этого заявления Берия тоже отошел от Сталина. Предательство Берия окончательно вывело Сталина из равновесия, а Каганович вдобавок тут же на глазах Сталина изорвал в мелкие клочки свой членский билет Президиума ЦК КПСС и швырнул Сталину в лицо. Не успел Сталин вызвать охрану Кремля, как его поразил удар: он упал без сознания. Только в шесть часов утра 2 марта к Сталину были допущены врачи (см.: «Die Welt», 1.09.56).

«Выстрелом» Эрэнбурга послесталинский ЦК хотел убить трех зайцев: во-первых, мы не бездействовали, когда Сталин хотел создать новую черту оседлости для советских евреев; во-вторых, Сталин умер не без нашей помощи; в-третьих, Берия, как всегда, был со Сталиным, но перешел на нашу сторону, когда увидел, что армия с нами. Отметим, что, как и в будущих рассказах Хрущева, в версии Эрэнбурга врачи к Сталину вызываются только на второй день его смертельного удара.

Через год — в 1957 году — Кремль инспирировал выступление за границей бывшего члена Президиума ЦК КПСС и секретаря ЦК КПСС, а потом посла СССР в Нидерландах Пономаренко. И хотя Пономаренко, по существу, лишь подтвердил рассказ Эрэнбурга, его версия, поскольку он был официальным лицом и членом ЦК, была подхвачена мировой прессой как величайшая сенсация. Вот эта версия. Сталин в конце февраля 1953 года созвал заседание Президиума ЦК и сообщил о показаниях «врачей-вредителей» — как они умерщвляли видных деятелей партии и как они собирались делать это и дальше. Одновременно Сталин представил на утверждение Президиума ЦК проект декрета о депортации всех евреев в Среднюю Азию. Тогда выступили Молотов и Каганович с заявлениями, что такая депортация произведет катастрофическое впечатление на внешний мир. Сталин пришел в раж, начал разносить всех, кто осмеливался не соглашаться с его проектом. Еще раз выступил Каганович, на этот раз резко и непримиримо, демонстративно порвал свой партбилет (членский билет Президиума ЦК? — А. А.) и бросил его на стол перед Сталиным. Каганович кончил речь словами: «Сталин позорит нашу страну!» Кагановича и Молотова поддержали все, и негодующий Сталин вдруг упал без сознания — с ним случился коллапс. Берия пришел в восторг и начал кричать: «Тиран умер, мы — свободны!» — но когда Сталин вдруг открыл глаза, Берия якобы стал на колени и начал просить у Сталина извинения. (Эта банальная сцена с Берия присутствует во многих советских инспирациях.)

Автор, у которого мы взяли версию Пономаренко, спрашивает: «Было ли Сталину разрешено умереть своей смертью или, как упорно утверждают слухи, против него организовался заговор его наследников?» (Victor Alexandrov. The Kremlin, p. 326).

По словам Эрэнбурга, сам Сталин был глубоко убежден, что члены Политбюро организовали заговор с целью убить его. Только очень странно и в свете дальнейших событий просто необъяснимо, что Сталин перепутал воображаемых заговорщиков с подлинными. В рассказе, приписываемом Эрэнбургу, говорится: «После XIX съезда стало ясно, что у Сталина мания преследования... Он готовил самую великую кровавую чистку, хотел физически уничтожить ЦК XIX съезда. Он в разговорах высказывал мысль, что Ворошилов, Молотов, Каганович, Микоян хотят убить его» (там же).

Эти высказывания или подозрения Сталина полностью согласуются с его повседневным поведением и с его отношением к своим соратникам. Как мы видели, Сталин их всех открыто обвинял в измене.

После XXII съезда КПСС вновь встал вопрос о смерти Сталина: неужели тиран, совершивший столько преступлений (о них говорил на съезде не только Хрущев, но и все новые члены Президиума ЦК), умер своей смертью? Разоблачения чудовищных преступлений Сталина (от массовых расстрелов по «спискам», без суда старых большевиков и даже жен многих из них и до новых подробностей убийства Кирова) так, видно, задела партию, что в ней нарастало возмущение: почему же такого негодяя не убили?

В 1963 году Хрущев, открыто сказав, что люди негодуют, что Сталин не умер на десять лет раньше, заявил: «Они правы».

Как раз через десять лет после смерти Сталина, после двухлетней интенсивной антисталинской пропаганды со времени XXII съезда Хрущев впервые отважился осветить и некоторые подробности смерти Сталина. Сделал он это перед деятелями Польской компартии. Или круг слушателей был слишком широк, или это входило в планы

Хрущева, но кое-какие рассказанные им новые детали попали на страницы французского журнала «Paris Match» и были перепечатаны с комментариями в немецком журнале «Der Spiegel» (1963, № 32). Свой анализ «Шпигель» начинает с утверждения: «Целый ряд улик говорит за то, что Сталин ни в коем случае не умер естественной смертью, как нас в свое время хотели уверить официальные сообщения».

Эта версия Хрущева рисует события так: Сталин умер вовсе не на кремлевской квартире, а в бывшем имении графа Орлова (это и есть кунцевская дача). Здесь, полностью изолированный от внешнего мира, Сталин был «пленником собственного страха». В ночь на 2 марта охраной Сталина сюда были срочно вызваны Хрущев, Маленков, Берия и Молотов (мы уже знаем, что Молотова среди них не было, но был Булагин.— А. А.). Охрана сообщила, что Сталин уже много часов не подает признаков жизни. Охрана не могла узнать, в чем дело, из-за сложности внутренней системы сообщения между тремя отдельными помещениями, в одном из которых находился Сталин. Открыть двери мог только он сам при помощи специального электрического механизма. Так как никто из охраны не знал, в какой именно комнате находился Сталин, пришлось взламывать все двери подряд: открыли одну, открыли другую — и здесь нашли Сталина. Он безжизненно лежал на полу, одетый в форму генералиссимуса. Первым отозвался Берия. «Тиран мертв, мертв, мертв», — торжествуя кричал он. В этот момент Сталин широко открыл глаза. Нет, он жив. Маленков, Хрущев, Молотов вышли из комнаты. Берия, постоянно носивший с собой ампулы с ядом, остался наедине со своим мстительным владыкой. Только через пять часов (якобы из-за большой гололедицы на дорогах) вызвали врачей.

Такова версия Хрущева, поляков, французского журнала. Очень важно заметить, что немного ранее (8 марта 1963 года) Хрущев на приеме представителей советской интеллигенции совершенно недвусмысленно намекнул, что Берия не только не скрывал своего торжества по поводу смерти Сталина, но был и заинтересован в его преждевременной смерти («Der Spiegel», 1963, № 32). Если в смерти Сталина заинтересован только один Берия, так зачем же его оставлять наедине, да еще с ядом, с беспомощным, тяжело больным Сталиным?

Мы разобрали в этих двух главах пять версий последних дней Сталина: 1) Эренбурга — 1956-й, 2) Пономаренко — 1957-й, 3) Гарримана — 1959-й, 4) журнала «Paris Match» — 1963-й, 5) «Khrushchev. Remembers» — 1970 год. Существует еще одна, шестая версия, исходящая из кругов реабилитированных старых большевиков. Эта версия получена при исключительных обстоятельствах, о которых еще рано писать...

Многие из реабилитированных еще при жизни старых большевиков принимали видное участие в комиссиях по расследованию преступлений Сталина (некоторых из них автор этих строк хорошо знал по Москве и Кавказу). Их-то в первую очередь интересовало: при каких все-таки обстоятельствах умер Сталин?

Версия старых большевиков, конечно, тоже могла родиться под влиянием Хрущева, который очень хотел морально реабилитировать себя перед ними: здесь инициатором устранения Сталина выступает Хрущев, а Берия поручается лишь «грязная работа». Однако, анализируя обстоятельства смерти Сталина, я этой версией не воспользовался, за исключением того, что относится к «делу врачей». Почему? По двум причинам: во-первых, установить ее подлинное происхождение отсюда, из-за границы, невозможно; во-вторых, на некоторых местах рассказа старых большевиков лежит налет хрущевской пропаганды. Тем не менее в этом рассказе попадаются вполне правдоподобные сцены.

Согласно этой версии события 28 февраля — 1 марта развиваются так, как рассказано у Хрущева: четверка посетила Сталина, они вместе мирно и весело ужинали, но встреча состоялась вовсе не по инициативе Сталина. Ее предложил Маленков под предлогом, что нужны указания Сталина по вопросам, которые будут обсуждаться на заседании Совета министров в понедельник, 2 марта. За неделю до этого Сталин сообщил Бюро Президиума ЦК, что процесс над «врачами-вредителями» назначен на середину марта, и вручил им копии «Обвинительного заключения», подписанного генеральным прокурором СССР. Этот документ, как и комментарий генерального прокурора, ставленника Берия, Сафонова, о беседе со Сталиным окончательно рассеяли всякие сомнения в истинных намерениях Сталина. Выходило, что американцы во время войны сумели создать свои агентурные точки не только в кремлевском лечебно-санитарном управлении, но даже в ЦК (Лозовский) и МГБ (Абакумов). Англичане то же самое сделали еще до войны, а во время войны расширили свою сеть, завербовав туда членов

ЦК Кузнецова, Попкова, Родионова. Об армии ничего не говорилось, кроме того, что были предназначены к отравлению Василевский, Говоров, Штеменко, Конев. Но и здесь между строк было видно, что только такие обиженные маршалы, как Жуков, Воронов, Юмашев, Логданов, могли быть заинтересованы в этом. Вопрос о том, кто был заинтересован в умерщвлении Жданова и Щербакова, оставался открытым. Однако все знали, что Берия и Маленков никогда не были в хороших отношениях с ними и если, например, Сталин действительно убил Жданова, то он его убил руками Берия, как Кирова — руками Ягоды.

Словом, стало ясно, что процессом врачей дело не кончится, а, как в 1937 году, полетят головы и у многих членов Политбюро. Когда Берия, Маленков, Хрущев и Булганин прошгудировали этот документ, то, по предложению Хрущева, они решили коллективно обсудить положение. Встреча состоялась в подмосковном лесу под видом охоты (в четырех стенах на данную тему никогда не говорилось). Было решено — из-за состояния здоровья Сталина, не позволяющего ему участвовать в оперативной работе партии и правительства, предложить ему подать в отставку со всех постов. Но ведь Сталин, чтобы выиграть время, мог подписать любой документ, а потом уничтожить его инициаторов. Как быть? Хрущев якобы обратился к Берия: «Лаврентий Павлович! Ты специалист в таких делах, а мы в этом ни черта не понимаем, скажи, как сделать так, чтобы Сталин и дальше жил, но не вмешиваясь в дела партии и государства?»

Берия понял намек и без всяких экивоков ответил, что Сталин за решеткой был бы еще более опасен, чем на воле; он и после смерти еще долго будет вмешиваться в дела, если от него не отмежеваться. Однако ничего конкретного Берия не предложил.

Тогда Маленков предложил заставить Сталина прочесть заявление об отставке по радио и телевидению, а потом изолировать его от всего мира на Соловецком острове.

Однако Берия заявил, что он и его чекисты могут ручаться только за мертвого Сталина. Это было то, что думал и Хрущев, но он хотел это услышать от Берия. Искренность Берия была несомненна: ведь и его собственная голова находилась в опасности. Маленков не без колебания присоединился к Берия и Хрущеву.

Через несколько дней Берия пригласил к себе на дачу Маленкова, Хрущева и Булганина и предложил им два детально разработанных плана: «малый» и «оптимальный».

«Малый план» предусматривал отставку Сталина без участия посторонних сил. У Сталина на очередном ужине с четверкой в Кунцево должен случиться смертельный удар — такой, чтобы он сразу не умер, но и не смог бы выжить. Умирать Сталин должен был при свидетелях, в том числе таких, как его дети и врачи.

«Оптимальный план» предусматривал взрыв дачи Сталина, когда он спит (значит, днем). Под видом продуктов нужно было доставить динамит для взрыва не только помещения Сталина, но и прилегающих зданий, чтобы заодно ликвидировать и лишних свидетелей.

За успех «малого плана» должны отвечать все четверо, ответственность за успех «оптимального плана» Берия брал на себя лично. В каждом из этих планов предусматривались и превентивные меры: из Москвы надо было удалить под разными предлогами явных сторонников Сталина, особенно тех, кто ведал средствами коммуникации и информации (Министерство связи, радио и телевидения, ТАСС, редакции «Правды» и «Известий»), а также некоторых видных руководителей из Министерства обороны, МГБ, МВД и комендатуры Кремля. В то же время наиболее надежных сторонников четверки (маршал Жуков и другие) следовало вызвать в Москву. Все средства связи дачи Сталина, его кремлевской квартиры и служебных кабинетов начиная с определенного X-часа отключались от всех общих и специальных правительственных проводов. Все машины, дачи Сталина, охраны и obsługi «конфисковывались» с начала X-часа. Все дороги к даче и от нее — как по земле, так и по воздуху — закрывались для всех, в том числе для всех членов Президиума ЦК, кроме четверки.

Функции членов четверки были четко разграничены: Берия отвечал за «оперативную часть» плана, Маленков — за мобилизацию партийно-государственного аппарата, Хрущев — за столицу и коммуникацию, Булганин — за наблюдение за военными. С самого начала X-часа четверка объявляла о «тяжелой болезни» Сталина и брала в руки власть «до его полного выздоровления». Так легализовались все действия заговорщиков.

Самым оригинальным в этом рассказе надо считать, пожалуй, то, что заговорщики утверждали оба плана сразу! Начать решили с «малого плана», но в случае его провала

тут же пускался в ход запасной, «оптимальный план». Если заговор, так с абсолютно гарантированным успехом — этому учил ведь и сам Сталин («бить врага надо наверняка!»).

После такой подготовки и состоялась встреча четверки со Сталиным на его даче в Кунцеве вечером 28 февраля 1953 года. Поговорив по деловым вопросам и изрядно выпив, Маленков, Хрущев и Булганин уезжают довольно рано — но не домой, а в Кремль. Берия, как это часто бывало, остается под предлогом согласования со Сталиным некоторых своих мероприятий. Вот теперь на сцене появляется новое лицо: по одному варианту — мужчина, адъютант Берия, а по другому — женщина, его сотрудница. Сообщив Сталину, что имеются убийственные данные против Хрущева в связи с «делом врачей», Берия вызывает свою сотрудницу с папкой документов. Не успел Берия положить папку перед Сталиным, как женщина плеснула Сталину в лицо какой-то летучей жидкостью, вероятно, эфиром. Сталин сразу потерял сознание, и она сделала ему несколько уколов, введя яд замедленного действия. Во время «лечения» Сталина в последующие дни эта женщина, уже в качестве врача, их повторяла в таких точных дозах, чтобы Сталин умер не сразу, а медленно и естественно.

Таков рассказ старых большевиков. При этом невольно вспоминается то место из книги Аллилуевой, где сказано несколько слов о какой-то таинственной женщине-враче у постели умирающего Сталина: «Молодые врачи ошалело озирались вокруг... Я вдруг сообразила, что вот эту молодую женщину-врача я знаю,—где я ее видела? Мы кивнули друг другу, но не разговаривали» («Двадцать писем к другу», стр. 7).

Я думаю, что выяснение роли данной женщины-врача при Берия было бы очень важно. Интересно, где же Аллилуева видела эту женщину до смерти Сталина и видела ли она ее после его смерти?

В связи с разбираемыми версиями интересно и следующее замечание А. Солженицына: «Есть признаки, что перед смертью Сталина Берия был в угрожаемом положении — и может через него-то Сталин и был убран» («Архипелаг ГУЛАГ», т. 1, стр. 166).

Во всех версиях, рассказанных двумя членами Президиума сталинского ЦК и одним советским писателем, поразительно неизменны три утверждения:

1) смерть Сталина сторожат из Политбюро только четыре человека — Берия, Маленков, Хрущев и Булганин;

2) к Сталину врачей вызывают только на вторые сутки;

3) в смерти Сталина заинтересован лично Берия.

Отсюда два логических вывода:

1) несмотря на исключительную тяжесть болезни Сталина (потеря сознания), к нему намеренно не вызывали врачей, пока четверка не убедилась, что смертельный исход неизбежен;

2) поскольку вызовом врачей распорядился (даже по долгу службы) один Берия, то он, очевидно, вызывал тех, кто будет исполнять его волю — поможет Сталину умереть.

Эти врачи, видимо, не имели никакого отношения к Лечебно-санитарному управлению Кремля. По крайней мере Аллилуева никого из них не знала, а Хрущев говорит, что он знал только профессора Лукомского. Не все вызванные врачи и осмотрели Сталина. Они сидели в соседних комнатах и, как рассказывает Аллилуева, «заседали» — как лечить Сталина. Данные о ходе болезни и ее симптомах сообщал другой врач, тоже никому, кроме Берия, не известный.

Предположение о причине болезни Сталина также может быть двойким:

1) Сталин получил удар, когда ему предъявили ультиматум о «врачах-вредителях» с угрозой пустить в ход вооруженные силы;

2) Берия отравил Сталина ядом замедленного действия.

Итак: или удар от Политбюро, или яд от Берия?

Относительно возможного покушения на его жизнь у Сталина был определенный комплекс всех восточноазиатских деспотов — он боялся именно отравления. Сталин считал потенциальным отравителем любого из членов Политбюро. Хрущев рассказывает просто анекдотические случаи, когда, садясь со своими соратниками за стол, Сталин сначала заставлял каждого из них под различными, хотя и весьма прозрачными предлогами пробовать все, что подано, и лишь после этого сам начинал пить и есть. Лишь Берия не должен был пробовать пищу: он ел только зелень и привозил ее с собою (см.: K h r u s h c h e v. Remembers, vol. I, p. 321). Это не очень правдоподобное исклю-

чение для Берия (от которого, по предыдущему рассказу Хрущева, Сталин ожидал лобой подлости) Хрущев делает, видимо, чтобы показать, как Берия мог перехитрить самого Сталина.

Что Сталин больше всего боялся отравления, показывает и та тщательность, с которой он оградил свою крепость-дачу от проникновения яда не только в пищу, но и в воздухе: «К его столу везли рыбу из специальных прудов, фазанов и барашков из специальных питомников грузинское вино специального разлива, свежие фрукты доставляли с юга самолетом. Он не знал, сколько требовалось транспортировок за государственный счет, чтобы регулярно доставлять все это к столу... «база» существовала главным образом для того, чтобы специальные врачи подвергали химическому анализу на яды все съедобное, поставлявшееся ему на кухню. К каждому свертку с хлебом, мясом или фруктами прилагался специальный «акт», скрепленный печатями и подписью ответственного «ядолога»: «Отравляющих веществ не обнаружено». Иногда доктор Дьяков появлялся у нас на квартире в Кремле со своими пробирками и «брал пробу воздуха» из всех комнат» (С. Аллилуева. Только один год, стр. 335 — 336).

Разумеется, когда сам Берия захочет отравить Сталина, все эти предосторожности не будут играть никакой роли, тем более что «внутренний кабинет» Поскребышева исчез, как и генерал Власик, как и все врачи Сталина. После этого Сталин жил только милостью Берия.

«Проблема Сталина» для Берия в принципе тогда уже была решена, важнее для него было другое — заполучить дружелюбный нейтралитет молотовцев и активную поддержку членов четверки. Хрущев не отрицает, что Берия умел ловко подбирать людей, обиженных Сталиным: «Берия имел привычку завербовывать в свою сеть людей, у которых возникали трудности со Сталиным. Он ими тогда пользовался для собственной интриги» (K h u s h c h e v. Remembers, vol. I, p. 95).

Ход и исход антисталинского переворота показывают блестящий успех этого метода «вербовки обиженных». В решающие минуты около Сталина не оказалось никого: ни «старой гвардии» Сталина — молотовцев, ни «вернейшего оруженосца» Поскребышева, ни пожизненного лейб-охранника Власика, ни преданного сына Василия, ни даже личного врача Виноградова. Смерть Сталина караулит и регулирует Берия при неизменном присутствии трех его соучастников — Маленкова, Хрущева, Булганина, изменивших и Сталину и Берия.

На митинге 19 июля 1964 года, устроенном в честь венгерской партийно-правительственной делегации во главе с Яношем Кадаром, Хрущев в своей речи, передававшейся через прямую трансляцию по всему СССР и через Intervention по всей Восточной Европе, во всеуслышание признался в насильственной смерти советского диктатора: «Сталин стрелял по своим. По ветеранам революции. Вот за этот произвол мы его осуждаем... Напрасны потуги тех, которые хотят руководство изменить в нашей стране и взять под защиту все злоупотребления, которые совершил Сталин... И никто не обелит (его, — А. А.).. Черного кобеля не отмоешь добела... (Аплодисменты) В истории человечества было немало тиранов жестоких, но все они погибли так же от топора, как сами свою власть поддерживали топором» (Радио Москва 1, 19 июля 1964 года, 11.55 средневропейского времени, мониторинг радиозаписи станции «Свобода»). Слова о тиранах газеты «Правда» и «Известия» при напечатании речи Хрущева вычеркнули, но их слышали многие миллионы людей в СССР и Европе.

Не в том загадка смерти Сталина, был ли он умерщвлен, а в том, как это произошло. Поставленные перед альтернативой, кому умереть — Сталину или всему составу Политбюро, члены Политбюро выбрали смерть Сталина. И по-человечески никто не может ставить им в вину такой выбор.

Это был один из немногих случаев в истории Советского государства, когда интересы членов правительства совпали с интересами народа.

КОНЕЦ БЕРИЯ

Замести следы преступления и создать себе безупречное алиби — инстинктивная реакция всякого убийцы. Чем интеллигентнее убийца, тем искуснее он это делает. Но только убийцы, имеющие абсолютную власть, могут создать себе абсолютное алиби. Чтобы замести следы, они совершают серию новых убийств: свидетели, исполнители, близкие люди убитого исчезают навсегда. Однако только у Сталина и его учеников организация политических убийств лиц, групп, классов и даже целых народов впервые сделалась особой отраслью криминального искусства с заранее созданными алиби.

Сталин был единственным тираном в истории, который убивал не только врагов, но и своих лучших друзей, если этого требовали его личные интересы. При этом алиби создавалось всем известной преданностью ему убиваемых — Менжинского, Куйбышева, Горького, Орджоникидзе, Кирова. Но Сталин заметал следы и в этих случаях. Брат Куйбышева (герой гражданской войны) и брат Орджоникидзе (старый грузинский революционер) были расстреляны. Расстреляны были некоторые из сотрудников и близких людей Горького, в том числе его личный секретарь. Было уничтожено все окружение С. М. Кирова.

Сталин убрал как свидетелей убийства Кирова, так и всех исполнителей. Хрущев заявил на XX съезде: «Можно предполагать, что они были расстреляны для того, чтобы скрыть следы истинных организаторов убийства Кирова» («Доклад на закрытом заседании XX съезда КПСС», стр. 19).

Скажут, что тогда уничтожали всех без разбора. Нет, это делали весьма разборчиво. Существовал неписанный закон: чем ближе к Сталину стоял тайно убитый им человек, тем основательнее уничтожалось его окружение. Это относилось даже и к семье самого Сталина: он расстрелял шурина, старого большевика Сванидзе; он расстрелял свояка, старого чекистского комиссара Реденса; он после войны сослал жену своего сына Якова, отняв у нее ребенка; он арестовал сестер своей жены — дочерей друга Ленина Аллилуева. Почему? Когда его дочь, недоумевающая, спросила, в чем же вина ее теток, то Сталин ответил с не свойственной ему искренностью: «Знали слишком много» («Двадцать писем к другу», стр. 182).

Вот за тех, кто «знал слишком много», и взялся Берия сразу после смерти Сталина. К ним, кроме соучастников Берия, относились: 1) две комиссии врачей — одна, «лечившая» Сталина, и другая, засидевшая, что Сталина лечили «правильно»; 2) охрана и прислуга Сталина на даче в Кунцеве.

Большинство врачей из этих двух комиссий исчезли сразу после смерти Сталина. Один из врачей, участвовавших во вскрытии тела Сталина, профессор Русаков, «внезапно» умер. Лечебно-санитарное управление Кремля, ответственное за лечение Сталина, немедленно упраздняется, а его начальник И. И. Куперин арестовывается. Министра здравоохранения СССР А. Ф. Третьякова, стоявшего по чину во главе обеих комиссий, снимают с должности, арестовывают и вместе с Купериним и еще с двумя врачами, членами комиссии, отправляют в Воркуту. Там он получает должность главврача лагерной больницы (см.: Th. Wittlin, Commissar. The Life and Death of Lavrenty Pavlovich Beria. New York. 1972, p. 387). Реабилитация их происходит только спустя несколько лет, а это доказывает, что заметал следы не один Берия, а вся четверка.

Не менее круто поступил Берия с кунцевской охраной и службой Сталина: ведь эти люди не только были свидетелями того, что происходило вокруг Сталина, но, очевидно, и рассказали Василию Сталину, как бериевские «врачи» залечили его отца.

Если бы Сталин умер естественной смертью «под постоянным наблюдением ЦК КПСС и Правительства», как гласило «Правительственное сообщение», то не происходили бы те «странные события» в Кунцеве, о которых пишет, впрочем, не вдаваясь в причины происходящего, дочь Сталина:

«Дом в Кунцеве пережил, после смерти отца, странные события. На второй день после смерти его хозяина, — еще не было похорон, — по распоряжению Берия создали всю прислугу и охрану, весь штат обслуживавших дачу, и объявили им, что вещи должны быть немедленно вывезены отсюда (неизвестно куда), а все должны покинуть это помещение. Спросить с Берия было никому не возможно. Совершенно растерянные, ничего не понимающие люди собрали вещи, книги, посуду, мебель, грузили со слезами все на грузовики, — все куда-то увозилось, на какие-то склады... Людей, прослуживших здесь по десять—пятнадцать лет не за страх, а за совесть, вышвыривали на улицу. Их разогнали всех, кого куда. Многих офицеров из охраны послали в другие города. Двое застрелились в те же дни. Люди не понимали ничего, не понимали — в чем их вина? Почему на них так ополчились?» («Двадцать писем к другу», стр. 21—22).

Берия мог бы ответить на это так же, как и Сталин: они «знали слишком много». Поэтому их разослали по дальним городам, чтобы там без суда и без шума ликвидировать.

Наконец, была еще одна группа свидетелей — соучастники Берия: Маленков, Хрущев и Булганин. Сами по себе личности невыдающиеся, они все-таки представляли важнейшие институты: Маленков — государственную бюрократию, Хрущев — партийный

аппарат, Булганин — армию. С ними Берия думал поступить так, как поступает всякий уважающий себя бандит: честно поделить добычу — власть. Будучи на вторых ролях во время «лечения» Сталина, они после его смерти получили от Берия всю юридическую партийно-государственную власть с одной негласной оговоркой, запечатленной в новом кремлевском протоколе иерархии вождей: Берия согласился быть вторым лицом в государстве, чтобы управлять первым.

Берия был не только полицейским: как политик он был намного выше своих коллег и понимал, что Сталиным кончалась целая эпоха, что отныне стать великим и успешно править может только анти-Сталин. Действительно, выяснилось, что штыками можно завоевать и собственную страну, но управлять ею, вечно сидя на этих штыках, более чем неудобно. «Спуск на тормозах» — такой представляется мне политическая программа Берия.

Конечно, располагая только антибериевской информацией советской официальной истории и зная самого Берия как верховного инквизитора страны на протяжении почти двадцати лет, трудно представить себе, что он мог превратиться в собственного антипода. В политике, однако, возможны всякие метаморфозы. Еще Ленин пророчески предсказал перерождение своих учеников: «История знает превращения всяких сортов; полагаться на убежденность, преданность и прочие превосходные душевные качества — это вещь в политике совсем не серьезная» («Одиннадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет». М. 1961, стр. 28). Так оно и оказалось, когда, по словам Муссолини, «большевизм переродился в славянский фашизм».

После смерти Ленина партия выдвинула лозунг: «Без Ленина, но по ленинскому пути» — и попала в точку. Ленин отменил «военный коммунизм», дал нэп, сохранил Союзы, ограничил ГПУ, разрешил творческие объединения в искусстве без соцреализма, но с частными издательствами, боролся с пролеткультами, заигрывал со сменеховцами, обещал восстановить все свободы и права (Программа партии) — и умер. Страна была согласна идти по этому пути. Можно ли теперь сказать народу: без Сталина, но по сталинскому пути? Из бесконечного потока сводок сексотов Берия первым из членов Политбюро знал ответ народа на этот вопрос: великий вздох облегчения, всеобщие надежды на перемены. Берия отлично понимал, что только используя эти надежды, можно добиться успеха.

Не из любви к народу, не из ненависти к Сталину и не из раскаяния в содеянных преступлениях, а исходя из политических расчетов и личных интересов в новых условиях, Берия решил возглавить движение за реформы. Убивая Робеспьера, термидорианцы совсем не собирались сдать в музей гильотину, но когда они увидели, с каким ликованием народ встретил гибель вершителя террора, то решили воспользоваться этим недоразумением и возглавить движение за гуманность. То, что Хрушев сделал со Сталиным через три года на XX съезде (1956), Берия хотел начать сейчас же. Он и начал это, освободив 4 апреля 1953 года «врачей-вредителей» и сам же обвинив сталинско-бериевскую полицейскую систему в фальсификации, фабрикации дел и инквизиции.

Начало десталинизации и даже возникновения самого выражения «культ личности» ошибочно связываются с Хрущевым и XX съездом: впервые это выражение было употреблено через три месяца после смерти Сталина, когда Берия был фактически правителем страны. В статье без подписи «Коммунистическая партия — направляющая и руководящая сила советского народа» (безусловно напечатанной по решению Президиума ЦК) «Правда» от 10 июня 1953 года писала: «...пережитки давно осужденных партией антимарксистских взглядов на роль масс, классов, партии, элементы культа личности до самого последнего времени имели место в пропагандистской работе, проникли на страницы отдельных книг, журналов и газет». Статья констатировала: «сила нашего партийного и государственного руководства в его коллективности», а «существо политики нашей партии изложено в выступлениях Г. М. Маленкова, Л. П. Берия и В. М. Молотова».

Эту скрытую антисталинскую программу Берия, несомненно, разделял и Маленков, но Хрущев был против нее, ибо она вела к популярности Берия и Маленкова, что не входило в его честолюбивые планы. Никакой собственной программы при этом у Хрущева не было, его только не устраивало создание новой тройки — Маленков, Берия, Молотов.

Как и всякому выученику Сталина, Хрущеву была важна не программа, сталинская или антисталинская, а власть, важно было взять этот самый «руль партии и госу-

дарства» из «тех рук» в свои собственные руки. Мы уже знаем, что Хрущев этого потом добился, но добился потому, что никто из его коллег и не помышлял, что ему по плечу такая задача...

Тут история той же партии как бы вновь повторилась: Сталина единодушно выдвинули на пост генсека при Ленине, ибо его считали «тихоней» и бездарью и собирались использовать его в своих целях. Выдвигая Хрущева исполняющим обязанности первого секретаря ЦК после смерти Сталина, думали примерно то же: мужик, недотепа, партийный винтик, его так же можно использовать в своих целях, как на протяжении двадцати лет это делал Сталин...

Но вернемся к Берия и культу личности. Лучшее доказательство того, что первым инициатором курса десталинизации был лично Берия, мы находим в идеологической жизни партии. Как только покончили с траурной тарабарщиной в марте, имя Сталина стало постепенно исчезать со страниц газет и журналов. Сочинения Сталина прекращают издавать — последним оказался том 13. Издание уже подписанных к печати следующих томов его Сочинений (14 и 15) приостанавливают, а потом вообще набор рассыпают. Если в апреле и мае в передовых статьях «Правды» все еще встречается имя Сталина, то за целый месяц (с конца мая до 29 июня) на Сталина ссылаются лишь один раз! Зато после ареста Берия имя Сталина названо только за одну неделю 12 раз со всеми прилагательными в превосходной степени.

В том же плане десталинизации Берия начал пересмотр пресловутой «сталинской национальной политики».

Внимание внешнего мира было приковано только к «делу врачей», поэтому прошли незамеченными десятки «национальных дел» в союзных и автономных республиках. Все эти дела тоже создавались по стандарту 30-х годов: во всех национальных республиках СССР орудуют озверелые банды «буржуазных националистов», которые подготавливают выход их республик из «братской семьи». После систематического глумления (в 20-х годах) над всем русским теперь «старший брат» призывается поднять свою имперскую дубину против малых народов.

Берия, в котором имперский жандарм легко уживался рядом с грузинским шовинистом (после депортации чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев по приказу Берия горная Чечня и гора Эльбрус были аннексированы Грузинской ССР), великолепно понимал, что слабое место Советского Союза — не мифическое капиталистическое окружение, а двойное окружение покоренных им народов: на окраинах России и в странах Восточной Европы. Берия хотел вернуть национальную политику хотя бы к ее ленинским истокам: коренизация партийно-государственного аппарата и введение делопроизводства на родном языке. Этой цели служило решение Президиума ЦК КПСС от 12 июня 1953 года, принятое по докладу Берия. В нем было сказано:

«Президиум ЦК КПСС принял решение:

1) обязать все партийные и государственные органы коренным образом исправить положение в национальных республиках — покончить с извращениями советской национальной политики;

2) организовать подготовку выращивания и широкое выдвижение на руководящую работу людей местной национальности; отменить практику выдвижения кадров не из местной национальности; освобождающихся номенклатурных работников, не знающих местный язык, отозвать в распоряжение ЦК КПСС;

3) делопроизводство в национальных республиках вести на родном, местном языке».

Дело не ограничилось этим постановлением. В национальных республиках приступили к ликвидации института вторых секретарей. Его создал Сталин. Он сводился к следующему: первый секретарь ЦК партии союзной республики назначается из националов, а второй секретарь ЦК — русский, прямо из Москвы. Ни языка, ни истории, ни культуры местного народа он не знает, и знать ему не надо. Он глаза и уши Москвы против потенциального сепаратизма. Лишь безнадежные донкихоты из местных первых секретарей могли всерьез воображать себя первыми (такими были, например, Бабаев в Туркмении, Мустафаев в Азербайджане, Даниялов в Дагестане, Мжаванадзе в Грузии, которых ЦК поэтому снял). На самом деле первый — это второй, а номинальный первый секретарь — всего лишь национальная бутафория при нем. Это все знают и к этому все привыкли. В национальных республиках были и есть должности, которые вообще могут быть заняты только русскими или обрусевшими националами. Таковы должности командующих военными округами, начальников гарнизонов, началь-

ников пограничных отрядов, председателей КГБ республик, министров внутренних дел, управляющих железными дорогами и воздушными линиями, министров связи республик, директоров предприятий союзного значения, заведующих главными отделами ЦК. Первые заместители председателей советов министров союзных республик и первые заместители всех министров (где русский не министр) тоже обязательно русские.

Берия понял и, вероятно, убедил других, что в интересах самой партии отказаться от этой уродливой великодержавной практики и взять курс на коренизацию партийного и государственного аппарата. Начали с Украины и Белоруссии. Там даже первыми секретарями ЦК были русские: на Украине Л. Мельникова заменили украинцем Кириченко, в Белоруссии Патолычева заменили белорусом Зимяниным. В Латвии второго секретаря ЦК В. Ершова заменил латыш В. Круминьш.

До других союзных республик очередь так и не дошла: 26 июня Берия арестовали. В числе прочего его обвинили в ставке на «буржуазных националистов», как примеры приво­дились Украина, Белоруссия и Латвия!

Сталинская национальная политика на окраинах осталась прежней.

Два вопроса — десталинизация политической жизни вообще и национальной политики в особенности — были теми двумя китами, на которых Берия собирался строить свою новую программу.

Однако партия и народ еще ничего не знали о программе Берия, а Хрущев уже начал интриговать против нее:

«Президиум начал обсуждать меморандум Берия о национальном составе правительственных органов на Украине. Идея Берия сводилась к тому, что местные (нерусские) кадры должны руководить своими собственными республиками... Потом меморандум касался прибалтийских республик и Белоруссии. В обоих случаях подчеркивался принцип выдвижения к руководству республиками местных людей. Мы приняли решение, что пост первого секретаря каждой республики должен быть занят местным человеком, а не русским. Так случилось потому, что в этом вопросе позиция Берия была правильная, но он преследовал свою антипартийную цель. Он призвал отменить практику преобладания русских в руководствах нерусских республик. Каждый знал, что это находится в согласии с линией партии, но сперва люди не разобрались в том, что Берия выдвигает эту идею с целью увеличения национального напряжения между русскими и нерусскими, между центральным руководством в Москве и руководствами в республиках. В связи с этим я ответил Маленкова в сторону и сказал ему: „Слушай, т. Маленков, разве ты не видишь, куда это ведет? Мы идем к катастрофе. Берия точит свой нож“. — „Да, но что делать?“ — „Пришло время сопротивляться. Мы не должны допустить то, что он делает!“ (K h g u s h c h e v. Remembers, vol. I, pp. 356—357).

Впрочем, вспомним, что интриговать против Берия Хрущев начал еще при умирающем Сталине. Мы видели, как Хрущев обвинял Берия, что тот не скрывал своей радости по поводу смерти Сталина, но и сам, видно, скрывал ее с трудом. Правда, его радость была не полной: он боялся Сталина, но еще больше боится теперь Берия.

Как переселить Берия к Сталину (а этим заодно лишить и Маленкова его первого, и последнего, союзника) — такова была проблема, которой Хрущев посвятил отныне всю свою кипучую энергию и недюжинный талант природного хитреца. Положение, создавшееся после смерти Сталина, он рисует в весьма мрачных тонах:

«Когда Сталин умер, он оставил нам в наследство беспокойство и страх. Берия больше чем кто-либо позаботился, чтобы этот страх и беспокойство оставались среди нас живучими и постоянными. Я давно не верил Берия. Много раз я убеждал Маленкова и Булганина, что я рассматриваю Берия как авантюриста во внешней политике. Я знал, что он занят укреплением своей позиции и расставляет своих людей на важнейших постах» (K h g u s h c h e v. Remembers, vol. II, p. 9).

У нас нет никакого основания не верить Хрущеву, что именно он, соучастник Берия в заговоре против Сталина, тут же, у постели умирающего Сталина, плел интриги против Берия. Характерно, что антибериевский заговор он сначала организовывал только с членами четверки, а потом только начал завербовывать против Берия и остальных членов Политбюро, что было очень легко. Советские граждане были приятно ошарашены, когда прочли 10 июля 1953 года в «Правде»:

«На днях состоялся пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. Пленум ЦК КПСС, заслушав и обсудив доклад Президиума ЦК — тов. Маленкова Г. М. о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Л. П. Берия, направленных на подрыв Советского государства в интересах иностранно-

го капитала и выразившихся в вероломных попытках поставить Министерство внутренних дел СССР над Правительством и Коммунистической партией Советского Союза, принял решение — вывести Л. П. Берия из состава ЦК КПСС и исключить его из рядов Коммунистической партии Советского Союза как врага Коммунистической партии и советского народа».

Берия на этом пленуме ЦК не был, как не было его и на судебном процессе в декабре. Судебный процесс над ним был обычным спектаклем, который Берия много раз устраивал над другими, с той лишь разницей, что главным героем был теперь не человек, а труп.

Хрущев постоянно рассказывал своим иностранным собеседникам, как Берия был арестован и убит. Непосредственными физическими убийцами Берия у Хрущева в разных вариантах рассказа выступают разные лица, но сюжет рассказа остается один и тот же.

Согласно одному из рассказов конец Берия был такой. Хрущев убедил сначала Маленкова и Булганина, а потом остальных членов Президиума ЦК, что если Берия не ликвидировать сейчас же, то он ликвидирует всех членов Президиума. Так, вероятно, думали все, хотя каждый боялся сказать об этом другому. Хрущев не побоялся. Трудная была лишь техника проведения операции против Берия. Нормальная процедура — свободное обсуждение обвинения против него в Президиуме ЦК или на его пленуме — совершенно отпадала. Опасаясь, что как только Берия узнает об обвинениях против него, то немедленно произведет государственный переворот и перестреляет всех своих соперников. Оставалось только классическое оружие всех подлецов: обман, засада, ловушка. А поскольку по этой части сам Берия был великим мастером, надо было ловкость обмана перемножить на искусность ловушки. Поэтому операцию против Берия приурочили к началу летних маневров Советской Армии. В маневрах Московского военного округа должны были участвовать и несколько сибирских дивизий (на всякий случай, если в московских дивизиях окажутся сторонники Берия). На заседании Совета министров министр обороны, его заместители и начальник Генерального штаба должны были докладывать о ходе маневров, а поэтому было приглашено много военных. Повестка дня этого заседания, как обычно, была заранее разослана членам Совета министров со всякими проектами решений и с указанием имен всех приглашенных докладчиков и экспертов. Словом, рутинная рутин. Явились все. Члены правительства собрались в зале заседаний Совета министров, а приглашенные, в том числе и военные, расположились, опять-таки как обычно, в комнате ожидания, откуда приглашенных вызывают в зал только во время обсуждения их вопроса. Первым поставили на обсуждение вопрос о ходе маневров Советской Армии. В зал вошла группа военных во главе с маршалом Жуковым и командующим войсками Московского военного округа генералом Москаленко. Маленков объявил объединенное заседание Президиума ЦК и Совета министров открытым. И тут же обратился к Жукову:

— Товарищ Маршал Советского Союза, предлагаю вам от имени Советского правительства взять под стражу врага народа Лаврентия Павловича Берия.

Военные берут Берия под стражу и уводят в соседнюю комнату. Президиум ЦК начинает обсуждать вопрос о его дальнейшей судьбе.

Теперь, рассказывал Хрущев, мы стали перед сложной, одинаково неприятной дилеммой: держать Берия в заключении и вести нормальное следствие или расстрелять его тут же, а потом оформить смертный приговор в судебном порядке. Принять первое решение было опасно, ибо за Берия стоял весь аппарат чекистов и внутренние войска и его легко могли освободить. Принять второе решение и немедленно расстрелять Берия у нас не было юридических оснований. После всестороннего обсуждения минусов и плюсов обоих вариантов мы пришли к выводу: Берия надо немедленно расстрелять, поскольку из-за мертвого Берия бунтовать никто не станет. Исполнителем этого приговора (в той же соседней комнате) в рассказах Хрущева выступает один раз генерал Москаленко, другой раз Микоян, а в третий раз даже сам Хрущев. Хрущев подчеркнул: наше дальнейшее расследование дела Берия полностью подтвердило, что мы правильно расстреляли его.

Т. Витлин в своей монографии о Берия пишет:

«Трудно сказать определенно, был ли он расстрелян Москаленко или Хрущевым, задушен Микояном или Молотовым при помощи тех трех генералов, которые схватили его за горло, как об этом тоже говорилось. Также трудно сказать, был ли он арестован на пути в Большой театр 27 июня (где все члены Президиума, кроме него, присутство-

вали на опере «Декабристы». — А. А.), или он был арестован после приема в польском посольстве, или он был арестован на заседании Президиума ЦК... Поскольку Хрущев пустил в ход несколько версий о смерти Берия и каждая последующая разнится от предыдущей, трудно верить любой из них» (Th. Wittlin. Commissar, p. 395).

Было принято считать, что Берия арестован 27 июня. В доказательство ссылались на отсутствие Берия на вышеуказанной опере. Но в том же номере газеты «Известия», где приведен список членов правительства, присутствовавших в театре без Берия, напечатана большая политическая статья «Нерушимое единство партии и народа», где о Берия говорится как об одном из руководителей партии и государства. Однако вся статья направлена против десталинизации и национальной программы Берия. Снова повторяются фразы о «ленинско-сталинской науке о коммунизме», о необходимости борьбы «против буржуазной идеологии национализма и космополитизма» и о том, что «партия всегда предостерегала и предостерегает советских людей от беспечности и ротозейства, воспитывает коммунистов и всех трудящихся в духе высокой политической бдительности, в духе непримиримости и твердости в борьбе с внутренними и внешними врагами». Это язык сталинской статьи («Правда», 13.01.53) против Берия!

Зачем о Берия упомянули как об одном из руководителей, неизвестно. Редакция «Известий» не могла не знать, что Берия действительно был арестован за день до этой статьи, то есть 26 июня 1953 года, как об этом официально сообщила Прокуратура СССР («Правда», 17.12.53).

Суд над Берия и его шестью помощниками был инспирирован 18—23 декабря 1953 года. В приговоре сказано, что Берия был с 1919 года и по день ареста иностранным шпионом (мусаватистским в Азербайджане, меньшевистским в Грузии, английским в СССР). Далее сказано, что Берия хотел поставить Министерство внутренних дел СССР над партией и правительством для захвата власти. чтобы потом провести «реставрацию капитализма и восстановление господства буржуазии»; Берия был против «повышения благосостояния советского народа» и «с целью создания продовольственных затруднений в нашей стране саботировал, мешал проведению важнейших мероприятий Партии», «подсудимый Берия Л. П. и его соучастники совершали террористические расправы над людьми», «Берия Л. П. и его соучастники предприняли ряд преступных мер для того, чтобы активизировать остатки буржуазно-националистических элементов в союзных республиках», «судом установлено, что подсудимые Берия Л. П., Меркулов В. Н., Деканозов В. Г., Кобулов Б. З., Гоглядзе С. А., Мешик П. Я. и Владзимирский Л. Е., используя свое служебное положение в органах НКВД — МГБ — МВД, совершили ряд тягчайших преступлений с целью истребления честных, преданных делу Коммунистической партии и Советской власти кадров». Во всех этих преступлениях подсудимые признали себя виновными. 23 декабря их всех приговорили к смерти. В тот же день они были и расстреляны.

Непредубежденный наблюдатель легко может заметить, что в этом обвинительном приговоре сухая правда соседствует с большой ложью. Что Берия и его коллеги (как их предшественники, так и их наследники) — враги народа, это правда, но что они хотели поставить свою политическую полицию над партией и правительством — это ложь. Незачем было им это делать: она уже двадцать лет стояла над партией и правительством. Что данный суд в декабре происходил над группой чекистов — это верно, но что там присутствовал и Берия — это мистификация. Хорошо осведомленная и близко знакомящая бериевским террором С. Аллагуева ничего не пишет о суде над Берия. Более того, из ее слов следует, что Берия был убит сразу после ареста: «После того как Берия был арестован в июне 1953 года и немедленно же расстрелян, спустя некоторое время правительство распространило длинный секретный документ о его «преступлениях». Читка его на партийных собраниях занимала больше трех часов подряд. Кроме того, что Берия был обвинен в «международном шпионаже в пользу империализма», больше половины секретного письма ЦК было посвящено его «аморальному облику». Партийные следователи с упоением рылись в грязном белье уже не опасного противника, и еще не одно партийное собрание не бывало столь увлекательным: описание любовных похождения поверженного «вождя» было сделано со всеми подробностями. Неизвестно только, в чем ЦК хотел убедить партийную массу: к политике это не имело никакого отношения. К внутрипартийной борьбе — тоже. Документ ничего не объяснял и ни в чем не убеждал — разве лишь в том, что ханжи из ЦК обнаружили собственную грязную натуру. После 1953 года жена и сын Берия были высланы из Москвы на Урал» («Только один год», стр. 357—358).

Что Берия не было в живых во время суда над ним, свидетельствует и весьма солидный источник: согласно «Большой универсальной польской энциклопедии» Берия был расстрелян в июне 1953 года (см.: Th. Wittlin. Commissar, p. 395).

Сталин как-то заметил: «Беспечность — идиотская болезнь наших людей». И сам же стал жертвой этой болезни, недооценив подлость Берия. От той же болезни погиб и Берия, переоценив собственную подлость.

* * *

Девизом своего поведения Сталин сделал знаменитые слова Лютера: «Здесь я стою и не могу иначе. Да поможет мне бог истории» — с маленькой поправкой: у Лютера был просто Бог, а у Сталина — «бог истории». «Я не Сталин, но в Сталине и я», — говорили большевики. Понятно, что такое олицетворение всей партии в собственной персоне лишило Сталина свободы маневрирования по какому-нибудь личному капризу. Самое страшное: как каждый бог, Сталин был лишен права ошибаться. Он знал, что его первая ошибка будет и последней — бога низведут. Так и случилось..

Тбилисский Дантон все-таки оказался пророком...



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. НЕПОМНЯЩИЙ

*

НОМО LIBER (ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ)

Масштабы события нередко можно измерить величиной молчания вокруг него. Появление в 1964 году в «Новом мире» «Хранителя древностей»¹ (публикация завершилась прямо накануне «дворцового переворота», вплотную к нему) было событием большим, почему печать и молчала вглухую. Писать было кому — печатать уже боялись².

Зато и в писательской и в читательской среде только и было разговоров что о романе, повернувшем так называемую лагерную тему какой-то совсем неожиданной стороной, написанном в неожиданной манере кем-то неожиданным. Напечатанный в том же журнале, который хронологически недавно (исторически же этот момент стал после свержения Хрущева стремительно отдаляться) открыл Солженицына, «Хранитель древностей» занял место рядом с «Одним днем Ивана Денисовича» и в то же время странным образом словно бы подготовил читательское сознание к «Мастеру и Маргарите» — все это невзирая на очевидное внешнее несходство как с одной, так и с другой из двух книг эпохи. Впрочем, появлением романа Булгакова ознаменовала себя по воле (по иронии?) истории уже совсем другая эпоха, начинавшая вползать в жизнь, как удав в улицы среднеазиатского города, где происходит действие романа Домбровского

Злободневность темы, острота материала или даже просто момент обнаружения порой преувеличивают в глазах людей значение нового литературного явления, придавая ему несуществующие достоинства, что и обнаруживается впоследствии. Спустя четверть века ясно, что здесь не тот случай. Время сделало «Хранителя...» вехой, предвещавшей об опускании шлагбаума, и общественная интуиция это, кажется, уловила. Но она уловила и то, что не роман вписывается во время, а время как бы прилагается к роману в качестве инструмента, позволяющего увидеть масштаб вещи и подстроиться к нему.

Сам автор был фигура, никому практически из читателей не известная, а из писателей — властителей литературных дум и завсегдатаев Центрального Дома литераторов мало кому лично знакомая. Ясно всем было только одно: это человек из той жизни — той, которая тогда еще привычно маркировалась цифрой 1937.

Под этим знаком проходило и триумфальное обсуждение «Хранителя...» в гостинице ЦДЛ. Автора в лицо никто не знал; однако среди присутствующих был пожилой импозантный человек с солидным кожаным портфелем, и как-то так сошлось, что именно ему (впрочем, в третьем лице, поскольку полной уверенности все же ни у кого не было) выступавшие и адресовали свои восторги. Народу набилось очень много, в дверь протискивались все новые люди, один был даже с кошелкой, в которой были книжки и бутылка кефира. Должно быть, как раз этот кефир особенно возмутил сидевшего рядом с дверью, он стал громким шепотом убеждать постороннего выйти: «Поймите, вам тут нечего делать, тут ра-бо-та-ют, обсуждают роман». «А мне интересно, как его обсуждают», — не сдавался тот. «С какой это стати вам может быть интересно?» «Как с какой? — весело удивился владелец кефира. — Роман-то я написал».

Знаменитый — уже в то время один из самых ведущих — театральные критик поз-

¹ № 7, 8.

² Единственную рецензию «Говорящая древность», написанную Игорем Золотуским, высоко оценившую роман и напечатанную в далеком от центра журнале «Сибирские огни» (1965, № 10), можно тоже считать фактом в своем роде историческим

вонил мне однажды утром: «Скажи — кто этот вчерашний потрясающий старик, что у тебя был?» — «Как кто? Я же вас, кажется, знакомил, Домбровский». — «Тот самый? Я почти всю ночь не спал, его вспоминал...» Какой там старик, — ему и шестидесяти тогда не было.

С авоськой или раздутым, тертым-битым портфелем, в задрипанном пальто, со всегда расстегнутым воротом рубашки, шаркающий, сутулящийся, высокий, без зубов (потерял г а м), но с буйным, никак не редевшим и, кажется, даже не седевшим с годами черным чубом надо лбом, с манерами, в которых демократическая нецеремонность более чем бывалого человека как-то загадочно припахивала несомненным аристократизмом, с гордой посадкой головы и лицом то ли цыганским (однажды, кстати, гадал жене моей Тане и такого наговорил, о чем она хорошо знала, но он-то никаким образом знать не мог), то ли казачим, он был красив и значителен, как состарившийся и трепанный в битвах орел; и выглядя на первый взгляд как истинный человек толпы, как первый встречный, в следующий момент — стояло на мгновенье соприкоснуться с ним, — не оставяла сомнений, что перед тобой нечто необычайное: как будто свернул среди обтертой до круглой гладкости гальки дикий, с нетронутыми острыми углами алмаз.

Существование его было, в общем, нищенское. «Хранитель...», прорвавшийся в щель между двух молчаний, кормил его недолго: вскоре после журнальной публикации последовало единственное отдельное издание тиражом, рассчитанным именно так — чуть немногим более 100 тысяч, — чтобы по тогдашним издательским порядкам надолго исключить возможность переиздания, а оно, безусловно, могло быть не одно. Более или менее постоянный заработок давали новомирские рукописи, на которые он писал рецензии — хирургически точные, откровенные, как разговор с глазу на глаз, и всегда необыкновенно корректные, даже в случаях полной беспощадности. Иногда денег в доме просто совсем не было — главным образом, конечно, тогда, когда жена его Клара уезжала в Алма-Ату и дом оставался без хозяйки; однажды он, позвонив, приехал ко мне на другой конец города за пятью рублями. Зато когда впервые получил каким-то образом за одно из заграничных изданий (их становилось все больше на многих языках) что-то похожее на настоящие деньги — разумеется, по грабительским правилам службы «авторских прав» в сумме ничтожной, — то тут же накупил в пресловутой «Березке» чуть ли не на все заморского спиртного, икры и другой роскоши и назвал полный дом гостей, в том числе и неведомо почему странных волосатых мальчиков и не менее странных девочек, которые, казалось, вряд ли толком знали, у кого они в гостях и почему здесь — в доме, явно не причастном к движению хиппи, — виски «Белая лошадь» приходится пить из майонезных банок. Впрочем, дом — слишком щедро сказано: жил он тогда в коммуналке, в одной небольшой комнате, другим жильцом был бодрый и приветливый старикан, с которым поддерживались патриархально-соседские отношения; называл он его дядя то ли Миша, то ли еще как-то и был уверен, а может, и просто знал, что дядино с ним соседство нравится госбезопасности и соответственно вознаграждается.

Квартиру Союз писателей обещал. Но стоило ему подписать коллективное письмо, кажется, в чью-то защиту, как его вызвал Ильин — был такой «при писателях» генерал, назывался оргсекретарем московской организация СП — и сказал так: «Мы тебе квартиру хотим дать, а ты хулиганишь». Фраза дает ясное представление о месте, какое было отведено в сознании начальства автору чуть ли не всемирно известной книги. Правда, что касается хамского обращения чиновника к писателю на «ты», это было делом обычным, как бы даже официально принятым неофициальным тоном, знаком отечески-хозяйского отношения власти к пишущей братии. Что ответил Домбровский Ильину, мне неизвестно, но не сомневаюсь, что он тут же поставил патрона на место и вернул ему его «ты», притом сделал это вовсе не нарочито, скорее всего даже и не нарочно. Познакомившись, кстати, со мной и сойдясь поближе, он тут же потребовал от меня, мальчишки рядом с ним (и не только по возрасту, что и говорить), чтобы я обращался к нему тоже на «ты» (для чего мне, между прочим, не понадобилось ни малейшего усилия).

Вообще у него для всех был в конечном счете один стиль — что для начальства любого ранга, что для последнего ханыги из пивной. «Он схватил мою шапку, а я отнял. Он мне тогда дал. Ну, я ему тоже дал...» и т. д. — это он рассказывал, лежа со сломанной рукой и здоровенным синяком на левой скуле, который в течение вечера все сползал и сползал вниз и в конце концов оказался где-то на плече. Сломанная рука да-

ла ему оплату по бюллетеню от Союза; и он и Клара сетовали, что поправка идет довольно быстро: на эту руку они жили.

Одно время он приходил ко мне в редакцию «Вопросов литературы» (где считался своим автором: помогал Кларе опубликовать ее исследование о забытом литераторе, авторе «Евгения Вельского», одного из подражаний «Евгению Онегину», а позже мы напечатали два замечательных эссе — одно под интригующим названием «Ретлендбэконсоут-гемптоншекспир»³, другое же, о Пушкине и цыганах, опубликовала Клара уже после его смерти⁴) и тащил пиво пить. Однажды пришел и сказал: «Пойдем на Центральный рынок пиво пить, там в столовой замечательные котлеты!» Пошли; котлеты были настоящие жуткие общепитовские котлеты, зато пиво хорошее; когда же я, с усилием доканчивая третью бутылку и увидев, что он разделался с пятой и собирается продолжать, сказал: «Юра, останись же, я ведь не могу, как ты», он характерным своим жестом как бы привычной и безнадежной правоты резко уронил голову (чуб при этом свешивался на пол-лица) и тоном шутиливо-скорбного всезнания констатировал: «А вы вообще никто ни ... не можете, что я могу»... И мы еще сколько-то посидели и поговорили — говорил, собственно, он — то ли о Шекспире, то ли, это вернее, о пропавшей, пока он сидел, рукописи его книги в семи повестях; книга была на тему «Поэт и его муза», и одна из частей была о Пушкине, и заканчивалась она приездом в Михайловское фельдшера с приказом немедленно собираться в Москву пред ясные очи нового, недавно казнившего бунтовщиков государя и бесшабашным: «Ну и поеду — и будь что будет, ну и ... с ним со всем, ну и тем лучше!»; и вся рукопись пропала без следа, от нее чудом осталась «смуглая леди».

Здесь, где за склизкими пластмассовыми столами на тонких алюминиевых ножках ели и пили, не снимая верхнего, чужие друг другу люди, половина приезжие со всей Руси великой, он чувствовал себя как дома. Ни в какой толпе для него не было чужих, были только незнакомые. Сам он мог выглядеть чужим лишь в какой-нибудь респектабельной обстановке, в среде с оттенком, пусть самым невинным, изысканности или кастовой особенности; в такой компании его было представить так же трудно, как в президиуме и в галстук. В его квартире (квартиру со временем все-таки дали) рядом с личностями весьма известными и уважаемыми продолжали появляться, как это было в описанном выше случае, люди совершенно иного облика. «Это мой друг Вася, в пивной познакомились» (посидели или постояли рядом за столиком, разговорились о жизни — и вот уже друзья, уже приглашает на день рождения); разница между именитым собратом по перу и случайным, чуть ли не из подворотни, знакомцем, кажущаяся самоочевидной, для него не существовала, он плевал на социальный статус, он мог, как Пушкин, сказать: мне с любым интересно, от царя до будочника, — и был, кстати, одинаково взыскателен к тому и к другому: ожидал от каждого сомасштабности своему к нему вниманию и расстраивался, если ожидание не оправдывалось. Собственно, он со всем человечеством и мировой историей был на «ты», здесь для него тоже никого чужого не было, все было так же, как вокруг нас.

Как-то я (это было вскоре после выхода на наши экраны «Ромео и Джульетты» Дзеффирелли) спросил, что он думает о монологе Меркуцио в первом акте — про сны и королеву Меб, — зачем понадобилась автору эта прихотливая фантазия, с каким-то модернистским своеволием сунутая в сюжет, к которому, по видимости, не имеет отношения. Он тут же прочитал мне краткую лекцию о театре и актерам того времени и объяснил, что Шекспир просто вынужден был написать этот монолог. «Понимаешь ты, — это у него была такая прическа: «понимаешь ты?», — у Шекспира в труппе был на эту роль замечательный актер. А роль без монолога — это тогда была не роль! Так, вроде массовки. И актер стал скандалять, заявил, что играть не будет без монолога, что это, мол, его унижает; может, грозил, что вообще уйдет, так тоже могло быть. А он без этого актера великолепного не мог обойтись, вот и все. Ну и что, и сочинил ему». Это не отвечало на вопрос о связи монолога с действием; но тут-то он отвечать и не собирался, тут материя тонкая и допускает различные толкования; тут, собственно, тайна творчества, а ее-то касаться он и не желал, эту грань не переступал. Он брал на себя ответственность судить лишь о том, что можно крепко поставить на землю, увидеть, потрогать, обосновать четко и просто, исходя из любого понятных вещей, которые всегда были и всегда есть. Мог ради этого и присочинить. То есть, вернее, вообразить то, что могло быть.

³ «Вопросы литературы», 1977, № 1.

⁴ Там же, 1983, № 12.

Он ведь и прозу свою так пишет — словно и не создает, а именно рассказывает, как было дело, и тут же поясняет все необходимое, чтобы его верно поняли, не играя с читателем ни в какие художественные игры. И добивается ощущения, что это как бы вовсе и не художественная проза, а подлинная бытность, чуть ли не документальная, — взятая хотя бы пространное, со сносками начало «Хранителя древностей», почти трактат об алма-атинском соборе и его создателе, имеющий к сюжету романа отношение вроде бы несколько не большее, чем монолог Меркуцио к сюжету трагедии, но для большого сюжета, для всей правды совершенно необходимый. Ему нужно передать свое ощущение преемственности жизни и культуры, непреложно вписать историю хранителя древностей Зыбина в историю, где архитектор Зенков — один из ближайших соседей. Дальше все уже само собой протянется и расширится в бесконечность времен и пространств, где не только Шекспир и Бербедаж совсем рядом с тобой, но и Перикл, и Сулла, и кривой Гнедич, автор русской «Илиады», остановившийся у рыбацкого костра, и Понтий Пилат с первосвященником Каиафой. Исторические личности любого масштаба, на каком бы расстоянии они ни находились, он ясно видел на той же горизонтали, что и свою собственную повседневную жизнь: весь опыт, вся практика, от барачного апокалипсиса ГУЛАГа до письменного стола в собственной московской квартире, — все это из того же теста, что и мировая история с ее войнами, переворотами и переселениями народов, и наоборот, ибо масштаб для всего один. Его фамилярная трезвость и простота взгляда на мир и историю наводили порой на мысль, что из него мог бы выйти незаурядный политик — если бы этому не мешали органическое благородство, прямота и отвращение ко всякой корысти, или крупный ученый — если бы он не был художником. Впрочем, последнее неточно: разум исследователя и художническая натура в нем как раз тесно и своенравно сочетались; хозяйский, несколько мужицкого покроя реализм отношения к миру иногда рождал мысли и ходы чуть ли не сюрреалистского толка, но обоснованные столь трезво и просто, словно так только и может быть, как он говорит.

Помню, он приезжал к нам читать вслух только что законченные главы «Факультета ненужных вещей»⁵ — страницы, исписанные по-детски крупным, не очень укладываемым и очень четким почерком и словно еще не остывшие, прямо из-под руки; и однажды это была как раз та глава, где Зыбин хватает следователя за глотку, — у меня тогда, да и потом, возникал вопрос, который я так и не решился задать: было ли? — ведь немислимо представить... Не знаю ответа, но что с ним-то очень даже могло быть, нет у меня ни малейшего сомнения. Потому что он ведь и ничего не боялся. Как мальчишка, еще не подпавший целиком под власть инстинкта самосохранения (он, кстати, и смеялся тоже по-детски — самозабвенно и как бы захлебываясь). И не оттого, что был необыкновенно крепок, жилист и очень силен, а оттого, что не знал, что такое начальники (будь это следователь или пахан). Вернее, знать не хотел: в его натуре просто не было места для чувства субординации. Может быть, поэтому он и уцелел как человек — и даже как организм. Разговор Зыбина с бабой-следователем — это, безусловно, он сам, Домбровский. Зыбин сокрушает Тамару не логикой, не убежденностью или убедительностью, ни даже стойкостью, а тем, что говорит с нею — подвластный с властью — на равных, словно он и не на допросе. Но эта позиция равенства оказывается позицией высоты просто потому, что за ним нечто такое, что выше их обоих, некий источник человеческого достоинства, а за следователем этого нет. Тамару даже немного жалко: она ведь чувствует, что у него это есть, а у нее нет, и потому сделать с Зыбиным ничего нельзя.

Когда он с гордостью говорил о своей зековской жизни: «Я никогда на них не работал», можно было быть уверенным, что это правда. Как оно получалось, не знаю, но убежден, что так было. Тут достойный изумления, редчайший в советском обществе случай твердого и полного правосознания, в этом Домбровский был почти что монстр. Только правосознание было не внешней, юридической природы (хотя в судебных-то и правовых делах он был дока), а той же, что и это вот таинственное чувство, называемое человеческим достоинством. Думаю, он не слышал про идею русского мыслителя И. Ильина об истинном правосознании как категории религиозной, но знаю, что он думал о бессмертии души и о Выснем суде над всеми человеческими деяниями и помыслами, но самое его незнание субординации, то есть шкалы «ценностей», придуманных людьми и потому условных, призрачных, оно-то как раз происходило из органи-

⁵ «Новый мир», 1988, № 8—11; впервые — Париж, YMCA-PRESS, 1978.

ческого чувства и ерархии — шкалы ценностей объективных, предвечных, то есть из простого, заданного нам изначала ощущения, что существует правда и ложь, высокое и низкое, белое и черное, и что это — абсолютно никто не смеет устанавливать другой порядок или делать из него исключения, считая себя или кого-либо на особом положении, и что все люди равны перед этой мерой человеческой порядочности — мирской, житейской, будничной мерой присутствия Бога в наших делах и помышлениях. Предвечная, в конечном счете мистическая данность эта была его гражданским достоинством, источником сознания человеческих прав и основой жизненного поведения; вот почему этот отсидевший двадцать лет человек был и оставался всю жизнь свободным человеком, на почитаемой им латыни homo liber, где liber — и независимый, и прямодушный, и откровенный, и благородный.

Душа человеческая по природе христианка, сказал Тертуллиан. И вот пример: жизненное поведение того, о ком я рассказываю. Извне этого сразу, может, и не заметишь — тем и хорош пример. Идеи и убеждения могут быть всякие, но душа-то не столько в идеях сказывается, сколько в поведении. Взять хотя бы его «научную» убежденность в множественности обитаемых миров: «Неужели вы думаете, что Бог создал эту великолепную гигантскую лабораторию со всеми ее планетами, звездами, галактиками, квазарами, черными дырами и прочим, чтобы человек один-одинешенек по ней разгуливал, трогал и наслаждался познаем? Не слишком ли много мы на себя берем? Абсурд!» Аргумент этот с его базаровской терминологией (природа не храм, а мастерская, то бишь «лаборатория») не кажется мне, в отличие от Г. Анисимова и М. Емцева, ни «козырным», ни «красивым», ни даже «странным»⁶, а, напротив, до тривиальности естественным для рационалистического подхода. Приписывая божественному Замыслу свою собственную «демократическую» логику, он словно отгораживается от непостижимости этого замысла, возложившего на человека, «одного-одинешенька», и в самом деле «слишком много» (а потому «слишком много» от человека и требующего — не только «разгуливания» и «наслаждения познаем»); он словно сторонится холодных бездн бытия, где одиночество человека перед лицом «равнодушнoй» природы может быть восполнено вовсе не по нашей логике, а только и единственно непостижимым, безграничным действительно до «абсурда» великодушным и взыскательностью Создателя к своему созданию.

Вот тут и противоречие между «убеждением» и душою. Ибо возможно ли представить, чтобы Домбровский, требуя от Бога людской логичности, в своем собственном поведении тоже предпочитал логику — великодушную?

О его христологии — как она представлена в «Факультете...» и приложенном к нему блестящем и грандиозно-наивном исследовании судебного дела Иисуса — можно сказать, что это как раз тот случай, когда он попытался-таки алгеброй рассудка поверить то, что алгебре не подлежит, измерить Богочеловеческое человеческим. Он был глубочайше увлечен, был пленен этой темой, а со стороны фактической и исторической начитан в ней отменно; что же до стороны сущностной, то... Однажды, едучи в метро вместе со мной, Таней и еще кем-то, он поделился такою вот мечтой: издать в серии «Жизнь замечательных людей» книгу «Иисус Христос». Нас, естественно, это рассмешило...

Разум исследователя, а натура — художника... Он мог бы повторить переданные Пушкиным слова Дельвига: чем ближе к небу, тем холоднее, — и даже там, где никому историческому исследованию уже не место, где и самой-то истории нет, а есть тайна, превысшая небес, упорно стремился обойтись земными, домашними мерками человеческого разума. Но вот чем здесь не пахло, так это ренановщиной, в противном случае не было бы ничего смешного, то есть человечески привлекательного.

Под ренановщиной я в данном случае разумею чистую познавательность, отвлеченно-научный, внесердечный «интерес». Здесь было совсем другое. Мощный разум его раз навсегда вцепился в тему, к которой властно тяготело сердце. Оно влеклось к тому Образу, которым Блок в роковую минуту своей духовной жизни вынужден был помимо и против собственной воли, только чтобы спасти валяющуюся в тартарары, в хаос и уголовщину гениальную поэму, освятить финал «Двенадцати». Но в отличие от Блока Христос для Домбровского не соломинка для утопающего, а единственная твердая

⁶ Григорий Анисимов, Михаил Емцев. «Этот хранитель древностей» (в кн.: Юрий Домбровский. Факультет ненужных вещей М. «Советский писатель». 1989, стр. 715).

нравственная почва; вот поэтому образ Сына Человеческого — в сердце «Факультета...», в эпицентре романа, а стало быть, и всей диалогии.

Как-то пришел к нему известный тогда диссидент-марксист (ныне известный же политический деятель) и предложил сотрудничать в создаваемом «вольном» марксистском журнале. Что-то у них там не ладилось, он рассказывал, сетовал на внешние препятствия и внутренние разногласия. «Я послушал, послушал, и спрашиваю: а вы в Бога-то веруете? Он отвечает: ну что вы, конечно нет! А я ему говорю: ну вот поэтому у вас ни ... и не получается...» И с комическим отчаянием уронил буйную голову. Он был прав, конечно. О как прав был бы он, сказав это сегодня.

Известно: стиль — это человек. Многое из того, что я говорю, если не все, можно было бы заключить из анализа его прозы и стихов (стихи его — тема особая, я касаться ее тут не буду, но ах как он, беззубый, завораживающе произносил их, крепкие, порой изумительные по звуку, полные мысли и движения, с тяжелой сильной поступью, какие-то независимые, ни на что решительно не похожие, кроме него самого!). Его романы — это он сам. По абсолютной прозаичности манеры, плотной приземленности повествования, опоре исключительно на здравый смысл, железной логичности ходов и мотивировок, полном отсутствии претензий на поэтичность его проза — устройство из массивных деталей. Но это устройство, предназначенное летать, — и оно летает как птица. Сама конструкция оказывается воздушной; вещь набирает неожиданную высоту, и ты не замечаешь, в какой момент вынужден задраить голову к небесам. Обычное оборачивается необычным, самые прозаические ситуации обрушивают тебя в глубочайшую метафизику бытия и человеческой души. Древняя женщина царского рода, неведомая красавица, кажется современницей, чуть ли не соседкой героя, а ее убийство — едва ли не очередным из преступлений щедрой на преступления эпохи; сюрреалистическая фантазмагория пробирается, как тот удав, в обыденнейший быт по законам самого этого быта, ничем от него не отличаясь; обычный человек оказывается одним из персонажей многотысячелетней истории, и от этого человека зависит, как эта история пойдет и куда; души людей делаются прозрачными, проницаемыми для взгляда, небо опускается близко-близко, и от этого не становится холодно, Бог ходит по пыльным улицам советского города среди нас — и все видит. И это не от «мировоззрения» или «убеждений», а от чувства правды. Правды, рассказанной тебе и растолкованной так ясно, подробно и исчерпывающе, что в итоге ты упираешься прямо в тайну бытия.

Так что логика логикой, рассудок рассудком, но душа-то его и в самом деле христианка. Необыкновенно суровый, просто-таки непримиримый к мнениям и идеям, которые считал неверными или несправедливыми, резкий в суждениях и на словах (определить кого-то как сволочь ему ничего не стоило), всегда он никогда никого не судил и л. Осуждая кого-нибудь, мы тем самым, как нам мерещится, словно восполняем свою собственную человеческую неполноту. В нем этой ущербности не было, в нем полнота жизни была ключом, и именно отсюда его объективность. Сам участник и герой событий жутких и чудовищных, он, описывая эти события, находясь в их гуще, поражает беспристрастностью, остается чужд каким бы то ни было идеологическим, «партийным» интересам и вообще субъективным оценкам (это притом, что, скажем, Аюпова в «Хранителе...» написана так, что у меня от ужаса и ненависти под коленками дрожало при чтении), — чужд всему временному и суетному, словно смотрит откуда-то сверху... Вот оно; вот почему, видно, появляются в финале «Факультета...» марсиане; вот зачем, стало быть, так нравится ему мысль о «братьях по разуму»: кто-то же должен смотреть на нас сверху! Но без Христа у него, как и у того марксиста, «не получается», тут одними марсианам не обойдешься, необходима иная высота — именно с нее, в конечном счете с нее он и заставляет взглянуть на ту скамейку, где сидят рядышком освобожденный зека, обреченный следователь и тот, что стал стукачом, взглянуть на них на всех оттуда, откуда все видно, все понятно и всех жалко.

...Вспоминаю рассказанную им историю о том, как его посадили в первый раз. Был человек, который на службе то ли подлог совершил, то ли растратил казенные деньги, — вопрос записали в повестку дня профсоюзного собрания и стали на нем вора прорабатывать. Время было уже такое, что обычное уголовное обвинение довольно быстро стало превращаться в политическое, и Домбровский почувствовал это немедленно. И конечно, тут же поднялся и сказал: братцы, что же это, мол, происходит, куда вы тянете, жулик-то он жулик, но зачем же из него делать врага народа, не губите

человека! Люди и в самом деле опомнились — тогда это было еще возможно, тем более что воры уже становились во всяком случае симпатичнее, чем «враги», — и спасенный чуть ли не со слезами благодарил своего спасителя. Вот он-то через некоторое время и посадил Домбровского — добровольно или из-под нажима, этих подробностей я не знаю. Такой оборот дела был для него ударом не меньшим, чем сама посадка. Во всяком случае, все время, что он сидел, его это обстоятельство мучило, и порой, признался он, ему казалось, что он должен выжить и освободиться только для того, чтобы найти и уничтожить иуду — или, по крайней мере, крепко набить морду.

Прошло время, и он оказался в Алма-Ате. «И вот однажды прихожу я в библиотеку, захожу в читальный зал — и вижу его. Он сидел спиной ко мне, но я его и по спине все равно узнал, столько я о нем думал. Я подхожу к столу и останавливаюсь рядом. Стою. Проходит несколько секунд, он поднимает голову, смотрит — и мгновенно узнает меня и белеет. Я говорю: вставай, пойдём. Он послушно, тихо встает и медленно идет к двери. Я за ним иду. И мы входим в коридор. Там длинный такой коридор. Он идет так же тихо по коридору. А я за ним. Во мне все кипит, и я отчаянно думаю: что я с ним сейчас сделаю? И так мы с ним тихо идем. Вдруг он останавливается, поворачивается ко мне, и начинается истерика. Его прямо бьет, он весь дрожит и кричит: ты был всегда один, у тебя никого и ничего не было дорогого, ты всегда был как бродяга и босьяк, ты никого не любил никогда и сам никому не был нужен, а у меня жена была, семья, они бы без меня погибли, ну и так далее...»

И он замолчал, словно с задумчивым сокрушением вглядываясь или вслушиваясь в ту давнюю сцену. И я осторожно спросил: «Так... что же ты с ним сделал?» И он так же задумчиво ответил: «Ну что с ним можно было сделать... Он был уже убит, понимаешь ты? Не убивать же его второй раз... Что я сделал... Ничего не сделал. Подошел к нему: ладно, говорю, хватит, пойдём выпьем». И на этих словах Юра невольно повторил тот давний жест — легкий взмах руки, так ударяют по плечу. И я разинул рот. И тут же мне стало смешно это мое удивление. Удивляться было нечему — ведь я уже неплохо знал его.



АНДРЕЙ НЕМЗЕР

*

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Заметки на полях книги о критике и критиках

Критику не читают. Она отстаёт от публицистики. И от прозы (на сегодняшний день это, видимо, значит: от «Доктора Живаго», «Чевенгура», «Жизни и судьбы»). Кажется, даже от поэзии. Кому нужны споры о сюжетах и метафорах, когда страна ждёт не то повышения цен, не то гражданской войны, не то сильной руки?.. С другой стороны: никто уже о художественности не говорит, в текст не смотрит, о вечном не думает. Критики выродились в публицистов... Так выродились все-таки или отстали? Да какая разница! Не важно. Все равно с критикой плохо. Ее не читают. Не покупают. Не издают. Не, не, не...

Все правильно. И все уморительно похоже на то, что слышалось со всех сторон десять, двадцать, тридцать лет назад. Сколько читаешь о критике нашей, столько нарываешься на интонации, знакомые по сказке о Золушке. Бранят и бранят ее мачеха и сестры, не замечая, как меняется бедная дурнушка. Тянется и тянется вечная сказка — только без счастливого конца. Может, даже и съездила Золушка на бал, оттанцевала с принцем, очаровала вельмож, поэтов, щеголей и официантов, — только никто этого не заметил. Не бегают по городу геральды с хрустальной туфелькой. По-прежнему Золушка «отстает», «не умеет», «замыкается в собственных проблемах», «взлетит в облаках» — перебирает чечевицу. Времена меняются — брань остается прежней: оттенки, привносимые с изменениями общественно-политического пасьянса, сути дела не меняют.

Между тем если кто и делает критику сегодняшнюю похожей на вчерашнюю, так это в первую голову сама читающая публика. Критика живет в атмосфере подозрения, смешанного с раздражением, — то ли терпимое зло, то ли непозволительная роскошь, то ли бессмысленная, незнамо кем навязанная словесности нагрузка. Разбираться

же надобно не с контекстом восприятия, но с самой критикой.

Привычный парадокс: критика, то есть дисциплина, толкующая культурные феномены, сама все больше нуждается в истолкованиях. Во всяком случае такая критика, к какой привык за последние десятилетия наш читатель. Тот читатель, что вовсе критику не игнорировал и легко отличал ее от директивных документов по идеологической политике (политизированной идеологии?), стыдливо и в то же время глумливо маскируемых под статьи и рецензии (с равным успехом их маскировали под научные монографии).

Выражение «критика критики» звучит не то слишком учено (желающие могут вспомнить Белинского, а то и Гегеля), не то просто нелепо, но появляться на страницах литературных изданий стало оно не случайно. Вчерашняя (да и сегодняшняя) критика обречена на рефлексию, иногда скрытую, иногда явную, порой удачную, но чаще не слишком, временами раздражающую, но, бывает, и восхищающую. В 1970—1980 годах критик много думал о себе и, кажется, не собираются резко обрывать это занятие. Поэтому появление — чрезвычайно симптоматичное — книги Сергея Чупринина «Критика — это критики. Проблемы и портреты» (М. «Советский писатель». 1988¹) наводит на некоторые размышления общего плана. Именно общего, и потому читателю предлагается не рецензия, а «заметки на полях». Рецензию на эту книгу я бы написать не смог. И вот почему...

Читая книгу С. Чупринина, пытаюсь инвентаризовать свои впечатления и как-то выстроить диалог с автором, я все время нарушал золотое правило рецензента — думал о том, чего в книге нет. Началось это

¹ Почему 1988, не знаю. По моему, никто, включая автора, до лета 1989 года ее не видел.

задолго до выхода в свет совписовского издания: книга Чупринина прорисовывалась по мере появления отдельных очерков-портретов в периодике, по большей части в «Вопросах литературы» и «Литературном обозрении». Авторская установка на циклизацию, на будущий сборник была очевидной. Очевидными выглядели и принципы подхода к материалу. Принципы эти не были личным достоянием С. Чупринина, как в известном смысле не являлось личным достоянием автора найденное точно для этой книги название.

Разумеется, заголовок может, и должен, восприниматься соответственно, то есть с долей скепсиса. Не хотел же С. Чупринин, в самом деле, сказать, что только девятнадцать его избранных достойны нашу критику представлять, не закрывал же он свой список на вечные времена, не отвергал же с порога других претендентов на «вакансию критика»? Все так, не говоря уж об авторском праве на избирательность и пристрастность... И все-таки все не так. Список С. Чупринина был убедителен, покуда читатель (я, например) доверял исходному принципу, покуда верил: «Критика — это критики». Или, выражаясь не столь афористично, но определенней: «Критика — это ансамбль литераторов с выраженной индивидуальностью, стабильной стилистической манерой, характерным и узнаваемым типом творческого и общественного поведения. Слово «ансамбль» употреблено не случайно. Фактурность чупрининских героев, их твердая приверженность тем или иным литературным ампула, их узнаваемость, о которой еще придется сказать, подразумевают и определенный образ целого, того, что автор книги именуется критикой. В рамках этого целого каждый критик не только играет самого себя, но и старательно подыгрывает (не в политиканском, а в театральном смысле) другому, оттеняет чужую индивидуальность, задает нужные контрасты, занимает подобающую позицию в мизансцене... И зритель (простите — читатель) видит все время не только отдельных исполнителей, но и их взаимоположение, не только восхищается или негодует, услышав очередную реплику, но и оценивает сложно выстроенный диалог — он приглашен на спектакль и должен это понимать. Иначе — масса недоумений и страстное желание думать не о том.

Роль, ансамбль, спектакль... Неминуемо возникает вопрос о режиссере, и, быть может, иной из моих читателей «ждет уж рифмы розы», то есть фамилии — Чупри-

нин. Но, увы, С. Чупринин отнюдь не режиссер спектакля, о котором идет речь: он его участник, одновременно взявший на себя труд хроникера, на мой взгляд — чрезвычайно добросовестного.

Возьмите любую дискуссию в первой тетрадке «Литературной газеты», любой «круглый стол» в толстом журнале, любой представительный сборник критических статей, прочитайте состав участников — положите руку на сердце признайтесь: разве вы не знаете уже половину из того, что вам еще предстоит прочесть? Разве не служит для вас фамилия критика сигналом, условной эмблемой, по которой вы сами, если не впервые прикасаетесь к делам литературным, способны выстроить искомый текст? Разве не этим же золотым правилом руководствуется любой мало-мальски поднаторевший редактор, заказывая рецензию, статью, обзор, диалог и т. п.? Как редактор знает (разумеется, не в деталях), чего ему ждать от потенциального автора, так и читатель (пусть в еще более общем плане) догадывается, чем его одарит уже знакомый критик. Двойной пресс редакторского заказа (не обязательно формулируемого прямо, но ведь и критик не вчера на свет родился и понимает, зачем его «позвали») и читательского ожидания — могучая сила, главная причина ролевого поведения в критике. Как ни парадоксально, но именно творчески неординарная личность, масштабно заявившая о себе граду и миру, очень быстро оказывается максимальной не свободной.

На эту тему мне уже приходилось писать, и потому для краткости позволю себе авторитетную цитату: «Ага, говорит читатель сборника «Взгляд», все в порядке: Л. Аннинский — парадоксален, А. Бочаров — аккуратен и «стратегичен», Н. Иванова — горяча и чуть тороплива, М. Эпштейн придумывает новые слова, Вл. Гусев цитирует Тургенева... Ага, картина ясная...» («Дружба народов», 1988, № 12, стр. 247). Описывая сборник критических статей «Взгляд» (М. «Советский писатель», 1988), я позволял себе ироничный тон прежде всего потому, что не до конца ощущал серьезность того, над чем посмеивался.

Да, конечно, критики (и критики первого ряда — так думал я тогда и продолжаю думать сейчас) работали в своих традиционных ампула, но ведь работали же. У читателя была счастливая возможность увидеть не только знакомые лица, но и знакомые мысли: конфликт между привычной маской и свободным поиском истины жил

(и живет) в каждом тексте, который хоть чего-то да стоит,— делом читателя был выбор. Читатель мог решать, что важнее: «парадоксы» Аннинского, «хлесткость формулировок» Н. Ивановой, «объективность» Е. Сидорова, «наставительность тона» А. Туркова и т. д.— или их живая мысль, конкретные наблюдения, свободные суждения, победы и промахи.

Каков он, этот выбор? Однозначный ответ дать трудно. Я не социолог, специальных исследований не проводил, но все же: на мой взгляд, читатель пока еще предпочитает «портрет» — оригиналу, образ критика, созданный им самим, коллегами, литературной средой, журналами и прочим, — тексту того же самого критика, если угодно, «В. Кардина» или «Вл. Гусева» — В. Кардину или Вл. Гусеву. Хорошо это или плохо? Кто знает; во всяком случае, мы привыкли именно к такой ситуации, и, думается, в 60-х — первой половине 80-х годов ситуация и не могла быть иной. Отсутствие свободы по-своему стимулировало «оригинальность критического суждения»: стилистическая энергия, нетривиальность цитатного арсенала, пристрастие к навеки избранным темам — эти или иные особенности письма и творческого поведения, работающие на создание «образа пишущего», помогали противостоять заговору оглуляющей и единообразной лжи. Яркий, запоминающийся (а без повторений не запомнишься) критик аргументы вызывал доверие, ибо он отличался от массы безликих. Установка на самовыражение — в условиях духовно свободного социума иногда разумная, а иногда не очень и, уж точно, не общеобязательная особенность работы критика — становилась единственной нормой, патентом на внимание публики. Слушали тех, кто говорил по-своему, забывая, что очень даже «по-своему» можно изречь суждения, лежащие, мягко говоря, вне сфер истины, добра и красоты.

Да, миновавшие прекрасные для критики годы дали когорту мастеров — эзопов язык способствует не только развитию беллетристики и, может быть, даже не столько беллетристики. Но та же духовная ситуация плодила и литераторов совсем другого сорта, тех, о которых вроде бы и говорить в приличном обществе не положено, разве что поминать чохом в газетной скороговорке или официальном отчете. Годы расцвета большинства чупрининских героев были и годами ошеломляющего расцвета литературной сродности.

Тот, кому нечего или боязно говорить, а высказаться хочется либо надобно, становится «профессиональным халтурщиком» (при всем комизме этого оксюморона, суть дела он передает точно), журнальным кондотьером, всегда готовым расцвести более или менее замысловатыми узорами ту или иную болванку, предложенную (прямо или опосредованно) в очередном органе литературных и нелитературных властей. Судьба «профессионального халтурщика» — тема весьма интересная и даже поучительная, здесь есть своя драматургия (а иногда и своя драма). К тому же следует помнить, что многие границы достаточно условны, а общественный цинизм последних десятилетий немало способствовал их полной отмене. Ситуация вынуждала (а кое-кого и вынудила) к свободному курсированию из зоны творчества в зону халтуры. Журнальный редактор (младший или не пишущий) хорошо знает волшебное слово «надо», он умеет находить исполнителей необходимого закала, он привык балансировать и выгадывать, жертвовать пешку, дабы выгадать качество, верить, что «нужная» рецензия в пятом номере облегчит публикацию прекрасной статьи в седьмом, а уравнивающая пошлятина второй «точки зрения» на «спорную» книгу будет принята читателем с должной иронией, ибо ей предшествует блистательная первая, которую никак нельзя выпустить без конвоя.

Мне скажут, что все это дела давно минувших дней. Скажут, что нынче нет литературных генералов, что пресса захлебывается от критиканства, что секретаря Союза писателей и похвалить негде. А я, в общем, хоть и не до конца, с этим соглашаясь, замечу, что вовсе не в «начальстве» коренится проблема, что волшебное «надо» отнюдь не атрибут номенклатурной иерархии, что и сегодня оторопь берет от чтения годового содержания отделов критики почти любого журнала. Советую почитать, и, уверен, мало кто оны портреты пишут?, то есть — кого рецензируют?

Много раз слышал я «исторический анекдот» о главном редакторе, просматривавшем план очередного номера, в котором рябило от никому не ведомых фамилий как авторов, так и рецензентов. Рассказывают, что долго смотрел он в этот план, а потом, словно превозмогая головокружение, вдруг удивленно выговорил: «Кто все эти люди?» Случай этот приурочивают рассказчики к середине 70-х, но я не удивлюсь, если через двадцать лет то же будут повествовать о

нас. Ибо когда работник литературного цеха (совсем не начальник) предлагает рецензию на нововышедшую книгу (совсем не начальника), очень трудно отгрешиться от того, что говоришь ты с давним автором, который уже много лет успешно сотрудничает с журналом (подтекст: ты еще и не работал здесь, когда я печатался), которого неоднократно ты ли, коллеги ли твои просили написать что-нибудь нужное (подтекст: раньше я был необходим), который ни в чем дурном не замешан и, в общем-то, всегда был добросовестен (подтекст: похлебал бы ты с мое), который ничего неблагоприятного не предлагает (подтекст: имеет же право на отклик писатель имярек, никто ведь не делает из него классика) и рецензия которого ничьих энергичных протестов не вызовет (подтекст: все-то вы ищите приключений, нет бы пожить спокойно). Трудно от всего этого отгрешиться и сказать правду: что книга писателя имярек совершенно бесцветна, что рецензия на нее никому, кроме автора и рецензента, не нужна, что журнал не комбинат бытового обслуживания, а редактор не приемщик. Результат известен — рецензия сдается, критик получает гонорар, писатель пополняет любовно собираемую библиографию, а читатель вяло пролистывает страницы журнала, реагируя только на беспрояривные имена, примерно те самые, что представлены в книге С. Чупринина.

В книге этой о халтуре почти не говорится, ее герои существуют словно бы сами по себе, лишь меж собой ведут они высокие диалоги, лишь с истиной соотносятся их свободные суждения, лишь высокие критерии, наработанные культурной традицией, служат мерилем их работы. Критика — это критики, а не халтурщики! И нечего говорить о том, чего в книге нет!

Но оттого, что предмет не назван, он не перестает существовать. И, увы, не только ансамбль мастеров правит сегодня бал, но и неумолкаемый хор тех самых добродетельных или злокозненных всепроникающих середнячков, на фоне которых так приятно различать мощные и узнаваемые голоса Льва Аннинского, Игоря Золотусского, Станислава Рассадина...

Оступались или не оступались иные из чупрининских героев — дело в нашем случае десятое, и пусть разбираются в этом будучие сочинители монографий, скажем, о Евгении Сидорове или Владимире Гусеве. Сегодня важнее другое: уступая львиную долю журнальных площадей середнякам, не

размениваясь на мелочи литературной жизни, выбирая лишь лакомые куски, молчаливо соглашаясь с тем, что о серых должны писать серые, садясь за «круглые столы» с откровенно слабыми собеседниками, наши лучшие критики умели извлечь эффект из абсолютно ненормальной литературной ситуации. Чем невзрачней был фон, тем ярче смотрелись индивидуальности.

Казалось бы, сегодняшняя ситуация «раскрепощенного слова» отменила прежние закономерности. Теперь-то мы можем радоваться индивидуальности критика, уже ни на что не оглядываясь, самое время пришло для бенефисов. Тем паче что в словесности шумит гражданская война, стан движется на став, вербуются рядовые бойцы, готовые сплеча крушить супостатов. Уж на этом-то фоне мы различим подлинную культуру, духовность, независимость. Ах кабы так. Но, во-первых, снова действует принцип фона (пусть он и стал иным). А во-вторых, как выяснилось, можно быть (или, по крайней мере, представляться) активным бойцом литературной партии и сохранять патент неординарности, творческой самостоятельности (если не в реальности, то хотя бы в общественном мнении).

Напомню примечательный, хотя сегодня, наверное, и подзабытый широким читателем эпизод. В течение 1989 года «Литературная газета» проводила ристалища с продолжениями на своей второй полосе. Почти половине участников этого увлекательного эксперимента составляли герои чупрининской книги, а один был ее автором. Если напомнить, что в феврале спорили на страницах «Литературной газеты» заведомо не критики (философ Ю. Н. Давыдов и литературовед Н. А. Анастасьев), то критерии отбора будут выглядеть еще основательнее. А раз так, то и итоги многомесячного марафона должны смотреться убедительно.

Они и убеждают. Прежде всего в том, что разговаривать о литературе почти никому не хочется. Затем в том, что «черно-белый» расклад культуры хоть и вызывает сетования, а то и безразличность, в общем-то, всех устраивает. И, наконец, в том, что сочетание «групповой» логики ведения спора с демонстрацией индивидуальности очень быстро наскучивает. Диалога, то есть разговора с установкой на понимание собеседника, на совместные поиски истины, на совместное строительство культуры и постижение истории, как правило, не возникало. Групповые пристрастия как бы оправдывали культурный эгоцентризм собе-

седников. Более того, принадлежность к тому или иному полухорью оказывалась своего рода индульгенцией — критик должен был показать себя как неповторимое явление, дабы читатель знал: настоящие исполны духа принадлежат именно «правой» (или «левой») литературной группировке. В этом свете особенно занятно смотрелись нередкие признания в приверженности «средней линии», изобильные, впрочем, не только в колонках «Литературной газеты».

В самом деле, «центризм» сегодня в моде. Я что-то не припомню литераторов, откровенно аттестующих себя экстремистами, хотя зубодробительных пассажей у приверженцев «средней линии» (в реальности стоящих на полярных позициях) не перечесть. Правда, понимается «центризм» странновато: в лучшем случае как отмежевание от явной глупости, а то и хулиганства соратников. Эдак в «центристы» попадает и Дмитрий Иванович Писарев, писавший в мае 1867 года Тургеневу по поводу его романа «Дым»: «Сцены у Губарева (выдержанные в тонах антинигилистического памфлета.— А. Н.) меня нисколько не огорчают и не раздражают. Есть русская пословица: дураков в алтаре бьют. Вы действуете по этой пословице, и я с своей стороны ничего не могу возразить против такого образа действий. Я сам глубоко ненавижу всех дураков вообще, и особенно глубоко ненавижу тех дураков, которые прикидываются моими друзьями, единомышленниками и союзниками». Конечно, по нынешним временам и такое признание дорогого стоит, но все же Писарев никаким «искателем средней линии» не был да и представить себя таковым не хотел.

Взыскуемый повсеместно «центризм» подразумевает объективность, а объективность — заинтересованность в предмете, в литературе (коли речь идет о критике литературной), в художественных сочинениях и сочинителях. Участники же споров в «Литературной газете» предпочитали, как правило, искать слабости спарринг-партнеров, ловить их на противоречиях, ставить лыко в строку и т. п., попутно совершенствуя свой «образ», хорошо знакомый внимательным читателям. Споры были достаточно зрелищны, интерес к себе привлекли и все же к концу года поднадоели. Критики пошли по второму, пятому, седьмому кругу очевидных проблем, с новой стороны никто не раскрылся, и в 1990 году газета стала выходить без, казалось бы, обреченной на успех рубрики. Стала искать иные варианты.

На мой взгляд, символично, что последними участниками «Диалога недели» выступили Евгений Сидоров и Алла Марченко — критики, не разведенные баррикадой, явно друг другу симпатизирующие, зачисляемые в одну «партию». И диалог их получился живым — не было нужды демонстрировать собственную отличность, она возникала не по заданию (ситуации ли, редакции ли), но спонтанно. Не было и натужного поиска взаимопонимания, ностальгической подзаковки (вроде той, что возникла в беседах Л. Аннинского и О. Михайлова) — Марченко с Сидоровым и так понимали друг друга. Была естественность и была литература — главный дефицит современной литературной критики вообще и литгазетовских «диалогов недели» в особенности.

Алла Марченко не попала в книгу Сергея Чупринина. И, думается, не случайно. Ее порывистость, любовь к противоречиям, широта интересов и... — не подберу слова, недоброжелатель сказал бы: расхристанность — уходят от анализа и портрета. Ампула *enfant terrible* и вечного парадоксалиста занято Л. Аннинским, но как раз сопоставление этих критиков может многое объяснить. Эксцентрика Л. Аннинского всегда просчитана, его противоречия, непоследовательность, парадоксальность — лишь экипировка железного бойца, блестящего знатока литературной тактики, опытного полемиста и политика. Л. Аннинский не может подставиться, ляпнуть, всякая его «небрежность» лишь ловушка для потенциального оппонента. А. Марченко попадает вприсак постоянно, а в ответ на упрёки, раздающиеся и справа и слева, начинает объясняться, а то и сердиться, что вовсе не входит в канон поведения критика. У А. Марченко нет «Избранного», нет сборника статей, и, рискуя оказаться бестактным, я смею предположить, что виной тому не только внелитературные обстоятельства, но и сама природа ее дарования. Видимо, природа эта противоречит тому внутреннему «бронзовению», что характерно для большинства (а по мне, так для всех) героев книги С. Чупринина. Видимо, потому так органично зазвучал голос А. Марченко в «Литературной газете» этого года, где она ныне ведет рубрику². Впрочем,

² Сказанное вовсе не означает моего всегданнего согласия с А. Марченко. Очень многое, скажем, в ее лермонтоведческих штудиях вызывает у меня несогласие (особенно интерпретации «Маскарада» и «Героя нашего времени»). Но, не соглашаясь с

термин этот здесь не совсем точен: рубрика подразумевает не только периодичность, но и жанровую определенность, А. Марченко же пишет то о том, то о сем, ее появления на полосе и ожидаемы и спонтанны. Возникает ощущение, что не договор между автором и редакцией в силу вступил, а просто критик стал публиковаться гораздо чаще, чем положено неизвестно когда и кем.

Свободная игра А. Марченко на страницах «Литературки» — эпизод крайне привлекательный. Мне кажется, что в подобном «вольном поле» критики наши, причем именно лучшие, нуждаются как никогда. Право на необязательный, не замкнутый жанровыми или тематическими рамками, но более или менее периодический разговор с читателем может раскрепостить профессионалов, дать им почувствовать, что спешить некуда, что самоутверждаться незачем, вас и так знают и любят, литература — большая, есть о чем говорить. В этом убеждает меня опыт «Московских новостей», предоставивших в прошлом году площадку для ежемесячных монологов Игорю Виноградову, а в нынешнем — Игорю Золотускому. Этим критикам было, наверное, труднее входить в газетный ритм, чем «легкой» А. Марченко. И. Виноградова, надо полагать, сковывали миновавшие годы вынужденного молчания, невольно создавшие образ литератора, каждое слово которого на вес золота («Когда молчат N — это одно дело, когда молчит такой критик, как, скажем, И. Виноградов, которого мы знаем по его прекрасным работам, — это другое. Такое молчание замечено. Я бы даже сказал, оно качественно», — писал в 1983 году И. Золотуский). И. Золотускому могло мешать иное — отчетливость литературного амплуа (описанного С. Чуприниным несколько шаржированно) и постоянное желание стать Зоялом нашего времени. («Из дневника Зоиля» — не единожды использованный критиком заголовок.) Между тем рубрика дала возможность разговариваться, приблизиться к интеллектуальному освоению, дала широту дыхания. Литературные страницы «Московских новостей» убедили меня в том, что именно гарантия высказывания оберегает литератора от работы на себя, самоконструирования и самоповторений.

Дело не в площадке как таковой, но в ее характере. Станислав Рассадин появляется

на страницах «Огонька» достаточно часто, у Андрея Туркова в «Известиях» — привычная колонка, а Татьяна Иванова активно потчует своими восторгami и инвективами читателей «Книжного обозрения» (кстати, думается, что ее иронический портрет — лучший в книге). Но они приходят в журнал или газету «делать дело»: Ст. Рассадин — полемизировать³, А. Турков — знакомить с книжными новинками, Т. Иванова — чередовать в присущей ей манере одно с другим. Они гораздо более скованы установками (гласными или нет, хорошими или дурными — здесь не важно), чем А. Марченко в «Литературке», И. Виноградов или И. Золотуский в «Московских новостях». Они в амплуа, которые создавались годами и коллективно, а разрушаются с трудом.

И надо признать, что точная книга С. Чупринина разрушению этих амплуа не способствует. Портретиста интересует характерное, но ведь характерное не всегда означает сокровенное, узнаваемое — обязательно важнейшее. И пожалуй, ничто меня так в этом не убеждает, как чупрининский портрет Натальи Ивановой. С. Чупринин углядел существеннейший внутренний конфликт ее творчества — противоречие памфлетиста и аналитика, — углядел и прошел мимо. Филологическая культура Н. Ивановой, ее любовь к тексту и писателю оказались под его пером не то чтобы отсутствующими, но несущественными. И не спасает положения финал статьи, где речь идет о переходе Н. Ивановой от «легкого, но разящего наскока» к «крупному разговору о крупных вещах и проблемах». Не спасает не только потому, что никому полемический азарт Н. Ивановой не скрылся (и порукой тому недавно вышедшая в «Московском рабочем» книга «Воскрешение нужных вещей» — свод новейших статей Н. Ивановой, обеспечивших ей титул одного из десяти самых популярных публицистов страны), но и потому, что проблемность отличала статьи Н. Ивановой и прежде. Не была она никогда

³ Во избежание недоразумений: я ценю дар Рассадина-полемиста, его литературные суждения мне обычно близки, я не склонен рассматривать его как «человека группы», исполнителя редакционных заданий «Огонька» и проч. Просто я полагаю, что Рассадин — литератор с точным вкусом, ценитель и знаток (в старинном смысле слова) русской поэзии, автор серьезных исследований о Фонвизине и Сухово-Кобылине (другое дело, что многие в них я готов опровергнуть) шире и значительнее Рассадина только огоньковского, да и Рассадина «уставшего» и словно бы сгорча подавшегося в «просветители», каким он описан у С. Чупринина.

только полемистом и быть не хотела. И книга ее о прозе Юрия Трифонова была отнюдь не «в целом очень даже неплохой» (как аттестует ее С. Чупринин) — в 1984 году Н. Иванова сумела написать о большом писателе без конъюнктуры, почти без умолчаный и, главное, именно как о большом писателе, сумела вывести Ю. Трифонова из устоявшегося к тому времени круга критических банальностей (мало о ком из писателей наших, кажется, было нагромождено столько пошлостей — и ведь не худшие критики их городили), заставила читателей задуматься, осознать, кого мы потеряли.

Задумаемся и сейчас: о многих ли современных наших писателях есть столь взвешенные, филологически ориентированные, продуманные монографии? Очень немногое вспоминается. А книга Н. Ивановой все же оказалась в чупрининском очерке деталью, чуть ли не случайностью — кто, дескать, таких не писал. Книга о Ю. Трифонове не ложилась в концепцию вполне правильную, не из пальца высосанную, но остающуюся концепцией, в которую еще очень многое не укладывается. Вот и получается «Н. Иванова» вместо Н. Ивановой, ампула вместо личности, да еще на это ампула сами сердитесь начинаем, не замечая своей роли в его сотворении...

Сказанное выше лишь пример, и может быть, не самый выигрышный. Я сознаю, что защищать Наталью Иванову от Сергея Чупринина — занятие несколько комическое: критики эти явно из одного стана. Но что делать, коли только подобные контрверсы мне и интересны. В них есть незапрограммированность, необязательность, а значит, и та самая интеллектуальная свобода, которая, по мне, куда важнее выработанного типа литературно-общественного поведения, портретности, узнаваемости и всего прочего, что позволяет формулировать: критика — это критика.

В уже цитированном мной послесловии к книге «Очная ставка с памятью» Игорь Золотусский писал: «Я бы мог назвать, по крайней мере, полтора десятка имен, которые есть цвет нашей критики и цвет русской литературы. Цвет в отношении мастерства, высоты критериев и истинного мужества». В 1983 году слова эти звучали смело и справедливо. Во многом они остаются справедливыми и поныне — действительно без критиков критики нет. Но, увы, не полтора десятка имен, ни даже два без малого (как в книге С. Чупринина) критики еще не создают. Не хватает воздуха. Не хватает неожиданности. Не хватает общей свободы, невозможной вне общей куль-

туры. Не хватает полутонов и оттенков, доверия к словесности, духа совместной работы. Не хватает тех зазоров между ролью и личностью, в коих таится самое интересное и самое непонятное.

Сейчас все жалуются на положение в критике (это «сейчас» длится, кажется, уже больше полтора веков, вспомним переписку Пушкина с Александром Бестужевым⁴). Наверное, не без оснований. Вот и я наговорил о своих коллегах с три короба, за что вправе выслушать их язвительные либо доброжелательные укоры. И вправду грустно иногда становится, когда видишь одни и те же лица, слышишь одни и те же речи, сталкиваешься с одними и теми же проблемами. И еще грустнее, когда замечаешь: на критику ложится печать общей интеллектуальной и духовной усталости — нет новых идей, нет подлинного азарта, нет бескомпромиссности. И не утешают резонные замечания о том, что всегда так было. Живем-то все-таки не всегда, а сегодня. И давят стереотипы. И... — далее со всеми обновлениями по знакомому маршруту.

Или по незнакомому. Книгу С. Чупринина завершают портреты «молодых» — Александра Казинцева и Андрея Мальгина. Выбор одновременно логичный — и неудачный. А. Казинцев и А. Мальгин, пожалуй, единственные из «тридцатилетних», слепившие свой образ, и потому попали они под обложку книги по заслугам. Но именно наличие образа, педалированная индивидуальность (разумеется, крепко связанная с «групповой» ориентацией), и выделяет их из шеренги сверстников. Как написал в № 1 «Литературного обозрения» А. Мальгин: «...мое поколение — вот уж поистине выжженная пустыня. Кого еще, кроме, простите за нескромность, меня и Казинцева, вы назовете? Я лично уважаю А. Архангельского, А. Немзера (здесь за нескромность надобно извиниться мне. — А. Н.), Е. Шкловского, но они публикуются редко и, к сожалению, не по ключевым вопросам текущей литературы.. А то, что у нас вообще нет (даже эпизодически выступающего) критика моложе тридцати лет, — было такое когда-нибудь вообще в нашей литературе? Ведь не было». Могу успокоить А. Мальгина — тридцати покамест нет упомянутому им А. Архангельскому. А вот насчет своего и Казинцева одиночества А. Мальгин прав — не фактурны, не леген-

⁴ «У нас есть критика, а нет литературы. Где же ты это нашел? именно критики у нас и недостает», — писал Пушкин в конце мая — начале июня 1825 года. Приятно читать в 1990 году!

доносны те из молодых, кто, на мой взгляд, высоко держит профессиональную планку. Не озабочены ни Александр Агеев из Иванова, ни свердловчанин Марк Липовецкий, ни саратовец Владимир Потапов, ни харьковчанин Виктор Юхт, ни ленинградец Михаил Золотонос своими будущими портретами — их интересует словесность, культура, история. Может быть, со временем их и ждут те искушения славой или молчанием, групповщиной или надуманным центризмом, о которых шла речь выше, но пока они свободны. Им легче сегодня, чем было основным героям С. Чупринина в оны годы. Они (то есть мы) выросли в застойную, но мягкую пору, когда научиться читать было и проще и важнее, чем научиться писать. Этому по мере сил и научались.

Сталкивать лбами поколения — занятие ничуть не лучшее, чем сталкивать лбами направления. «Вы, нынешние, — ну-тка!» и «Смотрите, кто пришел!» — речения одинаково плоские и унижающие прежде всего тех, кто их произносит. Многими нитями те из сегодняшних молодых, кто по праву не попал в книгу С. Чупринина, связаны с коллегами старших поколений. И с теми, кто до нынешней поры пребывал не на свету, и с активно публиковавшимися. Изменения культурной ситуации происходят не по звонку — о процессе накопления культурной энергии в годы, ныне именуемые застойными, еще будут писаться монографии. Еще предстоит исследовать тот непростой процесс, который привел к сегодняшнему всеобщему недовольству положением дел в критике. Сдается мне, что разрушение «критического эгоцентризма», которое вошло в повестку дня, хоть и переживается

слишком нервно, во многом стало возможным как раз благодаря духовной работе тех, кого можно было бы назвать эгоцентристами.

Можно было бы, да не хочется. Негативные обертоны, слышащиеся в нейтральном, по сути, словце, сбивают с толку, и в конце концов начинаешь сердиться уже на себя и собственную концепцию. Слава богу, я еще не забыл, как читались статьи многих чупрининских героев десять, семь, пять лет назад. Да разве сегодня не читаются? Разве сам я, оставаясь при всем, выше сказанном, не ищу на газетной полосе, в журнальном оглавлении, в перечне новинок «Книжного обозрения» в первую очередь знакомые дорогие имена? Инерция, скажет скептик. Но инерция не возникает на пустом месте. Миновавшие годы действительно были золотой порой отечественной критики, прекрасной эпохой, которой пришел конец и в которую нам уже не вернуться никогда. Как не вернуться к «новомирской», «опоязовской», «реальной» или «декабристской» критике.

Может быть, и стоило бы погадать о том, что ждет нашу критику в будущем, но только это тема совсем другого разговора, к которому я пока не готов. Как не готов и к ответу на простой, казалось бы, вопрос: что есть критика? Я не знаю. Но твердо уверен, что — не критики. И на такое отрицательное решение наводит меня среди прочего книга Чупринина — с любовью возведенный памятник литературной ситуации недавно миновавших лет. Тех лет, когда с горечью и радостью можно было сказать: «Критика — это критика!»

ЖИЗНИ И ЖИЗНЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

*

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Владимир Потапов. Свет в чужой стороне. — Лазарь Флейшман. Первая советская монография о Борисе Пастернаке.

Литература и искусство

СВЕТ В ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

Геннадий Головин. День рождения покойника. М. «Московский рабочий». 1990. 416 стр.

Геннадий Головин. Терпение и надежда. М. «Советский писатель». 1988. 480 стр.
Геннадий Головин. Чужая сторона. Повесть. «Юность», 1989. № 9—10.

В рассказе «Лучезарная Софья» Геннадий Головин пишет: «И вот в ту именно минуту я впервые, кажется, догадался, что составляло главное в Софье... Она жила с доверием к жизни». Авторская разрядка должна засвидетельствовать, насколько сам рассказчик впечатлен этой особенностью, какое значение ей придает. И впрямь — не частое сейчас жизненное ощущение. И когда оно было частым в России? На взгляд послевоенного двора, в глазах дотошных его старушек, живущая этак-то неотмирно Софья — часом, уж не юродивая ли? Муж от нее сбежал, бросив беременную, со старухой свекровью на попечении, а «в ее жизни действительно ничего страшного не произошло».

Хоть я еще не в том возрасте, чтобы солидаризоваться с дворовыми старушками, мне это тоже, признаюсь, не вполне понятно. Какое доверие? Все время что-то грозит, куда ни кинь — всюду клин, то война, то революция, то ликвидация рынка, то введение его... Народ, зощенковским языком говоря, стал нервный. И персонажи нашей прозы не исключение, скорее головинская Софья — исключение из невеселого житейского правила. Я бы сказал: повезло рассказчику мальчишкой встретить светоносную, редкую натуру и сохранить в душе отраженный свет.

Впрочем, у всех было детство и кто-нибудь да светил рядом. Доверие к жизни изначально, но, что называется, действительность диктует свои суровые законы. Чуть зазевался — и фэйсом об тэйбл, как шутит герой повести «День рождения покойника». Хоть фэйсом об тэйбл, хоть мор-

дой об стол — все равно больно. Жизнь напряженная, расслабляться нельзя.

Эта напряженная оппозиция «мир — личность» и объединяет столь не похожие, казалось бы, одна на другую повести Геннадия Головина: лирико-психологические — «Джек, Брагишка и другие» и «Анна Петровна», ироническую — «День рождения покойника» и читаемую в экзистенциальном плане — «Приговор Исполнительного Комитета», кругой детектив «Миллионы с большими нулями» — из опасных будней петроградских чекистов.

О «Миллионах...» скажем вкратце. Законы жанра «со стрельбой» и сюжет с розыском очередного достоинства республики просто обязывают героев ежеминутно быть начеку. Обращает на себя внимание концовка датированной 1980 годом повести: «Она (эпизодическая героиня непролетарского происхождения. — В. П.) пропала, как пропадали в тот страшный год тысячи людей на Руси, — безмолвно и бесследно, подобно камню, канувшему в густую черную воду». Можно догадаться, что прозаик в рамках остросюжетного повествования хотел сказать о жестокости, об обоюдоостром насилии. Но это ему больше удастся в «Приговоре Исполнительного Комитета», повести, стоящей на литературную ступень выше.

Исполнительный Комитет «Земли и воли» не случайно изготавливает печатать со скрепленным топором и револьвером, и эту неслучайность, это перешагивание через вечные заповеди ради идеи Г. Головин показывает весьма наглядно. (Отме-

тим любопытную сцену, надо полагать, не придуманную же писателем без достаточных на то оснований. Руководители «Земли и воли» на конспиративном совещании единогласно голосуют за смертный приговор провокатору. Один из голосующих, Жорж, — известный впоследствии философ Георгий Валентинович Плеханов.) Сцена убийства, что и говорить, запоминается. Начинается она с вполне «бесовского» приема — провокатора выманывают из номера, в котором он заперся, запиской его любовницы. И далее изображение для «историко-революционной тематики» отнюдь не каноническое: одного из казненных честно, я бы сказал, рвет над трупом; само убийство не смягчается каким-нибудь револьверным хлопком — режут кинжалом, потом, приоткрыв веко и убедившись, что «зрачок от света резко сузился», дорезывают...

Вряд ли уместно здесь сосредоточиваться на профессиональных моментах, но нельзя не отметить, как мастерски вплетен Г. Головиным мотив наступающего возмездия: в прослаивающей сюжет своеобразной «киновелле» с монтажом кратких стоп-кадров, показывающих, как гибнет правнук одного из героических исполнителей приговора — заигравшись найденным на чердаке «смит-вессоном». Пошлая гравировка на стволе «Memento mori» вдруг приобретает не книжный, не афористический смысл...

Письмо здесь, повторю, на хорошем профессиональном уровне, с некоторым даже композиционным щегольством, но, пожалуй, художественной свободе мешает известная заданность идеи. Вот она: «Вы твердите о гуманизме, а руки ваши в крови! Вы вещаете на каждом углу про справедливость, свободу, равенство всех людей, а я же знаю в мире ничего такого, за что можно было бы платить человеческой жизнью! Не знаю! Не верю я, что человек может быть свободным, справедливым, если состояние это его оплачено чьими-то жизнями, насильно прерванными!» Все верно, золотые слова, но — уже слышанные... Сегодня-то они — на внимательный слух — звучат несколько декламационно, чуть театрально, как монолог сценической героини (Г. Головин и вкладывает их в уста взволнованной молодой женщины), и, пожалуй, отдают либеральным штампом. Но ведь именно так и восприняли их казнили-землеводы, пропустившие все это мимо ушей... Нет, уж лучше такие «штампы», чем революционистские догмы, чем «кровь и яacobинство» (Ю. Кублановский).

Слишком легко заметить, что Г. Головин как бы варьирует мотив Достоевского. Это не повторение азов (хотя, быть может, нашей литературе и нужно бы сейчас повторить азы, этические основы отечественной классики), а сознательный выбор пути. Головинская проза по-хорошему литературна, это не раздражает. Узнается многое: от озорства в роде «невидимых миру соплей» в «Дне рождения покойника» до композиционного зачина «Анны Петровны» («Поздней осенью, почти уже зимой, вам, наверное, встречались — в садах ли, в парке — эти мелкие розовато-молочные цветочки и т. д.), прорастающего из хрестоматийного «татарина» толстовского «Хаджи-Мурата». На каком-то этапе своего творческого развития Геннадий Головин «пошел учиться» у большой русской прозы. Однако этот ученик давно стал мастером. Как-то даже неудобно приводить примеры замечательного, даже блестящего слога, снайперски точных деталей и т. п., что чрезвычайно важно, конечно, но имеет отношение не к литературе, а к «литучебе» (о последней заставляют вспомнить разве что «Миллионы с большими нулями», но уровня этой головинской «неудачи», низшего горизонта его прозы, никогда не достигнет большинство «признанных мастеров» детективного жанра).

Проза Геннадия Головина наводит на мысли поверх технологии литературного письма, поверх беллетристики. Очень хороший беллетрист он как минимум, а на верхнем горизонте своей прозы предстает и как художник. И не «День рождения покойника» я имею в виду, не самую замечательную его вещь. Повесть эта яркая, остроумно переинчаивающая известный сюжетный ход: непутевый матрос самоходки «Красный партизан Теодор Лифшиц» Васка Пепеляев, запив, закуролесив на берегу, случайно избегает «героической смерти» — баржа гибнет (а может, и не гибнет — по законам советской фантазмагорической действительности...). По тем же самым законам объявившегося Пепеляева не признают живым: погибший герой устраивает всех куда больше живого Васки... Давно замечено, что покойников у нас любят больше.

Живописая жизнь российского алкоголика (фантазмагорию в квадрате), Г. Головин вторгается в литературное пространство, уже застолбленное Вен. Ерофеевым и Сашей Соколовым. И при всех достоинствах головинской повести — очень смешных и очень точных наблюдениях, виртуозном владении современным разговорным рус-

ским и т. п.— она, как мне кажется, проигрывает и «Москве — Петушкам» и «Между собакой и волком». «День рождения» менее артистичен. Головинская языковая ткань — густая, переплетающаяся, что само по себе является достоинством манеры писателя, — насыщаясь, впитывая в себя слова-приметы нашего времени (часто уродливые, убудочные), как-то заземляет повествование, мешая свободному полету. Мне кажется, Г. Головину не удалось найти в данном случае нужного языкового ключа. Все-таки ему органичнее существовать в лексическом пространстве лирической прозы.

К таковой в сборнике, кроме упоминавшегося рассказа «Лучезарная Софья», относятся повести «Джек, Братишка и Другие» и «Анна Петровна». «Анна Петровна» — тонкое и даже изоциренное произведение, но все-таки я бы предпочел поговорить о Джеке, Братишке и о Других. Мне кажется, это самая вылившаяся, написанная с наибольшей внутренней свободой вещь Головина. На первый взгляд повесть значительно менее серьезна, проблемна, чем, например, «Приговор Исполнительного Комитета». Повествователь с женой, ожидающей ребенка, проводят осень и зиму в дачном посёлке. Им приходится присматривать за соседскими собаками (общим счетом четыре), так и живут бок о бок люди и животные. Обыденная история, но она выходит далеко за рамки привычных ожиданий.

Давно замечено, что собака со временем становится похожей на своего хозяина. Джек и Братишка, российские дворянги, усвоили черты нашего национального характера. Случайно ли Джек, которому вероятно повезло войти в профессорскую семью, то есть сделать головокружительную карьеру, ужиться там не может? Не случайно — ведь его пытаются воспитывать по книге знаменитого английского кинолога «Мой дог». В этом эпизоде Г. Головин выполняет блестящий этюд на лесковскую, а бы сказал, тему. И ковры пушистые, и колбасой языковой кормят, а воля вольная несовместима с европейским комфортом-этикетом. Нет уж, лучше приволье, пусть и не всегда сытное.

Очеловечивая псов, автор, может быть, и попадает в грех «антропоморфизма», но мы этот грех ему легко прощаем, потому что читать интересно. В смысле разговора о России. Откровенно говоря, и Джек и Братишка являют собой тип обаятельного шалопая, лентяя. Практической пользы от них нет. Но есть польза непрacticalная — при-

носят радость окружающим. И даже смягчают сердца. «У них в крови было желание сделать людям хорошее. Сделать их веселее, добрее, смешнее, натуральнее». (Отметим синонимический ряд: веселее, добрее — это и значит: натуральнее, естественнее.) И чем же отплачивает мир за добро? Финал повести грустен: Джек погибает, Братишка, приноравливаясь к миру, становится недоверчивым, ценок Федька пропадает.

С удовольствием процитировал бы — в повести многое хочется просто повторить, обаятельны сами интонации, сам ритм повествования. Но боязно умилиться, пересластить. Ограничусь одной цитатой. В повести есть эпизод, когда хозяин псов решает посадить их на цепь, оберегая от рыскающих по поселку охотников за шкурами (за шапками). Однако сам не выдерживает их мучений — собаки едва не удушились, запутавшись в своих привязях, — и, отпуская, напутствует их: «...убедительная просьба, любите, как и прежде, людей!.. Людей, братцы мои, надо любить. Поэтому что, если их, горемычных, перестанут любить даже собаки, произойдет катастрофа». Странное дело: читая впервые эти строки, я прочел «не любите» — ведь это было бы так естественно: остеречь слишком доверчивых псов, сказать им (хоть и бесполезно), что люди разные, люди злые... Так, отпуская детей во двор, мы наказываем им не разговаривать с незнакомыми. А по логике Г. Головина, все же — любите.

Ну что жё, это многое объясняет в творчестве Геннадия Головина. Оппозицию «жестокый мир — беззащитная личность» писатель обнаруживает в каждом из своих произведений, и по большей части это бытийное противостояние для личности заканчивается печально... И все же: любите, доверяйте, идите в мир.

Но с какой же стати, каковы основания? Что может посоветовать писатель нам, в этом мире, в этой стране живущим свой век? Терпение и надежду — вечный девиз.

Владимир ПОТАПОВ.

Саратов

PS. Соображения о повести Г. Головина «Чужая сторона», опубликованной в 1989 году «Юностью», просятся в особый постскрипtum. Сюжетом повести стало странствие русского мужика Ивана Чашкина, из глубинки добирающегося в Подмоскowie на похороны матери, — современное хождение

по мукам. Героя в пути обворовывают, он остается без денег и документов и бомжем бредет по России, по ставшей вдруг чужою стороне. Это положение героя позволяет взглянуть на происходящее под разными углами зрения. Однако я выделял бы не «политический» момент (Чашкин не долетает до столицы, поскольку смерть его матери совпала с кончиной Брежнева и в Москву пускают не всех), не социальную «разоблачительность» (эффектно избрана, например, галерея хозяев жизни, очередь избранных авиопассажира — от партийного функционера до мафиози и престижного знахаря) и даже не в очередной раз озадачивающее российское богатство на добрых и злых людей, встречаемых героем в его странствиях (здесь бы я предъявил прозаику ту претензию, что он с некоторой плакатностью делит персонажей на «чистых» и «нечистых»). Важно другое — направление мысли писателя, новый план, в который здесь переводит Г. Головин свои этические ориентиры.

«Чужая сторона» уже не позволяет нам ограничиться «аккуратными» намеками на необходимость возвратиться к нравственным основаниям русской классики или на то, что «либеральные штампы» все-таки лучше революционистской готовности строить всеобщее счастье на крови одного умученного. Все это верно, но как-то «геометрически», формально верно, а глубоким и живым содержанием эти построения наполняются лишь в пределах того мировосприятия, которое нашло вечное средоточие жизни, понимает саму жизнь Промыслительно и которое дало возможность апостолу Иоанну высказать самую, быть может, глубокую из доступных человеку истину — богодухновенное «Бог есть любовь».

Я не решился говорить об этом в рецензии на книгу Г. Головина, не будучи уверен, что не стану таким образом навязывать автору собственный взгляд. Однако «Чужая сторона» позволяет задать иной

уже вопрос. Нужно ли, скажем, художнику доказывать безнравственность убийства в «Приговоре Исполнительного Комитета», если это не требует никаких художественных или логических доказательств, а лишь исполнения аксиоматической заповеди «не убий»? Верно ли в основание той «антропоидеи», которую Г. Головин вводит в «Джеке, Братиске и других», заложена руссоистская оппозиция «город — природа», коль скоро две тысячи лет известно, что природное начало в человеке (столь возносимое со времен возрожденческого гуманизма) отнюдь не спасает от зла, а наоборот — может открыть ему путь? Разрешаема ли в принципе вечная проблематика добра и зла в рамках пусть самого «современного» и самого гуманного, но внерелигиозного, внехристианского мировосприятия?..

Эти вопросы каждый решает для себя сам. И автор «Чужой стороны» ответ ищет в вере или, по крайней мере, переводит взгляд к церковным стенам. Не в том даже дело, что хранительная граница между добром и злом прочерчена заповедями христианства (их и нельзя обойти). Если кто-то скажет, что прозаик здесь слишком прямолинеен, иллюстративен, что идеи его слишком подчеркнуты, я, пожалуй, и соглашусь. Но знаменателен сам факт выбора. В повести возникает образ храма, превращенного людьми в свинарник, но сияющего измученному, страдающему герою нетленной своей красотой. Пусть и это слишком в лоб, но когда Г. Головин писал о «лучезарной» Софье, мне недоставало понимания сущности, природы этого света — после «Чужой стороны» можно предположить, что имя Софии (Премудрости) давно не случайно, что это сияние христианской святости, фаворский свет Образа и Подобия... И что таково ответноё слово, сказанное новой русской прозой.

Владимир ПОТАПОВ.

*

ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ МОНОГРАФИЯ О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ

Е. Пастернак. Борис Пастернак. Материалы для биографии. М. «Советский писатель». 1989. 685 стр.

Капитальное исследование Евгения Борисовича Пастернака — плод многолетнего самоотверженного труда по собиранию, изучению и изданию документов, относящихся к жизни и творчеству отца. Автор непритязательно озаглавил книгу «Материалы для биографии». Действительно, вопро-

сы поэтики и мировоззрения затрагиваются здесь лишь по ходу дела. Само же изложение строится на строго документальной основе, на фрагментах из писем и статей поэта, мемуарных свидетельствах и выдержках из современной поэту прессы. Стремление автора строго придерживаться фактов, не

подаваясь искушению восполнить пустующие звенья догадками, преобладание (по крайней мере формальное) хронологического «монтажа» над анализом приводят к известной фрагментарности и мозаичности. Однако читателю откроется здесь не просто хроника событий, но и логика эволюции большого поэта. Не секрет, что многое в ранней поэзии Пастернака до сих пор остается темным, дразняще амбивалентным, ускользающим от расшифровки, и читатель мог бы ожидать, что автор больше места уделит детальным разборам стихотворных текстов. Но подчас и простое цитирование стихотворения с крайне скупыми сопроводительными ремарками здесь проливает неожиданный свет и на сам этот текст, и на время его создания. Книга содержит исключительно обширный круг сведений (в том числе документы из семейного архива) о ближайшей среде поэта, о родителях и домашнем быте юного Пастернака: детские и гимназические годы, занятия рисованием и музыкой, духовные поиски студенческих лет. Заново осмысливается в свете этих документов и роль «еврейского вопроса» в ранней биографии автора «Доктора Живаго».

О том, как велико было влияние семейного мира на мироощущение будущего поэта, читатель может судить среди прочего и по многочисленным репродукциям с рисунков и этюдов Леонида Пастернака, которые с изумительной точностью и лирическим теплом воссоздают повседневную атмосферу дома и вступают в переключку с цитируемыми письмами и воспоминаниями. Много в зрелой поэзии Бориса Пастернака как бы мгновенно уясняется при ознакомлении с этими живописными набросками. Из многочисленных иконографических документов складывается целостная картина органической, можно сказать — бытовой принадлежности поэта к сфере культуры. Сошлемся хотя бы на рисунок, фиксирующий маленького Борю сидящим на коленях у Левитана и нажимающим клавиши рояля.

Впервые, впрочем, становятся известными и другие стороны семейных взаимоотношений — непокорность сына родительской воле, в частности когда он присоединился к уличной демонстрации осенью 1905 года. При ее разгоне подросток-гимназист едва не был растерзан казаками. Автор сообщает о моментах напряженного непонимания, даже конфликтах («...невозможно жить вместе»), вспыхивавших между отцом и сыном в пору первых робких литературных дебютов поэта, поисков самостоятельного пути в искусстве.

Чрезвычайно интересен материал, расска-

зывающий об одном из самых мучительных эпизодов в жизни Пастернака — о его решении отказаться от поприща композитора, несмотря на «жгучую потребность» (как он сам говорил в 1917 году), тягу к нему. Сильное впечатление производят и фрагменты писем его Иде Высоцкой, история неразделенной любви к которой стала одной из тем «Охранной грамоты», написанной два десятилетия спустя. Ида Высоцкая была дочерью владельца знаменитой на всю Россию, даже Европу, чаеоторговой фирмы. Замечательно, что через этот дом Борис Пастернак соприкасался не только с «барством» и «публикою деликатной», но и с политически радикальными кругами интеллигенции: в ближайшем родстве с Высоцкими были Гавронские и Цетлины, оказывавшие финансовую поддержку партии эсеров и непосредственно участвовавшие в ее подпольной борьбе.

Особенно ценен изобилующий новыми сведениями рассказ о литературно-художественном окружении будущего поэта, о близости его к таким ярким артистическим фигурам, как пианисты Исай Добровейн и Самуил Фейнберг, как наставник Пастернака в его первых литературных шагах Сергей Дурылин, позже известный литературовед и искусствовед; в тот же московский кружок университетской молодежи был вхож осенью 1912 года и будущий имажинист Вадим Шершеневич.

Многие из внешне малозначительных справок и уточнений, коими столь богата монография Е. Б. Пастернака, существенно пополняют и обогащают сложившуюся в науке картину. Так, один из наиболее интригующих эпизодов в биографии поэта — трехмесячное пребывание в Марбурге и учеба там на философском отделении. Ранее мы не знали о присутствии Пастернака на выступлении немецкого культуролога Эрнста Кассирера (на юбилейных торжествах в честь Германа Когена), об огромном впечатлении, вынесенном Пастернаком из беседы с ним, и намерении продолжить свои философские занятия с Кассирером. Все это дает богатую пищу для размышлений о направлении философских исканий Пастернака.

Редкая основательность культурно-философской подготовки юного поэта вместе с неповторимостью его лирического стиля обострили ощущение «чужеродности» его творчества в глазах тех его литературных сверстников, которые тяготели к идеализации патриархальной Руси, к «сентиментально-грубому славянофильству». К тому же и все первоначальные прозаические его опыты несли на себе отчетливо западноевропейский колорит — вплоть до 1918 года, когда в

«Безлюдье», «Письмах из Тулы» и «Детстве Люверс» тема России и русского захолустья вытесняет прежний «космополитический» антураж. Поворот этот был подготовлен размышлениями о природе и судьбе русской революции.

«Антиславянофильский» характер ранних выступлений, до книги Е. Б. Пастернака не привлекавший к себе должного внимания, приобретает особое значение на фоне позднейшего усиления славянофильских нот у поэта перед второй мировой войной, в канун работы над «Доктором Живаго».

В целом страницы, посвященные предреволюционному периоду, наиболее содержательны, и приходится только сожалеть, что в английский перевод книги¹, вышедший одновременно с русским изданием, эта часть, равно как и главы, относящиеся к 20-м годам, не включена.

Новые документы и свидетельства проливают свет и на творческую историю «Сестры моей жизни»: впервые с такой полнотой восстановлена интимно-романическая подоплека этой книги лирики — перипетии любовных взаимоотношений с Еленой Виноград. Но, на наш взгляд, заслуживал бы более пристального внимания и аспект общественный, без чего не могут получить удовлетворительного объяснения ноты усталости и упадка, звучащие на заключительных страницах сборника.

Вообще отношение Бориса Пастернака к революции резко всего проступает на фоне хорошо изученной позиции Маяковского. В отличие от последнего Пастернак решительно уклонялся от «активизма», от участия в революционных организациях какого бы то ни было толка. Такая внешняя пассивность сочеталась с чрезвычайно интенсивным внутренним переживанием событий 1917 года. Поэт восторженно отнесся к февралю, причем наиболее привлекательными сторонами революции были для него видимое единодушие восставшего народа и бескровный характер перемен. Но первоначальная эйфория быстро сменяется мрачными настроениями. Не случайно летом Пастернак садится за «Драматические отрывки», посвященные Французской революции, в которых центральная тема — обреченность, закат, неизбежность гибели революционных вождей. Это был косвенный отклик на мрачные новости и предчувствия той поры. Поэт с тревогой относился к попыткам политический доктринеров и партийных демагогов захватить власть, подорвать широкую коалицию демократических сил. Здесь причина первой серьезной размолвки между ним и

Маяковским осенью 1917 года, когда лидер футуристического движения провозгласил себя и своих единомышленников «большевиками искусства» и намеревался ввести в тот же круг автора «Сестры моей жизни». Отсюда и резконтрабольшевистские ноты в стихах, обнаруженных и опубликованных Е. Б. Пастернаком в «Новом мире» весной 1989 года, уже после того, как монография была завершена. В начальный послеоктябрьский период поэт, принимая неотвратимость новой, большевистской стадии революции, в то же время упорно уклонялся от сотрудничества с победителями. Все его печатные выступления свидетельствуют о тяготении к левозсеровским кругам, которые сохраняли независимость по отношению к коммунистическому правительству.

Е. Б. Пастернак подробно рассказывает о работе поэта в период гражданской войны. К этой поре (во многом решающей в литературной биографии Пастернака) относится взлет его популярности, особенно заметный на фоне почти полного угасания нормальной издательской жизни. Брюсов с изумлением говорил в 1922 году о внезапном появлении Пастернака на литературном горизонте и его громадном влиянии на молодых поэтов, в чьих глазах он больше, чем Маяковский и Ахматова, Хлебников или Есенин, стал воплощением подлинно новаторских потенциалов послереволюционной лирики, смелым реформатором ее языка. Именно от этой внезапной славы Пастернак попытался укрыться в Берлине, тогда одной из трех столиц русской культуры, чтобы «извне» взглянуть и на всю послереволюционную литературу, и на свое место в ней.

Проведя в Берлине девять месяцев, Пастернак пришел к выводу о бесперспективности поэзии в диаспоре. Впрочем, именно в эмиграции в середине 20-х годов в полной мере проявилась сила лирического дара Цветаевой. Открытие ее как поэта и последовавшая влюбленность в ее творчество привели Пастернака летом 1926 года (тогда он как раз работал над историко-революционным эпосом) на грань романтического порыва и решения об отъезде из Москвы для встречи с ней. Вряд ли сам он мог бы в ту минуту сказать, означал бы этот шаг его собственную эмиграцию или же должен был повлечь за собой возвращение Цветаевой в Россию. Импульс этот так и остался нереализованным. Но пересмотр и внутреннее осуждение романтических планов, переход на позиции «примирения с действительностью» отразились неожиданным образом во взаимоотношениях поэта с «оппонентами» —

¹ L. Collins, 1990.

Маяковским и Асеевым. Последние в отличие от него в своем «пропагандистском усердии» готовы были «обманываться сами, обманывая и других». У него же «примирение» никогда не означало оправдания происходившего. Разрыв Пастернака с Лефом совпал с беспрецедентной по размаху кампанией против попутчиков, с настойчивыми попытками полного огосударствления художественного творчества. Отсюда настроения прощания с литературой, «последнего года поэта», лежащие в основе и романа в стихах «Спекторский» и «Охранной грамоты».

Один из самых трудных вопросов: в чем причина внезапного и странного изменения в начале 30-х годов и в статусе Пастернака, и в его взгляде на советскую реальность? Как и в других случаях, объяснить это «второе рождение» исключительно событиями личной, семейной жизни (новая любовь и новый брак поэта) или влиянием второй жены его, всегда занимавшей более «советскую» позицию, чем он, невозможно. В 30-х годах пастернаковские вспышки гневного осуждения жестокостей тоталитарного режима сочетались с надеждами на скорое его «совершеннолетие», на непременимый поворот к идеалам гуманности и демократии. В канун Первого съезда писателей Пастернак писал отцу в Германию, что стал «частицей своего времени и государства» — заявление, прежде совершенно невысказанное для него. Такой поворот в политических настроениях поэта во многом был реакцией на фашизацию Германии и вообще Европы. Из двух зол, нависших над миром — Гитлера и Сталина, — поэт, как и многие другие европейские интеллигенты, считал второе меньшим. В сложной политической ситуации того времени Пастернак мог за б л у ж д а т ь с я, но не мог быть неискренним и не стремился обманывать других. Вот почему, приветствуя проект «сталинской» конституции в редактируемой Бухариным газете «Известия» и выражая надежду на неминувность перемен к лучшему, Пастернак считал необходимым упомянуть о «минутах душевных затруднений» — упоминание, прозвучавшее в тогдашней обстановке крайне неуместно. В том же контексте следует воспринимать и трактовку темы «поэт и вождь» в стихотворениях, написанных по заказу Бухарина и опубликованных 1 января 1936 года.

Е. Б. Пастернак, к сожалению, уделил недостаточное внимание этим стихам, равно как и вопросу «Сталин и поэт» в целом. Это тем досаднее, что вокруг данной темы накопилось немало слухов и легенд (наприм., об отказе Пастернака переводить сти-

хи Сталина, о пренебрежительной оценке им сталинских виршей или о личном заступничестве диктатора, когда поэту угрожал арест), и она все еще окружена умолчаниями, вызванными ложной стыдливостью. Сам автор рецензируемого исследования, в частности, ничего не говорит о том, что симптомы официального признания Пастернака в качестве первого, ведущего советского поэта — признания, во многом получившего как бы «в кредит», — появились в связи с публикацией пастернаковских переводов двух «культовых» стихотворений грузинских его друзей, Паоло Яшвили и Николо Мицишвили, в начале 1934 года. Советские верхи явно ждали от Пастернака не только переводных, но и оригинальных гимнов, подобно тому как они ждали от Горького книги о Сталине или заигрывали на тот же предмет с видными зарубежными писателями. Однако возлагавших на него надежд Пастернак не оправдал. Что касается его искренних надежд и иллюзий, стоявших за публикацией в «Известиях», то их вскоре смыла волна ежовщины. А еще прежде того Пастернак оказался единственным среди ведущих советских писателей, кто осмелился прямо и бескомпромиссно осудить кампанию, развязанную против «формализма и натурализма» в искусстве. Можно полагать, что внезапным своим прекращением она была обязана как раз сопротивлению поэта, получившему слишком широкую, даже международную огласку.

Международный контекст поведения поэта вообще еще по-настоящему не изучен. Книга Е. Б. Пастернака здесь не исключение. Однако и принудительная (по распоряжению канцелярии Сталина) поездка с Бабелем в Париж в 1935 году, и отношение советских верхов к Пастернаку в годы войны, регулируемое во многом реакцией в Англии на его работу над Шекспиром и на переводы поэзии и прозы Пастернака на английский язык в конце 40-х годов, складывавшаяся в британском кружке «персоналистов» оценка его как лучшего поэта современности и, наконец, выдвижение теми же кругами начиная с 1946 года кандидатуры Пастернака на Нобелевскую премию — все это красноречиво свидетельствует о важности международно-политических факторов в пастернаковской биографии последних десятилетий. Можно полагать, что и замысел и общая концепция романа «Доктор Живаго» во многом навеяны, так сказать, диалогом «поверх барьеров» с Западом. Это понятно, если учесть, сколь сильной была изоляция поэта внутри совет-

ской культуры в самые черные годы сталинского правления.

Отсюда вполне естественным выглядит решение автора передать свой роман на Запад, не дожидаясь официального согласия на публикацию. Повествование Е. Б. Пастернака об этом периоде, столь ценное в качестве живого, достоверного отчета очевидца, в то же время далеко от охвата всей полноты картины. В освещении Е. Б. Пастернака «скромность» у автора «Доктора Живаго» явно перевешивает «смелость» (перефразируя название печатной версии выступления поэта на минском пленуме 1936 года); и в книге, на наш взгляд, недооценивается резкость вызова, брошенного поэтом судьбе, или, говоря конкретнее, советским идеологическим нормам. Борис Пастернак в этих главах книги скорее жертва странной несправедливости и бесчувственности, недопонимания или некомпетентности (проявляемых не только советскими литературными бюрократами, но и западной стороной), чем борец, вступивший в неравный поединок с силами зла, Гамлет — как его трактовал автор романа. Не только присуждение Нобелевской премии Пастернаку — первое в советской литературе, первое в поэзии славянских народов — было убедительной его победой в неравном споре с государством, но и все его предшествующие шаги в годы «оттепели» выглядят как вызов властям. Пастернак был первым, кто пробил брешь в стене, воздвигнутой между советской литературой и

внешним миром, между нею и эмиграцией.

Творчество, искусство неотделимо в понимании Бориса Пастернака от душевного риска, от смертельной опасности. Не раз сам он оказывался на волосок от гибели. Так было осенью 1939 года, в разгар работы над переводом «Гамлета», когда он, как и Олеша в Эренбург (это установлено новейшими изысканиями), проходил в делах следствия НКВД соучастником арестованного и подвергавшегося нечеловеческим пыткам Мейерхольда. К сожалению, в книге Е. Б. Пастернака сказано об этом недостаточно четко. Ссылаясь на слова самого поэта о «случайности», которая может помешать завершению перевода, автор книги не уточнил, о чем, собственно, речь; между тем слово «случайность» в письме Пастернака Ольге Фрейденберг — эвфемизм; подразумевается арест, поэт каким-то шестым чувством догадывался о нависшей угрозе. С годами у него усиливалась вера в магически спасительную роль литературного текста; в последний раз он говорил об этом зимой 1960 года в связи с работой, вскоре прерванной смертельной болезнью, — это была пьеса «Слепая красавица».

Хотя публикаторский бум последнего времени в чем-то перекрыл сведения, собранные Евгением Пастернаком, его монография долго будет служить лучшим введением в изучение творчества поэта.

Лазарь ФЛЕЙШМАН.

Стэнфордский университет, США.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВИРУС ГИГАНТОМАНИИ

В Сибири продолжается строительство пятой по счету гигантской гидроэлектростанции — Богучанской.

Размышляя о разрушающей природу ненасытной деятельности ведомств, я, поместивший сибиряк-красноярец, вспоминаю слова великого соотечественника Антона Павловича Чехова, которые он записал в Красноярске, путешествуя на перекладных на Сахалин:

«...сильна и непобедима тайга, и фраза «Человек есть царь природы» нигде не звучит так робко и фальшиво, как здесь. Если бы, положим, все люди, которые живут теперь по сибирскому тракту, стоворились уничтожить тайгу и взялись бы для этого за топор и огонь, то повторилась бы история синицы, хотевшей зажечь море. Случается, пожар сожрет лесу верст на пять, но в общей массе пожарище едва заметно, а проходят десятки лет, и на месте выжженного леса вырастает молодой, гуще и темнее прежнего».

Великий писатель не мог предвидеть, что необозримые массивы тайги, которые «сожрали» Братское, Красноярское, Усть-Илимское, Саяно-Шушенское (и «дожирает» свою долю Богучанское) рукотворные моря, увы, уже никогда не вырастут и не зазеленеют. Наши современники — мыслители и ученые сейчас тоже не могут предвидеть, как скоро дальнейшее уничтожение сибирской тайги отразится на разрушении озоновой брони земной атмосферы.

Восхищался А. П. Чехов и Енисеем: он удивлялся, «что этот силач не смыл еще берегов и не пробуравил два». Увы, того Енисея в Красноярске уже нет! Недооценил великий писатель человека — царя природы, который успешно укротил Енисей и уничтожает тайгу.

Тому, кто родился и вырос на Енисее, восхищавшем художников и поэтов, невозможно примириться с мыслью, что люди, живущие на его берегах, в тридцатиградусную жару никогда не придут на его прекрасные пляжи с прогретой в хакасских степях животворной речной водой. Теперь спрессованная стометровой толщиной Красноярского моря мертвая вода, перемолотая лопатками турбины, течет по городу жалкой узкой лентой, сохраняя круглый год постоянную температуру плюс семь градусов Цельсия. Солнце уже не в состоянии ее прогреть. Укрощенный Енисей и в сорокаградусные морозы не покрывается уже метровым ледяным панцирем, а продолжает течь еще триста километров после Красноярска, наполняя глубокую пойму реки непроходимыми густыми туманами, насыщенными ядовитыми выбросами гигантов цветной металлургии и химии, которые под стать своей кормилице — могучей ГЭС. Красноярское море навеки затопило исконную среду обитания человека — самые плодородные на юге этого края пашни и все лето цветшие заливные луга.

Примерно то же самое можно сказать о необратимых, пагубных последствиях, которые вызвало сооружение каждой из ныне действующих в нашей стране «великих» ГЭС. Теперь-то очевидно, что наши проектировщики и строители сделали все, чтобы эти последствия были наиболее разрушительными. Но Минэнерго СССР в альянсе с Бюро Совмина СССР по топливно-энергетическому комплексу и Госпланом СССР со страшной силой пробивают «программу нового века» — ускоренное строительство около 100 крупнейших ГЭС по всей нашей великой стране. Во имя миллиардных капиталовложений, на которых как на дрожжах вырос гигантский институт Гидропроект, пробивается одна ГЭС за другой, ибо они источник существования как самого Гидропроекта, так и поддерживающих его ведомств. Все это делается вопреки доводам ученых, выступающих против гидромании.

Дискуссии вокруг ГЭС в последние годы идут на страницах многих газет и журналов. Государственные экспертные комиссии, несмотря на ведомственное давление на них, раз за разом «не рекомендуют» проекты ГЭС к утверждению. Однако

эти проекты, при всей их экономической и экологической необоснованности, не отвергаются, как это следовало бы сделать, а отправляются на доработку для наращивания бросовых затрат.

Пока проволочки с необоснованными проектами продолжаются, Минэнерго СССР, пользуясь поддержкой отраслевых (энергетических) отделов на всех уровнях государственного аппарата, тихой сапой ведет так называемые подготовительные работы на строительстве Катунской и Туруханской ГЭС, создавая опорную производственную базу для завершения строительства супергигантского каскада ГЭС на одной из величайших рек планеты — Енисее. Уровень аргументации при этом удручает. Инженеры — специалисты в области гидравлики, земляных и бетонных работ с глубокомыслием рассуждают об «экологической чистоте» гидроэлектростанций, неосновательность своих суждений пытаются компенсировать агрессивным напором, объявляя своих оппонентов, крупных ученых — экологов, биологов, ихтиологов, этнографов, географов, почвоведов и других, «некомпетентными людьми», «искателями дешевой популярности» и т. п. Когда слушаешь жаркую дискуссию об экологическом вреде ГЭС, создается впечатление, что их энергетическая и экономическая эффективность беспорна. В большинстве случаев это совсем не так. Дискуссия по экологическим проблемам нередко затемняет главный вопрос: а стоит ли вообще игра свеч?

В минувшие годы мы избегали сравнений с показателями Соединенных Штатов, отделиваясь оговорками о несопоставимости наших экономических систем, и в то же время кичились тем, что по объемам производства обогнали всех, в том числе и США. Относительные затраты на электропередачи сверхвысокого и ультравысокого напряжения в СССР в 10 раз больше, чем в США. Такого рода расходы не только отвлекают от себя капиталовложения и огромные ресурсы, но и создают потери электроэнергии и мощности, по которым мы постоянно держим первое место в мире. А эти потери требуют дополнительных капиталовложений в электростанции. Предвижу, что мне возразят: у нас, мол, территория в 2,5 раза больше. Неутешительный довод! Обжитые территории наших стран соизмеримы, а огромные расстояния в несколько тысяч километров между основными регионами размещения природных ресурсов и производительных сил в нашей стране необязательно преодолевать с помощью линий электропередачи. Ведь существуют более универсальные коммуникации для передачи энергоресурсов — железнодорожный и автомобильный транспорт, — развитием которых мы по настоящему не занимались.

Сравнивая структуру капиталовложений в электроэнергетику СССР и США, следует обратить особое внимание на то, что в СССР в одиннадцатой пятилетке расходы на ГЭС составляли 14,4 процента от суммарных затрат в эту область энергетики. Это в 7 раз больше, чем в США (2 — 2,1 процента). Результат такой политики — высокий удельный вес наших ГЭС в установленной мощности электростанций по СССР в целом: 20 процентов против 11,4 процента в США. Но средние данные по нашей стране, имея в виду территориальную разобщенность основных регионов средоточия производительных сил, непоказательны.

В районах, богатых природными гидроресурсами (в Сибири, Средней Азии и Закавказье), удельный вес этих электростанций достиг нерационально высокого уровня. Ни на одной великой равнинной реке высокоразвитых стран мира вы не найдете такую непрерывную цепь рукотворных разливных морей, как на Волге, Каме, Днепре, Ангаре и многих других наших реках.

Результаты гидростроительства в Советском Союзе рассмотрим в сравнении с США. На начало 1989 года в СССР действовало 206 ГЭС суммарной мощностью 63,8 миллиона киловатт, а в США 1245 ГЭС суммарной мощностью 86,3 миллиона киловатт. В СССР в 6 раз меньше ГЭС, но средняя мощность одной нашей станции 310 мегаватт, то есть в 4,5 раза больше, чем в США (69 мегаватт). Можно не сомневаться, что 1245 мелких и средних ГЭС в США нанесли меньший урон природе и экономике, чем 206 наших ГЭС. Речь идет о том, чтобы вернуться к разумной практике размещения большого числа электростанций на огромной территории страны, такая практика существовала до 70-х годов.

Рассматривая размещение, количество и мощности разнотипных электростанций по регионам нашей страны и штатам в США, убеждаемся, что у американцев все годичино прогнотовзатратному принципу — обеспечению соответствия структуры электростанций графикам нагрузки местных энергосистем. Пренебрегая этим, у нас, например, в Сибири преимущественно строили пиковые мощности ГЭС, а на Западе

и Северо-Западе — базисные ТЭС и АЭС. Теперь мы пытаемся преодолеть огромное расстояние между этими регионами с помощью сверхдальних электропередач. Это классический пример борьбы со следствиями вместо ликвидации причины.

Наиболее принципиальный характер носили и носят сейчас споры вокруг строительства гигантских сибирских ГЭС, поскольку там, в самом центре обжитой части Сибири, есть практически неиссякаемый альтернативный источник энергии — самые дешевые и экологически наиболее чистые в стране канско-ачинские угли, на которых уже три десятилетия успешно работают все тепловые электростанции в Красноярском крае и многие за его пределами. Суть этих споров уходит своими корнями в прошлое. Если мы для очищения нравственных устоев своей будущей жизни придаем гласности и анализируем белые и черные пятна нашей истории пятидесяти-семидесятилетней давности, то надо сделать это и в отношении вчерашнего и сегодняшнего дня. В противном случае сегодняшние просчеты и безнравственные поступки будут анализировать наши внуки и правнуки в середине будущего столетия и так далее до бесконечности. В этой связи хотелось бы рассказать о событиях, участником которых мне довелось быть и которые, по-моему, определяли раньше и определяют сейчас негативные процессы, происходящие в энергетике нашей страны. А дела в энергетике влияют на всю нашу экономику.

В феврале 1952 года меня, главного инженера Норильской энергосистемы, по приказу министра внутренних дел перебросили на «великую стройку коммунизма», Куйбышевскую ГЭС, для работы заместителем главного инженера — главным энергетиком Куйбышевгидростроя. Эта прославленная теперь и широкоизвестная строительная организация, которая возводила миллионный город Тольятти, гигант ВАЗ, химические и другие предприятия, в то время делала свой первый шаг — осуществляла закладку крупнейшей в мире Куйбышевской ГЭС. Куйбышевгидрострой и Норильский горно-металлургический комбинат являлись подразделениями печально известного ГУЛАГа НКВД, что четко значилось на титульном наименовании этих организаций. Основной, наиболее многочисленный и бесправный контингент, низведенный до положения рабов, составляли заключенные, которые использовались на общих трудоемких работах. Наиболее квалифицированные, но далеко не все ученые, инженеры и рабочие из числа заключенных трудились по специальности; лагерная же администрация и охрана состояли из офицеров всех рангов и солдат НКВД.

Я принадлежал к категории вольнонаемных, которую составляли специалисты и рабочие ведущих профессий, поскольку волею судеб оказался в Норильске в середине 1942 года молодым специалистом, как сын репрессированного в 1937 году родителя. Таким, как я, подобно саперам, нельзя было ошибаться. Нужно было работать лучше и больше других.

Строительство Куйбышевской ГЭС осуществлялось в баснословно короткие по современным представлениям сроки. Работы начались в конце 1950 года. Весной 1952 года стали сооружать перемычки, ограждающие котлован будущей ГЭС. 14 октября 1957 года ГЭС была введена в эксплуатацию на полную проектную мощность — 2,3 миллиона киловатт.

Высочайшие темпы строительства стали возможны не только и не столько благодаря высокой его механизации. Главный секрет высочайших темпов стройки состоял в том, что на ней работала армия заключенных, которая, как говорили, достигала 100 тысяч человек. Разумеется, эта цифра в печати не приводилась.

С Жигулевских гор открывалась величественная панорама 7,5-километрового напорного фронта гидроузла. Наблюдая с этой высоты людской муравейник, я думал, что строительство египетских пирамид было лишь детской и невинной забавой в сравнении со «сталинскими стройками коммунизма».

В 1958 году на торжественном банкете, посвященном пуску Куйбышевской ГЭС, Первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев, отражая состояние тогдашних дискуссий вокруг гидроэлектростанций, высказался против их дальнейшего массового строительства. Он указал на дороговизну ГЭС и линий сверхвысокого напряжения, на безвозвратные потери лучших заливных лугов и пашен на средней Волге, на экономические преимущества тепловых электростанций. Но правильной установке главы правительства не суждено было воплотиться в жизнь. Тогда, как это повторяется и сейчас, произошла консолидация мощных ведомственных сил, выращенных на гидротехнических стройках ГУЛАГа. В Сибири с

конца 50-х годов развернулось поточное строительство одной за другой гигантских ГЭС, а сооружение тепловых электростанций на местных дешевых углях стали сворачивать. Как могло случиться, что практические дела пошла вопреки установке главы правительства?

Куйбышевская ГЭС (ныне Волжская ГЭС имени В. И. Ленина) была последней великой гидротехнической стройкой, которая заложена и в значительной мере осуществлена ГУЛАГом при жизни Сталина. За плечами этого зловещего ведомства остались сооруженные буквально на костях заключенных каналы Беломорско-Балтийский, Москва — Волга, Волга — Дон с соответствующими водохранилищами и ГЭС: Угличской, Рыбинской, Цимлянкой и другими. На гидротехнических стройках ГУЛАГа выпестовалась плеяда убеленных седной и умудренных горьким опытом гидростроителей и проектировщиков. Для того чтобы выжить, им требовались все новые великие гидротехнические стройки. Их взоры устремились в Сибирь — на могучие Ангару и Енисей.

Так случилось, что я вновь оказался в эпицентре событий, связанных с дальнейшим «победоносным» шествием гидроэнергетического строительства. С Куйбышевской ГЭС меня в 1957 году перевели главным инженером в Красноярскую энергосистему.

В Красноярском крае пришлось начинать практически на голом месте. Казалось бы, что здесь все можно делать строго рационально, добиваясь максимального эффекта при минимуме затрат. По этому принципу и был составлен первоначальный проект объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири, выполненный ленинградским отделением института Теплоэлектропроект. По этому проекту намечалось строительство рассредоточенных в центрах электропотребления ГРЭС, а также строительство большого числа ТЭЦ на местных углях в городах и промышленных центрах Кузбасса, Иркутской области и Красноярского края, Новосибирске. Строительство сибирских гидроэлектростанций намечалось на отдаленную перспективу, когда в ОЭС Сибири возникнут условия для эффективного использования их мощности, то есть когда годовые приросты электропотребления станут соизмеримыми с мощностью вводимой в действие ГЭС.

Не нужно быть профессионалом-электроэнергетиком, чтобы понимать разумность первоначального проекта развития ОЭС Сибири. Но как тогда быть с армиями гидростроителей и проектировщиков, которые набрали инерцию еще в печальные времена ГУЛАГа и не желают остановиться?

В 1958 году в Красноярск приехал Игнатий Трофимович Новиков, новый заместитель министра электростанций. Цель командировки — договориться с руководством края и совнархоза о совместных действиях по форсированию строительства Красноярской ГЭС.

Чтобы понять, почему в Сибири прекратили строительство высокоэффективных тепловых электростанций в центрах электрических нагрузок и стали сооружать гигантскую Братскую ГЭС в шестистах километрах от ближайших потребителей, необходимо коротко сказать об авторе такого поворота в стратегии развития нашей энергетики. Краткая биография Героя Социалистического Труда И. Т. Новикова есть в Большой Советской Энциклопедии. Но там отсутствуют важные для судеб отечественной энергетики подробности.

Я не знаю, почему секретарь Саратовского обкома партии Новиков в 1943 году был переведен в Москву в Наркомат электростанций на скромную должность начальника небольшого управления по снабжению запчастями подчиненных ему объектов. Достоверно известно, однако, что в 1950 году Новикова исключили из партии (строительство дачи за государственный счет), сняли с работы и назначили заместителем начальника строительства Горьковской ГЭС по материально-техническому снабжению. Высшие партийные инстанции исключение из партии не утвердили, да и в опале Новиков оставался недолго, в 1954 году его назначили начальником управления строительства Кременчугской ГЭС.

Построив Кременчугскую ГЭС и назвав поселок при ней городом Хрущевом, И. Т. Новиков завоевал авторитет в правительстве и в 1958 году пост заместителя министра электростанций, а уже в декабре того же года назначается министром строительства электростанций.

Первым заместителем И. Т. Новиков взял профессионала-гидростроителя П. С. Непорожного, доктора технических наук в области бетонных и арматурных работ на

речных гидротехнических сооружениях. Так выпускник металлургического института и доктор железобетонных наук в паре начали свое «победоносное» шествие на ниве нашей энергетики, продолжавшееся около трех десятилетий.

В конце 50-х годов развернулось сооружение сразу двух крупнейших в мире сибирских гидроэлектростанций — Братской и Красноярской. Высказывались настоятельные предложения, делались представления правительству начать со стройки хотя бы одной — Красноярской — ГЭС, которая размещена рядом с крупным промышленным городом, в самом центре Сибири, что соответствовало минимуму затрат на электрические сети, необходимые для реализации мощности этой ГЭС. Однако стараниями Министерства строительства электростанций провели в жизнь как первоочередное сооружение Братской ГЭС, основываясь только на «большой готовности» проектно-изыскательских работ в сравнении с Красноярской ГЭС. Удаленность Братской ГЭС на шестьсот километров от ближайших потребителей ее энергии оправдывалась тем, что одновременно с ГЭС предполагалось воздвигнуть Братский промышленный комплекс — гигантский алюминиевый завод и лесоперерабатывающий целлюлозный комбинат. Тут истоски трагедии Байкала. Но не только одного Байкала.

Общезвестно, что капиталовложения в электроэнергетику по стране в среднем составляют 8 процентов от капиталовложений в промышленность. Поэтому для того, чтобы одновременно с Братской ГЭС строить индустриальный комплекс, способный реализовать всю мощность этой электростанции, на каждый рубль, вкладываемый в энергетику, требовалось в указанный комплекс вложить минимум 12 рублей. Для этого пришлось бы сконцентрировать в Братске астрономические капиталовложения и ресурсы, а также население, по численности превышающее жителей всей Иркутской области. Судите сами, что это было: заблуждение дилетантов или авантюра руководителей ведомства, предпринятая ради того, чтобы занять армию проектировщиков гидросооружений и гидростроителей, которые, набрав высокие темпы на стройках ГУЛАГа, не желали остановиться.

Неиссякаемого источника дешевой рабсилы — ГУЛАГа — уже не существовало, и Братский промышленный комплекс как потребитель электроэнергии Братской ГЭС после ввода ее в действие сооружался еще полтора десятка лет.

Напомним, что эти события происходили в период потепления после сталинского диктата, когда предпринимались попытки децентрализовать руководство народным хозяйством. В совнархозах появлялись высококвалифицированные специалисты, которые быстро разобрались в состоянии и перспективах развития отраслей народного хозяйства и энергично добивались в правительственных органах решения своих региональных текущих и перспективных проблем.

Министерство строительства электростанций (министр И. Т. Новиков), в числе немногих сохранившееся при образовании совнархозов, оказалось под перекрестным огнем великого множества заказчиков. Возникли разногласия и конфликты. Мало-мощный центральный энергетический орган без административных и хозяйственных функций Союзглавэнерго при Госплане СССР не мог обеспечить руководство энергосистемами, а тем более выступать арбитром между совнархозами и Министерством электростанций.

В конце августа 1962 года после бурного Всесоюзного совещания по вопросам управления энергетикой, созванного Госпланом СССР, 22 управляющих наиболее крупными энергосистемами, в том числе и автор этих строк, были приглашены к заведующему сектором энергетике отдела машиностроения ЦК КПСС Н. Д. Мальцеву на обсуждение двух проектов организационной структуры управления энергетикой. Первым из них был проект бывшего министра электростанций А. С. Павленко, который предлагал создать союзное министерство для обеспечения научного, административного и хозяйственного руководства энергетикой всей страны, а также функций заказчика по строительству электростанций, осуществляемому министерством строительства электростанций и другими ведомствами, соорудавшими большое число ТЭЦ, электрических и тепловых сетей для своих объектов. Автором второй идеи выступал министр строительства электростанций И. Т. Новиков. Его проект предусматривал создание на базе собственного строительного ведомства союзно-республиканского министерства. Министерство призвано было совмещать функции эксплуатации электростанций с их строительством. Этот план означал полную монополизацию власти в энергетике.

Все без исключения 22 управляющих энергосистемами, приглашенные на сове-

щание, высказались за предложение А. С. Павленко, обеспечивающее сочетание общегосударственных, территориальных и ведомственных интересов. Пренебрегая очевидными фактами, игнорируя мнение руководителей энергосистем, непосредственно ответственных за энергоснабжение народного хозяйства и населения страны, волевым решением правительства провела в жизнь предложение Новикова, который в 1962 году стал министром энергетики и электрификации СССР.

Для него это был лишь трамплин. В ноябре того же 1962 года он назначается заместителем Председателя Совета Министров СССР и председателем Госстроя СССР. Сработала покровительственная рука Брежнева. Министром энергетики и электрификации назначили гидростроителя П. С. Непорожного, бывшего первого заместителя Новикова. Главные лидеры были расставлены. В энергетике началась эра безраздельного строительного диктата.

Ведомственная монополия в области идеологии и стратегии развития энергетики стала фактом в 1962 году с реорганизацией проектных и научно-исследовательских институтов. Гидропроект имени С. Я. Жука бывшего ГУЛАГа НКВД поглотил Гидроэнергопроект бывшего Министерства электростанций. Конкурирующие институты слили в один гигантский, ныне действующий институт Гидропроект со множеством филиалов. Этот институт сохранил не только название, но и традиции института, возвращенного в недрах ГУЛАГа С. Я. Жуклом, личным консультантом Сталина по вопросам гидростроительства.

Создается новый крупный проектный институт Энергосетьпроект. Институт и его многочисленные филиалы образованы были путем выделения готовых организаций — электротехнических секторов старейшего института Теплоэлектропроект (ТЭП), возникшего еще в 1924 году.

Если слияние двух крупнейших гидротехнических институтов монополизировало позиции гидростроителей, то изъятие электротехнических секторов у ТЭПа ослабило позиции теплоэнергетиков в энергосистемах. Это наряду с другими причинами привело к крайней медлительности в области распространения, темпов строительства и совершенствования тепловых электростанций, обусловило крайнюю нашу отсталость от высокоразвитых стран в создании экологически чистых ТЭС.

Наиболее рельефно приоритет «великих гидротехнических строек» проявился в Сибири. За 1965—1985 годы мощность всех электростанций объединенной энергосистемы Сибири увеличилась в 3 раза. Причем 70 процентов новой мощности было введено на ГЭС и только 30 процентов на ТЭС.

До ввода в 1963 году Братской ГЭС все природные нагрузки Сибири с высокой экономической эффективностью покрывали тепловые электростанции. В этих условиях мощность, введенная на Братской ГЭС в 1963 году, оказалась излишней. Из-за отсутствия потребителей на месте, в Братске, первое время производилась колоссальная сбросы (потери) гидроресурсов. Затем сверхударными темпами построили 2500 километров сверхдальних линий электропередачи сверхвысокого напряжения 500 киловольт. По радио с утра до вечера пели: «ЛЭП-пятьсот — непростая линия...» Да, что и говорить, линия была непростая. Ценой дополнительных капиталовложений в ЛЭП-500 порядка 400 миллионов рублей (близких к затратам на саму Братскую ГЭС) ее мощность была передана в Иркутск, Красноярск и Кузбасс, но не только для полезной деятельности, а для соответствующей разгрузки и замещения мощности всех тепловых электростанций Сибири. В результате экономическая эффективность работы последних резко упала.

В начале 60-х годов Кузбасс, крупнейший индустриальный центр страны, был основным потребителем электроэнергии в Сибири. Поэтому большая часть излишней мощности, введенной на Братской, а затем в 1967 году на Красноярской ГЭС, устремилась в Кузбасс. Там существовала возможность принять ее за счет разгрузки собственных крупнейших тепловых электростанций. В течение одиннадцати лет (1964—1974) коэффициент использования установленной мощности ТЭС Кузбасса снизился до 50 процентов против 85 процентов в 1963 году. За этот отрезок времени теплоэлектростанции Кузбасса недодали стране более 80 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а замороженные среднегодовые мощности и основные промышленно-производственные фонды на ТЭС достигали соответственно 1,5 миллиона киловатт и 300 миллионов рублей. По Сибири в целом эти потери в два раза больше.

Переброска электроэнергии от Братской ГЭС на расстояние тысяча двести километров в Кузбасс продолжается по сей день. Ее темп нарастал за счет ввода Красно-

ярской и Усть-Илимской ГЭС, а в будущем еще увеличится после ввода Богучанской ГЭС. Всего за четверть века (1964—1988) в Кузбасс и далее в Алтайский край, Новосибирскую и Томскую области уже передано 260 миллиардов киловатт-часов. Для лучшего понимания масштабов этого перетока укажем, что такое количество электроэнергии было произведено в нашей стране в 1958, а во Франции, например, в 1980 году. Ныне ежегодный переток в Кузбасс из Красноярской и Иркутской энергосистем достиг уже 20—22 миллиардов киловатт-часов. Прямые потери в этом ежегодном рукотворном транзите—1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, на что расходуется миллион тонн канско-ачинского угля и 10 миллионов рублей прямых эксплуатационных затрат в энергосистемах.

Омертвление овещенного и живого труда всегда неизбежно, когда вводятся в действие и функционируют предприятия, продукция которых не может быть реализована. В электроэнергетике излишние мощности завуалированы, электроэнергия нельзя положить на склад, обнаружив затоваривание ею при очередной бухгалтерской ревизии...

Шли годы. Ввод мощности на ТЭС резко сократился. Рост электропотребления исчерпал избытки электроэнергии, созданные в 60-е годы преждевременным вводом Братской и Красноярской ГЭС. Начиная с 1975 года в объединенной энергосистеме Сибири баланс электроэнергии достигается уже при полном использовании мощности тепловых электростанций в период осенне-зимнего максимума нагрузок.

Этот этап развития энергетики Сибири совпал с многолетним маловодным периодом в Ангаро-Енисейском бассейне. В конце его, в 1982 году, суммарная выработка электроэнергии на сибирских ГЭС упала до 59,8 миллиарда киловатт-часов. Тепловые электростанции при их низком удельном весе в этом регионе не смогли компенсировать провал выработки ГЭС, проводились крупные ограничения потребителей вплоть до остановки отдельных производств. По экспертным оценкам, народнохозяйственные потери в Сибири в зиму 1982/83 года превысили два миллиарда рублей...

«Нравственная» позиция представителей высшего эшелона власти в энергетике—это полное игнорирование какой бы то ни было критики принимаемых и проводимых ими в жизнь решений. А критика эта не прекращалась с середины 50-х годов. В результате израсходованные на «великие программы» миллиарды рублей оказались выброшенными на ветер. По моему глубокому убеждению, происхождением всех форм казнокрадства мы обязаны в высшей степени самой безнравственной системе, которая не препятствовала, а поощряла все разновидности расточительной гигантомании.

Идеология руководства Министерства энергетики, впрочем, как и самого бывшего министра П. С. Непорожного, заключалась в том, чтобы освоить заданную плавом сумму капиталовложений, обеспечив суммарный ввод мощностей (мегаватт) на электростанциях по стране в целом. Набор суммарных капиталовложений и ввод мощностей по регионам откровенно цинично осуществлялся, исходя из производственных возможностей соответствующих строительных трестов и объединений; действительная потребность данных регионов в электроэнергии и возможность эффективного использования вводимых мощностей не учитывалась.

Так был организован строительный конвейер по преждевременному сооружению одной за другой 5 сверхмощных сибирских ГЭС, которые, как показано выше, не вписывались в графики электропотребления Сибири.

В то же время на северо-западе европейской части страны, где суточные графики электропотребления самые неравномерные и где требуются пиковые и маневренные мощности, в 60—70-е годы был задействован строительный поток по сооружению мощных неманевренных газо-мазутных ГРЭС, а в 70—80-е годы крупных атомных электростанций, которые также не способны участвовать в регулировании суточного графика нагрузок энергосистем.

Я в то время работал заместителем начальника Главного эксплуатационного управления энергосистемами Запада и Северо-Запада Минэнерго СССР. Резервы базисной мощности ТЭС на Северо-Западе привели к их разгрузке до 46 процентов к 1981 в сравнении с 64 процентами в 1970 году. Одновременно образовался крупный поток электроэнергии с запада на восток, навстречу транспорту топлива.

За 1979—1989 годы поток электроэнергии с северо-запада в центр составил 130 миллиардов киловатт-часов и далее на Урал—110, в Казахстан—58 и в Сибирь—

42 миллиарда киловатт-часов. Расходы на встречный транспорт энергоресурсов в этом противопотоке оцениваются в 350 миллионов рублей, а затраты топлива на покрытие потерь электроэнергии в линиях электропередачи и на транспортировку топлива в обратном направлении превышают два миллиона тонн условного топлива. Для образования этого противотока электроэнергии на северо-запад с востока транспортируется 42 миллиона тонн условного топлива, в основном остродефицитного мазута. Экономическая абсурдность такого многолетнего противотока еще и в том, что с запада на восток передается электроэнергия, которая в 2,5—3 раза дороже, чем в Сибири.

Все эти неслучайные экономические потери объясняются во многом некомпетентностью руководителей отрасли. Некомпетентность позволяла П. С. Непорожнему и его многочисленным заместителям — инженерам-строителям — закрывать глаза на перекосы и диспропорции, возникавшие в энергетических системах. В пик министерской деятельности П. С. Непорожного у него из 15 заместителей было 13 профессиональных строителей, и только двое занимались энергетикой.

Еще в 60-е годы в нашей стране различными министерствами и ведомствами возводилось множество электростанций. Минэнерго СССР занималось строительством районных электростанций. Но руководству Минэнерго — И. Т. Новикову и П. С. Непорожнему, — пришедшему к монопольной власти в начале 60-х годов, казалось, что строить потоком сверхмощные сибирские и другие ГЭС, ГРЭС Экибастуза и КАТЭКа, АЭС в европейской части страны, не задумываясь о реализации их мощностей, проще, чем строить сотни средних электростанций. Это оказалось заблуждением, жизнь внесла свои коррективы: строительный поток по сооружению ГРЭС Экибастуза и КАТЭКа не состоялся. Поток на строительство АЭС заторможен черныбыльской трагедией, да и не только ею. Атомная энергетика сейчас во всем мире на перепутье.

Можно считать, что осуществился только строительный поток земляных и железобетонных работ (простейших, но колоссальных по объему) при сооружении сверхмощных сибирских и других ГЭС. Но для реализации их мощностей необходимы сверхдальние электропередачи. Приведем факты. Десять лет строится не имеющая до сих пор аналогов в мировой практике сверхдальняя линия электропередачи ультравысокого напряжения 1150 киловольт Челябинск — Кустанай — Кокчетав — Экибастуз — Барнаул — Итат. Ее протяженность около 2500 километров. Однако за столь долгий срок при сметной стоимости ее 790 миллионов рублей освоено только 480 миллионов, или 60 процентов. Экономическая эффективность этой дорогой линии обосновывалась ее небывало высокой пропускной способностью — 5500 мегаватт, — которая из-за недоделок может использоваться лишь на 20 процентов. Для ликвидации недоделок и выхода на проектную мощность ЛЭП 1150 киловольт необходимо решить множество научно-технических проблем по разработке и организации серийного выпуска совершенно нового сложного оборудования. На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы потребуются новые крупные затраты средств и времени, которые как снежный ком накладываются на расходы прошлых лет.

В 70-е же годы был разработан невиданный в мировой практике проект электропередачи постоянного тока ультравысокого напряжения 1500 киловольт (ППТ-1500) Экибастуз — Тамбов протяженностью 2440 километров, с пропускной способностью 6 тысяч мегаватт и 42 миллиарда киловатт-часов в год. Сметная стоимость этой линии по проекту составляет 960 миллионов рублей. Ее действительную стоимость определить пока невозможно. По мнению компетентных ученых, для создания этой электропередачи в современном ее назначении нерешенных проблем остается больше, чем решенных. За два десятилетия, прошедших с начала проектирования линии, электропромышленность успела разработать четыре поколения полупроводниковой преобразовательной техники, однако поставляемое ныне на ее монтаж оснащение далеко не соответствует высшему мировому уровню.

Не секрет, что в прошлые годы в народном хозяйстве страны процветала разорительная гигантомания, находившая благоприятную почву в некомпетентности тех, кто присваивал себе право представлять готовые решения в ЦК КПСС и Совмин СССР. В энергетике, на мой взгляд, это практикувалось особенно широко. История ППТ-1500 — убедительное доказательство этому.

На заседании 5 декабря 1989 года в Бюро ТЭК Совмина СССР начальник отдела энергетики и электрификации ГКНТ СССР В. И. Доброхотов (кстати, не специалист в области электрических сетей и систем, а теплотехник по образованию и опыту своей практической работы), доказывая необходимость строительства ППТ-1500, вспомнил широкоизвестный факт, как в 70-е годы председатель экспертной комиссии Д. Г. Жимерин при возражении подавляющего большинства членов комиссии добился утверждения разорительного проекта. Д. Г. Жимерин, о котором вспомнил представитель руководства ГКНТ СССР, продолжает работать в этом высоком ведомстве, выступает в печати в защиту разорительных проектов гигантских сибирских ГЭС, а следовательно, и сверхдальних электропередач. Он по-прежнему жестко проводит в жизнь угодные ведомству решения вопреки мнению специалистов и здравому смыслу. Ведь у него за плечами огромный опыт!.

Вернемся к проекту линии Экибастуз — Тамбов. Она предназначалась для передачи дешевой электроэнергии, вырабатываемой на экибастузских ГРЭС, в европейскую часть страны. Однако сомнения в необходимости сооружения этой линии обрекли ее на долгострой, и через восемь лет, к 1985 году, Минэнерго СССР выполнило незначительный в сравнении со сметной стоимостью объем строительно-монтажных работ — 25 миллионов рублей. Забегая вперед заметим, что за минувшее десятилетие в значительной мере реализован альтернативный вариант: из 83 миллионов тонн израсходованного в 1989 году экибастузского угля на Экибастузскую ГРЭС приходится только 13 миллионов тонн, или 15,6 процента, остальной уголь перевозят на рассредоточенные в центрах энергетических нагрузок электростанции Казахстана, Урала и центра. Жизнь сама сделала выбор, который не желает видеть ведомство, пораженное вирусом гигантомании. Может быть, целесообразнее было бы огромные средства и ресурсы, потраченные на строительство БАМа и сверхдальние электропередачи, направить на развитие железных дорог для перевозки сибирских углей в европейскую часть страны, ликвидировав при этом встречные потоки энерго-ресурсов? Никто это не считал, а следовало бы...

Но история создания сверхдальних электропередач разворачивалась в эпохи застоя, в эпоху мифов о достижении светлого будущего гигантскими шагами великих строек века. А что было потом, после апрельского пленума ЦК КПСС 1985 года, открывшего эру перестройки и оздоровления нравственности?

Председатель Госстроя СССР С. В. Башилов 5 декабря 1985 года внес в Совет Министров предложение исключить из плана двенадцатой пятилетки строительство линии постоянного тока Экибастуз — Тамбов, так как в Экибастузе нет и не предвидится свободной мощности электростанций, которую можно по этой линии передавать в центр. Предлагалось миллиардные капиталовложения и колоссальные материальные ресурсы направить на решение других неотложных задач развития народного хозяйства. Предложение Госстроя прекратить строительство линии по указанию Председателя Совмина СССР Н. И. Рыжкова рассматривала специальная экспертная комиссия, членом которой был и автор настоящей статьи. Инициатива Госстроя СССР вызвала бурную реакцию авторов проекта этой линии. Они мгновенно мобилизовали главные силы для спасения своего детища. Бывший президент Академии наук СССР академик А. П. Александров и председатель ГКНТ академик Г. И. Марчук, нынешний президент АН СССР, 19 декабря 1985 года направили Председателю Совмина СССР Н. И. Рыжкову письмо в защиту проекта ППТ-1500 Экибастуз — Тамбов, а 5 февраля 1986 года в «Правде» появилась статья трех академиков — А. Александрова, Л. Мелентьева и И. Глебова — «Энергомост Сибирь — Центр».

Экспертная комиссия еще не успела приступить к работе, как бывший председатель Бюро Совмина СССР по ТЭК Б. Е. Щербина уже подписал протокол о необходимости форсировать строительство линии, проявив полное пренебрежение к экспертной комиссии, Госплану и Госстрою СССР. Этот залп тяжелой артиллерии призван был дезавуировать статью А. Валентинова «Спор вокруг миллиарда» («Социалистическая индустрия», 12.01.86), в которой делался однозначный вывод, что этот миллиард можно «оправдать» только попыткой любой ценой поддержать престиж нашей науки.

Работа экспертной комиссии была поставлена с ног на голову. Вместо предложения Госстроя СССР о консервации строительства рассматривался на ходу придуманный институтом Энергосетьпроект новый нереальный вариант использования

этой линии. Даже самые ярые ее сторонники не могли не признать, что в своем проектном назначении она в обозримой перспективе использована быть не может. И хотя все выступившие на заключительном заседании члены ГКЭ Госплана СССР: член-корреспондент АН СССР, ныне академик, С. С. Шаталин, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, доктор технических наук А. А. Михайлов, доктор экономических наук, профессор Л. И. Граматеева, академик Т. С. Хачатуров, лауреат Ленинской премии, доктор технических наук, профессор В. А. Веников, кандидат технических наук В. А. Шелест, — были против экономически необоснованных ско- роспелых предложений о новом внепроектном назначении линии постоянного тока, бывший председатель ГЭК член-корреспондент АН СССР Г. В. Воропаев (известный инициатор поворота вспять северных рек) принял волевое решение — строительство линии продолжать.

Прошло пять перестроечных лет. Дискуссии о несостоятельности проекта ППТ на страницах журналов и газет не утихают. Написано множество обращений в самые высшие инстанции. Однако все письма попадали в сектор энергетики ЦК КПСС и отдел электрификации Госплана СССР, которые прочно повязаны вместе со своими консультантами-академиками предметной ответственностью за принятые в 70-е годы ошибочные решения.

Но, быть может, идеологи этой электропередачи шли на миллиардные затраты потому, что линия крайне нужна и расходы когда-нибудь окупятся? Ничего подобного! О несостоятельности проекта Экибастуз — Тамбов неопровержимо свидетельствуют многократные изменения цели создания линии. Если в первоначальном проектном варианте линия Экибастуз — Тамбов предназначалась для передачи большей мощности от экибастузских ГРЭС на расстоянии 2440 километров, то теперь для переброски такой же мощности березовских ГРЭС КАТЭКА расстояние возрастает до 3500 километров. Затраты на киловатт передаваемой мощности составят свыше 500 рублей. С учетом расходов на киловатт генерируемой мощности на Березовской ГРЭС 400 рублей мы в европейской части СССР за каждый киловатт поступающей из Сибири мощности отдадим более 900 рублей. За такие деньги в европейской части страны можно в центрах нагрузки создать экологически чистые тепловые электростанции на привозном сибирском угле. Словом, достаточно ясно: гигантский экибастузский топливно-энергетический комплекс не состоялся. Поэтому совершенно бесполезно считать, что состоится еще более грандиозный и предельно удаленный КАТЭК...

Так что же делать? По ЛЭП 1150 киловольт Итат — Экибастуз — Урал уже истрачены крупные капиталовложения. При этом собственно линия — 2500 километров — заканчивается строительством на подходе к Итату, а большие недоделки сосредоточены на подстанциях. Очевидно, строительство этой линии нужно кончать.

По существу, погоня за приоритетом загнала проблему в экономический тупик. Виновные обязаны нести ответственность, во всяком случае должны быть лишены доверия.

Положение в стране таково, что финансирование ППТ-1500 на этот год фактически прекращено, а пагубная ориентация на переброску мощности по ней сохраняется. Пройдут еще годы. Наука и техника не стоят на месте. Появятся новые решения. Поэтому представляется целесообразным ППТ демонтировать. Бесспорно одно: распылять силы и средства на два недооцененных супергиганта преступно. В последнее время появился новый «убедительный» довод и у сторонников и у противников ППТ в пользу продолжения строительства: слишком много средств и ресурсов затрачено. Но ведь нельзя же вкладывать в ненужный объект еще 1630 миллионов рублей только потому, что 270 миллионов уже израсходовано. Здесь уместно напомнить, что когда бывший председатель Государственной экспертной комиссии Госплана СССР Г. В. Воропаев вопреки возражениям всех независимых экспертов и многих членов ГЭК принимал волевое решение продолжать строительство линии постоянного тока, на нее было потрачено только 25 миллионов рублей. Но кто будет нести ответственность за новые миллионы, израсходованные в течение последующих четырех лет?..

Я уже заканчивал статью, когда меня пригласили принять участие в общественно-научной конференции «Катунский проект. Проблемы экспертизы», состоявшейся 13 — 15 апреля сего года в Сибирском отделении Академии наук СССР. Здесь на конкретном примере, основанном на опыте неоднократных предыдущих экспертиз

этого проекта, была вновь продемонстрирована несостоятельность основной концепции развития энергетики в нашей стране.

Четыре года продолжается непримиримое противостояние. С одной стороны более сотни привлеченных к экспертизам крупных независимых ученых, которые, основываясь на тщательном анализе проекта, доказывают его несостоятельность. С другой — вся иерархия энергетических ведомств, заинтересованных в получении около полутора миллиардов бюджетных ассигнований, которые составляют источник их существования. По одну сторону баррикады с энергетическими ведомствами оказались и ученые Сибирского отделения, выполнявшие ведомственный заказ. Именно защита проекта Катунской ГЭС представителями Сибирского отделения АН СССР на заседании Президиума Совмина РСФСР 12 сентября 1989 года была одной из главных причин того, что сводное отрицательное заключение трех экспертных комиссий (Госплана, Госстроя и Госкомприроды РСФСР) в четвертый раз отправили на доработку.

Характерна позиция, занятая на этом заседании председателем Сибирского отделения академиком В. А. Коптюгом. По его словам, строить или не строить Катунскую ГЭС — это частный вопрос Горно-Алтайской автономной области. Такая постановка проблемы появилась, очевидно, по исчерпанию всех других доводов. Однако это вопрос далеко не регионального характера. Мощность ГЭС имеет союзное, а уникальный уголок нетронутой природы и древней истории цивилизации Горный Алтай — глобальное значение. Сибирским ученым это известно не хуже, чем мне...

Всесильные ведомства не устраивают отрицательные заключения по катунскому проекту, поэтому они снова и снова направляют его на дополнительную обкатку. А тем временем строительные работы так называемого подготовительного цикла продолжают. Цель этих проволочек — поставить всех перед фактом: смотрите, как много уже сделано! Ведомствам нужен сам процесс пресловутого освоения миллиардных капиталовложений, а как будет снабжаться электроэнергией Горный Алтай и Алтайский край пятнадцать — двадцать лет, пока продолжится освоение капиталовложений, никого не волнует. Действительно, беспокоиться нет оснований. Электроснабжение Алтайского края и Горно-Алтайской автономной области будет осуществляться так же, как и сейчас, — от объединенной энергосистемы Сибири, и в частности от березовских ГРЭС, одна из которых рассматривается в проекте как отвергнутый альтернативный вариант.

Возникает законный вопрос: зачем тогда основной вариант, то есть Катунская ГЭС? В освоении миллиардных капиталовложений заинтересованы и органы управления края и области. У них нет других путей получить бюджетные ассигнования на решение своих социальных проблем и развития инфраструктуры. Увы, такова система. Но мы же и собираемся покончить с этой системой путем перестройки!

И наконец, что у меня лично вызывает особое сожаление: в строительстве Катунской ГЭС заинтересованы мои коллеги — энергетики Сибири, в частности Барнаульэнерго. Появление ГЭС огромной мощности (1,9 миллиона киловатт) резко поднимает категорию энергосистемы и зарплату персонала, не говоря уж о престиже. А то, что в соответствии с проектом Катунская ГЭС всю видимую перспективу будет работать зимой своей базисной мощностью всего 500 мегаватт, равной четверти установленного потенциала, это моих коллег не волнует. Не волнует их и то, что такую же мощность они могут получить, и наверняка в ближайшие два-три года получат, попутно на ТЭЦ Барнаула, Бийска, Рубцовска и других ТЭЦ, затратив на это не более 200 миллионов рублей вместо 1300 миллионов, которые необходимы для Катунской ГЭС.

Вот наглядная демонстрация нашей ультразатратной экономики и психологии! Здесь на всех уровнях просматривается заинтересованность только в затратах и полное равнодушие к результатам. Поэтому вопрос об экспертизе проекта Катунской ГЭС уже давно не имеет ничего общего с научно-техническими проблемами. Это проблемы нравственные, перерастающие в криминальные, ибо речь идет о разбазаривании народных средств. Катунская или любая другая новая ГЭС в Сибири лишь увеличит народнохозяйственные потери. Поэтому такие затраты в реальных сибирских условиях никогда не окупятся. В то же время ввод альтернативных источников, в том числе ГЭС, будет улучшать структуру мощностей Сибири, за счет чего их эффективность по сравнению с эффективностью, которую определяет Гидропроект по своим отвлеченным от реальной жизни методикам, резко возрастает.

Но этим порочный ультразатратный круг, сложившийся в электроэнергетике в

застойные годы, не исчерпывается. Сверхмощные ГЭС, которые превращают великие самоочищающиеся реки в непрерывные цепи гниющих рукотворных морей, и сверхдальние ЛЭП — две стороны одной медали. Они не могут существовать друг без друга. Если в Сибири создать мощности ГЭС и ГРЭС не только для собственной энергоемкой промышленности, которая безусловно будет и впредь здесь развиваться, но и для передачи в европейскую часть страны, это будет означать превращение наиболее обжитой территории Красноярского края вдоль транссибирской магистрали, где расположен Канско-Ачинский угольный бассейн, во «всесоюзную кочегарку», а великие сибирские реки превратятся в цепь рукотворных морей, в результате будут уничтожены огромные массивы тайги, поля и луга, являющиеся средоточием жизни на нашей хрупкой планете. Такая стратегия, если ее допустить, — чистый вандализм. Я, потомственный сибиряк, не согласен с такой стратегией. Думаю, что мои земляки (да и не земляки тоже) задумаются над подобной перспективой и не допустят превращения Сибири и ее жителей в заложников цивилизации европейской части СССР.

Москва.

И. А. НИКУЛИН.

В ЖЕРНОВАХ ЭПОХИ

В № 10 «Нового мира» за минувший 1989 год напечатана статья критика В. Турбина «Сын отчества» (к 175-летию М. Ю. Лермонтова). Хорошая, искренняя и страстная статья. Но в ней допущена неточность. Автор пишет среди прочего о «погибшем где-то то ли в лагере, то ли в застенках юноше» — писателе-татарине Шамове. Юноша был исключен из МГУ за то, что не отказался от своего отца-«контрреволюционера» и «оказывал ему систематическую материальную помощь». Так писал на страницах «Литературной газеты» от 30 декабря 1929 года другие татарские литераторы, его коллеги Ш. Шахретдинов и А. Ерикей. Тут все верно, кроме того, что юноша погиб. Если мы заглянем в Краткую литературную энциклопедию, из которой почерпнуты сведения о поэте-песеннике Ахмеде Ерикее, мы без труда обнаружим сведения и о Афзале Шигабутдиновиче Шамове — известном татарском писателе, прозаике, переводчике, очеркисте. Одно время он был председателем Союза писателей Татарии, редактором журнала «Совет эдэбияты», долгие годы был председателем Татарского отделения Литфонда.

Прочитав статью в «Новом мире», Афзал Шигабутдинович рассказал мне некоторые подробности, неизвестные автору статьи. Его отца, крестьянина-середняка, никогда не державшего батраков, отца семерых детей, арестовали в 1929 году по вздорному поводу: то ли хлестнул кнутом колхозного быка, то ли прогнал его из стада. Вот за это-то «серьезное преступление» с учетом «чуждого классового происхождения» Шигабуддина Шамова ГПУ приговорило... к расстрелу как «контрреволюционера». Только после настойчивых ходатайств сына, учившегося в те годы в МГУ, приговор был пересмотрен и заменен куда более «мягким»: десять лет лагерей. Шамову-старшему повезло: за ударный труд на строительстве канала он был освобожден досрочно, вернулся к семье и умер уже в 1948 году в кругу родных и близких. Повезло и Шамову-младшему, причем совершенно серьезно, без кавычек. Изгнанный из университета, он вернулся в Казань и тем самым выпал из поля зрения органов, имевших обыкновение подбирать такого рода «социально чуждые элементы».

Конечно, событие это не прошло для молодого писателя бесследно. Участник гражданской войны, добровольно семнадцати лет вступивший в ряды Красной Армии, активист, всем сердцем преданный идее революции, прозаик, столь блестяще начавший писать в 20-е годы (его повесть «Рауфэ» вошла в классику татарской советской прозы), он отныне начинает избегать острых тем, теряет творческую смелость и юношеский запал, больше занимается переводами и редакторской работой в издательствах, чем собственным творчеством.

Биографическое уточнение должен был бы написать сам Афзал Шигабутдинович. Но он тяжело болел, даже говорил с трудом и 19 января сего года скончался, не дотянув всего год до своего девяностолетия.

Как видим, А. Шамов не погиб где-то в лагере или в застенках, не был даже арестован, и жизнь его внешне сложилась вполне благополучно. Но в известном смысле он тоже жертва тоталитарного режима.

Рафаэль МУСТАФИН,
литературный критик.

Казань.

КОРОТКО О КНИГАХ

*

С. ВАЙМАН. Гармония таинственная власть. Об органической поэтике. М. «Советский писатель». 1989. 366 стр.

В столицах шум — гремят витин,
Вичуя рабство, зло и ложь.
А там, во глубине России... —

что там? — вопрошал, как известно, Некрасов. Будучи неоспоримым противником и рабства, и зла, и лжи, к слыхком уж самозабвенному бичеванию сих напастей относился он с некоторым скептицизмом. И шуму журнальных баталий он противопоставил не лишнюю загадочности тишину глубины России: что там?

Сейчас тоже нет недостатка ни в шуме, ни в бичевании лжи. Однако же и тишина существует где-то. И там, в тишине, живут не очень заметные люди и делают дело. Кто-то островок взяв в аренду да и колит телят, а кто-то эстетикой занимается.

Человек в тишине — таким предстает перед нами рисуемый нашим воображением образ автора в книге Семена Ваймана «Гармония таинственная власть». Трактат сей стоит, казалось бы, вне нынешнего витийства, «правого» или «левого». Но именно это обстоятельство делает его актуальным, показывая нам еще один, весьма целесообразный тип социального поведения в нынешней обстановке: как бы ни во что не вмешиваясь, работать, работать, работать. Шум пройдет, а работа кому ни то да рано или поздно понадобится.

Вайман пишет об А. Н. Островском, о его бессмертной «Грозе». Об Аполлоне Григорьеве, мыслителе и критике масштаба огромнейшего. Но труд Ваймана не историко-литературное исследование. Нет, он принадлежит к особому жанру, когда-то составлявшему красоту и гордость отечественного литературоведения. Этот жанр я назвал бы методологической декларацией: смысл здесь — в экспериментировании с новыми методами изучения литературы. В утверждении их и во всенародной их апробации. Работы Бориса Эйхенбаума о Лермонтове и Гоголе, резко противостоящие им труды Валериана Переверзева о том же Гоголе и Достоевском — типичные проявления этого жанра. Затем он исчез: свинцовою тяжестью навалилась на нас некая единая методология, безликая, но именно поэтому для всех обязательная. Многие утверждали ее с требовавшимися для этого угрюмым усердием, доходившим до садистского упоения; другие же как-то изворачиваться пытались. А книга Ваймана — аки ветвь, принесенная Ною голубем на исходе потопа: на убыль потоп пошел, можно работать, расширяя сферу методологии!

Смысл книги — в утверждении органического подхода к произведению искусства. В понимании, в истолковании его как преломленной капли воды, в которой отражается мир. Отражается весь, целиком. И отсюда — неожиданные сопоставления драма-

тургии Островского с... геометрией Лобачевского. А одновременно и с древнейшими мифами, с архетипическими образами вечного Древа жизни или реки, которая также олицетворяет собою неумолчно текущую жизнь. Известно, что «Гроза» предваряется двумя строчками ставшей народной песни Мерзлякова о дубе, стоящем среди ровной долины. В трактовке Ваймана именно эти строчки — зерно, из которого разворачивается образная система пьесы; и доказано все тут поистине виртуозно — и свежо, и умно, и по-настоящему занимательно. Не думали мы, что затертая изучением в школе драма вобрала в свое лоно поистине все, что есть в мире.

Как всякую удачную мысль, мысль Ваймана хочется дополнять, достраивать. Ее можно дополнить банальностями: «Гроза» — о купцах, о купечестве; но в системе методологии Ваймана, его органической критики и эти банальности можно было бы увидеть совершенно по-новому. Купец ничего не производит: не сеет, не жнет, не изобретает. Он передаточная инстанция: у одних берет, отдает другим. Но зачем-то он нужен обществу. Необходим социально и даже онтологически. Он был изгнан из храма в десакрализированный мир житейский. Но именно поэтому он (особенно у нас на Руси) стремился предстать хранителем древлего благочестия. В «Грозе» этот груз оказывается для него непосильным; и дорога ко храму должна быть для него особенно тяжкой. Предупрежденные потомкам, нам то есть: вернуться ко храму, однажды бывши изгнанными из него, не так-то легко и просто. Но это, впрочем, о том, что не сказано в умной книге.

А для начала достаточно и сказанного — о «Грозе», об Аполлоне Григорьеве, о принципах художественного анализа вообще. А главное — за книгой сохранится ее основное достоинство: навязанное сверху лжеединство методологии рассыпается, наука возвращается к необходимой ей множественности методологических концепций.

В. Турбин.

*

СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА. Преодоление трагедии. «Вечные вопросы» в литературе. М. «Советский писатель». 1989. 440 стр.

В этой книге мы встретимся и с необычным взглядом на русских поэтов XIX века, и с интересной интерпретацией творчества Толстого, Достоевского, мыслителя Н. Ф. Федорова, и с анализом философского романа Сартра и Камю, и с оригинальными трактовками произведений советских поэтов и прозаиков. Казалось, столь разнообразный материал можно объединить только внешним образом — оглавлением и обложкой. Но

работа Светланы Семеновой — это цельное исследование с четко продуманной композицией. Стержневой для книги стали проблема смерти и бессмертия, проблема отношения человека к природе, к законам природного бытия. И анализ здесь ведется сразу на двух уровнях: литературоведческом и философском. Так, например, в разбор стихотворений Тютчева входит более общий проблемный план:

«Природа — это некое гигантское целое, которое функционирует путем беспрерывного возобновления тех бесчисленных частей, из которых она состоит. Смерть — центральный и неотъемлемый атрибут природного типа существования, где каждая жизнь оплачивается смертью других... Но эта «природа вековая давиляня» (Заболоцкий) тем не менее может рассматриваться как вполне цельный, гармоничный и «нравственный» организм, пока эти бесчисленные части участвуют в ее колдовании бессознательно. Однако все резко меняется, когда с человеком появляется сознание, острое чувство своей неповторимой личности, глубокое страдание от утрат и внутренняя невозможность принять свое собственное окончательное уничтожение».

Этот фрагмент сразу подводит нас к исходной точке размышлений Н. Ф. Федорова (его мысли и влиянию на творчество Л. Толстого и Достоевского посвящена вторая часть книги) и к комплексу идей, часто именуемому русским космизмом: овладение слепыми силами природы, регуляция стихийных процессов на земле и в космосе, достижение бессмертия и научное воскрешение предков. И далее, знакома с тем, как на эти вечные и «проклятые» вопросы пытались ответить художники Западной Европы (французские экзистенциалисты) и многие советские писатели, автор держит нас в том же поле идей Федорова, Циолковского, Вернадского, Чижевского. В этом подходе нет никакой натяжки: проблема смерти как действующего в природе непреложного закона, попытка ее преодоления (в той или иной форме) органична не только для философской мысли, но и для художественного творчества — книга не случайно завершается осмыслением «Плахи» Ч. Айтматова и «Белки» А. Кима.

Умертвляющее воздействие современной техносферы на биосферу многих невольно наводит на мысль, что «человек разумный» есть некая аномалия в эволюционном процессе. Взгляд на человека с позиций русского космизма (в русле которого мыслит и автор) совершенно противоположный. Сама идея ноосферы подразумевает все возрастающую роль человеческого разума в эволюции земли как естественный закон, как неизбежный космический процесс. Но вместе с этим предполагается и особая ответственность человека перед природой. В истории идей, связанных с русским космизмом, был этап природоборчества. В 20-е годы стихи и призывы биокосмистов («Пролетариат — победитель буржуазии, смерти и природы»), по словам С. Семеновой, «являлись иллюстрацией этакого легкомысленно-лихого наскока на будущее, дерзкой попытки одним волевым усилием и горением нетерпеливого

сердца преобразить людей и мир». Но в более глубоких подходах это идейное течение не отторгает науку от этики, определяется не только научными абстракциями (современная неэкологическая техника — это как раз материализация чисто абстрактного мышления), но и нравственными принципами, обретающими всеобщий, космический характер. И для такого «неущербного» сознания, где истина не отделена от добра и от красоты, невозможно чисто потребительское, хищническое отношение к природе. «...ибо, — заключает свою книгу Светлана Семенова, — человек будет жить, только неуколочно работая «для накопления всеобщей энергии добра» (Ким), только выполняя свое предназначение сознательного авангарда жизни, ответственного за все живое, всю меньшую тварь земли».

С. Федякин.

*

ДЖЕК ЛИНДСЕЙ. Поль Сезанн. Перевод с английского. М. «Искусство». 1989. 416 стр.

Эта книга, созданная английским писателем и ученым Линдсеєм еще в 1969 году, существенно дополняет небогатый список доступных нам работ о классике мировой живописи. У автора исследования давно уже сложилась своя целостная концепция развития человеческой культуры как растянувшегося на тысячи лет конфликта между силами отчуждения (дезинтеграции и восходящей к первобытным временам тяготы людей к единству с природой, к воплощению этого единства в формах искусства. Труд о Сезанне является лишь малой частью многогранного наследия Линдсея — историка культуры: это его книги об астрологии и алхимии, культурной жизни Египта в период римского владычества, о Блейке и Диккенсе, Давиде, Делакруа и Тернере.

Стремление к возможно более полному охвату материала несколько отяжеляет работу, в которой детальное жизнеописание совмещается с искусствоведческим исследованием. Но эта же основательность дает возможность русскому читателю впервые увидеть живого Поля Сезанна во всех проявлениях его южнопровансальской натуры: темпераментного до бешенства, но и робкого провинциала, грубого и застенчивого, влюбленного в античную классику и бойкого сочинителя любительских стихов, друга Золя, друга Писарро, шедшего, однако, своим путем в живописи. Мы узнаем и об изменчивых социальных позициях Сезанна, который увлеклся радикально-либеральными взглядами, приветствовал коммунару Ж. Валлеса, а в поздние годы возвратился в лоно католической церкви. Но за всеми метаниями прослеживается интуитивная тяга художника к такому искусству, которое преодолело бы преграду между человеком и природой, между народом и людьми интеллигентного труда. Линдсею удается анализ не только живописной техники, но и богатой символики Сезанна, культурных архетипов, владевших его воображением.

Текст Линдсея дополнен солидным послесловием К. Г. Богемской «Сезанн вчера и сегодня, где, в частности, характеризуются

последние работы о художнике, среди них труд академика Б. В. Раушенбаха о «перцептивной перспективе» Сезанна.

Нельзя, однако, не предьявить определенных претензий и переводчику Л. В. Москвиной и издательству «Искусство», которые пошли на заметное сокращение книги (примерно на 30—40 страниц), никак не оговорив этого! Образовавшиеся при этом «швы» прикрываются фразами, которых у Линдсея нет. Это ли не прозвал? Так, выброшены авторские экспликации юношеских стихов Сезанна, письмо Золя об искусстве, рассуждения Гегеля и Маркса об отчуждении, анализ одного из поздних рисунков художника. Укажем и на ошибки переводчицы (в целом, впрочем, справившейся со своей задачей), искажения смысла — их особенно много к концу книги (видимо, спешка?). На странице 188 о Золя сказано: «Его романы по-прежнему не печатали...» У Линдсея читаем: «Его роман «Его Превосходительство» игнорировался (критикой. — В. В.). Название главы «Прочный успех» переведено как «Достижение безопасности» (1) — будто Сезанну кто угрожал. И как «венец» таких искажений: «все эти течения» живописи ХХ века «отвергались и предавались поруганию» Сезанном, хотя он умер в 1906 году! Переводчица сделала художника таким ненавистником неизвестного ему сюрреализма и фовизма, ибо перепутала условное наклонение с прошедшим временем. А у Линдсея сказано: «...он, вероятно, осудил бы...»

В. Вахрушев.

Валашов.

*

КАК МЫ ПИШЕМ. М. «Книга». 1989. 207 стр.

Выпущенный издательством «Книга» сборник хорошо знаком специалистам по истории советской литературы — редкий исследователь творчества Андрея Белого или Евг. Замятина, Мих. Зощенко или А. Толстого не держал в руках вышедшую в 1930 году в издательстве писателей в Ленинграде книжку, в которой признанные метры литературы 20—30-х годов делаются наблюдениями над тем, «как они пишут».

Сборник «Как мы пишем» при всем разнообразии писательских имен вполне может быть назван характерной книгой своего времени. (Помимо перечисленных нами писателей в сборнике приняла участие М. Горький, В. Каверин, Ю. Либединский, Борис Пильняк, Ю. Тынянов, К. Федин, В. Шкловский и другие, в том числе незадолго забытый Николай Никитин, автор нашумевшего в свое время «Рвотного форта».) Сам вопрос как чрезвычайно характерен для эпохи 20-х: известно, что эти годы в истории нашей литературы — годы настойчивых поисков новой формы, адекватной новой эпохе и новому сознанию.

И еще черта тех лет: авторы, чьи тексты включены в книгу, пишут о своем мастерстве, не ввязываясь в посторонние споры, пишут с достоинством и уважением друг

к другу — качества, во многом утраченные в более позднему пору. Что же сделало возможным существование под одной обложкой столь разных имен? Прежде всего общий интерес авторов (книга задумана как совокупность ответов на предложенные вопросы) к проблемам языка художественной литературы и вообще «технике» литературы. Читая то пространное, то сжатые ответы писателей на предложенные вопросы, убеждаешься, что практически все писатели 20-х годов могли внятно объяснить себе и другим, как они пишут, обнаруживая чрезвычайно сознательное отношение к своей профессии, что в современной нам литературе редкость. Мало того, некоторые авторы противопоставляли первые два вопроса знаменитой триады Блока («что?», «как?», «почему?») третьему, актуализируя «производственный» аспект литературы. Критики «Лефа» (С. Третьяков, Б. Арватов, Н. Чужак и другие) в этом смысле двигались в русле своеобразного «технологизма», возникшего как реакция на «иррациональность» декаданса и метафизичность символизма. Даже такой вроде бы очень непосредственный писатель, как Михаил Зощенко, склонен противопоставлять писателя прошлого, работавшего исключительно «по вдохновению», современному «поденщику», каковым Зощенко считал себя самого. Нельзя писать одним «нутром», писать необходимо техническим навыком. Язык большинства писателей 20-х годов рассматривали в качестве того самого материала, из которого «делаются», «производятся» произведения.

Эта «работа над словом» порой принимала гипертрофированные формы: слово прозаического произведения, становясь уже как бы словом поэзии, подавало такие специфические прозаические элементы, как разветвленные композиции и сюжет. Эпоха была буквально пропитана лингвистическими спорами. Как выразился Шкловский, необходим стиль, который способен «шевелить вещи».

Авторы сборника едины в своем оттачивании от «философии», от концептуальности. Никто из них не нашел одобрительного слова для критиков и интерпретаторов литературного творчества. Так парадоксально сочеталась «литературная инженерия» с романтическим порывом времени.

Следует отметить еще один аспект ответов, напечатанных в сборнике, касающихся так называемого творческого поведения, «физического состояния и гигиены». «Нельзя плодотворно и без натяжки, без искусственного самопринуждения работать, если каждый вечер ходишь по гостям, напиваешься, объедаешься, танцуешь», — пишет весьма далекий от пуританской морали Никитин.

Такие были годы, и такими были люди, чьи тексты собраны под одну обложку. Мы не склонны идеализировать ни их жизнь, ни их произведения. Не стоит вздыхать по прошлому — необходимо принять его к сведению, учиться у него.

Георгий Носков.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора),
А. В. Василевский (ответственный секретарь), **Ф. К. Видрашку** (зам.
главного редактора), **Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам.
главного редактора), **Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник,**
И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов,
М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко

Технический редактор **А. Гинзбург.**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29

Сдано в набор 20.06.90 г. Подписано к печати 26.04.91 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л.
(23,8 уся.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт., 27,02 уч.-изд. л.)

Тираж 957.000 экз. (1-й завод 1 — 250 000 экз.) Зак. 01420051 Цена 2 р. 10 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии
«Известий Советов народных депутатов СССР», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5
Отпечатано в типографии № 1 ордена Ленина комбината печати издательства
«Радянська Україна». Киев-47, проспект Победы, 50.

**Во втором полугодии 1991 года
и в 1992 году
«Новый мир» предполагает опубликовать:**

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман);
ПЕТР БАЛАКШИН. Финал в Китае (фрагменты книги);
ЛЕОНИД БЕЖИН. Калоши счастья (записки случайного философа);
АНДРЕЙ БИТОВ. Япония как она есть (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Кудыч (повесть);
М. ВОСЛЕНСКИЙ. Феодалный социализм (место номенклатуры в истории);

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕРНОБЫЛЕ;

АФАНАСИЙ ГЕРАСИМОВ. Повесть о Дубчесских скитах;

А. ГЛАГОЛЕВ. За други своя (воспоминания);

В. ДОМОГАЦКИЙ. Кладовка (попытка консервации);

И. А. ИЛЬИН. Из философского наследия;

АНАТОЛИЙ КИМ. Кентавр (роман); Рассказы;

М. КУРАЕВ. Зеркало Монтачки (повесть);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Рассказы;

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ. И аз воздам (роман);

ФРАНСУА МОРИАК. Во что я верю (эссе, перевод с французского);

П. И. НОВГОРОДЦЕВ. Из философского наследия;

МАРИНА ПАЛЕЙ. Рассказы;

Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. Время ночь (повесть); Рассказы;

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Счастливая Москва (роман);

Н. САРРОТ. Дар слова (повесть, перевод с французского);

ФЕЛИКС СВЕТОВ. Отверзи ми двери (роман);

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Бодался телёнок с дубом (новые главы «очерков литературной жизни»); Сквозь чад; Апрель Семнадцатого (заключительный «узел» исторической эпопеи «Красное колесо»);

АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ. Из философского и поэтического наследия;

А. С. СУВОРИН. Дневник (фрагменты);

И. Т. ТВАРДОВСКИЙ. Страницы пережитого;

Н. ТОЛСТОЙ. Жертвы Ялты (главы из книги);

ДАНИИЛ ХАРМС. Дневники;

Ю. ШРЕЙДЕР. Синдром освобождения (эссе);

а также другие произведения.

Следите за нашими анонсами.

В 1992 году в журнале появится новый цикл «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ XX ВЕКА: ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА, ГУМАНИТАРНАЯ МЫСЛЬ»; будут продолжены публикации под рубрикой «РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР».